КОНТИНЕНТ

142 2009 КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 142



Знакомства у моего отца были совершенно замечательные. С Виктором Шкловским он дружил со школьных лет, у Бориса Эйхенбаума учился в гимназии, с Михаилом Кузминым встречался по-соседски за чаем, близко сошелся с Владиславом Ходасевичем…

Софья Богатырева

Архивные публикации Елены Ржевской



К 90-ЛЕТИЮ И. КРАМОВА



Если бы не странствия, мне вряд ли пришлось бы так много думать о России. В английском университете, французском, американском или в итальянском, какие бы лекции или курсы лекций мне ни предлагались, первое, чего ждут слушатели, - это какого-то сообщения о России.

Ольга Седакова



Такой дом остался один в Москве - доходный дом с высоченными, «как в Питере», потолками, с лабиринтом коридорчиков и крошечных комнат в каждой квартире, с ванной на кухне, опять же, «как в Питере», а главное - с черными лестницами.

Роман Сенчин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи

Лорины Дымовой, Надежды Кондаковой, Ирины Сурниной, Игоря Панина

Рассказы

Юрия Горбачева, Нины Горлановой и Вячеслава Букура, Ивана Оганова, Владимира Холкина

Статьи, очерки и интервью

Льва Айзермана, Николая Белоногова, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Тамары Жирмунской, Андрея Илларионова, Ирины Климовицкой, Юлии Латыниной, Павла Лукьянова, Владимира Можегова, Григория Померанца, Германа Садулаева, Андреаса Умланда, Александра Чернявского, Виктора Шендеровича, Юлии Щербининой

Материалы «круглого стола» **В ЧЕМ СИЛА И СЛАБОСТЬ ХРИСТИАНСТВА?**

А также наш постоянный раздел **БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»**



Поздравляем

— нашего друга, постоянного и любимого автора,
замечательного поэта, прозаика, публициста, переводчика,
филолога и этнографа
Ольгу Александровну СЕДАКОВУ
с юбилеем!

— наших добрых друзей и авторов
философа ***Григория Соломоновича ПОМЕРАНЦА***
и поэтессу ***Зинаиду Александровну МИРКИНУ***
с вручением им Норвежской академией
Литературы и Свободы слова
премии Бьёрнстьерне Бьёрнсона!

Глубоко скорбим о кончине
члена редколлегии журнала
драматурга, прозаика и сценариста
Юлиу Филипповича ЭДЛИСА

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

142

2009, № 4
октябрь — декабрь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1
Время работы редакции: 13:00–17:00 по будням

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(499) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
http://continent-rus.ru/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

**Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА**

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Александр и Татьяна Сергиевские
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

К 90-летию И. Крамова (1919 – 1979)

Игорь ВИНОГРАДОВ
По городам и весям, годам и векам... *Памяти друга* 9
От публикатора 14
И. КРАМОВ. Из потока жизни 15

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Ирина СУРНИНА. Открытая осень. *Стихи* 54
Роман СЕНЧИН. На черной лестнице. *Рассказ* 59
Юрий ГОРБАЧЕВ. Безбилетная стрельба. *Рассказ* 73
Игорь ПАНИН. Все намного серьезней... *Стихи* 81
Иван ОГАНОВ. Город воробьев и листьев. *Рассказ* 86
Лорина ДЫМОВА. На том берегу. *Стихи* 104
Владимир ХОЛКИН. Брат и сестра. *Рассказ* 107
Надежда КОНДАКОВА. Прощеное воскресенье. *Стихи* 120
Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. Охотник Витя. *Рассказ* 125
Нина ГОРЛАНОВА. Если б знать... *Рассказ* 131

РОССИЯ И МИР

Беседы в редакции

Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Две тысячи девятый — год нарастающего абсурда... 137

Андреас УМЛАНД
«Оранжевая революция» как постсоветский водораздел 159

Николай БЕЛОНОГОВ
«Кто примет дитя во имя Мое...»? *Интервью Владимиру Можегову* . 171

У книжной полки

Григорий ПОМЕРАНЦ. Послесловие к трагедии 183

У нас в гостях «Новая газета» и журнал «The New Times»

Юлия ЛАТЫНИНА. Сверхдержава Абхазия 188

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни
(*январь — декабрь 2009 г.*) 191

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской современности *в русской сетевой и бумажной периодике третьего квартала 2009 г.* 202

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Лев АЙЗЕРМАН
Прагматизация сердца. *Педагогическая непоэма в документах и размышлениях* 243

Софья БОГАТЫРЕВА. Хранитель культуры, или До, во время и после «Картонного домика» 267

РЕЛИГИЯ

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ
Альберт Швейцер и Эммануэль Левинас: этика как тема еврейско-христианского диалога 326

В чем сила и слабость христианства?
Материалы «Круглого стола» 340

Основные события церковной жизни в зеркале прессы (*сентябрь — ноябрь 2009*) 368

ГНОЗИС

К юбилею Ольги Седаковой

Евгений ЕРМОЛИН
Невидимое пламя 378

Ольга СЕДАКОВА
Русская культура 389

Павел ЛУКЬЯНОВ
Мир как спрос и предложение 402

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Дмитрий МАТВЕЕВ
Поиски предельного и «сломанный миф» 414

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Ирина КЛИМОВИЦКАЯ
Женское, слишком женское. И немного нервно 425

Памяти Александра Межирова (1923 – 2009)

Тамара ЖИРМУНСКАЯ
«Гражданская война вплотную подступила...» 438

Герман САДУЛАЕВ
Проза о чеченской войне: литература, как универсализация опыта 454

Юлия ЩЕРБИНИНА. Призрак современного героя 465

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика
Третий квартал 2009 г. 479

Игорь ВИНОГРАДОВ

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ, ГОДАМ И ВЕКАМ...

Памяти друга

Исаак Наумович Крамов (свои печатные работы он всегда подписывал как ***И. Крамов***) разделил судьбу многих своих сверстников, ранняя молодость которых пала еще на предвоенные годы и которые заявили о себе в литературе сразу после войны. Он учился в знаменитом Московском институте философии, литературы, истории (ИФЛИ) и начал печататься уже в 1948 году. Но, как и многие писатели, критики и публицисты его возрастного поколения, возмужавшего в испытаниях военных лет, он сформировался и выразил себя как литератор уже позднее — в рамках того литературного поколения, которое сложилось в годы так называемой *Оттепели* и которое сегодня называют поколением *шестидесятников*.

Поколение это подняла на своем гребне и духовно сформировала мощная волна общественного движения, начавшегося в стране после знаменитого XX съезда партии, на котором, хотя еще и в рамках сугубо официального, то есть в сущности кастово-номенклатурного партийного мышления, но все-таки был дан первый импульс процессу постепенного освобождения общества от страшных химер не только собственно сталинщины, но и коммунистической идеологии в целом. Именно этот процесс определил собою стержневое содержание духовной жизни 60-х годов, и не удивительно, что в искусстве, в литературе, в культуре в целом он захватил и творчески одаренных людей самого широкого возрастного диапазона. Он стирал между ними возрастные границы, делая единомышленниками, соратниками, а нередко и настоящими друзьями людей, даты рождения которых разделялись порою и десятью, и пятнадцати годами, — людей, повзрослевших еще до войны, за плечами которых был уже немалый опыт жизни, и безусую молодежь, только что покинувшую институтские аудитории, а то и школьные парты; недавних фронтовиков, постигавших окопную правду войны в течение всех четырех ее долгих лет, и младших их современников, никогда не нюхавших пороха.

Между Изей Крамовым и мною лежала разница в одиннадцать лет, но понимая и чувствуя ее в измерении жизненного опыта, я совершенно не ощущал ее в измерении духовном. В 60-е и 70-е годы, до самой своей смерти он был, может быть, самым близким моим другом — и не только моим: тесная дружба связывала его и с моим однокашником Сашей Лебедевым, всего двумя годами ранее меня окончившим Московский университет, будущим автором известной книги о Чаадаеве (1965). А нас обоих, переступивших аспирантский университетский порог всего каких-нибудь два-три года назад, — еще и с другом Изи, тоже бывшим ифлийцем Эмилем Кардиным, в 1941 году ушедшим добровольцем на фронт и вернувшимся с войны

в 1945 году увешанным орденами и медалями, в дальнейшем автором знаменитой, наделавшей много шума статьи «Легенды и факты», напечатанной в «Новом мире» А. Твардовского.

Нашу очень тесную в те годы, но столь резко разновозрастную дружескую четверку скрепляло чувство такой глубинной духовной общности, такого мировоззренческого единства, какое в иные эпохи редко возникает и между сверстниками. И это напрямую было связано, конечно, именно с тем, что вся наша четверка, из которой сегодня остался в живых только я один, с самого начала, как только Александр Твардовский в 1958 году второй раз возглавил «Новый мир», соединила свои судьбы с судьбой а именно этого журнала, ставшего под редакторством Твардовского главным духовным, мировоззренческим и культурным органом шестидесятничества. С «Новым миром» же связала свою творческую судьбу и неизменная покровительница нашей мужской четверки, жена Изи Крамова Лена Ржевская, будущая знаменитая писательница, одна из лучших русских прозаиков военной темы, бережно хранившая все эти годы творческое наследие своего замечательного мужа и сегодня выступающая на страницах «Континента» как публикатор тех его текстов, которые мы предлагаем вниманию читателя.

Едва ли не с самого начала 60-х имя И. Крамова мы постоянно встречаем среди имен ведущих авторов «Нового мира» Твардовского. Активно печатался он и в других журналах, так или иначе примыкавших к оттепельному демократическому движению шестидесятников и по возможности поддерживавших «Новый мир». В тогдашней критике И. Крамов принадлежал, несомненно, к самым видным представителям этого движения, стремившегося всячески споспешествовать демократическому обновлению страны.

Как критика И. Крамова глубоко интересовало и волновало прежде всего живое развитие современной ему советской литературы. Так, он первым откликнулся рецензией в «Новом мире» на книгу Юрия Трифонова «Отблеск костра», переломную в судьбе этого выдающегося русского писателя, о чем и сам Трифонов с благодарностью вспоминал позднее в своих «Записках соседа». Но, пожалуй, не в меньшей мере привлекала его и работа критика-историка, озабоченного возвращением произведений и имен, либо прямо отнятых у читателя в сталинские времена, либо с трудом пробивавшихся сквозь идеологические и цензурные заслоны, либо не получивших достаточно серьезного и глубокого осмысления в нашей критике. Так появились его статьи и очерки о Платонове-критике, о Ларисе Рейснер, об Александре Малышкине, Эффенди Капиеве и других — целый цикл работ, многие из которых вошли потом в его книгу «Литературные портреты». Их отличает удивительная вдумчивость, благожелательность и вместе с тем спокойная трезвость критического анализа, далекого как от вздернутой апологетики, так и от недорого стоящих претензий, которые наш сегодняшний задний критический ум так охотно предъявляет порою нашим предшественникам. Он никогда не спешил превозносить или, напротив, отрекаться, не способен был ни к высокомерному обличительству, ни к сглаживающему подыгрыванию своим любимым героям. Он всегда стремился прежде всего понять, вжиться, проникнуть мыслью и чувством в сердцевинное сокровенное ядро литературного явления, уловить его живую душу.

Вот в этой преданности, в этой, — не побоюсь здесь и такого слова, — постоянной и неизменной *влюбленности* И. Крамова в литературу реальную, живую, непридуманную и выразилась, может быть, самая глубинная, самая важная его особенность как литератора — литератора подлинного, литератора по призванию. Именно поэтому он не только не опустил руки, не отступился от своего дела, но, напротив, с еще большей энергией и упорством отдался служению ему, когда после недолгой хрущевской оттепели началось резкое похолодание во всех областях жизни страны, а в печати, в литературной политике, в культуре в целом цензурный произвол и фанатическая идеологическая нетерпимость и «бдительность» опять достигли уровня настоящей свирепости. После разгона «Нового мира» А. Твардовского в 1970 году, когда окончательно стало ясно, что наступающая новая эпоха практически исключает для любого серьезного критика возможность эффективно участвовать в живом литературном процессе, хоть сколько-нибудь адекватно выражая свою общественно-литературную или даже собственно эстетическую позицию, И. Крамов, реально испытавший на себе, как и многие другие, это гнетущее давление времени, удваивает зато свои усилия как критик-историк, критик-собиратель советской литературы, отыскивая и осваивая новые для себя формы такой работы. Он задумывает и постепенно осуществляет подготовку и издание целой серии сборников советского рассказа — жанра не просто удобного для антологического представления, но особо репрезентативного, как справедливо считает он, и в историко-литературном отношении. Ведь на любом этапе развития литературы именно рассказ впервые и в наиболее емкой форме концентрирует в себе, как правило, энергию тех новых художественных поисков, которые позднее находят свое воплощение и в более крупных прозаических жанрах. Пропустив, можно сказать, через себя весь огромный массив новеллистики, созданный за время советской власти всеми нашими национальными литературами, он в годы так называемого *застоя* составляет и выпускает в разных издательствах две двухтомные и несколько других антологий советского рассказа — работа, которую поистине можно назвать своего рода литературным подвигом. Тем более, что она и стала очень тщательной, очень масштабной работой по глубокому литературно-критическому осмыслению всего этого громадного материла. Это нашло свое выражение и в превосходных предисловиях, которыми сопровождались составленные И. Крамовым антологии, и в ряде журнальных статей, написанных им в ходе этой работы, и, наконец, в известной его книге «В зеркале рассказа», где даны выразительные литературно-критические портреты многих выдающихся мастеров рассказа — от Ивана Катаева до Юрия Казакова и Василия Шукшина. Словом, и эта специфическая область работы, связанная с составительской деятельностью и ставшая основной для И. Крамова в 70-е годы, менее всего была для него отходом на какие-либо более спокойные, не требовавшие особых душевных затрат рубежи литературной жизни. Это была все та же характерная для него, а в чем-то и еще более наполненная жизнь в литературе, забиравшая его всего без остатка, — жизнь, проходившая в постоянном размышлении о прочитанном, отобранном, увиденном, услышанном; жизнь, в которой действительно не было ни дня без строчки, закреплявшей это постоянное напряжение мысли, этот

непрерывный процесс не только собственно критической рефлексии, но и постоянного духовного самовыражения и самоопределения...

Удивительно ли, что эта глубинная духовная потребность не могла не искать для себя выхода и за рамками той обычной литературоведческой работы, которая была рассчитана непосредственно на читателя, связана с написанием статьи, предисловия, книги? Как и многие литераторы, И. Крамов постоянно делал — в той или иной форме — и какие-то записи, в совокупности представляющие собой как бы своего рода дневник его духовной жизни.

Похоже, что поначалу И. Крамов не придавал этим заметкам, все больше наполнявшим его тетради, записные книжки, иного значения, нежели «записям для себя». Однако в какой-то момент он сам почувствовал, видимо, что из них рождается некая особая, новая и очень притягательная, очень органичная для него литературная реальность. И он испытал потребность проверить это свое только еще рождавшееся, неуверенное и неопределенное ощущение на друзьях и стал время от времени читать им некоторые из таких записей. Ободренный их энергичной и безусловной поддержкой, их убежденностью, что эти «записи для себя», очень разнообразные по форме, действительно складываются в определенное литературное единство и через них И. Крамов раскрывает себя с каких-то новых сторон, может быть, даже наиболее полно и органично для себя, — ободренный всем этим, он стал отбирать из своих тетрадей и записных книжек то, что казалось ему наиболее интересным, придавать этим черновым записям необходимую внутреннюю завершенность, отыскивая для них соответствующую интонацию, жанр, стилевую поэтику и т. д. и постепенно пополняя начальную подборку новыми, уже специально написанными для нее этюдами, призванными достроить задуманное и все отчетливее проясняющееся в своих основных контурах здание...

Так начала возникать книга, которую к концу 70-х годов И. Крамов сам стал ощущать как своего рода центральную, стержневую в своей писательской судьбе. И это ощущение не было ложным: начавшая складываться и во многом уже сложившаяся книга с полной очевидностью выявила те внутренние потенции творческого дара И. Крамова, которые раньше чувствовались и в его литературно-критической работе, но которые с новой и неожиданной стихийной силой стали управлять его пером, когда, свободное от любой заданности и запрограммированности, оно получило как бы волю «гулять» по бумаге так, как душа того захочет. И вот оно и «загуляло», подчиняясь действительной природе его дара, внутренний запрос которого и заставлял его в свободных «записях для себя» обнаруживать себя прежде всего *художником, прозаиком*. Ибо поначалу незаметно для него самого эти «записи для себя» едва ли не сразу же и стали выливаться на бумагу именно как своеобразная проза. Порой литературно-публицистическая, порой описательно-зарисовочная, порой принимающая драматургически-диалогическую форму или вид рассказа-монолога от первого лица, что и создавало жанровое разнообразие рождавшейся книги, вобравшей в себя эссе и новеллы, путевые заметки и лирические медитации, рассказы тех или иных реальных лиц и рассказы о тех или иных реальных лицах. Но это всегда была именно проза, несомненная в своей внутренней художнической языковой фактуре...

Внезапная смерть, унесшая И. Крамова, когда ему едва исполнилось шестьдесят лет, не дала ему закончить эту книгу, как не дала и дожить до

времени, которое порадовало бы его сердце и подарило возможность увидеть свет работе, ставшей для него в последние годы главной и любимой.

Однако эта неосуществившаяся возможность должна все же осуществиться, я убежден, хотя бы в той ее части, которая оказалась неподвластной смерти. Ибо даже и в том, далеко, конечно, не полном виде, в каком эта незавершенная книга эссе, новелл и зарисовок И. Крамова сохранилась в его архиве, она, безусловно, заслуживает опубликования. Это доказывают, кстати, и те ее фрагменты, которые уже стали достоянием читателя, — в частности, «Разговоры с Маршаком», напечатанные в «Новом мире» еще в 1977 году, и особенно, может быть, цикл «Из рассказов Зискинда», появившийся восемнадцать лет назад на страницах первого московского номера «Континента» (1992, № 72). Уверен, что те наши читатели, которые помнят эту публикацию, сумели по достоинству оценить качество и уровень той внешней непритязательности и простоты, которая отличает пятнадцать небольших главок этого рассказа. А если бы рядом с окончательным вариантом его текста опубликовать черновые записи тех трех долгих бесед с Абрамом Зискиндом, что остались в одной из записных книжек И. Крамова, то можно было бы и воочию во всех деталях увидеть и убедиться, результатом какой тонкой и точной, поистине мастерской художественной работы явилась эта как будто бы совсем простая, как бы всего лишь стенографическая запись рассказов бывшего заместителя Серго Орджоникидзе — одного из тех, кто принадлежал в свое время к высшему эшелону власти в СССР и просто чудом уцелел в гулаговском аду.

Эта художественная работа, кстати, не только не умалила, но, напротив, многократно увеличила как раз именно документальную, свидетельскую ценность этого поразительного рассказа, воспроизводящего одну из самых страшных страниц нашего не такого уж далекого прошлого. И вот здесь я позволю себе в заключение обратить внимание читателя на то, что именно такая, свидетельски-документальная нацеленность текста даже тогда, когда он был рожден лирической авторской субъективностью, была положена в основу художественного замысла и вообще всей книги в целом — всей ее композиции, всего ее состава. Ибо перед нами, несомненно, должна была предстать панорама самых разнообразных, но всегда реальных человеческих судеб, каждая из которых, — предстояло ли ей оказаться судьбой знаменитого писателя или судьбой общественного деятеля, судьбой современной или судьбой, отошедшей в прошлое, — каждая из них так или иначе должна была вобрать в себя нашу эпоху или вступить с нею в прямую перекличку. А внутреннее сцепление, перекрещивание, взаимоотражение и взаимоосвещение этих судеб, не выявленное никакой прямой смысловой подсказкой, но содержащееся лишь в самом художественном единстве и движении всей композиции в целом, должно было собраться в некое обобщенное, некое, если угодно, художественно-философское по своему характеру и охвату многомерное ощущение самой атмосферы, самого воздуха нашей эпохи — всей той жизни, и сегодняшней, и прошедшей, внутри которой и которою жил И. Крамов, о которой думал, которой радовался и которою страдал.

Этот обобщенный портрет бытия, прошедшего через душу автора, должны были составить, кроме «Разговоров с Маршаком» и «Из рассказов Зискинда», и многие другие записи его бесед с теми или иными его современниками, и разного рода лирико-философские и критические эссе-размышле-

ния о Василии Розанове, Льве Тихомирове, Андрее Платонове и других знаковых фигурах русской культуры, и, наконец, обширный цикл тех путевых зарисовок, «записей для себя», беглых и подробных рассказов о судьбах людей, встреченных им во время его бесконечных путешествий по всей нашей громадной многонациональной тогдашней стране, еще именовавшейся СССР, бóльшая часть которых и составила содержание сегодняшней нашей публикации, названной публикатором просто и скромно — «Из потока жизни», а временной и пространственный размах и охват которой я как раз и попытался как-то обозначить названием этого вступительного очерка — *По городам и весям, годам и векам...*

Я не думаю, что мне следует предварять публикацию этих текстов еще и какой-то дополнительной их характеристикой или анализом их достоинств. Достоинства эти, на мой взгляд, настолько очевидны, что читатель и сам сумеет их оценить, — как и распознать стержневую художественную мысль автора, явленную в контрапункте запечатленных здесь несовместимых и нераздельных черт героического и страшного, жалкого и трагического, человеческого и античеловеческого лика нашей эпохи...

Поэтому мне остается только пригласить читателя к чтению этой прекрасной русской прозы, предоставив перед тем слово неизменному публикатору всех текстов И. Крамова — Елене Моисеевне Ржевской.

От публикатора

В домашнем архиве И. Крамова существенное место занимают толстые пронумерованные 25 тетрадей с пометкой «Записи. Для себя». Их он вел на протяжении многих лет. В тетрадях — следы текущих впечатлений, мыслей о минувшем и о нынешнем времени. Следы душевных движений. Особое место занимают размышления о литературе, о писателях. По мере того как число тетрадей увеличивалось, росла наперекор пометкам «Для себя» потребность в читателе этих записей, собеседнике, спорщике. Замысливалась книга эссе на материале «Записей». Работа в этом направлении казалась успешной, и Крамов не оставлял ее до конца жизни, хотя и не надеясь по тогдашнему состоянию дел в литературе увидеть ее опубликованной, и с горечью записал: «Копить мысли, наблюдения, выхваченные из потока жизни для тайной передачи другому, неведомому и закрытому для тебя миру. В этой усладе обращенного в никуда слова есть гордыня и холод. Ничто не заменит тепло тела, прикосновение отзвука слова, произнесенного, чтобы быть услышанным» (10 ноября 1974). Долгие годы рукопись оставалась недвижимой, не востребованной стремительно менявшимися временами. Но сейчас, когда я перечитывала Записи, меня поразила не сохранность даже — полноценное звучание этого текста. Каждому слову настает свое время; с этой убежденностью я готовила рукопись к нынешней публикации. Подготовка рукописи осуществлена в совместной работе с моей внучкой Л. Сумм, с участием моих близких: дочери О. Коган и зятя Ю. Дикова.

Е. Ржевская

ИЗ ПОТОКА ЖИЗНИ

Жизнь в фотографиях

Музей Горького в Казани. Внизу пустой, гулкий и пыльный подвал с низкими сводами — тут была пекарня Деренкова, где юношей работал Алеша Пешков. Наверху, в светлых больших комнатах, множество фотографий на стендах. Едкая пестрота базаров, ночлежек и волжских пристаней, — бурлаки, грузчики, торгаши, сезонники, босяки, купцы, — в картузах, в чуйках, в рубахах навыпуск, в обносках, босиком. И тут же — мягкие лица домашних философов и страдальцев за народ. Деренков, его сестра фельдшерица Мария, пекарь Рубцов, студент Гурий Плетнев, — мечтательная, бродяжья Русь, перемешавшая сектантство с марксизмом.

Пройдут годы, жизнь круто переменится, и юноша-пекарь возникнет вдруг среди сюртуков, широкополых шляп и вывязанных бантом галстуков. В то время его мгновенно будут узнавать среди других знаменитостей, с которыми он так любит сниматься.

Вот он рядом с великим старцем, отрешенно стоящим, заложив ладони за узкий, свободно повязанный поясок. Горький в наглухо застегнутом длинном черном пальто стоит, напряженно выпрямившись, опираясь на палку. Вот он с Чеховым на летней террасе, задумчивый, затуманенный Чехов, приподняв голову, холодно смотрит куда-то сквозь пенсне. С Шаляпиным — оба веселые, легкие, еще не упившиеся славой. С артистами Художественного театра — строгий и немного чужой среди красивых и празднично нарядных людей.

Группа телешевской «среды» — писатели земли русской, с отпечатком нелегкой и скорбной думы. Только Бунин ничего не выражает, кроме замкнутой отдаленности от всего и всех, на своем медальном лице. Так и видишь, как едут компанией сниматься. Нанимают извозчика, немного возбужденные разговором, дружескими излияниями, шумными спорами, сознанием своей молодости и уже известности, едут на Тверскую к знаменитому мастеру, рассаживаются, приутихнув, перед большим деревянным ящиком, — позади него уже сгибается, спрятав голову под черную накидку, сам художник-фотограф и подает негромко команду — прошу чуть левее, смотрите в угол, или что-то еще такое же пустяковое, чему однако повинуются охотно, отдавая себя целиком во власть этой дивной минуты, проникнутой доверием к жизни, к потомству и к вечности, для которой и будут запечатлены. Потом с облегчением встают, немного устав друг от друга, от яркого света ламп и от знаменитого фотографа, долго прощаются на улице до следующей «среды», где снова будет чтение вслух и длинные разговоры, вскипающие иногда эскападой, где каждый готов блеснуть умом.

От немного выцветшей фотографии с четко оттиснутой в нижнем углу фамилией хозяина фотоателье на Тверской веет теплом, надеждами и стародавним уютом.

Женщины. Первая любовь — неповторимый облик идейной бестужевки. Яркое и как бы немного чрезмерное во всем — в красоте, в силе, в гордости — лицо молодой Екатерины Пешковой. Примадонна в ореоле признания и успеха — величественная Андреева. Последний спутник — баронесса Будберг, женщина двадцатых годов, необременительная и уступчивая, в берете, с челкой, в короткой шубке. Выхваченные из тьмы и забвения, куски жизни проходят перед глазами. Все это смыто потоком времени и унеслось навсегда.

Но еще не все. Еще один зал, тоже весь в фотографиях. Большие глянцевито блестящие снимки, на которых старик с выпирающими скулами и обвисшими усами стоит или сидит среди каких-то случайных или явно чужих людей. Он отделен от них своей хмурой пригорбленностью, и ему, должно быть, скучно и одиноко в этой толпе, напоминающей издали толпу статистов. Впрочем, и сам он кажется тут бутафорским предметом, поставленным наспех чьей-то равнодушно казенною рукой.

Уже с порога схватываешь: что-то отрезано тут чертою. Все уютно интимное, все личное, что было на прежних снимках — все исчезло, как ветром сдуло. Эти живописные позы, эти лица «с выражением», это дружеское тепло и желание понравиться, а если удастся — и поразить, ничего этого нет и следа.

Подписи под снимками: «Горький среди летчиков», «Горький с пионерами завода "Шарикоподшипник"», «Горький с парашютистами», «Максим Горький и Алексей Толстой с колхозницами на I съезде советских писателей», «Горький и Буденный с рабкорами», «Горький с писателями Востока», «Калинин вручает Горькому орден Ленина», «Горький и знатный шахтер Никита Изотов».

Среди больших групповых снимков маленькое фото примостилось незаметно на самом краю стенда. Горький с бородою, в армяке. Под фотографией несколько строк из письма к Е. Пешковой из Москвы: «Ходил я по улицам загримированный с бородою... Это единственный способ что-нибудь увидеть, не будучи окруженным зрителями. Видел много интересного и наверное не раз повторю этот прием наблюдения, ничем не стесняемого».

Борода лопатой, на голове нелепый картуз — на этой фотографии конца двадцатых годов он очень похож на персонажей ранних снимков, выхваченных из густой неперебродившей толпы варварски пестрого базара.

Октябрь 1965 — Казань

* * *

Почтовая открытка, адресованная брату

7.X.-64 Казань

...Я пробыл десять дней в Горьком и приехал Волгой сюда. Все интересно, и если б можно было так пожить — ездить, смотреть, толкаться среди людей. Осенняя пустынная Волга красива, и Горький, размашис-

тый, немного нелепый, с купеческой стариной, людный и очень деятельный, — тоже на свой лад красив и очень запоминается.

Свияжск

Ранним утром выезжаю речным трамваем из Казани в Свияжск. Пароходик неторопливо плывет мимо осеннего пятнисто-рыжего леса на берегу.

Вскоре за большой водой появляются темные силуэты церквей. Это — Свияжск, остров в устье реки Свияги. Здесь стояло лагерем, подойдя к стенам Казани, войско Грозного. Боголюбивый царь повелел в ознаменование победы над Казанью соорудить тут церковь. Позже появились рядом и другие церкви, и монастырь, и купола возвышаются сейчас над равнинным берегом, над освещенной солнцем рекой. От них веет сумрачным старинным преданием.

Вблизи обтерханные стены заброшенного монастыря не кажутся такими могучими, как с реки. Они осыпаются бурой трухой. Рядом лепятся полусгнившие домики и кое-как сваленные дрова. Тощая черная корова с обросшим волосами выменем и сморщенными сосками бродит по склону, выщипывая из скудной зелени траву. За нею нехотя топает в тяжелых кирзовых сапогах хозяйка с хворостиной. Пристально оглядывает меня из-под низко повязанного платка. Ничто живое не нарушает больше смиренный покой похожего на погост острова. Покорное и тихое вымирание высвечено утренним осенним светом, льющимся с просторных небес.

На обратном пути разговор с соседом. Мы вдвоем на палубе. Небритое в морщинах лицо, маленькие глазки за очками. Кутается от ветра в изношенный серый плащ. Закуривает, спрятав в ладонях спичку, и, глубоко затянувшись, спрашивает:

— На могиле Сталина были?

— Той, что за мавзолеем?

— Да нет же, здесь, у нас. Не знаете? У нас сын Сталина, Василий, похоронен. Четыре года здесь прожил, с пятьдесят восьмого по шестьдесят второй. Хороший был человек. — И, помолчав:

— Умер внезапно.

— Это как?

— Да так. Внезапно... Нога будто заболела. Сами понимаете...

— Ну, едва ли... Кому он был нужен? Пьяница...

— Э-э, не скажите. Его выслали, дали тут одну комнату. Умер — сколько народу собралось — всех разогнали. И памятник поставить не позволили. А на могилу его ходят. И я тоже — у матери бываю — зайду. Вы обязательно сходите.

— Ладно, схожу.

— А вы что же, не знали, что он здесь умер? Как же, как же... Хороший человек был, простой. И жена Маруся тоже простая. Сейчас здесь и живет. Каждую неделю на могилу ходит. Раньше ходила по воскресеньям, а теперь нет, народ с вопросами пристает, в воскресенье народу много. Теперь по понедельникам.

И он рассказывает, как Василий похож был на отца внешностью — копия. Как, получив пенсию, делил деньги — это жене на хозяйство, а это — на пропой. Выпьет — и в форме военной ходит, а так, если надо опохмелиться — и в полосатой пижаме по улице ходил. Не на что выпить — попросит. Ему все давали. Сам выпьешь, и ему сто грамм нальешь.

Разговор переходит на отца.

— Тут — всех пересажали. Весь цвет. Из одного университета сразу шестьдесят пять человек взяли. Секретарей горкома — четырех, подряд. Одного возьмут, поставят другого, и этого тоже тут же. Всех героев, кто старый член партии или партизан. Такие люди были — за революцию боролись...

Помолчав:

— Если бы не это, куда бы сейчас ушли. Шутка, голову, можно сказать, срезали. Хуже войны. Сколько Россия перенесла. И живая еще. Сколько войн...

Он ездил за рыбой к знакомому рыбаку в Свияжск, но не застал его. Возвращается пустой. Рассказывает, что «море», подошедшее сюда от Волжской ГЭС у Жигулей, залило замечательные луга — таких на всей Волге не было, всю Татарию сеном снабжали. Говорит о татарах с уважением и отчужденно.

— Татарские деревни чище. Первое — татарин не пьет. А русский Иван... Эх... Все спускает, по неделям заливает. Страшно сказать. Оттого татарин и богаче живет. Вообще мы их называем торгаши. Где магазин — везде татарин.

— Много ли их, магазинов?

— Много в Казани. Конечно, и на производстве тоже мастера есть.

Потом мы едем в троллейбусе новыми городскими кварталами, казанскими «Черемушками» с пятиэтажными белыми скучными домами, и он увлеченно объясняет, что все это выстроено в последние годы, и гордо посматривает на меня маленькими глазками из-под очков.

1965 — Казань

Волга

Волга, хмурая и будничная в эти осенние дни. Баржи, работяги, буксиры, пароходы; серые облака, на которых еще ярче, еще звучнее рыжие склоны правого лесистого берега; проплывший вдали сказкой Свияжск с силуэтами церквей на пасмурном размашистом небе; ночь, замигавшая красно-зеленым на маячках судов, на корме буксиров. Простор, одиночество, ветер, небо — все это приносит на миг ощущение счастья, молодости, жизни, еще неожиданной и желанной. Заброшенность и свобода реки с высокими берегами. Предчувствие этого жило давно. Останутся прохладные солнечные дни в Нижнем, в незнакомой толпе, и хмурая река с солнечно-рыжим берегом, мигающая огнями ночь. И тихая Казань осыпающихся скверов.

5 октября 1964 — Казань

Старики

Ранним утром спускаюсь по улице, внизу вижу Волгу, тусклую полоску воды. Узкие улочки сбегают от центра к реке, здесь тишина, запах осени, домики под низкими крышами. Уют провинции. Переулок Урожайный. Нахожу нужный номер, нажимаю кнопку звонка. Дверь открывает сухонький старичок с бородкой клинышком, внимательно и спокойно оглядывает. Знакомимся. Приглашает в дом.

— Милости просим.

Знакомы мы, собственно, уже давно, но по переписке. Несколько лет назад я получил из Горького письмо — отклик на опубликованный в журнале «Москва» мой очерк о Ларисе Рейснер. Автор письма, Николай Васильевич Карташев, сообщал, что знал Рейснер, плавал с нею в 1918 году на знаменитом «Ване», флагмане Волжской военной флотилии, и описывал гибель «Вани» в бою у Пьяного Бора. Его стариковская память хранила множество подробностей о людях того времени. Я привык получать его письма, написанные крупными, твердыми, как будто нарисованными буквами — он писал левой рукой, правая не действовала после ранения под Ленинградом в Отечественную войну. В одном из последних писем, зная, что я собираюсь на Волгу, он писал в обычном своем несколько витиеватом стиле: «Здоровье, при моем возрасте, пока слава богу сносное, хотя и имеются кое-какие симптомы. Естественные отражения после пережитого за 71 год. Закономерность по диалектике, и если не боялся смерти в бурные дни и годы, то теперь она и с косой своей не страшна. Наверное еще и с Вами можем увидеться при Ваших путешествиях. В случае чего милости прошу ко мне. Места хватит».

Как будто нисколько и не удивившись моему приезду, Николай Васильевич молча проводит меня через темный коридор, и я оказываюсь в маленькой комнатке, заставленной вещами. На стенах — фотографии, и прямо против двери — нечто, сооруженное из дерева и стекла. Под стеклом, в деревянной квадратной раме — небольшой спасательный круг с надписью на нем: «Вечная память моряку и волгарю». Круг покоится на лапах деревянного якоря, и внизу к якорю припаян медальон с портретом бородача-старика. Внутри круга довольно искусно выведено черной краской:

1861

Рождение.

1868

Детство сиротское.

1882

Морская служба на судах флота, конлодка «Сивуч» и фрегат «Светлана», — машинист 1-й статьи, участник кругосветного плавания.

1890

Трудовая жизнь волгаря на реках Волге и Каме механиком.

1930

Кончина жизни.

Сверху, над сооружением, то же лицо, что и в медальоне, только увеличенное — строгие, светлые глаза, черная борода, что-то в облике крестьянско-раскольничье. Под портретом стихи:

Душой с родными,
Душой я с предками,
Чтоб снова ветками
Ожить цветущими.

Николай Васильевич, приятно и тихо улыбаясь, объясняет: готовил на могилу отцу, да на кладбище хулиганят, разбивают памятники, вот дома поставил.

Потом показывает чернильный прибор на своем столике — светлого, начищенного металла якоря, цепи, круги — морская символика громоздится над маленькой чернильницей. По бокам — тяжелые подсвечники. Это сделал отец — мастер был, любил в свободное время возиться, вот такие штуки делать. Приезжали из морского музея, просили отдать как экспонат («матрос-умелец»), но Николай Васильевич отказался.

— Нет уж, — говорит он мне, — после, как помру, пожалуйста, берите.

Так мы знакомимся как бы наново.

В углу, у старинного буфета, сидит полная дряхлая старуха в очках, молча слушает, строго блестя очками. Внезапно взрывается:

— Коля, вот на столе три мухи. Не видишь!

— Где? А, сейчас их...

Николай Васильевич берет пластмассовую мухобойку, лежащую тут же, на столе, как предмет первой необходимости, ловко прихлопывает мух и сметает их на пол. Заметно, что я нарушаю заведенный распорядок. Николай Васильевич, то и дело, прихрамывая, согнувшись в низких дверях, уходит в коридор, где что-то варится на керосинке. Старуха глухо и несвязно ворчит, взрывается:

— Прикрой тарелкой кастрюлю.

— Сейчас, сейчас, Машенька, что ты волнуешься.

Повозившись в коридоре, Николай Васильевич возвращается, роется в шкафчике и вываливает на стол альбом с фотографиями, какие-то папки, брошюры — свой архив. И я вижу бушлаты, бескозырки, вздернутые головы курсантов школы политпросветчиков, наскоро сработанные тугие лица крестьянских детей, волжские буксиры, окрещенные новыми именами: «Авангард революции», «Ваня-коммунист», «Волгарь-доброволец», маленькие суденышки с орудиями на корме, грозные канонерские лодки 18-го года.

В альбоме «Юбилейный», среди прочих фотографий — юноша с винтовкой, кепка сбита на затылок, круглое лицо, недоуменно вопрошающие глаза. Подпись: «Два моих друга детства Володя Реакторский и Евгений Орехов были мной увлечены на такое важное дело. Прости меня, мой друг Володя. Храня светлую память твою. Н. Карташев».

И ниже: «Реакторский В. А. пал смертью храбрых в бою, сражались с врагом. Силу его сокрушая своим пулеметным огнем. У храбрых есть бессмертие, смерти у храбрых нет».

Подписи под фотографиями сделаны знакомыми мне крупными рисованными буквами. Вот группа, человек сорок, стоят, лежат, немного торжественные лица, прямые, неотвратимые взгляды в объектив. Сверху написано: «Матрос — чайка над океаном революции». Внизу: «10 ноября 1918 года, по прибытии с фронта, реки Камы, на зимовку, флотилия успешно окончила и боевую кампанию. Команды были списаны на берег и размещены в красивом доме (дом ясно рисуется на втором плане — пышное обиталище нижегородского пароходика). Однако не прельстил зимний отдых в хороших хоромах. Отправились 29.XII под Харьков на украинский фронт».

И дальше — моряки на конях, и в центре — в папахе, в бурке, строгий, молодой, со щеточкой усов. Стрелка показывает на него, и тушью выведено: «Нач. штаба Заднепровской бригады поездов Н. В. Карташев».

Николай Васильевич тем временем накрывает на стол, ставит нарезанные помидоры, хлеб, масло, сыр и отдельно — яйцо для старухи. Она встает и шаркает к столу, хватаясь по пути то за буфет, то за стул.

Николай Васильевич приглашает:

— Чайку выпьете?

Он снова выбегает в коридор, и старуха ворчит вслед:

— Запрыгал, запрыгал старичок. Все молодым притворяется.

Очки блестят неуютно, и чтобы не видеть их, я рассматриваю гипсовую статуэтку на письменном столике. Это — Николай Маркин, матрос-балтиец, комиссар Волжской военной флотилии и ее создатель, погибший вместе с «Ваней» у Пьяного Бора. Статуэтка сделана любителем, может быть, самим Николаем Васильевичем. Маркин выглядит грозно.

В альбоме «Юбилейный» воспроизведен текст телеграммы Нижегородскому Губкому: «Предлагается оказывать всяческое содействие всех учреждений товарищу Маркину в порученной ему работе. Свердлов».

Ниже телеграмма Ленина без указания адресата: «Удивлен и встревожен замедлением операций против Казани, особенно если верно сообщение, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце».

Попив чаю, отправляемся с Николаем Васильевичем погулять. Поднимаемся на старую Ильинку, улицу купцов, сейчас грязную и унылую. После нее Волга бьет в глаза — высокий берег, равнинное Заволжье, белые пароходы. Здесь воздух, свет, небо — все размашисто, широко, вольно, огромно.

Это и есть Нижний — маленькие домики над простором, над спокойной широкой рекой.

Отсюда не хочется уходить. Слева — красные стены Кремля, справа — набережная и новые дома, и на реке — барки, буксиры, все время какое-то неброское и неутихающее движение. Проходит, покачиваясь на мелкой волне, буксир. Карташев показывает на него:

— Вот, типа «Ваня».

Неужели такой маленький? «Ваня», забияка и легенда 18-го года — всего-навсего вот этот куцый, затерявшийся среди пароходов и барж буксир.

Николай Васильевич рассказывает, что родился на пароходе, в пути между Нижним и Рыбинском. В летнее время с отцом плавал, пока тот был механиком. Учился немного — окончил три класса городского училища. До армии работал конторщиком в акционерном обществе «Хива». В 1915 году призвали и определили служить в кавалерию.

Он внезапно обрывает рассказ и, поеживаясь от ветра, дующего с реки, говорит:

— Я как не на Волге живу. Тут раньше такое было... Везде баржи, баржи, на реке караваны, кажется, не пройдешь. И шумело тут. Подходит пароход — гудок. Отходит — тоже гудит, и каждый по своему. А сейчас — слышите — тихо. Запретили. Плановое хозяйство. Сказали — нельзя, и все.

Верно — тишина, в которой непрерывно что-то движется, снует, работает и дышит.

На следующий день я обедаю у Карташева.

Приходит дочь, уже седеющая, полная, хлопочет на кухне. Николай Васильевич с приходом дочери и особенно взрослой внучки притихает и как-то тушуется. Внучка в красной кофте и плиссированной юбке садится не глядя ни на кого за стол, утыкается в газету. Николай Васильевич ставит на стол кастрюлю с супом, разбрасывает тарелки. На третье подают арбуз, купленный Николаем Васильевичем, белый, несладкий, и весь остаток обеда разговор исключительно вертится вокруг этой неудачи. Николая Васильевича укоряют:

— Ну и арбуз, нет уж, теперь тебе больше никогда не поручим покупать.

Он возражает осторожно:

— А я и так не по поручению. Сам купил.

Дочь и внучка уходят.

Николай Васильевич рассказывает, как его арестовывали в тридцать восьмом году. Взяли десять человек: все ветераны флотилии, среди них и Дойников, знаменитый командир «Ольги», бесшабашный и неукротимый, известный тем, что в самые грозные минуту отплясывал «Яблочко» на капитанском мостике. Обвинили его в терроризме. Продержали Карташева в тюрьме два года, выпустили в сороковом.

— Вы член партии? — спрашивает он меня. — Я — нет. Откровенно скажу — был. Да, был, но потом... Переломилась судьба.

В 1921 году Николай Васильевич оказался во время восстания в Кронштадте и попал в переделку. Сначала сидел у восставших — как не подчинившийся их программе, а потом вышел — с целью разложения в рядах мятежников, как он объясняет не очень уверенно, и — попал. Николай Васильевич пристукивает ладонью кулак. Сидел в ЧК в Петрограде, а потом дали амнистию. Вот и переломилось тогда, с Кронштадта...

— А может, и к лучшему. Один мой дружок был, да-алеко пошел сначала, так и совсем распрощался с жизнью в тридцать седьмом.

После того, как «переломилось», Николай Васильевич прослужил всю жизнь на мелких должностях — завхоза, завскладом, в конторах, и хоть его не миновало в 38-м, так всего два года, пустяк, можно сказать. А все же — уцелел.

Недавно его вызывали к прокурору, кто-то донес, что он, участник кронштадтского мятежа, выпячивает свою роль в событиях гражданской войны. Прокурор, конечно, сам понимает, что ерунда, но раз написали, ответ давать нужно, потому и вызвал, — примирено поясняет Карташев.

— Вот пишут, что вы бюст себе заказали, памятник хотите поставить, — сказал ему прокурор.

У Карташева на столе гипсовый бюст, слепленный местным художником, — почтенное и спокойное, проработанное жизнью лицо старика.

— Просто так сделал, понравился ему, что ли, мой тип, и денег не взял, еще мне предлагал, — говорит, все же смущаясь немного, Николай Васильевич.

В альбом «Юбилейный» после фотографий гражданской войны помещены вырезки из газет — Киров, Косиор, Тухачевский, Варейкис, Гамарник, Якир, Блюхер — портреты и статьи об убиенных и замученных. Тут же — уже от себя — предан анафеме и злодей — «новый Бирон — кровавый деспот» — это написано красными чернилами.

На следующий день отправляемся. Долго едем троллейбусом и трамваем, пока не оказываемся среди длинных барачных домов с развешанным во дворе бельем. Из туманных намеков Николая Васильевича можно понять, что мне предстоит замечательное знакомство, а почему так, это я и сам пойму, когда увижу его друга.

Друг, Кузьма Андреевич Кравченко, на счастье оказывается дома — он встает нам навстречу с кровати, на которой сидел, невысокий, широкоплечий, в широченном матросском клеше и вытертой бархатной куртке. Седая голова, седые свисающие усы, темное лицо, хмуроватый взгляд в упор — все это немного картинно по-стародавнему. Среди обтрепанных вещей своей барачной комнаты Кузьма Андреевич кажется чужим и случайным, посторонним нехитрому и нелюбовному быту, словно бы постоялец, приземлившийся тут на короткий срок. В одной руке у него дымится самокрутка, вставленная в наборный мундштук, другую он протягивает для знакомства. Выдвигает ногой из-под стола табурет, предлагает сесть, и сам снова опускается на кровать.

Разговор сначала не клеится. Потом, словно вспомнив о том, чем может занять гостей, Кузьма Андреевич достает из шкафа какие-то истлевшие бумажки и кладет передо мной узловато набухшими руками. Хлопотал персональную пенсию, не получил — не хватает какой-то справки. Есть такая картина у Репина, говорит он, — дворяне получают пенсию, а рядом стоит солдат без ноги, тоже получает — гроши. Так и сейчас. Эх, — он машет рукою, — кто порох нюхал, тот выходит, так и живи, — он показывает на обвалившуюся штукатурку и грязные стены.

Жена, еще молодая, крепкая, как добрый кочан, коротышка с пышной грудью, стоит молча рядом и, улучив паузу, вставляет:

— Дай, старичок, на баню.

Кравченко, не глядя на нее, достает из нагрудного кармана мелочь, вываливает на стол и, отделив 20 копеек, пододвигает ей. Она берет, вздохнув, и уходит.

Настоящий разговор начинается после того, как мы с Николаем Васильевичем, сходив за поллитром и колбасою, возвращаемся и выпиваем, дружно чокнувшись. Кузьма Андреевич, сгребя со стола справки, относит их снова в шкаф. Чувствуется, что, облегчив душу, он расположился к жизни вполне сносно и хочет поговорить о чем-нибудь стоящем, а не об этой трухе, бумажках. Усердно дымя и время от времени исчезая в клубах дыма, он завладевает разговором с уверенностью заправского мастера, знающего, как зацепить, чтобы слушали и не дышали. О себе он между прочим сообщает, что родился на Украине, на границе с Белоруссией, был печником, маляром, словом, на все руки, пока не попал на флот. Старший брат тоже флотский — герой с «Варяга». Сам он помнит «Потемкина» в Одессе, он тогда там жил, в ремесленном союзе состоял. Плавал в войну на Дунае, на Черном море и, между прочим, топил флот в Новороссийске, чтобы белым не достался, лично топил миноносец «Громкий». Из Новороссийска, потопив корабли, поехали со своим оружием в Москву, а там он встретил Раскольникова: давай, мол, ребята в Нижний. Поехали в Нижний, заняли четыре-пять гостиниц на территории бывшей нижегородской ярмарки. Тут как раз и Маркин появился, флотилию стал сколачивать. Тут и с ним встретился, — и Кравченко кивает на благодушно и размягчено слушающего Николая Васильевича.

Из рассказов Кузьмы Андреевича Кравченко:

Был в Севастополе начальник арестного дома Рахильский. В этом доме Кравченко просидел две недели в карцере — цементный пол, параша, табурет, веник. Спал на боку, подложив веник. В октябре 17-го Рахильского матросы привязали к бревну и рядом положили розги, смоченные в соли. Кто хотел — подходил, и — розгами... И Кравченко сходил. Так под розгами Рахильский и кончил.

— Вот про него расскажу, — показывает на тихого и умиротворенно улыбающегося Карташева. — Коля, где это было?

— В Фастове.

— Так, в Фастове. В девятнадцатом году.

Коля поднимается и выходит во двор по нужде. Кравченко тем временем начинает рассказывать.

— Захватили в Фастове белых. Был приказ всех захваченных офицеров отправлять в тыл, но братва сомневалась, стоит ли, еще чего доброго отпустят. Организовали свою следственную комиссию, что-то вроде трибунала, и Колю туда включили. Вот привели полковника и начали его вроде бы агитировать — как ты, мол, против народа. А он говорит: А

я, с вами, сволочами, разговаривать не буду. Ах, так. Расстрел! Поставили спиною, и — по врагам народа. Еще в тыл такую контру везти.

— Был у меня на флоте дружок — Найденов. Развитой такой. И пел хорошо — бас у него. И на гитаре играл. Вот соберемся где-нибудь в уголке и поем. А он был революционно настроенный и песням меня учил хорошим. — Кравченко умолкает на минуту и запевает хриплым, но все еще звучным баритоном:

«Очаков», борец за свободу,
Он честною кровью залит,
И жертвой за дело народа
«Очаков» на рейде горит.
Снаряды летят с «Ростислава»,
«Очакова» борт решетят,
А в кубрике раненых много,
Но сдаться борзым не хотят.
Товарищи, трудно нам было
В борьбе за свободу стоять,
Смотрите — армейские пули
И с крепости бомбы летят.

Кончив и переведя дух, он вдруг выпрямляется:
— Да чтоб я сдался кому. Ни белым, ни черным. Никогда.

— В Севастополе было. Идем мы как-то на Корабельную сторону, а там туннель есть. Смотрю, у туннеля сидит наш морячок, руки поднял, а над ним черкес с винтовкой. Я говорю: братва, снимем черкеса. А я здоровый был. Подвязали мы ленточки под подбородки, чтоб бескозырки не потерять — там надпись на бескозырке, как найдут, сразу узнают, с какого корабля. Подошел сзади к черкесу, раз-раз за горло его и ногою под жопу — под обрыв. Он и покатился.

А оказывается, боцман наш недалеко как раз сидел, в саду чай пил и все это видел. Так. Теперь, значит, вызывает он меня: ты там-то и там-то вчера был? Я все видел. Я сначала отпирался, а потом говорю ему: что ж ты моряка на черкеса меняешь, да этот черкес тебя тоже может повесить за милую душу. Он помолчал и говорит: — Иди.

А после Октября стали судить всех этих шкур. Что там было... Безжалостно — как они с нами, так и мы с ними. Приводят, быстро разберутся, и тут же во дворе шлепали. Привели боцмана этого. Спрашивают: кто о тебе доброе слово может сказать? Он увидел меня и говорит — вот Кравченко. Ну, я и рассказал, как было, что не выдал он меня. Его и отпустили. А у него пять детей в Севастополе. Подошел ко мне: — Приходи, Кравченко, как-нибудь ко мне чай пить.

Приезжал к нам в Новороссийск из Москвы Глебов-Авилов, агитировал, чтобы топили флот. Он сам такой не видный и говорить не умеет,

его и слушать не стали. А когда Раскольников приехал — другое дело. Первое — сам моряк и офицер, а это большое дело, если офицер с матросами пошел. И знали, что Раскольников за советскую власть, тем более был арестован при Временном правительстве. А офицер, который на стороне советской власти, — интересовались им. Выступил он на собрании делегатов всех частей — чувствовалось, есть с кем говорить, и человек в курсе дела. После его выступления согласились топить корабли.

В Фастове захватили женщину — руки в кольцах, красивая барынька. Оказывается — подослана, шпионка. А у нее в местном ЧК — свои. Повели ее расстреливать, поднял браток наган, и вдруг — пуля щелк по нагану. Кто-то из своих выстрелил, из чекистов. Браток сориентировался и говорит: — Ну, раз так, пусть живет.

И отпустили ее. Доложили Антонову-Овсеенко. Тот говорит: пустить ЧК на фильтр. Оказалось, их там девятнадцать человек было, примазались все, тогда это было просто — язык есть, выступить может, а наши уши развесят и слушают. Ну, мы их всех в расход.

На Украине отступали, приказ Федько был: кто не может оружие держать — не брать. Вот уходим, а сзади, смотрим, целый обоз образовался — подводы, кареты, извозчики. Что это? А это, говорят, начальство отступает, ну там разные губкомы и прочие. Здоровые мужики, могут держать оружие, воевать, а едут в обозе. Ах так. Повернуть их. Пусть идут к белым. И повернули. Что там с ними сделали — не знаю.

А врут как. Вот про Железнякова. А я точно знаю — Ленин приказал Дыбенко арестовать Учредиловку. И потом, когда избрали председателем Чернова, Ленин говорит Дыбенко — отменить, не надо. А тот ему — как отменить, приказ дан, и я буду выполнять. Потом, когда большевики ушли, Дыбенко убил двух тут же на трибуне — Шингарева и кого-то еще. Доложили Ленину, а тот говорит — молодец!

Под конец, уже стоя в дверях и попрощавшись, Кравченко рассказывает, как в конце двадцатых годов под Магниткой, где он тогда жил, был киргиз Юсуп. Забрали у него баранов, стал торговать на базаре, продавал плетенные из кожи кнуты. Раз Кравченко спросил его:

— Ну, Юсуп, хороша советская власть?

— Хорош, хорош, десять лет мимо ходить буду, не подниму.

Кравченко смеется, усы распушились. Выходит с нами во двор. Отворачивается, шарит рукой по штанам.

— Да ты в клеше, без ширинки, — говорит ему Карташев.

— Где?.. А, да...

Кравченко, махнув рукою, уходит, прихрамывая.

Прошло месяца два, прежде чем я, вернувшись в Москву, получил письмо от Карташева. Он, как обычно, сообщал домашние новости, и между прочим — что готовится стать прадедом. Писал, что Куйбышевс-

кая киностудия готовится снимать фильм «Легенда о русском Иване», «главная тема вокруг судна "Вани"», — писал Николай Васильевич. «В общем, — заключал он, — колесо истории вертится, говоря образно. Когда-то Ермак Тимофеевич тоже говорил и пел "Сибирь царю покорена, и мы не праздно в мире жили", так и мы, можно сказать, и мы жили и боролись не напрасно. Страна СССР великой в мире стала».

К письмо приложен был листок, на котором сверху крупно было написано: «Печальное сообщение». Дальше следовало:

«15 декабря 1965 года умер товарищ Кравченко Кузьма Андреевич. Старейший черноморец — ветеран Волжской военной флотилии. Рожд. 1885 г. Похоронили 18/XII с. г. при участии ветеранов, знакомых и жены.

Лично я в его лице потерял боевого и славного соратника. Утрата тяжелая и печаль глубокая.

Вы имели с ним встречу и знакомство. Оставили впечатление и поэтому мои подробности уже отпадают.

Вечная ему память!

Н. Карташев»

1965 — Москва

В ауле Ашага-Стал

Мы проехали, поднимаясь в горы, мимо долин и пологих холмов, где белели пятна пасущихся овечьих отар, мимо занавешенных садами саклей с плоскими крышами и на полной скорости выскочили на аульную площадь. Закудин, рыжеволосый лезгин, сидящий за баранкой, резко затормозил. И в тот же миг на радиатор нашего газика взлетело странное существо, закрыв собою ветровое стекло. Не теряя своего обычного спокойствия, Закудин скинул газ. Терпеливо порывшись в кармане, вытащил смятую рублевку и молча протянул через окно. Рублевку взяли. Через секунду ветровое стекло очистилось, и перед нами предстал загадочный человек, упрятанный с головы до ног в просторное двухцветное одеяло, напоминающее костюм арлекина. Половина с головы до ног синяя, половина красная. Голову закрывал островерхий колпак с рожками по бокам и с широкими прорезями для глаз. В руках — суковатая палка, вроде посоха. Арлекин подпрыгнул, взмахнул палкой и сноровисто побежал от нас. И тогда мы увидели, что происходит в центре площади.

Сначала мы увидели через ветровое стекло повисшего в воздухе человека. В руках он держал параллельно земле большой шест и перебирал на месте ловкими быстрыми ногами в синих шароварах. Поверх белой рубахи на нем пламенел ярко-красный жилет. Внезапно он отставил ногу и простоял так мгновение, затем сложил циркуль ног и подпрыгнул. Пробежал несколько шагов — синие шаровары раздулись пузырями, — и снова застыл. И тут я разглядел, что бежит он по канату, протянутому между двумя столбами довольно высоко над землей.

Потом мы вышли из машины и увидели всю большую, заполненную людьми площадь. Справа от нас стояли женщины в ярких длинных пла-

тьях, некоторые с детьми на руках. Слева — плотная и очень серьезная толпа мужчин. Поодаль, в отдельности ото всех — застывшие, как изваяния, старики в папахах и черкесских бешметах. На крышах саклей, окружавших площадь, и на деревьях гнездилась и висела гроздьями ребятня. Стайка оборванных мальчишек шаталась по площади за арлекином, выкрикивая что-то ему в спину. Оборачиваясь, он кидался на них с поднятой палкой, и они рассыпались с хохотом и визгом. Но и сквозь хохот и визг слышался барабан и хрипловатый, сбивающийся на плач звук зурны. Маленький оркестрик, — два человека, — старательно играл у подножия одного из столбов. Иногда барабан бухал вдруг громко, — в этот момент канатоходец подпрыгивал, и площадь замирала в волнении и восторге.

Теперь прояснилось, что делает здесь арлекин с суковатой палкой. Он собирал плату за зрелище, ныряя в толпу и снова появляясь на площади, отягощенный дарами. Это были, как я, присмотревшись, увидел, главным образом платки, преимущественно носовые, но иногда и побольше, вроде косынок. Непонятно было, на что можно употребить такое количество платков. Арлекин охапками сгружал их в большой сундук, стоящий возле незамолкающего оркестрика. Похоже было, что он готовит какой-то фокус, собирается удивить и потешить публику, — вот дунет сейчас в сундук, и платки пестрой кутерьмой взовьются в воздух. Но, освободившись над сундуком от платков, арлекин возвращался в толпу. От него притворно шарахались, а он угрожающе наступал, стучал палкой, прыгал вокруг намеченной жертвы, пока та не откупалась от рогатого сборщика дани. Женщины стыдливо отворачивались от него, отдавая платок. Иногда в мужской толпе удавалось получить рубль или три, и арлекин показывал их в поднятой руке. И тотчас барабан бухал особенно громко, непостижимый плясун на канате подпрыгивал еще выше с каменно серьезным лицом.

Внезапно арлекин вынырнул возле меня. В прорезях колпака, закрывавшего его голову, безумно горели два черных глаза. Он подпрыгнул и замахнулся на меня палкой. Полученную трешку арлекин выставил на всеобщее обозрение. Барабан ударил, канатоходец подпрыгнул, и толпа ахнула, — это был, по-видимому, в честь гостя, особенно безумный прыжок.

Никто не обратил внимания на низкорослых коров, с тощим и маленьким, как кулак, выменем, появившихся на площади. Они неторопливо пересекали ее, опустив головы, видимо, возвращаясь с пастбища, своим обычным путем. Им не было никакого дела до праздника. Но и праздник не желал замечать их. Слишком долго аул ждал этого дня. Мне посчастливилось — я увидел редкое зрелище. Только раз в год, осенью, когда собран урожай, бродячие артисты приходят сюда из соседнего Азербайджана. К их приходу готовятся — женщины стирают и отглаживают платки, их ждут, — узнавая, не появились ли они по соседству.

Прежде на этом празднике все происходило немного по-другому. Собирающий плату за зрелище арлекин выбирал себе в помощь кого-

нибудь из местных жителей, и тот, сопровождая его, показывал, к кому следует подойти, и громко называл фамилию этого человека. Понятно, что названный старался отблагодарить канатоходца и музыкантов не хуже других. Но и сейчас зрители не скупились. Канатоходец был неутомим. Завораживающая фигурка на канате притягивала к себе восторженный и благодарный взгляд площади. Ах, как он был ловок, этот маленький человечек с неулыбчивым смуглым лицом и черной шапкой низко спускавшихся на лоб волос.

Невозможно было научиться всему тому, что он вытворял, — это искусство должно было быть в крови. Оно перешло к нему от прадедов и дедов, тщательно отшлифовавших каждый жест и передававших свое умение потомкам. За балетными па и дикими антраша канатоходца ощущалась глубина и тайна времени, и ясно было, что бродячие артисты принадлежат не нашему миру, слишком обыденному для них, а какому-то другому, где они привольно живут в своих странных костюмах.

Рядом возник Багаудин, молодой учитель из Касумкента с осанкой спортсмена и борца и с университетским значком на лацкане пиджака. Познакомились мы в Касумкенте сегодня утром, и он сразу же вызвался сопровождать нас в Ашага-Стал, куда мы собрались, чтобы посмотреть на родные места знаменитого ашуга, названного Горьким Гомером XX века... Как только мы вышли из машины на площади аула, Багаудин исчез и возвратился в сопровождении высокого, по-горски статного старика в пиджаке и в кепке с большим козырьком. Старик держал за руку маленького мальчика, твердо стоявшего на земле кривыми ножками. С улыбкой доверчивой, откровенной и кроткой гордости он сообщил, что это — сын, и молча насладился нашим изумлением. Сам он тоже был представлен сияющим Багаудином как сын — сын ашуга. Перед нами стояли сын и внук Сулеймана Стальского.

Пустынной улицей мы пошли, покинув площадь, к дому ашуга. Сейчас там был музей, обычно закрытый ввиду отсутствия посетителей. Когда изредка появляются посетители, зовут сына Сулеймана, он директор музея и показывает дом гостям. Все это объясняет дорогой Багаудин. Мирзаюсуф, сын ашуга, по-русски говорит с трудом и предпочитает молчать, выказывая, однако, всем своим видом полное благорасположение. На смуглом лице горца блестят карие глаза, блестят белые зубы. Мальчика он передает первой же попавшейся навстречу женщине, и в руках у него, когда мы подходим к дому, оказывается связка ключей.

Типично южнорусского стиля дом, невысокий, но основательный, крепко стоящий на земле своими белыми стенами, выглядит случайным пришельцем среди саклей аула.

Мирзаюсуф отпирает дверь, и мы входим в маленькую прихожую и оттуда в комнату, обставленную тяжеловесной мебелью тридцатых годов. От комнаты веет удушающей скукой казенного помещения. Стол, буфет, диван, стулья — все это расставлено, как в присутственном месте, — правильно, но без тени уюта. Ничего личного, позволяющего су-

дить о вкусе хозяина. Так ведь не хозяин обставлял эту комнату. Дом и все, что стоит тут, подарено было ашугу правительством Дагестана — об этом рассказывает Мирзаюсуф. Ашуг принял подарок: не принять — оскорбить дарителя, — переехал сюда из своей сакли, ничего не изменив в убранстве дома, ни чему не притронувшись.

В спальне стоит застеленная белым пикейным одеялом металлическая кровать с высокой никелированной спинкой, украшенной по углам блестящими шариками. В углу — рассохшийся шифоньер, необыкновенно вместительный. Рядом — столик, на нем графин для воды, из которого, вероятно, ни разу не пили. Несомненно, ашуга решили приучить к культуре, ничего не забыли, — даже зеркало висит над столиком. Единственное, что напоминает здесь о Сулеймане, — приткнувшийся в углу старинный изящный кумган — кувшин для умывания. Сулейман захватил его с собою, переходя из сакли в подаренный ему дом. Еще была постель Сулеймана — матрац, покрытый ковром, — но ее убрали. Матрац и ковер тоже переехали с Сулейманом — старик заупрямился и ни за что не соглашался лечь на кровать, велел положить матрац на полу и спал на полу, на кровать ни разу не лег. И умер на своем матраце на полу.

Сообщив все это, Мирзаюсуф замолкает и, помявшись, ведет меня через столовую к еще одной комнате. Вероятно, осмотр ее не входит в обычную программу знакомства с музеем.

Комната заперта. Не без труда Мирзаюсуф поворачивает ключ в замке. С порога меня обдает запахом тлена, затхлым воздухом свалки вещей.

В центре комнаты стоит большой гипсовый бюст вождя, некогда белый, а сейчас покрытый пылью и пятнами. Левый толстый ус на изображении грозного властелина отпал, и все же лицо его еще способно, очевидно, внушать трепет. Мирзаюсуф смотрит на него с испугом. Давно, должно быть, он не заглядывал на эту свалку и ничего не знал о случившемся. Он нагибается и шарит по полу, бормоча что-то под нос, верно, ищет отпавший ус. Поднимается, побурев от прилившей крови, подходит к бюсту и рукавом стирает с него пыль. Властелин угрюмо смотрит из-под могучих надбровий мертвыми глазами. Мирзаюсуф трогает руками голое место над его губой, сокрушенно цокает языком.

За бюстом криво висит на стене большое полотно. На первом плане тут ашуг перед Сталиным. Сулейман, как можно понять, только что закончил песню и весь еще во власти охватившего его вдохновения. Лицо его светится, вот-вот он воспарит над землей. Сталин аплодирует, пряча в усах улыбку. Поодаль стоят его соратники, по преимуществу в таких же кителях, как и он, и тоже улыбаются и аплодируют. Это триумф Сулеймана: Гомер XX века, по замыслу художника, достиг в этот миг вершин своей земной славы.

И всюду, куда ни взгляни, стоят еще с десяток картин и бюстов, и везде заметны усы, китель, сапоги, трубка. Просто невозможно себе представить, как все это размещалось в доме.

Одно из полотен посвящено встрече Сулеймана с Горьким на первом съезде советских писателей. Почему и оно попало сюда, на свалку?

Рассказывают, что Горький, увидев среди делегатов съезда горца в папахе, державшегося с необыкновенным достоинством, подошел к нему и спросил:

— Кто ты?

— Такой же старик, как и ты, — ответил, якобы, Сулейман. И ответ этот очень понравился Горькому.

Мирзаюсуф смотрит на меня, и я читаю в его глазах невысказанный вопрос и понимаю, для чего он привел меня сюда и показывает все это. Что случилось? До сих пор он так и не понял, почему вдруг потребовалось выметать все это из комнат. Может быть, приезжий человек из Москвы что-нибудь объяснит? И он ждет, не осмеливаясь спорить, надеясь на удачу, — а вдруг приезжий поймет и заговорит сам. Но приезжий молчит. Начинать этот разговор не хочется, слишком долго пришлось бы говорить. И в свою очередь, прочитав в глазах невысказанный ответ, Мирзаюсуф запирает со вздохом комнату.

На улице нас обвевает ветер, несущийся с холмов и долин, напоенный запахами осенних садов. Аул же прикрыт быстрыми южными сумерками, и пока мы доходим до сакли, где живет Мирзаюсуф, становится и вовсе темно. Оказывается, это та самая сакля, откуда Сулейман переехал в подаренный ему дом. А здесь осталось еще потомство, как видно, довольно многочисленное. Во дворе, куда мы заходим, заметно оживление, слышатся женские голоса, мелькают быстрые тени. В нижнем этаже сакли — хозяйственные помещения, где хранятся припасы, держат овец, коз и птицу, оттуда, из темноты, доносится кроткое овечье блеяние и всполошенный птичий крик.

Верхний жилой этаж освещен. Мы поднимаемся по скрипучей лестнице. Мимо нас, склонив низко голову, проскальзывает женщина. На аульной площади, в женской толпе было много худощавых, смуглых, большеглазых красивых лиц, и теперь в каждой мелькающей мимо тени чудится красавица.

Галерея верхнего этажа застелена пестрой дорожкой. Сбрасываем обувь, заходим в комнату. На стене висит большой ковер местной работы, у стен стоят сундуки. Посередине комнаты стол, уставленный блюдами и тарелками с виноградом, орехами, яблоками, изюмом, помидорами. Между тарелок и блюд высятся кувшины с едва видным выцветшим орнаментом по пузатеньким бокам. Такие же кувшины стоят на полках, высоко под потолком.

Закудин, до сих пор державшийся все время в тени, вдруг выступает несколько вперед, критически озирает стол, словно недосчитываясь чего-то нужного ему здесь, и внезапно исчезает.

Остальные садятся. Мирзаюсуф во главе стола. Багаудин разливает из кувшинов вино по граненым стаканам. Мирзаюсуф произносит тост, — в честь гостя, его родных и друзей, в ознаменование встречи и знакомства, с пожеланием всем сидящим здесь удачи. Тост произнесен по-лезгински, Багаудин переводит. Чувствуется, что он ревниво следит, все ли идет по чину кавказского гостеприимства, и тост ему по душе.

Над Мирзаюсуфом на стене висит чунгур Сулеймана. Старые стены, высушенные ветрами и солнцем... Старый чунгур, на деке которого заметен след от руки Сулеймана... Если ударить по высохшему дереву этой стены, может быть, и оно зазвенит, как звенели когда-то здесь струны чунгура. Сулейман никогда не расставался с ним надолго. Если уезжал далеко — всегда брал с собою. Мирзаюсуф почтительно смотрит на чунгур, словно видит перед собою отца. Да, да, сколько он помнит себя, он помнит и этот чунгур. Когда отец был молод, он ходил с чунгуром на свадьбы и на другие праздники к богатым людям. Сулейман был бедным крестьянином, но о нем знали, что он умеет слагать песни, и его приглашали на праздники, чтобы он славил в песнях хозяев. За это его кормили и давали иногда деньги, иногда муку или мясо. Отец возвращался домой сытый, но хмурый. Выгонял всех из комнаты, даже жена не смела зайти к нему в эти часы. И сидел один с чунгуром. Сочинял песню о богатом хозяине пира, глупом и жирном, как бараний курдюк. За эту песню ему никто не платил ни деньгами, ни мукой, ни мясом, зато ее приходили послушать издалека. То, что сочинял Сулейман на пирах, он потом никогда не вспоминал, а эти песни помнил и, если просили спеть, — никогда не отказывал.

Мирзаюсуф замолкает и делает знак Багаудину, чтобы тот разлил вино.

Мы пьем в память о старом ашуге. Может быть, услышанный только что безыскусный рассказ и объясняет кое-что в причудливой судьбе Сулеймана. Оды его были не более, чем риторикой, но сатирические стихи проникнуты поэтическим и живым чувством.

На первый съезд писателей в 1934 году Сулейман был послан от страны гор, — там еще только возникала письменная литература, но уже давно существовала устная народная поэзия. В Москву, где он до того никогда не бывал, Сулейман приехал никому не известным лезгинским крестьянином, а в родной аул вернулся прославленным ашугом. Горького поразил и пленил облик народного поэта в домотканом бешмете, в чарыках из сыромятной кожи, с чунгуром в руках, слагавшего на глазах у всех свои песни. И не понимая слов его песен, он поверил в могущество поэтического дара певца. Он назвал его Гомером XX века, едва ли осознавая, что предрекает этими словами его будущее. Уж коли Гомер, то должен воспеть мудрейшего из мудрых, храбрейшего из храбрых — главного героя страны.

Вернувшись к себе в аул, Сулейман сложил песню о Дагестане, и чтобы перевести ее на русский язык, приехал молодой человек из Москвы. Через несколько дней перевод был готов. Кое-что там было изменено, и многое написано переводчиком от себя. Но Сулейман возражать не стал. Он сказал молодому человеку: «В моем мешке есть все необходимое, чтобы сложить песню, но не всегда я могу достать оттуда именно то, что нужно. Не будет греха, если вы, грамотные, поможете старику».

И ему помогали.

Сулейман понимал, что его позвали на праздник, и славил в своих песнях всемогущего хозяина праздника. Он знал — если зовут на праз-

дник, то придется славить хозяина. Он всегда приходил на пир, куда его приглашали могущественные и богатые люди, со своим чунгуром.

Одна за другой появлялись его оды: «Светоч мира», «Есть вождь у нас», «Людей облагородил вождь». Его портреты печатали все газеты страны, его имя стало известно каждому школьнику. Только еще один ашуг — Джамбул из далекого Казахстана — мог поспорить со славой Сулеймана.

Однажды его попросили сложить песню к юбилею Пушкина. Его секретарь, — Сулейман назвал его равие — помощник, — рассказал ему, кто такой Пушкин и почему знаменитому ашугу нужно откликнуться на юбилей. И Сулейман откликнулся. Когда было нужно — он не отказывался. Теперь уже никто не приходил к нему послушать песни — их передавали по радио. Но зато за песнями его приезжали из больших городов.

Он получил в награду дом, где стояли чужие и не нужные ему вещи и висели портреты хозяина, — чтобы никогда, никогда он не мог позабыть о нем. Его глаза, привыкшие видеть сады, долины и горы на горизонте, постоянно натыкались теперь на изображение хозяина.

Мирзаюсуф произносит что-то негромкое, обращаясь к кому-то, находящемуся за дверью, и дверь тотчас отворяется, и женские руки протягивают через порог дымящееся блюдо. Багаудин принимает его и ставит на стол. Пахучий дымок вьется над распростертой на блюде индейкой. Таким же путем, — видны только смуглые, сухие, немолодые женские руки, украшенные дагестанским браслетом из витого серебра, — в комнату попадает тарелка с остро пахнущей зеленью.

Из-за двери доносятся приглушенные голоса, и Мирзаюсуф, придвинувший к себе блюдо с индейкой, чтобы разрезать ее и предложить гостям, замерев, вслушивается. Дверь распахивается, и на нас немного испуганно смотрит с порога девушка в коричневой школьной форме. В протянутых руках она держит тарелку. На ней горкой лежит нарезанное ромбиками розовое, горячее тесто. С безумной решимостью шагнув к столу, она ставит тарелку перед Мирзаюсуфом, и тот, поймав ее за руку, притягивает к себе, усаживает рядом, бормоча что-то успокаивающее, ласковое. И нам, мешая лезгинские и русские слова, сообщает, что это дочь, только что пришла от подруги, мать не пускает ее к гостям: не положено девушке среди мужчин сидеть, — но разве такую козочку удержишь, когда ей захотелось посмотреть на гостей.

Девушка, потупившись, слушает отца. Поднимает, осмелев, голову, взглядывает блестящими карими глазами. Она теребит косицы, переброшенные на грудь, видно, ей хочется поговорить, но она не решается. Но тут снова распахивается от сильного толчка дверь, и в комнату входит исчезнувший неведомо куда шофер нашего газика Закудин. Не говоря ни слова, достает из бокового кармана своего зеленого пиджака бутылку московской водки и ставит ее на стол. Выясняется, что за этой бутылкой он и ходил, искал ее неведомо где, — магазины уже давно

закрыты, — и нашел все-таки. Он считает, что московского гостя следует потчевать родным и привычным ему напитком, а не каким-то домашним крестьянским вином. Он разливает всем по стакану водки, — и себе тоже, — опрокидывает стакан и медленно краснеет. Лицо его начинает пылать таким же огнем, как и его волосы.

По дороге в Касумкент Закудин остановил машину у автобусного парка на окраине Махачкалы, выпрыгнул и умчался. Через некоторое время вернулся таким же аллюром и молча схватился за баранку. Нехотя пояснил, что здесь работает его брат, передавал, что попал в аварию, просил приехать.

— Что, разбился? — спрашиваю сочувственно.

— Зачем разбился, так пошутил, — невозмутимо отвечает Закудин.

Ни при каких обстоятельствах он не теряет молчаливого достоинства. Возле Дербента мы едва не налетели на двух старух с детьми, оказавшихся чуть не на середине шоссе. Откуда-то немедленно объявился милицейский лейтенант. Закудин, не торопясь, пошел объясняться с ним, вернулись они к машине вместе, лейтенант заглянул в кабину, улыбнулся, протянул руку для знакомства, сообщил, что пишет стихи, и пообещал, встряхивая руку: «В Махачкале обязательно встретимся, поговорим».

Тем временем Закудин устраивал перепуганных старух и детей на заднем сиденье. Оказалось, что им нужно в Касумкент, они хотели остановить попутную машину и решили, что для этого нужно выйти на шоссе, иначе никто не заметит, не подберет. Некоторое время позади царит гробовая тишина, дети и старухи, укутанные в яркие платки, сидят присмирев. Но постепенно оживают, достают лепешки и мед. Начинается оживленная болтовня. Старухи кормят детей, приговаривая что-то назидательное по-лезгински, Закудин норовит нет-нет, да оглянуться, будто бы за делом, а в самом деле, чтобы посмотреть, что там происходит на заднем сиденье. Видно, что болтовня старух и детей сильно занимает его, но он ничем старается не выдать этого и сохраняет свой обычный вид замкнутой отрешенности.

Но сейчас, выпив водки, Закудин оживляется и обращается к Мирзаюсуфу, просит его о чем-то, прикладывая для убедительности руки к груди. Ему захотелось посмотреть машину, подаренную когда-то Сулейману вместе с домом. Он знает, что такая машина есть, дом мы посмотрели, а машину нам не показали. Почему — добивается узнать Закудин. Надо обязательно посмотреть на машину тоже и, может быть, даже покататься на ней по аулу. А почему нет? Что нам стоит. Все эти обуревающие его желания выписаны на красном его лице. Мирзаюсуф смеется добродушно, отнекиваясь и отмахиваясь, но все же встает, — неприлично отказывать гостю, — и мы выходим во двор. Накрапывает дождик. Закудин светит карманным фонариком, и мы идем, следуя за его лучами, и оказываемся у запертых дверей гаража. Мирзаюсуф поворачивает ключ в замке, распахивает дверь. И мы видим старую вымершую «эмку» тридцатых годов, стоящую в гараже, как в склепе. Луч фонарика подробно исследует это допотопное сооружение — задранный нос радиатора, широкие крылья по бокам, неуклюжий корпус.

Мы стоим под дождиком, и Мирзаюсуф рассказывает, что Сулейману некуда было ездить на этой машине — на базар он привык и любил ходить пешком, а еще куда? Возил иногда ребятишек по аулу. Поехал как-то в пионерский лагерь — пионеров выстроили, они ждали с букетами цветов, бросились к нему. А Сулейман стал ворчать — ну, ну, чего налетели, и пописять старику спокойно не дадут. И сам же первый смеется. Любил шутить.

Мирзаюсуф замолкает, задумавшись о чем-то. Мы тоже молчим. Молча возвращаемся к сакле.

В недрах сакли еще идет какая-то таинственная своя жизнь. Слышатся голоса, скрипит лестница под чьими-то быстрыми ногами. Распахивается в нижних помещениях дверь, и отблеск горящего очага озаряет на секунду склонившееся над ним женское лицо. Может быть, мы уже видели его сегодня, здесь, или же в толпе на аульной площади. За саклей угадывается могучее пространство, зеленые долины и холмы, куда поутру выгонят овец.

Пора прощаться, уезжать.

Руки у Мирзыюсуфа теплые. Он обнимает двумя руками мою руку.

Садимся в газик. Закудин уже угомонился и молчит. Начинаем свергаться по мокрой, блестящей в свете фар дороге вниз, в Касумкент. Закудин отчаянно вертит баранку на поворотах, почти не сбавляя газ. Мелькают выхваченные из тьмы деревья, кусты, столбы, изгороди, сакли, и мы несемся на них и чудом проскакиваем мимо. Мы едем ночевать к Багаудину, где нас ждут его старики, как он уже не раз извещал нас об этом. Багаудин немного навеселе. Ему надоело молчать. И он, подпрыгивая на заднем сиденье, рассказывает о своих стариках, о сестрах. Когда-то его отец проводил в этих местах коллективизацию, раскулачивал и сам женился на дочери кулака. Это его мать. Теперь отец говорит ей, когда сердится, — кулачка. А мама обижается — не понимает шуток. Ах, как он любит своих стариков, своих замечательных сестренок, они еще школьницы, а вырастут — красавицы будут — Майя и Марал.

Чиркей

Обросший бородою молодой горец — местный учитель — хочет показать нам могилу, где похоронен секретарь Шамиля. Это звучит неожиданно — секретарь Шамиля. Вероятно, должность этого почтенного человека называлась в то время как-то иначе. Но учитель упрямо и даже как будто обижаясь замеченному сомнению снова говорит: секретарь.

Мы ходим по аулу Чиркей. Место известное, даже знаменитое. Когда-то здесь побывали Лев Толстой, Полежаев и, как ни странно, Александр Дюма. Любознательный француз проник в самое сердце кавказских гор. Можно себе представить, как должны были поразить его эти неприступные вершины, обступающие сейчас нас со всех сторон. Серый камень в глубоких трещинах подымается в небеса. Дома из того же камня. Бугристые стены, и в них прорублены маленькие окна-бойницы.

Если пожар — сгорают только плоские деревянные крыши, двери и скудное убранство жилищ.

На въезде в аул — узкий мост, под ним ревет свирепая маленькая речушка — Сулак. Невдалеке строят гидроэлектростанцию, там видны подъемные краны и еще какая-то техника, нелепая среди дикого камня гор. Шофер, огненно-рыжий лезгин, осведомляет, что, когда построят плотину, Чиркей и все это, все, что мы видим сейчас, зальет водой. А жителей аула переселят вниз, в долину. Мы проезжали ее час назад. Унылая равнина, поросшая скучной зеленью, плоская скудная земля. Она уже названа — словно в насмешку — «Долиной красоты». Там тоже что-то строят — стоит барачного типа, со множеством окон, длинный дом, вероятно, контора строительства, и снуют самосвалы, возят кирпич.

Невозможно поверить, что Сулак, ниточкой мелькнувший внизу, подымется вдруг из темной глубокой расщелины и зальет аул. Он привычно кипятится и брызгает, стиснутый в берегах, и несет свою извечную службу, поит виноградники и сады. Но все подсчитано и рассчитано. Придет час, где-то повыше, — этого места мы не видим сейчас, — встанет плотина, и Сулак подымется и зальет.

На бешеной скорости пролетаем мост, и машину встряхивает на каменистой дороге. Сразу же за мостом — сторожевая башня, охранявшая прежде аул от равнины. Безжизненная и тихая, она достойно ожидает конца.

За башней площадь аула, и в центре ее — мечеть. Над площадью, над мечетью, кружат орлы. Что высматривают они внизу? Может быть, они еще видели Шамиля? Они возникают из-за гор и, медленно покружив, уплывают за вершины.

В мечети — склад, на двери пудовый замок. У стен ее — геникон, так называется место, где собираются мужчины обменяться новостями и поговорить о делах. Сейчас здесь, прячась в тени от зноя, сидят старики. Увенчанные тяжелыми папахами на маленьких головах, вытянув тонкие ноги в чарыках, они молча глядят куда-то поверх и мимо вас, не замечая пришлых людей. О чем думают они? О «долине красоты»? О воде, которая зальет Чиркей? На площади, освещенной солнцем, пустынно. Иногда проходит закутанная платком до глаз женщина в длинном платье. Она идет к источнику за водой. С пустым кувшином она быстро, не глядя по сторонам, минует площадь. С водой медленно возвращается, опустив голову, придерживая рукою кувшин на правом плече. Среди тяжелого камня гор и домов вековое изящество ее походки поражает как искусство неведомого, но великого мастера.

Молодая горянка — брови в ниточку — успевает с диким любопытством взглянуть на нас краешком глаз и проплывает мимо, семеня едва видными из-под платья ножками.

Учитель, помявшись, несмело и медленно приближается к старикам. Высушенные солнцем и временем, неподвижно застывшие у стены, они напоминают издали изваяния, и странно видеть, как бородатый горец заговаривает с ними. Переговорив, может быть, спросив у них разрешения проводить гостей, он возвращается, и мы идем на кладбище. По дороге учитель объясняет, что бороду отрастил в знак траура по умершему

родственнику — бриться по закону нельзя сорок дней. По этой же причине — траур — он не может пригласить нас домой, принять как почетных гостей. Видно, что он удручен и даже подавлен этим.

Кладбище сразу за аулом, на пологом склоне горы. Стоят, издали похожие на стариков у геникона, каменные столбы. Наденьте на них папахи, дайте им посох в руки.

Бродим по каменному, просвеченному насквозь солнцем безлюдному печальному лесу, ощущая под ногами твердь скалы. Ни единой травинки, все выжжено тут не то солнцем, не то едкой кладбищенской тоской. На некоторых памятниках старинный орнамент и едва видные стершиеся письмена. Учитель, наклоняясь, вчитывается в них. Наконец, остановившись, молча показывает — здесь. Могучий, потемневший гранитный столб, и на нем чьей-то искусною рукою выбит шамилевских времен пистолет и кинжал.

Каждый день, на закате солнца, старики приходят на кладбище — помолиться, вспомнить об ушедших и попрощаться перед разлукой — ведь скоро придет вода. Кладбищу этому восемьсот лет. Об этом учитель рассказывает, пока мы возвращаемся к машине. Справа от нас пустынные террасы, амфитеатром поднимающиеся вверх. Когда-то на этих отвоеванных у камня площадках были виноградники. Проходим большой дом под железной крышей. Он принадлежал местному богачу, отличавшемуся, как рассказывает учитель, щедростью. Иногда он приказывал своим чабанам прогнать через аул отару овец, и каждый, кто успевал, мог выхватить себе из отары овцу.

Сейчас в его доме больница. Мелькает белый халат, и сразу же, как по команде, свешивается из окон с десяток голов, рассматривают нас в упор.

Отсюда, из Чиркея, Шамиль ушел в горы Аварии, надеясь отбиться там от завоевателей среди еще более неприступных скал. Вдалеке отсюда аул Гуниб, где Шамиля захватил в плен князь Барятинский.

Солнце уже спустилось к горам и высвечивает напоследок резким светом узкие улочки, сумрачную мечеть, минарет, озирающий пустым оком этот застывший мир. Старики, опираясь на посохи, сидят по-прежнему на гениконе. Близится час, когда они поднимутся и неторопливо отправятся помолиться к древним камням.

Садимся в машину, шофер включает газ и нажимает на акселератор. Чувствуется, что ему не терпится убраться вниз, где ездят и гудят машины, где толчея и жизнь. Пролетаем мост, успевая все же услышать, как привычно ревет внизу ничего не подозревающий об уготованной ему судьбе Сулак. Скоро, скоро он умолкнет навсегда, станет тихим спокойным озером, на дне которого замрет, как град Китеж, Чиркей.

Октябрь 1965 — Дагестан

Зал Шамиля

— Вот этими пушками нас покоряли.

Поэт Юсуф Хаппалаев небрежно и снисходительно, с улыбкой авгура и мудреца, похлопывает чугунные жерла старинных русских пушек у входа в краеведческий музей в Махачкале.

Старательные макеты древних поселений. Скучные чучела зверей. Изделия крестьянского Дагестана, и среди них пустые бутылки из-под знаменитого местного коньяка. Директор музея, худой и скорбный горец в кепке, с желтым, изъеденным болезнью лицом, вероятно, язвенник, пожелавший сам провести по залам гостей, рассказывает, скрывая неловкость за усмешкой, как Расул Гамзатов привел сюда на днях чешских друзей и предложил угостить их музейным коньяком. Тут же раскупорили, сняв с полок, бутылки.

Светлая просторная комната, самая большая в музее, посвящена Шамилю. Это — неиссякаемый источник национальной гордости, средоточие всех рыцарских добродетелей воинственного и храброго племени, почитаемый тут повсюду Шамиль. В комнате — оружие, фотографии, картины, знамена свисают со стен. Директор, не задерживаясь, почти бегом, словно спасаясь от погони, с невнятным бормотанием минует ее. Возвращаюсь, чтобы понять, от чего он тут бежал.

Я вижу в центре зала большое красочное полотно известного в прошлом веке баталиста Гагарина, сопровождавшего генерала Паскевича в его усмирительном походе на Кавказ. Картина называется «Пленение Шамиля князем Барятинским». Полководец, отдыхая от ратных трудов, удобно сидит в кресле, на фоне снежных вершин Кавказа, в окружении пышной свиты, дороден и румян. Со спокойным любопытством победителя и властелина он рассматривает стоящего перед ним, напряженно выпрямившись, безоружного горца, в зеленом бешмете, в высокой папахе, с длинной бородой.

Шамиль написан наскоро, без деталей — сухая, как жердь, фигура с безжизненным и острым, словно сабля, лицом.

Сентябрь 1974 — Дорохово

У иранской границы

Едем в Фирюзу, ущелье в сорока километрах от Ашхабада, где летом ашхабадцы скрываются от жары. Едем пустынной равниной, мимо древней, величественной некогда Нисы, столицы могущественного парфянского царства. Ниса пугалом стоит у дороги. На утреннем солнце тускло желтеют невысокие глиняные стены, изъеденные ветром и временем, и за ними видны развалины того же глиняного скучного цвета.

Возле небольшого мутноватого озерца, названного почтительно и любовно «Семь источников», останавливаемся, пьем теплую, невкусную воду. Это все же достопримечательность, всем тут известная, потому что — вода.

Затвердевшая земля со скудной растительностью, поставленные при дороге глинобитные домики аулов с плоскими крышами. Тихо и безжизненно вокруг, как за стенами Нисы.

Но вот возникают холмы, и вскоре мы въезжаем в ущелье. Узкая между скал дорога, серый камень нависает над головою. Прохлада, свежесть весеннего утра, пахнущего садами. Внезапно платаны заслоняют небо. Это — Фирюза.

В тени семиствольного платана, где свободно мог бы уместиться дом, стоит одиноко девушка в длинном до пят шелковом национальном платье. Здоровается, застенчиво отвернув лицо.

Отсюда видна граница. Мимо садов и дач, скрытых за зеленью, доезжаем до заставы, упираемся в забор. Дальше — Иран.

Поворачиваем обратно, долго петляем по нежно зеленым, весенним склонам, пока не находим нужную нам ленточку асфальта.

Мы едем в аул. Атаев, офицер военного времени, секретарь местного отделения ветеранов войны, деятель несколько неопределенного профиля, бывалый человек, писатель, любитель пожить и симпатичный малый, заводит нас в дом своих аульских родственников.

Снимаем ботинки и, ступив на грязные ковры, заходим в комнату. Глава семьи, преподаватель физкультуры — в школе, а остальные — бабушка, мать, пятеро детей — сидят на ковре перед большим, со множеством сверкающих рычажков, телевизором. Передают из кремлевского дворца праздничный концерт для делегатов XXIV съезда партии. Певцы, чтецы, танцы на льду, гимнастика. Иногда показывают ложу с правительством. По-русски в комнате никто не понимает ни слова, но смотрят и слушают истово.

Бабушка, подавая руку, смеется, открыв белозубый рот. Она в застиранном и вылинявшем платье. На молодой все горит цветами, красный шелк до щиколоток, из-под него — пестрые шаровары, и на голове яркий, с крупными цветами платок.

Нас сажают в углу, ставят на ковер угощение — лепешки, мед, холодная баранина с рисом, приносят чай. Привыкнув к нам, дети снова впиваются в телевизор, а мальчика лет двенадцати, старшего из сыновей, усаживают играть со мною в шахматы. Он безразлично и послушно достает доску, расставляет фигуры.

Как бы между прочим Атаев сообщает, что мой противник — чемпион школы по шахматам, посмеиваясь, рассказывает, что мальчик, — его зовут Ашир, — обыграл недавно одного московского сценариста, заехавшего сюда с Атаевым. Сценарист очень расстроился, бедняга, все не мог успокоиться, так, расстроенный, и уехал в Москву.

Кажется, я тоже предназначен в жертву юному божеству. Сидя на ковре за моей спиной, Атаев ревниво поглядывает на доску и дышит в затылок. И я вспоминаю, как на днях у себя дома он рассказывал мне о шахматисте-туркмене, знаменитом не у себя на родине, где никто и сейчас ничего не знает о нем, а на арабском Востоке, где тот жил в давние времена. И, доставая с полки толстый том, он открыл его на нужной странице, чтобы я немедленно убедился, что он ничего не выдумал и шахматный гений из туркменов действительно существовал.

Мой соперник не чувствует груза возложенных на него надежд. Его мальчишеская голова с ежиком коротко стриженных волос спокойно покачивается над доской. Будто забавляясь, он молча переставляет фигуры, с кроткой готовностью выиграть или проиграть, как повезет. И я впервые за много лет чувствую не только удовольствие от игры, но и

прелесть бескорыстной забавы, прелесть горелок, пряток, — что-то позабытое и невозможное сейчас.

Провожают нас всей семьей. Бабушка улыбается беззубо, Ашир, спрятавшись за нее, машет рукой. Мать стоит с младшей, обхватившей ее за шею.

Возвращаемся бесцветной равниной. Проезжаем стадо и изящного всадника в высокой папахе, с белой бородой, сидящего на лошади с юношеской грацией. Атаев, посмеиваясь, рассказывает, что этот старик-пастух в молодости был парикмахером и как-то, желая посадить клиента поудобнее перед зеркалом, схватил его за голову и сломал шейные позвонки.

Апрель 1971 — Алма-Ата

Народный художник

На ашхабадской улице, возле картинной галереи, Атаев знакомит меня с худощавым подтянутым человеком в темном — несмотря на полудневную жару — костюме. Иззат Клычев, народный художник Туркмении, гордость туркменского искусства. Только что мы стояли в галерее у его большого, во всю стену, полотна. Гражданская война, проводы красноармейцев на фронт. «Это наш шедевр», — сказал Атаев.

Отец Клычева был учителем в ауле. В 29-м году комсомольцы сожгли его библиотеку — книги на ненавистном арабском шрифте, религиозный дурман, проклятое прошлое, подлую кабалу. Старик-учитель не пожелал смотреть на этот костер. Как стоял спиною к нему, так и ушел, не оборачиваясь, в пустыню. Уехал с раскулаченными, — хотя и не был кулаком, — в Сибирь. Там и вырос сын. Юношей попал на фронт, стал художником и восславил революцию, написал эту весеннюю, возвышенную, романтическую балладу в краске, с фигуркой задумчиво глядящего куда-то поверх голов и как бы желающего прозреть времена мальчишки в буденовке на верблюде, парящем над немного печальной песчаной туркменской землей.

...Иззат Клычев снимает темные очки — усталые, узкие азиатские глаза на чахлом лице.

18 июня 1971 — Алма-Ата

Кем был Надир-шах

Разговор с Атаевым о туркменах

Мы в его кабинете — ковры на полу и по-европейски — книги на полках через всю стену. Над столом — сабля и на куске материи — ордена: Боевого Красного знамени, Александра Невского, Отечественной войны, — и множество медалей. Рядом — большая групповая фотография недавнего времени. В центре маршал Конев, а сбоку плутоватое лицо со шелками глаз и большим толстым носом — Атаев щурится в добродушной и счастливой улыбке.

Эту улыбку неиссякаемого собеседника и обаятельного собутыльника я уже знаю. Но сейчас Атаев серьезен. Он включает магнитофон с записью туркменской песни, и я, спохватившись, сбрасываю туфли — позабыл снять у порога.

Пожилая туркменка в длинном национальном платье вносит чай, пиалы, домашнюю лепешку. Расставляет молча на низком столике. Атаев осведомляет небрежно:

— Жена.

Женщина, улыбнувшись, уходит.

Атаев немного возбужден. Из того, что он говорит, можно понять, что судьба разнесла туркменов по всему свету, а больше всего по Востоку. Персидский властелин Надир-шах был туркменом. Он завоевал Индию, и там, когда он пришел туда, на троне сидел туркмен, и туркменами были магараджи, и еще знаменитый шахматист, один из самых прославленных в арабском мире, был туркменом, и адъютант генерала Корнилова, самый любимый и самый преданный и до конца верный, — тоже туркмен, — и Атаев снимает с полок толстые тома, раскрывает, находит нужные пометки на страницах, показывает, чтобы удостоверить, что все, все так и было. И еще, — он понемногу распаляется, — туркмены пришли в Грузию, и туркменский полководец был приглашен царицей Тамарой, встретившей его, как и подобало встречать победителя, — со смиренной готовностью принять его волю. И пока она выполняла его волю, этот, ну, как его, который написал «Витязя в тигровой шкуре», он же был придворный музыкант, так он играл — та-та-та, — а грузинская царица услаждала тем временем героя...

В глазах Атаева вспыхивают сумасшедшие огоньки.

— Про Петра когда-нибудь тоже напишут правду. Ведь отцом Петра на самом деле был кто? Никон. А Никон сам из Астрахани. Род его идет от астраханского туркмена, принявшего православие, — там много было туркменов.

Когда мы выходим на улицу, Атаев уже спокоен. Подчеркнуто спокойно, как гид, он рассказывает, что у туркмен всегда было мало интеллигенции, но и ту, что была, — брали, брали... И он протягивает, не сдержавшись, руку и для наглядности загибает пальцы:

— В революцию брали, в басмачество — брали, и в 29-м, когда коллективизация и уничтожали арабский алфавит, — брали, и в 37-м, и в 49-м. И все за национализм. А теперь боятся вспомнить, что Надир-шах был туркменом.

И его цепкие пальцы автомобилиста один за другим складываются в крепкий кулак.

23 апреля 1972

Люля-кебаб в Бухаре

Маленький поваренок-узбек на полдневной, залитой солнцем улице Бухары раскладывает на жаровне шампуры с наскоро налепленным мясом, что-то вроде люля-кебаба. Мясо дымится, мальчишка в высоком

поварском колпаке прыгает у жаровни, быстро вращает шампуры. Сзади него столик с металлическими тарелками, залитыми застывшим жиром, крупно нарезанный грязноватый лук и бутылка из-под водки с уксусом, которым он кропит свое изделие.

Подходит рыхлая русская баба. Поваренок сбрасывает с шампура на тарелку красноватое, недожаренное мясо, закидывает луком и плескает уксус.

Неловкое движение, и уксус льется из бутылки жирной струей. Баба в сердцах вырывает свою тарелку:

— У-у, разъебай ростовский! Грома небесного на вас нет!

Она замахивается на поваренка, но тот, увернувшись, продолжает деловито сновать между столиком и жаровней.

Баба отходит и, помакав пальцем в тарелку и слизнув с него, кричит уже беззлобно и безнадежно:

— Это у тебя уксус или вода, пащенок?

Пащенок молча вращает шампуры, хватает жирные тарелки, поливает из бутылки, не глядя по сторонам.

16 апреля 1971 — Бухара

Гур Эмир

Гур Эмир, как ничто другое в Самарканде, дает ощутить величие древней истории города, столь далекой от нашего европейского сознания. Восточные деспотии поражают воображение, но чаще всего остаются за пределами нашей интуиции. Она не охватывает этой пестроты и дальше чисто внешних впечатлений проникает с трудом.

Но Гур Эмир можно понять. Это всеобщий язык — золотое великолепие огромного купола, опрокинутого над чернью нефритовым камнем могилы Тимура. Из узких окошек на высоте льется помалу свет, золото тускло мерцает, нарядные сталактиты и узоры приглушены, чтобы ничто не отвлекало от высокого созерцания. Нет, не печаль, не склеп, не могила, не загробность — ничего этого нет в Гур Эмире. Тут варварское наслаждение властью, земным величием, необъятностью совершенного, беспредельным поклонением, и лишь искусство смягчает грубый язык этого похотливого вожделения, заставляет забыть грязь и кровь деспотии и возносит хвалу ее дерзновенной воле и необъятной мечте.

А башни из человеческих тел? А тот дворик, куда Тимур повелел собрать младенцев покоренного племени и куда въехал на лошади и топтал детей?

Гур Эмир с великолепным пренебрежением проходит мимо земной греховности, и ни единая слеза не туманит золотое сияние его стен.

18 апреля 71. Алма-Ата

Николай Федорович

Мой путь в школу по Владимирской, освещенной весенним солнцем, мимо сквера с «Золотыми воротами». Днепр, лодка, теплый песок,

теплые, прогретые солнцем сухие доски лодочной станции, тишина узких протоков, заросшие камышом берега старицы — старого днепровского русла. Николай Федорович, долговязый, худой, большелобый, светлые глаза за очками — ощущение чистоты от рук и единственного костюма, его кабинет биолога в школе, заставленный растениями в горшках и кадках, и он тоже — из этого зеленого мира — за своим столом. Спокойствие, тишина, большие глаза, сдержанное тепло внимания и слегка суховатой дружественности, от которой веет еще не понятой, но уже навсегда полюбленной интеллигентной опрятностью. Его широкополая шляпа и висящее на костлявой, сухой фигуре пальто тоже очень шли ему. И он — в соломенной шляпе, непомерно большом «брыле», на днепровском песке, шагающий неутомимо вместе с нами далеко, к Десне — сухой песок, жаркое солнце, теплая, ленивая река, тишина — прелесть лета, бездумной и преданной любви к этому миру. И еще — комната в его квартире, со стародавним буфетом, застеленный чистой скатертью стол, чай с молоком и ситный хлеб — всегдашнее угощение, и чтение вслух; здесь впервые я услышал имя Хемингуэя, Николай Федорович читал только что появившуюся «Фиесту», то место, где о ловле форелей, и запомнилось, наверное, потому, что сдержанность и чистота этой прозы как будто принадлежали ему. Он был законченно точен как раз в том, что дается труднее всего, если хочешь этому научиться, — в простоте и естественности жеста, взгляда, не отстраняющего, а притягивающего, приближающего, и это никогда не было обманным, и все вместе сливалось в ощущение надежности, истинности, необходимости.

Его смерть — вдалеке, в Самарканде, куда он уехал летом, чтобы навестить друга, художника, жившего прежде в Киеве, — была первым острым горем.

В Самарканде в годы войны я лежал в туберкулезной больнице. Перед отъездом ходил на кладбище, искал могилу его и не нашел.

Через много лет я снова оказался в Самарканде, и водили меня по городу две старушки. Я получил их телефон от Виктора Некрасова, которому они незадолго до того показывали Самарканд, позвонил и передал привет от него, как он просил, и обе тут же предложили встретиться, «если могут быть полезны». Ранним утром следующего дня мы встретились в вестибюле гостиницы, — они сидели, сложив на коленях руки, в шляпах из давних и уже позабытых лет, молчаливо напряженные...

Пасхальный вечер

Странное восточно-европейское застолье под весенней самаркандской луной. Смуглые, яркоглазые люди со сросшимися густыми бровями. Говорят между собой по-таджикски — это родной их язык, а ко мне обращаются по-русски. И я впервые слышу произнесенное с оттенком отчуждения и некоторой иронии, скорее всего защитной — «европейский еврей».

Пасхальный вечер в доме бухарских евреев. Рядом со мною горбоносая старуха с огненными глазами и забранными под яркий платок седыми прядями. Она как будто в гостях здесь, сидит, сложив на коленях темные высохшие руки, иногда перекладывает с места на место нож, вилку, словно не решаясь пустить их в ход, больше молчит, но когда заговаривает со мною на чистом русском, невольно украдкой оглядываешь этот несомненный и даже избыточный Восток, заметный во всем, в повадках, в красках, глядящий из глубины живых, ясных глаз, упрятанных глубоко под нависающими бровями.

Это — мать, главный человек в доме, и пасху справляют здесь по ее настоянию, праздничный ритуал соблюдают под ее неусыпным наблюдением. Когда-то она была яростной комсомолкой. Об этом тихо сообщает моя соседка слева, Раиса Анатольевна, и из ее рассказа постепенно возникает иконописный образ, девушка в красной косынке, воительница за женское равноправие и ненавистница паранджи, обучающая неграмотных и забитых — на курсах ликбеза. И я безуспешно пытаюсь рассмотреть в высушенной годами и солнцем старухе эту девушку, это отдаленное временем и понятное мне существо, к которому меня обуревает вдруг нежность и родственная любовь.

Однако старуха не поддается превращениям. Разглядеть в ней ничего не удается, кроме резкого профиля, упрямого подбородка и сдержанности, с какой она незаметно руководит ритуалом праздничного стола.

Раиса Анатольевна еще успевает сообщить, что покойный муж старухи, отец детей, сидящих сейчас за столом, тоже из первых комсомольцев и был председателем известного на всю республику колхоза. Ей до смерти хочется поговорить о странностях жизни, о пасхе в доме первых комсомольцев. Огонек чертовского любопытства к жизни, к людям вспыхивает под тяжелыми веками в ее выпуклых глазах.

Война забросила ее из Ленинграда в эту даль, и она осталась тут, — не к кому и некуда возвращаться, все позади разрушено и загублено, и не только войной. В молодости она воевала в Испании, была переводчицей в Интербригаде, потом, как и многие другие, из Испании вернувшиеся домой, была арестована по обвинению в измене родине, прошла крестный путь допросов и очных ставок в «Большом доме» и просидела несколько лет в тюрьме. Сейчас она доживает свой одинокий век среди книг, фотографий и воспоминаний.

Второй вечер пасхи, не такой торжественный, как первый, и все же за столом вся семья, кроме младшего, — две дочери, сын, невестка. И длинный стол заставлен едою и бутылками. Мне наливают сахарный самогон, который называют домашней водкой, и угощают изысканным блюдом здешней еврейской кухни, зеленым пловом, — это рис с пряной зеленью и бараниной, сваренный по-особому, в мешочке, из которого его вываливают на блюдо, и он лежит зеленоватой дымящейся горкой в центре стола.

Разговор сначала что-то не клеится. Говорят о тех, кто приезжает издалека смотреть Самарканд и удивляются, стоит ли? Ну, мечети, ну, старые медресе. Правда, старшая дочь, врач, молодая женщина с тяже-

лым пучком крашеных медно-рыжих волос и с ранними резкими морщинками в уголках рта, стыдится немного этих пересудов. Когда мать выходит ненадолго, она говорит мне со смешком, что не может ничего есть из того, что стоит на столе, — болеет печенью, а на молочное — запрет, в доме держать не положено в эти дни, и мать не разрешит. Тайком от нее она купила творог и прячет в своей комнате, поужинает потом.

Она занимает гостя с вялой любезностью, но вот разговор незаметно соскальзывает на старину, и она вдруг оживает, глаза загораются, на смуглом лице пробивается румянец. И она рассказывает, с вызовом, адресованном неизвестно кому, то ли случайному гостю, который исчезнет через час навсегда, то ли материнской молодости, красной косынке, ликбезу, — тем временам, когда с беспечной легкостью и, как казалось, навсегда отсекалось старое и никто не хотел ничего ни знать, ни думать о нем.

Бухарским евреям не разрешено было ездить на лошади, и на улице они могли появляться не иначе, как подпоясавшись веревкой. Это сразу же отличало их в толпе, и каждый мог с чувством законного превосходства пнуть неверного. Некогда предок семьи, собравшейся сейчас за столом, сел на лошадь и был жестоко наказан за это. Его насильно обратили в ислам, и он должен был жениться на узбечке. Но под конец жизни он все же вернулся в родную веру, бежал из Бухары и снова женился и родил детей, и от них, от последних детей его, и пошел наш род, — и, рассказав все это, дочь смотрит на мать, и та кивает, кивает, — все, мол, верно, все, все было так.

Потом, налив себе в рюмку разбавленный спирт и отхлебнув (к черту печень), она рассказывает, как появились евреи в Бухаре. Тут, чувствуется, она не совсем тверда, но смело мчится вперед. В давние, давние времена, когда, изгнанные из Палестины, они начали кочевье по свету, часть их попала в Иран. И тут Эсфирь снесла голову тирану Амману, и евреи за это были изгнаны из страны, и отправились дальше на Восток, и попали в Бухару. И мать снова кивает, и седые пряди выбиваются из-под платка — да, да, все было так.

Разговор снова мелеет. Выпалив свой рассказ, старшая дочь угасает, а младшая занята младенцем, спящим у нее на руках. Приземистый малый с черной щетиной на щеках — сын — молча наливает мне домашней водки.

И тут распахивается дверь и быстро входит высокий юноша с тюбетейкой на копне черных волос, и огненным взором окидывает, не здороваясь, общество за столом.

И сразу все оживают. Все смотрят на вошедшего с ожиданием, словно он должен что-то важное сообщить. Но ему явно нечего сообщить, — он молча садится боком к столу. Ему скучно, но женщины видно привыкли к его бесцеремонности и ухаживают за ним с покорностью младших в доме, пододвигают тарелки, и он нехотя копается в них. Это студент, ученик Раисы Анатольевны, которая успевает сообщить мне об этом и еще о том, что он одарен, даже талантлив, и что вчера он читал тут молитву на древнееврейском языке.

Ах, как он уверенно резок, этот гибкий и быстрый мальчик, и с каким обожанием смотрят сейчас на него мать и старшая сестра. Ну да, это семейный мессия. Что-то невозвратно потеряно в том отошедшем времени, где жила в своей красной косынке мать, и теперь он, с его молодостью, талантами, молитвой на древнееврейском и решимостью, должен указать какой-то иной, новый путь.

Снявшись с места, парень исчезает, так и не проронив ни звука.

Мы поднимаемся, прощаемся. Выходим на безмолвную, темную улицу. Смутно и непонятно все вокруг — самаркандские звезды над головою, дувалы, обступающие со всех сторон, ленинградка из Интербригады, несмело ковыляющая в темноте, подпоясанный веревкой бухарский предок, девушка в красной косынке, старуха с горящими глазами, студент, обжигающий взглядом из-под сросшихся таджикских бровей.

Апрель 1971 — Алма-Ата

Ложка соли

К брату ходил учитель древнееврейского языка. Это был тихий, небольшого роста человек в очках. После урока мать приглашала его к столу, подавала чай, придвигала к нему хлеб и масло. Он выпивал чай, задумчиво помешивал ложечкой в стакане, съедал бутерброд и удалялся, небрежно кивнув на прощанье. Непонятно было, как он может хоть чему-нибудь научить на своих уроках. Он был слишком бесплотен для этого грубого занятия. Он не кричал, не стучал линейкой по столу, и, пока брат неуверенно что-то выборматывал, согнувшись над книгой, он задумчиво смотрел в сад через окно или неторопливо протирал платком очки. О чем он думал? Во всяком случае, это не имело никакого отношения к урокам.

Однажды мы решили подшутить над ним. Придумано было просто. Вытряхнули из сахарницы, незаметно от матери, сахарный песок и насыпали туда соль. К обычному чаю все было готово. Учитель придвинул к себе налитый ему чай, ссыпал две ложки из сахарницы в стакан и размешал задумчиво. Руки у него стыли, и он погрел их, обхватив горячий стакан. Потом неторопливо отхлебнул. Поставив стакан на стол, он еще немного помешал ложечкой и отхлебнул еще раз. Сняв очки, протер их платком и, надев, посмотрел на нас. Он смотрел спокойно и немного грустно, с умеренным любопытством и словно издалека. В его светлых, увеличенных стеклами очков глазах не было ни негодования, ни злости. Закончив осмотр, побренчал ложечкой в стакане и стал пить мелкими глотками и допил до конца. Эти несколько секунд, пока он допивал чай, я сидел, окаменев от ужаса и стыда. Потом он встал и, небрежно, как обычно, кивнув, ушел. С тех пор он не появлялся больше в нашем доме.

Как-то я увидел его на улице. Он прошел мимо, не заметив меня, исчезая непреклонно и быстро, с лунатической отрешенностью.

Воспоминание о Тбилиси

На ночной пустынной улице Авлабара узкая щель, из которой бьет свет и одуряющий запах свежеиспеченного хлеба и древесного угля обдает теплой волной. Он струится в приоткрытую дверь, запах детства и позабытых детских снов, возникший внезапно среди ветхих домов, в тесноте и тихом уюте уснувшего незнакомого города.

За дверью виден глиняный холмик — печь, над которой сгибаются пекаря в белых халатах и высоких колпаках, быстро нашлепывая тесто на ее раскаленное округлое чрево. Протянув деньги, получаю горячий лаваш. Он обжигает руки. Торопливо и неловко сгибаю его пополам. Слышно, как он ломается с нежным и легким хрустом. Обернув в газету, кладу лаваш под руку, как книгу, и иду по узкой пустынной улице, отламывая кусок за куском, ощущая пахучую с подпалинами тонкую корочку на зубах и немного клейкий мякиш.

Лаваш пахнет жаром и чистым огнем пекарни. Что-то первозданное есть во вкусе этого хлеба, теплого, как давнее, обжитое человечье гнездо.

30 мая 1973 — Москва

Джвари

Подъем наверх, к храму, стоящему на гребне горы, на мысу, круто спадающему вниз от его стен.

Издалека Джвари кажется каменным гнездом, поставленным над зеленой долиной реки, над пологими боками холмов. Орлиное гнездо, заброшенное наверх и царящее над округой. Но по мере того как приближаешься к храму, это впечатление исключительности существенно меняется. Да, исключительно, необычно, поражает, но не гордыней заброшенных к небесам каменных стен. Прежде всего ощущаешь, оказавшись вблизи, — спокойствие, тишину, соразмерность. Сложенная из тяжелых, крупных камней, стена не кажется ни тяжелой, ни крупной, и не пугает, не нависает, не грозит. Ничего заносчивого. Материал подчинен тут форме, своей идее, ничего общего не имеющей с «орлиным гнездом».

Необыкновенная прелесть Джвари в величавой простоте. Тут заключен некий урок, в который надо вникнуть. В конце концов, человеческий гений стремится, блуждая и спотыкаясь, именно к этому соединению простоты, величия, целесообразности, выразительности пластических форм, найденной не во внешнем приеме, а в глубине самой идеи произведения. Все это воплощено в Джвари с необыкновенной убедительностью и совершенством, поражающим при первом же взгляде на темно-коричневые стены, простоявшие пятнадцать веков и сохранившие нежный оттенок живой ткани. Это трудно объяснить, но Джвари живет, в нем нет трупной окостенелости и мертвенно темных тонов, проступающих как бы из глубины пораженного смертью и поверженного временем существа. Трещины и борозды в стенах — это морщины еще крепкой старости, прекрасной в своей естественности. Слава Богу,

реставраторы не наложили румян, Джвари стареет, но не молодится, и эта старость — к лицу ему, в ней мудрость и человечность.

Крупные каменные блоки стен ощущаешь как материал, и вместе с тем искусство свободно овладевает этим материалом, подчиняя его образу, вдохновившему мастера. Соразмерность купола, пожалуй, точнее всего доносит его мысль. Округлый и внятно емкий, он не занесен к небу и не приникает к земле. Ничего лишнего, кроме возвышения духа, поднявшегося над грешной плотью. Никакого самоутверждения, гордыни, мирской суеты, способной придавить, унизить великолепием или могуществом своих форм. Дух восходит к небу, но не порывает с землей. Купол и стены окидываешь одним взглядом, испытывая доверие к этим массивным объемам, ничего не требующим от тебя, — ни смирения, ни торжественности, ни молитвы, а только просветляющим рыцарственной естественностью и свободной легкостью форм. Никакого кнута или насилия над воображением. Тут не хочется «упасть на колени». Древнее благочестие находит самую верную меру, возвышая, но не стремясь поработить. Ощущение музыкальной — не насильственной — власти художника над формой тоже примешано каким-то образом к тому чувству, какое охватывает в полумраке этих стен, где христианство, еще не ищущее величия, приходило вестником спасения к человеку.

В грандиозных культовых постройках позднейших времен человеческий гений тоже достигает вершин, перед которыми замирает дух. Но это уже иное чувство и иное восхищение. Неотчетливо, подспудно и тайно ему сопутствует сознание греховности и вины человека перед Богом, воплощенное в необъятных просторах храма, в великолепии его форм, в праздничной высоте купола, поражающей воображение. Форма выражает тут притязания власти над человеком. Человек виновен перед Богом, а значит — виновен и перед людьми. Художник напрягает форму, чтобы выразить эту мысль. И чем полнее он владеет материалом, тем явственнее и точнее проступают в его творении черты могущества, внушающего не свободу, а страх, и так странно соединенного с упадком и угасанием.

12 мая 1973 — Тбилиси

Номер, где мылся Пушкин

Серная баня на Майдане, та самая, что описана в «Путешествии в Арзрум». Издали она смахивает слегка на мечеть. Узорчатый голубой фасад и поднятые над ним башенки минаретов, — мавританский стиль знаменитого тифлисского базара. Перегретый воздух в длинных и плохо освещенных коридорах, где несколько застывших фигур терпеливо ожидают очереди. Нет ли за этими запертыми дверями того костистого и высушенного, как индусский йог, старика, сидящего, взобравшись на спину распростертого на полу толстяка? «"Турецкая баня" в Тифлисе» — давний рисунок или фотография, не помню. А впрочем, может быть, этот беспощадный старик нагишом, с маленьким клеенчатым передником на выпирающих углами бедрах только примерещился однажды над страницами «Путешествия»? Может быть...

Приземистый малый с просвечивающей плешью ведет показывать номер, где мылся Пушкин. Правда, может быть, это и не тот номер, говорит он, идя впереди меня, а в том сейчас женщины. Кто знает? Какая разница? Рывком он открывает дверь, и меня обдает облаком сернистого пара. Облако мягко ударяет в лицо. Хочется откашляться и выплюнуть его, но не удается. Две физиономии пялятся, сверкая зубами, сквозь едкую пелену. Заляпанные пыльной пеной тела, непомерные животы, могучие плечи, широкие улыбки. Из номера летит вслед веселый хохот.

Май 1973 — Тбилиси

На горе Давида

Пантеон на горе Давида в Тбилиси. Густо лиловое цветение иудина дерева над гранитом и мрамором надгробий, усеявших пологий холм. На памятниках Акакаю Церетели и Галактиону Табидзе — только имена. Акакий, Галактион. В этом — нежная и преданная любовь Грузии к своим поэтам, дружеское и исполненное почтения признание особого их призвания и особой судьбы.

Необработанная угловатая глыба серого гранита, и на ней размашисто, без дат: «Важа Пшавела». Гранит врос в землю или же растет из земли. Кто-то уже побывал здесь сегодня и оставил, прислонив к камню, букетик поблекших цветов.

Высвеченный солнцем город внизу, под горою, заполнен толпой. А здесь тихо, чисто. Пахнет майской зеленью и весной. Где-то журчит вода — родник. Неподалеку могилы Нины Чавчавадзе и Грибоедова. Это первые захоронения Пантеона. С тех пор как они появились на горе Давида, здесь находят последнее прибежище писатели, поэты, художники. Что-то манящее есть для сердца грузина в романтическом сумрачном предании о любви юной красавицы княжны и русского посланника, друга Пушкина, автора «Горе от ума», растерзанного в Тегеране озверевшей толпой. Загадочная тень Грибоедова витает над Пантеоном.

По дороге в Персию, к месту, где ему предстояло служить, Грибоедов остановился в Тифлисе и встретился с Ниной Чавчавадзе. «В этот день я обедал у старой своей приятельницы, — писал он в Петербург вскоре после своего приезда в Тифлис, — за столом сидел против Нины Чавчавадзевой, все на нее глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную, выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: “Пойдемте со мною, мне надо вам кое-что сказать”. Она меня послушалась, как и всегда; верно подумала, что я ее усажу за фортепиано; вышло не то; дом ее матери возле, мы туда уклонились, взошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее, живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее...»

Вскоре они поженились. Брак их продолжался три с половиной месяца.

А ровно через один год и один день после объяснения, описанного Грибоедовым, 17 июля 1829 года, тело его после долгого путешествия по горам Кавказа прибыло из Тегерана в Тифлис. Печальное шествие, озаренное факелами, в сумерки подошло к городу. За колесницей шли толпы народа. На стенах, ограждавших виноградники и сады, стояли в белых чадрах плачущие женщины.

На могиле Грибоедова эпитафия: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя».

Могила Нины Чавчавадзе — рядом.

Поблизости памятник Ильи Чавчавадзе, прозванного в Грузии «отцом народа», — скульптура плачущей, скорбной матери.

И вдруг еще один памятник — черного мрамора стела, на ней белый кувшин с ниспадающей драпировкой, тоже белого мрамора. Останавливаешься невольно, вчитываешься со смущенной душой в надпись на черной стеле: «Екатерина Джугашвили. 1856 — 1937».

Старая грузинка, возможно, и предпочла бы скромное кладбище в Гори, где прошла ее жизнь. Так ли это? Не стоит гадать. Здесь она принадлежит не себе и не своему прошлому, а славе сына и памяти загубленных жертв. В тот самый проклятый страшный год, чтобы воздать почести сыну, ее привезли сюда и захоронили, высоко вознеся над городом, среди чужих ей могил. И назначено ей лежать тут вечным напоминанием о брошенных в неведомые безымянные захоронения в лютой Сибири Паоло Яшвили, Тициане Табидзе, Михаиле Джахишвили и многих, многих других, чье место здесь, среди избранных и любимых сынов нации.

Был мальчик, ставший семинаристом, — он ходил по улицам, лежащим внизу...

Но почему-то невозможно поверить в реальность этого мальчика.

Зато неопровержимо реально и чугунно-весомо существование человека в шинели, в надвинутой низко на лоб фуражке, с рукою, заложенной за обшлаг. Может быть, он таким и явился на свет — с толстыми усами, с застывшим неживым лицом. Он возникает над могилой матери, и все теплое, земное, любовное, чем полно небо над этим кладбищем, мгновенно исчезает.

Отсюда хорошо видны Кура и мосты над нею, и благородно строгий Метехи, древняя церковь грузинских царей. Когда-то рядом с нею стояла тюрьма — тюремным замком. Чтобы убрать с глаз, ее повелел срыть Берия. И построил вместо нее пыточное тюремное подземелье под городом, при воспоминании о котором до сих пор пробирает грузин дрожь.

5 декабря 1976 — Москва

Только никому не рассказывайте

Спасо-Прилуцкий монастырь на окраине Вологды, один из самых богатых и знаменитых когда-то на русском Севере. Со времени своего основания в конце XIV века он повидал и испытал многое. Особым благоволением пользовался монастырь у Ивана Грозного. Царь бывал здесь. И, отправляясь воевать в Казань, взял с собою святыню монасты-

ря — Киликиевский крест. По преданию, полутораметровый, дивно украшенный разными изображениями из белой кости восьмиконечный крест попал сюда из древней Киликии — Малой Азии, что скорее всего и побудило Грозного взять его в поход на татар. Каждая эпоха тут чем-то отмечена своим. При вторжении французов в Москву в монастыре хранились вывезенные сюда драгоценности Троице-Сергиевской лавры и других московских церквей.

Через сквер, где стоит покрашенный серебрянкой Ленин, прохожу к тяжелым, крепостным еще крепким стенам. Круглая стена могучей угловой башни под островерхой крышей и за нею ворота и деревянная пристройка проходной. Чтобы попасть в монастырь, нужен пропуск — часть его территории занимает какой-то военный объект. Но одноглазая вахтерша, обстреляв беглым сметливым взглядом, разрешает:

— Ну, ну, пойди, посмотри, раз приехал, — с добродушным вологодским оканьем и распевом.

Прохожу жарко натопленную вахтерскую будку мимо закутанных в платки баб, сидящих недвижно, и оказываюсь на заваленном снегом пустынном монастырском дворе. Военные, вероятно, за забором — оттуда доносятся голоса. А здесь — тихо, слепящая белизна снега ударяет в глаза.

Свеже расчищенная тропинка выводит к невысокой чугунной ограде. За оградой — пирамидка белого мрамора, увенчанная крестом. По низу довольно широкого основания полустершаяся надпись: «Константин Николаевич Батюшков. Родился в Вологде 31 мая 1787 года. Скончался там же 3 июля 1855 года». Повыше овальный барельеф из металла — романтический профиль молодого человека с высоким лбом и зачесанной на лоб прядью во вкусе байронических 20-х годов.

Неподалеку — церковь. Поднимаюсь по выщербленным ступеням на паперть, толчком приоткрываю туго поддающуюся, рассохшуюся, всю в глубоких трещинах дверь, протискиваюсь в щель. Застоявшийся холод опаляет лицо. Огромное затененное пространство над головою, затянутые тенью углы. Откуда-то помалу сочится свет, и, привыкнув к темноте, глаза различают повсюду валяющийся хлам. Кучи хлама. Под ногами скрипит разбитый кирпич и стекло. Пахнет заброшенностью, грязью.

Но дальше, пройдя темными переходами, попадаю в чисто побеленное помещение с низкими сводами, с небольшими окнами. По виду это — прежняя трапезная, начищенная и вымытая сейчас для какой-то неведомой мне цели. На мои шаги выглядывает внезапно из приоткрытой двери женская голова в платке, и затем появляется невысокое в ватнике и валенках существо. Смотрит на меня испуганно.

Женщине лет под шестьдесят, но она еще совсем не старуха. Глаза смотрят ясно, и когда проходит первый испуг, в них появляется доброжелательный интерес.

— А вы как сюда пришли? Тут по одному никто не ходит.

Вероятно, сюда иногда приводят экскурсии.

Женщина расправляет платок на голове, и из-под его тяжелых складок выступает круглое небольшое лицо с мягкими щечками. Лицо заранее соглашается со всем, что я собираюсь сказать в объяснение своего

появления. Впрочем, объяснений она не ждет и заговаривает сама, вздернув немного голову, иногда испуганно прикрывая рукою рот. Время от времени я пытаюсь вставить слово, о чем-то спросить или просто откликнуться на то, о чем она говорит, но, выслушав безразлично и вежливо, она продолжает свое, словно спешит выговориться, пока есть перед кем.

Да, верно, тут была раньше монастырская трапезная, а теперь картины будут вешать, иконы. Поснимали раньше да пожгли, а теперь спохватились, ищут, найдут когда хорошую — так в музей. Вот и тут будет музей. До двадцать шестого года тут монахи жили, а потом стали расходиться, и в один день ни одного не стало. А потом пришел такой приказ, чтобы иконы сжигать. Стали в лес возить, — там сейчас аэродром построили, — и сжигали. Мы тут рядом жили — отца тоже позвали, чтобы возил. А он — нет, не пойду, как же я, верующий, буду такое делать, — не могу. Забрали его тогда. Брата позвали — колокол снимать. Ну, брат пошел — комсомолец был. Сняли колокол — тогда и отец вернулся. Выпустили за брата, что согласился снимать колокол. Пришел из тюрьмы больной и умер через три месяца. Он печник был, его печи по городу везде еще и сейчас стоят. А в тридцать первом зимой привезли сюда с Украины лишенцев. Может слышали, — это так тогда называли, кто богатый был — лишенец, значит. Да какие они богатые были? Выгнали их к реке за водою, — каждое утро сами для себя воду носили, — смотрим, идут с ведрами, с котелками, с чайниками. Кто босой, кто в галошах на босу ногу, кое-как одетый. А холодно было тогда. Монастырь сначала совсем не отапливали, а потом буржуйки поставили, так разве буржуйкой монастырь отопишь? Стали они умирать. Дети, конечно, первые. Человек по двадцать в день. В церкви, — тут за воротами, как входили, церковь была, — там отпевали. По двадцать гробиков выставят в ряд. Это разрешали — отпевать. И хоронили на кладбище. А помогать — нет, нельзя, не разрешали. Кто хотел хлеб дать или там теплое из одежды — нельзя. Почему так не разрешали? Мать раз пошла — будто помолиться в монастырь, да взяла хлеб, за пазуху положила, чтобы отдать, — не пустили. Ой, тут тогда нары в пять этажей, а людей на нарах... Недавно приезжал один, седой. У меня тут, говорит, отец-мать похоронены. Да нет, говорю, хоронили на кладбище. — Нет, мои под стеною. — Долго ходил, искал и нашел. — Вот здесь, — говорит. Снял шапку и заплакал, долго стоял там, вспоминал, видно...

Она вдруг замолкает, закрыв рот рукою, смотрит вопросительно и с испугом.

— Может, я чего наболтала лишнего? Вы только никому не рассказывайте, хорошо? Пожалуйста. А то, может, время переменится...

И она идет за мною, провожает меня темными переходами, повторяя: «Никому не рассказывайте, пожалуйста». — Выходит со мной на освещенную зимним солнцем паперть, протягивает холодные пальчики для прощанья и смотрит мне вслед, прикрыв рот рукою, так что тяжелый рукав ватника закрывает почти все лицо, видны только испуганные глаза.

Январь 1978

От редакции

Те из читателей, кто следит за нашими публикациями достаточно давно, не могли не обратить внимание, что с какого-то момента (а именно с лета 2005 года, когда вышел 124-й номер журнала) страницы, на которых помещена художественная проза и поэзия, мы выделили в специальную рубрику — «Литературная гостиная "Континента"». Дело в том, что «Континент» — журнал ежеквартальный, он выходит всего четыре раза в год и не может претендовать на то, чтобы отражать литературный процесс в его реальном живом движении и многообразии хотя бы сколько-нибудь близко к тому, как это способны делать ежемесячники. Именно поэтому, кстати, мы никогда не печатаем большие прозаические произведения с продолжением: вряд ли было бы гуманно по отношению к читателю заставлять его всякий раз припоминать, что там было в предыдущей части, три месяца назад.

Эта особенность нашего формата и заставляет нас, формируя наш художественный раздел, всякий раз задавать его компановке ту или иную содержательную цель, подчинять единой задаче, подбирая соответственно круг приглашенных в нашу очередную «Гостиную» авторов. Это не всегда нам удается в полной мере, но мы держимся и намерены держаться и впредь все-таки именно этого правила, представляя своих гостей нашим читателям и по возможности объясняя, что мы имели в виду, приглашая того или иного автора, как мы сделали это в предыдущем номере, когда предложили вниманию читателя повесть католического священника Анри Мартена «Кара для террориста».

В этом номере мы решили предоставить страницы нашей «Гостиной» авторам, работающим в жанре короткой прозы. Не претендуя, разумеется, на какую-либо полноту охвата и не имея в виду угодить решительно всем вкусам, мы все же постарались отразить в какой-то мере то многообразие содержательных и стилевых тенденций, которое характерно для сегодняшней малой прозы.

На этих страницах читателя ждут: фактически документальные рассказы Нины Горлановой и Вячеслава Букура; изощренно-вычурная, но теплая и нежная проза Владимира Холкина; бурная романтика в восточной аранжировке, типичная для Ивана Оганова. Традиционная реалистическая проза представлена произведениями Юрия Горбачева и Романа Сенчина, чей рассказ «На лестницах», написанный в манере рельефного психологически-бытового реализма, свидетельствует об авторе как одном из лучших современных прозаиков.

Безусловно, свой внутренний сюжет имеет также и подбор стихов, однако мы не будем вербализировать этот смысл и предоставим читателю разобраться в нем самостоятельно.

ОТКРЫТАЯ ОСЕНЬ

* * *

И не убежать.
Ты останешься маленькой Ирой,
Рожденной большим захолустьем
И этой квартирой,
Где вещи влюбились
И мучают память годами,
А школьный передник на кухне
На худенькой маме.
Нетленный передник...
И сорваны старые краны.
Бесшумно снуют в темноте
По столам тараканы.
Легко по столицам,
А здесь — не дождешься успеха.
Здесь лучше родиться,
А после — уехать, уехать!

* * *

Пожилой москвич
Ищет иногороднюю,
Молодую, дородную.
Покажет Москву.
Научит жить,
Готовить, стирать,
Убирать, шить
В его однушке на Выхине.
А будет с характером — выкинет.
Понаехали тут, аферистки.

Ирина СУРНИНА — родилась в городе Рубцовске на Алтае. Учится в Литературном институте им. А. М. Горького. Печаталась в еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета», журнале «Нева» и др. Живет в Москве.

* * *

Дядька Серега ушел к молодой,
Зубы не вставил.
Будто живой окатили водой —
Плечи расправил.
В синей джинсовке, в синих глазах,
С новою кожей,
В Алкином он молоке и слезах,
Много моложе.
Тетка спилась, и в оградке бурьян,
Вытянешь — дыры,
Бухнет сорняк, наливается пьян
Соком с могилы.
В вазе хрустальной молчат камыши,
Если раздвинуть,
Плавает лодка в квартирной глуши,
Весла не сдвинуть.
Сердце не сердце, разрыв и всплывать
Можно у Бога.
Первую зиму в земле зимовать
Страшно, Серега?

Питер

Город каменных ночей,
Призрак матовый, музейный.
В нем легко прожить ничьей
В вечной блузе бумазейной.
Кофе пить. Смотреть дожди.
В Академии учиться.
До чего-нибудь дойти,
А потом и раствориться.
И опять смотреть в него,
В эти каменные лики.
И не помнить ничего.
Только то, что он — великий.

* * *

Теплого в комнате много,
вечернего,
и примиренье со всем,
примирение...
воздуха тихого много ничейного,
лампы простой золотое горение.

Мыслимо ль?
нет ничего и не надобно,
так бестелесно, легко и беспамятно,
сколько покоя дремотного найдено,
даже не верится — было ли маятно?
Чая глубины,
банана свечение,
как лепестки кожура открывается.
Скоро придешь,
и картинки вечерние
с этого места уже обрываются.

Открытая осень

1

Никаких журавлей,
перелеты ворон
да пустые, немые осины.
А навстречу асфальт
и растущий бетон
да вагоны, пропахшие псиной.
Но не просто пронять —
мы живем и живем,
по запястьям холодные капли.
И рябиновый дождь
пропадает живьем,
и себя нам не жалко ни капли.
После всхлипов и слов
свет особенно чист,
мы давно не хотим и не просим.
Где-то стынет Ока
и есенинский лист
улетает в открытую осень.

2

Короткое солнце
И крупные листья лещин
Светлеют на тающих ветках
Прозрачно и веще.
И так незаметны
Потертые лица мужчин
И вспышки волос
Осенних, медлительных женщин.

По вялым дворам
Растерять половину себя
По рынкам, больницам, собакам,
Обломкам растений.
Дойти до дверей
И в кармане ключи теребя,
Звонить и звонить,
И в глазке обозначиться тенью.

3

Зайдешь — и обрывается простор,
И небо застекленное мутится,
А все углы и двери будут биться
И выгонять обратно в коридор.

Но не уйду, а только пережду.
И задохнется в реве холодильник,
И зазвенится праведный будильник,
И будет каждый шкаф таить вражду.

Забыться... Сколько можно воевать!
На улице окончен день осенний.
И толстый кот, устав от потрясений,
Запрыгнет на примятую кровать.

4

Окно открыла — осень сдуло
Куда-то в коридор и дальше.
А я стою, смотрю со стула
На небо новое без фальши.
И тру стекло. Набухли вены.
Так молодо и бестолково!
Но все трудней разводы пены,
И опадать рука готова.
А с лета божия коровка
Прилеплена к оконной раме.
Боюсь смахнуть ее неловко —
Пускай перезимует с нами.
Пускай набьются златовласки
И сухокрылые стрекозы,
Пастушьи сумки, волчьи сказки,
Ромашки, бабочки и осы.
Застыли комнатные вещи,
И тише стали, и темнее.
Окно закрою — осень резче,
Еще стеклянней и новее.

5

Светло и сыромятно под ногами,
В листе дубовом стылая вода,
На теплом пне, облюбленном жуками,
И утекает время в никуда.

Так оживи, не бойся прикоснуться:
Я жду давно, я триста лет во сне,
Пока деревья спят и не проснутся,
Пока они не начали краснеть.

Как глубоки обветренные губы,
Как мало слов, и сладок ты и прян...
А на поляне дудник сломан грубо,
А на поляне солнечный бурьян.

Растаял бред, рассыпался трухою.
Пройдет старушка с листьями в руке
И улыбнется светлому покою,
И растворится в леса далеке.

6

Картошка выкопана, сложена.
Теплу — конец.
И в телевизор заворожено
Глядит отец.
И тянет в скважину замочную.
И тянет дом.
А листья выпали за ночь одну
Сухим дождем.
Который год похлебка варится,
Болеет мать.
И не обнять, и не покаяться,
И не догнать.
А Рыжик с осенью сливается
И ловит блох.
И в золотой пыли купается
На полке Бог

НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Рассказ

Максим гордился своим домом, иначе пришлось бы его ненавидеть. Он всем говорил, что такой дом остался один в Москве — доходный дом конца позапрошлого века, с высоченными, «как в Питере», потолками, с лабиринтом коридорчиков и крошечных комнат в каждой квартире, с ванной на кухне, опять же, «как в Питере», а главное — с черными лестницами.

Черные лестницы по ширине не уступали парадным (уже и неясно было, какие первоначально служили черными, а какие парадными), но их завалили старой мебелью, коробками, всяким барахлом и хламом, который неизбежно набирается в местах долгого проживания людей... И здесь, на черных лестницах, Максим с ровесниками-соседями любили проводить время. Не любили, точнее, — привыкли...

Сегодня, в субботу, Максим проснулся часов в десять. Сполоснул лицо, съел, не разогревая, найденные в холодильнике две вчерашние котлеты. Радуясь, что матери дома нет (уехала, как каждую субботу, на Щукинский рынок, где продукты дешевле), порылся в ящиках серванта и набрал двенадцать рублей мелочью. И своих у него было сто шестьдесят. Для начала долгого субботнего дня не так уж плохо.

Максим посмотрел в окно. Люди ходили в рубашках и платьях. Значит, по-прежнему тепло.

— Ништяк, — сказал себе Максим, рассовал по карманам джинсов сигареты, паспорт, мобильник, обулся и вышел из квартиры. Запер оба замка.

Дом не имел двора, то есть двор был, но за домом — поросшая мелкой травой площадка со стволом когда-то упавшего и так оставшегося лежать тополя. Кора давно отвалилась, ветки обломались, и ствол служил лавкой. Площадку окружали гаражи-ракушки... А нынешняя парадная лестница спускалась сразу к тротуару, выводила в суету оживленного Большого Тишинского переулка. Не переулок, а нормальная, не самая узкая улица Москвы...

Максим постоял у двери, проморгался, привыкая к обилию света, и подумал, что делать дальше.

Можно позвонить парням — Дрозду, Котику, Пескарю, — предложить собраться. И Максим уже вынул мобильник, но сразу спрятал обратно — там и так в минус. Возвращаться домой было опасно — сейчас мать вернется, запряжет делами. Суббота ведь, генералка... Максим быстро дошел до соседнего подъезда, набрал код, дверь пискнула.

Роман СЕНЧИН — родился в 1971 г. в Кызыле. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор книг прозы «Афинские ночи» (2000), «Минус» (2002), «Нубук» (2003), «День без числа» (2006), «Ничего страшного» (2007), «Вперед и вверх на севших батарейках» (2008). Живет в Москве.

Поднялся на второй этаж, позвонил в восьмую квартиру.

Дверь открыла мать Котика.

— А Ко... — Максим запнулся, поправился: — Виталик дома?

— Здороваться надо, — ответила мать Котика, скрылась в глубине квартиры.

Максим остался на площадке, подождал. Минуты через две появился Котик. В одних синих футбольных трусах, худой, заспанный.

В детстве он был упитанный, розовый, с пушистой головой. Соседки любили с ним возиться и называли котиком. Прозвище это так за ним и осталось...

— Чего? — хрипнул Котик, жмурясь.

— Выйдешь?

— На фиг?

— Ну, потусуем, — Максим пожал плечами. — Ты чё, с бодуна?

— Уху...

— Выходи.

— А башли есть?

— Ну так, немного.

— Щас тогда...

Котик ушлепал куда-то и тут же пришлепал обратно в синей футболке, разношенных сланцах.

— Ты куда опять? — раздался слезливый голос его матери.

Котик молча захлопнул дверь, стал спускаться.

Не видя в руках у Котика ничего, кроме помятой пачки «Явы», Максим удивился:

— А ты пустой, что ли, совсем?.. У меня меньше двухсотки.

Котик залез рукой в трусы, покопался, достал свернутую в несколько раз пятисотку. Протянул Максиму. Тот отдернул руки:

— В жопе, что ль, ныкал?!

— На, блин! И пошли резче, пока она, — Котик мотнул головой вверх, — не вылезла.

На противоположной стороне переулка, почти напротив их дома был «Погребок». Там обычно и покупали выпивку, чего закусить.

— Где набульбенился-то вчера? — спросил по пути Максим.

— Да где... Во дворе тут... Хотел проститутку намутить, но куда ее? Эта, — снова мотнул головой Котик, — и так ворчит по любому поводу... Купил, короче, пузырь и выжрал.

— Блин, а почему без меня? Я весь вечер дома торчал, — и Максим хотел добавить, что тоже мог бы сегодня забухать один, но вспомнил, что Котик вложил пятисотку, а он всего двести, и промолчал.

В «Погребке» дежурил знакомый продавец.

— Здорово, Рагим! «Старая Москва» осталась?

«Старая Москва» стоила здесь на тридцать рублей дешевле, чем в супермаркете, была явно левой, но не ядовитой. Отравлений не случалось, и у знающих людей она пользовалась спросом.

— Для вас всегда осталась, — Рагим достал из-под прилавка бутылку. — Хватит?

— Пока что.

— Пивка еще возьми, — велел Котик, — чтоб отлегло...

С одной стороны, семьсот рублей — сумма приличная, а с другой... Туда-сюда, и их нет. И поэтому Максим и Котик долго, ожесточенно спорили, что именно купить на закуску. Рагим стоял и улыбался. То ли вежливо, то ли презрительно.

Наконец, чуть не поссорившись, выбрали двухлитровку кока-колы, полкаравая «Столичного», банку маринованных корнишонов, триста граммов ветчины (попросили Рагима порезать тонкими пластиками). Сигарет еще взяли...

По дороге во двор выпили пиво. Котик облегченно вздохнул:

— Ну вот, можно жить... Видел на неделе «Арсенал»? Лигу чемпионов?

— Нет.

— Проиграли, блин, «Манчестеру». Без Аршавина — совсем другая команда. Ничего не показали.

— Аршавин, это сила, — бормотнул Максим без энтузиазма — к футболу он был почти равнодушен, а Котик старался не пропускать ни одного матча; когда-то он ходил в футбольную школу «Динамо», подавал надежды, но пацаны стали дразнить его мусором, а старшаки почмыривать, и Котик забросил тренировки, а теперь жалел: многие, с кем был в одной группе, стали известными и богатыми.

Накрыли полянку на стволе тополя, расставили закуски в давно образовавшихся углублениях и ложбинках. Настроились, что вот сейчас внутрь вольется горячее, живое, способное изменить мир вокруг, и тут оказалось, что нет посуды.

— Хер ли ты стаканчики не купил?! — поднял на Максима негодующие глаза Котик.

— Блин, а ты?!

— Что — я?!

Чуть было опять не дошло до ссоры. Максим вовремя вспомнил:

— На лестницах же заначены.

— Ну так сгоняй.

— А почему я?

— У меня ключей от нашей нет.

— Хм! — Максим достал ключи. — Вот, пожалуйста. На третьем этаже в комоде. Там салфетки даже...

— Не пойду я никуда. У меня пахма, мне лишний шаг сделать... — Котик сменил интонацию: — Сходи, Макс, принеси. Скорей принесешь, скорей хлопнем.

Максиму пришлось идти на черную лестницу. Принес. Котик налил. Выпили. Экономно закусили.

Как часто бывало с ним после первого глотка водки на этом месте, Максим по-новому увидел родной двор. Нет, не по-новому (как его,

ежедневно видимый, увидеть по-новому), а как-то более отчетливо. И гаражи-ракушки, и темнеющие за ними стволы старых тополей, один или два из которых в большую бурю падали... Сам двор в мае зеленел, но сейчас, в конце апреля, был серый и скучный. Когда-то здесь гоняли в футбол, мужики по вечерам рубились в домино за большим деревянным столом, женщины сидели на скамейках и беседовали... Ни скамеек, ни стола уже давно не было. Не осталось почти и мужиков: они или умерли, или сбежали из этого дома в другие места.

Раньше в выходные весь двор пестрел развешенным бельем, вкусно пахло порошком «Лотос», но потом, когда появились импортные машинки с хорошим отжимом, белье стали сушить в квартирах — часа два повисит, и можно гладить, прятать в шкафы.

Скучно было во дворе в последние годы, тихо и мертво. Детишек у жителей дома не появлялось: остались или престарелые женщины и два-три полустарика, или такие вот, как Максим и Котик... Котик, правда, женился однажды, но у его жены в двушке были еще родители и брат, а у Котика здесь — мать оручая. Помучались с полгода и разбежались. Ребенка, слава, богу не успели заделать, а то бы мучились всю оставшуюся жизнь...

— Э, Макс, держи, — подал ему Котик стаканчик. — Уснул, что ли?

— Задумался...

— Да ты пей. Пей, не думай.

— Не слышно, как там с расселением?

Двенадцать лет назад дом был признан ветхим. Квартиры нельзя стало продавать, прописывать в них новых жильцов; на протяжении этих лет то и дело возникали слухи о скором расселении то в Митино, то в Строгино, а то и в строящиеся по соседству элитные двадцатиэтажки. Но слухи не подтверждались, а время шло.

Максим мечтал о расселении — получить бы с матерью по отдельной двухкомнатке (в их нынешней квартире было пять комнат) и зажить тогда уж настоящим хозяином самому себе, девушку завести. Или в Питер переехать — Питер Максиму очень нравился, хотя был он там всего три раза...

— Да какое расселение, — скривился Котик. — Кризис же, все заморозилось.

— Ну дома-то строят. А наш вообще на самом денежном месте.

В их районе давно посносили все хрущевки, даже крепкую еще кирпичную пятиэтажку, а этот темный, кривоватый, пыльный дом, стоящий на углу Пресненского Вала и Большого Тишинского, в семи минутах ходьбы от метро «1905 года», почему-то не трогали. Даже установили недавно новые кодовые замки.

Выпили, глотнули колы, задымили сигаретами. Тоскливо и в то же время хорошо молчали. И не хотелось разговаривать. О чем? Все уже давно было переговорено, осталось только похамливать друг другу, друг друга подкалывать.

— Сколько время там? — с усилием спросил Котик.

Максим достал мобильный, глянул.

— Половина двенадцатого доходит.

— М-м, нормально... В два «Динамо» со «Спартаком» играет, надо посмотреть... Наливай еще.

Ментов увидели издалека. Они шли со стороны метро. Трое. Впереди сержант. Сержант, тоже издалека увидевший выпивающих, заулыбался.

Максим попытался было как-нибудь спрятать бутылку, но тут же понял, что бесполезно. Скорей проглотил то, что еще оставалось в стаканчике.

— Та-ак, — спросил сержант, — распиваем?

— Ну... Суббота.

— Запрещено ведь в общественном месте. Не знаете?

— Да так...

— Что делать будем? — Сержант повернулся к рядовым ментам, на вид совсем подросткам; один из них вякнул:

— В отдел?

— Что ж, видимо...

Котик захныкал:

— Товарищ сержант, у нас нету денег. На пузырь вот кое-как наскребли. Дома предки, идти некуда...

Сержант подумал и сказал по-человечески:

— Ладно, через пять минут я возвращаюсь — и вас здесь нет. Ясно? Если будете, тогда уж не обижайтесь.

— Спасибо, товарищ сержант. — И Котик стал делать вид, что собирается.

Менты пошли дальше, в сторону Малой Грузинской.

Максим с Котиком выпили еще по одной и переместились на черную лестницу. Поднялись на третий этаж, поставили бутылки, закуску на подоконник, сели рядом на старые, шаткие табуретки.

— Сколько там уже? — снова спросил Котик.

— Блин, достал! В кайф, думаешь, за временем все время следить? — Но Максим достал мобильник. — Без пяти двенадцать.

— Матч посмотреть охота. Тем более, что «Спартак» на подъеме сейчас. Рубилово, скорей всего, будет.

— Да ну и хрен с ним... Водки на пару приемов всего. Выжрали и не заметили.

— Еще возьмем, — оптимистично сказал Котик. — Денег-то нормально осталось.

Выпили. Посидели.

— Телок бы, — вздохнул Максим. — Хоть поговорить, пощупать.

— Позвони Мыше, позови. Или к ней можно... У нее муж на дежурстве должен сегодня... — Котик оживился. — Звякни, вдруг!..

— У меня в минус на счету. Отключат вообще скоро.

— Ой, твою-то!.. А хер ли тогда про телок заводить?! — Котик привстал, плеснул в стаканчики. — Зря огурцы эти взяли, — проворчал, — уксус голимый. И ветчина химическая — аммиак какой-то.

— Ну а что ты хочешь за такие деньги?

— За свои пóтом заработанные деньги я хочу нормальной еды, а не говна! Достало жрать!..

— Ладно-ладно, — Максим успокаивающе помахал рукой, — ты прав, Виталик. Давай.

Выпили одновременно; вырывая друг у друга бутылку с колой, запили.

На лестнице было душновато, пахло древней пылью, медленной прелью. Даже курить не хотелось — представлялось, что стоит закурить, и все заволочет дымом, дышать станет совсем нечем.

— Включи хоть музон какой-нибудь, — попросил Котик. — Или анекдот расскажи. Срубимся ведь просто в таком настроении.

— Не знаю я анекдотов. Старье одно.

— Музон тогда. Скучно же...

Максим покопался в мобильнике и нашел свою любимую песню Александра Лаэртского. Нажал «play».

Вот самая грустная песня на свете, —

тоскливо под тоскливую музыку заблеял Лаэртский, —

Которую я сейчас спою вам.
Грустнее ее, быть может, наверно,
Лишь детство мое...

— Выруби, бля! — скривился Котик. — На хрена ты это?!

Максиму тоже стало тоскливо до слез. Выключил.

— «Кино» есть?

Максим нашел «Кино».

— «Действовать» подойдет?

— Во, врубай!

Как только зазвучали энергичные аккорды, Котик вскочил с табуретки, закачался в такт, по-цоевски вывернул правую руку, изобразил кулаком микрофон. И вместе с Цоем, выпятив нижнюю челюсть, запел:

Мы хотим видеть дальше,
Чем окна напротив,
Мы хотим жить,
Мы живучи, как кошки.
И вот мы пришли заявить
О своих правах...

— Да-а! — выкрикнул Максим и тоже вскочил, стал играть на воображаемой гитаре.

Слышишь шелест плащей?
Это мы-ы-ы!

Дальше-е действовать будем мы-ы!..

Спели всю песню. Настроение поднялось. С удовольствием выпили водки. В бутылке осталось совсем на дне. Это настроение снова понизило.

— Вот была музыка, — вздохнул Максим. — А сейчас молодняку что втюхивают... Я тут послушал все эти «Ботанику», «Мельницу», «Сансару» — полное же дерьмо! Смысла даже нет. А везде крутят, все, вроде, тащатся.

— Так же и про наши группы говорили, — отозвался Котик. — Ты вот своей матушке Лаэртского дай послушать или «Красную плесень» и спроси, что она думает.

— Да ну на фиг... Но к «Кино» она, кстати, всегда нормально относилась.

— Это она вид делает. Разные поколения друг друга не понимают. В этом и смысл.

Какой именно смысл, Максим уточнять не стал. Покопался в мобильнике, выбирая, что бы еще послушать. Не выбрал — слушать расхотелось. Вся энергия выплеснулась в песне про действовать дальше... Достал сигарету, закурил. Котик, казалось, подремывал на табуретке. Не шевелится, голова свесилась...

На пятом этаже со скрипом открылась дверь, а потом так же со скрипом закрылась. Кто-то стал спускаться. Медленно и осторожно.

Максим тревожно смотрел вверх. Ожидал появления одной из старух-жиличек, которая начнет сейчас выговаривать, что опять пьют, все задымили, погонит на улицу.

Но вместо старухи увидел Саню Дроздова, своего и Котикова соседа и друга детства.

— О, Дроздяра! — встретил его очнувшийся Котик. — Водяру учуял?

— Чуваки, есть курить? — забубнил Дрозд. — Курить надо... Вышел, думал, бычки, может, где...

Максим протянул ему пачку. Дрозд жадно выхватил сигарету и торопливо закурил.

— Что, с бодунца?

— Да какой бодунец... Нищета полная.

— Лизнуть-то хочешь? Пять капель выделим.

— Дава-айте.

Разделили водку по трем стаканчикам (их в заначке было с полсотни). Чокнулись «за встречу», выпили. Дрозд смачно выдохнул, потер грудь под домашней рубашкой.

— Давно не пил.

— Да?

— А где, на что? Зарплату второй месяц держат, предаки на курево даже щемятся. Батя-то бросил и мне советует... Вообще как-то всё.

— Кризис, — вздохнул Котик.

— На хрен он не нужен, этот кризис... У меня вообще вечно кризис... В курсе? — Дрозд округлил глаза, как обычно делал перед началом рассказа о чем-то важном. — У меня зуб ночью выпал!

— Молочный? — пошутил Максим.

— Хер знает...

— Хер все знает, да мало что может.

— Ну, слушай, короче! — нетерпеливо повысил голос Дрозд. — Выпал ночью, и я лежу, катаю его во рту. И снится так, что это карамелька... ну, эта, маленькая, как в детстве были... в баночках...

— Леденцы?

— Во! Ну да... И лежу, хорошо так, приятно. А потом, во сне еще: чё это? Глаза открыл, сел, выплюнул на ладонь, а это — зуб. Большой, вот отсюда, сбоку. — Дрозд растопырил рот и стал показывать дыру в верхней челюсти.

— Да уберись ты! — брезгливо отвернулся Котик. — Гнилье там одно.

— Сам ты гнилье. Я прошлым летом у стоматолога был.

— А толку-то...

— Ладно, парни, хорош, — пригасил возникшую перебранку Максим. — Надо еще пузырькевич купить. Я счас схожу, а ты, Санек, принеси чего вкусного.

— Чего вкусного? Ничего нету вкусного.

— Да не жидись ты, блин. Пельмени есть?.. Свари пельменей.

— Какие пельмени?! Ты вообще обезумел, что ли? Мать на завтрак гречку без всего сделала — жрите... Ничё у нас нету.

— Ну тогда и водки тебе не будет.

Дрозд возмущенно округлил глаза:

— А на хренища тогда первую наливал?! Мудрец, сука!.. Мне теперь еще надо.

— Принеси закуску — получишь, — бесстрастно ответил Максим. — Видишь, жрать нечего.

— Ладно, попробую, — пробурчал Дрозд, затушил докуренную до фильтра сигарету и побрел вверх по лестнице. — Да, — оглянулся, — купите мне сигарет. Хоть какие пойдут. Подыхаю вообще без курева.

— За это омлет с тебя, — хмыкнул Максим и пошел в магазин; остатки Котиковой пятисотки были у него...

Дрозд принес морщинистое яблоко, ломтик сухого сыра и три тощие сосиски. На увидевшего такой набор Максима вновь накатило негодование.

— Ну сходи к себе, — не выдержал его обвинений Дрозд, — набери жратвы!

— У меня мать дома. Запряжет полы мыть.

— А у меня вообще всё стадо. И это удалось еле-еле...

— Все, наливайте, — мрачно перебил Котик. — Надо пить скорей и... Футбол уже скоро.

Выпили. Максим с отвращением откусил сосиску, проворчал:

— Сырая. Дрисня начнется.

— Дрисня, — повторил Котик. — Ты скажи лучше, что дальше делать.

— В смысле? Сейчас допьем, пойдешь «Динамо» свое смотреть.

— Да я не про это. С этим-то ясно... Я о глобальном. Как жить вообще...

У Котика бывало такое — выпив граммов триста, он заводил разговоры о жизни. Неприятные, бередящие душу. Когда это случалось, его старались побыстрее напоить до отруба.

И сейчас Максим расплескал по стаканчикам «Старую Москву», Котику — побольше.

— Пей, Виталик. Все нормально.

— Да что нормального? Что ты мне лепишь?

— А я-то что?! — с готовностью вспыхнул Максим. — Мне, думаешь, по кайфу?..

— Чуваки, бля-а! — захрипел Дрозд, уткнувшись в окно. — Зырьте!

— Чего опять?

— Зырьте, говорю!

Котик и Максим вскочили, вытаращились на улицу, пытаясь что-то разглядеть сквозь пыльную муть стекла.

— Да чё там?

— Вон, вон, где ракушки! — хрипел Дрозд возбужденно. — Телка там!

— А, вижу!

— Ага!..

В щели между гаражами устраивалась молодая женщина. Задрала юбку, спустила ниже колен колготки с трусами, присела.

— Бля, ссыт, глядите!

— Охренела совсем.

— Да ну, классно...

Котик близоруко щурился:

— А рожа как, симпотная?

— Ниче. Эх, сюда бы ее.

— Погнали, Дрозд, приведем. Стопудово бухая.

— Приведем, вольем стопарик и обработаем.

— Погнали! — Максим схватил Дрозда за плечо и поволок вниз.

Выскочили во двор, почти побежали к гаражам. Максим чувствовал, как дрожат и подгибаются ноги — такую слабость он ощущал всегда, когда близость с женщиной была вполне возможна: или выпивал вместе с противоположным полом, или ждал Котика, поехавшего за проституткой...

Девушка как раз выбралась из щели меж ракушек и подходила к высокому молодому человеку с цветастым пакетом — то ли мужу, то ли... Максим с Дроздом остановились оторопело. Такого не ждали... Молодой человек враждебно-предупреждающе взглянул на них, приобнял девушку и повел в сторону метро.

— Я!.. — выкрикнул Дрозд им вслед. — Я вам покажу, как тут ссать! Обнаглели вконец! Дома у себя на ковер поссыте!

Вернулись на лестницу. Расстроенно выпили.

— Блин, — вздохнул Максим, — теперь телку надо. Только раздразнила... — И повернулся к Дрозду: — На хрена показал?! Ну ссыт и ссыт. Нет, надо орать, пальцем тыкать. Давай мне телку теперь!

Дрозд смотрел на Максима и молчал. Того это еще сильней распаляло:

— Чего ты мне бараний взгляд делаешь?! Иди, говорю. Я хочу, чтобы меня целовали, сиськи хочу.

— Да иди ты в жопу, укурок! — наконец-то очнулся Дрозд. — Виталь, скажи ему. Я-то причем вообще...

— В натуре, Макс, — устало заговорил Котик, — чего ты на нем-то зло срываешь? Позвони Мыше, или Птице лучше. Птицу я видел вчера. Шла одна какая-то грустная. Может, поведется. — И, видя, что Максим вынимает мобильник, спросил: — Сколько там уже?

— Час двадцать восемь. Вали на свой футбол.

— Допью и повалю. А будешь хамить — в дыню схлопочешь.

Максим нашел в адресной книге телефон Птицы, нажал «play». Через десяток коротких гудков раздалось ее недовольное:

— Да?

— Птица, ты? Привет, это Макс!

— Я не птица, — сказала Птица, — а Юлия.

— Ну да, извини. Слушай, приходи ко мне... Не ко мне, то есть, а на лестницу. Ну, где мы раньше торчали. Мы с Котиком тут, Дроздом...

Птица вздохнула:

— Максимка, я тебе советую повзрослеть в конце концов. Сколько можно, на самом деле?

— Ну, — Максим стал злиться, — пойдем в «Корчму» тогда, если тебе здесь западло. Штуку найду, и пойдем. Посидим. Вино, бильярд, караоке...

— Спасибо за щедрость. Я с младшей русским занимаюсь, у нее пятого тесты. Так что не могу. Привет Виталику и Саше.

И дальше в трубке — мертвая тишина. Отключилась.

— Блядь, сука, — в эту тишину сказал Максим и посмотрел на дисплей. — Минуту из-за нее потерял. У меня и так в минус там...

— Чего она? — с осторожным любопытством спросил Дрозд.

— Да мозги попарила и всё. На хрен я ей звонил?.. Всю жизнь динамой была.

Выпили еще понемногу. В бутылке оставалось с четверть. Как-то быстро вторая разошлась... Максим попытался вспомнить, хватит ли у него денег еще на одну. Вроде, хватало.

— Делать нечего, — сказал Котик, — звони Мыше теперь. Она-то должна. Все мы с ней в свое время поотрывались.

— Аха, а теперь муж у нее.

— И что? Прибежит, быстро обслужит и — обратно... Прикиньте, залетает, раздевается без ломок всяких до гола, встает раком...

— Бля, Котяра, заткнись! — рявкнул Максим.

Вскочил, стал доразливать водку. Один из стаканчиков упал под струей; на Максима тут же обрушился шквал ругани...

Худо-бедно разделили выпивку поровну. Проглотили.

— Беги за новой, — тут же велел Котик.

— Куда тебе больше? И футбол через шесть минут.

— Шесть минут — это огромный отрезок... Плюс дополнительное время. Можно переломить ситуацию... Гони, Максыш, тащи...

— Да ты готовченко.

— Слушай, — Котик нахмурился, — давай мне тогда мои башли, я — сам...

— Ладно, сиди уж. Тебя сразу такого в мусорню гребанут.

Только Максим вышел во двор — запиликал мобильник. В груди сжалось — он был уверен, что это Птица. Передумала и решила встретиться... И за те короткие секунды, пока вынимал телефон, Максим успел вспомнить всех знакомых, выбрать тех, кто способен дать ему в долг тысячу. Чтоб провести вечер с Птицей достойно.

Но на дисплее высветился номер телефона его собственной квартиры — звонила мать. Максим резко сунул пиликающий мобильник в карман... Ищет. Видимо, надо ей там что-нибудь передвинуть. Дом разваливается, а она каждую субботу генеральную уборку устраивает, мебель переставляет. Как будто это сделает квартиру современней, удобней.

Стараясь не попадать под обзор из своих окон, Максим пробрался к «Погребку», купил бутылку, упаковку корейской морковки (хорошо ей закусывать) и пачку сигарет себе на завтра. Осталось от семисот рублей несколько монет. А впереди ведь еще воскресенье...

Котик с Дроздом дремали. Максим хотел было уйти с бутылкой и морковкой домой — сейчас лечь спать, а вечером куда-нибудь выдвинуться. Но не получилось: услышав его шаги, парни тут же ожили.

— Н-наливай! — гаркнул Котик.

— Не ори.

Максим налил почти по полстаканчика. Скорей уж допиться и разойтись.

Выпив и закусив, смотрели друг на друга, ожидая каких-нибудь слов — молчать было скучно, а переругиваться тошно.

— А, парни, прикиньте, — вымученно попытался найти интересное Дрозд, даже глаза округлил, но на мгновение. — Иду как-то утром, с похмелья...

— Ну, удивил, — хмыкнул Котик. — Ты по-другому и не передвигаешься.

— Дай рассказать-то! Как собаки, вообще, стали... Иду, короче, и тут боковым зрением вижу: по двору что-то движется. Поворачиваюсь — птица такая...

— Да, Птица... Макс, звони Птице, пускай идет...

— Бля, не та птица! — всплеснул руками Дрозд. — А павлин.

— Что? — Максим испугался. — Он же сидит.

Павлину он должен был пять тысяч рублей, и после того, как Павлина посадили на три года за кражу ди-ви-ди плееров со склада «Электронного мира», к Максиму приходила Павлинова сестра, требовала вернуть деньги, чтобы брату отослать на зону. Но Максим не вернул — не скапливалось таких денег...

— Ой, ну и дебилы вы-ы. — Дрозд обессиленно упал на табуретку. — Нормальный, обычный павлин. Из зоопарка сбежал и ходил тут по дворам.

— Да это когда было! — вспомнил Максим, и сразу стало легко. — Года три назад павлин этот...

— Ну, не знаю. Вроде, недавно.

Заскрипела наверху дверь, и оттуда раздался старчески подрагивающий мужской голос:

— Александр, ты там?

Дрозд поднял жалобные глаза:

— Уху...

— Иди быстро домой!

— Зачем, пап?

— Иди, говорю! Жрешь опять?.. Быстро домой!

Дрозд схватил бутылку, налил себе граммов семьдесят и проглотил. Подавился, сдавленно рыгнул и, вытирая губы рукавом рубашки, поплелся на свой этаж.

Дождавшись, пока дверь закроется, Котик сказал:

— Ладно, давай по последней, и я на футбол. «Динамо» — «Спартак». Рубилово должно... У наших Кобелев, у спартачей — Карпин теперь. Должны схлестнуться.

Выпили и осели — водка наконец накрыла по-настоящему.

Котик положил голову на подоконник, Максим прислонился к комоду, закрыл глаза и словно бы отлетел...

Во сне, как часто случалось при быстром опьянении, было приятно, ласково. Максим слышал ворчание, и ему представлялось, что он в деревне под Саранском, на родине отца, и ворчит это на койке дед, почти не говорящий по-русски... Тогда, много лет назад, когда Максим был маленьким, месяц в деревне он переживал с трудом, тянуло домой, в Москву, в квартиру. В деревне же на каждом шагу подстерегали опасности, все вокруг было каким-то грязным, пыльным, от непонятных, но жутких дедовых сказок он не мог заснуть, таращился в окошко, где что-то клубилось, металось. И с бурной радостью Максим встречал приезжающих за ним родителей, первым лез в рейсовый автобус, не прощаясь с бабушкой и дедушкой, а следующим летом долго плакал и упирался, когда родители собирали его в деревню.

Теперь же, когда давно уже не было в живых ни бабушки с дедушкой, ни отца, когда жизнь его, коренного москвича, в Москве никак не складывалась, он часто видел во сне и хмельной дремоте ту деревню, тянуло туда, казалось, что там-то и найдет он некую крепость в мире, смысл приложения сил. Но в размеренном течении дней мысли взять и хотя бы съездить в далекую, в стороне от железной дороги деревушку, не возникало, зато в забытьи деревня являлась, тянула к себе, в себя...

— Бля, да что ж это... — ворчание стало слышнее, слова различимее. — Ой, твою-у...

Максим разлепил веки, увидел корчащегося Котика на табуретке, подоконник и пыльное, темнеющее уже окно; голову сжала туповатая боль, рот наполнился горькой, ядовитой слюной... Максим заметил на

полу бутылку с сочно-желтой жидкостью, как к спасению, потянулся к ней. Очень хотелось пить.

— Да это не пиво, дурак, — остановил Котик.

— А? А что это?

— Это я сделал...

— У-у, животное.

— Животное бы тебе на башку нассало. Давай водяры хлопнем... Все равно терять уже нечего. Матч пропустил. Целую неделю ждал, и пропустил. Еще «Арсенал» вечером с «Портсмутом», но его нет на общедоступных...

— Поставь тарелку, — отозвался Максим; привстал, взял бутылку кока-колы и быстро влил в себя оставшееся — на пару глотков хватило.

— Сука, — бесцветно произнес Котик. — А чем запивать теперь? Водки еще полбатла.

— Отстань. Не хочу я пить.

Котик выпил один. Почесал голову, с отвращением закурил.

— Тарелку, говоришь, поставить, — сказал вроде бы как с угрозой. — А где деньги взять?

— Да копейки стоит...

— И копейки тоже. А? Зарплату — половину матери отдаю на хозяйство, половину с вами пропиваю. Да и зарплата-то... Двадцать три тыщи, это ж... И никакого, главно, просвета. Так и буду до пенсии стиральные машинки развозить, а в выходные здесь вот бухать. — Котик взял бутылку, покрутил ее в руке; Максиму показалось, что сейчас он возьмет и хлопнет ее о подоконник или швырнет в стекло, но Котик плеснул водки в стаканчик и осторожно поставил бутылку обратно. — А Ромарио вон до сих пор играет, ему сорок три уже. Андрюха Тихонов — лучший бомбардир в Казахстане. На год всего меня старше. Прикинь! Мальдини играет, но он защитник. А мне каждую ночь снится, как я забиваю. Каждую, врубись только!

«И ему тоже одно и то же снится», — коротко удивился Максим. Удивляться долго не давала боль в голове, ломота в суставах, жажда.

— Как мяч принимаю, подбрасываю — и бью. И так, с-сука!.. Мяч ногой чувствую, как я его... Эх-х, дурак я, дур-рак! Насрать надо было на ваши подколы и не бросать. В дублеры мне прямой был путь, все говорили. А оттуда — в основной состав. «Динамо», блин, это ж! — Котик поднял стакан и тычком отправил водку в рот; не закусывая, сипло выдавил: — Жал-лко-о!.. А может, — уже другим, вкрадчивым голосом спросил, — пойти к Кобелеву? А? Я же знаком с ним, он тогда в старшей группе был... Пойти, предложить, все объяснить ему. А? Усиленные тренировки до начала второго круга и, может, в заявку. Попробовать? Вон Роналдо вообще развалина, бегемот, а в сборную его планируют. Я-то в форме. В форме, Макс! Меня водяра закаляет только... Я иногда рывки делаю и сам удивляюсь. Смогу я, смогу! Главное, с Кобелевым встретиться, сказать, упросить, чтобы проверил. Пускай проверит, а? Как, Макс, реально? А?

— Попробуй, — вяло поддержал Максим, поднялся, покопался на подоконнике, поискал, что бы пожевать; не нашел.

Поднял лицо, увидел свое бледное, почти растворенное в стекле отражение. Но главное разглядел — там было лицо немолодого, испитого мужика с морщинами вокруг рта, глубокими глазницами. А рядом такое же испитое и морщинистое лицо Котика... Крутись-вертись, пытайся всех обмануть, но тридцать восемь впустую прожитых лет не спрячешь. Ну, пусть не все тридцать восемь, но двадцать — точно. Отпечатались они на лицах, ничем эти отпечатки не смоешь, не соскоблишь. И от новых таких же пустых не спасешься. Вот так все и будет еще очень долго — очень долго, тяжело и пусто.

БЕЗБИЛЕТНАЯ СТРЕЛЬБА

А. Кашику

Суббота перевалила за середину, мы сидели втроем — мой приятель, его жена и я — в охотничьем домике за столом. Говорил, я бы сказал — вещал, он: о происках конкурентов, о рыночной конъюнктуре, об успехах его фирмы... Я прилежно слушал, не в силах сказать что-либо внятное по этой далекой от меня теме, внутренне тяготясь своей неадекватностью, столь нетипичной для нашего с ним общего прошлого.

Повод самоутвердиться представился, когда он заговорил об охоте. Задиристо и довольно, надо признать, неуклюже, я высказался в том смысле, что охота, если она не ради пропитания, дело в наше время нравственно сомнительное. Подтекст был в том, что сомнительна для меня вся его коммерческая деятельность, и он это понял. Но перчатку не поднял.

— Чепуха! — продолжил он своим нарочито хрипловатым голосом. — Стада лосей и кабанов умножились. А зайцы, лисы...

— Пушнина бродит вокруг, — поддакнула его жена — Вероника.

— И мужчины должны иногда придаваться чему-то такому... — сказал он.

— А чему должны придаваться женщины? — спросила она.

— У каждого свои духовные радости.

— Так это из области духа? А помнишь, у Есенина: не обижу ни лисы, ни зайца...

— Тем не менее, любил пострелять. Изверги с крупнокалиберными пулеметами, бедные зверушки... Экое ханжество! Есть, конечно, любители: вышка, оптический прицел, прикормка... У нас — иначе! Идет соревнование равных — понимаешь? Сначала рыщешь полдня, потом бежишь на лыжах весь в мыле...

— И кабан тоже бежит на лыжах? — спросил я в тон Веронике.

И тут его прорвало:

— У кабана четыре ноги, и он прет сквозь лес, как бульдозер! Интеллигент ты долбанный! Если такой умный, почему такой бедный?

Я не раз слышал эту американскую хохму. Подтекст здесь не в том, что я — бедный, а что он — богатый...

Юрий ГОРБАЧЕВ — родился в 1936 г. в Москве. Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. Доктор технических наук, профессор, до конца 2003 года заведовал кафедрой Геологического факультета МГУ. Автор многих научных книг и статей, опубликованных в России и за рубежом. Как прозаик дебютировал в 50-е годы. Живет и работает в Новой Зеландии.

— Я не богатый, это верно... — начал я... и замолчал: втянуться в подобную перебранку было бы недостойно.

Последовала пауза. Жена закурила очередную сигарету, муж закурил вслед за ней. За окном гас в сизой дымке сырой преддекабрьский день; промокшие стволы деревьев, вблизи угольно-черные, дальше по склону теряли четкость, прессуясь в серый лесной массив; снега не было; всю предыдущую ночь моросил дождь.

Объявили, что сауна готова, и мой приятель сказал:

— Ладно, старик, не злись. Мы твою рефлексию преодолеем. — Он хлопнул меня по плечу. — Еще поработаем вместе. А? Как когда-то. Я ведь давно предлагал. Вспоминаешь аспирантуру?.. Самое счастливое время! Только не говори опять о своих жизненных принципах.

— Да у меня их и нет.

— Вот и славно! Тогда — вперед! — Он наполнил мою рюмку.

— Вперед! — поддержал я и, чтобы перевести разговор на другую тему, спросил: — Сашка-то как? Ему сколько стукнуло? Девятнадцать? Надо было взять с собой. Как он теперь — насчет выпивки? Все такой же... нетипичный?

— Да, уж... Его грехи еще впереди, — снисходительно усмехнулся отец.

— А твои? — спросила мать

В сауну я не пошел. Вероника принялась убирать со стола. Мне было велено носить посуду в просторную, наполненную ароматом сосны кухню.

— Сама-то с нами завтра не поедешь?

— Да у меня и билета охотничьего нет. Кстати, я сегодня немного не в духе. Уж извини. Небось, удивляешься: зачем, вообще, сюда езжу?

— Чему ж удивляться? Семья. Это естественно.

— Не правда ли? Должна же я иногда чувствовать себя его женой.

— А что, разве?..

— Это навсегда. Такая уж у твоего приятеля любвеобильная натура. — Она замерла с тарелкой в руках и вдруг как-то буднично сообщила: — Когда-нибудь я его убью.

— Ничего себе, признаньеце!

— Шутка. Может быть, скорее это сделаешь ты? Вы ведь старые конкуренты.

— И ты туда же! От кого услышала эту глупость?

— Почему я должна от кого-то услышать? — спросила она с этой своей улыбочкой и отвернулась к плите. — Слава Богу, не первый день знакомы.

Наша мирная беседа прервалась. В наступившей тишине стали явственно слышны попискивания зимующих под крышей мышей. Потом что-то заскворчало в чугунной сковороде.

— Пожалуй, пойду пройдусь, — сказал я. — Есть у меня полчаса?

— Отличная идея, — одобрила она, — У тебя есть час, и не вздумай вернуться хотя бы на минуту раньше.

Я вышел из домика и побрел в сторону темнеющего невдалеке леса.

То был не самый легкий период в жизни многих из нас. Нас словно смыло, вынесло на обочину жизни, мы тщетно искали в ее кипящем многообразии тот выступ, за который можно было бы ухватиться, и не иначе как ощущение потерянности подтолкнуло меня принять приглашение моего приятеля ехать с ним на охоту, к которой у меня никогда не было ни склонности, ни интереса.

К вечеру подморозило, очки холодили переносицу, и звук падающих с веток капель сменился похрустыванием индевеющей травы. Было светлей, чем казалось из окна, но лес тонул в сиреневой мгле, и окна коттеджей охотничьего хозяйства — нашего и тех, где остановились коллеги моего приятеля, — были ярко освещены. Я поднялся по склону, пересек полосу соснового молодняка и остановился посреди усыпанной палым листом просеки. За ней был лес. Вблизи он не казался уже сплошной массой: неожиданно ярко белели стволы берез, аккуратными пирамидами темнели ели. Я посмотрел на часы: было всего четверть пятого. Мой приятель уже сидел, надо полагать, на верхнем полке сауны, снисходительно посмеиваясь байкам своих адекватно воспринимающих жизнь сотоварищей; в пахнущей сосной кухне его жена Вероника, щуря в усмешке обведенные мелкими морщинками глаза, вела свой нескончаемый саркастический диалог с мужем... Возвращаться туда было бессмысленно, идти дальше, в сущности, тоже; я стоял по щиколотку в траве и по горло в собственных мыслях, и когда невдалеке возник мерно нарастающий треск, не сразу осознал, где нахожусь. К этому моменту треск оборвался, потом возник вновь — ближе и громче. Кто-то мощно ломился сквозь чащу: несколько секунд треск — вдвое дольше тишина, треск — тишина, еще — тишина...

Уже было совсем близко, но ничего не удавалось разглядеть сквозь рябящий ореховый частокол, казалось, по лесу сам собой бредет вымороченный, из ничего рождающийся звук, и, хотя страха я не испытывал, об оставленном в домике ружьеце подумал с сожалением. Потом заметил подвижное белое и разом выхватил из переплетения ветвей одинокое туловище лося: белыми были его ноги, задние — сплошь, передние — до колен; он брел неторопливо, замирал, слушая, и снова крушил подлесок.

Я неподвижно стоял посреди просеки, а он брел под острым к ней углом, опустив голову, с треском перебирая ветки небольшими звучными рогами, ломая валежник и хрупкий ледок, и в какой-то момент оказался совсем близко. Я смотрел, как плывет мимо морда с капризной нижней губой, небольшая розетка рогов, смешная бороденка, и мысль о ружье казалась теперь сущей нелепицей: слишком близко он подошел, слишком был велик, слишком много мозга могла вместить его большая голова! Я негромко свистнул... Он замер, антеннами выкатил на меня уши, и лишь когда я свистнул еще раз, упруго, точно стартующая ракета, маханул через кювет и скрылся в чаще

Помниться, меня поразила наступившая тишина: не та, что в городе, когда все угомонилось и слышно лишь далекое гудение уходящих в парк

троллейбусов, — эта была абсолютно, изумительно тиха, словно вместе с каплями дождя вымерзли все наполняющие лес звуки.

К утру подморозило, небо расчистилось, и, выйдя на бодро поскрипывающее крыльцо, я увидел заснеженную поляну, мягко скатывающуюся к реке. Деревья под грузом снега стояли изящно поникшие, точно на японских миниатюрах, солнце еще не взошло, но снег уже розовел едва заметным нутряным светом.

Объявили садиться в вездеход, — он четверть часа уже молотил под окнами, прогреваясь, — и мы, двенадцать гавриков, все кроме меня в импортном камуфляже, пошли, шаркая сапогами, волоча ружья и патронташи. Ехали долго, заезжали за егерем, потом за старшим егерем — цыганской наружности молодцем по прозвищу Киллер. С ними были сибирские лайки: два гривастых зверя с внимательным оценивающим взглядом — профессионалы, давно знающие, где в кузове меньше трясет и чище воздух.

— Ну, как? — спросил мой приятель. — Не укачивает?

— Пока нет. Между прочим, видел вчера лося. Вот, как тебя. Красавец! Северный олень!

— Где?

Я рассказал.

— Северный олень... — ухмыльнулся он. — А Снежную королеву, случаем, не встретил? Интеллигенция... Сохатый это, трехлеток. За него не бойся. Знаешь, для кого берегут? — Он назвал фамилию известного бизнесмена. — Любит, говорят, побаловаться с вышки.

— Так значит, песенка сохатого спета?

— Ну, пока нет. До середины января побегает. Северный олень...

Наконец, приехали, спешились и еще с километр торили проселок вослед за егерями, точно автоматы вышагивающими впереди. Кругом тянулись присыпанные снегом озими, прозрачные островки берез с четкими сейчас окатышами вороньих гнезд, потом пошли кочковатые осинники, за которыми стеной поднимался лес. Остановились, запарившись, уже в его глубине, на пересечении двух просек, сгрудились вокруг егерей.

— Вы в зоне охоты, — ткнул Киллер в окаймленный просеками массив. — Разговоры, курение, оправка, прием горячительных напитков исключаются. — Помолчал... и пошел отстукивать отрывистым слышным шепотом: — Обкладываем этот квартал. Мы втроем гоним оттуда, — короткий взмах влево. — Цепь — вдоль этой просеки, — взмах вперед. — Охота только на копытных. Конкретно, на-ка-ба-нов. Стрелять лосей, зайцев, лис категорически за-пре-щается! — Кто-то кашлянул. Киллер осуждающе на него посмотрел, и мы посмотрели тоже. — И главное: *стрельба по неясно видимой цели — преступление*! Всем ясно? — он взглянул в мою сторону, и я машинально кивнул. — Кто пойдет в загон третьим? — Он опять посмотрел на меня. — Может, вы? Билета у вас нет, стрелять все равно не положено.

— Заблудится, — сказал кто-то. — Наищемся потом.

— Исключено — поставим посредине.
Подошел мой приятель:
— А что, старик?.. Соглашайся. По первому разу интересно.
Я пожал плечами:
— Если доверяете...
Мне протянули компас:
— Возьмите. С ним надежнее.

И вот я уже с трудом поспевал за двумя своими сухими — ничего лишнего — сотоварищами, легко покачивающимися впереди в своих коротких, туго опоясанных телогрейках. Отставал, нагонял, гадал, надолго ли еще меня хватит. По свежему снегу петляли следы — лисьи, заячьи, чаще собственных собак, неутомимо шьющих лес вокруг нас. Один раз встретили припорошенные, петляющие вокруг кустов отпечатки копыт, и Киллер сказал: «Лоси. Были ночью». Вскоре после этого второй егерь остановился... Через сотню шагов Киллер махнул остановиться мне... Собаки замерли, взбучив загривки... Я тоже замер, напряженно вслушиваясь, ожидая сигнала...

Это был крик «давай!», прозвучавший неожиданно громко, и я, вздрогнув, пошел вперед, спотыкаясь, обходя поваленные деревья, то и дело машинально посматривая на компас. Егерей скрывала чаща, но с флангов слышались их покрикивания и постукивания. Я тоже принялся стучать по стволам деревьев, но кричать поначалу стеснялся. Потом осмелел и подстать егерям затянул: «Э-ге-ге... э-ге-ге».

Мне все время казалось, что отстаю или забегаю вперед и что собьюсь, если не буду сверяться с компасом. Я очень старался. Небезупречность занятия не вызывала больше моих сомнений — охотничье чувство вскипело-таки в моей груди: я должен был выгнать зверя под пули стрелков; остальное не имело значения, было забыто!

Я быстро устал, взмок и перешел, было, на шаг, но тут заунывное «э-ге-ге» внезапно прервалось нарастающим пронзительным «дер-жи-и!.. дер-жи-и!»... Следом, точно взорвавшись, вступили собаки; их заливистый лай слился с захлебывающимся голосом Киллера, и я, рванувшись, побежал, крича, подвластный общему порыву.

Псы заливались прямо по ходу, я спотыкался, падал, терял очки и, когда в лай вплелись порыкивания и клацанье, сразу догадался, что они означают: секач сдерживал собак, давая уйти самкам... А потом впереди, совсем близко, треснул выстрел. И точно языком слизнуло: с хрустом унеслись куда-то в сторону рык, клацанье, лай собак. И я, остановившись, вслушался в наступившую тишину... И уже не побежал, а пошел сквозь лес... И услышал сигнал отбоя... И опять побежал... И опять пошел... И вышел на просеку.

Несколько человек стояло в стороне под обломанной сосной, и, хотя солнце било в глаза, я узнал моего приятеля, егерей и еще двоих наших. Увидев меня, егерь безнадежно махнул рукой:

— Упустили. Пальнул кто-то наперед времени.

— Где кабан? — тупо спросил я.

— А кабан-то убег, — заговорил мой приятель ерническим тоном. — Впереди стрельба, сзади загон... Он что — дурак? Подался в сторону и был таков.

Я растерянно повертел в руках компас:

— Зачем — наперед времени?

— Как — зачем? — оскалился Киллер. — Так со страху же. С чего же еще? Клыки-то — во!

Охотничье хозяйство «Лаптево» расположено на территории бывшего совхоза того же названия. Общая площадь земель — пятьдесят гектаров. Семнадцать было раньше под пашней, шесть или семь — кормовые угодья, остальное — лес. Теперь все в запустении. Вырубки зарастают осинником, бузиной и прочим сорным мелколесьем, и как раз на краю такого кочковатого клина мы убили в то солнечное воскресенье кабана. Говорю «мы», потому что опять был в загоне — третьем с утра: в первом помешал преждевременный выстрел, а второй был пуст.

Это произошло около трех, точного времени не помню, потому что когда треснул выстрел, я посмотрел не на часы, а на компас, и, удостоверившись, что правильно держусь своих градусов, побежал сквозь заросли осинника. В этот момент впереди еще раз грохнуло, чуть спустя протрубили в ружейные стволы отбой и кто-то негромко, но внятно, крикнул: «Завалили».

Признаться, меня поразил размер нашего трофея. Естественно, я видел кабанов и раньше — в зоопарке. Но на коротких тонких ножках эти звери не выглядят такими большими. Теперь же передо мной распростерлось огромное, не меньше лосиного, туловище, без шеи соединенное с клыкастой головой.

По просеке подходили, неторопливо рыхля снег, остальные участники охоты. Присев, рассматривали голову, отверстия от пуль, трогали граненые, размером в палец, клыки. Но прежде этого каждый пихал круп ногой, и поскольку так поступал буквально каждый, за этим, несомненно, крылось какое-то имманентное человеческое свойство: вероятно, стремление самоутвердиться, поправ поверженного, а может, — отомстить за испытанный прежде страх.

От того места, где в кабана вошла пуля, тянулся кровавый след, алеющие гроздья рябины тоже казались брызгами крови, и только там, где снег был срыт агонией, чернела влажная, еще не прихваченная морозом земля.

— У кого мобильник? — выкрикнул, словно очнувшись, Киллер. — Машина нужна. Мобильник у кого?

Я посмотрел вдоль просеки еще недавно пушисто-снежной, а теперь вспаханной нашими следами. Все уже были здесь, и двое стали переворачивать кабана на спину. Другие кинулись им помогать. Кабан, придерживаемый за ноги, застыл на спине, и они, еще потолкавшись, принялись подрезать кожу под его коленками — «снимать камуса», как

пояснил мой приятель, — ибо подошел, по его словам, апофеоз охоты: «приготовление потрясающе вкусного жаркого из свежей печени, сердца и легких».

Машина запаздывала, я вызвался пойти ей навстречу, и когда минут через сорок мы подъехали к мерзлой рябине, кабан уже голенький — ноги торчком — лежал на собственной шкуре, а прямо посреди просеки полыхал костер. По бокам были вбиты рогатины, рядом валялась перекладина, дело было лишь за котлом, который как раз и приехал в машине. И все, вообще, было готово к ритуальному пиршеству, но охотнички продолжали суетиться, продляя свое исконное право на грубоватую мужественность. И мой приятель был с ними. И я был с ними. А посредине поблескивал в свете костра мускулистый, убитый нами, в том числе мной, — к чему ложная скромность? — большой головастый зверь.

Кругом была суета сует, и только егеря сидели в стороне на бревнышке, поблескивая кокардами шапчонок, являя собой пример абстрактной непричастности: их дело было сделано, в их помощи больше не нуждались, а в экзотике не нуждались они. Нет, мое чувство к ним было иное, чем к остальным, в том числе к самому себе: они были профессионалами, зарабатывали хлеб в поте лица, а профессия есть профессия, и я мог бы легко назвать с десяток куда менее достойных.

Я не стал ждать «жаркого» — ушел на базу, пообещав идти строго по автомобильным следам. Мой приятель выразил удивление; я сослался на отсутствие здоровья; он, естественно, мне не поверил и ненавязчиво предложил проводить; я естественно, отказался; он пожелал мне счастливого пути; я отправился в этот путь; и между нами стала расти и шириться ничем и теперь уже никогда не устранимая полоса. Остаться, поступить иначе, я не мог: охотничья страсть после недолгого, но бурного кипенья начисто, и теперь уже навсегда, иссякла во мне, сменившись ознобом отречения, а потом, по мере того, как я шел, уставившись в рифленый след автомобильного протектора, — недоумением и растерянностью. Ведь все было не так очевидно... Те, у костра, были, в общем-то, симпатичными людьми, а мой приятель — человеком высоких достоинств... И не его вина, что я забыл мудрое правило: в трудный момент искать опору внутри, а не вне себя.

Текли те смутные минуты, когда день иссяк, а сумерки еще не наступили, заря еще остывала за моей спиной, но на вороненом небе уже покачивался блистательный месяц, теряли очертания заснеженные холмы, но ярко чернели в разреженном воздухе кряжистые ветви дубов, и я шел в этом холодном, точно царство Снежной королевы, безлюдье, а на открывшейся за поворотом поляне меня ждал Северный олень. И, увидев его, я ничуть не удивился, ибо в глубине души ждал этой встречи. Я узнал его и в густеющем сумраке: эта горбоносая ушастая морда с капризной нижней губой, массивный загривок, свернутая набок розетка рогов, смешная бороденка...

Не думаю, чтобы и он узнал меня. Скорее, его интерес был небескорыстен. Он не раз встречал в лесу двуногих, они были безопасны, при-

носили душистое сено, и, возможно, он ждал его и сейчас. Товарного возраста он достиг лишь весной, попасть в облаву на уже созревших сородичей ему за три прожитых на свете года не посчастливилось, а знать фамилию некоего шаловливого бизнесмена ему не было дано. И гладя на его большую с вместительной черепной коробкой голову, я подумал, что в это дело надо внести ясность. Теперь же. Ибо другой шанс в его жизни не предвиделся.

Стараясь не делать резких движений, я нашел в патронташе подходящий патрон, осторожно переломив ружье, вставил в ствол. И хотя оба раза, когда щелкал затвор, по его спине пробегала дрожь, он оставался недвижим.

Я плавно поднял ружье, прицелился в белеющее бедро и... нажал курок.

Его точно ветром сдуло, точно никогда и не было на этой покрытой первым снегом поляне. Уроки моего приятеля не прошли даром — я стрелял бекасником: когда бьешь им с тридцати метров в мускулистое, обтянутое толстой шкурой лосиное бедро, это безопасно. Но впечатляет. И навсегда лишает иллюзий.

Как заряд соли в зад любителю чужих яблок.

ВСЕ НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЙ...

* * *

Д. Мельникову

Мы последние из могикан,
в никуда навострившие лыжи...
Огнебрагой не вылечить ран;
сунешь руку в тяжелый капкан,
но и крика никто не услышит.

Наши песни отправит в утиль
равнодушный знаток-недомерка;
то не сказка сказалась, но быль:
нет традиций и призрачен стиль,
и великий язык исковеркан.

Много букв и диковинных слов,
сплошь ремиксы, когда не римейки.
Под присмотром светлейших голов
собирается знатный улов,
где за щуку сойдет и уклейка.

Отцы

А им хватало воздуха. Они
не тяготились бременем достатка,
ночами жгли настольные огни
и разливали вирши по тетрадкам,
лабали подзапретный рок-н-ролл
на пустыре — пустыннее пустыни
и нежно щекотали слабый пол
усами, бакенбардами густыми;
фланировали в чудо-брюках-клеш,
учились и на стройках рвали жилы.
С трудом сейчас их радости поймешь,
но, значит, и в то время люди жили!?.

Игорь ПАНИН — родился в 1972 г. в Тольятти. Окончил Тбилисский государственный университет, факультет филологии. Поэт, публицист. Автор нескольких поэтических сборников, публиковался в газетах, журналах, альманахах. Живет в Москве.

Они еще не знали, что и как
и что почем, и грянет ли расплата,
но всякий неистраченный пятак
бросали в банку — выручит когда-то.
И с каждой непростительной весной
все злее становились и угрюмей,
не лезли под корягу за блесной,
невольниками оседали в трюме.
Их потчевал не первый Первомай
селедкой, кабачковою икрою...
...Спеши, дружинник, драки разнимай,
пока ларьки пивные не закроют.

* * *

Напиши два десятка нетленных стишков
и уйди на покой.
Как щитом, не прикроешься талым смешком:
а на кой, а на кой?

Долг и памятью красен, и вовсе не суть —
сколько именно, и
сколько пены янтарной на гривах несут
озаренья твои.

Хоть десяток, но сто́ящих выдать сумей
и спокойно уйди.
Сколько сможешь, пока еще разум в уме,
да хотя бы один...

* * *

Записные книжки изорваны,
все друзья на поверку — приятели,
жены бывшие — только прорвами
остаются в моем восприятии.
Это слабость сиюминутная,
упиваться хандрой не стану я...
И глаза продираю мутные,
алкогольные, конопляные.

Звон трамвая тревожит улицу,
хоть трамвайных путей нет в помине там.
Остается слегка ссутулиться,
да с балкона плевать (так уж принято),

да почесывать переносицу,
да обдумывать жизнь вольерную.
Если стих на перо попросится, —
я зарежу его... Наверное.

* * *

Озираясь на окна чужого тепла,
я иду, заплетаясь, меж серых сугробов.
Мне не хочется верить, что жизнь умерла,
но в глазах оседает окружная мгла
и мерещатся строгие контуры гроба.

Если верить приметам, то я обречен,
но не этого разве мне втайне хотелось?
Получается, недруги здесь ни при чем, —
я хлестал по судьбе озверелым бичом,
а теперь и такая забава приелась.

За свои прегрешенья — себе же воздам.
Но в какие пенаты мне путь обозначить?
Нежеланен я здесь, неугоден я там;
покоряюсь без боя холодным ветрам,
и палач мой прекрасный в окне не маячит.

Пропадать — так красиво! Выходит, таков
мой нелепый удел, трудодоля земная...
Затерявшись в пустыне унылых снегов,
я сейчас на любое безумство готов.
Но безумен ли я? Не уверен, не знаю...

Экзамен

Как от подземного толчка
вскочил — проспал! — долой с постели.
Не заморив и червячка,
несусь проспектом Руставели.

С часов сползающий мотив
колышет марево и землю.
Рога на спины опустив,
троллейбусы привычно дремлют.

И электричество в цене,
и недостаток кислорода,
и трескающийся цемент,
что лишь кусками не распродан...

И обжигаясь ледяной
спасительницей-газировкой,
отодвигаю липкий зной,
что не погладит по головке.

Но время льется, как зурна,
стучат минуты, словно четки.
Ловлю такси, вдруг осознав,
что позабыл свою зачетку.

Декан мне плеши не проест,
но душу вытрясет, однако.
В карманах — деньги на проезд
и свежий томик Пастернака.

Почти эмигрантское

Заржавел без дела старенький мангал,
двор листвой усыпан — некому убрать.
Керосин — вода живая — по деньгам:
отоварился канистрой — благодать.

Доживешь ли, Сакартвело, до весны?
Солнце с Севера не греет, — не судьба.
И не в радость ностальгические сны,
что тревожат каждый мерзнущий убан.

Сололаки оставляя за спиной,
до Мейдана прогуляюсь не спеша.
Вечно будут эти улочки со мной,
если вечна, как написано, душа.

Не добыл себе руна, Медеи нет,
и пожитки собираю к декабрю.
«Где ты едиш?!» — сокрушается сосед.
Пистолет ему на память подарю.

Сколько пропито в духанах — не считал,
сколько ласки на чужих растратил жен...
Жгу мосты перекидные под запал.
Ни пера, ни пуха! К черту! На рожон!

Без меня меня забудут, ну и пусть.
Без меня Курою море утечет.
Суждено вернуться? Значит, я вернусь.
«Дзинь!» — монета — через левое плечо.

Ноябрь 1997 г.
Тбилиси

* * *

Все гораздо серьезней, чем могло показаться.
Разжигание розни — в каждом новом абзаце,
разложение веры по разрозненным полкам,
записные гомеры знают, выпито сколько.

Наше время не лечит, наши годы — какие?
Рашку давят на Вече — не протянешь руки ей.
В стоге сена иголка, — да опять мимо вены;
за отсутствием волка ноги кормят гиену.

Заплутав в трех бараках, загибаясь от ханки,
на безлюдье и раком станешь за две буханки.
Ой, вы, слухи да козни, да поклеп на ворюг!
Все намного серьезней, говорю...

ГОРОД ВОРОБЬЕВ И ЛИСТЬЕВ

Рассказ

Пустырь с желтыми уродливыми новостройками окраин — трущоб — именовался скучно и страшно, — ТРЕТИЙ МАССИВ.

Ни имени, ни названия, ни тепла.

Гнезда мышей, норы бездомных пресмыкающихся, разоренные птичьи гнезда.

Людей согнали из идущих на слом домиков, всех скопом, этих никому не нужных последних людей. Аристократия города въезжала в комфортабельные дома фешенебельного района Ваке.

А этих, бедноту и безродную многонациональную кучу людишек в исполкоме, в отделе учета жилплощади считали МУСОРОМ: курдов, езидов, айсоров, осетин, армян, греков, а также нищих грузин из умерших деревень, не имеющих родни. Их выдворяли на МАССИВ, запихивая там в клетушки-клоповники, где никогда не журчала в кранах хотя бы гнилая, мутная вода. С электричеством тоже был кризис.

ТРЕТИЙ МАССИВ, сразу ТРЕТИЙ, хотя про первый и второй никто из жителей никогда не слышал.

ТРЕТИЙ МАССИВ. ТРЕТИЙ РИМ. ТРЕТЬЯ СМЕРТЬ.

Может, ПЕРВЫМ МАССИВОМ были начальники и хозяева — властители дум и мешков денег — вечного, изнеженного, но грязного и жестокого, засиженного мухами восточного города.

ВТОРЫМ МАССИВОМ могла быть родня начальников, дальние родственники, а также более мелкие торгаши, жульничающие конторщики, христопродавцы, чиновники и спекулянты мебелью.

Городская беднота, дворники, чернорабочие, очистители канав и выгребных заразных ям, санитары нищих больниц — были вывезены в барачные пятиэтажки, составляющие ТРЕТИЙ МАССИВ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО СОРТА со скучным чахлым городским пейзажем с унылыми насаждениями и агитстендами.

Этот пустырь отверженных с домами-коробками и кучами грязи лежал далеко на восток от несчастного города, намного дальше забытых, обвалившихся кладбищ с голо торчащими костьми и безглазыми черепами. Под стенами массива зияла огромная яма городской свалки.

Иван ОГАНОВ — родился в 1943 г. в Тбилиси. Окончил Московский институт иностранных языков. Автор романов «Песни об умерших детях», «Венок грехопадений», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью» и «Кровь Пастернака», печатавшихся в 1991 – 1994 гг. в «Октябре», в «Новом мире» и в «Континенте». Живет в Москве.

Города жалких новостроек, хоронящие людей в своих ямах...
О, новостройки ТРЕТЬЕГО МАССИВА!
Чикра ненавидел их.

Старый милицейский чин по прозвищу Чикра — барабанщик милицейского духового оркестра. Если большой барабан — душа духового оркестра, маленький — его живот, острый нерв. На маленьком и выстукивает Чикра тревожную, резкую боль. Над худеньким, в веснушках личиком Чикры — огненно рыжая шевелюра. От подбородка тянется и повисает над жестким форменным воротничком индюшачий высохший кадык.

Чикра — великий барабанщик. Но, к сожалению, знают об этом лишь очень немногие — соседи, кондуктора и кое-кто из уличных хулиганов, а также он сам, Чикра — человек больной диабетом с синими, как горящий спирт, глазами.

Жизнь Чикры — это постоянное надевание пыльной, в дырах, выдаваемой раз в пять лет милицейской формы, скрипящих сапог, замусоленной мятой фуражки и непрерывное хождение по городу с маленьким покарябанным барабаном в холодных, стынущих ручках.

Он притворялся, что идет важный, медленно, очень медленно на очередную репетицию, маршировку или на торжественное собрание, как будто и не спешит! На самом деле он готов был бежать, бежать и бежать...

Так он любил свою музыку.

Чикра знал, что Кавказский вечный Рим, Тифлис, благодарен ему за апофеоз и мелкую, сухую дробь убогого барабана, которой он пытался восхвалять пыльную душу города и усыплял угасающую гражданскую совесть.

Милицейский штатный оркестр играет на юбилеях, официальных похоронах и торжественных заседаниях. Так бывает всегда. Но в свободное от службы время оркестр маскируется, надевая гражданские штаны, пиджаки, кепки, и зарабатывает игрой в старом, умирающем парке, если на дворе весна, лето или ранняя осень. Звенит медь, и трубы поют старомодные вальсы.

Граждане южного забытого кавказского города слушают, вздрагивая одинокими сердцами. Вальсы и потрепанные мелодии военных и первых послевоенных лет. Это весь гражданский, обывательский репертуар, которым умеет развеселить оркестр праздношатающуюся публику. Осенние вальсы со слезой и простуженные танго — постоянный хлеб.

Когда же наступает богатый сезон парадов и бумажных венков на качающихся проволоках, — оркестр бомбовыми ударами барабанов, визгом тонкоголосых труб и протяжно и медленно стонущих тромбонов открывает гражданскую демонстрацию трудящихся вечного восточного города, засыпанного мертвыми листьями платанов. Надуваются щеки исполнителей гимна. Плачут трубы. Жалуются на судьбу фаготы и флюгельгорны. Воздух, лопаясь, со слюной и шипением ползет по темным

тоннелям труб. Свежее колыхание тусклых знамен и вылинявших от непогоды транспарантов.

Пожилые сержанты и старые рядовые маршируют так четко и организованно, что у самих захватывает дух. Публика тоже реагирует, публике нравится это торжество.

Оперно-нарядный оркестр уходит, и над асфальтом, кувыркаясь и цепляясь за кленовые листья, тихо плывет птичьим пером грязная сладкая бумажка от мороженого...

В будни, отыграв на репетиции положенные килограммы нот, пожилые усталые люди в мятой форме, сутулые и сгорбленные, бережно укладывали в черные побитые футляры с трещинами казенные орудия духовой музыки и, не прощаясь, расходились по домам. Дома их ждали покорные жены и борщи на клеенке кухонных столиков.

Чумазые, полуграмотные дети приставали с уроками и сочинениями.

Чикра был скромным, неприметным жрецом истошной кавказской музыки и тихим фанатиком военизированных звуков. Он обожал играть на юбилеях и похоронах официальных государственных лиц. Обычно он исполнял некий набор бессмертной музыки, который наизусть, жмурясь слепо, отстукивал по барабану маленькими, увесистыми палочками.

Иногда поздно ночью, когда он возвращался с работы и улица была пуста, Чикра осторожно постукивал по дребезжащему старенькому барабану с трещинами много раз залатанной и вновь натянутой кожи.

Казалось, что кожа, обтягивающая худые скулы, была той же, что на барабане. Серой, потускневшей, мертвой.

— Дорогие! Любимые мои! — выстукивали палочки, сжатые скрюченными пальцами, обросшими порыжевшими волосами, — я люблю вас! Я, как и вы, патриот вечного города.

Чикра останавливался, глядел в черное небо и разводил руки в стороны, будто обнимал невидимых людей. Но граждане города, захваченного пожелтелыми, пожухлыми листьями пятилеток и сталинской пламенной мечты, отмахивались от Чикры.

Он чем-то раздражал их.

Как насекомое.

Им даже хотелось, чтоб он побыстрее ушел на свою жалкую пенсию, а потом, особенно не задерживаясь, умер.

Они боялись печали, тлеющей на его слюнявых, скривленных в раздумьях губах.

— Чикра, умри! — советовали обыватели.

— Смерть — это праздник для тебя! — часто слышалось отовсюду. Они не догадывались, что с исчезновением Чикры, голодного барабанщика, начнет умирать с тоски осиротевший город. Даже местные шляющиеся птицы зачахнут.

Поникнут клювами.

Одни воробьи сочувствовали ему.

— Чикра, не умирай! — чирикали воробьи блудливого города.

Городские обыватели торговали на рынках и в маленьких лавочках, ставили заплатки на чужие штаны в пошивочных мастерских, клеили резиновую обувь, занимались мелкой розничной спекуляцией кепками и калошами. Музыка интересовала их только в том случае, если кто-нибудь из родственников умирал и лежал уже обмытый на обеденном, выскобленном тупым сапожным ножом грубом столе. Тогда они нанимали восточный оркестр, черные кларнеты, зурну, гармонику и заказывали, бесстыдно торгуясь, душу рвущие азиатские горловые прощальные плачи.

Люди Кавказа не понимали, как бывал счастлив и важен Чикра, когда он, похожий на напуганную чем-то курицу с помятыми перьями, шел куда-то со своим ударным инструментом в сумерки. Терялся в мрачных, вонючих переулках.

Даже воробьи сочувственно подсмеивались над ним.

Щебетали, обсыпали ворохом пыли.

Барабан превратился в его судьбу.

Барабан судьбы!

Когда он бил по своему легкому, висевшему на проваленном животе барабану и публика обнаруживала музыканта по трусоватой дроби в шеренге, сверкающей пуговицами и трубами, ей казалось, что это манекен с серым, недышащим лицом и немигающими глазками, только руки как заведенные поднимались и опускались.

— И чего он полез в милицию? — удивлялись горожане.

— С равным успехом, — размышляли они, — он мог бы шить брюки в мастерской курдам и армянам или продавать у входа на базар протухшую селедку.

Никто не понимал, что заставило его стать барабанщиком правопорядка. Может быть, на ничтожной местной гражданской войне однажды убило кого-нибудь из капельмейстеров, и Чикра по ошибке очутился в военно-полевой музроте, которая по совместительству была и похоронной командой, действующей в тылу армии спасения. Горожанам чудилось, что Чикра-барабанщик не ветеран, человечек, искалеченный морально войной, на которой он неудачно однажды побывал, а всего лишь балаганный дешевый клоун.

Пусть смешит!

— Я тоже горожанин! — обижался Чикра.

Горожанин с унылым лицом, слезящимися от вечного ветра глазами приблудшей, безродной собачки...

Обыватели думали, что игра на дырявом барабане не занимала его, так же, как и марши. Он стоял в шеренге как искривленный истукан и, мигая птичьими глазками, думал о чем-то своем, потустороннем. Подростки и некоторый взрослый люд отравляли ему бедную жизнь. Завидев его в марширующем оркестре или бредущим во тьме по главной улица развратного города, они громко хохотали и, тыкая в него пальцами, ошалело кричали:

— ЧИК-РА́! ЧИК-РА́!..

Им казалось, что они подражают барабанной дроби.

Они словно накликали на него смерть. Маленький, нервный человек страшился этих выкриков.

Люди думали, что он тихий сумасшедший, кавказский балаганный шут. Им было его немножко жаль, и все-таки они издевались. Они не могли жить без издевательств. Душа требовала надругательства над кем-то другим.

Чикра страдал. Он любил людей, он всё любил. Воробьев, капусту, слепых старух, клянчащих милостыню возле Ортачальского моста. Он любил окружающую чахлую природу, ободранные кусты городского замусоренного окурками сквера и покосившиеся дома. Он любил бродить на тусклом рассвете по безлюдным улицам, что дымились кошачьей шерстью, выдранной в драках, и радовался тому, что все спят и глумливый крик не разорвет холста серого утра и бранное слово не ударит камнем по втянувшейся в воротник голове.

Горожане, казалось, спали вечным сном. Может, они никогда не проснутся? Ночной барабанщик поеживался, дыша запахом сырости и дождевой воды, который источали холодные тротуары.

Чикра тихо постукивал палочками по дребезжащему старенькому барабану.

Он хотел пробудить людей, спасти от смерти.

Кричал черный, испачканный углем и сажей паровоз на товарной железнодорожной станции Авлабарского вокзала.

Осеннее солнце, позевывая, грело одинокие тела вагонов.

Воробьи с неудовольствием разглядывали утреннего, раннего Чикру.

Казалось, что Чикра соперничал с ними спозаранку. Будил город.

Воробьи возбужденно здоровались с ним, легко и беззаботно дразнили, чирикая его певучее прозвище.

И вдруг какой-нибудь из случайно проснувшихся хулиганов или загулявший с ночи бездельник, просто шатающийся прохожий, заприметив жертву, из-за уличного фонаря истошно вопил на всю пустую площадь растерявшемуся барабанщику:

— Чик-ра! Ах, вон Чик-ра! Люди!

Кое-кто из заспанных обывателей высовывал из пыльных окон свои лохматые, чумазые физиономию

— Куда ты в такую рань, а?

— Куда направился? В баню? На базар?

— Уезжаешь на курорт? В Минводы? Лечить печень?

Кто-то выплеснул на него помои из грязного ведра.

— Люди! Оставьте меня! — плакали сухие мерцающие глаза.

Так он стоял, потом, вздохнув, плелся к зачуханному автобусу, что вез его на пустырь с желтыми, уродливыми новостройками, где в одном из разваливающихся и осыпающихся сразу за вводом в эксплуатацию домов, в жилище с темными потухшими окнами ждала милицейского щуплого барабанщика маленькая дочь Электра. Может, барабанщик

надеялся, что легендарное имя его дочурки заставит светиться пылающими факелами фонарные покосившиеся столбы с запутавшейся ржавеющей проволокой. Заставит гореть слезами отмщения за осиротевший в холодные тоскливые сумерки весь ТРЕТИЙ МАССИВ.

— Электра ждет меня! — дрожал радостью индюшачий кадык барабанщика.

Маленькая восьмилетняя дочурка с лицом стареющей женщины. Острый сопливый носик. Подслеповатые заплаканные глазки. Но очки не хотела. Плакала. Отталкивала отца нервной рукой. Голова, не успев наполниться думами о счастье будущей жизни, состарилась, сделалась жалкой, никому не нужной, кроме молчаливого, стесняющегося перед горожанами своего ничтожного облика милицейского захудалого барабанщика.

Дочурка! Постаревшая, восьмилетняя дочь, смахивающая на рыжего милиционера, такая же рыжая, рябая, с конопатиной и веснушками, с чахлыми завитками жестких волос. Всегда напуганная, с дергающимся несчастным ртом, настороженно замирающая в ожидании жестокостей детей. Рот искажен безмолвным криком.

Чикра возвращался домой, отмыкал дверь затерянным в рваных карманах холодным ключом и входил в комнату.

Он садился на стул, молчал и слушал, как дочь сопит мокрым носом. Нашаривал в кармане платок, скомканный и грязный, и утирал ей напряженно сжавшийся нос.

— Моя рыжая худенькая девочка! — замирало его сердце.

Он украдкой смахивал с куриного, закрытого бельмом глаза желанную, но так и не выкатившуюся слезинку.

Однажды отец купил дочери дешевую куклу с лысой головой и смятым, уцененным лицом. Чикра положил этот жалкий подарок на мокрую от слюней подушку рядом с замершей сонной головой.

Голова молчала.

Молчала и одинокая кукла с истосковавшимся по любви лицом.

Девочка Электра зашевелилась. Она не спала. Она давно проснулась и ждала теплой, стыдливо ласкающей маленькой руки родного отца.

Чикра замер над постаревшим лицом восьмилетней дочери. Отец понимал, что у этого взрослого одинокого человечка, лежащего в железной кровати, на матраце, набитом ватой, есть своя непростая, задавленная молчанием скрытного рта жизнь.

Чикра ни о чем не желал думать, давал отдых глазам, своей душе.

Хватит!

Я кормлю ребенка и играю на легком бедном барабане!

Пусть вечный город собак и маленьких людей скажет ему: «Спасибо!»

Когда жена умерла в роддоме от заражения крови и все было кончено, Чикра бродил ночью по городу, под дождем, тупо глядя перед собой. У драмтеатра им. А. С. Грибоедова он замер, остановился и бездумно

стоял, разглядывая мокнущую афишу. Шумела над его пригнувшейся к стеклу головой крона платана с толстым, как тело борца, стволом. Железная литая решетка вечера.

Младший сержант разглядел на афише огромные, падающие набок буквы, намалеванные маляром.

— ЭЛЕКТРА! — прошептал его шевельнувшийся рот.

Чикра не знал, что это, но ему понравилось слово, он тупо разглядывал его, медленно повторял, и с каждым разом сердце его все больше и больше отдыхало от черной тоски.

Две женщины замерли рядом с ним, разглядывая афишу.

Струи дождя стекались с их черных зонтов. Милицейская фуражка Чикры совсем намокла.

Чикра приложил два сморщенных пальца к треснувшему козырьку и вежливо спросил у них, кто такая Электра. Женщины обернулись и испуганно глянули на продрогшего под дождем щуплого милиционера.

— Это имя греческой героини! — иронически выговорила одна из них, толстая и бесформенная, с лицом, сморщенным от бесконечного выпрашивания подачек у судьбы.

— Имя прекрасной греческой женщины! — шептал Чикра, удаляясь. — Имя женщины!

Дочь Чикры разговаривала мало, не улыбалась и не умела радоваться, а если это случалось, то внезапно, как порыв ветра или неожиданный визг щенка, которому наступили на мягкую лапу. Радость была бесчувственной. Один лишь слабый визг.

В домах, что возникали на пустыре, жило много маленьких и взрослеющих девочек, коротконогих и долговязых, наивных, болтливых и распущенных, которые держались шумными стайками и таили от переселенного, как базар, мира взрослых свои маленькие секреты. Это были крикливые, завистливые, раздраженные бедностью родителей дети. Они шептались, хмурились, о чем-то ругаясь, договаривались или гонялись друг за дружкой с угрозами и печальным смехом. Бежали, исчезая среди облаков вездесущей пыли.

Электра молча стояла у своего жилища и смотрела на дворовых девочек.

Им не нравилось ее уродливое конопатое, худое и плоское удлиненное лицо со шмыгающим сопливым носом, раздражали веснушки и то, как она бегала, переваливаясь, горбясь и волоча ногу.

Электра стояла у стены и хитро и глуповато поглядывала на девчонок, которые шептались о чем-то, сбившись в тесный кружок.

Коротковатое пальтецо Электры было вымазано в известке. Сощурив глаза, она рассматривала солнце. Но девчонкам двора, задиристым и наглым, она была вовсе не безразлична. Им станет скучно, не окажись неподалеку рыжей, слепо жмурящейся соседки, слегка прихрамывающей, им нужно обязательно обзывать ее, дергать за жидкие, плохо зап-

летенные худеньким, неказистым милиционером косички, смеяться над ней или кидаться в нее маленькими камнями.

Электра молчит, наблюдая за их играми, щурит подслеповатые глаза и неожиданно срывается с места, гонится за девчонками-соседками, злобно смеясь потемневшим скучным лицом, бросается на них хищной птицей и до крови, до слез царапается. Потом ее бьют. Она не плачет. Только молча отпихивает обидчиц. Вырвавшись, вдруг снова бежит, кидается одна под облачным желтеющим небом на стену из маленьких враждебных лиц. Вдруг останавливается и, тяжело дыша, хочет им что-то сказать, крикнуть отрывистое и обидное, но, напуганные, они уже летят прочь.

Девчонки знали ее отца, потому что он играл на барабане и их родители часто подсмеивались над ним. Обзывали. Однажды, возвратившись с работы, Чикра обратил внимание на маленьких девочек, которые громко смеялись и тыкали в кого-то грязными, сердитыми пальцами.

Его дочь, в дырявых чулках, стояла у ржавой водосточной трубы и выдавливала из себя какие-то звериные, рычащие звуки.

Дворовые девчонки, увидев Чикру, замерли.

Электра обернулась.

Она побежала к нему со всех ног, обхватила цепкими руками его тщедушное тело в синей старой милицейской форме, и в ее глазах Чикра увидел прозрачные слепые слезы.

Девочка заметила, что он принес розовый, шуршащий сверток. Она на цыпочках потянулась к свертку с пряниками, подпрыгнула и обернулась к своим обидчицам. Лицо ее горело гордостью. Неряшливое платьице задралось, и девчонки увидели тощие, как палки, ножки и смешные длинные трусы, что носят бабки и пожилые женщины.

Чикра поглядел на дворовых девчонок и на свою дочь. Электра давилась пряником. Барабанщик вздохнул.

— Идем! — сказал он и сжал сухими пальцами ее взволнованную, горячую руку.

— Идем! — выкрикнула она.

И вдруг в рысьих глазах ее вспыхнуло что-то, она вырвалась и как безумная ринулась вперед, к обидчицам. Бежала, задыхаясь и протягивая им сверток с гостинцем. Жидкие волосы ее трепал ветер. Вода луж хлюпала под заляпанными сандалиями. Грязные брызги летели в лицо уродливой девочке. Она вдруг остановилась как вкопанная с прижатыми к груди пряниками. Сердце в плоской груди тяжело билось.

Девчонки спрятались от нее за стеной.

Электра опустила голову и сначала побрела, а потом снова, припадая на бок, побежала к отцу. Она долго бежала к нему по пустырю, одинокая маленькая фигурка в грязных чулках, в коротком чужом, кем-то из соседей подаренном платье и, добежав, ударилась в его впалый живот, прижалась к холодной бляхе ремня бледным, осунувшимся, немытым лицом с холодными, давно остывшими слезами.

Они зашагали домой.

Он взял ее за руку, но она вырвалась.

Давясь, она ела черствые пряники. Пряники крошились.

Она выплюнула крошки, потом бросила разорвавшийся кулек в лужу. Она никак не могла заплакать.

Комната скучала, ждала их.

Чикра снова взглянул на дочь, вздохнул, поставил в угол, прислонил к шкафу барабан и принялся медленно снимать шинель и стягивать с тощей груди прохудившийся китель с дырками на локтях.

Он устал. Была репетиция в клубе им. Дзержинского, а потом они играли на награждении штангистов общества «Динамо».

В нижней рубашке, — сквозь разрез на груди кучерявился клок рыжих волос, — в форменных штанах галифе, в сапогах вошел он в маленькую темноватую кухоньку, поставил на табурет круглую лохань и, подогрев на керосинке воду, стал мылить в лохани дырявые, запачкавшиеся чулки дочери, трусики и платье. Тер мокрое белье огрызком еле пенящегося, дурно пахнущего мыла.

Девочка села на кровать, взяла барабан, положила его на худые, острые коленки, постучала равнодушно. Но гремящий и медью сверкающий оркестр пожилых милиционеров не подхватил эту напуганную воробьиную дробь.

Дни шли. Восточный город то умирал, то снова оживал. Воскресал улыбками неунывающих горожан, дерзким щебетом драчливых, дерущихся воробьев.

Часто на улице, завидев Чикру, хулиганы радостно кричали:

— Чик-рá! Чик-рá!

Он был робким. Однако уважал свою персону, хотя постоянно стыдился своей невзрачной, веснушчатой физиономии. Чикра уважал ремесло профессионального барабанщика, но когда смотрел на себя глазами уличных прохожих и обидчиков, ему становилось не по себе.

К своей затерявшейся в вихре увязающих листьев фигурке он относился в такие мгновенья с законным отвращением.

— Какой же я гражданин вечного восточного города! Я позорю Кавказский Рим!..

И когда ему орали в спину оскорбления, он вдруг в сердце своем соглашался с хулиганами и, даже перекрикивая их, громко кричал сам, безудержный в своем отчаянии:

— Чик-рá! Чик-рá! Чик-рааáá!

И это вызывало бешеный взрыв хохота.

— Он наш человек! — одобряла его улица. — Он трезво судит о себе и о своем месте в нашем убивающем душу городе!

— Эх! ЧИК-рá! — печально осуждали его, чирикая уныло, воробьи. — Рано ты сдался!

Как-то вечером Чикра играл в парке культуры имени И. В. Сталина, на верхнем плато фуникулера: бывшая Святая Гора. Оркестр сидел в раковине в окружении ротозеев и скучающих обывателей с детьми. Музыканты почти закрывали Чикру своими спинами.

Играли, как всегда, старые вальсы, потом марши ударников, потом гимн передовиков, потом песни военных лет.

Кружились карусели. На блеклых вылинявших львах и на осыпающихся желтой выцветшей краской верблюдах сидели взрослые толстые кавказские мужчины, упитанные дамы и разъевшиеся дети. Курдянка с усами и в цветистой юбке продавала мороженое. В марганцевое влажное небо улетали из рук чумазых детей голубые шары.

Чикра был доволен. Его никто не замечал за спинами музыкантов. Скромно и вежливо он постукивал по барабану. Безоблачно было на душе. Он доставлял удовольствие людям. Кавказские римляне жадно втягивали в души эту медную, гремящую и стучащую радость!

— Меня не видят, — ликовал Чикра.

Он прятался от сограждан и в то же время участвовал со всеми в пестрой и большой жизни. Даже кружащиеся последние листья пыльных платанов, оседающие на бедную голову в форменной фуражке со сломанным козырьком, казались родными, сочувствующими его судьбе.

Но вот какой-то темнолицый парень из мингрельской деревни, коротконогий, в громадной кепке, коротко подстриженный, с бараньими, выпученными глазами, разглядел барабанщика и, желая прослыть остряком перед очень толстой девушкой на кривых каблуках лакированных туфель, которую он неустанно подхватывал под локоть, вдруг сложил рупором грязные руки и нахально завопил:

— ЧИК-Раааааа!

Барабанщик нахохлился птенцом. В толпе смеялись, свистели.

— Где он? И чикра здесь? А ну? Аба, где он, а ну? Чикрааа!

Отец Электры ни жив ни мертв, не мигая, колотил по плохо натянутой коже барабана. А когда он уже затемно возвращался домой и, остановившись на перекрестке между улицей Леселидзе и Табидзе, взволнованно беседовал с толстым, страдающим астмой тромбонистом о возможной прибавке к жалованью, какой-то юнец издали несколько раз пропел гнусавым, визгливым голосом:

— ЧИК! ЧИК! РАААА!

— Захрумааа! — обиделся барабанщик и погнался в потемки кривой улочки за обидчиком, удиравшим по булыжнику со всех ног.

— Что с тобой? — удивился толстый тромбонист с вялыми веками.

— Меня зовут ЗАХАРИЙ! Можно звать ЗАКРО! Я ЗАХАРИЙ! — кричал обиженно рыжий музыкант, но бежал уже не так прытко, еле двигая ослабевшими ногами.

Барабан неудобно колотился на животе. Барабанщику было стыдно перед тромбонистом, он пробежал еще немножко, а когда обидчик растворился в чернильной темноте тбилисских сумерек, он даже обрадовался и, сняв с вспотевшей головы фуражку и обмахиваясь ею, стал возвращаться.

Но тромбонист не дождался товарища. Подошел троллейбус, идущий в Ортачала, раскрылись дверцы, впустили медлительного вялого человека с неуклюжим тромбоном и снова захлопнулись. Дрожа удоч-

ками, пузатый троллейбус покатил вниз, к набережной им. Иосифа Виссарионовича Сталина, где за каменным барьером темнела стоячая, гнилая, пахнущая тиной и нечистотами вода и раздавались вопли дохнущих от отсутствия кислорода в великой реке Куре лягушек.

В Куре обычно топили котят и крыс.

Разбухшие их тельца всплывали из глубины.

Тов. Сталин наверняка был бы недоволен такой антисанитарией.

— Почему они мучают меня одного? — размышлял барабанщик с грустью, возвращаясь к остановке. — Разве не смешон толстозадый тромбонист с глупейшими глазами?

Чикра останавливался и задирал голову к высоченному истукану на гранитном пьедестале.

— Товарищ Сталин! Как мне жить?

Но вождь только хмурил веки, неусыпно вглядываясь в заоблачную даль социализма.

Чикра объявил Электре, что оркестр МВД приглашен играть на награждении медалями за ударный труд дворников и шоферов мусорных машин треста по очистке района имени 26-ти бакинских комиссаров. И он берет ее с собой. В воскресенье. И одной ей не надо сидеть дома.

Чикра купил девочке сиреневое дешевое платье. Электра стояла перед мутным зеркалом старого шифоньера. Оба смотрели в пятнистое, текущее плесенью зеркало. Отец и дочь.

Щуплый барабанщик и рыжая худая дочь с голодным, готовым сорваться на визг ртом.

— Почему она всегда кажется голодной? — удивлялся Чикра. Ведь он ей только что поджарил колбасу и налил чашку горячего молока. А еще обещал купить жестяную коробку леденцов «Монпасье» с желтыми, лиловыми и зелеными конфетками, которые так любили грызть оба, тихий отец и молчаливая дочь.

— Мы поедем туда, где музыка?

— Мой папа для дворников и уборщиц будет играть на барабане! — кричала она высыпавшим на улицу и глядящим им в спины злым девчонкам. Но те только корчили гримасы и показывали языки.

Платье на Электре топорщилось, сидело косо, торчало в разные стороны. Чикра железным утюгом плохо нагладил его. Но оба были довольны. У них появилась обновка.

Они стояли на крайней остановке крошечного, одинокого автобуса, идущего с ТРЕТЬЕГО МАССИВА на Колхозную площадь. Чикра старался гордо смотреть по сторонам. Дочка тоже пыталась улыбнуться. Но улыбка ползла по перекошенному лицо кривой гусеницей.

Маленькая душа Электры была взволнована непривычным, страшным счастьем, которое лежало в этой душе неудобно и тяжело, как булыжник, заброшенный кем-то из издевающихся соседей в окно их темной, неприбранной комнаты.

Она пыталась улыбаться, щурясь всеми веснушками.

Чикра уловил эту улыбку и дрогнул. Платье торчало.

— Иди-ка сюда!

Чикра попытался одернуть платье скрюченными, корявыми неумелыми пальцами.

Девочка дергалась вместе с платьем. Чикра вздохнул. Платье не поддавалось. Что скажут пожилые милицейские музыканты??!

Автобуса долго не было. Он ходил редко и даже на конечной остановке бывал до отказа забит. Люди лезли в двери и окна, не давая выбраться приехавшим.

ТРЕТИЙ МАССИВ обывателей, оборванцев и шелудивых собак не заслужил пока налаженного транспортного обслуживания, несмотря на то, что депутат их района, слепой учитель, высланный сюда из подвального этажа в крошечную однокомнатную птичью квартирку, неустанно выполняя требования кричащего и орущего народа, строчил длинные письма-запросы маленькому, замкнутому, кажущемуся подпольным правительству старого одинокого города воробьев, умирающих листьев и печальноглазых платанов.

Но вот и дребезжащий железными костьми автобус. Толпа бросилась на захват. Чикра вместе с дочерью, волоча барабан, дрался и карабкался через переднюю дверь. Он смог чудом захватить изрезанное ножами сиденье с торчащими из него ржавыми пружинами.

Никто не хотел брать билетов, уверяя распухшую от водянки кондукторшу с облезлыми волосами, что они родились безбилетниками и когда их крестили в купели грудными детьми, счастливые родители дали священнику обет: всю жизнь, несмотря на опасность штрафа, не брать билетов и обманывать от жадности и нищеты народную восточную власть.

Чикра как милицейский чин в форме билета не купил. Электра влезла ему на колени. В проходе лежали мешки, чемоданы, ящики с картошкой и луком, автопокрышки, — их вез спекулянт, чтоб перепродать на автобазе № 1 в Навтлуги.

Каждому было свое. Отец и дочь молча смотрели в окошко на уносящиеся прыжками, падающие назад и протягивающие, как руки, свои сиротливые колючие тощие ветки кусты — несчастные насаждения районного треста по озеленению умирающего от кошачьей вони города. Чикра отдался ухабам скверно заасфальтированной дороги, дремал, опустив серые от усталости веки. Дочь ногой постукивала по стоящему в проходе и сдавленному со всех сторон барабану.

— Мы едем на праздник! — шептала она птичьим ртом.

Вдруг кто-то закричал с последнего сиденья, сзади:

— ЧИК-ра! Эй, вон там впереди Чик-ра!

— Где? Где?! — раздались радостно встревоженные приятным известием голоса.

— Впереди! Сам рыжий с рыжей дочкой. От кого она родилась?

— От рыжего кота! — пассажиры шутили.

Чикра старался не видеть толпы — давящих и наваливающихся со всех сторон тел в черных пиджаках, деревенских кофтах, стареньких куртках, в мятых шляпах и смешных кавказских кепках.

Он жмурился и сквозь щелочки глаз поглядывал на медленно проплывающие разбитые тротуары, горы мусора, пивные облезлые ларьки, остановки с кучками людей и одним-двумя деревьями городской пустыни.

Чикра, горбясь и вбирая в плечи голову с торчащими ушами, пытался тупо вслушиваться в тарахтящий вой старенького мотора, издыхающего на последних оборотах.

А сзади уже кричали истошными голосами.

Чикра побледнел, скуластое личико осунулось, сделалось мертвенно бледным.

— Кто этот Чикра? — удивился влезший на очередной остановке в переполненный автобус деревенский увалень, едущий на Колхозный рынок продавать громадный мешок картошки.

— Не знаешь, а, кацо? — обратился он к барабанщику.

Сзади снова обзывались. Почти к самому лицу барабанщика привалили мешок. Он отталкивал его. Чуть не плача. Прикрывал свой барабан, который могли раздавить. Кто-то ударил в барабан ногой.

Чикра озирался.

Рыжие ресницы взмокли. Он привстал, сдавленный толпой, и попытался обернуться к обидчику.

— Хулиган! — пробормотал он.

Автобус дернулся, и маленький милиционер повалился на сиденье. Вокруг расхохотались.

Ехали с ветерком. Воскресный день. За шутками веселей коротать разбитую дорогу и терпеть давку. Автобус снова запрыгал по вывалившемуся булыжнику. С неба опускались пыльные облака предстоящего одинокого вечера.

— ЧИК-рá! ЧИК-рá! Ваааáá! — раздавалось иногда, когда автобус трясло на ухабах.

— Ах, берите билет! Берите билет! — кудахтала кондукторша, борясь с беспределом в транспорте. Мне план выполнять! Билеты! — стонала она.

Пассажиры не слышали, пассажиры щелкали семечки, сплевывая шелуху под ноги, курили, плевались.

— ЧИК-рá! ЧИК-рá!..

— Эй, вы! — задыхаясь, пытался кричать в ответ барабанщик. — Я знаю, кто вы такие!! Вы все местные хулиганы, родившиеся в бараках нашей несчастной новостройки! Я вас арестую!

— ЧИК-рá!..

— Эй, ты, оскорбитель! Ты хулиган с ТРЕТЬЕГО МАССИВА! Я знаю тебя!

— ЧИКРА! ЧИКРА! ЧИКРА!

Электра прижалась к отцу.

Чикра не смотрел на нее, он не видел ничего, он зажмурил глаза, не хотел замечать проплывающего мимо грязного автобусного окошка вдруг появившегося и бегущего за тарахтящим городским транспортом обалделого от одиночества лохматого громадного пса.

Бродячий пес несся большими прыжками и безголосо, лениво лаял, тряся ушами.

Может, он пытался предупредить Чикру о грозящей опасности? Хотел спасти его, как-нибудь защитить? Прижаться худым телом к сапогам мента? Нюхом чуял беду?

Чикра разглядывал свои старенькие сапоги с отваливающимися каблуками и подошвами. И тихо шептал:

— Все люди хулиганы!

Автобус въехал на Колхозную площадь.

Кругом мешочники, торговцы, покупатели, спекулянты. Воры. Жители ТРЕТЬЕГО МАССИВА пытались вылезти из доставившего их сюда наконец взмокшего автобуса, а другие пассажиры того же МАССИВА, полдня дожидавшиеся маршрутную эту повозку на резиновых, разваливающихся колесах, не давали им выйти, толкались и пихались, наседали с криками и бранью.

Чикра постарел.

Можно подумать, что он с дочерью совершил изнурившее душу кругосветное путешествие — через родной город. Через океан мелких страданий.

Поднялась невообразимая сутолока.

Шофер, боясь, что разнесут вдребезги собственность тбилисской автобазы № 5, ругался и обзывал бестолковых пассажиров матерными словами и целыми матерными предложениями.

В шуме и гаме жители МАССИВА выбирались из бензинового, вонючего плена на свет божий. Они хватали задыхающимися ртами сырой, каменный воздух, тянущий ржавчиной мокрых водосточных труб.

Народ был ленивым и празднословным, но, когда дело шло о куплепродаже, захвате и дележе чужого имущества, а также вылезании и влезании в несчастный, развалившийся городской транспорт, люди перерождались, они вечно боялись куда-нибудь опоздать. На распродажу товаров, на пьянку, на чужие или собственные похороны.

Толпа навалилась на Чикру и чуть было не расплющила его, как муху, о стекло водителя.

Бурлящий поток вынес дочь на тротуар.

В пассажирской свалке кто-то успел пропеть — ЧИКРАААÁ! Петушиным судорожным криком.

— Хулиган! — твердил ватным голосом Чикра и жмурил глаза, чтобы не видеть обидчика.

Ему было стыдно даже перед ним.

Ведь милиционер не смог дать отпор!

Но вот Чикра выбрался весь истрепанный и смятый из автобусной душегубки, вежливо раскланялся с охрипшей от увещеваний кондукторшей с вырванными локонами волос и опухшими от водянки кривыми ногами. У него кружилась голова от запаха кожаных вонючих, потных сидений.

Кто-то нашел на полу и бросил ему из окошка автобуса изжеванную форменную фуражку.

— Лови!

Но Чикра не поймал, и фуражка, истерзанная, как и его бесцветная жизнь, комком упала на асфальт.

На прощанье кто-то, уходя, лягнул каблуком по барабану.

Чикра чуть не оглох от наглости.

— Вай! Вай! — дожал он, чуть не всхлипывая, и ошалело ощупывал казенное имущество. Треснувшую обвисшую кожу своего кормильца-барабана.

Электра в измятом платье ждала его на тротуаре у каких-то пыльных кустов.

Чикра обнял барабан.

Он был похож на чахлого воробья.

Он жадно хотел пить.

Электра подняла взлохмаченную голову и глядела на барабанщика. Ей от злости тоже вдруг захотелось крикнуть ему что-нибудь обидное.

— ЧИК-ра́! — шептала она. — ЧИК-ра́!

Она вцепилась в его потную ладонь и, шаркая и волоча ногу, зашагала рядом.

Маленький тщедушный человек в милицейской форме был мокрым, как мышь. У него взмокла спина и чесался живот. Хотелось тарелку горячего супа с макаронами.

Чикра волновался, он опаздывал. Милицейский музыкант успокоится только тогда, когда доберется с маленькой дочкой до треста по очистке района им. 26-ти бакинских комиссаров от мусора и зловонных мух, где займет свое место в духовом оркестре под знаменами и портретами Берии, Микояна и остальных важно надувшихся чванливых отцов кавказского пораженного проказой города и, наконец, зажмурившись от предвкушаемой сладости, ударит палочками по своему родному барабану.

Милицейский музыкант Чикра успокоится, когда трубы и фанфары все вместе запоют и грянет крушащий судьбы и кости обывателей кровавый, багрово-черный гимн.

Чикра — падший ангел.

На перекрестке у магазина «Обувь и обувные принадлежности» — толпа.

— Милиция! — закричали здоровенные мужчины, пугливо озираясь по сторонам.

Кавказские угрюмые мужчины в кепках, обыватели и случайные прохожие звали на помощь его, ничтожного нахохлившегося воробушка.

Чикра дрогнул и не поверил своим оттопыренным ушам.

Толпа напуганных здоровяков расступилась и дала широкий проход рыжему милиционеру с выпученными глазками.

Милиционеру в разваливающихся сапогах.

С рыжей девочкой.

И барабаном.

В центре толпы — детина лет сорока, в модном клетчатом пиджаке и сверкающих лакированных туфлях, сшитых на Авлабаре, квартале армянских перекупочных лавок и пошивочных мастерских. Жгучие черные волосы отливают бриолином.

Он в пятый раз освободился из тюрьмы и теперь наводил панику на обывателей.

Он никого пока в этот раз не обворовал и не убил, но держался нагло, смотрел на всех и на все холодными, чужими, скучающими глазами, презрительно кривя высокомерный рот.

Наверное, скоро он снова совершит что-нибудь ужасное и его надолго упрячут в единственную городскую Отрачальскую тюрьму, железобетонные ворота которой никогда не запирались на чугунный, многопудовый замок.

А пока он только слегка издевался над бессмертным городом, его законами и гражданами.

Милиция старалась с ним не связываться. Все боялись Шамиля Хачатурова. Он пообещал в качестве мести поджечь Министерство внутренних дел.

Целиком.

Вместе с ворохами желтых, прощальных осенних листьев.

Сейчас он стоял спиной к зеркальной витрине обувного магазина и медленно, не торопясь, хлестал по щекам молодую женщину легкого поведения по имени Ламара.

Толпа с любопытством наблюдала за истязанием.

Это был свободный уличный античный театр, для людей свободных профессий и нравов.

Рецидивист мог бить женщину где-нибудь в подворотне или даже снять для этого номер в гостинице «Интурист».

Но он предпочитал воспитывать шлюху с покорными, скверно накрашенными глазами именно здесь, на виду у публики, на виду всего стада трусливых мужчин-борцов позорить свою любовницу, которая изменила ему с каким-то клиентом.

Шамиль Хачатуров держался холодно и вежливо, он не замечал любопытствующих, трусливых взглядов граждан заразного города. Левую руку он вызывающе держал в кармане пиджака, — там мог прятаться нож, — а кистью правой устало бил шлюху по щекам. Время от времени он, печально вздохнув, сжимал руку с сверкающим перстнем в

кулак и ударял женщину под подбородок в гладкую теплую шею. Он все больше зверел, хотя внешне оставался невозмутимым и каким-то скучающе холодным.

Молодая женщина молчала. Это была приятная девушка в зеленом нарядном платье, следящая за собой, с прической и маникюром, и он бил ее сейчас при всех.

Полноватые ноги бывшей девственницы были обуты в белые свадебные туфли на высоких каблуках.

Она понимала, за что ее бьют. И толпа понимала тоже. Били нехорошую женщину. Мужчины жадно разглядывали белые полные ноги и пытались угадать судороги напряженного до боли тела.

— Милиция пришла! — закричали в толпе.

Детина в модном, бархатном пиджаке краем глаза взглянул на маленького человечка и ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом.

Чикра стоял ни жив ни мертв.

Он понял, что перед ним матерый и наглый рецидивист Шамиль Хачатуров, которого искали и фото которого красовалось на стендах. Поймав, его отпускали, а потом снова лепили на стенды спокойное, грустное лицо преступника.

— Катись, дешевка! — ухмыльнулись чужие, какие-то нездешние, призрачные губы.

Гадкая ухмылка, пахнущая кровью, заиграла на губах.

Грязные ногти модного детины впились в подбородок молодой женщины. Грязные ногти держали цепко обреченный подбородок. Женщина задыхалась. Сладким до тошноты сделалось ужасное от позора лицо.

— Мама! — прошептала она сдавленно и сама вдруг испугалась забытому слову.

Электра повисла на стиснутой руке Чикры.

Чикра молчал. Он видел близко, как бьют женщину. Измывались над ее душой.

— Не надо! — вдруг как-то угрюмо заплакала Электра в своем бледно-сиреневом, развевающемся на солнечном ветру платье.

Она плакала молча.

Мужчины из толпы жались к витрине обувного магазина.

Чикра испуганно шагнул к бандиту.

В правой руке он держал свой маленький барабан, на котором играл забытые марши.

— Не надо! — повторил он мольбу дочери.

И поднял к бандиту свое худое птичье лицо.

Веснушки дрожали.

За спиной чернела мрачная стена людей.

Бандит ухмыльнулся.

— Играй на своем барабане! — сказал он легко.

— Не надо! — снова прошептал Чикра и, замирая от ужаса, сделал еще один шаг к смерти.

И увидел дрогнувшую щеку бандита.

Чикра удивился, как пусто, словно жестянка, стучит сердце. Будто по смешному сердцу маленького милиционера бьют барабанной палочкой.

Бандит нехорошо улыбался.

Чикре подумалось, сыграет ли милицейский родной оркестр над его свеженасыпанным могильным холмиком. Восстановив траурный марш из давно выученного и уже много раз исполненного репертуара?

И кому отдадут его осиротевший барабан?

Чикра так хотел жить...

Но его ждала смерть.

Барабан покатился по тротуару. Люди с ужасом пятились.

Чикра ударился затылком об асфальт.

Он лежал маленький, тоскливый и одинокий.

Разбитый, как оловянный солдатик.

Глаза его были строгими, хмурились.

Рассматривали серое, тбилисское небо.

— Не надо, — плакала рыжая девочка. — Моего папу убивать не надо!

Она всхлипывала едва слышно. Плакала долго, как плачет неделями моросящий городской дождь...

НА ТОМ БЕРЕГУ

* * *

Я иду под нереальной
Тяжеленною луною,
Что висит над спящим рынком,
Крыши тускло серебря...
Я себе напоминаю:
Не в кино, сейчас, со мною —
Всё со мною происходит!..
А иду я от тебя.

Эти линии пустые,
Тупики и повороты,
Тишина, которой снятся
Крики смуглых зазывал...
Словно я плыву под сводом
Фантастического грота,
А во тьме слова мерцают,
Что случайно ты сказал.

Но важнее слов случайных
То, о чем мы промолчали...
Никому на целом свете
Я об этом не скажу!
По пустому коридору
В лунном свете и печали,
Словно в фильме заграничном,
От тебя я ухожу.

Ты за мною дверь закроешь,
Посидишь во тьме немножко.
Всё могло бы быть иначе,
Если б... если б да кабы...
И покатится по небу
Мимо твоего окошка,
Уменьшаясь и тускнея,
Колесо твоей судьбы.

Лорина ДЫМОВА — родилась в Свердловске. Окончила Московский институт цветных металлов и золота. Автор девяти книг стихов и прозы. Последние годы живет в Израиле.

* * *

Не пойму я, кто ты, что ты —
Знаю лишь одно:
Что охота мне, охота
Пить с тобой вино!
И чтоб месяц желторотый
В темном небе цвел.
Чтобы свечка позолотой
Капала на стол.
Чтоб до звездного отбоя
Ты сидел со мной...
Быть охота мне с тобою
Глупой и хмельной.
И, встречая безмятежно
Твой тревожный взор,
Бормотать опасно-нежный
И ненужный вздор.

С нашей встречей опоздали,
Явно, небеса!..
Не для нас златые дали,
Лунные леса —
Лишь работа и забота
Да денек рябой...

...Но охота мне, охота
Пить вино с тобой!

Белоснежные одежды

В той стране, что утопает
В кипарисах и оливах,
Где гуляет по дорогам
Сумасбродный суховей,
В той стране, почти волшебной,
Очень мало дней дождливых —
Даже меньше, чем счастливых,
Меньше, чем веселых дней.

Почему же мы печальны,
Коли небо голубое,
Коль цветут в горах вечерних
Миллионы огоньков?
Потому что оказались
Ты да я да мы с тобою
Между небом и землею —
Нынче адрес наш таков.

Потому что непонятно,
Где невидимая щелка,
Сквозь которую однажды
Жизнь беззвучно утекла.
Обманула, подмигнула,
Улизнула в самоволку.
Где теперь она гуляет,
Закусивши удила?

Где кутит?
Кому на ушко
Шепчет вкрадчиво и нежно,
Что хмельная юность длится
Только несколько минут!
И влюбленные, одевшись
В белоснежные одежды,
Под весенние оливы,
Взявшись за руки, идут.

На том берегу

Ни ностальгии, ни одиночества.
Я не вернусь, если даже захочется
Еще раз увидеть знакомые тропки,
Недлинную улицу, зданья-коробки.
Ах, нет, я не выйду из аэропорта
На площадь, которая в памяти стерта,
И не поеду, как раньше бывало,
Маршрутным такси до Речного вокзала.
Уходят в тупик ошалевшие рельсы.
Взбесились автобусы, спятили рейсы.
Меняет былое свои очертания,
И изменилось давно расписание.

* * *

Плохо спим, болеем гриппом,
Ждем тепла и мая.
Жизнь ползет себе со скрипом,
Словно неродная.

Тускло, пасмурно, уныло —
Некуда деваться!
Это чтоб не жалко было
С нею расставаться.

БРАТ И СЕСТРА*

Живописец Шатанов был человек до дела падкий, но в страстях рассеянный и перед вседневными посулами мелких надежд не стойкий. Он легко влекся по пути желаний, которым подчас так же легко, мимоходом изменял, и оттого скитался по жизни каким-то беспутным, не успелым колобком. Не то чтобы в красочном своем ремесле не нажил он успеха или утомился. Здесь как раз все выходило у него ладно и неустанно — всегда почти, как затевалось. А был он вот именно не успелым, отпавшим от ветки до срока. Сил же ворочать промотавшееся, просвиставшее себя душевное хозяйство праздно тратить не хотелось. Да их и осталось-то — только поскрести. «По сеньке и шапка» — решил он раз навсегда и споры с самим собой больше попусту не затевал.

По всему по этому ни нарядить свою бродячую жизнь покраше, ни терпеливо, как собаку-найденыша, вышколить ее до послушания он так никогда и не смог. Лет Шатанову давно уж было за четыре десятка, но ни запечного покоя, ни даже сносного угла так у него за валкие эти годы не выкроилось и не сшилось. Жил он зачастую как ни попадя, ночевал где придется, хотя на дальней городской окраине имелось и у него свое спальное место. Там в нехватке событий долгого, протяжного дня скупо вековала мать. Нестарая еще, «соломенная вдова», она день ото дня ветшала куцым здоровьем, слабела чувствами и смирнела душой. Но все же как-то перемогалась в одиночестве, как-то все же бодрилась, терпя и упорствуя, в надежде залучить сына домой.

Случалось ему крепко, а скучной дождливой порой — и часто — запивать. И тогда, словно вмиг всплыв от заиленного дна, принималась беситься в тугом неводе ребер душа. Называлось у него это бешенство — «пускаться вовсю», и враз унять его почти никогда не задавалось. Жеребец на зов являлся прыткий — ни захлестнуть, ни стреножить.

«Пускаться» — значило выуживать со дна души самое боязливое, сдавленное, притаившееся. Но зато и ринуться готовое сразу вскачь — без оглядки и ходко. Обычным же, трезвым днем притаившееся это зверье было стиснуто приличиями и голос на хозяина даже невзначай не подымало. Шатанов всегда чурался его хваткого полыхания и, как мог,

* Журнальный вариант.

Владимир ХОЛКИН — родился в 1946 г. в Приморье. Закончил режиссерское отделение Ленинградского института культуры. Статьи и проза публиковались в журналах «Вопросы литературы», «Звезда», «Нева», «Новый мир», «Русская литература». Постоянный автор «Континента». Живет в Великом Новгороде.

оттягивал тихий, давящий изнутри натиск. И даже загодя покоряясь, даже без надежды, даже совсем напоследок все равно противился. Но зато и любил наставшее верчение оттого, что душа, лихо вдруг закружась и зажмурясь, проклевывалась в такие исконные смыслы вещей и слов, что на пустых буднях ей и присниться-то не умели.

Само же это словечко «пускаться» давно увязло в его речи плотно и накрепко. Короткий, сиповатый его отзвук слышался Шатанову и в разговорах с одним из немногих, дворовой еще поры, завсегдатаев его жизни — одиноким, много претерпевшим пианистом-джазменом. Скрепились они еще в детстве — сразу и на вырост. Шатанов любил в нем музыку и невозмутимость. Был он ярый птицелов-любитель, петый — вечно навеселе — пьяница и жадный до помрачения книгочей. Кормился же он нехитрой работой в Ботаническом саду, что на Аптекарском, где в невеликой комнате одиночкой и проживал. Дружили они уступчиво, давно уж друг другу не удивлялись и ни в чем важном не пеняли.

Вот и сейчас, благостно выпившие и посмирневшие от нелепицы дня, они согласно чувствовали, что была эта нелепица лишь предвкушением, лишь предвестием пира. А, поняв, сидели теперь помалкивая, на полу и лелеяли душой хмельное свое, высокое небо. Потому, что только скучному глазу нелепица казалась рваной и лоскутной. На самом же деле суматошный день этот оказался на редкость везучим — и в самой их встрече и в совместных предновогодних поисках. Удачно спроворенная выпивка не иссякала, а потому и торопиться за новой было и не к спеху, да и без надобности.

На полу, в свободной проплешине, лысеющей посреди сплошь забитой книгами и птичьими клетками комнаты, топорщилась елка, гущиной схожая с заморенной, тощей дворняжкой. Долговязая, реденькая, смахивала она и на одноногого нищего калеку в кургузой, выношенной до прорех шубейке.

И теперь, глядя на неказистую их елку, на лесного этого колченого уродца, Шатанов — как всегда нежданно — уткнулся расшатанным колесом души в воспоминанья о сестре. С сестрой разлучился Шатанов двадцать уж с лишком лет назад по вине многих своих злых и веселых потех. Развела, раздвинула их по далеким сторонам его «серо-буро-малиновая, в крапинку» судьба, в бесшабашные игры с которой он когда-то, не спросясь ума, пустился. И теперь от всей этой докучной мялки укрылся он в воспоминание о другой — детской, их с сестрой детской, елке. Елке чистого восторга — владетельной, пышной и все детское время безраздельно пленяющей.

...Елку ждали, но являлась она всякий раз внезапно. Заполнялись вдруг исчерна зеленой кроной высокие белые двери и, заслонив на миг голубого стекла круглую ручку, распрямлялась, туго трепеща, первая, тяжкой густоты, мохнатая ветка. Комната родителей была просторна и тоже, как двери, высока и бела. Поэтому «крест» для елки — накрепко добротный и гладко выструганный отцом, устойчивый «крест» этот — заранее и вовремя оказывался на своем месте, в самой почти середине комнаты.

Однако ни возникновение елки, ни загодя и все равно звонко слышные хлопоты ее установки и снаряжения от детей никогда не прятались. Таинство вселения елки и праздник ее убора совершались не втихомолку, не тайной и бессонной родительской украдкой, а заманчиво открыто: все домашние — от их, детского, мала до взрослого велика — старались полновесно. Причастность всех ко всему, от неуклюжего — вкось вырезанного из шершавой сиреневой бумаги — фонарика до мерцания великого дерева, торжествовала сполна.

Елку дети принимались ждать задолго, с тщательным терпением, но настенный календарь, взбираясь к нему поближе, все же обманным мельком листали, шепотом уговаривая бумажные дни шелестеть и перебираться скорее. Ожидание елки скапливалось в ворожбу о высвобождении отдельного — елочного — времени из быта, а самостоятельной его радости — из неволи повседневных удач. Самим сделать, самим любоваться, самим услышать и увидеть, самим восхититься собой и смастеренной игрушкой на елке.

Но чудодеем, колдовски неуследимо творившим игрушки, был все равно отец. Медленно, но расторопно ползли-переползали по куску толстой, еще не раскрашенной бумаги ножницы, ловко кружа по ее полю или крутя его вокруг себя, но превращение все-таки происходило вдруг, вмиг, на глазах, на самом виду. Яснее всего потрясало детей, что именно на виду: ну как, когда? — ведь глядели во все глаза, почти остановив их в попытке застигнуть явление тучного румяного клоуна из серовато-плоского обрывка бумаги. Особенно ладной явилась свету большущая ворона, гнутая отцовыми пальцами из остатков старой шляпной коробки. Увесистая, совершенно почти живая, с крепким красным клювом, она потом навсегда угнездилась на домашних елках и была, как всякая ворона, отважна и, себе на уме, ворчлива. Дети очень любили ее и всякий елочный раз поторапливали из железного, крашенного «под дуб» трофейного армейского сундучка, где в невесомом ворохе ваты, сухих игл и веточек весь год томились игрушки. Это была игра людей, а не родителей для детей; игра без пришедших со стороны ряженых: Деда Мороза и Снегурочки; игра, в которой дети и родители подарки получали друг от друга.

Сами же дети щедро вырезали, а после неказисто клеили «китайские» фонарики, медленно стараясь, чтобы они — хоть в подражании, хоть чуть-чуть — походили на настоящие: кругло разноцветные гармошки, виданные в домашних книгах. Самым же незамысловатым, но манящим, но наперегонки и, без удержу несущимся, было склеивание бумажных «цепей». Сцепленные в шуршащее множество, неровно вырезанные цветные кольца эти потом обвернуто окружали елку или, по-соседски перевитые с медными нитями «елочного дождя», свободно свисали с вершины вниз.

Первым, волшебно преображая лесного духа елки в заботливого домового, возникал на ее макушке шпиль: только его место на елке не обсуждалось с детьми загодя. Как-то особенно величаво поднявшись

на табуретку и слегка наклоняя к себе ерш тугой ветки, отец молча водружал на него шпиль. В развешивании же остальных игрушек ликовал безбрежный, уступчивых разногласий, выбор.

Терпеливо стоя на своем возвышении, отец непритворным совместником в игре толковал с ними об особых достоинствах каждой из игрушек и покорно ждал, пока дети, бережно вытаскивая их из ящика, выберут заслуживших висеть наверху.

Неизменно бесспорно первыми извлекались из темницы сундука только огромные, толстого стекла, расписные шары, издавна еще жалованные детской милостью. Шары — дома, на которых ярко туманились Петух, Заяц ли, Медведь или хитрован Клоун. Серебристые же, изумрудно блестевшие, но картонно ломкие зайцы, бабочки, снегири или медведи размещались обыкновенно внизу, под верную стать малым возможностям вздернутых детских рук. В этом же густом низу помещались и игрушки ущербные, лишенные всякого разбора и звания: клоуны с отбитыми носами; стеклянная гроздь «золотого», но облупившегося винограда; смятые долгим лежанием проволочные «качели», с остатками стеклярусных бусин, — все существа обиженные, убогие и, за недосугом хозяев, обездоленные вниманием. Их было пронзительно жалко, но даже слезная эта, чистая жалость не могла вызволить их покрасоваться наверх. Среди этих отверженных, — утонувши в мягкой зелени веток, словно сонный толстяк в глубоком кресле, — верховодила старая, с празеленью, кедровая шишка. Она живо, как все старики, охотно помнящие прежнее, порой рассказывала соседям, воли не ведавшим, и о лесах, и о настоящих медведях, и о том древней тяжести дереве, где родилась и выросла.

Уложив под елкой ветхие горы серой с белесым крапом ваты; ручьями пустив по ним оставшийся «дождь» и сухо шелестящие, отслужившие свое «цепи», дети, опустив руки и чуть дыша, ждали, покуда отец откроет заветную коробку с двумя (ДВУМЯ!) Дедами Морозами. И вот они являлись! Один — большой, в белой, поблескивающей слюдяным снегом шубе и белой же с красной выпушкой шапке. Крепко держа в руке ровный березовый посох, он скупо, но значительно улыбался, а на ощупь был плотен и хрусток, как сухой снег. Другой же, попроще — потертый, малого роста, с круглым, большой щербатой пуговицей, лицом. Шуба его, сделанная из желтой гофрированной бумаги, была бесшабашно латана, а вместо посоха сунут был в рукавицу случайный прутик, за который, вязко на него навалившись, он крепко держался...

Увлекшись воспоминанием, Шатанов очнулся только от звуков собственного шепотом тянущего слова голоса да глуховатых синкопов, что, медленно выбираясь из-под пальцев старого джазмена, вяло бродили по клавишам ветхого, давно уж потерявшего лоск, пианино.

— Красиво ты тут городил, подыграть даже потянуло: так крутануло, — грустным басом прохрипел хозяин. — На что уж я птицелов безжалостный, а и меня проняло. Чего это ты так растекся? Давно у елки как человек не сидел?

— Да так, случай один вспомнил... Да и елка тоже. В детстве это ж событие: явление елки народу.

— С сестрой что ли случай?

— С нами. С ней и со мной.

— Да, сестра у тебя загляденье... В школе, помню, я уж в десятом был, с усами, а она еще тогда малышня, семиклашка. Но из пигалиц чем-то таким ярым — глазами, что ли, или голосом с ранней такой, детской еще, ангинной хрипотцой — выделялась. А что за случай-то? Поведай, старче. Я ведь даже влюблен был в нее... потом... немножко. Жалел... из-за тебя. Да.... Как был ты щеголь и забулдыга, так и остался.

— Ты? Влюблен? Значит, кроме джаза, птиц и водки тоже и мы с сердечным интересом? Ладно, замнем.

— А случай тот... в кармане давно живет. Пробовал картину писать — выходит жалостливо или уж совсем кич. Забросил с глаз, — Шатанов усмехнулся. — Проще перышком слова накарябать. Потом взялся... А как накарябал, так все в кармане и таскаю. Помнишь, как у Чапека, рассказы из одного, рассказы из другого кармана? Вот и у меня... из другого, левого.

Шатанов вытянул из глубин куртки маленький, в толковом домодельном переплете блокнот: набрасывал он таки иногда карандашом, набрасывал пейзажики. Кое-где, правда, и впопыхах.

— Тебе одному и прочту: поймешь, наверное, раз влюблен... был... немножко... потом. Хорошо это вышло у тебя, неуклюже, но хорошо.

— Почему?

— Потому что само проронилось. Ну ладно, поехали. Напутного только хлебнем, — слегка покривился Шатанов.

Он вздохнул, выпил и принялся читать:

«...В одной добро знакомой ему семье художников весело гулял детский день рождения. Зван на праздник он загодя не был, давно художественной братии сторонясь, так что забрел случайно — без смысла, без спроса — просто на огонек. А потому, нежданно застав в этом доме редко теперь встречаемую сестру, радостно вскинулся. Окруженная детьми, она сидела на маленьком стуле, как-то особенно задорно смеялась и была возбужденно говорлива. Помнится, он подивился тогда этому плеску говорливости: шумно выказывать себя на людях сестра всегда робела. Но, прислушавшись, понял, что поток слов прялся чуть скованно и шумел слегка нарочито.

Укрывшись в затишке темноватого угла, сестра увлеченно стягивала детей в последнюю репетицию домашнего спектакля, о котором извещала нарисованная не пожалевшими красок детьми афиша. И по тому, как рдело лицо сестры, как растрепались ее волосы, видно было, что возится с детьми она с самого начала вечеринки. Видно было, как, не касаясь и не задевая слуха, облетали ее стороной продуваемые сквознячком привычных острот разговоры взрослых, с облегчением оставленные и без сожаления брошенные. Оставлены же и брошены они были ради детей и свободы: ради одуванчикового пуха сказки и пре-

небрежения взрослым застольем. Он знал в сестре этот простодушный от неистребимой застенчивости наивный вызов обычаю светских сборищ.

Появления брата она поначалу не заметила. И только отвлекшись от игры, поводя глазами в поисках старого граммофона, тоже игравшего в спектакле, она натолкнулась на него взглядом и призывно замахала рукой. Но взмах этот приглашающий он сперва не разобрал. В тот день, помнится, он был рассеян, нервно как-то взбаламучен, разговаривать не охоч, а коли все-таки в беседы встревал, то часто невпопад, а то и прямо впросак. Сам же, как беспокойная лошадь, все скашивал глаза в дальний угол, где внимательно молчали дети и суматошно что-то втолковывала им сестра. И еще видна была его «лошадиному» глазу глиняная птичка, одиноко подвешенная на резинке у толстого зеркала и в нем, подрагивая, отражавшаяся. Упругий, из легкого птичьего пера, хвост ее был пестро, как и все малое глиняное тело, разрисован, но выглядел все равно воткнутым и чужим.

Он двинулся было к сестре, но у зеркала остановился, чтобы разглядеть невзрачную глиняную птичку. Подержав, словно и впрямь живую, в слабой горсти, он покачал ее на ладони и подбросил вверх. И, уже отходя, увидел, как затрепыхалась она на своей резинке, как судорожно замелькала в огромном зеркале, все чаще и чаще подрагивая цветастым хвостом. Но, принявшись вначале дробно перестукиваться со своим отражением, птица напоследок будто всхлипнула и, тихо шурша глиняным телом о край рамы, медленно стихла на упругой своей привязи.

Кое-как притулившись на маленьком стуле по соседству с сестрой, он невзначай обернулся к зеркалу. Птичка, вновь вплотную сросшаяся со своим разноцветно-охряным отражением, опять висела не шелохнувшись. И, словно совсем отдельно и поодаль, топорщился в глубине зеркала яркий букетик ее хвоста.

Стол, вокруг которого сгрудились дети, был вкруговую и беспросветно вплоть разрисован. Там тянулись цветы, похожие на деревья, и топорщились листья величиной с пригорки. Внутри темно-фиолетовых или до черноты зеленых кущей застыли маленькие желтоглазые кошки. По ножкам стола, поверх сплошной болотной зелени вились, заломив белые хохолки, синие птички. Страстная простота красочных линий с увязшими в них волосками и густыми следами кистей выдавала всласть повольничавших детей.

Теперь ему хорошо было видно, что справиться со сказкой, детьми и нетерпением взрослых, давно заждавшихся обильного угощенья, сестра явно не успевала. Дети играть стеснялись: сказка про Колобка была знаема наизусть и потому запирала свободу выдумки. Заметно было, какого труда чувств стоило сестре одолеть не только буйно крикливую или, наоборот, стынущую в молчании робость детей, но и собственную робость. Она усиленно сберегала остатки той глубинной терпеливости, избытком которой всегда дивили ее разговоры с детьми собственными. Но видно было, что теперь ласковая эта, но уже надтреснутая и сбой

давшая терпеливость выручить ее вряд ли могла. Приструнить же детей повелительным хлопком в ладоши она не смела: любой гром и саму-то ее всегда, а в детстве особенно, и пугал и осаживал.

Он, быстро и с удовольствием изловчившись забыть о гостях и о готовых на полуслове, наезженных остротах, принялся помогать сестре. Легко и сразу договорился с детьми о тишине, порядке, о будущей славе их спектакля, а еще о том, что сказка «Колобок» не всем зрителям известна, а некоторым так и вовсе недоступна, и, взявшись сам играть Зайца, — тот казался детям самым блеклым из персонажей, — стал, раззадорив любопытство, улаживать зрелище.

Детям понравилось, что хрипловатый Заяц будет к тому же бородат, что Колобок, как всякий ребенок, любит петь, любит верить в чудо и действо песни и очень любит, чтобы его за ловкое пенье хвалили. Сестра, получив подмогу, тоже успокоилась и снова заговорила тихим — своим — голосом.

Голосисто объявив зрителям о начале спектакля, дети скоро осмелели и расстарались. На них и впрямь оказались яркие, словно из «комедии масок», лоскутные костюмы. Представление удалось. Из него получалось, что пропадает Колобок не как шальной беглец, а как беспечный поэт, поверивший в спасительную силу песни.

Дети, упоенные игрой, выпросили позволения остаться в костюмах и шумными победителями ринулись за стол. Ужинать сели и заждавшиеся взрослые. Он немного замешкался у стола, но есть не хотелось. Выпив немного водки и, все радуясь детскому успеху, все завидуя веселой победе, он вышел на лестничный сквозняк покурить. Вскоре к нему спустилась и сестра.

И только теперь, молча закурив на старой, завивающейся к чердаку лестнице, они почувствовали наконец, как выдохлись и как устали от говорения. Но ни пустым, ни случайно заблудшим молчание это не было: оно просто брало свое. Между ними, теперь тридцатилетними, в молчании этом поплыло то давнее чувство свободы и нужды каждого в другом, которым с детства до краев был напитан самый воздух родительского дома. Там, не чуя души, дети слаживались меж собой стихийно, безо всякого призора. Слаживались так согласно, что за все — даже коммунальной теснотой не утомлявшее — время детства ни разу до обиды не повздорили. От редких же, малых размолвок они, не успев порядком насупиться, тотчас уворачивали в неистощимую игру.

Теперь же встречались от случая к случаю, редко наедине, чаще же в уличном шуме или вот так, на чужом празднике. И сегодняшний вечер, в котором вместе со спектаклем истаял *детский* смысл, не сулил больше ничего, кроме привычных, сквозь смех, бесед, слегка возбуждаемых лакомым застольем. Потому, покуривая на лестничном холодке, ни говорить, ни возвращаться они не торопились. Не то чтобы нарочно тянули время, а, пожалуй, как-то радостно застряли в издавна только своем, желая подольше сберечь и это самое свое, и нечастое теперь медленное и верное молчание.

Продолжая молчать, он невзначай посмотрел вверх и потянулся взглядом по чугунным завиткам чердачной лестницы. Потом вдруг неожиданно даже для себя произнес:

— Знаешь, мне иногда стали слова разные придремываться.

— Сны такие, наверное?.. Картинки для слов...

— Нет, не картинки, а вот именно что слова, а то и целые фразы.

— Как это?

— Да сам не пойму. Вот сегодня явно так наговорилось: "Для встречи с ним высоко жизнь румянится". Даже оторопь берет. Смысл, главное, внятный.

— Устал ты. Носишься, пьешь, сны вот придумываешь. Сначала пропадаешь неделями, потом вдруг звонишь из каких-то дыр.

— В общем, куда бежали мы? В Москву или в Монголию? — он подурацки, криво закусил "беломорину". — Да не из дыр я звоню, не из дыр! — а с проспекта, со светлейшей, можно сказать, Лиговки, прямо из скучнейшей квартиры.

— Да, может, не такой уж и скучной? Совсем ты какой-то малахольный стал. Помнишь, как папа говорил?..

— Вам, сверчкам запечным такого не понять. Да, бог со мной! Давай вон лучше на чердак сползаем. Там крыши и скверы из слухового окна! Закачаешься! Что твоя клумба сквозь дырки в одеяле. В истертом таком, знаешь, лоскутном одеяле. Сиротском, как осень.

Он с досадой почувствовал, что выпитая у стола водка некстати радостно наконец в нем заголосила, что не миновать, пожалуй, напиться и что стыдившейся за него в такие дни сестре, стыдившейся даже если все случалось вдали от ее глаз, — что сестре придется неминуче плохо.

— Господи, все осень, клумбы, хризантемы в саду... Да ты сам-то уже, как листопад после заморозков, — усмехнулась она в полуулыбке. Но на шалое его предложение вдруг неожиданно сходу, как в детстве, согласилась. — Только вот платье... Видишь. Сама, между прочим, шила, крепдешиновое.

— Да?! Тонко смастерила. Слух идет... Уж все окрестные людоеды знают, что ты самый старательный и самый не храбрый в мире портняжка. Из маминого?

— Ага. Да у меня уже было такое. Мама себе делала и мне тоже сшила, коротенькое. Помнишь, как-то в Пушкин мы маленькие с ней ездили — она и я в одинаковых платьях. Красиво это было, в одинаковом, мне нравилось. Я очень тогда хвалилась этим платьем.

Взбодренный догадкой, что сестра водки в нем не заметила и огорчиться не успеет, он старательно тихо проговорил:

— Я помню только, как ехали: вагон старенький и запах пыли. Пыль мне все детство нравилась. Дышал, как купался. А больше ничего особенного из той поездки и не сохранил. Так, всякие завитушки. Помню, что ни с того ни с сего стал на разные лады выводить: "Камеронова галерея". Смысла ни бельмеса не понимал, просто переливы звуков. Да и сейчас млею. Смотри, сначала "Ка-Ме", по каменным ступенькам медленно.

— Еще как медленно. Они ведь там щербатые, изъеденные какие-то, и много высоких, — поддерживая его игру, вспомнила сестра. — Ну, а потом буквы про что?

— Про то, что, взобравшись, надо передохнуть. Тут постояли, отпышкались... А потом "Ро-Но-Ва", "Ров-Но", понимаешь. И плавно так, ровно, новым ленивым шагом по галерной палубе. Не по галерее, а по палубе галеры. По каменной галерной палубе, по-галочьи оглядываясь, понимаешь?

— Понимаю, — коротко и грустно вздохнула сестра.

Он знал, что сестра и вправду, как никто, его понимала. Понимала, отстаивала и горевала. Но даже, когда горевала, горькая эта грусть все равно была грустью сочувствия. Охолодев от жалости, боялась плутовских затей его нечастого, но разливанного пьянства, его азартного вранья, его неустанного, с невежливыми к ней визитами, кружения по городу. Понимала и, повздыхав, с лету прощала и — самое главное — разделяла с ним тот трезвый слоистый стыд, что выматывал, скоблил с изнанки припертую к стенке душу.

— Ну так что? — кивнув на узкую крутую лестницу, спросил он сестру. И представил себе сухой, прозрачно серый чердачный воздух и узкие прутья солнечных лучей, что, прочерчивая его вкось, падают сквозь щелястую кровлю. Тот настоянный на тепле нагретых погожей осенью крыш особенно недвижный воздух, что навсегда замкнул в себе запахи пыли, старых деревянных балок и сохлого голубиного помета. Представил возникающие, словно ниоткуда, сыпучие шорохи, низкоголосое гуление невидимых голубей и ту, невыразимо свободную тишину островного беззвучья, где ни бесед, ни детей, ни шумного их спектакля, ни скоро хмелеющего взрослого застолья. Все это уставилось в воображении сразу цепко и с места уже не трогалось, не рассыпалось.

Продолжая неловко горячиться от броской нелепости своего предложения, он переспросил:

— Ну, так что?

Сестра задумчиво присмотрелась:

— Тебе как будто неймется с этими крышами. Как в пятом классе. Тогда все противогазы по чердакам с мальчишками разыскивали. Теперь за поднебесными клумбами на одеялах-самолетах гоняешься. — Но руку ему, уже стоящему на железной ступеньке, подала охотно.

На чердаке, от позднего еще сентябрьского заката, было полно теплого — красно-виноградных и желто-медных оттенков — света, который плотным занавесом едва шелохнулся при их появлении. Под ногами шуршал шлак, иногда под протянутыми меж стропилами бельевыми веревками шелестели опилки, мелкие и сухие, как высохший болотный мох. Повсюду, тяжко колеблясь в прозрачно рыжем воздухе, стояла мягкая, парчовой красоты, пыль. Хотелось говорить шепотом или снова молчать.

Приземистые — аркой — слуховые окна лепились высоковато, да к тому же были плотно прикрыты.

— Дворники прикрыли. От голубей. Чтобы белье лапами не мазали, — коротко и впрямь невольным шепотом зачем-то пояснил он сестре и без того ей известное: она была чистюля и хлопотунья и уж белья-то на чердаке своего обшарпанного "достоевского" дома поразвешивала немало.

— Ну и как же мы "одеяло-то лоскутных крыш и клумбы деревьев" разглядим? Вечно напридумаешь. Вон в окошке — только небо, и все, — растерянно, но с удовольствием рассмеялась сестра, кивая в вышину, к слуховому окну: туда и впрямь надо было еще подобраться.

Но он уже понесся воображать разноцветные крыши под вечерним солнцем, уже забирал, впитывал их взглядом, уже показывал "все это одеяло" сестре, а потому быстро пробросив: "Ничего, сей минут, услужим", побрел по чердаку в поисках ко́зел. Обычно строители, закончив очередной ремонт, не спешили стаскивать ко́злы вниз, а на всякий случай оставляли на чердаке.

Он заторопился, ловча через неудобные, толстые балки по трещавшему под ногами шлаку, но вдруг оторопел и замер. Прямо перед ним, почти рост в рост и глаза в глаза стоял деревянный человек с ягненком на плече. Оправившись от испуга, он вгляделся попристальней и как-то спокойно понял, что это фигура пастуха-волхва, выломанная из какого-то деревянного резного алтаря. И, поначалу ошеломленный, он теперь радовался находке, не особо ей дивясь: пути рассеяния алтарей давно уж стали проезжими, убитыми дорогами. Возвратившись к щурившейся в его сторону сестре, он взял ее за руку и, помогая перебираться через балки, подвел к волхву.

Они оглядывали его осторожно, робея прикоснуться, и поначалу таки не прикасались. Но потом не то что дерзко осмелели, а сроднившись что ли с деревянным обитателем чердака и почувствовав близкое свойство его себе, сначала один, потом другой провели ладонями по гладким деревянным складкам пастушеского платья и по шершавым завиткам ягненка. Но, восхищаясь чудом встречи и старым рукомеслом, говорить даже не порывались.

Старые, в узорах ржавых пятен от рассыпавшихся когда-то гвоздей, кривоногие ко́злы он все же отыскал и подтащил к окну почти вплотную. Они взобрались на них и теперь, поводя головами, смотрели вниз. И хоть осенние поля крыш были и вправду разноцветны и пестры, а круговерть листвы на жарко пылающих деревьях и вправду похоже напоминала о полной цветов клумбе, интерес к зрелищу у сестры скоро подтаял, да и ему уже не гляделось. Он попробовал было напомнить ей о частых в детстве прогулках по этой лежащей далеко внизу Маяковской, но слова отчего-то ни в какую не выговаривались. Может быть, так они оба сочувствовали горькой доле заброшенного на чердак волхва.

Он понял, что возвращаться в забитый шумом взрослых бесед и детских голосов дом после молчания на лестнице, после доброты их позабытого детского «вдвоем» и особенно после нечаянной встречи с одиноким волхвом — возвращаться ему туда не хотелось до отказа.

— Да, — протянул он невпопад, — костюм на нем был цвета неба военно-воздушного парада в Тушине.

Сестра, душа которой издавна жила невдалеке и потому привыкла к его неожиданно выныривавшим фразам, и в этот раз почти не удивилась. Спросив только:

— Откуда это? Опять придремалось?

Она даже не отвела взгляда от голубя, который, застряв в раструбе водосточной трубы, упрямо и успешно выкарабкивался оттуда.

— Да нет, это скульптор один знакомый так говорит. Представляешь, люди тужатся, сочиняют, а он впромельк так каждый день разговаривает.

— А что ты вдруг? Небо похожее?

— И небо и крыша. Он, видишь, вон в том, простеньком, без кандибоберов доме, прямо в мастерской живет.

— Дом отсюда не вижу, косо как-то к Невскому все поворачивает. А крыша, какая?

— Да вон, сивая, поближе к метро. Слушай, я знаешь, что удумал? Что-то не хочется возвращаться в этот кукольный дом. Пойдем к нему в гости, а? Он там один все старается.

— Прямо так, ни с того ни с сего? Нахально как-то, меня он не знает. Дети вот тоже одни без нас остались. Знаешь, как они ждут. Мне Машка, представляешь, что сказала: "Ты покури, покури, да смотри у меня, далеко не ходи". Да и зачем мы ему, незваные?

— Про пастуха расскажем. Плетнев мужик сведущий, глазастый, сходит посмотрит. Спасет, может, верхолаза этого. И, честно пионерское, он радушный, радушный и приветливый, без всяких там городских вежливостей. А про детей это уж ты лишку. Они без нас и побудут-то совсем недолго. Да к тому же они точно не одни, с преизбытком даже.

Чувствуя, что сестра почти согласилась, и, прибавив на всякий случай совсем ее склонившее «пить не буду», он спрыгнул с ко́зел. И, взяв сестру на руки, помог ей спуститься.

Плетнев обрадовался гостям прямо с порога. Он сразу усадил обоих за необъятно долгий, сплошь уставленный стол и, даже не повестив, стал собирать чай. Светлая, в несколько окон, длинная его мастерская была еще и очень высока, хотя под близкой крышей и слегка кривилась, уступом снижаясь к дальней от дверей стене.

Бывая здесь завсегдатаем, часто живавшим по неделям, он старался сейчас угодить сестре. Догадывался, что всегдашняя застенчивость, да и теперешняя неловкость от нечаянного прихода в незнакомый дом могут принудить ее к нарочному оживлению в словах — к той, трудно ей всегда дававшейся светскости, которой она обычно упорно сторонилась. Ее с мужем настежь распахнутый дом, как и тот, из которого они сейчас сбежали, тоже обыкновенно полнился гостями. Но то были, чаще всего, мужнины друзья-приятели, к которым, тщетно пробуя взять тон светской гладкописи, она приноровиться так и не сумела. И к тону этому,

нежно журчащему, не приспособилась. Муж же ее, нарцисс и модник литературного бомонда, был человеком как раз тонным и в журчание попадавшим.

Потому-то, стремясь вернуть сестру в привычный ей мир естественных чувств и правдивых слов, он сразу заговорил с хозяином о деревянном бродяге на чердаке. Плетнев тут же внял и восторженно взвинтился. Не принужденная к разговору сестра принялась тем временем с беспечным любопытством разглядывать все это чудно́е вместилище. Так и не оставив синюю с белыми птицами кружку чая, которую, будто греясь, тесно держала в ладонях, она расхаживала теперь среди скопища мокрых или сохнущих глиняных форм рассеянно и вольно.

Но со вкусом покатившийся было рассказ о волхве прервался слишком скоро. Плетнев слыл не только жадным до дела художником, но и вечно несытым знатоком истории скульптуры. А потому, жарко раздраженный находкой, он, как был — в тапках, утек знакомиться с бедным пастухом с глазу на глаз. Они с сестрою опять остались одни.

— Ничего, что он так ушел? — забеспокоилась сестра.

— Как так?

— Ну... без оглядки, в тапках, нас одних здесь оставил. Ключи вон лежат, — встряхнула она густую связку медных, с прозеленью, ключей.

— Да это так, вычур и баловство. Плетнев их повсюду собирает, он, вообще, помоечник. У него тут всякого добра...

— Здесь красиво. И рамки эти пустые на стенках. Из чего они, такие старые?

— Разные. Дубовые, из красного дерева или береза какая-нибудь карельская. Люди ведь, помнишь, сколько такого выбрасывали. А взамен столики жидконогие, да «треугольные груши» покупали.

— Он один живет? Цветы вон на окнах разрослись как...

— Один. А цветы тоже с помойки. Сам лелеет и поливает, кошек дворовых чуть не с ложки подкармливает. Он страшный спасатель. Футляр от контрабаса, видишь, в углу стоит? — мы вдвоем его как-то на свалке, у Варшавской дороги, отыскали.

Сестра вновь, как недавно на лестнице, грустно вздохнула.

— Я же говорила, по дырам...

Но он уже шел в дальний, низкий, угол, — там было что-то вроде альковной ниши, — к черному футляру контрабаса.

— Хочешь, мы сейчас его послушаем?

— Футляр, что ли?

— Нет, самый что ни на есть мастерской контрабас. Ты не смотри, что он пустой и гулкий, как вокзал, — он музыку помнит.

— Чувствительно. Нет, правда, что ты там опять врешь?

— Ни на полстолько.

Он поднял маленький бронзовый крючок и отворил тяжелую дверь в футляр. Внутри, на вытершейся в лоск колымаге старого магнитофона стоял, словно повиснув в глухой глуби, горшок с долговязыми, слепленными из проволоки и осколков стекла, птицами. Рядом, на самом

дне толстой катушкой пылилась стопка пленок. Он перебрал их и, найдя нужную, поставил.

Дождавшись первых звуков трубы, прикрыл футляр, смешно приложился ухом к черной его поверхности и набросил крючок. Почти сразу вслед за трубой вступил, солируя, контрабас. Звук его выходил из медвежьей громадины запертой пустоты тяжким и мягко урчащим. Сестра, притулившись к оконному косяку и наклонив волосы, вслушалась и притихла. Он присел на подоконник и молча обнял ее за плечи.

Теперь молчание это не было раздельным. Это было настоящее, неделимое, слитное молчание их душ, а на какие-то миги даже и одной души. Взявшись за руки и все молча, они принялись медленно танцевать.

Труба Армстронга, без труда выбравшись из берлоги приютившего ее "контрабаса", гуляла по мастерской жалеющего кошек и цветы добряка-скульптора. А с нею вместе гуляли по джазовым опушкам и они — не подданные, не подотчетные, свободные и одинокие: ничьи»...

Шатанов смолк и сунул блокнот обратно куда-то в куртку.

— Как же ты с таким вот в душе живешь, а все по пивным лютуешь или в тягомотный свой «Город с вагонной ступеньки» засохшей кистью тычешься? Как будто спьяну или сослепу, — вымолвил птицелов.

Но, спохватившись, добавил:

— А может, просто завидую.

И, уже силясь ерничать, усмехнулся:

— «Ты с этим шел ко мне! И мог остановиться у трактира»...

Он грубил явно сгоряча, но то была горячность и грубость смутившегося вдруг сердцем замшелого циника. Джазмен перемялся на круглой своей пианинной табуретке и, словно винясь, закончил:

— Портрет, портрет ее пиши... с шалью и цветами, а не Обводную канаву сквозь ржавый, клепаный переплет.

Он резко крутанулся обратно к пианино и примолк. Но спустя миг вновь повернулся к Шатанову чуть сморщившимся лицом:

— Я ведь, пойми, чудак, бобыль — бобыль и сирота: «без папи рос, без мами жил», — и опять помотал головой: — Да и сестры у меня отродясь не бывало.

И сняв со стола маленькую клетку с какой-то заморской невеличкой, он повесил ее на елку. Птичка забеспокоилась, тревожное свое «что-что» проверещав, но вскоре унялась и затихла. Они не сговариваясь придвинулись поближе к елке и принялись украшать свою горемычную, реденькую хромоножку.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

* * *

Нас было много на челне...
А. С. Пушкин

Нас и так было мало,
вхожих к Пушкину в дом,
а теперь — кто попало
на челне золотом.

Этот — с ярмарки едет,
и ему все равно,
кто лукавит, кто бредит,
кто лакает вино.

Ну а тот, коснословый,
примелькавшись везде,
рыбку ловит и ловит
в этой мутной воде,

пишет пухлую книжку,
врет про муки души...

Как мне жалко мальчишку
где-то в русской глуши!

Он над Тютчевым плачет,
он не знает о том,
что бывало иначе
на челне золотом...

Надежда КОНДАКОВА — родилась в Оренбурге. Окончила два курса филологического факультета Саратовского университета и Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт и переводчик со славянских языков. За переводы стихов болгарских поэтов удостоена Грамоты министра культуры Болгарии. Автор девяти поэтических книг. Живет в Москве.

Здесь

— Что ты делала здесь?
— Я училась терпению, брат!
С колокольни высокой
на красную стену плевала,
и плевок относило
слабеющим ветром назад...
— Ты хотела б сначала начать?
— Упаси меня, Боже, — сначала!

Я была среди тех,
кто копьем Его раны язвил,
подносил Ему уксус,
над крестною мукой смеялся...
— Это был твой успех!
— Но меня и тогда Он любил!
Это страшно, мой брат,
Знать, что ты в темноте состоялся.

— Ну а что же стена?
— За стеной, как и было, темно,
как всегда, за стеной —
говорят, балаболят, глаголют...
Ты и сам балаболь —
не сажают за это давно...
Только каждый второй
заливает свой страх алкоголем.

— Ну а бреши в стене?
— Ну а брешей в стене не видать.
Я ж тебе говорю,
что училась терпению тоже:
с колокольни высокой
на красную стену плевать,
в нелюбви выживать
и писать на скрижалях без дрожи.

— Переписывать поздно?
— Чернила засохли давно.
Все подтирки, помарки,
все белые пятна — наружу...
Только хлеб и вино,
только честные хлеб и вино
и спасают теперь
поблудившую по миру душу...

Прощеное воскресенье...

Твой дед — посадил моего деда,
мой отец — до смерти презирал твоего отца.
И из этого нет выхода, эта
ненависть не имеет конца.

И пока мы с тобой не встанем здесь на колени —
у Белого дома, у желтого, у Лубянской тюрьмы, —
нашей страной будет править мумия-ленин,
в нашу повозку впрягаться — тень Колымы.

И пока мы все не встанем здесь на колени, —
все, как один, — и сажавшие, и сидевшие,
и особенно — молча на все глядевшие...

(о, эти и теперь — пивко попивают,
посмеиваются, по сторонам поглядывают,
по плечу похлопывают,
мол, все бывает,
мол, история — баба ушлая, всех оправдывает), —

пока не встанем — мы у Господа в должниках будем,
непростившие и ненавидящие друг друга,
ненавидимые и непрощенные,
местью полнящиеся и отмщенные...

Вот и твержу, как сомнамбула, как заводная,
давайте мумию наконец похороним,
панихиду отслужим, слезу уроним —
двадцатый век оплачем, не проклиная.

И тогда — я верю —
Господь нас всех услышит,
всеми чинами ангельскими приветит,
и к тем приблизит,
кто на Бутовском полигоне цветами дышит,
и к тем, кто над Воркутой морозной — звездáми светит.

И тех простит, кто на Беломорканале,
на Соловках и под Магаданом,
как сваи, в землю нас забивали
и мучали словом, Богом данным.

Тогда, может, и нынешние ловцы человеков
для сладкоголосых своих посланий
займут не хитрость у поздних греков,
а милосердье у римлян ранних...

Давайте же вместе молиться будем
за ирода Сталина, за Хрущева,
за все гоненья, за грех иудин
народа нашего — непрощенный,

чтобы в прощеное воскресенье
всем целованием, всем прощением,
в пост уходя, ожидать Спасения,
родины-матушки воскресения...

* * *

Здравствуй, дятел! Ты, наверно, спятил,
что уселся под мое окно.
Даже дождь его законопатил,
даже днем здесь пусто и темно.

Я ведь тоже, долго веря в чудо
неподкупной совести людской,
в мир стучалась средь вранья и блуда
детскою неопытной рукой.

А теперь, почти уже над бездной,
где нельзя помочь и перемочь,
сердцем, словно манною небесной,
я кормлю отчаянье и ночь.

* * *

Ты говоришь: не плачь, еще не время,
еще не время, — говоришь, — не плачь...
Но желтый лист тебя целует в темя,
целует, как Иуда, как палач.

Раскрыла осень подлые объятья,
и мы одни — среди летящих стрел.
...Я крашу рот и поправляю платье,
чтоб на меня и ты без слез смотрел.

* * *

Поставь на красное и черное,
шагни в беспамятство, на дно,
и жизнь покажется снотворная
всего лишь жалким казино.

Японец, проигравший вдребезги,
крупье — невозмутим, как плут, —
кто нам загадывает ребусы?
кто их разгадывает тут?

* * *

Мне стали противны читатели наши,
глотатели хлебова, тюри и каши...
А помнишь, какие же были пиры!
Ах, как мы любили Каренину Анну,
от первой любви умирая, нежданной,
в глубинах какой-нибудь русской дыры!
Бег времени нас уносил, и рябина
была из окошка видна за версту...
Нам письма писали — Борис и Марина!
Опавшие листья ловя на лету,
нас Розанов мучил, как сумрачный гений,
нам Лермонтов-мальчик являлся во сне.
И не было *больше* в России явлений,
чем в русской словесности, кажется мне.
Как мы узнавали друг друга по слову,
по верхней, закушенной — в муках! — губе,
как в книжечку Блока стихи Гумилева
мы прятали тайно от глаз КГБ...

И все для того, чтобы — тюря и каша?
И фэнтези морок? И триллеров жуть?

И что нам теперь без словесности нашей
Осталось от родины? Разве — чуть-чуть...

ОХОТНИК ВИТЯ

Пили ли вы, читатель, в небольшой компании нано-водку? Наш гость — охотник Витя — поставил бутылку на стол и вслух проскандировал надпись на этикетке:

— «Выпущено с использованием новейших нанотехнологий».

Мы с ним познакомились на нашей свадьбе — бардесса Полюдова пришла с Витей как с женихом, чем удивила всех...

Сейчас у него по-прежнему припухшие веки, которые сильно молодят, но уже добавились седоватые имперские усы. Роскошные! Странное, рвущее взгляд зрелище — пейзаж его большого лица. Но это не главное. Главное: уже нет на нем того вдохновения, которое обещало нам... нет, не писателя, а кого-то вроде великого Торо, наблюдателя леса или другого сэнсэя природы живой.

Галстук-бабочка на шее старого кувшина пытается унести нас куда-то в сторону торжественности.

Выпив, Витя говорит по-английски две фразы: «ес, май диэ», «лэтс гоу». Видно, что внутри он уже денди, сэр, сенкъюверимач.

Мы знаем и его сестру. Он — Витя Стоножко, а она — Вика Стоножко. Так вот Вика тогда, как бы невзначай, вспыхивала анекдотами по поводу бардессы нашей:

— Мужик рассказывает о своей жене: «Такая она у меня хрупкая, ручки, как хворостиночки, ножки — крошки... Как е-у, так и плачу!»

Полюдова, да, была и есть такая хворостинка, но объем какой в голосе. Как говорил один физик-пятикурсник:

— Этот голос внутри больше, чем снаружи. Разворачивается, как вселенная.

Она все какие-то балахоны носила, будто занавески ухватила и завернулась. Они ее увеличивали внешне.

После анекдота про ножки-крошки Витя брал минутную паузу и все равно уплывал к бардессе. А сестре приходилось бессильно смот-

---

Нина ГОРЛАНОВА

Вячеслав БУКУР

— родились в Пермской области. Закончили филологический факультет Пермского государственного университета. Авторы «Романа воспитания», в 1995 году признанного лучшей публикацией «Нового мира», повестей «Учитель иврита», «Лидия и другие», «Тургенев — сын Ахматовой» и др. В 1996 г. вошли в shortlist претендентов на букеровскую премию. Печатались в журналах «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». Постоянные авторы «Континента». Живут в Перми.

реть ему вслед: как они несовместимы! Тот обглодыш и этот молодой тополь, гитара и ружье! А столько лет строили клан, поднимались по лестнице, облагораживали административное пространство — расставляли по нужным местам породистых дядьев-теток!

— Мой невинный, нецелованный Витька, он же никогда не разведется, он будет везти на себе все, — так говорила она нам и добавляла: — Он ее не любит, а просто хочет ее талант опекать: мол, она так сломается — ее должна подпереть семья!

Они поехали на свадьбу в город К., где тогда учился Витя. Он еще Виолу вез щедро — новую соседку родителей по площадке — познакомить с другом. Эта Виола — платье в цветочек, глазки в листочек — с сосудистым пятном на шее, но платиновая блондинка. Витя предупредил свою бардессу про родимое пятно Виолы: мол, в дороге нужно поосторожнее, если стресс — пятно у Виолы вспыхивает ярко-красным светофором, и начинается истерика...

Еще в поезде все и кончилось. Он говорил только с Виолой, Полюдова молчала вместе со своей гитарой... Потом он позвал их в ресторан, а Полюдова завернулась еще в шаль, вдобавок к балахону. Он радостно показал всем видом: чур, я не виноват! И с Виолой ушел. Когда они вернулись, начался скандал, мучительное битье гитары. Он пытался спасти нежный инструмент, а потом сказал:

— Я думал: ты человек, хотел служить твоему таланту... Чуть меня не обманула! Еще ревновать! А ведь мы не поженились даже!

Ну, в общем, приехали. Полюдова в общежитии принялась выбрасываться с третьего этажа, Витька попросил ребят сделать все, чтобы она уехала, и ушел в тайгу. В одной рубашке. Никто не встревожился — конец августа был в том году жарким.

Когда Полюдова вернулась в Пермь, сразу позвонила родителям Вити — в два часа ночи. Отец закричал: щенок у меня сын, сволочь! Он послал Вику сначала к нам. Потом по всей Перми. На такси она исколесила весь город, и уже под утро ее навели на аспирантское общежитие. Так и есть, сидит Полюдова, обложенная аспирантками и аспирантами разных наук. Увидела Вику, добила одним вздохом сигарету, замахнула полстакана, упала на колени:

— Прости! Я же над тобой столько издевалась — хамила, могла прийти и как заору: заткнись!

Тут она принялась за старое, но с вариантами: то сама с четвертого этажа хотела прыгать, то Вику в окно пихала...

Еще к обеду позвонили из города К.:

— Витька ушел в тайгу и пропал, его весь институт ищет.

Вика помчалась опять к бардессе: там верные аспиранки две облеванных подушки замывают, а Полюдова говорит не своим голосом:

— Он волк, он зверь, он там подохнет, пусть он подохнет.

И тут Виола приходит. Полюдова взяла хлебный нож, ее, конечно, скрутили.

Еще и мы в этот миг заходим — разбежались тоже спасать талант. Нам кричат:

— Уходите, Нинка, Славка! Ой, уходите, не до вас.

Потом, лет через десять, мы с сестрой Вити встретились в одной компании. Она говорила:

— Правда, я после Полюдовой никого слушать не могу, потому что не сравнить же. Вот у мамы в редакции есть такая Вера, поет, все ее слушают, а я не могу, ухожу, это просто никак... И брат уже чужой — он на Виоле женат. Как пришел из тайги с воспалением легких, как отлежался, так со мной и не разговаривает по душам.

Удивительно, но кроме Вити у Полюдовой никого не было.

Каждый раз молодые мужские толпы, с наслаждением послушав ее концерт в универе, разбегались по быстрым радиусам, шепча: это же буря, а не стоит знакомиться с бурей — голову оторвет.

Кажется, терпеть ее могли только рыболовы и охотники, поклонники Торо, им природные стихии только подавай. После Вити она нашла другого промысловика, родила ему пятерых детей, а тот даже не дрогнул, бегает с ружьем уж не знаем по каким оставшимся чащобам, кормит семью. А она отбросила псевдоним, стала Покедовой — по мужу, 9 мая звонила нам из своих глухих чащоб:

— Мне нужен адрес «Нового мира». Я написала поэму про всех репрессированных поэтов... А теперь расскажите мне подробно, как вы провели День Победы.

— А ты как? — отпарировали мы.

— Я записывала застолье на видео — чтоб послать невестке — она поволжская немка и уже два года в Германии. Как звонит, всегда просит: пришлите песни, которые мы все пели в застольях.

— И что вы записали?

— Всё: «Вот кто-то с горочки спустился», «Каким ты был, таким остался», «А я люблю женатого»...

На занятиях по освежеванию и выделке шкур Витю в институте охотоведческом всегда хвалили: казалось, все делал одним непрерывным движением.

Он тогда любил рассказывать дзэнскую притчу о мяснике, пережившем просветление. Этот мясник делал один сложный разрез-удар, и со стороны казалось, что шкура сама падает с туши, а туша под счет раздва распадается на куски.

В общем, институт был вскоре брошен, и компания-коммуна друзей уехала в тайгу добывать зверя. Лютые морозы, личные олени, лайки, которые спали в сугробах при минус пятидесяти, и, как ни странно, бомжи, невесть откуда выходящие к их зимовью из тайги. Там какое-то время все было хорошо, он даже у жены роды принял, дочь назвали Искра.

Но потом что-то не поделили, чудом друг друга не поубивали из карабинов и разъехались в разные стороны.

Помню, что Витя звонил нам и выговаривал:

— Вы же были старше меня, — почему не предупредили, что жизнь такая тяжелая?..

— Не стони, Стоножко, — вяло отбивались мы, сами выпитые жизнью.

У нас была своя тайга — дремучий город, хоть и центр; и свои бессмертные бомжи — соседи по коммуналке.

Затем Витя с женой развелся.

С новой занялся новым делом — мебелью.

Уже была рыночная эпоха, и опять у Вити оказался необыкновенный талант, хороший доход. Долетали до нас слухи, что его фирма делает персиковую мебель, что такое — до сих пор не знаем; и нам обещал недорого сделать гарнитурчик ради старого знакомства, но мы не врубились.

В пятьдесят лет он бросил вторую семью и сел писать рассказы.

Принес нам сразу целую папку! Выпив третью рюмку нано-водки, застучал по столу отнюдь не нанокулаком:

— Через девять лет и восемь месяцев у меня будет мировая слава!!!

А через сколько часов и минут — не сказал...

Давно мы уже дали зарок не браться за чтение никаких рассказов у знакомых. Однажды произошла история. Разбогатевший знакомец (пиар-технологии) пригласил нас к себе в загородный дом на выходные. Мы, конечно, всячески отбояривались, но он больно напирал на общую дружбу в юности и еще сказал, что написал рассказ и мы должны его оценить.

В общем, в субботу утром он за нами заехал на «Лексусе». Отдал рассказ у входа в бассейн, который, как шторы, окружала матовая пленка:

— Ребята, читайте, а я поплаваю, чтобы скоротать время. Что-то я волнуюсь. Потом вы тоже — у меня там для гостей полно купальников.

Мы пошли к журнальному столику, плюхнулись на диван в форме огромной капли, начали читать каждый свой экземпляр.

— А знаешь, что-то есть... Тянет читать дальше.

— Но основного нет — любви к героям.

— А еще нет новизны, подтекста, юмора.

— Нужно ему сказать, что тяга дорогого стоит, что это почти готовый киносценарий...

— Но ничего отрицательного не скажем. Любой пишущий, тем более олигарх, не выносит указаний.

Мы отправились к бассейну — хвалить. Но опоздали навсегда: наш автор валялся на кромке — синий — и в руке сжимал край матовой шторы. Мы кричать — прибежали слуги, охрана. Как мы боялись, что нас обвинят! — все окружили, волками смотрят...

Вскрытие показало: ишемическая болезнь сердца.

Теперь о сестре Вити. Мы заговорили о ней, в отчаянии стараясь уклониться от Витиной папки. Мол, виделись с Викой на днях — на приеме у мэра, там были еще знаменитые многодетные семьи Перми. И одна выступила, детей вывела... Ну, тут Вика нам комментировала:

— Да, да, семья — это всё, еще скажите, что Пушкин был однолюб и оплот семейственности...

— Да, да, — кивал Витя в ответ на наш рассказ, — это для нас — в общем — больная тема...

С женихом Вика познакомилась на четвертом курсе.

Он тогда еще не подозревал, что она назначила его женихом, и невинно преподавал политэкономию. Рикардо, Адам Смит — и вот уже в койке лежит, ошеломленный такой. А все дело в том, что она сидела на первом ряду и щеголяла своими красивыми руками, вся в черном, как Гамлет, и рассыпала по столу угли маникюра. Он заметался: приносил студентам показать свою коллекцию трубок, демонстрировал им кошелек в виде бульдога: «Здесь вся моя движимость и недвижимость», — ничего не помогало. Свадьба приближалась неумолимо, подобно астероиду.

Политэконом сдался. Решил пошутить перед загсом: залез под ватное одеяло и не заметил, как уснул. Его все обыскались.

Мать невесты все твердила:

— Я тебе говорила, он на тебе не женится. — И заглянула зачем-то на антресоли. — Он же без пяти минут доктор наук. Я же говорила, он не женится.

И так было сто раз. И крах уже начал прописываться отдельной строкой в паспорте Вики.

Брат вдруг заметил:

— Смотрите: кошка спит и двигается вверх-вниз.

Вика бросила в него букетом:

— Замолчи! Какая кошка — от меня жених сбежал!

Витя все-таки заглянул под одеяло, — а там жених!!! Схватила невеста кошку, стала ее тискать:

— Муся, Муся, мы навсегда твои!

И любили, баловали эту Мусю много лет, но не помогло: муж сбежал.

Витя хотел сестру утешать, а она прихохатывает:

— Насилу дождалась, когда этот дундук исчезнет:

А из соседней комнаты как завизжит племянница:

— Не дундук! Сами вы!

И прилетел в проем двери изжеванный, истрепанный лев, в незапамятные веки сделанный из крепкого коричневого велюра. Он приземлился на левую разбухшую щеку, выражаясь всем видом малоцензурно: ни хрена себе... я вас так безоглядно... а вы... но если вы... такие убогие, то посмотрим...

Первый муж ушел, а власть советская вот она: переминается с копыта на копыто, хотя уже озадаченно, фыркает прямо в лицо... А что фыркать, когда полки в магазинах пустые? Пора уходить!

Но и в эти пустынные времена — холодильник полон у Вики, все время полон — бразильский растворимый кофе на столе каждый день... Мужик товарного вида из другой семьи почуял запах уюта, запрядал ушами и прибежал: напои меня. Оставил жену, сына.

Мы хорошо его тоже знали еще по общежитской поре и звали «скульптурный Валера».

Потом мы идем с внуками на карусель обозрения, с трудом узнали Валеру: товарный вид в кубе, мышцы уже вообще от макушки идут, лежит на руле «Геца» и громко шепчет: «Я больше не могу, не могу».

Вдруг сорвался мóлодец в командировку в Москву и сообщает: встретил свою одноклассницу, она вдова, я не вернусь.

Тут Вика, как всегда в опасный момент, стала резко хорошеть: вставила две счастливых подковы зубов, вколола ботокс и бросилась в столицу. Но когда вернулась — все лицо было в мелких мешочках. Жизнь победила ботокс.

Быстро вернулась, значит, и рассказывает:

— Открывает мне какая-то старушка с букольками. Это его Лаура, Беатриче, как там еще... Увидел меня. — достал гармошку и заиграл.

— Гармонисту за игру нужно премировочку, — рассудительно сказал брат, — коечку, периночку да лет под сотню девочку.

— По гармошке я поняла, что Валера никогда не вернется в мой салон, где разговоры о Леже, романсы, весь свет и цвет города...

Витя затрубил:

— Но-но! Горевать некогда, дел полно. Выставка твоя в Америке — столько нужно сил, еще не вся *херамика* запакована.

Приглашение в США у нее было уже полгода как. Почти живая у Вики керамика: все эти коты-рыбы-облака сейчас, кажется, запоют, но не хватает до гениальности последней безоглядности.

Нано-водка закончила нежное течение свое.

Не говоря худого слова, Витя раскрыл папку и начал читать.

Один человек потерял трудовую книжку. Ездит по старым работам, восстанавливает. На одной работе — старая любовь, которая его бросила... на другой — друг, который его уволил, когда стал успешным... Все клонилось к тому, что главный герой один хороший.

И стиль был яркий, но страшно было заглубляться в этот текст: ослепительно, холодно и в конце ничего в сердце не остается.

Тут помогла нам жизнь в виде Витиного мобильника с крепкозадыми вагнеровскими валькириями.

— Да, Искорка, три жены... Это нормально. У Булгакова было три... Слушай, давай судить о людях не по падениям, а по взлетам... Кто плохой? Я плохой?.. Я их заработал, чтобы писать...

Видимо, дочь крепко наседала, потому что он срочно вызвал на подмогу из прошлого то прежнее лицо свое и то прежнее обаяние:

— Искорка! Сияние мое! Вот посыплются на меня премии, я самое малое — половину буду отдавать тебе... Нет, на пленер я вас всех не

могу. И почему ваш Камышовский не имеет машины? Ничего не добился. Зачем такой руководитель? Подумаешь, каждый год восемь человек в «Муху»... За десять лет — уже восемьдесят, а никто ведь не купил ему машину... Кстати, я тебе сам хотел звонить: Арик просит кофейню оформить, и там ты что-нибудь срубишь.

— У тебя что, уже третья жена? — спросили мы, когда он отключился от дочери.

— Развод — это очень просто, — махнул он рукой пресыщенно. — Это все равно, что вынести из квартиры все лишнее.

Мы смотрели сочувственно: вряд ли тебе, Витя, эти разводы просто дались...

Иначе ты не начал бы пещрить бумагу бесконечными буквами занозистого, душевынимающего, невозможного русского языка.

16 июля 2009 г.

Нина ГОРЛАНОВА

ЕСЛИ Б ЗНАТЬ...

В полночь раздался звонок телефона. Мы не спали — собирались в столицу на съезд писателей.

Женский голос:

— Заканчивайте ваши изыскания — иначе вашим внукам будет плохо! — она говорила словно сквозь платок — задыхаясь.

Значит, наша знакомая? Иначе зачем ей голос менять — сквозь платок говорить...

Первая мысль — это, чтоб мы не ехали на съезд.

— Слава, мы не поедем!

— Да. Я на вокзал — сдавать билеты.

А мне что делать? По ногам идут реки нервных спазмов.

Детей до утра не буду пугать.

Правозащитники уже спят.

Напишу пока об этом в своем ЖЖ...

Кстати... может, в ЖЖ что-то кому-то не понравилось? Я перечитала последние свои записи: «Были внуки, я им рассказала о рае и аде по Босху. Ваня испугался ада и сказал:

— Я много заработаю и все раздам нищим.

Слава ему подсказывает:

— Может, сначала папе и маме поможешь, а потом уже и нищим?»

По-моему, ничего такого, к чему можно придраться... Так в чем же дело?

Левый — инсультный — глаз задергался, сердце болит в лом. Показала зеркалу язык — вроде, все симметрично. Если кто-то снова хочет

довести меня до инсульта, то я не сдамся! Но как все закишело червями вокруг — весь мир.

Почему? За что? Никаких изысканий мы не ведем.

Неужели снова прототипы обиделись?

Или это сумасшедшая звонила? Но и сумасшедшие очень бывают опасны (кто убил Ленона).

О. прочла у ЖЖ об угрозах и пишет:

«Нина Викторовна! У вас там совсем поздно уже. Но я с Вами не посплю тоже. Все будет хорошо, это точно. Помните — так английская святая Юлиана Норвичская передавала слова Господа: "все будет хорошо"...»

22 июня 2009 года.

Детям мы сказали, правозащитникам позвонили.

На телефонной станции распечатку дали — там этого звонка нет. Говорят: значит, по скайпу звонили — по скайпу не отражается.

Детям мы сказали, правозащитникам позвонили.

Друзья предполагают, что это сосед по коммуналке организовал угрозы. Со скайпа?! Но он уже месяц, как не в себе (пьет перцовую растирку), — вряд ли в таком состоянии мог что-то сделать (ключами дверь не может открыть — звонит, мы впускаем).

Я хожу по квартире и спрашиваю воздух:

— Да что же это такое? Живу в коммуналке, в бедности, в болезнях, за всех молюсь, но кому-то я — кость в горле... ничего не пойму!

Но говорил же Толя Курусов, что — возможно — у нас только с виду так бедно, а он уйдет, мы кнопку нажмем, и откроется дверь в другую квартиру, где у нас «джакузи́ и закуси́».

Вдруг кто-то нашел, чему позавидовать. Ведь дверь в «другую квартиру» у нас на самом деле есть — это дверь в рассказы, повести и пьесы...

Потеряли 800 рублей — когда сдали четыре билета... Это сколько нужных лекарств не будет куплено! Да и на блузку в секонде я зря потратилась... На съезд едет поэт П.

Вчера он был у нас — мы подписали протокол.

Паша сейчас увлечен гностицизмом:

— Ум создал мир...

А мы только на Бога и надеемся. Куда бы мы в такой ситуации без молитвы?!!

Звонила Н. Н. с центрального ТВ. Она готова снять сюжет, но боится, что для сумасшедших это только подкачка энергией...

Дочь говорит мне:

— Я никогда тебе не говорила... но сейчас скажу: мама, ты нам так сильно нужна, так нужна! — и зарыдала.

И я в ответ зарыдала: вы мне тоже так нужны — больше жизни!

Слава:

— А я вам нужен?

— Ну а кто еще нам нужен-то?

— Ну, ты по ТВ увидишь одного и восклицаешь: цвет нации, цвет нации! Увидишь другого...

— Перестань. Цвет нации всегда женат...

Я думала прошлой бессонной ночью, что дети отдалятся от меня теперь: я приношу им одни неприятности. Но все вышло наоборот... Жизнь волшебнее, чем я ожидала.

— Ахматова говорила: «Рыжему делают биографию». Но нам в шестьдесят лет зачем становиться героями? Мы хотели просто пожить...

— Тост: за то, чтоб не стать нам ненароком героями! — (Виски принесли гости).

— Мы ничего не затеваем — ни против кого, ни против чего! Почему нам угрожают?

Я вспомнила, как недавно сняла трубку, а там поверх гудков голос:

— За вами приедет машина, черная.

Я подумала: дети какие-то шутят...

Малый ребенок
Никак не молчит.
Автоугонка
Криком кричит.
Бедный котенок
Растерян в ночи.
Сосед-поросенок
Роняет ключи.
Он сходит за водкой —
Ему хорошо.
По чьей же наводке
Меня в порошок
Стирают опять?
Если б знать...

Вот сейчас — в 16-15 — опять звонила эта женщина, — трубку снял Слава. Она угрожала вырвать мне яичники с корнем... говорила, что Бог нам не поможет (видимо, читает мой ЖЖ).

Мы добавили в свои молитвы «Молитву об умножении любви и искоренении ненависти»: «Друг друга любити нелицемерно сотвори...»

Нужно написать заявление в прокуратуру.

Был внук — сразу спросил:

— Бабушка, а если вам с дедом в другую страну уехать? Там не будут знать, что это вы, не будут угрожать.

Дети на валерьянке. Они попросили меня о внуках в ЖЖ ничего не писать более...

23 июня.

Говорю Славе за завтраком:

— Селедка невкусная.

— Не звонит она тебе, не угрожает — ты все недовольна!

И мир вдруг чудесно преобразился. Вот стул — он с дыркой, но не звонит и не угрожает. Вот зонт — одна спица сломана, но не звонит и не угрожает...

Господь прижимает нас к себе? Чтоб страдали и больше понимали всё...

Да, видимо, так. Сейчас получили угрозы на адрес электронной почты. Адрес, откуда:

Sona zfkpcjabz@nextmail.ru

Пора пришла. Срывайте с себя крестики. Желательно публично. В таком случае мы Вам гарантируем невозможность хотя бы половины проблем, которые мы в обратном случае Вам создадим. Полное их исчезновение будет, если Вы полностью измените свою деятельность. (Подчеркиваем, не прекратите, а измените.) Иначе, берегитесь.

http://www.magnolia-tv.com/news/2002-03-12/girl_killed/

Смотрела ночью «Школу злословия» — ради Юры Фрейдина. Я ему обязана: лет пять назад он мне посоветовал писать добрые сказки, и «вокруг вас мрачность рассеется». Мы написали десять сказок, и сосед в это время притих. Но потом сказки прекратились. Мы и так, и сяк, а они не идут. И сосед разбушевался.

Так вот, Юра вчера сказал:

— Вы ведь, Дуня, изменились, когда сняли фильм. А представьте, как изменилась Н. Я. Мандельштам, когда опубликовала все стихи мужа, все свои книги...

Я подумала о нас: за последние десять лет много мы опубликовали всего и слегка тоже изменились. Но не настолько же мы значительны, чтобы нам завидовать, угрожать, нас ненавидеть!

Слава говорит:

— Конечно, мы не очень значительны. Но где им найти живых Достоевского и Толстого, соразмерных их ненависти?

Не сплю. А кто бы спал на моем месте?!

Под утро начинаю дремать и вижу во сне: Коломбо и инспектор Монк разыскивают наших злопыхателей (и так каждую ночь — сны на одну тему).

Многие уверяют: есть сетевые «тролли», которые угрожают, на крестики реагируют... все хорошее их раздражает.

Ждем ответа из прокуратуры на наше заявление. Каждый день выпиваем по 25 г. виски — так только и спасаемся. Я страшно курить хочу, но денег нет на сигареты, и молчу.

Говорят: Господь закрывает окно, но открывает дверь. Думаю: где и что мне открылось? Написала картину: «Мне угрожают по телефону», — где телефонный провод — как змея и много чего...

Хокку:
Плывем по морю
Русского языка
В радости и в горе.

1 июля.

Вчера меня пригласили на вечер (что-то в честь женщин). Я поехала в надежде там встретить представителя Президента РФ по правам человека. Увы, ее не было.

Был мэр, но я боялась, что охрана меня пристрелит, — не подошла.

Поговорила я с одним главным редактором пермской газеты и с одним депутатом о том, что нам угрожают.

От цветов, живой музыки, шампанского и фуршета тяжесть на сердце удвоилась...

Ведь под этим красивым слоем жизни бурлит и пускает ядовитые пузыри слой злобы и угроз...

Хочется закричать, как экскурсовод в Грузии... Слышала у Шендеровича. Был он на экскурсии в Грузии, экскурсовод вдруг прервал объяснения и закричал в лицо русским туристам: «Да отстаньте вы от нас, отстаньте!»

Так и я мысленно кричу: отстаньте, отстаньте от меня!

Кому? Сама не знаю.

Звонила я в женский монастырь — попросила Матушку Марию помолиться за меня.

Звонила я Б. Он считает, что меня хотят довести до того, чтоб довести до сумасшествия или объявить сумасшедшей, что не нужно поддаваться...

Вчера пришло уведомление из прокуратуры, что наше заявление передано в ГУВД по Пермскому краю.

Телефон мы отключили. Адрес электронный сменили.

Шла на рынок — навстречу влюбленные, держась за руки... Я вслед им обернулась, перекрестила и подумала: «Им еще можно пожить счастливо до тех пор, пока начнут угрожать».

И так все время... Ах, какая рябина, лучше бы люди полюбовались лишний раз на дерево, чем угрожать...

12 июля.

День святых апостолов Петра и Павла. Сегодня усилием воли включаем телефон. Святые апостолы, помогите нам! Сделайте так, чтоб враги наши встали на путь истинный!

Двое суток дурнота-рвота...

Туча-красавица — серебро с чернью — закрыла все окно. Она радует, потому что я сегодня спала. Вчера помог один укол актовегина в вену! Была одна ампула еще со времени прежнего курса.

После того, как двое суток сосала лимон от дурноты, губы распухли и болят, как после ночи первых поцелуев в юности. Ведь были же времена, когда мне не угрожали, а обиды приходили самые обычные, житейские, как эти поцелуи с человеком, который на следующий день уже почему-то со мной не разговаривал. Потом он уехал из поселка и повесился, не выдержав оскорблений в вытрезвителе, куда он попал случайно.

Взяла у соседки листок фиалки — необыкновенной красы. Посадила в горшок. Видимо, жить буду?

14 июля 2009 г.

Беседы в редакции

Андрей ИЛЛАРИОНОВ

ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЫЙ — ГОД НАРАСТАЮЩЕГО АБСУРДА

От редакции

Двадцать девятого декабря, за день до нашей встречи в редакции «Континента», Андрей Илларионов провел традиционную пресс-конференцию по итогам года. Уходящий 2009-й он назвал *годом нарастающего абсурда*, а происходившие в течение года события, как обычно, распределил по тринадцати основным номинациям, представив свои выводы в виде сводной таблицы. Естественно, что наша беседа, повернутая к итогам года, не могла не коснуться содержания этой таблицы. Приводим ниже все тринадцать ее разделов, чтобы читателю были понятнее наши вопросы А. Н. Илларионову:

1. СОБЫТИЕ ГОДА: Начало гражданской войны на Кавказе (Ингушетия, Чечня, Дагестан).

2. ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОДА: Новый уровень террора не только против журналистов, правозащитников, адвокатов, любых оппонентов власти (С. Маркелов, А. Бабурова, С. Ямадаев, Н. Эстемирова, З. Сайдуллаева, А. Джабраи-

Андрей ИЛЛАРИОНОВ — родился в 1961 г. в Сестрорецке. Окончил экономический факультет и аспирантуру ЛГУ, кандидат экономических наук. В 1983–1990 гг. — ассистент кафедры международных экономических отношений ЛГУ. В 1990–1992 гг. — старший научный сотрудник и заведующий сектором Проблемной научно-исследовательской лаборатории региональных экономических исследований Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. В 1992–1993 гг. — первый заместитель директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ (РЦЭР). В 1993–1994 гг. — глава Группы анализа и планирования при премьер-министре России В. С. Черномырдине (советник премьер-министра). В 2000–2005 гг. — советник президента России по экономическим вопросам, личный представитель президента России (шерпа) в Группе восьми. С 1994 года — директор, с 2000 г. — президент Института экономического анализа в Москве. С октября 2006 года — старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве и Вашингтоне.

лов, М. Аушев, И. Джапаридзе, И. Хуторской, С. Магнитский, О. Котовская), но и против всех граждан со стороны политическогно режима и его отдельных клик.

3. ИДЕЯ ГОДА: Политическая либерализация.

4. АНТИИДЕЯ ГОДА: Экономическая и технологическая модернизация без политической либерализации = неосталинизм (сталинизм — логически завершенная форма такой модернизации в национальной истории), ресталинизация.

5. АНТИЗАКОН ГОДА: Закон о государственном регулировании торговли.

6. РЕШЕНИЕ ГОДА ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ: Соглашение между Ю. Евкуровым и Т. Мамсуровым о возвращении ингушских беженцев в Пригородный район.

7. АНТИРЕШЕНИЕ ГОДА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ: Предоставление президенту страны права применения российских войск за рубежом.

8. АНТИРЕШЕНИЕ ГОДА: Создание Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

9. АФЕРА ГОДА: Большой Климатгейт (серия «малых» климатгейтов, принятие российскими властями Климатической доктрины, Копенгагенская конференция по вопросам изменения климата).

10. «ШУТКА» ГОДА: Путин не исключает возможности баллотироваться в выборах 2012 года. Медведев *этого* тоже не исключает. Медведев уверен, что договорится с Путиным по поводу выборов. Путин уточняет: «Слава богу, у нас никаких выборов нет».

11. ВОПРОС ГОДА: Какому лагерю во власти — путинскому или медведевскому — принадлежит Медведев? Принадлежит ли Медведев вообще к государственной власти?

12. СОБЫТИЕ ГОДА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: Внесение Михаилом Саакашвили в парламент Грузии Акта свободы.

13. СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ: Марксизация США.

— Андрей Николаевич, давайте нашу беседу об итогах года начнем с Грузии. И прежде всего поинтересуемся, на каком этапе готовности находится та большая работа, которую, хоть и в сжатом виде, мы напечатали на наших страницах*, пообещав читателям выложить ее на нашем сайте, когда она будет готова полностью. Мы ждем окончания этой работы с нетерпением, потому что именно Вашей точке зрения доверяем больше, чем всему, что пришлось прочесть и услышать в последние полтора года по этой теме. По-английски ведь книга уже вышла?

— Действительно, написана значительная часть большой работы. Однако она не завершена и полностью пока нигде не публиковалась. Причин задержки — несколько. Одна из них — материалы, обнародованные миссией Евросоюза под руководством швейцарского дипломата Х. Тальявини. Миссия ЕС по итогам своей работы издала трехтомный доклад, третий том которого содержит материалы, представленные сторонами конфликта. Часть этих материалов была известна ранее, часть — нет. Кроме этого, в докладе содержится анализ, предложенный членами и экспертами Комиссии Евро-

---

* См.: *Илларионов А.* Российско-грузинская война. Документы и материалы. — «Континент», № 140.

союза. Три предложенные тома — довольно большой объем материала. Во многом из-за этого публикация практически всех книг, готовившихся летом-осенью 2009 года, не только и не столько в нашей стране, но и в Европе и США, была отложена. Дополнительная информация, ставшая доступной в последние месяцы, оказалась существенной, поэтому понадобилось кое-что дорабатывать и уточнять то, что было написано до того.

Кроме того, буквально через несколько часов после того, как Евромиссия опубликовала свой доклад, грузинское правительство выложило в интернете, по их заявлению, все те материалы, какие грузинская сторона предоставила миссии ЕС. И обнаружились интересные подробности. Оказалось, что Миссия разместила в своем третьем томе *всю* информацию, которую предоставила ей Россия, *всю* информацию, которую предоставили ей власти Абхазии и Южной Осетии, но только *часть* той информации, которую ей предоставило правительство Грузии. Выяснилось, что материалы правительства Грузии представляют собой колоссальный том, по объему примерно втрое превышающий совокупный объем материалов, предоставленных Россией вместе со своими марионетками. Что же касается качества, то эти материалы вообще несопоставимы: за небольшими исключениями российскими материалы совершенно бессодержательны. Таким образом, в общественном доступе оказалось большое количество материалов, некоторые из которых до этого момента были малоизвестны или неизвестны. Очевидно, что грузинские власти не публиковали их в ожидании решения миссии ЕС.

Но и это еще не все. В августе-сентябре 2009 года российскими властями с целью дополнительного воздействия на общественное мнение были предприняты несколько операций по распространению, скажем так, некачественной, а в ряде случаев — и фальсифицированной, информации относительно того, как происходили события Российско-грузинской войны. Для того, чтобы эта информация пользовалась каким-то доверием, в ней были смешаны три категории материалов: 1) реальные факты, частично известные, частично неизвестные; 2) проведенная особым образом интерпретация реальных событий и 3) фальсифицированные сведения. Поскольку все три категории материалов перемешаны достаточно тщательно, требуются некоторые усилия и время для того, чтобы аккуратно выделить из них новую информацию, соответствующую действительности. Так что произошедший мощный информационный выброс требует некоторого времени для того, чтобы обработать существующие материалы, уточнить и дополнить уже имеющиеся...

— А можете ли Вы сказать уже сейчас, в какой мере новые материалы могут повлиять на содержание той части книги, которая еще не дописана? О чем будет идти речь в этой недописанной части?

— Речь идет о двух дополнительных главах. С содержательной стороны вряд ли что-нибудь кардинально изменится. Например, мы не располагаем и в ближайшее время не будем располагать оригиналом приказа российского генштаба и приказа российского верховного главнокомандующего, отданного российским войскам на пересечение российско-грузинской границы. Тем не менее пользуясь некоторыми методиками и технологиями анализа, мы имеем возможность с высокой степенью достоверности сде-

лать заключение о том, когда именно такой приказ был отдан. Одна из этих глав и будет посвящена именно этой проблеме: когда был отдан такой приказ и когда, каким образом и какие части российских войск пересекли российско-грузинскую границу. Возможно, эта глава так и будет называться: «Когда был отдан приказ о пересечении границы?» Этот факт заслуживает особого внимания — прежде всего с точки зрения совершения российскими властями акта агрессии, с точки зрения нарушения ими как российской конституции, так и международного права.

Другая глава посвящена событию, которое неоднократно оказывалось в центре внимания общественности и которое традиционно называлось в качестве повода, использованного российскими властями для нападения на Грузию. Это бои с участием военнослужащих российского миротворческого батальона, в результате которых некоторые из них погибли. Потребовались дополнительные усилия для того, чтобы реконструировать события, касающиеся военнослужащих российского миротворческого батальона: кто и когда отдавал им приказ открыть огонь против грузинских войск, как этот приказ выполнялся, где находились те российские части, которые, представляясь миротворческими, напали на грузинские части, и что из этого вышло.

Два этих чрезвычайно важных эпизода российско-грузинской войны требуют особого внимания. Они требуют тщательнейшего анализа — насколько это возможно, исходя из той информации, из тех документов и материалов, которые сейчас есть и вновь открылись. В этом деле, как, впрочем, и во всех других эпизодах, хотелось бы быть максимально аккуратным. Особенно это касается тех случаев, когда у нас нет стопроцентной уверенности в том, как происходили события, когда мы не располагаем документами, а можем лишь представить логику своих размышлений: почему именно такое развитие событий кажется нам наиболее вероятным.

— Хорошо, не будем Вас торопить с этой темой. Давайте поговорим о других итогах года. Вы назвали прошедший год годом нарастающего абсурда, но где, скажите на милость, Вы обнаружили политическую либерализацию как ИДЕЮ ГОДА?

— Эта идея обнаружилась в последние четыре месяца года в связи с дискуссией о модернизации, которую предложил г-н Медведев и которая, надо признать, была воспринята в целом позитивно самыми различными кругами российского общества. Однако достаточно быстро выяснилось, что идея модернизации, вброшенная властью, предполагает лишь модернизацию экономическую, техническую, технологическую без какой-либо либерализации и демократизации — политической и общественной. Мое внимание привлек тот факт, что, несмотря на разность подходов и позиций людей, комментировавших эту тему, обнаружился неожиданный консенсус по одному вопросу: люди стали требовать политической либерализации. И это касается не только последовательной оппозиции (например, Гарри Каспарова), но и людей, вполне интегрированных во власть, называющих себя советниками того же Медведева, — таких, например, как Евгений Гонтмахер. Несмотря на то, что в практической жизни эти люди различаются очень сильно и по многим вопросам спорят и не соглашаются, по этому вопросу у них обнаруживается впечатляющее совпадение.

— То есть Вы имеете в виду ИДЕЮ ГОДА как некоторое настроение, которое вызревает в обществе?

— Совершенно верно. И вот в этом, на мой взгляд, и содержится тот плюс, какой появился как следствие обсуждения идеи модернизации, вброшенной властью. Сама же эта идея — экономической и технологической модернизации без политической либерализации и общественной демократизации, с моей точки зрения, является не чем иным, как АНТИИДЕЕЙ года. Но эта антиидея года, вброшенная властью, спровоцировала общественную дискуссию, в рамках которой общество в лице самых различных его участников сформулировало ИДЕЮ года.

— Но в связи с этим позвольте задать несколько вопросов по тем итогам 2009 года, которые Вы называете самыми знаменательными. Надо честно признаться, выбор Вами тех или иных событий понятен нам не всегда.

— Тогда я должен немного сказать о принципах, которыми руководствуюсь, когда происходит выбор тех или иных событий на включение в *Итоги года*. Ведь иногда люди удивляются: почему же упущены такие крупные и знаковые события, как, например, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, взрыв Невского экспресса или пожар в «Хромой лошади»? Хотел бы пояснить, какие цели преследую при подведении итогов года. Задача заключается не в том, чтобы выбрать наиболее громкие события или наиболее обсуждаемые события. Главный критерий — это выбор решений российских властей (а также властей в других странах), которые в максимальной степени способствовали либо расширению, либо сокращению свобод граждан — личной, гражданской, экономической, политической. Хотя этот критерий официально не объявлен, но именно он всегда имеется в виду.

Следовательно, при выборе событий предполагаются временны́е ограничения: решения должны быть приняты в течение уходящего календарного года. Сами же решения должны быть решениями *властей* (федеральных, региональных, судебных и т. д.), влияющими на объем свобод граждан — личных, гражданских, политических, экономических, расширяющими эти свободы или сокращающими их. Поэтому каждое из упомянутых событий влияет на уровень свободы: если это *решение* или *идея,* то они, как правило, расширяют пространство свободы, если это *антирешение* или *антиидея,* то сокращают его. Так, например, *событием* уходящего года стало начало гражданской войны на Кавказе, которая не просто сокращает пространство свободы, но еще и пространство жизни. Главный результат года — новый уровень террора — это удар и против свободы граждан, и против их безопасности. Что же касается, например, АНТИИДЕИ ГОДА, то это возрождение идеологии сталинизма в виде неосталинизма — экономической и технологической модернизации при политической деградации...

— Понятно, что СОБЫТИЕ ГОДА — это гражданская война на Кавказе. А вот СОБЫТИЕМ ГОДА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ Вы считаете внесение Михаилом Саакашвили в Парламент Грузии Акта свободы. Нельзя ли коротко прокомментировать, почему именно это событие, о котором мы, откровенно говоря, впервые узнали из Вашей пресс-

конференции, Вы считаете самым главным событием прошедшего года на всей территории бывшего СССР?

— На самом-то деле я считаю, что это не просто главное событие на постсоветском пространстве, это событие мирового значения. И, возможно, что это даже не событие года, а событие десятилетия, если не столетия. Дело в том, что документ, внесенный в Парламент Грузии 6 октября 2009 года, беспрецедентен. Он не имеет аналогов — и не только в Грузии, он не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. Честно говоря, у меня есть серьезные сомнения, есть ли этому документу какой-либо прецедент в современном мире. Да и не в современном тоже.

Дело в том, что в этом Акте свободы содержится предложение не просто о юридическом закреплении программы либеральных экономических преобразований в Грузии. В нем содежится предложение о юридическом запрещении расширения размеров государства.

Назову его некоторые пункты. Документ накладывает жесткие ограничения на увеличение бюджетных расходов в Грузии: они более не могут превышать тридцать процентов ВВП. Нет ни одной страны в мире, которая устанавливала бы такие юридические границы для расширения государственных расходов. Документ накладывает ограничения на увеличение государственного долга: он не может превышать шестьдесят процентов ВВП. В мире предложения подобного рода бывали и раньше (например, Маастрихтское соглашение в Евросоюзе). Однако они носили рекомендательный характер, и практически первый же вызов (как, например, кризис последних лет) внес свои коррективы, так что фактически ни одна страна в Евросоюзе этого ограничения не соблюдает.

Акт свободы предполагает законодательно ограничить размеры бюджетного дефицита тремя процентами ВВП. Таким было одно из маастрихтских условий, которое также было легко нарушено. Грузинские же власти предлагают установить *юридически* обязывающую границу, преодолеть которую будет фактически невозможно.

В сфере либерализации экономической жизни Акт свободы содержит запрет на создание новых государственных регулирующих органов, запрет на выпуск властями каких-либо новых лицензий и разрешений на ведение какого-либо вида бизнеса, запрет на установление ограничения конвертируемости национальной валюты, запрет на национализацию грузинских банков. Запрещается установление какого бы то ни было ценового контроля, запрещается государственная собственность на банки и банковские учреждения в стране.

Один из пунктов этого Акта свободы, вне всякого сомнения, является феноменальным. Это запрет государству (то есть самим себе!) устанавливать новые налоги и не повышать ставки существующих налогов. После принятия такого Акта власти сохранят право либо оставить действующие налоги, либо сокращать их количество и снижать их ставки. Они потеряют право увеличивать количество налогов, устанавливать новые налоги, повышать их ставки. Для того, чтобы преодолеть это юридическое ограничение — в том случае, если у будущих правительств возникнет такое желание, предлагается правовой механизм: национальный референдум. Иными словами, только все

граждане Грузии в рамках национального референдума смогут (если соберут достаточное количество голосов) преодолеть это ограничение.

Не припоминаю, чтобы кто-либо когда-либо в какой-либо стране предлагал бы такие жесткие ограничения на расширение государственной деятельности. И в этом смысле проект документа, предложенный Михаилом Саакашвили, беспрецедентен. Это либертарианское решение, сравнить с которым что-либо трудно не только сегодня, но, возможно, и во всей известной нам истории человечества.

— А эти материалы где-то опубликованы?

— Да, эти материалы впервые на русском языке были опубликованы 13 и 17 октября в моем «Живом Журнале», а затем были перепечатаны и прокомментированы во многих других местах. Сейчас в Грузии по этому поводу идет общественная дискуссия. Но уже само внесение этого документа отразилось на экономической дискуссии во всем мире, я бы сказал, послало шокирующие такие волны. К этой теме я, конечно, вернусь после того, как он будет одобрен парламентом.

— И Вы считаете, что парадигма, которая будет таким образом установлена, что дальнейшая деятельность государства в области тех проблем свободы, которые затронуты там, — это реально? Ведь ограничения очень страшные для государства.

— Если бы мы с Вами встречались лет шесть тому назад и кто-нибудь тогда сказал о том, какие планы есть у грузинского руководства, думаю, что подавляющее большинство собравшихся (включая и меня) высказались бы довольно скептически относительно реалистичности подобных планов. Да что — шесть лет назад, еще совсем недавно я и сам усомнился бы в том, что что-то может получиться. Но, глядя на то, что грузинские власти смогли сделать за эти шесть лет, можно сказать, что у этих людей очень многое получилось. Видно, если они за что-то берутся, то они это делают. Они смогли сделать кое-что, что закономерно и обоснованно называется чудесами — экономическими и юридическими.

Посмотрите, что произошло, например, с грузинской полицией! Никто не мог представить, что такое вообще возможно. Причем прежде всего этого не могли представить сами грузины. Взгляните, как обсуждают в интернете, в русскоговорящем сегменте грузинской блогосферы, что было сделано в сфере реформ. Мнение грузинских блогеров: *«мы никогда не думали, что у нас это может получиться»*. Люди изумляются: их уверяли, что у них такая ментальность. Их уверяли, что Грузия — православная страна, что она не просто православная страна, что она еще и восточная страна с сильным влиянием персидского элемента, что она еще менее организованная, чем Россия, что грузины не любят качественно и дисциплинированно работать, что они любят выпить, поесть, погулять, попеть песни. И казалось, что справиться с грузинской коррупцией, с безответственностью и беспределом грузинской милиции просто невозможно. Такие черты воспринимались как часть национальной культуры, национальной системы ценностей и т. д. И вдруг за 5-6 лет выяснилось, что эти, так называемые национальные, ценности улетучились, и вот сейчас подрастает новое поколение, уже не знающее, как это было раньше. Но ведь и старшеее

поколение, еще помнящее, как было еще вчера, испытывает гордость оттого, что грузины меняются.

— ***Как это им удалось?***

— Это отдельная безумно интересная тема, которая заслуживает, без всякого сомнения, отдельного разговора, причем, наверное, не только и не столько со мной, сколько с теми людьми, кто это непосредственно делал. В любом случае это опыт, не побоюсь этого слова, всемирно-исторический. Грузия — это все же не Швейцария, Норвегия или Швеция, которые в течение столетий последовательно на основе протестантской этики, на основе демократических традиций, при отсутствии длительных войн и внешних интервенций смогли добиться низкого уровня коррупции. Примеров того, чтобы в течение короткого периода времени в странах, настолько запущенных (а ведь шесть лет назад Грузия входила в список «провалившихся государств»!), можно добиться таких блестящих результатов, ранее не было. Мало кто предвидел, что это вообще возможно. Так что, базируясь на этом опыте, можно выразить осторожную надежду на то, что если нынешние грузинские власти за что-то возьмутся, то они смогут это сделать.

— ***Россия по части коррупции пребывает в тупике. И наш любимый аргумент: милиционеры не с неба берутся — каково общество, таковы и органы правопорядка.***

— Все грузинские полицейские — из того же самого грузинского общества. Как-то я оказался в Марнеули, центре района Грузии, населенного преимущественно азербайджанцами. Это не столица, а люди, с которыми я говорил, не принадлежат к политической или экономической элите страны. Это обыкновенные люди, живущие в этом районе. И когда я попросил их рассказать, что было раньше, до «революции роз», до прихода нынешней власти, люди просто менялись в лице. Они вспоминали недавнее прошлое как сплошной ужас, как чудовищную катастрофу. Они говорили: по улицам бродили банды грабителей, насильников, убийц, которые заходили в любой дом и распоряжались там, как хотели, ничего сделать с ними было невозможно. Никакой управы. Все население этого города, все население Грузии находились под властью бандитов и мародеров. Это было всего лишь шесть-семь лет назад.

— ***Под прикрытием милиции?***

— Фактически это был смешанный состав — и бандиты, и милиция, ведшая себя, как бандиты. Большого различия не было, почти как у нас в России сейчас и точно как сейчас во многих местах на Северном Кавказе. Плюс к этому не было ни света, ни тепла, ни воды, дороги были разбиты. Так жили пятнадцать лет. И вот это почти как по мановению волшебной палочки изменилось. Вначале пришла новая власть. Через какой-то срок было восстановлено электроснабжение, затем водоснабжение. Пришло тепло. Приведены в порядок улицы, по которым невозможно было проехать. Но, возможно, самое главное, и город и страна очищены от бандитов и мародеров.

— ***Непонятно, какие тогда шансы у оппозиции, о которой столько у нас говорят на всех каналах...***

— Про шансы оппозиции ничего сказать не могу. Есть люди, кому в той, прошлой, жизни жилось лучше, чем в этой. Такие люди, конечно, недовольны новой властью. Поначалу их акции в апреле в Тбилиси довольно мас-

сово поддержали. Но когда оппозиционеры за несколько недель в центре грузинской столицы воспроизвели бомжатник со всеми его красотами и запахами, живо напомнивший тбилисцам то, что они уже начали забывать за последние 6 лет, массовая поддержкка оппозиции испарилась.

— Еще один вопрос по итогам года. РЕШЕНИЕМ ГОДА ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ Вы называете соглашение между Евкуровым и Мамсуровым о возвращении ингушских беженцев в Пригородный район Северной Осетии. Почему Вы считаете это таким принципиальным?

— Честно скажу, на эту номинацию претендовало несколько событий. Одним из наиболее важных, как мне кажется, было решение Верховного Суда России, согласившегося с решением Страсбургского суда о незаконности ареста Платона Лебедева. На фоне всего того правового беспредела, происходящего в нашей стране, это, вне всякого сомнения, весьма заметное событие. Хотя мы понимаем, что оно вряд ли будет иметь какие-либо серьезные последствия, по крайней мере в краткосрочной перспективе. И все же первенство в этой номинации я отдал соглашению между Юнусбеком Евкуровым и Таймуразом Мамсуровым о возвращении ингушских беженцев. Вероятно, лишь те, кто следил и следит за происходящим на Кавказе, за тем, что происходит в отношениях между Ингушетией и Северной Осетией, могут оценить исторический характер этого соглашения. Естественно, значение этого решения не следует преувеличивать. Как и его последствия. Тем не менее это по сути дела первый серьезный шаг в преодолении де-факто войны между двумя народами и двумя республиками, длящейся как минимум последние два десятилетия.

Пригородный район — это родина для многих ингушей и осетин, это по сути дела своеобразный местный вариант Палестины. Оба народа не без оснований заявляют об историческом праве на эти земли. Нахождение взаимоприемлемого решения и по принадлежности этих земель и по поводу расселения людей разных национальностей в этом районе трудно переоценить. Это, вне всякого сомнения, историческое решение, даже если его не удастся реализовать в полной мере. И это действительно крупнейшее позитивное решение во внутренней политике в стране в уходящем году.

— СОБЫТИЕМ ГОДА В МИРЕ Вы называете «марксизацию Соединенных Штатов». Что Вы имеете в виду?

— В прошлом году по номинации СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ мною было названо избрание Барака Обамы президентом США. Вне всякого сомнения, это было беспрецедентное событие, когда чернокожий гражданин стал президентом наиболее богатой, наиболее развитой, крупнейшей страны современного мира. Это было событие и для США и для мира — для расширения гражданских и политических свобод во всем мире.

Однако еще в прошлом году было высказано немало опасений, что приход к власти Обамы может привести к существенному полевению Соединенных Штатов. Тем не менее никто, включая самых жестких и самых подозрительных критиков Обамы, не мог себе представить масштабов тех изменений, того разворота в экономической, политической и идеологической жизни США, которые происходят сегодня. Оказалось, что Барак Обама — не просто левый политик, не просто социал-демократ и даже не просто социалист. Похо-

же, что он (или люди, советам которых он следует) придерживается марксистских взглядов в такой степени, в какой трудно уже найти даже у нас.

То, что сейчас делает администрация Обамы, по многим критериям совершенно беспрецедентно в истории США. Такого масштаба популизма и интервенционизма, какие осуществляются сейчас, в истории Штатов, похоже, не было никогда. Только что мы говорили об ограничениях, которые собирается установить для себя грузинское правительство. К тому же оно стремится распространить их не только на себя, но и на все будущие правительства. В то время как грузины устанавливают ограничение в три процента бюджетного дефицита, дефицит бюджета США сейчас — двенадцать процентов ВВП. Двенадцать! До недавнего времени — до последнего года — невозможно было представить себе, чтобы Соединенные Штаты Америки могли дойти до такой жизни. Дефицит бюджета в двенадцать процентов ВВП в мирное время — это идентификационная характеристика погрязшей в популистской политике европейской страны с десятилетиями социалистов у власти, вроде Италии или Бельгии, или же какой-нибудь маргинальной диктатуры, затерянной в тропической Африке. Это лишь один пример того, что удалось сделать всего за какой-нибудь год (хотя надо честно признать, что началось это еще при Буше-младшем). Однако расширение, укрепление и усиление популизма до таких масштабов произошло именно при Обаме.

Расширение государственных расходов, увеличение государственных обязательств, национализация целых секторов американской экономики, беспрецедентный популизм и в фискальной и в денежной сфере, предлагаемый билль о де-факто национализации здравоохранения, законопроект об ограничении эмиссии углекислого газа и торговле квотами на него... Ограничения распространяются не только на сферу экономической деятельности, но и на область гражданских прав! Я уже упоминал вопиющий случай, когда спикер Конгресса США — демократка (естественно) Нэнси Пелоси, отправившаяся в Копенгаген на конференцию по климатическим вопросам, добилась того, чтобы делегации республиканских конгрессменов и сенаторов США не была предоставлена возможность для проведения в Копенгагене пресс-конференции. Мы говорим не о Венесуэле, не о Зимбабве, не о России. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки. То, что происходит в Америке при нынешней администрации, — беспрецедентно. И если это будет продолжаться таким же образом, такими же темпами и в таких же масштабах, как это происходит сейчас, не исключено, что это может привести к глобальному изменению системы координат с точки зрения экономики, политики, общественного и институционального развития. Соединенные Штаты Америки как символ, как критерий свободной экономики, демократической политической системы, уважения гражданских прав, соблюдения правовых норм — этот образ, этот символ, этот критерий может быть разрушен.

— Как Вы думаете, это имеет какое-то отношение к очевидному сближению позиций Китая и Соединенных Штатов?

— Прежде всего это связано с теми представлениями о мире, какие существуют в голове господина Обамы и его ближайших советников.

— Вот, то есть, до чего доводит демократия?!

— До чего может доводить демократия, следует помнить приход к власти нацистов в 1933 году в Германии. Демократия, вне всякого сомнения, — лучшая политическая система по сравнению с любыми другими. Но демократия вовсе не является панацеей от всех бед. В условиях демократии следует думать о тех механизмах, которые предотвращали бы приход к власти лиц, людей, групп, политических партий, способных уничтожить в стране и демократию (как это было в Германии) и основы либерального общественного устройства, как это, похоже, начинается в США. Был бы рад, если ошибусь, и в Америке ничего подобного не произойдет. Дай Бог, чтобы этого не произошло. Однако, со своей стороны, должен привлечь внимание к той опасности, которую вижу.

— Давайте перейдем к одному из крупнейших событий года — конференции в Копенгагене и спорам по поводу потепления климата. Вы отнесли все эти события к номинации «АФЕРА ГОДА», причем речь у Вас шла о Большом Климатгейте и серии «малых» климатгейтов. Если можно, остановитесь на этом поподробнее.

— Тема Киотского протокола и связанная с ним тема глобального потепления из-за парникового эффекта, вызываемого якобы деятельностью человека, — это тема давняя. Напомню основные позиции. Существует относительно небольшая группа климатических алармистов, пытающихся запугать мир якобы грядущим глобальным потеплением, вызываемым якобы деятельностью человека, которые, пользуясь этой якобы «угрозой», пытаются установить всеобъемлющую систему регулирования над экономикой (и соответственно жизнью) всей планеты. Собственно говоря, это суть. Этой небольшой группе удалось обратить в свою сектантскую веру руководство большинства европейских государств, Японии, Канады. Последним бастионом развитого мира, который довольно долго успешно противостоял климатическим алармистам, были Соединенные Штаты в лице администрации Буша-младшего, отказавшейся ратифицировать Киотский протокол, подписанный Клинтоном.

В первой половине 2000-х годов этой сектой и европейцами была развернутая мощная кампания борьбы за то, чтобы Россия ратифицировала Киотский протокол. Как раз в пору, когда я был советником российского президента, на Россию оказывалось колоссальное давление, для того чтобы мы его подписали, а Евросоюз принял решение о выделении 600 млн евро «для ускорения процесса ратификации Россией Киотского протокола». Тогда судьба протокола висела на волоске: для того, чтобы он вступил в действие, надо было, чтобы его ратифицировала либо Россия, либо США; если бы обе наши страны его не ратифицировали, протокол не мог бы вступить в действие. Давление оказывалось невероятное. В течение трех лет удавалось удерживать страну от этого шага. К сожалению, не хватило силенок, и в 2004 году было принято решение о ратификации Россией Киотского протокола.

— Почему Евросоюз заинтересован в этой ратификации?

— Причины комплексные. Ключевая — установление контроля за экономикой планеты. В том случае, если Киотский протокол вступает в действие, необходимо будет создать международный регулирующий орган, занимаю-

щийся распределением квот на эмиссию углекислого газа. Поскольку основным энергоресурсом земли — на 80% — по-прежнему являются (и в обозримой перспективы останутся) углеводороды, а при сжигании углеводородов выделяется углекислый газ, то установление квот на эмиссию углекислого газа означает установление квот на потребление углеводородов и, следовательно, установление квот на потребление энергии. Но установление квот на потребление энергии — это установление квот на хозяйственную деятельность. Любая экономическая деятельность — от выплавки металла на металлургическом комбинате до работы компьютера в офисе — требует потребления энергии. Если же контролировать потребление энергии, то это означает контролировать всю экономическую деятельность в мире. Получение полномочий по регулированию экономической деятельности на всей планете оказывается овчинкой, за которую стоит биться.

История возникновения и распространения идеологии климатического алармизма, зеленого тоталитаризма заслуживает, несомненно, многотомного повествования. В декабре 2009 г. наступил ее очередной этап — всемирная Копенгагенская конференция по вопросам изменений климата. На нее, как выяснилось, приехало сорок тысяч участников, не считая огромного количества представителей неправительственных организаций, демонстрантов, стоявших с плакатами на улице, и т. д. Ни одна другая конференция ни по одному другому вопросу никогда не собирала такого количества людей в одном месте. Задачей этой конференции была замена Киотского протокола новым протоколом, который установил бы обязывающие требования.

Главное требование — сократить эмиссию по формуле: «двадцать — двадцать — двадцать», то есть сокращение эмиссии на 20% к 2020 году. Это минимальное требование к развивающимся странам. К развитым странам требование жестче: пятьдесят процентов к 2020–2025 годам и восемьдесят процентов к 2050-му. То есть по сути дела это требование о сокращении экономической деятельности на восемьдесят процентов. Конечно, постепенно происходит переход от энерго- и карбоноемких технологий к менее емким — от металлургии человечество постепенно переходит к компьютерам, что действительно снижает потребление энергии. Но, во-первых, это процесс не быстрый, а, во-вторых, и металлургия и химия и другие энергоемкие отрасли на каком-то уровне в обозримой перспективе все равно сохранятся. Поэтому требование установления квот означает фактически коллапс экономической деятельности для многих стран мира.

Примерно за месяц до Копенгагенской встречи произошло довольно знаменательное событие. Неизвестные хакеры (а, возможно, и некие сотрудники), получившие доступ к архивам и базам данных Климатического центра в Университете Восточной Англии, выложили в открытый доступ десятилетнюю переписку между британскими климатологами и их партнерами в США, России и других странах мира, а также большое количество иной информации — базы климатических данных, программы, используемые для обработки этих баз данных, другие материалы, имеющие отношение к климатическим измерениям, к климатическим дискуссиям, публикациям.

Это колоссальная информация — на недели чтения. В десятилетней переписке первое письмо датировано 1998-м годом, последнее — октябрем

2009-го. Для иллюстрации: один профессиональный климатолог, оказавшийся одним из героев, обсуждаемых в опубликованной переписке, сказал, что для того, чтобы осилить примерно одну двадцатую часть выложенных материалов, ему потребовалось потратить весь уикенд — два дня с утра до ночи. Публикация этих материалов получила название Климатгейта.

Надо сказать, что Климатический центр университета Восточной Англии занимает особое место в климатологической науке. По сложившейся традиции и достигнутым соглашениям в этот центр передаются климатические данные со всех метеостанций земного шара. Там эти данные обрабатывают и получают итоговые данные глобальной температуры по отдельным регионам, полушариям и т. д. Аналогичную обработку климатических данных похожей степени подробности и детализации проводят еще в двух местах — в Годдаровском институте космического ведомства США (NASA) и в Национальном центре климатических данных США. Однако, повторяю, именно оценки Климатического центра университета Восточной Англии используются в качестве официальных при расчете глобальной температуре по территории суши.

Из обнародованной переписки выяснилось, что небольшая группа климатических алармистов между собой постоянно обсуждала несколько ключевых тем. Первая тема: «по нашим данным потепление не происходит». То есть публично они говорят: потепление происходит, ускоряется, оно страшное, ужасное, в результате планета сгорит, льды растают, океан поднимется, затопит всех, животные погибнут от засухи, кораллы умрут и т. п. Однако между собой обсуждают: «наши модели предсказывали в начале этого века потепление, а вот фактические данные этого не показывают. Значит, что-то неверно с собираемыми данными». В правильности своих моделей они, естественно, не сомневаются: вот только объективные данные потепления не подтверждают, а в остальном все правильно.

В переписке попадаются выражения типа: «я только что придумал трюк, чтобы скрыть снижение температуры», «это факт, что мы не можем объяснить отсутствие потепления в настоящий момент» и т. п. Между тем мировое климатологическое сообщество давно подозревало, что алармисты занимаются манипуляциями с климатическими данными. Поэтому многие ученые неоднократно запрашивали исходные данные в этом Центре. Однако на все запросы ответ был один: не дадим! В опубликованной переписке попытка скрыть информацию тоже обсуждается. Там встречаются такие фразы, как: «Этот человек критически к нам относится, поэтому я никогда не дам ему проверять наши измерения, лучше я их вообще уничтожу». А в Англии, надо заметить, в отличие от многих других стран и, в частности, от России, существует так называемый Freedom of Information Act — законодательный акт, согласно которому данные, полученные за государственные деньги и в результате работы, проводившейся в государственном учреждении, не могут быть скрыты от общественности, если поступил соответствующий запрос. И вот участники этой группы обсуждают: не дай Бог пославший запрос канадец узнает, что в Англии есть Freedom of Information Act, и тогда нам придется открывать запрошенные им на этом основании данные.

Или еще один сюжет в переписке: «Появились две статьи, в которых высказывается сомнение в качестве произведенной нами работы по измерению температуры в Сибири. Надо сделать все возможное, чтобы эти статьи не были опубликованы в научном журнале». Далее мы узнаем, что эти статьи не были опубликованы. Потом они пишут: «И вообще в этих журналах говорится бог знает что. В них редакторы публикуют мнения наших оппонентов! Надо сделать все возможное, чтобы эти редакторы были уволены», — и обсуждается, каким образом можно уволить этих редакторов. И действительно, как знаем, они были уволены. И таких историй там множество.

При этом следует заметить, что те хакеры (или те оставшиеся в тени сотрудники), выложившие эту переписку в интернет, поступили достаточно аккуратно: так, например, в опубликованной переписке четко указаны имена участников переписки, однако адреса их электронной почты, поскольку это приватная информация, закрыты крестиками. Среди всей массы документов нет ни одного частного письма, нет ни одного личного документа. Это поразительно — люди пользуются в том числе и служебным адресом электронной почты, чтобы сообщать друг другу какую-то приватную информацию: напомнить, что надо купить подарок, или забрать ребенка из детского сада, или поздравить коллегу с днем рождения и т. п. Так вот, вся подобная информация тщательно убрана, и ничего, касающегося неклиматических вещей, там нет. То есть кто-то до того момента, как выложить переписку на публичный обзор, проделал титаническую работу. Ведь для того, чтобы провести такую селекцию, нужно было скрупулезно работать в течение недель, если не месяцев.

Массив данных первоначально был выложен на одном из серверов Томского университета. Этот факт послужил поводом для некоторых обозревателей обвинить в утечке информации либо российских хакеров, либо даже, возможно, ФСБ. На мой взгляд, обе версии выглядят маловероятными. Российские власти не входили и по-прежнему не входят в число активных участников климатических споров ни с одной из сторон. ФСБ вряд ли могла провести такую работу, потому что, очевидно, не получала такого приказа от российского руководства: оба члена тандема, могущие отдать такие приказы, являются осторожными сторонниками Киотского протокола и международного регулирования. Есть сомнения и в том, что ФСБ технически могла бы провести такую операцию.

Я увидел информацию о выложенной переписке 20 ноября. Честно говоря, она сразу произвела впечатление. Дело в том, что до этого было немало подозрений и обвинений в адрес алармистов — более или менее обоснованных, но фактов было немного. А тут пошли факты. И пошли они весьма густым потоком. Поначалу даже возникли вопросы: реальные ли это данные или же фальсификация? Когда же и некоторые участники скандала признали, что это их письма, сомнения закончились.

— Вы сказали, что в этой переписке речь, в частности, шла о Вашем вашингтонском коллеге.

— Действительно, он оказался одним из часто упоминаемых персонажей с приговорками типа: «Я бы его избил». Такой сугубо научный текст идет, мол, вот здесь такие станции, вот такие данные, такие тренды, а между

ними: «А вот этому гражданину я бы взял и настучал по физиономии». Так и написано на хорошем британском английском языке.

Дело в том, что этот человек, Пэт Майклс, мой коллега по Институту Катона, — человек весьма известный. Он — автор очень популярных научных книг (не путать с научно-популярными). Его книга «Climate of Extremes» продана тиражом более двадцати тысяч экземпляров, что для работы на специальную тему немало. Неудивительно, что алармисты, мягко говоря, не очень его любят и за его позицию, и за его очень аргументированные выступления в прессе и во время дискуссий. В указанной переписке они, в частности, обсуждают, как организовать против него своего рода спецоперацию для того, чтобы попробовать лишить его степени доктора наук и места в университете. И вот идет подробный разговор, детально описывается, какие шаги надо предпринять, чтобы попробовать отобрать у человека степень доктора наук!

Это только лишь одна из многих подобных историй. А их там немало. Чего стоит, например, так называемый «трюк Манна», примененный для ликвидации в науке понятий «средневековый климатический оптимум» и «малый ледниковый период» XVII века! Оба явления описаны в тысячах научных работ, отражены в сотнях и тысячах документов, в названиях улиц в Лондоне, в свидетельствах летописцев, в произведениях живописи. А вот в статьях климатических алармистов эти понятия попытались ликвидировать! Развернувшийся накануне Копенгагена Климатгейт, конечно, добавил, я бы сказал, «теплоты» в международную встречу.

Раз речь пошла о «теплоте», то недьзя обойти молчанием так называемый *эффект Гора*. Следует заметить, что вице-президент США Альберт Гор — один из самых известных пропагандистов этой теории: он много ездит по миру с рассказами об опасности глобального потепления. (Он, естественно, летает на самолетах, ездит на автомобилях, в результате чего, естественно, происходит эмиссия углекислого газа. Кроме того, поместье Гора в штате Теннеси производит эмиссию примерно в десять раз бóльшую, — а любители климата не поленились подсчитать это, — чем обычный дом достаточно состоятельного американца из среднего класса. В отличие от производимой г-ном Гором агитации в его колоссальной усадьбе не были замечены устройства, за распространение которых он так ратует: там нет солнечных панелей, ветровых двигателей и т. д.) Так вот, обнаружилась любопытная «закономерность»: всякий раз, когда Гор выступает об опасности глобального потепления, в этот же день, в этом месте обязательно происходит какой-нибудь погодный катаклизм: резко снижается температура воздуха, происходит небывалый снегопад, начинается гололед, выпадает град, город заваливает сугробами и так далее. И что интересно, ни разу во время таких выступлений не случалось погодного катаклизма с потеплением, почему-то всегда только с похолоданием. Люди стали обращать внимание на это явление с 2004 года, с этого года, стало быть, и ведутся инструментальные измерения «эффекта Гора». Накопились описания более двух дюжин сообщений такого рода. Все, естественно, понимают, что никакой науки в этом нет и в принципе быть не может, однако факт налицо — с завидной регулярностью наступает погодное похолодание. Копенгагенская встреча не стала исключением: на Да-

нию, территория которой находится в умеренном атлантическом климате и где начало декабря обычно достаточно теплое, с приездом Гора навалились небывалые холода и выпал снег. Тысячи манифестантов, приехавшие из разных стран, замерзая на ветру, выстукивали сведенными от холода зубами, что не допустят глобального потепления.

По итогам Копенгагенского саммита, вполне бессмысленного мероприятия, его участниками был выпущен документ размером на страничку, в котором ключевая фраза звучит следующим образом: «Принять к сведению». На языке международной дипломатии, пожалуй, нет более слабой формулировки. Это не договор, не соглашение, это даже не коммюнике.

— А кто особенно против был? Китай?

— И Китай, конечно, и развивающиеся страны. В Копенгаген специально бросился Обама, изменив свои первоначальные планы и в качестве последнего жеста пообещав сто миллиардов долларов, чтобы купить лояльность развивающихся стран. Тем не менее никакого нового соглашения заключено не было. Понятно, что это не означает, что не будет новых попыток его заключения в дальнейшем. Но пока это не удалось сделать.

— Хорошо, с этим более-менее понятно. Но Вы говорили еще и о «малых» климатгейтах, о Климатической доктрине...

Надо пояснить, что г-н Медведев некоторое время в климатологических танцах не участвовал. Однако в октябре 2009 года он внезапно почувствовал себя климатическим алармистом и стал везде говорить о необходимости сокращения эмиссии, о том, что примет участие в Копенгагенской конференции и т. д. За два дня до отъезда в Копенгаген он выступил в своем блоге с видеообращением о необходимости бороться с климатическими изменениями. Вот что любопытно: в тот же день на Москву обрушилось беспрецедентное похолодание, и в течение недели, пока Медведев участвовал в Копенгагенском форуме, Москву сильно морозило. Только тогда, когда это безобразие закончилось, мороз стал немножко отпускать. Поэтому погодное явление, ранее именовавшееся «эффектом Гора», видимо, теперь имеет смысл называть «эффектом Гора-Медведева».

В том же видеобращении г-н Медведев с немалым пафосом сообщил, что подписал Климатическую доктрину. Российские климатические алармисты тут же воскликнули: ну, наконец-то! К несчастью своему, мне приходится читать некоторые документы, принимаемые властью. Э*тот* документ уникален — это апофеоз абсурда. За восемнадцать лет существования новой России ее власти издавали разные документы — бывали более умные и менее умные, более сильные и более слабые, более лоббистские и даже очень лоббистские. Однако, кажется, еще не было документа, сравнимого с этим по степени абсурдности.

Читать такой документ — это мучение для любого человека. Но все же я рекомендовал бы его чтение представителям двух специальностей. Во-первых, лингвистам в качестве примера того, как с помощью русского языка можно создавать шедевры абсурда. И, во-вторых, психиатрам — для исследования состояния здоровья его авторов. Здоровому человеку длительное общение с таким документом противопоказано. Стоит только вдуматься: что означает это словосочетание «*климатическая доктрина*»? Доктри-

на — это правовая система, свод руководящих принципов, нормативов действий и самих действий государства в какой-то сфере, по какому-то поводу. Как можно принимать систему мер по отношению к сфере, независимой от человека, на которую человек не имеет сколько-нибудь значительного воздействия?! Тогда России вслед за Климатической доктриной надо принимать Астрономическую доктрину, Физическую доктрину, Химическую доктрину, Математическую доктрину...

— Да, но ведь исходная предпосылка такова, что в климатических изменениях повинен именно человек, антропогенный фактор.

— Все в мире взаимосвязано и взаимозависимо. Если все человечество одновременно подпрыгнет, это, наверное, может повлиять на орбиту движения планеты на какие-то миллионные доли секунды. Однако вероятность этого события не кажется слишком высокой. Может ли человечество повлиять на действие закона всемирного тяготения? На закон Бойля-Мариотта? На законы арифметики?.. Примерно такова же сила воздействия человека на климат. Так что принятие такого рода документов выдает некоторое не совсем адекватное представление отдельных людей о собственных возможностях.

— Надо ли понимать сказанное в том смысле, что Вы совсем отрицаете серьезность воздействия антропогенного фактора на климатические условия? Или Вы согласны с тем, что какое-то воздействие все-таки есть и задуматься об этом стоит?

— Мои представления о климате базируются на многолетних исследованиях климатических вопросов, проведенных лучшими российскими и зарубежными климатологами. Они сводятся к следующим основным позициям: а) климат Земли менялся всегда, меняется сейчас и будет меняться впредь; б) масштабы изменения климата планеты, наблюдаемого последние тридцать лет, его скорость, его пики, его длительность многократно уступают параметрам изменения климата, наблюдавшимся в истории планеты, в том числе и в недавней ее истории, когда уже существовало человечество, в том числе и на его цивилизационной стадии развития.

— Но никогда еще технический прогресс не был так развит...

— Тем более он не достигал такого уровня развития во времена потепления эпохи голоцена (9000 – 5000 лет до н. э.), когда температура планеты была на три градуса выше, чем сейчас. Таких периодов потеплений, называемых климатическими оптимумами, в истории Земли и в истории человечества хватало. Известен климатический оптимум античности, во время которого на юге Англии возделывался виноград. Известен климатический оптимум Средневековья — экономического подъема Европы, способствовавший крестовым походам и массовому строительства каменных соборов в Европе.

Есть ли воздействие человека на климат? Разумеется, есть. Каналов его воздействия немало. Например, человек прокладывает дороги и асфальтирует их. Есть ли воздействие на климат? — Конечно, есть. Меняется альбедо — отражающая способность земли, и локальный климат в этом месте немного меняется. Человек вырубает лес? — Конечно, есть эффект. Строит дома? — Конечно. Распахивает землю? — Конечно. Разводит крупный рогатый скот? — Конечно. Строит дамбы, запруживает реки, осушает боло-

та? — Конечно, во всех этих случаях есть небольшое воздействие человека на локальный климат.

Другой вопрос: оказывает ли воздействие на глобальный климат углекислый газ? По этому поводу существует интенсивная научная дискуссия. Есть ученые, считающие, что оказывает. Есть исследователи, считающие, что оказывает, но незначительное. Наконец, есть и специалисты, кто считает, что не оказывает. Я стараюсь не участвовать в этих спорах. Но я анализирую статистику. Например, есть статистический ряд «Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере» и статистический ряд «Изменения температуры». Есть ли между ними корреляция? Ответ: очень слабая.

В самом деле, самые высокие темпы экономического роста в мире наблюдались с конца Второй мировой войны до середины 1970-х годов. Тогда в Европе, в Штатах, в Японии многократно возросло использование углеводородов, приведшее к массовой эмиссии углекислого газа в атмосферу. К чему это должно было привести? По всем алармистским климатическим моделям должно было произойти повышение температуры воздуха, потепление. Что произошло на самом деле? Похолодание. В мире похолодало на две десятых градуса. Как объясняет этот факт теория антропогенного воздействия на климат? Никак. Не может объяснить.

Затем в течение двадцати лет линии обоих графиков — и углекислого газа и температуры — идут параллельными курсами. Казалось бы, подтверждение алармистской теории. Но вот наступает последнее десятилетие. Экономический рост продолжается, увеличивается потребление углеводородов, продолжается эмиссия и увеличивается концентрация углекислого газа, но: температура больше не растет. Более того, она даже немного снижается — примерно на десятую долю градуса. Как это явление объясняют алармисты? Никак. Они говорят теперь: наши модели, предсказывающие повышение температуры на 0,2 – 0,4 десятых градуса за десятилетие, правильные, а фактические данные, показывающие в это время легкое похолодание, — неправильные.

Боле того, в последнее время у человечества появилась дополнительная возможность проверки инструментальных данных. Если раньше существовали лишь данные метеостанций, то сегодня к ним добавились спутники, «прощупывающие» своими измерениями всю планету — и сушу и океаны. Спутники обрабатывают на несколько порядков больше информации с большей точностью, и они тоже показывают легкое похолодание за последние десять лет. Никакого продолжения потепления предыдущих десяти лет нет. Как это объяснить теорией антропогенного воздействия на климат? Никак.

Если причина повышения температуры была бы в углекислом газе, то тогда прежде всего должна была бы повышаться температура тропосферы на высоте примерно 10 км от поверхности Земли. По законам физики она должна была бы нагреваться больше, чем приповерхностный уровень атмосферы. Однако измерения показывают: у поверхности температура растет, а выше — нет. Но тот факт, что воздух нагревается у поверхности Земли, свидетельствует об эффекте солнечного излучения, об изменении светимости, а не о воздействии углекислого газа.

Конечно, есть немало различных теорий, и я не уверен, знает ли кто-то окончательный ответ о природе климатических изменений. Существует

огромная неопределенность, большое количество неясных, непонятных и до конца не изученных явлений. Вне всякого соимнения, это увлекательная тема, и, конечно же, ученые должны это исследовать. Но если в настоящее время нет не то что консенсуса, если нет даже более или менее единой теории, объясняющей климатические изменения, принимать какие бы то ни было решения, тем более такие дорогостоящие, как Киотский протокол, было бы не просто бессмысленно, но и опасно.

— ***Значит, знаменитые озоновые дыры — это чушь?***

— Это отдельная интересная тема, в общем, как оказалось, также испытывавшая воздействие фальсификаций. Тогда, кстати, было принято решение по запрещению использования промышленных фреонов, — решение также очень дорогое, но все же несопоставимое по дороговизне с нынешней ситуацией. Позже выяснилось, что судя по всему никакого воздействия на озоновые дыры фреоны не оказывают.

Возможно, Вы помните, двадцать — тридцать лет назад в нашей стране была большая дискуссия по поводу причин снижения уровня Каспийского моря. В течение лет сорока уровень Каспийского моря снижался — и снижался весьма существенно. В то время основная теория объясняла это разбором воды Волги из водохранилищ, построенных в годы СССР. Поэтому предложенный вариант решения рекомендовал для восстановления уровня Каспийского моря перебросить сток северных рек в бассейны рек Волги и Урала. Помните, какие битвы были по этому поводу? В конце концов Минводхоз СССР почти сломал сопротивление своих противников и в середине 80-х годов даже приступил к подготовке проектных работ: собирались-таки поворачивать северные реки. Но тут случилась *перестройка*, которая много чего изменила, не допустив, в частности, и этот процесс. Как известно, в 1990-х годах СССР рухнул, Минводхоза больше нет, правда, плотины все так же стоят. Уровень же Каспийского моря вдруг пошел наверх и за последние годы поднялся более чем на два метра, успев затопить те территории, где уже построили дома... И сейчас главная проблема на берегах Каспия — это уже не снижение его уровня, а его повышение и затопление территорий.

Какое отношение к колебаниям уровня Каспийского моря имеет человек? Похоже, никакого. Последние исследования показали, что упомянутые колебания уровня Каспийского моря являются циклическими, имеют период в тридцать-пятьдесят лет, и что наиболее устойчивая корреляция у них наблюдается с климатическими явлениями в Южной Пасифике. Кто бы мог подумать, что законы, управляющие изменениями в Каспийском море и в Тихом Океане, одни и те же? И уж, конечно, никому бы это в голову не пришло двадцать лет тому назад, когда планировалась переброска северных рек... А через два десятилетия не исключено, что ученые уточнят и эту версию. А мы должны каждые двадцать лет поворачивать сток рек или же то ограничивать эмиссиию углекислого газа, то его стимулировать?

— ***А что же все-таки с «малыми» климатгейтами?***

— Этот сюжет развивался следующим образом. Обнародование скандальной переписки спровоцировало дополнительный мощный поток критики всего того, что делают климатологи университета Восточной Англии. Под воздействием этой критики они вынуждены были выложить в пуб-

личное пространство часть базы данных, которыми они пользовались для измерения и вычисления глобальной температуры. Из базы данных в примерно пяти тысячах метеостанций по всему миру они выложили температурные ряды по примерно полутора тысячам станций. И сообщили, что остальные выложат тогда, когда получат разрешение от национальных метеослужб.

Институт экономического анализа проанализировал эти данные и произвел альтернативный расчет температуры по территории России. Получился доклад под названием «Как делается потепление. Случай России».

15 декабря мы его обнародовали на сайте Института, и с этого началась наша новая жизнь. Дело в том, что сотрудники ИЭА, возглавляемые ее директором Натальей Александровной Пивоваровой, на серии убедительных графиков и таблиц продемонстрировали удивительные явления. Они показали, как искажаются данные, находящиеся в этой базе, как искусно подбираются метеостанции, какие ошибки есть в методологии.

Вот, например, есть метеостанция «Сортавала» в Карелии. В общественном доступе имеется ряд температур с этой станции за период с конца XIX-го до начала XXI века. А вот в базе данных университета Восточной Англии середины этого ряда нет: есть только начало и конец. А почему же нет середины? Возможно, потому что температура колеблется по десятилетиям, и как раз в середине XX века, с 1910-х по 1940-е годы происходило значительное потепление, по масштабам похожее на то, что наблюдалось в конце XX века. Климат цикличен, в XX веке были две волны потепления: первая — с 1910-го по 1945-й год, вторая — примерно с 1975-го по 1998-й. Две волны потепления по двадцать пять — тридцать пять лет. Так вот, данные, показывающие потепление 1920-х — 1940-х годов из базы изъяты: этих данных нет, там пусто.

— ***А какой в этом смысл?***

— Дело в том, что если провести линию тренда по всему полному ряду — с данными без пропусков, то линию тренда будет слабо положительной, т. е. потепление будет. Но оно будет слабым. Если же данные 1910-1945 годов убрать, то линия тренда заметно полнимется вверх и, следовательно, потепление будет казаться более сильным.

Другой пример. Есть такая метеостанция «Ставрополь», работающая почти без перерывов с середины XIX века. В базе же данных университета Восточной Англии содержится очень «убедительный» ряд данных по этой станции — с 1855 по 1875 год, — и это все! При этом станция «Ставрополь» включена в список станций, по которым британские климатологи сообщают, что они измеряют изменения температуры в XX и начале XXI века. Каким образом по данным 20-летия в середине XIX века можно измерять температуру в XX веке, остается загадкой. Таких примеров фактически фальсификации данных, увы, можно привести немало.

Фальсификации связаны также с созданием нерепрезентативной выборки. Для того, чтобы полученная выборка была репрезентативной, необходимо, чтобы результаты, полученные по данным выборки, совпадали бы с результатами по данным всей совокупности. Это базовое требование научного исследования. Однако если производится то, что на научном жаргоне

называется «сбор вишенок» («cherry picking»), или же массаж данных, то с помощью искусственного подбора данных можно получить фактически любые результаты: хочешь — потепление, хочешь — похолодание.

Значительная часть доклада ИЭА была посвящена тому, как, используя до десятка специальных процедур, метеостанции были подобраны таким образом, чтобы показать максимальное потепление. Поскольку это делалось систематически, то в результате всех этих манипуляций результаты повышения температуры по территории России за последнее столетие оказались завышенными примерно наполовину.

Подобный же анализ климатических данных стали осуществлять специалисты и в других странах мира. В частности, сейчас идет большая дискуссия о том, как массажировались и фальсифицировались данные по Австралии, по Новой Зеландии, по Антарктиде, по США. То есть там, где есть хорошие статистические данные и где есть люди, заинтересованные в их проверке, там эти сведения проверяются. И везде обнаруживаются аналогичные проблемы с аналогичными примерно результатами. Что же происходит с данными по Африке, Латинской Америке, Азии, по океанам, по сути дела никто не знает.

Если подобная работа будет проведена по всем метеостанциям, и если выяснится, что и по другим странам получаются похожие результаты, и если выяснится, что глобальная температура завышена, то тогда разрушается главное и фактически единственное сколько-нибудь серьезное основание, на котором зиждется вся эта теория глобального потепления за счет антропогенной эмиссии углекислого газа. Тогда речь будет идти даже не об экономической нецелесообразности киотских протоколов. Тогда выяснится, что проблемы самого потепления нет.

— Вы сказали, что когда опубликовали этот доклад, началась новая жизнь. Какая же была реакция?

— В России эту информацию практически никто не заметил. О докладе написали две газеты: «КоммерсантЪ» и «Газета». Правда, основные ее тезисы в сокращенном виде попали в ежедневный обзор РИА «Новости» на английском языке. И вот тогда началось. Как только текст оказался переведен на английский язык и попал в международные каналы распространения информации, разорвалась информационная бомба. В последующие 48 часов было порядка 150-ти публикаций в мире, посвященных докладу ИЭА. Многие из репортажей начинались словами: «Русские взорвали бомбу». Конечно, помог и факт работы Копенгагенского саммита.

Последствия этой истории могут оказаться в чем-то даже более серьезными, чем первоначальный Климатгейт. Все-таки обнародованная переписка допускает какие-то толкования, на чем и немедленно стали настаивать авторы опубликованных писем, отвечавшие их критикам: «ну знаете, тут неудачная фраза», «тут слово употреблено совсем в другом значении», «в общем, вы нас не так поняли». Но доклад ИЭА посвящен уже не толкованиям, он посвящен фактическим цифрам, и потому он выбивает фундамент под всей кампанией «антропогенного глобального потепления».

Показательна реакция британской метеорологической службы, вплотную работающей с Университетом Восточной Англии. На первый Климат-

гейт они отреагировали раздраженным возмущением: «у нас украли переписку», «мы не собираемся ничего обсуждать», «мы начали полицейское расследование, этих хакеров найдут, и они будут наказаны». Однако на доклад нашего института комментарий был другой. Британская метеослужба сделала заявление следующего содержания: «Первое. Метеостанции подбирали не мы. Метеостанции подбирала Всемирная метеорологическая организация. Второе. Да, мы признаем: мы действительно выбрали не все станции из имеющихся. Но если мы выбрали бы все станции, то потепление оказалось бы еще большим».

Иными словами, Британская метеослужба фактически публично призналась в том, что она фальсифицировала расчеты глобальной температуры. В данном случае даже неважно, в какую именно сторону, с их точки зрения, произошло искажение температуры — в меньшую или в бóльшую. Важно то, что британская метеослужба публично заявила: у нас была вся база данных, мы работали с ней, но мы сделали нашу собственную выборку, которая, — мы это подтверждаем, — является нерепрезентативной. Мы взяли данные, полученные по нерепрезентативной выборке, и объявили их репрезентативными. Вот такое заявление.

Поскольку публикация доклада оказалась заметным событием, то началось уже совсем невообразимое... Были мобилизованы ресурсы алармистов по всему миру и, в частности, в России. Кинулись выяснять, что это за Институт экономического анализа такой? Нам пришлось прочесть о себе немало интересного. Что ИЭА — это центр, созданный Путиным. Что это секретная организация, покровительствуемая российским ФСБ и созданная для подрыва усилий мирового сообщества по борьбе с глобальным потеплением. В британской «Daily Mail» вышла статья, где было сказано: «Институт, финансируемый Путиным и нефтегазовым лобби диктаторских режимов, занимается подрывом усилий международного сообщества по спасению климата». Путин, Экссон, нефтяные компании — все, оказывается, поучаствовали в создании и финансировании ИЭА.

Российские представители международной команды алармистов тоже бросились на этот доклад, пытаясь разорвать его на кусочки и найти там хоть что-нибудь, чтобы опровергнуть или дискредитировать, показать, что он методологически сделан неправильно.

В свою очередь Совет-семинар Российской академии наук по вопросам климатических изменений заслушал доклад ИЭА на своем заседании 28 декабря. Обсуждение шло несколько часов. В целом работа оценена высоко. Есть, естественно, и рекомендации по дальнейшей его доработке. Это означает, что сейчас мы выходим на иной уровень обсуждения климатических проблем, чем тот, что был всего лишь месяц тому назад. Никаких прогнозов давать не буду, но думаю, что Климатгейт — это одно из крупнейших событий уходящего года. Очевидно, эта история не исчезнет и в наступающем году.

Беседу вели Игорь Виноградов, Ирина Дугина и Евгений Ермолин

Андреас УМЛАНД

«ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» КАК ПОСТСОВЕТСКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ

Демократический прорыв в Украине, реставрационный импульс в России

В дни пятой годовщины «оранжевой революции» наивными могут показаться попытки положительно оценить те знаменательные события, что происходили в Киеве осенью-зимой 2004/2005: типичное для классических революций постреволюционное разочарование было глубоким и в посторанжевой Украине. Как в политическом, так и в экономическом и социальном отношениях бывший оранжевый лагерь находится сегодня перед грудой обломков. Вследствие непрекращающихся и все более странных политических распрей последних лет Союз блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина» с Социалистической и другими прозападными партиями разрушен, а вместе с ним и доверие широких слоев населения к оранжевым политикам и их организациям.

Украина принадлежит к числу стран, в 2008 — 2009 годах сильнее других пострадавших в результате мирового финансового кризиса. Государство неплатежеспособно в принципе и на плаву держится благодаря западным кредитам. Вернулись считавшаяся уже преодоленной высокая инфляция и ее серьезные социальные последствия. А ввиду энергозависимости Украины от России очевидно, что такое положение вещей ставит под вопрос общественную стабильность, территориальную целостность и внешнеполитическую ориентацию страны. Да, надо признать, «Оранжевая революция» не сдержала многих своих обещаний: до сих пор не наказаны ни те люди (хорошо известные), кто сфальсифицировал результаты первых двух туров президентских выборов 2004 года, ни заказчики убий-

Андреас УМЛАНД — родился в 1967 г. в Йене (Тюрингия). Магистр политических и кандидат исторических наук, работал в Стэнфордском, Гарвардском, Уральском и Оксфордском университетах, Уральской юридической и Киево-Могилянской академиях; редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» (www.ibidem-verlag.de/spps.html); соиздатель «Форума новейшей восточноевропейской истории и культуры» (www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forumruss.html) и двухнедельного англоязычного «Бюллетеня русского национализма» (groups.yahoo.com/group/russian_nationalism/); член Российской ассоциации политической науки. С 2005 г. преподает в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Живет в Айхштатте, Германия.

ства журналиста Георгия Гонгадзе; коррупция, как и в период правления Кучмы, встречается на каждом шагу... Этот список можно продолжать и продолжать.

«Оранжевая революция» в постсоветском контексте

И тем не менее «оранжевая революция» до сих пор остается поворотным пунктом как новейшей украинской истории, так и политического развития на постсоветском пространстве в целом. Особенно отчетливо это постигается в сравнении. Дело в том, что страны-преемники СССР (за исключением прибалтийских республик) вплоть до 2004 года развивались во многих отношениях параллельно: в большинстве бывших советских республик после более или менее значительных шагов в сторону демократизации и либерализации в начале 90-х уже к концу столетия начали проявляться реставрационные тенденции[1]. Такой вывод можно сделать, изучая ежегодные рейтинги качества электоральных процессов и независимости ведущих СМИ, а также результаты вычисляемого агентством Freedom House суммарного *балла демократичности* этих стран[2]. Согласно этим индексам, за прошедшие десять лет как в кавказских и центрально-азиатских, так и в восточнославянских бывших советских республиках, хотя и с различной скоростью, набирает силу иногда непрерывный, иногда флуктуирующий, но все же явно антидемократический тренд.

И только Украина, с 2004 года делающая значительные шаги в направлении демократизации, выпадает из общей постсоветской тенденции. Да, конечно, события, подобные украинской «оранжевой революции», происходили на территории бывшего СССР как до, так и после 2004 года: прежде всего это «революция Роз» 2003 года в Грузии и «революция Тюльпанов» 2005 года в Кыргызстане. Однако возврат этих наций к демократическим начинаниям ранних 90-х оказался мнимым, и надежды на то, что выступления такого рода могут перерасти во всеобщую антиавторитарную волну на всем постсоветском пространстве, не оправдались. Изначально многообещающие проекты политических реформ, начатые в ходе «цветных революций», в конечном итоге значительно меньше, нежели ожидалось, изменили структуру политических процессов Грузии и Кыргызстана, которые, как и прежде, находятся под более или менее сильным контролем исполнительной власти, т. е. своих президентов и их администраций. Изменилась в основном композиция управляющего персонала и кое-что в имидже правящих кругов, в то время как фундаментальные механизмы получения, сохранения и применения политической власти изменились мало. И киргизское восстание (впрочем, оно в особенности), и отчасти электоральный протест в Грузии сегодня, в конце 2009 года, воспринимаются скорее как частичная смена элит, как переименование способов легализации власти, нежели как начало подлинного перехода к хотя бы *протодемократии*.

---

[1] См.: *Умланд А.* Электоральный авторитаризм на постсоветском пространстве // Сравнительное конституционное обозрение. 2008, № 1.

[2] Freedom House (Ed.): Nations in Transit 2009. Washington, 2009. Табл. 1, 2, 4.

В Украине, напротив, изменение механизма политических процессов национального уровня после «оранжевой революции» было значимым, как выяснилось позднее, по крайней мере, в трех отношениях.

Демократическое наследие «оранжевой революции»

Во-первых, в масс-медиа, т. е. в сообществе журналистов и комментаторов, осенью 2004 наметился процесс существенной плюрализации и децентрализации. Конечно, ежедневные выпуски новостей и общественные дебаты в Украине и по сю пору содержат недостатки. Более того, как недавно жаловался главный редактор ведущего киевского еженедельника журнала «Корреспондент»[3], на украинском телевидении развились и новые патологии, до «оранжевой революции» отсутствовавшие. Увы, о киевских СМИ было бы еще рано говорить как о «четвертой власти» в украинском политическом процессе. Но то, что главные информационные каналы Украины независимы, т. е. свободны от государственной опеки, от прямого президентского или правительственного вмешательства, есть не что иное, как последствия радикально-демократического пафоса «оранжевой революции». Хотя, с другой стороны, верно и то, что в освободившихся после 2004 года от государственного контроля телерадиовещании и прессе произошли и негативные перемены, в частности, усилилось искажение информационного потока, а также произошла частичная депрофессионализация журналистской деятельности («политейнмент»[4]), в чем, безусловно, сказалось растущее влияние финансовых магнатов. И тем не менее в результате «оранжевой революции» украинский медийный ландшафт сделал важный шаг в направлении открытого общества, что не может остаться незамеченным на фоне совсем иного положения дел в СМИ большинства других бывших республик СССР.

Во-вторых, «оранжевая революция» представляла собой важный шаг в процессах самоопределения и общественного позиционирования «третьего сектора»[5] Украины. О качественном прыжке в развитии украинского гражданского общества говорит в своем исследовании Абель Полезе[6]. По его словам, начиная с 2004 года социальный капитал Украины изменился в том смысле, что сеть украинских неправительственных структур из скорее неформально существующего превратилась в официально ин-

---

[3] *Сыч В.* Битва карликов // «Корреспондент», 2009, 3 марта. http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/vitaliysych/a8448.

[4] Этим словом принято именовать индустрию политических развлечений, предполагающую снижение аналитичности, усиление сенсационности в выборе и изложении новостей и т. п. См. также: *Belyakov A.* The Influence of the «Censorship of Money» on Freedom of Speech in Ukraine // Critique. Vol. 27, 4/2009.

[5] Третий сектор — совокупность некоммерческих организаций, а также общественных инициатив («Инициpедия»).

[6] *Polese A.* Ukraine 2004. Informal Networks, Transformation of Social Capital and Coloured Revolutions // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 25, 2 — 3/2009.

тегрированного участника общественно-политических процессов Украины. С этой оценкой можно и не соглашаться, но не подлежит сомнению, что активное участие различных гражданских организаций в «оранжевой революции» повысило организационное самосознание, а также общественный вес всего украинского неправительственного сектора. Как и в отношении основных киевских СМИ, это значительное изменение в «третьем секторе» украинского общества кажется уже необратимым и, с точки зрения демократической теории, положительным результатом «оранжевой революции».

В-третьих, к достижениям «оранжевой революции», несомненно, можно отнести и институционализацию честных выборов. В настоящий момент формирование общественного мнения и политических партий, а также выборный процесс в Украине (по крайней мере, на национальном уровне) сопровождаются лишь незначительной манипуляцией со стороны исполнительной власти. Да, в этой стране, как и раньше, существует так называемый *административный ресурс*... Да, сильным остается и влияние некоторых «олигархов» на партийный ландшафт и парламентские фракции... Следует упомянуть также, что выборная система в Украине далеко не безупречна и, скорее, способствует росту политической коррупции. Тем не менее парламентские выборы 2006 и 2007 годов, а также предшествовавшие им предвыборные кампании важнейших политических сил Украины протекали относительно плюралистично, свободно, честно, без стоящих упоминания инцидентов. Эти выборы были одобрены наблюдательными миссиями Совета Европы и ОБСЕ. Кроме того в Украине сегодня отсутствует та широкомасштабная структуризация электорального пространства «сверху» (путем манипуляции организационных и информационных процессов со стороны правительственных пиарщиков и политических менеджеров), которую на протяжении последних лет можно все чаще наблюдать в России. Конечно, и в Украине последних лет перед выборами находили себе применение так называемые *политтехнологи* и их подозрительные стратегии[7]. Однако подобным манипуляциям здесь «не хватает» главного дирижера и, несмотря на зачастую сомнительный характер методов, применяемых участниками выборов, общая картина политического ландшафта Украины пестра. Что же до еженедельно транслируемого главными телеканалами страны словоизвержения конкурирующих политиков, оно приводит скорее к многоголосию, граничащему с какофонией.

Псевдореволюционный характер «оранжевой революции»

Итак, мы убедились, что, несмотря на все поздние разочарования и отклонения, «оранжевая революция» была значительным политическим событием. Но имеет ли смысл классифицировать это событие как «революцию»?

Да, конечно, несмотря на сегодняшние разочарования, часть целей, поставленных «революционерами» в 2004 году, действительно достигнута. Тем,

[7] См. об этом: *Wilson A.* Virtual Politics. Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven, 2005.

как уже говорилось, результаты «Майдана» и отличаются от «революций» «Роз» и «Тюльпанов». К тому же главные действующие лица киевских событий находились в психологическом состоянии, близком к тому, в котором пребывают участники настоящих революций.

И тем не менее успешное выступление оранжевого лагеря в поддержку свободы СМИ, гражданского общества и честных выборов представляло собой в конечном итоге «только» акцию за предоставление свобод, и без того уже прописанных в Конституции и законах Украины, т. е. за возврат тех прав, которые и так как будто бы завоеваны в действительной революции 1989 – 1991 годов. Тем самым «оранжевая революция» в определенном смысле требовала скорее возобновления, нежели обновления, и по своим результатам была скорее восстановительной, нежели оригинальной, а потому и определение событий «Майдана» как революции кажется преувеличением.

Скорее «оранжевую революцию» можно было бы назвать «контр-контрреволюцией», поскольку она предотвратила в Украине частичную реставрацию додемократического состояния или грядущее антидемократическое контрнаступление, подобные тем, что происходили у соседей. С помощью «оранжевой революции» украинцам, единственному из бывших народов СССР образца 1922 года, в ряде важных, если не решающих аспектов удалось противопоставить себя общей региональной тенденции.

Так что не «оранжевая революция» повлекла за собой коренное изменение одной из постсоветских политических систем. Напротив, в остальных постсоветских государствах, которые в начале 90-х запустили процессы демократизации и либерализации и изложили в своих конституциях соответствующие принципы, произошел процесс плавного политического преобразования — своего рода «негативная» трансформация. В некоторых случаях этот процесс может пониматься как частичная инволюция, или замаскированное возвращение к советским принципам. В других можно говорить о том, что позднесоветский посттоталитаризм, пережив кратковременный успех национал-либеральных тенденций, перешел в посткоммунистические скрытые или явные диктатуры. В случае же отдельных государств можно утверждать, что на смену первых шагов в сторону демократизации в начале 90-х пришел своеобразный реванш старых элит и постепенный возврат к централизации политической власти.

Посторанжевая Украина и путинская Россия в сравнении

В развитии двух крупнейших постсоветских государств, Российской Федерации и Украины, 2004 год выступает неким переломным пунктом. Согласно оценке Freedom House[8], момент «оранжевой революции» был политически значим не только для Украины. В 2004 году наибольшим было изменение *Балла демократичности* и российской политической системы, но только — с противоположным знаком. Изменения рейтинга наглядно демонстрируют, что две эти страны движутся в противоположном направлении.

[8] См.: Table 9. Democracy Score: Year-To-Year Summaries by Region // Freedom House (Ed.): Nations in Transit 2009. Washington, 2009.

Проведенный в 2005 году подсчет (рассматривается период с 1 января по 31 декабря 2004 года) в случае Украины[9] показывает разницу рейтинга по сравнению с предыдущим, 2003, годом в -0,38 балла. При этом знак «минус» обозначает прирост демократии, так что было бы уместнее назвать этот индикатор «Балл авторитаризма». Это наибольшее изменение рейтинга Украины с конца 1998 до конца 2008 года.

Что касается России, изменение *Балла демократичности* составило на протяжении 2004 года по сравнению с состоянием на 2003 год +0,36 — также наибольшее за десять лет. Но знак «плюс», стоящий перед показателями «Балла авторитаризма», отражает значительный спад демократии в России. Следует отметить и значительное изменение российского рейтинга в конце 2003 года: +0,29 балла по сравнению с концом 2002 года. Эти рейтинги Freedom House относились в первую очередь к поведению Путина и Ко в преддверии и во время парламентских и президентских выборов в 2003 – 2004 годах. Изменение рейтинга отразило рост пусть осторожных, но все более результативных ограничений политических прав российских граждан.

К началу первого периода путинского правления, несмотря на уже различимые авторитарные тенденции, еще существовала толковая научная и журналистская дискуссия о целях внешней и внутренней политики президента РФ, роли его нововведений для общества и значении его правления в контексте российской национальной истории[10]. В процессе регрессий 2003 – 2004 годов апологетическая интерпретация «путинизма» начала терять свою легитимность — по крайней мере со стороны демократической теории. С каждым последующим годом становилось все яснее, что путинская рецентрализация является не переходной и частичной мерой, а коренным преобразованием политической системы Российской так называемой Федерации[11].

Эти процессы детально изложены в академической и публицистической литературе. Менее интенсивно пока обсуждался вопрос о том, насколько и в каком отношении «оранжевая революция» повлияла на природу российских политических процессов. Ввиду того, что путинский режим вступил в новый период своего развития в первой половине 2005 года, т. е. непосредственно после успеха «оранжевой революции», напрашивается подозрение, что существует некое обратное влияние украинских событий на политику русского соседа. В конце 2004 года подошла к концу лишь рестриктивная (сдерживающая) фаза путинского обессмысливания демократических

---

[9] Корреспонденция с Робертом Орттунгом, репортером Freedom House по Российской Федерации.

[10] См., например, т. н. Дебаты о России (Russlanddebatte) в Германии между Александром Раром, Леонидом Люксом, Бернхардом Сутором, автором этой статьи и другими политологами и историками в электронных журналах «Eurasisches Magazin». 2008, № 11, 2009, 1 – 3 (http://www.eurasischesmagazin.de/) и «Zeithistorische Streitfragen». Лето 2009 (http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/streitfragen.html).

[11] «Федерацию... отличают, как минимум, возможность ее субъектов самостоятельно, без какого-либо вмешательства центральной власти образовывать (формировать) собственные органы государственной власти и наличие взаимного разграничения предметов ведения и полномочий» («Википедия»).

процедур. С 2005 года она постепенно переходит в стадию, обозначенную здесь как «паратоталитарная»[12]. Термин этот указывает не столько на восстановление советской практики управления, сколько на ту значимую модификацию, которую претерпели содержание и стиль регулирования политических процессов «политтехнологами» Кремля[13].

От классического к «паратоталитарному» неоавторитаризму

Меры, предпринимаемые Путиным и его подручными для разрушения демократических процессов, до 2004 года носили по большей части характер скорее репрессивный или реактивный. Во время своего первого президентского срока Путин «всего лишь» постепенно ограничивал возможность реально осуществлять основные политические права и все активнее препятствовал демократическим процессам. С 2005 года же его «политтехнологи» начинают креативно вмешиваться в общественный политический процесс. Верх берут мобилизующие элементы манипуляций общественного дискурса и политической активности, которые сложно измерить классическим инструментарием для определения демократичности того или иного режима.

После «оранжевой революции» путинское окружение пытается сформировать новую государственную идеологию, где предусматриваются единая партия и национальная церковь (причем нарушение соответствующих статей Конституции РФ скрывается чем дальше, тем меньше). Цель этих нововведений Путина — далекая, впрочем, от реального результата — сводится к тому, чтобы переформировать общество, а частично и человека постсоветской России. Этот замысел и вытекающие из него отдельные инициативы отдаленно напоминают импульс таких режимов, как сталинский СССР, коммунистический Китай или фашистская Италия, и их попытки провести культурную и антропологическую революцию[14].

Описанной тенденции путинского режима дано здесь определение «паратоталитарной», причем частичка «пара» подчеркивает иносказательный характер этого хотя и с завидным постоянством внедряемого, но пока что безуспешного тренда. С одной стороны, нельзя не признать наличие в Рос-

---

[12] Использование приставки «пара» в этом случае инспирировано употреблением Роджером Гриффином термина «парафашизм» для определенных авторитарных, только кажущихся фашистскими режимов. См. *Griffin R.* The Nature of Fascism. London, 1993.

[13] Эту конструкцию автор в первый раз использовал в статье: Расцвет русского ультранационализма и становление сообщества его исследователей // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Т. 6, 1/2009, http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forumruss.html. В сносках данной статьи находится также краткая критика методологии рейтингов Freedom House.

[14] Тот же Роджер Гриффин называет усилия такого рода *палингенетическими* (т. е. направленными на новорождение нации). См. на эту тему его работу «Палингенетическое политическое сообщество. Переосмысление легитимации тоталитарных режимов в межвоенной Европе» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Т. 4, 2/2007, http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forumruss.html.

сии после 2004 года новой, тревожащей тенденции. С другой, префикс «пара» указывает на то, что драматизировать российские правительственные меры было бы преждевременно, хотя подобная алармистская оценка и была представлена в начале 2009 года на страницах ведущего немецкого научного журнала «Восточная Европа»: видный американский политолог Александр Мотыль писал о возникновении «протофашистской», «фашизоидной» или даже «фашистской» политической системы в РФ[15].

Перечисленные ниже и классифицированные здесь как «паратоталитарные» меры, принимаемые Путиным и его подручными, известны и уже частично проанализированы. Путинские инновации последних лет представляют для нас интерес в том отношении, что по своему началу и характеру производят впечатление ответной реакции на «оранжевую революцию»[16]. Первый намек на особое раздражение, которое вызвали в Кремле украинские события, Владимир Путин выказал еще во время «оранжевой революции» — 6 декабря 2004 года, когда на пресс-конференции в Анкаре сделал одно из своих первых антизападных заявлений, полное выразительных метафор: «*Знаете, что меня особенно беспокоит применительно к ситуации, кото-*

---

[15] *Motyl A.* Russland – Volk, Staat und Führer. Elemente eines faschistischen Systems // Osteuropa. Vol. 59, 1/2009. Информативная критика этой статьи у: *Luks L.* Irreführende Parallelen. Das autoritäre Russland ist nicht faschistisch // Osteuropa. Vol. 59, 4/2009. Менее полезный ответ на статью Мотыля у: *Sindeev A.* Mythenbildung ohne Ende. Eine Replik auf Alexander Mothyl // Osteuropa. Vol. 59, 5/2009. Мотыль уже представил свой тезис ранее в прессе. Об этом: *Umland A.* Is Putin's Russia really «fascist»? A response to Alexander Motyl // Global Politician. 26.3.2008; *Умланд А.* Действительно ли Россия Путина – «фашистская»? Ответ Александру Мотылю // Агентство политических новостей. 2.4.2008; он же: Расцвет русского ультранационализма.

[16] О непосредственной реакции российского руководства на «оранжевую революцию» см.: *Kuzio T.* Russian Policy toward Ukraine during the Elections // Demokratizatsiya. Vol. 4/2005. *Petrov N., Ryabov A.* Russia's Role in the Orange Revolution // Anders Aslund, Michael McFaul (Eds.): Revolution in Orange. The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough. Washington, 2006; *Umland A.* Introduction to «Aspects of the Orange Revolution I-VI». Ukraine's Second Transition in the Russian Mirror // Paul D'Anieri/Taras Kuzio (Eds.): Aspects of the Orange Revolution I. Democratization and Elections in Post-Communist Ukraine. Stuttgart, 2007; *Khineyko I.* The View from Russia. Russian Press Coverage of the 2004 Presidential Elections in Ukraine // Bohdan Harasymiw/Oleh S. Ilnytzkyj (Eds.): Aspects of the Orange Revolution II.Information and Manipulation Strategies in the 2004 Ukrainian Presidential Elections. Stuttgart, 2007; *Wilson A.* Foreign Intervention in the 2004 Elections. «Political Technology» versus NGOs // Ingmar Bredies/Andreas Umland/Valentin Yakushik (Eds.): Aspects of the Orange Revolution III. The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections. Stuttgart, 2007; *Kempe I., Solonenko I.* Foreign Involvement and International Orientation in the Orange Revolution // Ingmar Bredies/Andreas Umland/Valentin Yakushik (Eds.): Aspects of the Orange Revolution IV. Foreign Assistance and Civic Action in the 2004 Presidential Elections. Stuttgart, 2007; The Commonwealth of Independent States // idem (Eds.): Aspects of the Orange Revolution V. Institutional Observation Reports on the 2004 Presidential Elections. Stuttgart, 2007; *Wilson J. L.* Coloured Revolutions. The View from Moscow and Bejing // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 25, 2-3/2009.

рая складывается на Украине? <...> Не хочу, чтобы, как в Германии, мы разделили Европу на восток и запад, на людей первой и второй категории, первого и второго сорта. Когда люди первого сорта имеют возможность жить по демократическим стабильным законам, а второму — людям с, образно говоря, темным политическим цветом кожи — добрый, но строгий дядя в пробковом шлеме будет указывать ту самую политическую целесообразность, по которой он должен жить. А если неблагодарный туземец будет возражать, то его накажут с помощью бомбовой, ракетной дубинки, как это было в Белграде»[17].

За этим выпадом в 2005 – 2008 годах последовали аналогичные риторические атаки на США (*«товарищ волк знает, кого кушать»*[18]), на Запад в целом, а также на прозападно ориентированных российских демократов, которых в своей предвыборной речи в конце 2007 года Путин охарактеризовал как государственных изменников, которые *«шакалят у иностранных посольств»*[19].

Инновации путинской централизации власти после 2004 года

Уже в феврале 2005 года, т. е. приблизительно через месяц после инаугурации Виктора Ющенко, в России было образовано печально известное Молодежное демократическое антифашистское движение «Наши», а также менее известный, но еще более агрессивный Евразийский союз молодежи, программа которого инспирирована идеями российского неофашистского интеллектуала Александра Дугина. В том же 2005 году сформировались еще две подобные организации — так называемое Движение молодых политических экологов Подмосковья «Местные» и Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» — официальное молодежное крыло «партии власти» под руководством Ивана Демидова, известного тележурналиста, относящего себя к последователям дугинского евразийства[20].

В мае 2005 года сотрудник президентской администрации и предположительный главный идеолог Путина Владислав Сурков в первый раз представил в Москве в полуофициальной речи генсовету объединения «Деловая Россия» свою хорошо известную теперь концепцию «суверенной демократии»[21]. По

---

[17] http://www.kremlin.ru/appears/2004/12/06/1409_type63380_80827.shtml.

[18] «Новые известия», 11.05.2006.

[19] *Umland A.* Russland vorm Abgrund? Putins Wahlkampfrede vom November 2007 als Gezeitenwechsel der postsowjetischen Politik // Russland-Analysen, 151/2007.

[20] См.: *Умланд А.* Приобретающий вес московский торговец влиянием // inoСМИ.ru. 24.3.2008.

[21] *Меликова Н.* Суверенитет важнее демократии. Обнародованы основные положения речи кремлевского идеолога // «Независимая газета», 13.7.2005. По этой концепции см. также: *Казанцев А.* «Суверенная демократия». Структура и социально-политические функции концепции, Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, Т. 4, 1/2007, http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forumruss.html; *Schulze P.W.* Souveräne Demokratie. Kampfbegriff oder Hilfskonstruktion für einen eigenständigen Entwicklungsweg? Die Ideologische Offensive des Vladislav Surkov // Russland heute; *Casula P., Perovic J.* Identities and Politics During the Putin Presidency. The Discursive Foundations of Russia's Stability. Stuttgart, 2009.

словам Томаса Амброзио, эту речь Суркова можно рассматривать как идеологический ответ на события 2003 года в Грузии и 2004-го в Украине. Упоминание Сурковым «оранжевой революции», по мнению Амброзио, «*указало на опасение Кремля, что крах авторитарных режимов в результате народных восстаний — с соответствующей помощью и/или под руководством Запада — может распространиться и дальше на территории постсоветского региона. <...> Беспокойство о том, что критика извне может привести к ослаблению российского руководства и тем самым к возможности внешнего контроля (над Россией. — А. У.), частично базировалось на* (российском. — *А. У.*) *восприятии западного вмешательства в оранжевую революцию. Идея, что Запад может попытаться повторить свои предыдущие успехи и в России посредством подрыва легитимности Кремля и разжигания народного восстания, нашла широкое распространение в российских политических кругах* (после украинской акции массового гражданского неповиновения. — *А. У.*)»[22].

Другими новшествами 2005 года, проиллюстрировавшими стремление к обновлению российского авторитарного режима в результате «оранжевой революции», были:

— учреждение так называемой Общественной Палаты РФ как центрального «приводного ремня» между полуавтономной интеллектуальной или культурной средой, с одной стороны, и государством, с другой,

— введение ксенофобского по своему содержанию национального праздника, Дня народного единства 4 ноября, а также

— создание двух дополнительных государственных пропагандистских телеканалов: православного кабельного канала «Спас» (с ранее упомянутым Иваном Демидовым в качестве главного редактора) и англоязычного «Russia Today».

В дальнейшем Кремль предпринял ряд мер, направленных на формирование искусственного гражданского общества и националистской массовой культуры, поддержал многочисленные русофильские и/или антизападные проекты художественного и документального кино, а также распространение учебников истории, оправдывающих сталинизм.

Своего рода апофеозом серии «паратоталитарных» мероприятий путинского режима после «оранжевой революции» стала предвыборная думская кампания осенью 2007 года, в ходе которой Путин был провозглашен «национальным лидером» и в итоге которой Россия снова стала государством с де факто однопартийной системой. В результате эскалации культа личности Путина, возглавившего список «Единой России» (не являясь ее членом), «партия власти» превратилась из всего лишь гегемониальной в теперь уже явно доминирующую политическую организацию законодательной ветви власти (правда, уже на тот момент не имеющей особого политического значения). При этом пара более или менее проправительственных или же политически безвредных партий служат декорацией для «партии влас-

[22] *Ambrosio T.* Authoritarian Backlash. Russian Resistance to Democratization in the Former Soviet Union. Farnham, 2009.

ти» в Госдуме и региональных парламентах. Их функция напоминает роль, которую выполняли восточно-немецкие «блоковые партии» (или «блок-флейты», как их называли в бывшей ГДР), знакомые Путину со времен его службы резидентом КГБ в Дрездене[23].

Среди последующих нововведений следует отметить основанный в январе 2008 года Институт демократии и сотрудничества под руководством радикально антизападных профессоров МГИМО Натальи Нарочницкой и Андраника Миграняна, а также созданную Президентом Дмитрием Медведевым в мае 2009 года Комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, ответственным секретарем которой стал упомянутый адепт Дугина Демидов.

Амбивалентное наследие «оранжевой революции»?

Если рассматривать события 2004 года в Украине как импульс для изменений в российской внутренней и внешней политике, общая сумма последствий «оранжевой революции» для постсоветского пространства может показаться неоднозначной, — а то и вовсе негативной. Девид Лейн, например, считает, что непреднамеренные последствия подобных народных восстаний слишком значительны для совокупности государств региона, поскольку влекут за собой лишь реактивное усиление существующих авторитарных режимов, так что попытки Запада поддерживать всякого рода цветные революции, по его мнению, контрпродуктивны. «*Находящиеся при власти правительства извлекают опыт из методов своих оппонентов и учатся у них использовать медийные технологии*, — пишет Лейн. — *Власти создают свои собственные молодежные и студенческие организации, определяют враждебных им визави... Следствием «цветных революций» стало препятствие развитию подлинно благотворительных, позитивных и неконфликтных форм гражданского общества, а также урезывание свободных прессы и телевизионных новостных программ <...> Власти предержащие сочиняют свои собственные контр-идеологии: они осуждают глобальную гегемонию Запада и пропагандируют сконструированные ими самими интерпретации суверенитета, демократии и гражданского общества*»[24].

Казалось бы, и в самом деле существует, как было проиллюстрировано выше, хотя бы частичная взаимосвязь украинских событий 2004 года и политических изменений в России с начала 2005 года. «Оранжевая револю-

---

[23] Удивительным образом партия-наследник КПСС — Коммунистическая партия Российской Федерации, является среди этих группировок наименее дружественной правительству организацией. Выступления коммунистов по социальным и экономическим вопросам в парламентских дебатах и СМИ создают в общественной политической полемике России некую видимость разногласий. Но при этом не следует упускать из виду, что и КПРФ полностью поддерживает руководство Кремля в ряде решающих (например, во многих внешнеполитических) вопросов будущего развития России.

[24] *Lane D.* «Coloured Revolution» as a Political Phenomenon // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 25, 2-3/2009.

ция» видимым образом послужила поводом для усиления антидемократических тенденций путинского режима, а также способствовала тому, что эти тенденции приобрели «паратоталитарные» черты. И поскольку западная поддержка народного протеста против фальсификации выборов была важным, если не необходимым условием успеха оранжевого лагеря, нельзя не задаться вопросом, была ли политика Запада относительно украинских событий 2004 года целесообразной.

И все же стоит усомниться, можно ли говорить в этом случае о полноценной причинно-следственной связи. Думается, фундаментальная причина растущей авторитарно-изоляционистской регрессии в Москве последних лет состоит скорее в особенностях биографий главных должностных лиц Кремля, патологиях политической массовой культуры РФ, деформации дискурса элит Москвы, наследии царского и советского имперского прошлого, дефектах российской институциональной структуры, образованной в 1991-м и частично обновленной в 1993 году и прочих проблематичных, с точки зрения теории демократии, характеристик постсоветской России[25].

Разумеется, то или иное внешнее воздействие, исходящее с Запада или из постсоветского пространства, могло ускорить или послужить катализатором развития определенных трендов в России, а также повлиять на выбор конкретного момента для этих инноваций и их специфического выражения. Но ввиду существовавшей в России уже с 2000 года (если не раньше) благоприятной почвы и для самих авторитарных тенденций, и для их постоянного роста вклад «оранжевой революции» в это развитие представляется вторичным. Скорее возможная консолидация молодой украинской демократии (хотя, судя по состоянию дел в сегодняшней Украине, это дело лишь неблизкого будущего) могла бы послужить примером для ближайших соседей, в особенности для России и Беларуси. С этой точки зрения, дальнейшая активная поддержка киевских усилий, направленнных на демократизацию страны, например, с помощью открытия Украине перспективы будущего членства в ЕС, и сегодня представляет собой самую многообещающую восточную стратегию для государств Запада.

---

[25] См.: *Люкс Л.* «Веймарская Россия?» – заметки об одном спорном понятии // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Т. 4, 2/2007, http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forumruss.html.

«КТО ПРИМЕТ ДИТЯ ВО ИМЯ МОЕ...»?

Интервью об «общем деле»: *либо мы будем спасать наших сирот, либо нас ждут социальные потрясения*

От редакции

В сегодняшней России немало тяжких проблем: нищета, демографическая ситуация, экономическая отсталость. Но, наверное, самая кровоточащая наша рана — сиротство. Вот лишь несколько цифр. Число детей в России сократилось за последние 15 лет на 11 миллионов человек. В то же самое время количество детей-сирот возрастало у нас на 15 – 20 тысяч человек в год и составило к 2007 году 750 тысяч. Примерно 200 тысяч из этих детей постоянно живут в различных детских учреждениях. Каждый год выявляется более 120 тысяч новых детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, примерно 200 тысяч детей, официально признанных «детьми-инвалидами», постоянно живут в специальных (коррекционных) школах-интернатах органов образования и в детских домах-интернатах (ДДИ) органов социальной защиты. Примерно 300 тысяч детей-инвалидов вообще не получают образования. Наиболее трагична судьба 29 тысяч детей-инвалидов — воспитанников социальных ДДИ, пребывание в которых сродни пожизненному заключению, поскольку те, кто дожил до совершеннолетия, помещаются во взрослые психоневрологические интернаты (ПНИ) уже навсегда.

Ежегодно от домашнего насилия гибнут по данным МВД 2500 детей, 2800 несовершеннолетних кончают с собой, причем основной причиной этих трагедий является насилие дома или в школе. Еще 15 – 20 тысяч подростков ежегодно оказывается за решеткой. Со времен ГУЛАГа Россия сохраняет мировое первенство по числу детей, находящихся в заключении.

Кажется, достаточно, чтобы остановиться и спросить: что может ожидать нас в ближайшем будущем, если эту тенденцию не остановить? Естественное желание глубже понять, что с нами происходит, поговорить обо всем этом с человеком, знающим проблему изнутри, и стало импульсом, породившим нижеследующее интервью.

Разговор с **Николаем Белоноговым**, одним из создателей и руководителей Центра Творческого Развития «стАРТ» в городе Яхрома, в котором отогревают и учат детей-сирот Московской области, мы попросили провести на эту острейшую тему нашей российской жизни постоянного автора нашего журнала **Владимира Можегова**.

Ниже мы предлагаем вниманию читателя текст этой беседы, которая началась с разговора о перипетиях повседневной работы Центра, но очень скоро перешла на обсуждение гораздо более широких проблем. По существу, **Николай Белоногов** развертывает здесь перед нами целый проект, охватывающий все пласты общества и позволяющий нащупать реальные пути действительно кардинального решения многих острых социальных проблем, обрушившихся на нашу страну.

I. «Нам просто дана небольшая отсрочка приговора»

— Николай, Вы говорите, что ребенок должен жить в семье, что само понятие «детдомовский ребенок» — вопиющее, противоестественное и что детских домов быть не должно в принципе. Но ведь и власть наша сегодня нечто подобное говорит. Обещает, что детских домов у нас скоро не останется. Вы в это верите?

— Очень непростой вопрос. В то, что на высшем уровне есть искреннее желание проблему решить, я верю. Но понимаете, мы ведь в России всегда живем благими намерениями, все время идем к светлому будущему, а настоящее, тем временем, становится все чудовищней. Все благие пожелания вязнут в колесах бюрократической машины.

— Система не желает меняться?

— Конечно. При том еще и дико сопротивляется. Президент, допустим, понимая катастрофичность ситуации, да еще и международное реноме страны, которое подобная ситуация создает, в голос призывает: давайте, наконец, решать проблему, перепрофилировать детские дома в «Центры по усыновлению» и т. д. В думских комитетах начинают с энтузиазмом строчить закон. И что же? Это длится бесконечно, и когда, наконец, после очередного рявканья сверху, закон готов, все изначальные предложения оказываются перевернуты в нем с ног на голову, перекрыты все выходы. Так случилось с законом о патронате, который практически патронат убил.

— Это, извините за исторические аллюзии, «глупость или измена»?

— Это система. И она отчаянно не желает меняться. На всех уровнях блокируют всякую инициативу — и снизу и сверху. В думских комитетах заседает системное лобби, а министерства и ведомства остаются при этом преспокойны и бесконтрольны: сами пишут себе законы, сами себя проверяют, сами перед собой отчитываются. И все остается замечательным, как всегда. Правда, детских домов в некоторых регионах уже катастрофически не хватает от наплыва все новых сирот.

— И что же, никакой надежды на изменения?

— Почему же? Жизнь — это движение. Отсутствие изменений есть констатация смерти. Изменения произойдут, так или иначе. Вопрос — каким путем? Либо система окончательно закостенеет и, как это у нас в России случается, будет взорвана изнутри, либо найдет в себе силы меняться эволюционным путем.

— А какие-то живые элементы внутри самой системы есть?

— Конечно. Только на живых элементах она и может держаться. Другое дело, что каждый ее живой элемент вынужден тащить на себя чудовищный костяк системы. Что такое хороший детский дом? Это, прежде всего, хороший директор — личность, человек на своем месте. И таких не так мало. Но им приходится работать скорее вопреки, преодолевая общий вектор системы личным, на самом деле, подвигом. Они тащат на себе всю систему как свой, прямо скажем, крест. И все тысячи бюрократов, которые их душат, на них же и едут. Но так, в сущности, было всегда, от начала века...

— То есть «магистральный вектор» системы не верен?

— Да. Человек как таковой, вот этот ребенок-сирота, ее совершенно не интересует. Ее интересует лишь собственное выживание. А дети — топливо,

на котором она работает. И знаете, что сегодня происходит? Выпускники детских домов, вот эти выросшие сироты, сегодня рожают своих детей и этих детей снова отправляют в ту же систему. Они ведь ничего другого не знают. Это для них единственная модель жизни. То есть система дошла до какой-то точки своего развития и начала воспроизводить сама себя! А ведь государство тратит на ее функционирование гигантские деньги, до 60 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. И огромному количеству чиновников выгодно, чтобы она работала. И это только верхушка айсберга. Только самый яркий симптом, тревожная кнопка...

— ***А что же в глубине?***

— Понимаете, тут все настолько символично, это же наша история... Система детдомов ровесница советского государства. Первые ее насельники — те самые беспризорники, дети еще Первой мировой. Потом сюда влились дети гражданской войны, следом — дети «врагов народа». Система росла вместе со страной, отражая все этапы, всю без прикрас ее правду. Это такое ясное зеркало того, что мы сотворили со своей страной... И вот результаты: всего 10% выпускников системы детдомов-интернатов более-менее социализируются, остальные опускаются на дно, пополняют притоны, криминальные группы, тюрьмы.

— ***В нашем обществе в целом именно такое отношение к детдомовским детям, как к бандитам, как раз и складывается...***

— Ну да: «дети алкоголиков», «плохая наследственность»... Очень живучий и распространенный миф. И очень коварный. Потому что, во первых, очень похож на правду. Но правда эта очень удобная, не так ли? «Ну что вы хотите, они же бандиты!» И это очень удобно, причем сразу всем: и работникам системы, и обществу — чтоб оправдаться. А по сути мы просто отворачиваемся от этих детей. А потом смотрим по сторонам и думаем: что-то не так с нашей реальностью...

— ***В нацистской Германии сумасшедших, инвалидов умерщвляли реально. Мы это делаем, как сказал бы Венечка Ерофеев, «идеально», в уме...***

— Но параллели напрашиваются. Да и не так уж «идеально», на самом деле. Хотите антиутопию из нашей сегодняшней реальности? Государство, как вы, может быть, знаете, обязывает себя выделять сиротам, выходящим из детдома, квартиры. И, конечно, отчасти свой закон выполняет. На какой-то процент ответственности какой-то процент квартир все-таки выделяет. И эта недвижимость тут же, естественно, становится предметом бизнеса (тоже, конечно, отчасти). Работает схема примерно так: ребенку ставится диагноз, он по выходе из детдома отправляется не на свободу, а в психоневрологический интернат, а полагающаяся ему квартира остается в ведении системы. А ребенок обрекается на пожизненное заключение. Такой вот теневой бизнес. И это только одна грань. Там много вопросов. Почему, например, эти дети в «психушках» доживают лет до тридцати, не больше? Есть и вовсе жуткие сигналы, но говорить об этом невозможно, все слишком глубоко запрятано...

— ***Ввергает в полное уныние все, что вы говорите...***

— А правда, объективно, в том, что поголовное отставание в умственном и нравственном развитии этих детей — прямое следствие недостатка вни-

мания и любви. Дети эти никому не нужны, это «в уме», а в реальности — поголовный аутизм. Потом они выходят «на свободу» и здесь тоже никому не нужны. При том, что и сами совершенно инфантильны, к жизни не приспособлены. Им все детство еду подавали из окошка. Подъем, отбой по звонку — и это практически все знание о жизни. Не удивительно, что, попадая в самостоятельную жизнь, они сразу идут ко дну. Кстати, те 10%, которые в жизни как-то устраиваются, в подавляющем большинстве девочки, мальчиков — единицы. Для них прямая дорога в тюрьму, откуда они выходят уже сформировавшимися уголовниками. При том, что и милиции повесить «висяк» на детдомовского — милое дело, за него никто не вступится. И для преступного мира детдомовские — лучший материал: бери и лепи что хочешь, по своему образу и подобию...

А по сути мы смотрим в ясное зеркало нашего общества. И если собрать все доступные цифры, сложить все, что мы знаем (а статистика, надо сказать, почти недоступна), то окажется, что из 28 млн детей в России, около 2 млн. находится на грани угрозы жизни и здоровью. То есть около 10% наших детей, что примерно соответствует общему уровню люмпен-среды, т. е. людей, находящихся за гранью трезвого разума и нищеты, которых, по оценкам социологов, у нас те же 10 – 15%. Ничего подобного не было ни после Первой, ни после Второй мировой войны. Причем, надо понимать, что 90% сегодняшних сирот — это так называемые *социальные сироты*, т. е. дети, родители которых живы, но либо отказались от своего ребенка, либо были лишены родительских прав. И это не война, не землетрясение, это «нравственный тренд». Нам наплевать не только на своих соседей, но и на членов своей семьи — вот о чем все это говорит... И это — наше общество: духовная яма (то, что осталось, когда «пламенный мотор вынули»). И все, о чем мы говорим, — лишь самый отчаянный симптом. И все мы ходим над этой ямой, совершенно не думая, что в один не очень прекрасный момент все наше сияющее благообразие, все это единство «партии и народа», которое мы так старательно симулируем, может в нее рухнуть...

— Солженицын, описывая сталинскую реальность, говорил, что страна жила в двух измерениях: бравурные марши днем и черные воронки ночью...

— И ничего по сути не изменилось. Мы так и продолжаем жить в двух параллельных мирах. И вся эта система, о которой мы говорим, со всеми ее детскими психушками и прочими прелестями — это, на самом деле, тот же архипелаг ГУЛаг, только более изощренный, насельниками которого стали сегодня уже не взрослые, а дети. И даже те же самые «тройки» продолжают существовать. Правда, теперь это уже не полевые суды, как раньше, а медкомиссии. Но, по сути, — тоже абсолютное беззаконие. Когда детям без всяких оснований ставят диагноз — абсолютно липовый в подавляющем большинстве случаев, лишая их тем самым права на образование, на имущество, на жизнь, в конце концов, отправляя «по этапу» в психушку... А там уже начинаются другие круги ада, потому что система психоневрологических диспансеров — отдельная история в глубину (и еще ждущая, наверное, своего Солженицына). И практика эта повсеместна и, естественно, абсолютна антиконституционна. Но попробуйте что-то с этим сделать!

И теперь попробуем осмыслить все это и заглянуть лет на десять вперед. Увидим эту армию выброшенных молодых людей — асоциальных, не получивших никаких нравственных оснований, ничем не обязанных этому обществу. И бок о бок с ними «армию мертвых», не доживших до тридцати, и всю ее темную энергетику. И все это на фоне стремительно люмпенизирующихся городских низов, спившейся деревни, героиновой наркомании, поразившей молодежь. И это окажется уже не яма, а настоящая мина под обществом — с часовым механизмом, который все тикает, с каждой секундой приближая социальный взрыв...

— ***И никто как будто не желает ничего замечать...***

— Замечать это — слишком некомфортно, я бы сказал. При том, что человеку страшно увидеть себя таким, как он есть. Поэтому и «меня это не касается», «сами виноваты» — большее, на что мы способны. И 80% людей живет так, будто собирается жить вечно. Нам кажется, если сегодня так — так будет всегда. Но это иллюзия, так будет не всегда... Ведь мы же практически единственная страна в мире, где подобная система вообще существует. В Европе очереди выстраиваются за каждым оставшимся без родителей ребенком. В Азии детский дом — понятие вообще немыслимое! Кажется, только где-то в Африке, где уже пятьдесят лет идет гражданская война, что-то такое есть. И сегодня, думается, нам просто дано некоторое время на осмысление. Просто Бог, молча указывая на эти два млн. погибающих душ как на квинтэссенцию наших вековых «свершений», ждет, что мы, может быть, еще придем в себя, что что-то вдруг еще повернется. И все последние двадцать лет, за которые мы так много о себе узнали, — это все время Его терпеливого ожидания, просто небольшая отсрочка приговора.

II. «Государство и общество должны встретиться в самой больной точке...»

— ***Очень печально все, о чем мы с вами говорили до сих пор. Но что же делать?***

— Менять этот «глобальный вектор», менять систему. Либо мы начнем спасать наших сирот, либо они, как наши нераскаянные грехи, «примутся» за нас... И все это, в конце концов, приведет нас к социальным катастрофам.

— ***Карфаген должен быть разрушен?***

— Он и будет разрушен. Вопрос лишь в том, целиком ли мы стали тем самым Карфагеном, или еще способны проснутся, ужаснутся самих себя и его от себя отсечь.

Может быть, я не очень удачный пример сейчас приведу, но знаете, как в свое время поступили большевики, которым досталась в наследство огромная старорежимная бюрократическая машина? Большевики, конечно, были людоедами и построили в итоге людоедскую систему. Но они были в то же время идеалистами, понимали, что строят новый мир на обломках старого. И эту полуживую систему, которая еще работала, они оставили до времени — всех этих старорежимных спецов, а сами начали тем временем строить параллельную, с новыми людьми и новыми идеями. Так же, я ду-

маю, нужно поступать и сегодня. Если систему, с ног до головы коррумпированную и замкнутую саму на себя, исправить уже нельзя, пусть она пока крутится. Но надо уже осторожно параллельно начинать создавать что-то новое. И потихоньку выводить из системы детей. Причем власть сама должна дать сигнал к этой «общественной революции». Должна понять, что одно государство без помощи общества справиться с этой проблемой не в силах. Только совместные усилия могут помочь.

— Но государство у нас привычно относится к народу как к недееспособному ребенку...

— Который, в итоге, оказывается без матери и за железными стенами...

— Дело, возможно, в том, что власть просто боится инициативы общества? Боится, что, осознав масштабы коррупции, общество устремится к бунту? И, наверное, боится не напрасно...

— И здесь встает принципиальный вопрос — что перевесит? Страх за свою шкуру или за свою страну? Либо наша команда в конце всех концов видит, как, спасая нажитое непосильным трудом, она организованно покидает тонущий корабль, либо она до последнего будет этот корабль спасать. Если первое — говорить, собственно, не о чем. Если второе, тогда ей хочешь — не хочешь придется звать на помощь общество и прежде всего активную, сознательную его часть. Других вариантов нет. И вот эта ситуация с детьми — самая болезненная, на самом деле, самый опасный очаг социальной болезни, она же — и самая лучшая точка для такой встречи общества и государства...

— Но и наше гражданское общество не очень, мягко говоря, убедительно. Вот наши правозащитники, весьма озабоченные судьбой Ходорковского. При том, что у нас, помимо Ходорковского, еще десятки, если не сотни тысяч людей гноятся в тюрьмах, посаженные «для плана» за, извините, килограмм апельсинов. Конечно, у них ни денег, ни имени, кому они интересны? Или наши христиане... Казалось бы, кому как не им решать проблему детей-сирот? Но православные больше увлечены геополитикой. Я както обратился к редактору одного солидного (не маргинального, подчеркну) православно-патриотического издания с предложением заняться проблемой детей-сирот, и знаете, что он мне ответил? «Мы задницы неграм вытирать не будем»...

— Ну, что такое судьба какого-то подкидыша по сравнению с «мировой революцией», да? Но если вы забудете про подкидыша, вся ваша «мировая революция» превратится в ад... И если бы Петр I в свое время не «вытер задницу» маленькому Ганнибалу, остались бы мы без Пушкина...

А что касается правозащиты, у меня ощущение, что последнее время они увидели проблему. Меня самого недавно приглашали поучаствовать в подобной работе в качестве эксперта. И я обратился к ним с похожим вопросом: говорю, что же вы молчите? А они мне: *так нам же никто этого не говорил, мы даже не в курсе, что такая жуткая картина!* И это очень показательно: страна наша просто не в курсе, что стоит на краю пропасти...

— Вот и мы сейчас и пытаемся ей это объяснить. Но, наверное, не будем дальше углубляться в тему «кто виноват»...

— Достоевский, кажется, исчерпывающе в свое время ответил: виноват здесь каждый, перед всеми, и за всё...

— Да, а уделим больше внимания другому любимому нашему национальному вопросу: так что же все-таки делать?

— Менять вектор. Система должна стать прозрачной для контроля — это главное. И это должно исходить от президента, не меньше. Должны появиться органы федерального и общественного контроля, должно быть тесное сотрудничество в этой области государства и общества, причем «мандаты» должны быть такие, чтобы никто даже не делал попытки не пропустить проверяющих на территорию детского дома, в любое время и без предупреждения. И телефоны доверия из любого места напрямую к контролерам. Чтобы дети знали, что они всегда могут обратиться за помощью и все их сигналы будут услышаны... Но главное — нужно создавать параллельную сеть реабилитационных независимых общественных центров для работы с детьми, попавшими в трудное положение...

— А о проекте перепрофилизации детских домов в «Центры по усыновлению» что вы думаете?

— Зная, что представляют собой наши детдома, думаю без особого оптимизма. Но раз уж по этому пути пошли, вот несколько замечаний. Проект этот что-нибудь даст, только если дирекция будет кровно заинтересована в скорейшем усыновлении детей. Если, допустим, будет введена строго премиальная система оплаты: ребенок усыновлен — получи в кассе, ребенка вернули — вычет из премии, у ребенка снялся диагноз — иди в кассу, получи деньги, дети сдали ЕГЭ — получи премию, закончил институт — получи еще... И с условием, конечно, тесного сотрудничества государства и общества в плане новых методик, инноваций и контроля. Но главное, повторяю, нужно создавать новую, независимую общественную сеть центров реабилитации и социализации детей-сирот, структуру, параллельную существующей, — силами общественных организаций, гражданского общества, при поддержке государства и благотворительных программ бизнеса.

— И что принципиально нового такие центры привнесут?

— Они помогут сделать систему детских домов прозрачной. Та ситуация, когда дети заперты внутри тесного мирка, где они не видят общества, а общество не видит их, — эта ситуация и открывает дорогу злоупотреблениям. Чтобы ситуация начала меняться, общество должно ребенка *реально увидеть*, а для этого его нужно вывести за стены детского дома, хотя бы на пару часов в день, хотя бы на час в неделю.

— И каким образом такие центры могли бы заработать?

— Мы уже давно над этим думаем. Проекты уже написаны. В итоге, конечно, должна появиться широкая единая сеть, тогда заработает и вся программа. Чтобы в каждом районе, в каждом маленьком городе такой реабилитационный центр появился (не очень большой, на самом деле, с минимальными затратами). Пришла группа детдомовская в такой центр — всё, она уже под присмотром общества, ее наблюдают, ее видят: и независимые психологи, и преподаватели, и потенциальные усыновители. И все это — на нейтральной территории, где им всем свободно можно общаться.

С детьми здесь будут заниматься обучающими, творческими, реабилитационными программами. Но главное, что общество этих детей уже увидело, и теперь запрятать кого-то в «психушку» — уже проблематично, мухлевать с квартирами — проблематично. Система становится прозрачной. И, выйдя из детдома, ребенок уже не канет, ему уже есть, куда придти. Это не система, это творческие, креативные люди, которые с детьми работают потому, что это им интересно, это дело их жизни. При том, что у нас есть прекрасные специалисты, лучшие в мире. Сегодня они разрозненны, каждый выживает, как может. Я многим показывал наши проекты, и все принимали их с энтузиазмом. И если их собрать, аккумулировать их энергию, создать им настоящее поле деятельности, дать нормальную возможность работать, многое можно сделать.

— ***А согласятся ли общественники работать вместе с государством?***

— Конечно, не надо пытаться втиснуть их в бюрократический аппарат, они должны оставаться свободными. Это принципиально, потому что это — основа гражданского общества. И государство со всем уважением должно к этому отнестись. Должно понимать, что то, чему оно покровительствует, будет таким независимым местом встречи: детей с обществом и общества с государством... По сути такая сеть должна стать новым центром притяжения, зачатком нового гражданского общества, собирающегося для решения самых тяжелых, болезненных социальных проблем. У государства должно проявиться доверие к обществу, потому что иначе все это с мертвой точки не сдвинуть. Например, сейчас очень трудная проблема обозначилась — повторное сиротство...

— ***Это когда детей усыновляют, а потом не справляются и возвращают в детдом?***

— Да. Когда государство наше для себя сформулировало, наконец, проблему и пошла реклама усыновлений, и дотации приемным родителям стали повышать, детей стали брать больше. И промаявшись, допустим, полгода, — возвращать. Для ребенка это катастрофа полная. Он уже никому верить больше не будет. Чтобы такие вещи предотвратить, нужна школа усыновителей — это насущнейшая проблема. Потому что родителей надо на самом деле обучать не меньше, чем детей. Но система на подобные вызовы реагирует крайне вяло, она слишком инертна. Да и нет здесь таких специалистов. Это особая психология. И чем больше государство будет пытаться что-то с системой сделать, тем больше таких проблем будет возникать, тем чаще система будет показывать свою несостоятельность. А общественники — это пульс нашей жизни, силы быстрого реагирования. Без них не обойтись, если мы хотим переломить ситуацию в принципе. Но, повторяю, вначале должно что-то произойти в плане сознания, должен поменяться «вектор». И общество, и государство должны этим по-настоящему озаботиться, должны осознать уровень проблем и стоящих перед ними задач. По-моему, это очень принципиальный момент. И если власть сегодня этого не поймет и обществу не доверится, снова спрячется от него за спины бюрократии, армии и ОМОНа, боюсь, других надежд у нас уже может и не остаться.

III. Дело Церкви

— А что вы думаете о Церкви и, вообще, о религиозных организациях в принципе? Они могли бы принять деятельное участие в таком деле?

— Они должны были бы стать одним из его ведущих двигателей, по-моему.

— Помню, года три назад один известный архимандрит поднимал вопрос о необходимости церковного национального проекта. Он тогда говорил о восьми миллионах ежегодных абортов в России, — не знаю, насколько верна эта цифра, но она, конечно чудовищна, — и определял этим уровень нашего морального падения, делая похожие выводы. Что вот как, захлебываясь в крови собственных детей, мы плачем о том, как плохо нам живется... Но потом он увлекся другими совсем вещами, а сейчас, насколько я знаю, занялся проблемой алкоголизма...

— Алкоголизм — тяжкая, конечно, национальная болезнь. И то, что детей нужно оградить от алкоголя, — это все ясно и первостепенно. Но что касается взрослых... Мне кажется, все эти запретительные меры — скорее от отчаяния. Проблема алкоголизма — это ведь на самом деле проблема не алкоголизма вовсе. Людей лишили всякой инициативы, перекрыли им все «дыхательные пути», после чего единственной возможностью самореализации остался алкоголь. Человек пытается заполнить пустоту своей жизни, приглушить боль. Это такой суррогат духовной работы, и что здесь можно изменить запретительными мерами? Это какой-то бесконечный порочный круг — инфантилизм народа, инфантилизм власти... И потом, запрещать — это, все же, дело государства. Дело Церкви — открывать источники милосердия в людях, давать надежду. Не к «алкоголизму» Церковь должна повернуться, а, в первую очередь, к детям...

— Ну а общественники, правозащитники и Церковь смогут работать вместе, как Вам кажется?

— Знаете, у всех нас есть огромное количество обид и претензий друг к другу: общественники, правозащитники, государство, Церковь — все сегодня смотрят друг на друга косо. Мы ведь уже добрую сотню лет находимся в состоянии гражданской войны, и результаты у каждого перед глазами. Вот это, мне кажется, нужно осознать и уже смириться с тем, что действовать все равно придется всем вместе. Просто потому что иначе не вытянуть. И все это, наверное, неспроста. То есть, я хочу сказать, что это, возможно, Бог через общий наш грех дает нам такое дело, которое может стать и началом нашего искупления тоже. И при этом еще и общество поможет сплотить. Ведь не мифическому, спущенному сверху «единству» такое под силу, а только чему-то настоящему... А что может быть реальней проблемы, о которой мы сейчас говорим? Здесь, кажется, ни у кого нет двух мнений. Значит, лучшей почвы для совместной работы и сближения не найти. К тому же здесь не друг на друга надо смотреть, а на ребенка, которому требуется помощь.

— Звучит здорово. Но для нас такое сознание скорее нонсенс. Мы привыкли мыслить так: главное — побороть врагов, и тогда-то и будет всем счастье...

— Не будет, потому что изначальный посыл не верен...

— Помню, в начале 90-х Иосиф Бродский, откуда-то из Америки на нас глядя, в одном из интервью говорил, что мы как народ в XX веке пережили нечто столь ужасное, чего не довелось пережить никому. И, не успев выйти из этого кошмара, спешим высмеять и свое прошлое и настоящее... Хотя, казалось бы, естественное движение — почувствовав связанность общей трагедией, попытаться стать чуть милосерднее друг к другу... Но, наверное, так рассуждать можно только из какого-то другого мира, из Америки. В наших широтах слова эти как-то чудно звучат. Ничего подобного, во всяком случае, от наших батюшек мне слышать не приходилось. В отличие от бесконечных призывов к борьбе и анафем друг другу...

— Это грустно. Но еще печальнее, что христиан и самих-то ничего по-настоящему друг с другом не связывает. Нет ни настоящей общности, ни дела, из которых могла бы эта общность вырасти. Но я все же думаю, что именно Церковь в большей степени должна была бы взять на себя этот крест. И так, спасая других, оживать сама.

— Согласен. Если возрождение страны все-таки начнется, то начаться оно должно с Церкви. Во всяком случае, здесь должны быть заметны какие-то изменения. Ведь Церковь — сердце общества. Но при этом и никого нельзя исключать. Есть такая притча (ее, помню, рассказывал митр. Антоний Сурожский) про человека, который научился магией любви вызывать жизненные силы земли. И вот, купив клочок каменистой почвы, он решил устроить на ней рай. И окутал ее такой любовью, что там произросли всевозможные чудесные растения, сошлись все звери, и только одна лиса отказалась войти. И поначалу этот человек ее всячески уговаривал, а потом подумал: если ее не будет, все звери окажутся соединены в моем раю, — и убил ее. Возвращается на свой участок и видит — все засохло, вымерло, все звери разбежались...

— Да, это точный символ нашей болезни. Да и вся наша культура, литература, если вдуматься, об этом — о маленьком человеке, которого забыли...

— Но какой же все-таки видится Вам роль Церкви?

— Ролью матери, какой же еще... Церковь у нас единственная, по сути, массовая общественная организация. Которая и должна подавать пример. Больше некому...

— Думаете, это возможно?

— Честно? Не знаю. Но вот такую историю могу рассказать. В свое время в Румынии была точно такая же ситуация с детскими домами, как у нас. А ведь эта страна очень похожа на Россию — такая же православная, патриархальная, нищая, такой же бесчеловечный режим сорок лет ее тиранил. Но все же, видимо, не так глубоко, как нас, все-таки не семьдесят лет. И вот, когда румынский Патриарх обратился к нации и сказал: «*Я не буду причащаться, пока у нас есть дети-сироты*», — это подействовало, и за полгода детей разобрали... Но когда несколько лет назад наш предыдущий патриарх Алексий II посетил Румынию и, воодушевленный ее примером, попытался привлечь внимание к этой проблеме в России, никто его даже не услышал.

— И что с того времени изменилось?

— У наших нынешних президента и патриарха дружеские, как можно судить, отношения. Обоих их влечет волна преобразований. Наверняка у них возникают идеи совместных социальных проектов Церкви и государства. При том, что Церковь у нас единственный, повторяю, организованный общественный институт в стране. Так почему бы им и не попробовать? Может быть, это шанс, который дает нам Господь? При этом мы понимаем прекрасно, что в России ничего иначе и не заработает, без команды с самого верха. То есть оно и с командой, как правило, не работает, но все-таки шанс есть. И если слово такое прозвучит, и прозвучит с силой...

— И Вы примерно представляете себе, как такой проект мог бы заработать?

— Мы над этим думаем уже несколько лет. Много всего передумали, и на основе разного положительного и отрицательного опыта сложилась некая схема. Она довольно проста, но я пока не нашел в ней ущерба. В каждом нашем приходе найдется, думаю, одна семья, которая готова была бы заняться воспитанием детей профессионально. (Я бы на месте нашего правительства вообще выплачивал деньги матерям с тремя и более детьми как за работу воспитателей — вот где реальное решение демографической проблемы!) И вот собирается, допустим, собрание прихода, на котором приход решает взять на воспитание ребенка. Вернее, эта семья решает взять на воспитание ребенка, а приход обязуется ей при этом помогать. И вот эта семья берет на воспитание вначале одного ребенка, через год — второго, еще через год — третьего. Но в целом — это все же дети прихода, «сыновья полка». Пять — восемь детей, плюс двое-трое-четверо своих — при условии реальной помощи и поддержки со стороны государства и прихода — это вполне реально для одной такой семьи, и это по-христиански, не правда ли? Важен пример, первый толчок. Получится у одной семьи, таких семей станет много. А у нас в стране порядка двадцати тысяч приходов. Вот вам и реальный духовный авангард и пример для всей страны. И сами церковные приходы, получив в руки настоящее дело, начнут оживать. И отношение в обществе к Церкви, которая сегодня воспринимается как какой-то бюрократический придаток к государству, скоро изменится, если люди увидят реальных практикующих христиан, а не каких-то безумных «хоругвеносцев», требующих *все запретить*. Вот вам реальное миссионерство, без кликушества, без истерии... Простое, тихое и архиважное дело. Абсолютно при этом христианское и абсолютно спасительное.

И я не думаю, что все это потребует каких-то архиусилий, сверхвложений от государства, от Церкви. Просто те деньги, которые государство тратит сегодня на поддержку системы детских домов, пойдут на поддержку приемных семей и реабилитационных центров. Но если все это заработает и страна начнет избавляться от этой чудовищной язвы, сразу, я уверен, начнет сдвигаться с мертвой точки решение многих наших проблем.

Тут вам и православное воспитание, о котором все сегодня говорят, но никто не знает, что это такое. А эти дети — как пластилин: бери и лепи, что хочешь: хочешь — святого, хочешь — бандита. Бандита, конечно, легче. Но вот прямо сейчас, на своих глазах я наблюдаю такой пример. Семья в нашем

центре усыновила парня, уже взрослого, тринадцати лет (у нас же, в нашем центре они и познакомились). У этой семьи было масса своих проблем и между супругами, и с собственными детьми. А сейчас мать ходит счастливая — в семье все наладилось, и она сама не понимает, как и почему. А я ей говорю: так вы же ангела взяли в дом. Вот это, по-моему, и есть настоящая христианская революция. И все это в наших руках: выпустить на свободу Дух святой, запертый сегодня в стенах этих «гулагов». Сумеем — и хлынут на наш народ потоки благодати...

И мне, честно говоря, удивительна наша индифферентность. Православные с удовольствием слушают рассказы о старцах, о чудесах. Но лишь только речь заходит о реальном деле, впадают в прострацию. Бояться мало-мальски самостоятельного шага, взрослого поступка. Но ведь сам Христос в Евангелии связывает Себя с каждым больным, заключенным, ребенком, попавшим в беду, и говорит: кто примет такое дитя, тот примет и Его Самого, и Отца, и тут же, на земле сделается участником Царства Небесного. Это ведь самые азы, даже варварам это было понятно, даже их потрясали и во мгновение ока делали из них христиан эти строки: «*кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает*»...

Григорий ПОМЕРАНЦ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРАГЕДИИ

Георгий Митрофанов. Трагедия России. «Запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике.

С.-Петербург: Моби Дик. 2009. — 240 с.

1

Книга протоиерея Георгия Митрофанова стоит того, чтобы ее прочесть, продумать... Интересны собранные им данные о позиции церкви во временно оккупированных областях. Радует призыв покаяться в церковном конформизме двадцатых и последующих годов. Однако слово «конформизм» не всегда употребляется к месту, например, к генералу Брусилову за его призыв поддержать Красную армию в 1920 году. Врангель тогда еще оборонял Крым, — напоминает нам о. Георгий. Но в то время, когда опубликован был призыв Брусилова, Врангель не оборонялся, а наступал, используя переброску советских войск на Запад. Именно там неожиданно возникла серьезная угроза — со стороны Польши. Дождавшись поражения основных сил белой армии, Пилсудский двинул войска на Восток, захватил Киев и явно собирался присоединить к Речи Посполитой всю Правобережную Украину.

Именно тогда, во имя России единой и неделимой, Брусилов призвал отбить у поляков «мать городов русских» (он, конечно, не предвидел, что

Григорий ПОМЕРАНЦ — родился в 1918 г. в Вильно (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 1946 исключен из ВКП(б) за «антипартийные заявления». В 1949 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности, осужден; освобожден (1953) и реабилитирован (1958). Философ, культуролог, публицист. Автор книг «Сны Земли» (Париж, 1958), «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М.,1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995), «Опыты философии и культурологии» (М., 1995), «Страстная односторонность и бесстрастие духа» (М.— СПб., 1998), «Записки гадкого утенка» (М., 1998) и др.; вместе с З. Миркиной «Огонь и пепел» (М., 1993), «Великие религии мира» (М., 1995). Член Русского ПЕН-Центра. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Украина сама по себе станет заграницей). Врангелем Советы занялись позже, когда Пилсудский был отброшен и с Польшей заключен мир. В событиях осени 1920 года Брусилов никакого участия не принимал и до конца своей жизни оставался в тени.

Врангеля добивал деятель, выпавший из поля зрения о. Георгия: Нестор Махно. Учитывая настроения крестьян, он согласился допустить в часть своих отрядов комиссаров, назвать это дивизией, и махновцы, форсировав Сиваши, с хода взяли врангелевскую столицу Симферополь. После этого Врангелю оставалось только дать приказ отходить к гаваням и садиться на корабли. Из официальной советской истории рейд махновских тачанок выпал. Только в повести (если не ошибаюсь, Малышкина) описан их подвиг, со сменой всех географических терминов, без малейшего упоминания Крыма. Официальную легенду о штурме Перекопа нельзя было трогать. Любопытно, что агиография о. Георгия совпадает по своей структуре с идеографией советских историков. Крестьянская вольница, восставшая и против белых, и против красных, не укладывалась в схему. Только частушка от нее осталась:

Эх яблочко, цвета ясного,
Бей слева белого, справа красного!

Агиографическое мышление с его резким делением на сияющее добро и смердящее зло окрашивает и отношение о. Георгия к попыткам белой эмиграции понять свои политические ошибки. Мысленно канонизируя белое движение, о. Георгий не признает за ним никаких ошибок. Но как быть с фактами? Неприятные факты просто исчезают вместе с Махно.

Трезвый анализ я нашел у крестьянского сына, генерала Григоренко. Он рассказывает, как вели себя дроздовцы на своем пути с румынского фронта на Дон, как они наспех расстреливали нескольких местных жителей, избранных в Совет, а затем шли дальше. Так же беспристрастно описывается красный террор, с массовыми расстрелами заложников (такими средствами Советы разоружили крестьян, заставили их сдать припрятанное оружие). Затем Петр Григорьевич задает вопрос, на который он не знал ответа: почему его земляки все прощали красным и ничего не прощали белым? Думаю, сыграла свою роль историческая инерция. В период Гражданской войны раскручивалась пружина ненависти, закручивавшаяся несколько веков...

Был момент, когда белое движение могло отождествить себя с крестьянским антибольшевизмом. В Самаре, захваченной Колчаком, собрался Комитет членов Учредительного собрания. В этом собрании преобладали эсеры. В 1917 году левые эсеры поддержали большевиков, правое большинство заняло резко антибольшевистскую позицию. Сотрудничество царского адмирала с террористами было нелегким, но оно открывало огромные перспективы. Колчак этих перспектив не почувствовал, он приказал разогнать Комитет. И тут случилось непоправимое.

Офицеры, для которых все социалисты были на одно лицо, перекололи и изрубили шашками эсеров, своих союзников. Колчак не решился никого привлечь к ответственности. Тогда эсеры, только что застрелившие Володарского и Урицкого, ранившие Ленина, заключили мир с большевиками,

и белые части, находившиеся под их влиянием, открыли красным фронт. А при попытке Колчака провести мобилизацию начались восстания. Крестьяне упорно защищали свой нейтралитет в Гражданской войне. В конце концов, Совет рабочих депутатов Иркутска не пропускал эшелонов, двигавшихся к Владивостоку, пока командование чехословацкого корпуса не выдаст Колчака.

Его выдали, и бывшие союзники Колчака, заседавшие в Совете, судили его и расстреляли. Это была расплата за резню в Самаре. Разрушив союз с эсерами, колчаковцы сами себя изолировали и обрекли на гибель. Была ли эта гибель неизбежной? Политический гений, наподобие Бонапарта, справился бы с этой ситуацией. Но политических гениев царская Россия не вырастила. Так же, как не вырастила брежневская Россия, и некому было вести «перестройку».

Мудрено ли, что в состязании красного террора с белым нейтралитет стал выбором таких людей, как Короленко, Волошин? Мудрено ли, что после Ивана IV и Петра I в революционном хаосе победил самодержавный утопизм? Мудрено ли, что завершением его стал деспотизм Сталина? И в 1941 — 1945 годах мы встали перед выбором: или Гитлер, или Сталин? И генерал Деникин обратился к Сталину с просьбой — принять его в советскую армию, хотя бы рядовым — защищать родину? Если Брусилов конформист, то не был ли конформистом Деникин? Или в обоих победил патриотизм русского воина — защищать Россию Грозного с его опричниной, защищать Россию ленинского красного террора, Россию сталинского террора против всех и каждого, но Россию?

2

Из остальных тем, поднятых о. Георгием, мне хочется разобрать только одну, действительно запретную, и не потому, что ее кто-то запретил, а по внутреннему запрету. Очень трудно оценить мученический конец Власова и его сподвижников, никак не вяжется это с оценкой движения, почти целиком (до 1945 года) оставшегося на бумаге. Если не считать боя с эсесовским гарнизоном Праги, о котором мне по свежим следам рассказал чешский мальчик, волнуясь за судьбу своих освободителей.

Власов в 1941 году защищал Киев и оставил его после запоздалого сталинского приказа «отступить». В декабре он разделил с Рокоссовским славу первой победы в великой войне и был назначен заместителем командующего фронтом. Задачей был прорыв к блокированному Ленинграду. Но зима кончалась. Уже в феврале засияло теплое солнце, и на небе — ни одного нашего самолета. Только танец юнкерсов, только траектории бомб. Наш ополченский полк ночью взял деревню Павловка, к югу от Ильменя, а днем мы стали мясом для немецкой мясорубки. После первого, легкого ранения я пошел на перевязку. Шел во весь рост, среди разрывов мин, падавших без остановки, когда прерывался танец юнкерсов. Хотелось запомнить белое снежное поле с частыми розовыми пятнами. Потом мне в тот же день прибавили покрепче и контузили. В эвакогоспитале, куда в конце концов я был доставлен, раненые солдаты вынесли единодушный приговор сталинской стратегии: не война, а одно убийство.

Несколько дальше к северу немцы, обескровив наши части, рвавшиеся к Ленинграду, окружили их. Власов решился на отчаянный шаг: перелетел в кольцо, перестроил боеспособные части и прорвал окружение. Надо было воспользоваться успехом и выходить из мешка. Но Сталин приказал наступать — то есть лезть в мешок поглубже. Потом в мешок влез весь наш южный фронт и дал немцам выйти к Волге и к Эльбрусу. Маршала Шапошникова, советовавшего с весны перейти к стратегической обороне, Сталин снял с поста. Вероятно, он снял бы и Власова, если бы тот ему перечил. Видимо, Власов на это не решился. Единственное, что он мог сделать — и сделал, — это остаться со своим авангардом, не возвращаться на командный пункт. Второе окружение прорвать не удалось. Немцы крошили наши части, загоняли в болото и брали в плен.

Я представляю себе, как Власов, прячась в лесной избушке, проклинал Сталина, никогда не побывавшего на переднем крае, уничтожившего 80% высшего командного состава во время Большого террора, никого не слушавшего и всем командовавшего. В состоянии судорог ненависти Власова обнаружил немецкий патруль. И вырвался его крик «не стреляйте!»

Остальное вытекало из добровольной сдачи в плен. Дальше пошли надежды на невозможное, невыполнимые планы, попытки сохранить независимость, раздражавшие Гитлера, и в конце концов марш на Запад. Освободив чешскую столицу, власовцы на авось ушли в американскую зону, откуда их выдали на расправу*.

Все декларации и воззвания, которые Власов издавал в своем межеумочном положении, — бумажный хлам истории. Но достойно памяти решение выдержать любые пытки, но не играть жалкую роль на процессе. Это решение удалось выполнить. Ни одного пытки не сломили. Что давало «изменникам Родины» силы? Это загадка, которую никто пока не решил, и я приступаю к ней с чувством риска.

Перечислим возможные факторы. Верность своим воззваниям и декларациям? Не думаю. Все эти бумаги создавались задним числом. Решало другое: невозможность простить Сталину его безжалостный, бесчеловечный, демонический стиль правления. В Бутырской тюрьме я играл в шашки с «изменником родины». Измена его состояла в том, что он возобновил занятия в сельской школе при немцах. Этот человек мне нравился: твердый, подтянутый, бодрый. Однажды я вполголоса спросил его: что определило ваш выбор? Он так же коротко ответил: «Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Власов тоже не мог простить.

Власовское сознание сложилось в первый период войны, когда один наш разгром следовал за другим. На это наслаивалась память о прошлых увечьях, нанесенных стране: уничтожение деревни, расстрел высшего комсостава, уничтожение конструкторов, создающих новое оружие. В лагере это сознание закапсулировалось. Между тем победы Гитлера завязли в русских просторах. Заводы, эвакуированные в Сибирь, стали работать. А мы, ополченцы, понем-

* Во время войны слово «власовец» прилипло к «добровольным помощникам», Hilfswillige, служившим в немецких частях за миску каши. Ничего общего с Власовым у них не было.

ногу чему-то научились. Военная пресса тогда тиражировала поговорку: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Учился и я, на своей собственной шкуре, и Сталин, на миллионах наших пробитых шкур, кое-чему выучился, стал прислушиваться к опытным генералам, и тень наших побед накрыла грехи генералиссимуса. Власовцы жили в прошлом, в трагических поражениях, загнавших храбрых солдат в плен, и сердце их жгло то, что когда-то назвали «пеплом Клааса». Мученичество в застенках было чем-то вроде писем Курбского или молчания Васьки Шибанова, передавшего царю письмо. Грозный читал письмо, воткнув посох в ногу гонца. Гонец молчал.

Власовцам предлагали 25 лет лагерей или, на худой конец, легкую смерть — они отказались. Им дали подумать, подсаживали в камеры бывших сослуживцев, уговорить на капитуляцию (об этом, со слов подсаженного, писал впоследствии Григоренко), — они отвечали, что боятся пыток, но ненависть к Сталину сильнее страха. И власовцы выбрали муки как бессловесное письмо, посланное нам, современникам В. В. Путина, чтобы мы расслышали их «глухие проклятья». Что потом делать — они не знали. Многие проклятья — соловецкие, воркутинские, колымские — дошли до нас — и не поколебали рабской любви к Сталину. Но если и эти, молчаливые проклятья не переполнят чашу, то есть ли она вообще, народная совесть? И не падут ли на наши головы проклятья, от которых мы отмываем тень Сталина, и не потянут ли Россию на дно? Пожалуй, в напоминании об этом — главный положительный итог книги Митрофанова, при всех недостатках, которые я пытался разъяснить.

У нас в гостях
«Новая газета» и журнал «The New Times»

Помещая вновь на страницах «Континента» материалы из журнала «The New Times» и «Новой газеты» (о характере этой рубрики, ставшей для нас постоянной, уже рассказано в предыдущих номерах), мы должны предупредить, что на этот раз непосредственно под шапкой самой рубрики читатель найдет только текст из «Новой газеты» (№ 113, 12 октября 2009 г.) — статью Юлии Латыниной, перепечатка которой показалась нам особенно уместной именно в этом номере потому, что тема грузинской войны затронута и в открывающем раздел «Россия и мир» интервью А. Н. Илларионова. А вот из журнала «The New Times» мы по тем же соображениям нашли наиболее целесообразным взять несколько напечатанных там текстов Виктора Шендеровича, поскольку они тоже находятся в прямой перекличке с печатаемым в этом номере традиционным его «Комментарием к событиям российской жизни». Там, непосредственно после этого «Комментария», они и воспроизведены.

Юлия ЛАТЫНИНА

СВЕРХДЕРЖАВА АБХАЗИЯ

Итоговый доклад Еврокомиссии о причинах войны в Грузии не может считаться объективным, потому что написан дипломатами

Комиссия ЕС представила свой доклад о причинах войны в Грузии. Доклад, на мой взгляд, омерзительный, но не потому, что он содержит какие-либо обвинения, а именно потому, что он не содержит никаких.

«На ком лежит ответственность за случившееся? — спрашивают авторы доклада. — Данный конфликт уходит корнями в различные действия, совершавшиеся в разные периоды времени по разным причинам... У нас... нет возможности приписать общую ответственность какой-то одной стороне».

Комиссия — это расследование. Комиссия — это трибунал. Задача расследования в том и состоит, чтобы определить, кто в чем виноват. Представьте себе Эркюля Пуаро, который в заключительной сцене детектива собирает семью убитого, чтобы назвать имя убийцы, и говорит: «Вы знаете, все тут такие сложные люди, что труп образовался ввиду комплекса причин». Э-э, нет. Если есть труп, значит, есть и убийца. Как же комиссия приходит к таким потрясающим выводам о коллективной ответственности за образование трупа? А вот как.

Грузины, сообщает комиссия, говорят о масштабной концентрации российских войск на территории Грузии еще до 7 августа. А Россия это отрицает и утверждает, что «российские войска вошли на территорию Южной Осетии, а российские артиллерия и авиация открыли боевые действия после 14.30, то есть после того, как Россия приняла решение вмешаться в конфликт».

Кто же прав? Вы будете смеяться, комиссия... не знает. Она не уверена, что утверждения Грузии «имеют достаточные основания», несмотря на значительное количество «свидетельств, в том числе и российских», подтверждающих это.

Простите, как это понять? Грузины говорят одно, русские — другое, сообщает нам высокий трибунал. Простите, это мы и без трибунала знали. Задача трибунала — установить, кто из них врет.

Вот, например, утром 8-го числа (то есть задолго до 14.30) над Цхинвали сбили Су-25. Россия говорит, что грузинский, грузины (и Moscow Defence Brief) — что российский. Это и есть задача комиссии — установить, кто врет.

Вот, например, есть капитан Денис Сидристый, который рассказывает корреспонденту «Красной звезды», как утром 8-го числа (задолго до 14.30) его подразделение вошло в Цхинвали. Это и есть задача комиссии — выяснить, правду говорит Сидристый или в «Красную звезду» пробрался грузинский шпион и публикует, для дискредитации России, рассказы о бое силами подразделений, которые еще не перешли границу. А комиссия сообщает: Грузия говорит то, а Россия — это. Спасибо, работали ребята 9 месяцев, проделали титаническую работу.

Вот, например, комиссия долго рассуждает, нарушила ли Грузия права человека, ударив «Градом» по Цхинвали «в ночь на 8 августа». И, разумеется, приходит к выводу, что нарушила. Но ведь Цхинвали обстреливали «Градом» не только в ночь на 8-е. А и в ночь на 9-е. И в ночь на 10-е. Когда грузины были в городе.

А почему же тогда комиссию не интересует, кто бил по Цхинвали 9-го? Если это сделали грузины, вот вам геноцид: эти фашисты были так кровожадны, что чтобы уничтожить мирных осетин, бомбили аж собственные танки! А если это делали российские войска, наверное, этот эпизод заслуживает особой оценки?

А вот другой пример. Комиссия рассматривает удар по грузинской территории, нанесенный с запада, и сообщает, что Кодори заняли «абхазские войска» после удара «абхазских бомбардировщиков». Комиссия рассматривает утверждение абхазской стороны о том, что это был превентивный удар, и наша объективная комиссия настолько объективна, что она приходит к выводу, что к 10 августа атака разгромленной уже и не имеющей на этом направлении войск Грузии была «маловероятна».

При этом комиссия вовсе не задается вопросом, а существуют ли в природе «абхазские войска» и особенно «абхазские бомбардировщики». Что это за военная сверхдержава — Абхазия? Может, у нее уже и ракетные войска есть? Наверное, комиссия, которая имела право задавать вопросы, должна была попросить показать ей «абхазские бомбардировщики». Тем более что неувязка получается: в российских СМИ генерал Шаманов рассказывает, как он воевал в Грузии, а по комиссии, получается, что это делали «абхазские войска». Надо бы комиссии разобраться в этом вопросе... Однако, несмотря на все усилия уважить Россию, комиссия все-таки вынуждена ответить на ряд вопросов. «Законно ли признание независимости Южной Осетии и Абхазии?» — «Нет». — «Законна ли выдача российских паспортов?» —

«Нет». — «Был ли геноцид осетин грузинами?» — «Нет». — «Была ли этническая чистка грузин осетинами?» — «Да».

Дело в том, что все, о чем я говорю, содержится в первой части доклада. А всего в докладе три части. Первая — официальная. В третьей — документы, представленные сторонами. А вторая часть... она... как бы это сказать... она представляет собой удивительный документ, который как бы неофициальный. Комиссия так и предупреждает: мол, все, что в этой части сказано, неофициально. И, сказав, начинает повествование ab ovo, которое просто размазывает Россию по стенке. В свое время историк Прокопий Кесарийский сначала написал «Войну с готами», прославляющую Юстиниана, а потом «Тайную историю», которая вышеупомянутого Юстиниана ровняет с землей. Г-жа Тальявини поступила, как новый Прокопий Кесарийский.

Потому что во второй части тоже много умолчаний. Но в принципе там сказана одна простая вещь. Что причиной конфликта послужило недовольство Путина прозападной политикой Грузии; что между Саакашвили и Путиным был острейший личный конфликт. И наконец, детонатором войны названы планы Грузии по вступлению в НАТО и признание Западом независимости Косово.

Доклад г-жи Тальявини означает, что на претензиях Европы быть международным арбитром можно поставить точку. Не может быть арбитром тот, кто одновременно является дипломатом. Вы считаете, ребята, что с Россией надо договариваться? Ради бога, только при чем здесь статус арбитра? Профессия переговорщика, который ведет переговоры с террористом и говорит ему: «Да-да, парень, ты прав, они сволочи, они тебя обидели», — это очень необходимая профессия. Только слова переговорщика не могут иметь статус решения суда.

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ

(январь — декабрь 2009 г.)

От редакции

Уже два предыдущих «Комментария к событиям российской жизни» Виктора Шендеровича*, традиционные для нашего журнала, были предложены читателю в заметно ином формате, чем тот, к которому он привык, начиная с 2002 года. До 2009 года эта рубрика появлялась ежеквартально и включала в себя достаточно обстоятельный осмотр всех случившихся за соответствующий период сколько-нибудь важных событий российской жизни, составленный из тех еженедельных обзоров, которые делал Виктор Шендерович в рамках своих передач сначала на ТВ-6 («Бесплатный сыр»), а затем в эфире «Эха Москвы» («Плавленый сырок»).

Но в 2008 году «Плавленый сырок» прекратил свое существование — прекратил не случайно и не по каким-либо внешним причинам, а по воле самого автора. Как объяснил нам он сам в своем «Комментарии», напечатанном в 138-м номере, это произошло из-за случившегося «кризиса жанра»:

«Помните Авессалома Изнуренкова из "Двенадцати стульев"? Того, который выпускал не меньше шестидесяти острот в месяц... Вот и я в какой-то момент почувствовал себя таким Изнуренковым. Причем мне было еще тяжелее: мои персонажи все время повторяются, причем самым прискорбным образом: они воруют, убивают, лгут и говорят патриотические пошлости — и ничего пятого, в общем, не делают. А я всякий раз должен был описывать их действия каким-то новым ходом, новой метафорой. У меня кончились метафоры... Все стало, как бы это поточнее выразиться, — предсказуемым. История, как предупреждал Салтыков-Щедрин, закончила течение свое»...

И как нам было не согласиться с этим неотразимым доводом, когда признаки упомянутого Виктором Шендеровичем «кризиса жанра» мы и сами начинали уже с печалью отмечать на страницах его «Комментария»? Вот тогда-

* № 138 (4 за 2008) и № 139 (1 за 2009).

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Щукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Автор и ведущий передачи «Все свободны» на радио «Свобода». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

то мы и решили — вместе с самим автором — поменять формат этой рубрики. Сделать «Комментарий», во-первых, более редким, полугодовым или даже годовым, то есть нацеленным на подведение каких-то обобщающих итогов за достаточно длительный период нашей жизни. А во-вторых, — в соответствии с тем, что при таком угле зрения неизбежно будет меняться и сама интонация, куда менее уже, естественно, предрасположенная к юмору и шуткам, и перевести «Комментарий» в форму живого диалога редакции с автором.

Предлагаемый ниже текст «Комментария» к событиям 2009 года появился тоже в результате беседы в редакции, состоявшейся в декабре 2009 года. Отличие его от двух предыдущих только в том, что на этот раз он представлен не в виде диалога, а в виде целостного монолога автора — и представлен так просто потому, что какие-то наши попутные вопросы и реплики во время беседы оказались совершенно, в сущности, лишними, поскольку Виктор Шендерович очень точно уловил самую суть этого нового жанра своего «Комментария» и построил свой рассказ в полном соответствии с тем, что мы и хотели от него получить.

Итак, перед читателем «Континента» снова живой голос нашего комментатора, к сожалению вот уже в третий раз записанный не в студии какого-либо канала ТВ или «Эха Москвы», а только в нашей редакции. Но зато к этому, — в рамках ставшего тоже уже традиционным обмена материалами между «Континентом» и журналом «The New Times», — мы предлагаем вниманию читателя три заметки Виктора Шендеровича, опубликованные в «The New Times» в 2009 году. Они представляются нам тоже принципиально важными в плане осознания тех самых главных выводов, которые обязывает нас сделать прошедший год.

Увы, говоря об итогах 2009 года, я все время вынужден повторяться.

Опять все то же: заказные убийства — адвокаты, правозащитники, журналисты; опять встреча Путина с народом; очередная пятиминутка ненависти на «Русском марше», — всё, как было. Можно взять прошлогодние события и найти аналоги практически всему, что случилось в 2009-м...

Меняются только знаковые имена. У каждого страшного дня оно свое: Эстемирова, Маркелов, Алексанян, Магнитский... И это самое страшное и есть. Для меня главный результат 2009 года — это то, что ничего не изменилось.

И то, что мы находимся в заднице (не могу подобрать более изящного выражения), стало сегодня, как мне кажется, понятно, — может быть, и не всем, но для более или менее читающей, думающей, знакомой с интернетом публики это уже, простите за каламбур, общее место. Очевидно, что система распадается.

И для миллионов вменяемых россиян предметом дискуссии, как мне кажется, является только глубина этой задницы.

Нормальная европейская система обратной связи, эта вот шестереночная передача: свободная пресса — свободный суд — выборы... — гибкое и ежедневное давление общественного мнения на власть, вплоть до ее смены — у нас отсутствует. У нас все важные решения (судебные, политические, в области СМИ) принимаются небольшой группой людей в Кремле. Но когда

механизм обратной связи не работает правильно, то энергия, вместо того, чтобы двигать колеса в нужном направлении, начинает разрывать конструкцию изнутри. Вот и сейчас — то тут вспухает, то там, и гной начинает прорываться и лезть из самых неожиданных мест. В том числе из мест, близких к головному мозгу. А это опасно для жизни.

Напряжение будет выходить. Уже появился знаковый симптом — майор Дымовский (тот, что обратился к Путину с заявлением о коррупции и злоупотреблениях в органах): в отсутствие нормальной обратной связи появляется вот такая. Жутковатый мент «с гайкой на пальце», как сказала Юлия Латынина (во всяком случае такое впечатление производящий), становится символом борьбы с коррупцией... Символом борьбы с чеченскими боевиками становится Рамзан Кадыров... Министр Нургалиев призывает граждан сопротивляться милиционерам... Это, заметим, не Каспаров призывает, а министр внутренних дел Российской Федерации!

Система идет вразнос. Вопрос только в том, непременно ли нужно дожидаться полного политического коллапса. Чаушеску был «гением Карпат» и носителем стопроцентного рейтинга за неделю до того, как его расстреляли без суда — вместе с рейтингом и женой. Неужели не хватает опыта Чаушеску и тех, кто были до Чаушеску, а непременно нужно снова проверять на себе? Однако — проверяем. Хотя совершенно очевидно, что вменяемая часть власти все понимает. Но что они могут сделать? Включить демократические механизмы по-настоящему они не могут, потому что демократические механизмы их же и сметут довольно быстро — кого просто из власти, а кого и на скамью подсудимых. Но они понимают, что если совсем ничего не делать, будет взрыв. И они начинают создавать симулякры — пытаются, так сказать, пройти между струйками... И вот президент Медведев время от времени беседует с Ириной Ясиной, со Светланой Сорокиной, с Орешкиным, с Муратовым... Все это замечательные люди и мои друзья, — я говорю об этом безо всякой иронии. И они радуются приглашению (раньше-то их за кремлевской стеной никто ни о чем не спрашивал), они ловят сигналы: смотрите, ведь он вменяемый человек... вот он опять что-то разумное сказал! И вот появляется ощущение, что происходит какой-то процесс, и в блогах радостно сообщается: он нормальный человек! у него не пятак на лице, он не хрюкает, он хорошо пахнет, он читал книжки, он понимает шутки... Он не людоед! Так давайте сотрудничать!

Замечательно, давайте сотрудничать. Но только в чем должно заключаться это сотрудничество? В том, что Сорокина и Муратов пять или шесть раз встретятся с Медведевым и поговорят о правах человека? Давайте посмотрим, какова польза от всех этих встреч...

Он сказал, что свобода лучше, чем несвобода, — отлично! Расскажите про это замученному в СИЗО Магнитскому. Или тем людям из Новороссийска, которые осуждены за лозунг «Свободу не дают, ее берут»: государственная экспертиза признала этот лозунг экстремистским и подрывающим нравственные устои общества. Причем там, на плакатах, ничего не было ни про гексоген, ни про государственный переворот; простая констатация факта, что свободу — берут, признана экстремисткой.

Свобода лучше, чем несвобода?.. Давайте смотреть на факты.

Продолжается война на Кавказе — будем называть вещи своими именами: это идет война, идет даже там, где ее не было десять лет назад... Ингушетию, например, втянул в эту войну лично Владимир Владимирович Путин, ныне премьер РФ, — заменив популярного в республике, но независимого от Кремля Руслана Аушева на генерала КГБ Зязикова, он фактически открыл ящик Пандоры. Идет народная война. Не знаю, до какой степени она священная (я про Коран мало что понимаю), но то, что она народная, — это безусловно. Война с отмороженной властью, с ментами... Я уже писал о том, что слово «менты» из уголовного лексикона окончательно перешло в нормативную русскую речь. «Милиционер» — это уже из «Дяди Степы». Язык ведь фиксирует изменение смысла, и если люди ведут себя не как милиционеры, а как менты, они и называются менты. Милиционер не насилует, милиционер не стреляет спьяну в людей, не пытает... — все это делает мент. И единственное, в чем преуспела «ментовская» милиция, — это в охране власти. Тут все схвачено, начиная с Лимонова.

Давайте смотреть на факты, раз уж практика — критерий истины. Кстати, номенклатура это прекрасно знает и — в отличие от моих товарищей-демократов — очень хорошо ориентируется, где риторика, а где практика. И когда за башкирский Благовещенск, буквально избитый ОМОНом, идут под суд два-три человека и получают условные сроки (я с трудом представляю себе, как эти трое смогли изнасиловать и избить тысячу человек), а закрывший на все это глаза министр юстиции Башкирии г-н Коновалов идет на повышение и становится министром юстиции Российской Федерации, — все понимают, что это означает в переводе с номенклатурного на русский. Это означает: так можно. Более того: только так и нужно!

И поступают соответственно.

Когда в Грозном среди бела дня похищают Наталью Эстемирову и никто не звонит в милицию, это означает: все понимают, что как раз чеченская милиция — в курсе дела. Настоящий ментальный ужас заключается в том, что это похищение видели десятки людей — это было среди бела дня, летним утром. Видели, как ее запихивали в машину — и в какую именно, слышали, как она звала на помощь... И ни один человек не позвонил в милицию...

Какие тут могут быть еще вопросы про этот режим?

Или история с Сергеем Магнитским — когда сначала крупные чины в погонах и без «раздербанивают» частную фирму, потом крадут у государства 5,4 миллиардов рублей, а потом, когда юрист этой фирмы обнаруживает хищение, для решения вопроса «заносят» в ФСБ 6 миллионов долларов, и этого юриста «закрывают» — так это все называется на их сленге. Человека фактически пытали, не оказывая медицинской помощи, устраивая уголовную «карусель» в СИЗО, требуя показаний на Браудера и не давая выйти на свободу. По сути это было убийство, причем — на всех этапах дела — убивало его государство. Все фигуранты дела Магнитского — «государевы люди»: воровство в МВД, коррупция в ФСБ, африканские условия содержания в СИЗО...

Все, что происходит, куда ни ткни, — это все по сути одно и то же... Та же генетическая программа, та же формула ДНК. Разве что в случае с жур-

налистом Подрабинеком что-то чуть-чуть всколыхнулось: там удалось по крайней мере снять осаду «нашистов» и прекратить физическую травлю человека — о том, чтобы наказать мерзавцев (финансируемых, заметим, из бюджета), и речи не идет. Мы даже не спрашиваем, с какой, собственно, стати содержим хунвейбинов на собственные деньги? Мне как-то не очень уютно сознавать, что частично и я содержу этих негодяев.

Но общественное мнение абсолютно подавлено. Никто ничего не знает и знать не хочет. А если о событии не знают, — значит, этого события просто нет. Нет никакой Политковской, нет никакой Эстемировой, нет никакого Магнитского... для миллионов россиян — нет! А раз нет, значит, это будет продолжаться каждый день. Случай с Магнитским довольно выдающийся, но вообще-то в СИЗО мрет ежегодно такое количество людей — четырехзначные цифры приводились в журнале «The New Times». Четырехзначные! И это не является предметом рефлексии в обществе: мрут и мрут...

Чем еще славен этот год?

Продолжается суд над Ходорковским. И, судя по тому, что сказал Путин, третьим делом будет дело об убийстве: раз премьер-министром лично сказано, что за Ходорковским пять доказанных убийств, — значит, будет пять убийств. Не может же такого быть, чтобы Владимир Владимирович Путин — солгал! В приговоре Пичугину имели место «неустановленные лица» — так сейчас установят! С нашей системой правосудия, когда суд не видит ежедневных прямых подлогов прокуратуры, — установят очень быстро...

Не могу в очередной раз не отметить, хотя бы в скобках, — уж больно запоминающаяся, эмоциональная вещь: как же все-таки Путин боится Ходорковского! Это просто бросается в глаза. Каждый раз на «Прямой линии» возникает эта тема, и каждый раз его прорывает. До этого все час за часом течет гладко, мило, — встреча дедушки Мороза со слабоумным детсадом, — и вдруг на слове «Ходорковский» начинает переть эмоция. И я, как Станиславский, говорю: верю! Каждый раз — новый поток обвинений: то Ходорковский продал Кондолизе Райс наш ядерный щит, то обворовал российских пенсионеров, теперь вот уже и убийства за ним... И видно: что-то тут у Владимира Владимировича личное. Это уже не по работе, это от души... До чего же он боится встречи с Ходорковским на свободе!..

Наверное, начиналось все вполне рационально, но в свете поразительного поведения Ходорковского, его человеческого и общественного роста, превратилось для Путина в настоящий кошмар. И в самом деле, то, что случилось с Ходорковским и с биографической, и с человеческой точки зрения за это десятилетие, сделало его абсолютно уникальным человеком. Поразительно, что самые содержательные диалоги, самые мощные попытки осмыслить происходящее и нащупать для России какие-то пути рационального выхода из ситуации исходят из Краснокаменской колонии и из СИЗО, — я имею в виду диалоги с Чхартишвили, с Улицкой и, прежде всего, со Стругацким. И чего стоят рядом с этим уровнем анализа все президентские гладкие речи и премьерские пиар-путешествия с раздачей подарков?! Это по масштабу и близко не сопоставимо.

Да, Ходорковский — это, конечно, настоящий личностный путинский кошмар: self-made-man, богатый, красивый, талантливый, очевидно свобод-

ный... И видно, как тяжело со всем этим Владимиру Владимировичу. Как ему горько от мысли, что на свете живет такой человек...

Но вернемся к 2009-му.

Еще раз повторю: давайте смотреть на факты. Ничего не меняется: Ходорковский сидит, правозащитников и журналистов убивают, премьер-министр беседует с народом... Есть несколько имен собственных, которые описывают текущую ситуацию: Ходорковский, Кадыров, Чуров. Есть несколько имен собственных, статус которых фиксирует точку, в которой находится страна. И пока Кадыров — герой России, глава субъекта федерации и член правящей партии, Чуров — глава ЦИК, а Ходорковский — заключенный, до тех пор мне совершенно не интересно, какое выражение глаз в очередной раз увидели мои демократические коллеги у нашего демократического президента и какое слово им этот президент сказал.

И в этом смысле, возвращаясь к походам моих друзей в Кремль, я хочу сказать: если бы все эти люди, которые приходят к демократическому президенту Медведеву послушать про то, что свобода лучше, чем несвобода, — и сотни тысяч других людей, которые так считают на самом деле, — если бы все они просто встали у Хамовнического суда и стояли там каждый день, — это был бы серьезный шанс изменить ситуацию! Я серьезно верю, это — в смысле эффекта. Татаро-монгольское иго кончилось, как известно, стоянием на реке Угре. Выясняется, что иногда можно обойтись без битвы, хватает одной демонстрации силы: вот мы тут стоим и не уходим. Охота соваться — суйтесь.

И если бы, когда посадили Лимонова, при всей нашей общей симпатии к этому политическому персонажу... — ведь его посадили не за то, что он бомбу метнул, а за то, что собирался принять участие в митинге в защиту 31-й статьи Конституции (защищающей право на митинги и демонстрации), то есть, строго говоря, за то, что он осуществлял свое конституционное право, не так ли? Так вот, если бы у Петровки, или у Верховного суда в тот же вечер встали бы двести-триста человек, известных, заметных, — «чистой публики», — с требованием освободить Лимонова — и стояли бы, и не уходили, Лимонов, я совершенно уверен, был бы освобожден на вторые сутки. И это означало бы серьезную победу и продвижение в сторону правового государства — и, парадоксальным образом, в сторону от лимоновской идеологии! Продвижение десятикратное по сравнению с бесконечными встречами общественности с президентом, которые знаменуют собой как раз движение совершенно в противоположную сторону, ибо создают иллюзию прогресса при фактическом топтании на месте.

Взаимодействовать с властью нужно. Тут я с коллегами согласен. Вопрос только в том, как взаимодействовать. Валенса и Михник тоже взаимодействовали с властью, только власть понимала, что в этом взаимодействии она — не восточный владыка, принимающий подданных, а объект давления. Сергей Гандлевский замечательно заметил, что власть, как газ и тараканы, занимает весь предоставленный объем: как только общественное давление отступает, это пространство немедленно заполняется властью. Это как с пьяным хамом в метро: невозможно оказаться от него на безопасном расстоянии. Ты отодвинешься, он подвинется к тебе, и ты ничего не выиграешь, а только потеряешь инициативу и пространство: тебя понемногу

загонят в угол. А из вагона не уйдешь — в нашем случае, по крайней мере. Разве что в эмиграцию, так это — уже вовсю: полмиллиона русских в Лондоне — это как раз и есть ушедшие из вагона с хамом.

Я, честно говоря, пока не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы все кончилось хоть мало-мальски хорошо. Изменения сверху были бы возможны, если бы новая элита не была так намертво завязана со старой. Что бывает с людьми, которые нарушают «шашлычное соглашение» (заключенное Путиным с олигархами по приходе во власть и гласящее: «в политику — с моего согласия»), все видели на примере Ходорковского. И никому неохота. Внизу же нет — демонтированы начисто! — никаких мягких европейских механизмов давления, обеспечивающих эволюционный путь. Нет общественных движений, партий, прессы, суда, выборов... Значит, снизу может прийти только бунт. Значит, человек, который категорически чем-то недоволен, будет либо спиваться, либо, если он настроен бороться, — взрывать. Потому что ничего другого ему система не предоставляет.

Говорят, один из убийц Маркелова и Бабуровой дает сейчас признательные показания: он не собирается скрывать, что убил врага русского народа Маркелова. Он уверен, что выйдет на свободу народным героем. Он уверен, что народ в большом ажиотаже и в очень скором времени поднимется. Тут он ошибается, но одна из серьезных «мин», которые могут взорваться завтра, действительно заключается в том, что происходящее сегодня формально происходит — «при демократах». Риторика-то демократическая! Значит, когда все накроется ржавым тазом, критика автоматически обрушится на демократию как систему: вот до чего опять демократы довели Россию! вот вам ваши либеральные ценности! Демократы... Нургалиев, Грызлов, Патрушев, Чуров, Рамзан Кадыров и Олег Добродеев...

Когда вся эта мерзость подается к столу под соусом демократии, то изменения могут произойти, увы, в сторону, довольно противоположную нашим планам. Шанс у либерализма есть только в эволюционной среде, в диалоге. В мордобое — ни одного шанса. Самый умный может победить — в неторопливом диалоге. В ситуации, когда все несется под откос, шансов нет ни у Гавела, ни у Ганди. В октябре 1917 власть взяли не демократы, а большевики с их простыми и лживыми лозунгами. И у нас протестное движение возглавит в лучшем случае майор Дымовский. И это еще в лучшем случае! В худшем... — ну, запасы там большие.

В ситуации бурления наверху непременно появятся негодяи. Причем в это раз России может не повезти: негодяй может попасться искренний. Это в девяносто шестом нам повезло: негодяй попался номенклатурный и трусливый. Но история знает достаточно много примеров прихода во власть вполне искренних негодяев, способных кинуть хорошую искру в сухую солому.

И мы можем дождаться именно такого.

В поисках жанра

Он начинал как полноценный герой-злодей, вызывая ненависть и уважение (иногда у одних и тех же людей). Странные, подозрительно своевременные взрывы домов, вторая чеченская, закатанные под асфальт СМИ,

безжалостная аннигиляция политических конкурентов, стремительное единовластие... Демонстративная брутальность — ужас одних и захлеб восторга других... «Она утонула». «Мочить в сортире». «Отрежем, чтобы не выросло». «Замучаетесь пыль глотать». Курск, Норд-Ост, Беслан... Нет человека — нет проблемы. Нет заложников — нет террористов — нет суда — нет вопросов... Круто. А что беззаконно на каждом шагу — так напугали бабу высокими каблуками! Чай, не Бельгия. Великая страна, потерпит еще. Но абсолютная власть развращает абсолютно, и, в полном соответствии с исторической наукой, на втором президентском сроке «наше всё» вошло в фазу стагнации. Крошка Цахес превзошел гофмановские фантазии — он поверил в реальность своего же пиара. «Потеря критики» перешла из социальной области в медицинскую. Он спутал себя с ценой на нефть; ему показалось, что растет — он. Пятиминутная овация на съезде «Единой России», при ста сорока долларах за баррель и совсем незадолго до появления на горизонте ржавого таза, которым все наконец накрылось, была кульминацией того, первого путинского жанра... Походив кошечкой вокруг горячего антиконституционного молочка, на третий срок наш герой все ж таки не пошел, хотя толпы специально отобранного народа во главе с адвокатом Астаховым на всякий случай положены были ниц у Спасских ворот и только ждали отмашки на решительное размазывание слюней по щекам... Не решился Владимир Владимирович. Больно горячее было молочко. Пришлось уходить. Трудно рулить, сидя на пассажирском месте, но надо. Это Рома — соскочил и сидит себе на стадионе «Стэмфорд Бридж», улыбаясь застенчивой улыбкой непойманного негодяя. А тут хрен соскочишь! Только отпусти рычаги, тут же из машинки высадят, сачок снизу подведут — и за жабры. Тот же генпрокурор Чайка первым законность на лице и изобразит. А в статьях УК РФ, между нами говоря, изгваздалось «наше всё» за восемь лет президентства по самое не могу. Пока вертикаль набухала, ни в чем себе не отказывал. Один «Байкалфинансгруп» — уже выходит в особо крупных размерах (кто за язык-то тянул? расслабился, видать)... И Беслан, прокуратурой не початый, в пепелище лежит, не велит молиться на царя-ирода. Теперь он нервничает. И изо всех сил пытается рулить, просовывая ноги с пассажирского места к отваливающимся педалям. И при каждом удобном и неудобном случае старается закрепить в подданных былые условные рефлексы, — чтоб помнили, кто в доме хозяин! Хамит министрам под телекамеры Первого канала. Устраивает телевизионный «чес» по просторам загибающейся Родины, прихватив с собой чудесный мешочек бюджетного финансирования; сверкая глазами, играет с Дерипаской сцену из художественной самодеятельности, учреждает, посередь кризиса, заповедники в Арктике, корректирует образ Чацкого, поправляет полотна Глазунова, делает замечания святым... И в каждом сюжете только одно желание — громче крикнуть на всю страну: «Я главный!» Это уже не шекспировская хроника, а водевиль какой-то, — вот только цена за представление начинает, кажется, раздражать даже самую смирную публику.

(«The New Times», № 24, 24 июня)

Тишина

Они опять сделали это! Первый канал снова попался на подлоге — в документальном фильме, посвященном первой годовщине войны с Грузией. Что характерно, ложь была посвящена разоблачению лжи в западных СМИ... Истошный крик «держи вора» — испытанный метод: еще свежо в памяти благородное негодование годовалой давности, когда российский эфир был заполнен инвективами в адрес ведущего канала Fox. Негодовали, заметим, те же люди, которые только что показывали сожженные грузинские села под видом осетинских. Пленку Fox в российском эфире тоже невзначай переозвучили... Так Шура Балаганов лез в чужую сумочку, не имея в этом практической необходимости. Рефлекс! Но речь не об очередной порции государственной лжи. Речь о том, как это отозвалось в нашей общественной акустике. А не отозвалось — почти никак. Кроме нескольких недобитков-журналистов, никто и головы в ту сторону не повернул: соврали и соврали, тоже мне новость! По фигу, по фигу... Приятная вялость давно уже объяла общественные члены. Ничего удивительного. Когда, вслед за НТВ, власти затоптали еще две независимые телекомпании, я обнаружил интересную психологическую разницу в собственной реакции на произошедшее. Ибо первое изнасилование — это трагедия, а сто восьмое подряд — это, согласитесь, уже обстоятельства жизни. Солнце взошло, пришли, изнасиловали... Но это же не повод, чтобы не позавтракать! Спасительное психологическое отупение последнего десятилетия впрямую связано с уничтожением нервной системы общества — свободных СМИ. Достаточно проследить последовательное угасание общественной реакции на гибель «Курска», гибель заложников в «Норд-Осте» и Беслане, притом что число погибших неизменно росло. Гибель «Курска» крепко накренила юный путинский режим — так сдетонировала трусливая начальственная ложь в стране, где еще было независимое НТВ и десятилетняя привычка к живому обсуждению проблем. Через четыре года расстрел детей-заложников из федеральных танков и огнеметов (чтобы, не дай бог, не вернулся в политическую жизнь Масхадов) только привел к росту путинского рейтинга. Общественный нерв был вырезан с мясом; сигнал до мозга не дошел до сих пор... А уж сегодня начальство и холуи из информационной обслуги могут смело «гулять по буфету»: никто их оттуда вон не выведет. Классика психиатрии: преодоление когнитивного диссонанса. Если перекособочило систему координат, надо встать под тупым углом самому, чтобы не кружилась голова. И на сообщение о лжи Первого канала интернет-форумы сдетонировали привычным хором: ну и что? да ладно вам, а то они там, на Западе, не врут! Неврастеничная реакция закомплексованного человека... Сам дурак. На себя посмотри. От такого слышу. Кто обзывается, тот сам так называется. Нам про Катынь — мы про зверства белополяков. Кучерена защищает права американских избирателей, Первый канал разоблачает ложь агентства Рейтер... Все сволочи, а мы — лучшие, лучшие, лучшие! Повтори, как мантру, еще сто раз — авось поверишь. Зажать себе нос и не отвлекаться на показания чужих рецепторов. Плохо пахнем? Себя понюхай, папаша! Они, конечно, тоже пахнут не розами. Только с общественным обонянием дело там обстоит довольно

неплохо, и слово «Гуантанамо» было быстро выучено миром благодаря американским журналистам, и из английской палаты лордов сами же англичане пинками погнали коррупционеров, и пока мы тут до полного остолбенения укрепляли вертикаль, на проклятом Западе сменялись администрации, порой довольно кардинально... И если бы CNN поймали на такой лжи, на какой поймали Первый канал, CNN пришлось бы ползать в ногах у аудитории. Но невозможно ползать в ногах у того, кто лежит ничком.

(*«The New Times», № 29, 24 августа*)

Тьма египетская

Плакат в метро. Большими буквами: ЕГИПЕТ. Я ЭТО ЗАСЛУЖИЛА. Задумывалось, поди, как реклама турагентства, но в день выборов смотрелся плакат довольно нравоучительно. Я прочитал, прикинул: ну да, Хосни Мубарак у власти почти тридцать лет... Верным путем идете, товарищи! Закон сохранения — рабства, в данном случае: если один народ из Египта выходил, почему бы другому не рвануть туда добровольно? ...Интересно, они хоть сами отдают себе отчет в том, что это полный суэц? Или длительное пользование Первым каналом довело до галлюцинаций и самих хозяев волшебного ящичка? Не знаю. Комментировать так называемые выборы в терминах традиционной политологии невозможно. Удивленно всплескивать руками на десятый год непрерывного жульничества — значит признаваться в собственной неадекватности. Юношу, подошедшего к наперсточникам, можно считать наивным первые два-три дня. Человек, ходящий к наперсточникам до старости, — идиот. Либо он в доле. Десятилетие — круглая дата; можно подводить итоги, не так ли? Уважаемый Чубайс А. Б.! Отдаете ли Вы себе, наконец, отчет, что десять лет назад чекисты «развели» Вас и Ваших коллег по СПС, как лохов, въехав в Кремль в значительной степени на вашей поддержке? Что после этого они «разводили» вас еще много-много раз, в несколько приемов измельчив одну из двух демократических партий России в мусорную пыль типа масона Богданова?.. Уважаемый Явлинский Г. А.! Отдаете ли Вы себе отчет, что «Яблоко» уже давно является декорацией в путинском театре и что персонально Вас с Вашим многолетним дуализмом в отношении довольно цельной фигуры Путина В. В. тоже «развели» и использовали? Отдаете ли Вы себе отчет, что незатейливый г-н Митрохин (заступник еще более незатейливого г-на Лужкова) во главе «Яблока» — это потеха, доставляющая радость всем, кроме вашего электората, которым когда-то был я, мои родители, большинство моих друзей... Дорогая элита — артисты, писатели, ученые! Отдаете ли вы себе отчет, что в России начала нового века обошлось бы как минимум без Беслана и политзаключенных, если бы серые лубянские физиономии новейших пришельцев во власть не светились многие годы отраженным светом десятков ваших блестящих репутаций? Уважаемые члены партии «Единая Россия» — не из номенклатурной пыли и голимой попсы, а из тех, кто вступил туда по партийно-советским лекалам, для расширения поля профессиональной реализа-

ции... Отдаете ли вы себе отчет, что укрепили собой тьму египетскую, что за грамм принесенной пользы уже заплачено и будет еще заплачено пудами бесправия, позора и насилия по всей стране? Я спокоен за Федора Бондарчука и Алсу с Бабкиной, но не тревожит ли перед сном, скажем, гг. Калягина, Меньшова и Райкина, что их однопартийцем является Рамзан Кадыров? Вам рассказать его биографию, господа, или сами пошарите по интернету? Или вам кажется, что особенности этой биографии не будут иметь отношения к вам лично? Ну это как повезет, господа. Но что еще должно произойти, чтобы это кровавое средневековье отразилось на ваших творческих планах? «Под собою не чуя страны...» — диагностировал Мандельштам в начале тридцатых. Не чующие страны — население, а не граждане... Такая страна — не жилец. Максимилиан Волошин сформулировал это на десять лет раньше: «С Россией кончено...» В начале девяностых показалось, что Волошин все-таки ошибся. Но увы, снова «прогалдели, проболтали...» Надежда еще будет мелькать солнечным лучом — она умирает последней. А пока... ЕГИПЕТ. Я ЭТО ЗАСЛУЖИЛА.

(*«The New Times», № 37, 19 октября*)

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике
третьего квартала 2009 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями (находя их в бумажной прессе и в Рунете), отличающимися либо оригинальностью и глубиной анализа, либо концептуальной четкостью, либо просто симптоматичностью. В этом обзоре предлагается изложение наиболее примечательных публикаций с сайтов apn.ru, apn-spb.ru, chaskor.ru, ej.ru, e-xecutive.ru, gazeta.ru, grani.ru, inLiberty.ru, liberty.ru, russ.ru, specletter.com, vz.ru, а также статей в бумажной прессе.

Общество

Алексей Верижников (**«Современность по-русски»** — E-xecutive, 29 сентября) характеризует нашу страну весьма некомплиментарно. Начиная с XVIII века Россия функционирует как общество, пытающееся осмыслить себя в рамках западного дискурса. Все основные политические, философские и литературные идеи пришли к нам с Запада, однако бытовая и политическая основа у нас восточного типа — та, что досталась от Золотой Орды. Так возникает коллизия двух идентичностей (культурной западной и политико-бытовой восточной). Русские, пишет Верижников, *с удовольствием берут из корзинки глобализации яркие тряпочки, но оставляют на ее дне тяжелый кирпичик «западных ценностей» (индивидуализм, ответственность, верховенство закона). И не потому, что западные ценности им не нравятся из каких-то принципиальных соображений,.. а в связи с тем, что эти ценности никак не стыкуются с повседневными бытовыми реалиями. Например, в России сколь угодно долго можно кричать о «гражданском обществе» и «верховенстве закона». Но если нужно решить вопрос в какой-нибудь инстанции, то лучше все-таки задействовать своего влиятельного знакомого (клановость) или постараться предложить взятку (коррупция). А если не задействовать ни того, ни другого механизма, то просидишь ты в длинной очереди несколько часов, нахамят тебе в лицо, и останешься ты при своих.* И как резюме: наш народ любит перемены, но это должны быть перемены *исключительно «карнавального» свойства* — не перемены, а скорее, переодевания: *«к черту старье!», «такого больше не носят» — вот культурный код для осмысления понятия «современность» в России. <...> Погудел-повеселился, покричал-покуражился, повесил на гвоздик костюм арлекина, переоделся снова в спецовку/корпоративную униформу и пошел себе на завод/в присутствие удваивать ВВП и укреплять «суверенную демократию».*

В отсутствие независимых источников информации, пишет директор Аналитического центра Юрия Левады **Лев Гудков** (**«Пропаганда: Безответственность власти»** — «Ведомости», 30 сентября), опросы общественного мнения фиксируют *не столько динамику настроений и представлений обще-*

ства, сколько эффективность государственной пропаганды. Каков же осадок этой пропаганды в общественном сознании? Если отбросить риторическую шелуху, отмечает Гудков, то реальные интересы власти сводятся к *рутинизации изменений, имевших место за последние 20 лет, и удержанию власти.* Начиная с 2003 года политическая стратегия имеет два основные направления: 1) *симуляция политики модернизации при фактическом отказе от проведения основных институциональных реформ* и 2) *традиционалистская имитация «большого стиля» великой державы.* Авторитаризм, отмечает автор статьи, особенно нуждается в традиционализме. Неверие *в то, что жизнь может быть устроена иначе, чем в советском обществе, парализует всякое политическое действие <...> деисторизация или мифологизация массового сознания способствуют воспроизводству патернализма. Сохранение образа мудрой, стоящей над обществом власти,.. не предполагает каких-либо механизмов контроля, а значит, освобождает ее от ответственности перед населением.* С этим связано *пассивное выживание* как повседневная жизненная стратегия, характерная для массовой адаптации к изменениям. Ни о соучастии в политике, ни о солидарной активности гражданского общества и речи не идет. Открытая конкуренция групп, институтов и политических сил подавляется образом общества как семьи, что предполагает также *девальвацию частного, специфического существования, автономных ценностей любой подсистемы общества.*

Можно посмотреть, пишет Гудков, как система пропаганды работает на отдельные участках, и попробовать оценить ее результативность. Вот, к примеру, систематически и настойчиво внедряемая в общественное сознание *идея тихой реабилитации Сталина как великого государственного и национального деятеля*, пусть и не лишенного отдельных недостатков. По данным центра Левады, сумма позитивных оценок роли Сталина составляла в 2001, 2006 и 2008 годах соответственно 38%, 36% и 31%; сумма негативных суждений оказалась 43%, 38% и 23%. Иначе говоря, уменьшилось число как тех, кто был настроен антисталински, так и тех, кто настроен просталински. Зато увеличилась общая масса равнодушных: количество ответивших «безразлично» и затруднившихся с ответом выросло с 18% до 47%. Это мнение стало доминирующим. Среди молодежи, тех, кто является главным объектом идеологической обработки, рост безразличных — самый большой: с 26% до 59%. (К слову, самой восприимчивой к действию пропаганды группой оказалась интеллигенция, а именно *люди с дипломом о высшем образовании, сервильная и государственническая элита.* В этой среде сталинские симпатии выросли с 20% в 2001 году до 31% в 2006-м). Можно сделать некоторые выводы *о функциях того ведомства, которое связывают с сурковской пропагандой*, — резюмирует Гудков. — *Она не ведет к реабилитации тоталитарного режима или его вождей, она подрывает основы моральной оценки прошлого и настоящего, лишая смысла саму идею ответственности власти за проводимую ею политику. <...> нынешняя пропаганда направлена исключительно на поддержание состояния аморализма и беспринципности, равнодушия к общественным вопросам и проблемам, отчужденности от политики.*

Специфический модус массового сознания фиксирует **Виталий Портников** в статье **«Жизнь на "Курской"»** (Грани.Ру, 4 сентября). Как известно,

25 августа была открыта после реконструкции станция «Курская — кольцевая» Московского метрополитена. До ремонта ее вестибюль украшали две строки из советского гимна:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил,

а теперь пассажиров встретили другие строки из той же строфы:

Нас вырастил Сталин на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

В связи со скандальным появлением строки со сталинским именем Портников пишет: *никто не ожидал, что вот так, без многолетних дискуссий и согласований, без начальственного приказа появится уже забытая строка самого первого михалковского гимна под тяжелыми сводами подземки. А между тем, чему удивляться? Разве Россия только что приехала на «Курскую»? Разве не живет она на «Курской» все эти годы, лишь иногда выезжая на подмосковную дачу или в Анталью? Разве российское общество определилось в своем отношении к кошмару, происходившему в растерзанной большевиками стране все эти десятилетия? <...> Так что под сводами станции метро «Курская» написана не просто строка из позабытого гимна. Там выбита правда.*

Конечно, продолжает автор, *хорошо бы, чтобы и в церковь ходить, и Сталина любить, чтобы и генерал Деникин был наш герой, и маршал Ворошилов.., чтобы и крест, и партбилет, чтобы осудить злодеяния сталинизма прямо под памятником вождю. И главное — чтобы все это происходило одновременно.* Портников диагностирует: *Это раздвоение личности каждого бывшего советского человека, не желающего примириться с мыслью о позоре и кошмаре, в котором пришлось жить каждому из нас. Не желающего видеть, не желающего знать, не желающего каяться, не желающего жить завтрашним днем, в котором нет никакого Сталина, никакого советского гимна, никакой лжи, никакой крови, никакого желания подмять под себя, доказать, что прав только сильный, а удел слабого — рукоплескать и радоваться. И пока этого нового мира не возникает, огромная страна продолжает ютиться в подземельях метро, все еще веря, что искусственный свет старых ламп и каменные буквы большевистских лозунгов могут заменить настоящее солнце и настоящую правду.*

Народную апологию сталинизма **Евгений Ихлов** в статье **«Две дорожки к стенке»** («Ежедневный журнал», 2 сентября) мотивирует двояко: *У более старших — хрустальная мечта о расправах с ответработниками, толстосумами, инородцами и интеллектуалами. <...> У более молодых — почти эротические грезы о «пацанском» внешнеполитическом курсе: всем — показать зимовку раков, всех — на колени, сбросить на гадов бомбу.* Но в любом случае, замечает Ихлов, *это стремление к грандиозной и, возможно, последней в жизни нашей несчастной страны исторической катастрофе — массовому террору или полноценной войне.* Автор прогнозирует: это случится совсем скоро, когда подсознательный ужас перед деспотизмом забудется и на сцену выйдут поколения next — *свежие, как молодой редис, незатейливые, как грабли.* И репетицию этого «*нового прекрасного будущего*», по мнению Ихлова, Россия

видела уже дважды: а именно то *почти животное удовлетворение,* которое охватило страну после ареста Ходорковского и после вторжения в Грузию. Вот только, считает автор статьи, народ-то способен пережить многое, да у нынешней правящей элиты исторических шансов нет ни при каких вариантах торжества сталинской внешней и внутренней политики: *То, что останется после чисток и «точечных» бомбардировок, будет тщательно выкорчевано — либо народно-революционным правительством с его бесконечными списками на люстрации; либо оккупантами; либо (что они примут за великое счастье) администрацией натовских миротворцев с их дозированным гуманизмом и тщательной программой детоталитаризации.*

Свое объяснение тому, почему так много людей столь сильно привязаны к Сталину, дает **Денис Драгунский** в статье **«Точка идентичности»** («Частный Корреспондент», 1 сентября). Он пишет: *наш человек стал глядеть в Наполеоны. Он перестал быть равен самому себе. Он возмечтал о славе, богатстве и могуществе. То есть о власти. Всеобщей, глобальной, безграничной и беспощадной, что особенно важно. <...> Он стал в своих фантазиях сильным, жестоким и бестрепетным. Стал Сталиным в себе и даже отчасти Сталиным для себя, как сказал бы философ гегелевской школы. Но поскольку в реальности такое перевоплощение невозможно, наш бывший маленький человек нашел в недавней истории свою точку идентификации: образ вождя народов. А также точку зрения, обратите внимание. Почти все исторические и социальные суждения наших современников делаются как бы с властной вершины. Люди охотно становятся на место власти, которая, бедняжка, просто вынуждена была сгонять крестьян с земли, закрепощать рабочих на фабриках и бросать почти безоружных солдат навстречу гитлеровским танкам. Но они почти никогда не становятся на место тех, кого сгоняли, закрепощали, кидали на смерть. Люди в своих фантазиях «рулят и разводят» (виноват, «вяжут и разрешают») кого-то другого, кого они сами за людей-то и не считают. Между тем это они сами и есть.*

Совершенно иначе видится общество **Илье Мильштейну** (**«Крот в пустыне»** — Грани.Ру, 13 октября). Он считает, что в обществе снова возникает способность *воспринимать начальственное вранье и подлоги как личное оскорбление.* Такое впечатление оставил у автора осенний голосовательный марафон. *Стране осточертело данное государство,* — пишет Мильштейн. — *Потрясенная кризисом, абсолютно отчужденная от власти Россия выглядит смертельно уставшей от унижений и тотальной пропагандистской лжи. <...> страна меняется. Страна в тоске наблюдает весь этот суверенно-демократический маразм.* Однако вопрос «что делать?» пока остается без ответа. *<...> Общество тычется вслепую, и перестроечный слоган «так жить нельзя» ныне заменен растерянным «а как вообще можно?». Медведев — пустое место, жизнерадостный блогер, компьютерное дитя при жестоком, стареющем регенте. Регент надоел. Запрос на новых политиков очень силен, но они выдавлены из власти, придушены в зародыше, их нет. Ностальгические воспоминания о старых демократических брендах непопулярны, да и где они, эти бренды? <...> Обнадеживают лишь воспоминания. О временах тт. Долгих, Капитонова, Катушева, Соломенцева, Пельше и дорогого Леонида Ильича, которые казались вечными, но кончились так скоро и (бес)славно, что сегод-*

ня даже трудно представить, как мы жили при перезрелом, гниющем, заржавленном совке.

Об интеллигенции в России не весьма лицеприятно и, в сущности, весьма упрощенно рассуждает **Виктор Мартьянов** (**«Взлет и упадок»** — «Частный Корреспондент», 7 августа). Он рассуждает так: *в советское время интеллигенция, получив официальную прописку в общественной структуре советского общества, как отдельная социальная группа — прослойка между рабочими и крестьянством — достигла пика своего влияния, во многом формируя государственную идеологию. Служение власти, демонстративное отстранение от нее в виде «нейтральности» и аполитизма или же оппозиция власти представляли всего лишь различные тактики ее присвоения, накопления символического капитала и выполнения идеологической функции. Поскольку интеллигенция, как и любая социальная группа, исторически стремилась превратить свою образовательную, просвещенческую роль в функцию превосходства. В первую очередь это проявлялось в тактике морализации политики, что давало ей право на власть, право указывать, что хорошо, а что плохо для всего общества.* <...> Однако *ко второй половине XX века модернизация в целом завершилась, ее задачи были выполнены, общество преобразилось, а функция интеллигенции как прогрессора, агента индустриальной модернизации страны оказалась исчерпана. Интеллигентское просвещение «темного царства несвободы» более неуместно. Люди общества модерна в большинстве своем... не нуждаются в интеллектуальном менторстве. Более того, сама модель управления обществом электронной демократии является по своей сути предельно прямым взаимодействием власти и вышедших на арену публичной политики образованных масс, не нуждающихся более в интеллигенции как в общественных посредниках и «пикейных жилетах».* Ну вот и приехали. Чего-то важного, кажется, не схватывает Мартьянов в своем предмете.

Авраам Шмулевич на сайте АПН в статье **«Россия: государственный компрадорский капитализм и интеллигенция»** (10 августа) со своей стороны обращает внимание на то, что подавляющее большинство интеллигентов-интеллектуалов, духовенство всех официально признанных конфессий и даже политическая оппозиция чувствуют себя в существующей системе очень уютно и явно не желают никаких перемен, кроме, разве что, косметических. Отчего так? *В России построен почти классический режим государственного компрадорского капитализма,* — считает Шмулевич. — *Причем экономическую основу его составляет не транзитная торговля и не производство чего-то возобновляемого (хотя бы бананов), но тупая продажа содержимого природных недр. Соответственно, и для того, чтобы оказаться в составе правящего класса этого режима, нужно обладать умением присосаться к «трубе», оттолкнув ногами конкурентов. Остальные умения — излишни и даже вредны, так как отвлекают силы от главного.* <...> *Какова экономика, таков не только правящий класс, но такова и обслуживающая его интеллигенция, и «окормляющее» его духовенство и встроенная в систему этого класса «конструктивная оппозиция». Система, в общем, получается гармоничная, все довольны. Проблема только с несознательностью масс. Глаз да глаз за ними нужен.*

Сергей Шелин обращает внимание на беспамятство российского общества (**«История так и не началась»** — Газета.Ru, 19 августа). Путч 1991-

го и дефолт 1998 года с одинаковой быстротой были забыты. Два главных события «лихих 90-х» почти полностью испарились из памяти нашей публики. Уже в 2001-м, к десятилетнему юбилею ГКЧП, 61% опрошенных россиян затруднились назвать хоть кого-нибудь из его членов. А каждый второй из тех, кто взялся отвечать, перепутал. Только 16% верно назвали хотя бы одну фамилию. Всего 4% опрошенных смогли тогда, например, вспомнить Геннадия Янаева, — между прочим, официального главу путча, провозглашенного и. о. президента СССР. Забыты и действующие лица из противоборствующего лагеря. Бурбулис? Челноков? Хасбулатов? Бакланов? Павлов? За вычетом Бориса Ельцина, все забыты с обеих сторон. Шелин замечает, что самое удручающее вовсе и не в том, что со временем симпатии к ГКЧП выросли. Дело в другом: общество, в котором есть разные мнения, уж точно живее, чем то, в котором никаких мнений нет; движение же происходило и происходит именно в сторону равнодушия. К 2006-му число не имеющих своего мнения об общественном вреде или пользе ГКЧП увеличилось до 58% среди всех опрошенных и до 67% среди молодежи. *Поступчевое поколение не столько одобряет или осуждает, сколько вообще не желает знать, из-за чего был сыр-бор. Точнее, по-своему знает: это, дескать, была обычная начальственная разборка-дележка, в которую зря втянулись рядовые люди, хотя к их делам она касательства иметь не могла. Более убогого и бессильного взгляда на грандиозные события 91-го года придумать просто нельзя. Наивный цинизм, утвердившийся у нас в качестве хорошего тона, — это вовсе не горький общественный опыт, за который он себя выдает, а наоборот, отказ от всякого опыта и готовность покорно подчиняться любым импровизациям начальства.* И точно так же не был извлечен урок из августовского финансового обвала 1998 года, хотя он уж точно коснулся каждого. Однако перетерпели и расторопно забыли. Год назад, не получая подсказки, а просто услышав вопрос: «*Какие события происходили в России в августе 1998-го?*» — только 36% россиян дали более или менее верный ответ. Остальные забыли. Если же респондентам сначала напоминали о дефолте, а потом интересовались, сильно ли они от него пострадали, то память у многих начинала работать, но тоже своеобразно. В августе 1999-го, через год после обвала, 90% опрошенных сообщали, что в 1998-м они или их семьи пострадали, и лишь 7% заверили, что нет. А вот на пике жирных лет, в августе 2007-го, образ дефолта радикально смягчился: доля пострадавших от него упала до 51%, а число тех, кто ответил, что дефолт не причинил им ущерба, взлетело до 43%. Доля утверждающих, что они тогда не пострадали, уменьшилась в нынешнем августе, под напором свежих впечатлений, до 26%, в то время как число вспомнивших, что в 1998-м они-таки пострадали, поднялось сегодня до 59%. Но при всем при этом накануне нынешнего кризиса, демонстрируя гораздо более высокую, чем у начальства, способность предчувствовать обвал, широкая публика ждала развития событий с полной пассивностью и покорностью судьбе. Воспоминания о 1998-м оказались почти так же туманны и так же не превратились в общественный опыт, как и воспоминания о 1991-м. Если опыт не помнят, а уроки не извлекают, история ходит по кругу, раз за разом повторяясь.

Статья-манифест президента **Дмитрия Медведева «Россия, вперед!»**, впервые появившаяся на сайте Газета.Ru 10 сентября, вызвала немало откликов, которые частично оценивали реалистичность намерений власти, а частью — содержали оценки настоящего и проекты будущего, в чем-то совпадающие с видением президента, а в чем-то и расходящиеся с ним. Не будем ни пересказывать статью, которая есть в некотором роде факт действительности, ни реферировать отклики на нее, отправим читателя к сетевым и бумажным СМИ, которые представили панораму мнений.

Следует лишь заметить, что в прикремлевской общественности кипят споры о реальном содержании понятия ***«медведевский авангард»***. Характерным образом обозревает ситуацию **Тарас Бурмистров** на сайте Либерти (статья **«Креативный класс и "медведевский авангард". К промежуточным итогам дискуссии интеллектуалов»**). Он поясняет, что впервые словечки «авангард» и «авангардизм» в этом контексте зазвучали в статье **Сергея Митрофанова** на Либерти, где было сказано, что наша общественная жизнь должна сейчас принять характер — *«в меру веселый, в меру раскованный, в меру парадоксальный, в меру авангардистский, в меру политизированный»*. Примерно тогда же появилась статья **Александра Морозова** в «Русском журнале», посвященная тому, что автор назвал *«медведевским большинством»*, способным *«вытащить страну из господства теневой политики и связанной с ней коррупции, из доминирования корпоративной морали, из страха населения перед чиновничеством, а чиновничества — перед всесилием прокуратуры, действующей из политических или корпоративных интересов»*. Еще громче эта тема прозвучала в интервью **Глеба Павловского**, в котором он сказал: *«Я считаю, что идеальная политическая формула на будущее — медведевский авангард во главе путинского большинства! Это то, что нам сегодня нужно»*. Одним из первых откликнулся главный редактор Либерти **Вячеслав Данилов**, написавший в своем блоге: «*"Медведевский авангард" — это про нас, на самом деле*». Сам Бурмистров дает банальное пояснение: *Когда Путин и «путинское большинство» нашли друг друга (а «путинское большинство» существовало в стране задолго до прихода Путина, это была прослойка людей, которая хотела «советской стабильности на несоветской основе», — очень многочисленная, как позднее выяснилось), так вот, когда они нашли друг друга, это придало нашей государственной конструкции колоссальную прочность, но одновременно уничтожило едва ли не все возможности для общественной жизни в стране. Формула стабильности была найдена, но обе стороны так дорожили этой формулой, что предпочитали вообще ничего не трогать — даже и дороги на всякий случай не строить, вдруг что-то развалится по обочине.* Но кризис заставил что-то делать для малого и среднего бизнеса. «Медведевский авангард» начал формироваться естественным образом, когда стало понятно, что Путин и не станет всего этого делать. А кому-то надо. Кому?

Кирилл Мартынов там же, на Либерти (**«Авангард президента Медведева»**) отвечает вполне дежурно: Кто должен вытаскивать Россию из того тупика коррупции и патернализма, *куда мы загнали ее совокупными усилиями в последние десятилетия*? *Разумеется, речь идет о новом поколении, моло-*

дых гражданах страны. Именно они способны выработать инновационную модель поведения, а именно не участвовать в коррупционных схемах и не ждать подачек от государства. <...> Молодежь является — по крайней мере, потенциально — авангардом президента Медведева, социальной базой рывка, от которого зависит выживание и будущее страны. От нее теперь и ждут инноваций. Зато у упомянутого **Данилова** возникает уже выражение «*принуждение к инновациям*». Ну и ну.

Евгений Гонтмахер (**«Революции не будет — будет бунт»** — сайт «Особая буква», 25 августа) прогнозирует развитие кризиса. Цены на энергоносители вновь стали снижаться, отмечает он, — их кратковременный рост, откровенно говоря, был чисто спекулятивным. А это значит, что единственная опора и надежа выходит из-под контроля. Дальнейшее падение экономики вызовет падение социальных параметров. Люди поймут, что такое кризис. При развитии событий по подобному сценарию вполне возможно, что федеральные власти столкнутся с проблемой налогового сепаратизма. Зимой можно прогнозировать резкое повышение числа техногенных катастроф. Когда закончатся деньги на оплату отопления, все будут жить в долг — поставщики газа и мазута, заказчики тепла, потребители. *Власти понимают, что в нынешних условиях перед Россией открыты две дороги. Первая: беспощадный бунт. Экономику раздирает кризис, политическая система разрушена, нет широкого обсуждения поглотивших страну проблем. Не зная, как жить и что дальше делать, люди возьмут в руки вилы и камни. Еще раз подчеркну: будет бунт, а не революция. Второй вариант — и он для нас желательный — это некая модернизация сверху. Причем это должна быть модернизация с премьером. <...> Понятно, что на премьере висит тяжелый груз прошлого — это и преследование Ходорковского, и зажим прессы, и уничтожение гражданского общества, и неадекватная внешняя политика. Но другого человека, способного как-то повлиять на ситуацию, у нас нет.* По мнению автора статьи, премьер вместе с президентом должны развернуться лицом к проблемам, которые стоят перед Россией, и начать всестороннюю модернизацию. Иначе ситуация окончательно выйдет из-под контроля. *Риски есть. Но ничего не делать — еще большие риски.* Спасение экономики немыслимо без политической реформы. *Вот в этом, извините, вся дурость нынешнего российского положения: на повестке дня у западных стран чисто экономические вопросы, мы же должны решать все сразу — перестраивать финансовую систему, возвращать к жизни гражданское общество, стимулировать развитие политической конкуренции. Кому, как не нашим двум главным начальникам, знать, насколько сложно проводить такого рода комплексные реформы. Тем более что ни одного удачного примера системного преобразования в российской истории, по сути, и не было. Реформы Александра II, Горбачева, Гайдара — все они по большому счету закончились провалом. Поэтому президент и премьер сейчас сидят и думают, что делать дальше. А общество молчит. За исключением маргинальной оппозиции типа Каспарова, на которую давно уже никто не обращает внимания, все ждут чего-то. Есть у россиян такая традиция: ждать, когда кто-нибудь первый что-то скажет. Если первый выкрик породит толпа — народ будет уже не остановить. Но «первые» у нас люди назначенные. Они-то и должны объяснить стране, в каком направлении*

двигаться. Хотя надо признать, что с принятием решения наши головы уже запоздали. Каждый день их молчания отодвигает выход России из кризиса на недели, если не на месяцы. Кризис становится все более структурным. Население деградирует — Медведев тут вдруг узнал, что люди много пьют. Процесс загнивания охватил всю социальную систему.

Одна из ключевых тем в актуальной публицистике — проблема либерального лоялизма, парадокс которого явил собой Гонтмахер. **Андрей Пионтковский** в статье **«Безумство слабых»** (Грани.Ру, 9 сентября) замечает: *Восхождение Евгения Гонтмахера к высокой степени безумства, которое он с беспощадной честностью исследователя описывает online в своих блогах, — процесс трагический для личности ученого и публициста, но чрезвычайно познавательный и поучительный для понимания состояния нашего общества и его интеллектуальной элиты. <...> Полтора года Гонтмахер, а с ним и вся прогрессивная либеральная общественность вынашивали нелепый план медведевской оттепели при живом Путине. Как будто можно представить себе Хрущева, делающего доклад на XX съезде при товарище Сталине, не упакованном еще надежно в Мавзолее, а меланхолически попыхивающем трубкой в первом ряду президиума. Наконец, либеральная общественность в прошедшем августе не только очень ясно почувствовала холодок обвально накрывающего страну системного кризиса, но и осознала полную никчемность Медведева и абсурдность каких-либо надежд на него. И какой же вывод они сделали из своего неудачного хождения в медведевскую перестройку? С воплем Credo quia absurdum est! бросились они снова к той же конной статуе полуобнаженного мачо, которую только что готовы были оплевать. Почему же наши системные либералы-с, представители и наследники «ельцинской гвардии», так обреченно идут сами и ведут страну на заклание, не отваживаясь выступить против путинско-медведевского режима, всю губительность которого для России они прекрасно понимают? Дело, на наш взгляд, не столько в их трусости, сколько в их ослепленности Властью, в их собственной кастовой принадлежности к верхушке режима, в психологии жертв-палачей, связанных общей идеологией, общим стилем жизни, общим происхождением их немалых состояний. Поэтому выйти за пределы кремлевского круга и обратиться к абсолютно чуждому и совершенно непонятному им «народу» для них немыслимо. Они так и будут цепляться за ускользающую видимость Власти или хотя бы иллюзию близости к ней, пока она не бросит их всех, одного за другим, как символы «проклятых девяностых» на колья праведного народного гнева.*

Не веря в модернизацию сверху, тот же **Пионтковский** пишет (**«"Мы" и модернизация»** — Грани.Ру, 7 сентября): *Десятилетний юбилей путинского застоя (8 августа 2009 года) и последовавшая за ним серия техногенных катастроф стали символическим рубежом, закрывшим тему авторитарной модернизации, которая «не идет или идет плохо». <...> Идея сильной полицейской вертикали <...> вызревала лет десять в умах «интеллектуалов», мечтавших о российском Пиночете, который железной рукой поведет Россию к светлому будущему рыночной экономики. Такой проект имел бы шансы на относительный успех, если бы суть реформ сегодня заключалась в том, чтобы заставить обездоленное население рыть как можно больше каналов, котлованов и воздвигать «гиганты индустрии». Так проводил индустриали-*

зацию России сталинский режим в первой половине XX века, похожими методами осуществляли свой рывок страны Юго-Восточной Азии в его второй половине. Но в XXI веке путинский проект был обречен на провал с самого начала. Экономика знаний XXI века — это экономика свободных творческих людей, живущих в свободной стране, в которой никакая сволочь не посмеет назвать их «нашей второй нефтью». Маленький подполковник, обманутый холуями, драматически ошибся веком. Похоже, он уже это понял. Неслучайно его неудержимо тянет back in USSR, к Молотову-Риббентропу и Михалкову-Регистану, но так, чтобы непременно и с «Патек Филиппом», и с Тимченко-Абрамовичем.

Близок к позиции Пионтковского **Александр Рыклин** в статье **«Гонтмахеризация общественного сознания»** («Ежедневный Журнал», 27 августа). Он анализирует тип либерала при власти. *...большинство тех, с кем на протяжении последних двух десятилетий ассоциировались такие понятия как «свобода» и «либерализм», сами оказались плотно встроены в ту властную машину, что 10 – 15 лет назад только набирала обороты, а теперь несет страну невесть куда. Впрочем, почему же невесть? Эти же либеральные идеологи объяснят вам, что, конечно же, в пропасть. Это такое условие игры — винтикам разрешено критиковать отдельные детали механизма. <...> Но только на том условии, что они продолжают исправно крутиться и обеспечивать надежную работу всего агрегата. Тогда на критику закрывают глаза — дескать, пусть себе клоуны болтают. <...> Много ли мы знаем примеров, когда кто-то из тех, о ком мы сейчас говорим, с гневом и брезгливостью отверг этот позорный контракт? Пожалуй, из фигур первого ряда — только Андрей Илларионов. А остальные с кудринским рвением бросились в объятия новых начальников <...> Да, у этих нынешних противные рожи, да — хамят постоянно, да — понаделали глупостей, да — закатали в асфальт все живое в России, да — поссорились со всем миром, да — украли все деньги в стране. Зато с либеральной обслугой расплачивались щедро и в срок. Но <...> за тощими годами замаячил всеобщий кирдык. Наши «либералы», первыми почувствовавшие неминучую беду, опечалились, забеспокоились и стали бить тревогу. И нынче изо всех сил пытаются спасти режим, который хоть и унижал их постоянно, но все же кормил, поил, обувал и одевал. Теперь они ему советуют «модернизироваться», пугая толпами с вилами. <...> Гонтмахер падает в ноги к крокодилу и на полном серьезе предлагает ему стать вегетарианцем. И в случае отказа предупреждает о серьезнейших последствиях для здоровья.* Рыклин итожит: *Люди все еще, слава Богу, чувствуют фальшь и продажность и реагируют адекватно — брезгливо отворачиваются. Беда в том, что прикормленные ручные «независимые эксперты» и «либеральные экономисты» намеренно выступают как бы от имени всего цеха. Чтобы замазать всех. Чтобы потом невозможно было отличить одного от другого. Чтобы в общественном сознании либералы Каспаров, Немцов, Илларионов и Милов сливались с либералами Чубайсом, Кудриным, Грефом и т. д. Чтобы между ними не было никакой черты. И в некотором смысле это удалось сделать. И люди больше не верят никому. <...> Мы много лет стеснялись провести эту черту. Но теперь уже пора. Потому что если этого не сделать сейчас, то завтра вдруг окажется, что мы действительно все были в «одной лодке», в*

«одной команде». И пока мы бились снаружи, они подтачивали изнутри... А я не хочу быть с ними в одной команде. По простой, кстати, причине — мне противно.

В статье **«Посткризисное развитие: Пожар потушен, время строить»** («Ведомости», 3 сентября) председатель совета директоров МДМ-банка **Олег Вьюгин** дает сжатую характеристику того тупика, в котором оказалась российская экономика. Кризис, прервав десятилетие непрерывного экономического роста отечественной экономики, высветил неустойчивость модели ее развития. Источниками ускоренного роста экономики в тот период были международный долговой капитал, привлекаемый компаниями для покупки или модернизации производственных активов, и рентные доходы от добычи и экспорта полезных ископаемых, направляемые на повышение государственного и частного потребления. Стоило сократиться спросу на международных сырьевых рынках и замереть глобальному рынку долгового капитала, как ВВП России за полгода упал на 10% и страна осталась без долгосрочных источников роста. Процветание нашей страны на притоке легко доступного долгового капитала и доходах, поступающих от эксплуатации природной ренты, не мотивировало бизнес, общество и политические элиты к созданию прочных институциональных основ устойчивого экономического роста, развитию конкуренции и творческого поиска. В такой модели крупные компании преимущественно занимаются перераспределением активов на заемные средства, а приоритет в экономической политике неизбежно отдается рентным производствам, развиваются государственные монополии, увеличивается хозяйственная роль государства, подавляется справедливая конкуренция. И вот вышло так, что институциональная основа для решения проблем у нас сегодня откровенно слаба. Рассчитывать, что в построении эффективных институтов регулирования нам удастся добиться кардинальных перемен в короткие сроки, видимо, не стоит. Тем не менее есть проблемы, решение которых нельзя откладывать. Речь идет о повышении эффективности государственного управления и о преодолении тенденции ухудшения правоприменительной практики. Вьюгин предлагает создать механизм публичной общественной оценки качества и эффективности работы государственных институтов, осуществляющих регулирование и функции правоприменения. В жизнеспособном обществе основным инструментом такого влияния являются СМИ, обладающие разумным ресурсом свободного изложения фактов и несущие ответственность за искажение предоставленной обществу информации. По этому пути и надо идти. В области внутренней экономической политики время переходить от оборонительных принципов к активной реструктуризации бизнесов и стимулированию на этой основе реальной конкуренции и притока прямых инвестиций в несырьевые секторы экономики.

По сути, статья Вьюгина камня на камне не оставляет от реалий экономического курса последних лет. О чем и пишет, к примеру, **Кирилл Рогов** (**«Модель развития: Вертикальные грабли»** — «Ведомости», 23 сентября). В российской элите, отмечает он, практически сложился консенсус относительно исчерпанности той модели развития, которая сформировалась в последние 5 — 6 лет. Анализ ее управленческой и экономической несостоя-

тельности и дает Вьюгин: *«рентная и долговая модель развития»* несовместима с инновациями и диверсификацией, подавляет конкуренцию, ведет к перманентному перераспределению активов, формированию госмонополий. И в конце концов ведет к накоплению критических дисбалансов между возрастающим объемом перераспределяемого богатства и снижающейся эффективностью экономической деятельности. Но, замечает Рогов, Вьюгин, как и Медведев, не дает оценки той политической системы, которая составляет неразрывное целое с описанной выше системой экономического перераспределения. Ключевое понятие, которое описывает основной принцип этой политической системы, — «вертикаль власти». Это понятие, этот институт подменил собой другое ключевое понятие современного общества — «верховенство закона». Вертикаль власти принципиально стоит над законом, рассматривает и использует закон лишь как подсобное средство своего функционирования и достижения своих целей. Между тем, Россия — большая и многоукладная страна; здесь никогда не работали и не работают классические авторитарные модели, основанные на сквозном прямом контроле сверху донизу. Приоритет вертикали власти над верховенством закона оборачивается тем, что беззаконие и манипулирование законом становятся основным принципом, пронизывающим всю систему общественных взаимоотношений сверху вниз. Вертикаль не способна транслировать вниз те или иные импульсы (например, импульсы модернизации), она транслирует лишь принцип своего существования. Попытка централизации политических прав на фоне чудовищного перекоса в структуре наших доходов неизбежно приводит к критическому перекосу всего государственного механизма — к болезненному возрождению тотального государства, выступающего и как главный распорядитель прав и ресурсов, и как конечный держатель псевдорыночных и социальных обязательств. Это не вопрос удачной или неудачной попытки централизованных реформ, это физический закон нашего государственного тела. Рогов резюмирует: *Крупнейшие кризисы в жизни государств связаны, как правило, не с внешними шоками и не с циклическими кризисами, но с попыткой сохранить политический режим, экономическая основа которого уже подорвана. Попытка сохранить в новых условиях политическую модель, сложившуюся в тучные годы, когда доходы от внешней торговли в стоимостном выражении росли на 20 – 30% в год, а приток капитала увеличивался ежегодно в 1,5 – 2 раза, когда победоносное становление этой модели оплачивалось ежегодным ростом доходов населения на 10 – 15%, — это и есть главное антимодернизационное решение, главная угроза будущему страны. Хуже того — это грабли, на которые мы уже наступали при жизни нынешнего поколения.*

Юлия Латынина в статье **«Петрократия»** («Ежедневный журнал», 6 августа) характеризует вынесенным в заглавие понятием тип общественного устройства в путинской России. *Петрократия — это когда правящим сословием являются владельцы нефти и газа, власть используется для получения контроля над нефтью и газом и считается, что с помощью нефти и газа можно решить все внутренние и внешние проблемы.* Латынина напоминает, что в XX веке нефть постоянно употребляли как геополитическое оружие, однако оружие это не абсолютное. Кремль знает это и делает необходимые

выводы. *СССР*, сказано в статье, *рухнул потому, что огромные нефтяные деньги впустую вкладывались в высокотехнологические отрасли. Кремль сделал вывод и ни в какие высокие технологии не вкладывает. Он вкладывает сразу в виллы, яхты и удовольствия. К тому же отсутствие высоких технологий в стране ведет и к отсутствию технической интеллигенции, которая, как показал опыт СССР 1991 года или свежий опыт иранских президентских выборов, первая выходит на улицу с протестом против диктатуры. СССР рухнул потому, что ввязался в войну в Афганистане. Кремль сделал вывод и отдал Чечню на откуп Рамзану Кадырову. СССР рухнул потому, что цены на нефть пошли вниз. Кремль сделал вывод и продолжает поддерживать международную напряженность, что, в свою очередь, ведет к росту цен. Эта часть путинской политики является совершенно прагматичной и циничной. Она позволит Путину удерживаться у власти бесконечно долго, хотя и ценой последующего исчезновения России из мировой истории.* Но есть в политике Путина и иррациональные мотивы: тем, кто правит страной, важно чувствовать себя великими. Эти люди *искренне полагают, что восстановление вертикали власти выражается в увеличении количества причитающихся им бабок; газовая труба в их необузданных мечтах предстает фаллическим символом, Вавилонской башней, с помощью которой они поимеют Европу. <...> В результате внешняя политика России выглядит как серия промышленных войн, которые Россия начинает и проигрывает.* Латынина ищет смысл в этой иррациональности: *в большинстве остальных петрократических режимов — будь то Иран, Нигерия, Венесуэла или даже бывший СССР — все-таки существует какая-то эрзац-идеология, объясняющая причины сравнительной отсталости страны и необходимости борьбы с Западом. В Иране это фундаменталистский ислам, в Нигерии это обличение белых людей-колонизаторов, в Венесуэле — обличение колонизаторов-янки. В одной России петрократия существует в чистом виде. Россия, согласно кремлевской идеологии, избрана не потому, что у нее есть чучхе, Коран или Маркс. Россия избрана потому, что у нее есть Газ. Психологическая потребность ощутить себя избранниками Газа и обожествить процесс получения бабок на оффшорный счет и приводит к комичным результатам.* Основную же проблему автор видит в том, что такой России не нужны мозги, и они уезжают из страны. *Нынешние власти это вполне устраивает — в отличие от Сталина, Путин не стремится к мировому господству. Зачем Кремлю мировое господство? Куда тогда продавать газ и откуда тогда завозить «Мерседесы»? Наоборот, чем больше мозгов покинет страну, тем легче будет внушить оставшимся, что Россия встала с колен. В условиях глобальной экономики этот отток интеллекта способен обеспечить отставание России навсегда.*

Элла Панеях в статье **«О деградации государства»** (InLiberty.ru, 24 июля) констатирует: *В современном обществе правительство, уж извините, никоим образом не единственный европеец. <...> В России же государство все ближе подходит к тому, чтобы остаться в стране единственным... Не азиатом, разумеется, не будем обижать азиатов. Единственным отморозком. Государство в России неизмеримо хуже населения. Средний милиционер хуже образован, хуже воспитан и намного более беспринципен, чем его среднестатистический ровесник. Средний чиновник намного менее организован, трудолюбив и*

честен, чем средний менеджер примерно того же класса. Средняя фирма на порядки более дружелюбна к клиенту, чем средний государственный офис. И настолько же эффективнее организована изнутри. Частный автобус чище государственного, даже если возит за те же деньги. И этот разрыв растет: люди в стране стремительно цивилизуются, а государство так же стремительно деградирует. Люди все больше ценят свое частное пространство, автономию, берут ответственность за свою жизнь на себя. А государство все больше в эту жизнь лезет.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры **Автандил Цуладзе** изложил системное видение политической ситуации в стране. Серия его статей стала, пожалуй, наиболее масштабным аналитико-публицистическим выступлением сезона. Остановимся на них подробнее. В обширной статье **«Полураспад Системы, или Эпоха "волюнтаризма"»** («Ежедневный журнал», 26 августа, 1 сентября, 21 сентября) он утверждает, что *нынешняя политическая система крайне неустойчива, управляемость ее день ото дня падает, а тенденции к саморазрушению становятся все отчетливей.* Связано это со следующими факторами. Во-первых, не удалось решить т. н. *проблему-2008* — проблему передачи власти «преемнику». *Главным условием успешности проекта,* — пишет Цуладзе, — *было сохранение шаткого баланса сил между соперничающими властными кланами. Если Путин и был в чем-то эффективен как президент, то это в умении поддерживать баланс сил между очень разнородными частями правящей элиты.* Но *вместо смены одного сильного президента другим получилась совершенно другая конфигурация: слабый, декоративный президент при сильном неформальном лидере.* Эта конструкция привела к нескольким опасным для системы в целом последствиям. **1.** *Институт президентства оказался дискредитирован в глазах общества, элит и даже на международном уровне. <...> Путин решает... задачу собственного политического выживания, но при этом основательно дестабилизирует саму систему. Бывший охранитель системы выступает в роли ее разрушителя. В этом смысле Путин — главный оппозиционер в стране.* **2.** *Раздвоение власти привело к раздвоению «вертикали». <...> Не случайно коррупционные явления в системе возрастают — чиновничий класс нервничает и спешит решить свои сугубо шкурные проблемы, поскольку уверенности в сохранении своих позиций нет ни у кого.* **3.** *Сменилась основа легитимности власти. <...> Медведев избран, но не правит. Правит неформальный глава государства.* Это означает, что вся система формальной власти, вся бюрократическая «вертикаль», для укрепления которой было наломано столько дров, заняла подчиненное положение в отношении скрытой от общества системы неформальных отношений, «тайной власти», подмявшей под себя власть официальную. Неформальную власть всегда возглавляет вожак, вождь. Именно с этим связаны резкие перемены в имидже Путина. Он позиционируется как вождь, предводитель, а не «чиновник № 1», как он сам себя называл в годы президентства. *В свою очередь, легитимность, основанная на вождизме, неизбежно влечет за собой такие «технологические ходы», как беспрестанный поиск внутренних и внешних «врагов», поскольку борьба с «врагами» — главное и по сути единственное оправдание власти вождя в современном обществе. Вождизм нуждается в постоянных войнах (реальных либо виртуальных).* Путин

олицетворял собой идею «стабильности». Теперь он выступает в роли дестабилизатора общества, разрушителя выстроенного им же элитного консенсуса. Путин демонтирует власть бюрократии и делает это очень эффективно. **4.** От представительной модели демократии (со всеми поправками на авторитаризм и проч.) за год-полтора страна перешла к модели *прямой демократии*. Есть вождь, и есть поддерживающий его народ. Формальные институты власти оказались полностью не у дел. Модель прямой демократии крайне опасна. Воля большинства далеко не всегда является благом. В кризисных ситуациях, в условиях ухудшения социально-экономического положения общество может легко превратиться в толпу, в которой доминируют примитивные и далеко не вегетарианские инстинкты. **5.** *Следствием перехода к модели прямой демократии является кризис лидерства в стране. <...> Лидеров, способных пойти при необходимости против общественного запроса, среди правящей верхушки сегодня нет. И Путин, и Медведев являются заложниками собственного популизма. <...> В отсутствие лидера страна оказалась во власти иррациональных импульсов, исходящих, прежде всего, снизу. Российское общественное сознание лишено каких-либо ценностных и идеологических ориентиров. Поэтому бал правят коллективное бессознательное, иррациональные страхи и фобии. Общество дичает и погружается в примитивное состояние. Путин весьма точно и адекватно отражает эти метания бессознательного. По его поведению можно судить о том, как далеко зашло дело. Но изменить он ничего не сможет. Он всегда плывет только по течению, он зеркало процесса, а не его творец.* **6.** Кризис лидерства неизбежно порождает общий системный кризис, одним из главных следствий которого является отсутствие стратегических целей развития страны и способов их достижения. Раздвоение «вертикали» и смена оснований легитимности власти привели к разбалансированию системы принятия политических решений. Система перешла в «ручной», он же аварийный, режим управления. Но долго находиться на «ручном» управлении системы такого порядка не могут. *Нынешнее время можно с полным основанием назвать периодом «волюнтаризма»*, — пишет Цуладзе. — *Метания Хрущева, пытавшегося адаптировать политическую систему к послесталинским реалиям, имели похожую природу.* Отсюда ряд системных пороков. В России нет механизма мирной ротации элит, и это ведет к тому, что *элитная борьба переходит в режим подковерной борьбы в византийском стиле. Элиты и контрэлиты ведут войну на уничтожение. Победитель получает все, проигравший теряет все. Поэтому в ситуации нестабильности возможны любые повороты: государственный переворот, развязывание новой войны, войны компроматов, аресты представителей конкурирующего лагеря и т. д.* Другим системным пороком является нелегитимность собственности. Любой собственник может быть «зачищен» по произволу властей, уверенности в завтрашнем дне нет ни у кого. Поэтому российский бизнес носит спекулятивный характер, нацелен на получение больших и высоких прибылей, которые выводятся в безопасные офшоры. Никаких стратегических задач внутри страны бизнес перед собой не ставит. Такой бизнес не может быть надежной опорой ни для государства, ни для общества. В России пока легитимен только «вождь». Но это весьма шаткая опора для государства. Цуладзе итожит: политическая

система *вступила в фазу полураспада. Крах системы отодвигается с помощью пиара, но, поскольку ни одна системная проблема не решается, ситуация становится все опаснее и непредсказуемее.*

Анализирует Цуладзе и экономическую базу режима. Путин довольно скоро утратил вкус к экономическим реформам по либеральным рецептам. Социальная цена, которую пришлось бы заплатить за реформу ЖКХ, пенсионную реформу, урезание льгот и проч., представлялась слишком высокой. Идея сделать Россию конкурентоспособной, что Путин пытался позиционировать как «национальную идею», не была подкреплена проектом модернизации страны. Новая — путинская — элита была занята проблемой передела собственности, старая — ельцинская — как могла отбивалась. Ресурсы политической системы уходили на «разруливание» процесса перераспределения командных высот в экономике. Не до модернизации было. Вера в теорию дорогих энергоресурсов вызвала к жизни новый проект — превратить сырьевой характер российской экономики из «минуса» в «плюс». *Сделать, по совету Дейла Карнеги, «из лимона лимонад».* После раздела ЮКОСа появился проект «энергетической империи». Следствием экономических проектов Путина для экономики России стали: усиление сырьевой ориентации экономики; отсутствие достаточных вложений в модернизацию инфраструктуры; замена процесса диверсификации экономики показухой в виде «национальных проектов», создания госкорпорации по нанотехнологиям (названным в народе «кукурузой Путина») и проч.; откладывание давно назревших экономических реформ на неопределенное будущее; приоритет интересов «сырьевиков» над промышленниками и сельхозпроизводителями, в частности, в курсовой политике ЦБ. Это привело к существенному росту импортозависимости России. Амбициозные планы наращивания капитализации сырьевых компаний за счет дешевых иностранных кредитов резко повысили объем корпоративной кредиторской задолженности. Парадокс, но активы «энергетической сверхдержавы» оказались заложены западным банкам. *С началом кризиса выяснилось, что российские сырьевые олигархи, украшавшие списки «Форбс», были миллиардерами в долг. Теперь они просят денег у государства, чтобы «стратегические предприятия» не отошли иностранцам.* Откладывание денег в «кубышку» Стабфонда лишило российскую экономику возможности внутреннего инвестирования экономического роста и переориентировало российские компании на поиск заемных средств на Западе. Стратегия построения «энергетической империи», т. е. региональной сырьевой монополии, своим неизбежным следствием имела рост монополизма внутри России. Был взят курс на концентрацию ключевых экономических активов в единый «кулак», чтобы обеспечить бóльшую управляемость экономики и контроль над финансовыми потоками. Логичным было в этой связи и создание госкорпораций, решавших эту задачу на разных участках «экономического фронта». Модель «свободного рынка», с которой начинались российские реформы, сменилась моделью госрегулирования экономики как напрямую (увеличение доли государства в компаниях), так и опосредованно через неформальный контроль частных компаний влиятельными госчиновниками. Стратегические инвестиции в высокие технологии, в промышленность и сельское хозяйство, рассчитанные на «отложенный

эффект», уступили место погоне за быстрыми прибылями. Экономика России приобрела откровенно спекулятивный характер.

Цуладзе продолжает: в социальной сфере т. н. *путиномика* привела к росту разрыва в доходах между самыми богатыми и самыми бедными россиянами. Экономический рост сопровождался усилением расслоения общества, т. н. средний класс так и остался «прослойкой» в российском обществе. По разным оценкам, до кризиса он достигал 20 – 25%. Причем, бóльшую часть «средних» в «путиномике» составляли госслужащие, сильно потеснившие менеджеров и предпринимателей. Социальная структура страны образовала «пирамиду», в основании которой малообеспеченные и бедные слои населения, в середине «средний класс», верхушка — богатые, на самом верху — сверхбогатые «хозяева страны» (по экспертным оценкам «хозяев» до кризиса было от 0,5 до 1,5%). Кризис ударил, прежде всего, по «средним», поэтому теперь «пирамида» больше напоминает «кеглю» с выеденной «серединой»... Развитие малого бизнеса существенно отставало от темпов экономического роста, талантливые кадры предпочитали госслужбу или крупные компании. В период кризиса развитие малого бизнеса — один из способов снижения социальной напряженности. Но «путиномика» снизила предпринимательскую активность и мотивацию населения. Коррумпированная бюрократия, стремящаяся контролировать экономику на всех уровнях, не дает раскрыться предпринимательскому потенциалу россиян. Среду для развития предпринимательства в России нужно создавать заново. Без этого предпринимательский класс, класс мелких собственников, в стране не возникнет, а останется «прослойкой». А без этого класса современную экономику создать не получится. Рост доли государства в экономике привел к тому, что значительная часть населения России материально зависит от государства. Это расширило и укрепило политическую базу режима, поскольку т. н. *патерналистский электорат* — это люди, которые «кормятся» с руки государства. Но «патерналистский электорат» является тормозом для развития страны.

По Цуладзе, *монополистическому характеру российской экономики сопутствует монополизм в области политики. Путин действительно стабилизировал ситуацию в стране в том смысле, что привел в полное соответствие экономическую и политическую системы.* Главным отличительным свойством монополистической системы (нынешний экономический строй России принято именовать «госкапитализмом») является подавление конкуренции. Рынок делится между «своими» на основании неких элитных договоренностей. Система распределительная, а не конкурентная. «Свои» получают преференции (здесь тоже есть определенная иерархия), а «чужаки» зачищаются. Это закрытая экономическая система, которая управляется волевыми решениями, а не рыночными. «Госпланом» работает лично национальный лидер, управляющий процессом в «ручном» режиме. Отсюда и экономический волюнтаризм, который трансформируется в волюнтаризм политический. Закрытая экономика закономерно порождает закрытость политической системы, которая лишь повторяет принципы экономического уклада на «политическом языке»: подавление политической конкуренции, «зачистка» оппозиции, монополизация политической власти ограни-

ченным кругом лиц, разделение властей вытеснено административной «вертикалью» и т. д. В общем, *Россия больше напоминает вертикально интегрированный холдинг, чем современную развитую страну. Это громоздкая и примитивная конструкция. Разница между политическим и экономическим устройством современной России и ведущими западными странами такая же, как между будильником «Слава» и «Ролексом». И тот, и другой показывают время. Но, как говорится, почувствуйте разницу. Архаичной экономике соответствует отсталая социальная структура. Тому и другому соответствует архаичная политическая система, деградировавшая за полтора года до примитивного вождизма. Все это «украшает» соответствующая псевдоидеология «вставания с колен».*

Сегодня, замечает Цуладзе, *ведется много разговоров о модернизации, но это не более чем сотрясание воздуха. Возможно, чисто по-человечески, некоторым кремлевским чиновникам и хочется модернизации России. Но это противоречит их интересам, и они ничего для этого реально делать не будут. Сырьевой элите не нужна модернизация, поскольку последняя связана с большими капитальными вложениями и структурной перестройкой экономики, что не сулит скорых и верных прибылей. Модернизация мобилизационного типа в современных условиях невозможна, поскольку критерием эффективности экономической модели в современном мире являются не показатели выплавки чугуна и стали, а знания и технологии. Свободные, открытые экономики в этом отношении гораздо эффективнее. Они стимулируют развитие обществ, а закрытые монополистические системы сдерживают. Проблема в том, что нынешняя Система создавалась не под задачи развития страны.* Система создавалась при Ельцине для приватизации «своими» людьми советской госсобственности. Задача Путина состояла в том, чтобы защитить накопленные капиталы и закрепить за правящей верхушкой не только экономическую, но и политическую власть. Это было сделано за счет «выключения» общества из политики и, в значительной мере, из экономики тоже. Просителями легче управлять, чем экономически активными и самостоятельными гражданами. *В результате мы имеем фантастически неэффективную экономико-политическую модель, которая схлопывается в режиме реального времени. Когда элиты делили сверхприбыли, удалось как-то организовать процесс, чтобы не было лишнего шума, создать систему распределения благ. Когда пришло время делить долги и убыточные активы, система пошла вразнос.*

Разбалансирование системы сегодня выражается во внешней политике страны, направленной на обособление России от остального мира. Прежде всего, от стран Запада, имеющих более развитые экономики и политические системы. Психологическая мотивация этой агрессии — страх перед намного превосходящим конкурентом. Экономических козырей нет, приходится шантажировать Запад военной «дубиной». Таким образом, агрессивная внешняя политика Кремля является следствием краха «путиномики», последним оборонительным бастионом обанкротившегося, в буквальном смысле этого слова, режима. <...> Авантюрный характер путинского экономического проекта в период экономического роста был скрыт. Теперь, когда ставки оказались биты, этот авантюризм проявляется во внешней политике, поскольку проект «энергетической империи» был завязан на внешнюю региональную

экспансию. Поэтому Система отступает с боями в прямом и переносном смысле слова.

Кризис показал, продолжает Цуладзе, что в «чистке» нуждаются не только экономические, но и политические институты России. Осознание этого факта частью российской правящей элиты артикулировано в статье Д. Медведева на сайте Gazeta.ru и его выступлении на Ярославском форуме. Если вкратце выразить суть этих выступлений, речь идет о постепенной, растянутой во времени контролируемой перестройке российской экономики вкупе с косметической либерализацией политической системы. При этом по умолчанию предполагается, что нынешние элиты останутся при своих позициях и будут рулить страной еще лет этак ...дцать. *Проект медведевской «перестройки», которая носит название «модернизация»*, — считает Цуладзе, — *не имеет шансов на успех.* Это связано и с низким качеством неротируемой российской элиты. Смена элит возможна только через всевозможные брутальные сценарии: революции, перевороты и проч. То же самое и в бизнесе: кризис показал, что многие российские олигархи достигли уровня своей некомпетентности и, по идее, должны продать собственность за долги. Но этого не происходит. Кумовство, круговая порука, лояльность вместо профессионализма — таковы фильтры для отбора элитных кадров в России. *Один из основателей советской социологической школы В. Шляпентох считает, что в России сегодня реализуется модель феодального общества.* Главным звеном феодальной системы является слабая центральная власть, которая делегирует региональным баронам полноту власти на местах в обмен на лояльность «королю». Принцип вассальной зависимости состоит в обмене лояльности на возможность творить произвол в «своих» латифундиях. Лояльность является ключевым понятием в феодальной системе элитных отношений. Система подбора кадров по принципу личной (вассальной) преданности тиражируется сверху до самого низа — вплоть до управляющего какой-нибудь жилконторы. Деградация системы неминуемо приводит к тому, что интересы закрывшейся в башне из слоновой кости бюрократии входят в противоречие с интересами общества. Система обслуживает саму себя. Бюрократия пытается подменить реальные проблемы общества сконструированными угрозами, чтобы отвлечь внимание населения, перевести стрелки на неких «врагов». Нынешняя элита умеет манипулировать, но не умеет управлять. PR позволяет отодвинуть решение назревших проблем, но сам по себе он проблем не решает. Сейчас же и пиариться властям становится все труднее и труднее. Кризис беспощадно оголяет суть Системы, обостряет все заложенные в ней противоречия, катализирует приглушенные конфликты внутри элиты.

По оценке Цуладзе, одним из следствий разбалансировки Системы является тот факт, что внутри нее зарождается костяк новой системы. Этот костяк начинает формироваться вокруг Дмитрия Медведева. В коррупционной «вертикали», выстроенной Путиным, Медведев, несмотря на президентский пост, занимает весьма скромное место. Его личные «владения» невелики, и перспективы их расширения у него нет. Путин и его «вассалы» делают все возможное, чтобы задвинуть Медведева на периферию. Феодальная система неформального контроля над госаппаратом и крупным бизне-

сом не оставляет Медведеву другого выхода для наращивания политического веса, кроме как через восстановление авторитета формальной власти и процедур. *Кремлевская пропаганда настойчиво внедряла в массовое сознание миф о том, что Путин укрепил государство. Как всегда, тут не обошлось без лукавства. Государство в современном понимании, как нанятый налогоплательщиками бюрократический аппарат, Путин практически уничтожил, заменив его феодальным типом государства, которое построено на вассальной зависимости, стирании грани между личным карманом чиновника и госказной, сращивании бизнеса и власти в единое целое, практически безграничном произволе местных «баронов», разрушении правового поля и проч. и проч.* Сейчас ситуация предстает в истинном свете. Медведев олицетворяет «официальную» власть, которая в феодальной системе носит характер декорации. Путин воплощает и возглавляет систему феодальных отношений. Авторитет Медведева сегодня низок, поскольку «официальное» государство крайне слабо. Поэтому Медведев заинтересован в разрушении феодальной системы, т. к. только так он может стать президентом без кавычек. *Однако борьбе с коррупцией сопротивляется не только «феодальная» бюрократия. Сопротивляется и т. н. патерналистское большинство, т. е., по дореволюционной терминологии, «крепостные». Они не представляют себе жизни «на воле» без «барина» и поэтому цепляются за охранителя этой системы — Путина. Страх перемен в этой среде носит почти животный характер. Призрак 90-х годов выглядит пугающе.* Соцопросы показывают, что большинство населения обходится примитивным набором скудных благ для удовлетворения физических нужд и не более того. Но современная экономика основана на постоянном провоцировании потребностей у людей, на завышении потребительской планки. Люди, обходящиеся картошкой и парой валенок, не могут быть мотором современной потребительской экономики. Запертое в «крепостном гетто» большинство, смирившееся со своей участью, закрепляет власть «феодалов» и, в то же время, ограничивает их возможности по извлечению прибылей из экономики. Архаичная экономика и социальная структура общества склонны к стагнации. Систему взбодрил внешний фактор — рост цен на нефть. Как только внешний фактор из благоприятного превратился в неблагоприятный, стали очевидны все недостатки феодальной модели. *Парадокс ситуации в том, что «феодалы» уперлись в неприятный факт — с бедного, неприхотливого населения особых прибылей не выкачаешь. На Западе олигархи делают деньги на населении. Они извлекают прибыли из новых знаний, создаваемых учеными, которые позволяют в свою очередь создавать новые технологии во всех сферах человеческой деятельности. В России же источником богатства являются природные ресурсы, а население скорее обуза. Его приходится подкармливать на уровне физического выживания, чтобы оно не мешало «серьезным людям» пилить бабло.* Нынешняя «феодальная» элита абсолютно потребительская. Вся эта затея с «вертикалью власти» была нужна для того, чтобы без проблем узким кругом делить деньги. Никакой «большой скачок» никого не интересовал. Весьма показательно, что критериями роста экономического могущества России для Путина служили показатели роста ВВП, которые действительно радовали последние годы. Но это всего лишь количественный показатель, кото-

рый совершенно не отражает качественного состояния экономики. Путинскую элиту последнее мало волновало. Она была ориентирована на извлечение максимальной прибыли в минимальные сроки, и до определенного момента это удавалось. Сейчас эта система не работает. Перед страной новые задачи и вызовы. Старая система затóчена под другие задачи и с новой ситуацией не справится. Она лишь затягивает столь болезненный для «феодалов» и «крепостных» момент начала коренных структурных реформ в экономике, в политике, в обществе, в идеологии. *России предстоит очередная революционная, масштабная ломка,* — пишет Цуладзе. — *Многие этого боятся. Но история неумолима.* Сейчас российскую правящую элиту можно разделить на две части: *партию стабилизаторов* и *партию реформистов.* «Стабилизаторы» — это чекистско-олигархический симбиоз, который был в наибольшем выигрыше от «путиномики», а теперь оказался в наибольшем проигрыше... Модель их политико-экономического доминирования рухнула вместе с их активами. Они пытаются, используя политический ресурс, спасти свои капиталы и собственность и сохранить прежний баланс сил. Ничего из этого не получится, т. к. мировая экономика вступила в стадию глубинных трансформаций и прежней халявы уже не будет. К тому же агрессивная внешняя политика Москвы и растущая внутренняя нестабильность не добавляют инвесторам желания вкладывать в Россию. Слишком много рисков. Что касается «реформистов», то это второй и третий эшелоны нынешней элиты, которые не особо шиковали при прежнем «барине» и, что особенно важно, не имеют перспектив усилить свои позиции, пока не «подвинут» «стабилизаторов». Этот лагерь группируется вокруг Медведева. Он менее ресурсный, но гораздо многочисленней, чем кажется с первого взгляда. Представители этого лагеря считают, что реформировать экономику России надо не после кризиса, а для выхода из кризиса, т. к. для России последний обернулся крахом всей системы, всего политико-экономического уклада. Реформы в своем аппаратном измерении — это верный способ перераспределения власти и собственности. Оставить все как есть или менять систему? Путин или Медведев? Вокруг этих вопросов будут закручиваться основные политические сюжеты в обозримой перспективе. Но уже очевидно, что в ситуации системного кризиса конструкция «тандемократии» до 2012 года не дотянет. «Боливар не вынесет двоих», как цинично заметил один из героев О. Генри. Однако при всем при этом элиты настолько уверены в том, что население будет покорно следить за их играми и ждать своей участи, что в пылу борьбы не задумываются о таком субъекте истории, как народ.

Итоги путинской десятилетки подводит в «Русском журнале» профессор политологии Кентского университета (Великобритания), представитель интеллектуального движения «красных тори» **Адриан Пабст** (**«Итоги путинской эпохи. Год войны Медведева и десятилетие войны Путина»**, 26 августа). *Рост концентрации власти в руках Кремля и Белого Дома не только ослабил независимость правосудия и законодательных органов, но еще и подорвал эффективность государственных агентств, выявил слабость и усталость администрации,* — считает П. — *Вертикаль власти уже не усиливает ответственность центра за результаты проводимой политики, но лишает Центр жизненно важной информации об истинных нуждах населения и влиянии*

текущего политического курса. Путинская система властвования... привязывает пост Президента к геоэкономическим интересам, которые в большой степени зависят от мировой экономики, не подвластной контролю Кремля. Не слишком отличаясь от средневекового короля, мистер Путин руководит группой «баронов», которые награждаются за верность долей государственного богатства, особенно в виде контроля за крупнейшими корпорациями, находящимися в ведении государства, такими как «Газпром» и «Роснефть», а также губернаторскими постами. Это объединение политических и экономических интересов делает российское государство особенно уязвимым к внешним ударам — к глобальному финансовому кризису и резкому падению цен на энергоносители и сырье. На мировой арене внешняя политика Путина колебалась между активностью и пассивностью, конструктивным сотрудничеством и враждебным вмешательством, дипломатией «мягкой силы» с такими бывшими недругами, как США и Китай, и демонстрацией «жесткой силы» с такими бывшими советскими республиками, как Украина и Грузия. <...> Путину больше всего импонируют игры в геополитику, в сферы влияния «крупных держав», свойственные XIX веку. По Пабсту, *история будет судить десятилетие Путина у власти по факту отсутствия реальных экономических реформ. Его политика не смогла избавить Россию от симбиоза необузданного мирового «свободного рынка» и сверхцентрализованного бюрократического государства. <...> наследие мистера Путина будет восприниматься в лучшем случае как неоднозначное, а в худшем — как упущенная возможность перевести Россию на лучший экономический фундамент. Способность изменить эту ситуацию и определит президентство мистера Медведева и его шансы остаться на второй срок на посту президента в 2012 году.*

На сайте АПН **Павел Святенков** дает свою оценку примечательному десятилетию в статье **«Мой маленький фюрер»** (11 августа). У него выходит, что Путин создал диктатуру, но не бюрократии, а бюрократа. *Путинская бюрократия как коллективное целое, в отличие от сталинской, слаба, неэффективна, труслива и малоспособна к управлению страной. Но на этом фоне возрос и расцвел отдельный бюрократ. Ибо путинский режим гарантировал бюрократу неприкосновенность и право на самодурство. Возникла чудесная ситуация — каждый отдельный бюрократ превратился в своего рода мелкого феодала — со своим двором, челядью. И, разумеется, «ндравом», которому не следует препятствовать.* Святенков вспоминает: *в нацистской Германии был сформулирован «фюрер-принцип», в соответствии с которым государством должен был руководить единый вождь — Адольф Гитлер. Но он стоял во главе пирамиды других, мелких фюреров, каждый из которых в зоне своей ответственности распоряжался единолично. <...> В России путинской поры восторжествовал принцип «маленького фюрера». Конечно, нацистская идеология тут не при чем. «Маленький фюрер» возникает там, где слабость и круговая порука бюрократии приводит к всесилию Бюрократа. <...> Его первый признак — безгрешность. Сегодня он делает то, а завтра противоположное. Но всегда с многозначительной миной на лице. <...> Второй признак маленького фюрера — деловитость. Маленький фюрер всегда занят «дэлом», но никто не знает, каким. Точнее, у дела всегда есть громкое название, но эффект и смысл его всегда будут ускользать от прямого взора. Например, «модернизация ин-*

новаций» на деле может быть обычной кражей котлет из общественной столовой. Но маленького фюрера все равно можно узнать по вниманию к мелочам. Например, при проведении армейской реформы он *уделит непропорциональное внимание смене простых портянок на батистовые. Или закупке за рубежом особо хищных аквариумных рыбок, которые неизбежно придут на смену нашему подводному флоту.* Наконец, третий признак маленького фюрера — позитивность. *Этот*, по утверждению автора, — самый ужасный: *Решительно во всем — в гладе, хладе и падении метеорита маленький фюрер способен разглядеть грядущую эффективность и зажиточность. Наш герой такой оптимист, что если выпороть его плетьми да сослать на каторгу, он и тут усмотрит очередной повод для неизбежного расцвета «менеджмента инноваций». <...> Маленький фюрер, скромный трудяга, есть истинное лицо путинской эры. И он единственное, что от нее останется. <...> Он — истинное наследие Путина, «путинское большинство».*

Свой взгляд на ситуацию в России почти замолчавший ныне публицист **Станислав Белковский** резюмировал в виде семи тезисов в статье **«Инструкция для Барака Обамы»** («Ежедневный журнал», 6 июля). **1.** *Сегодняшняя Российская Федерация, вопреки представлениям многих политиков и экспертов, не имеет ничего общего с покойным СССР. Больше того: РФ является самым антисоветским государством в мире. СССР базировался на: социализме, государственной собственности, коллективизме, религиозном поклонении марксистско-ленинскому учению и его создателям, государственном патернализме, низком уровне коррупции, экспорте коммунистического проекта, стремлении к военно-политическому доминированию в сопредельных странах и регионах. РФ базируется на: капитализме, частной собственности, тотальном индивидуализме, культе денег и религиозном поклонении деньгам, отказе от традиции государственного патернализма, сплошной коррупции на всех уровнях власти — от Кремля до сельской администрации, стремлении к обеспечению бизнес-интересов правящей элиты по всему миру. Советские символы и атрибуты, приватизированные нынешним поколением властителей России вместе с заводами и трубопроводами, используются исключительно в рекламных целях: главным образом, чтобы соблазнять, успокаивать и гипнотизировать русский народ.* **2.** *Власть в России не принадлежит ни Дмитрию Медведеву, ни Владимиру Путину. Власть принадлежит крупному капиталу — бенефициарам «большой» и бесплатной приватизации советского наследства. И деньгам как таковым. Такой режим можно назвать монетократией. Путин и Медведев — функции и символы этой власти. Первый должен был в свое время придать легитимность режиму, который сложился в России в основном в середине — второй половине 1990-х годов. И он сделал это. Второй должен способствовать легализации правящей российской элиты на Западе...* **3.** *Нынешние правители России — не враги демократии и свободы. Они просто не верят, что такие ценности, как «демократия» и «свобода», реально существуют, кому-нибудь нужны и полезны. А верят они — во всесилие тандема «деньги + технологии»...* **4.** *Российские властители не мыслят ни политическими, ни геополитическими категориями. Потому не надо у них спрашивать, какова их стратегия в отношении Ирана или сопредельных стран бывшего СССР. Они сами не знают. Нет таких политических*

позиций, которые они в принципе не готовы были бы принести в жертву в обмен на достойную, с их точки зрения, компенсацию. **5.** *За последние 90 лет Россия еще никогда не была так слаба, как сегодня. Формально Кремль жестко контролирует страну, однако «вертикаль власти» — миф и блеф: страной реально правит коррупция, которая может вовсе не учитывать кремлевские пожелания. Влияние на территории своей бывшей Империи Москва утратила полностью <...> Фактический контроль над большей частью Северного Кавказа — потерян. Вооруженные силы деградировали технологически и морально. Постсоветская модель экономики, основанная на экспорте сырья и импорте всего остального, стремительно идет к краху...* **6.** *В России практически нет политической оппозиции, которая могла бы прийти на смену нынешнему режиму. Многие официальные критики Кремля — от ультралибералов до коммунистов — интегрированы в нынешнюю властную систему посредством коррупции и более всего боятся открытой политической борьбы. При этом в стране растут протестные настроения. Но, не имея легальной политической надстройки, протест возможен только в форме бунта, бессмысленного и беспощадного.* **7.** *Если вы слышите от представителей российской элиты какие-то откровенно завиральные идеи — например, о придании рублю статуса международной резервной валюты или превращении Москвы в столицу мира, — не думайте, что за этим стоит некая хитрая кремлевская игра. Чаще всего за этим стоит дремучая некомпетентность, которой поражен государственный аппарат современной РФ. Это закономерно: более 10 лет правящая элита России сознательно исключала из системы людей сильных и талантливых, но не полностью управляемых, — с целью уменьшения внутриэлитной конкуренции и консервации правящего режима. Результат налицо. Прежде чем серьезно относиться к отдельным проявлениям кремлевского/околокремлевского абсурда, вспомните, например, что Кремль до сих пор считает Оранжевую революцию на Украине следствием американского заговора; что буквально до начала ноября 2008 года правители России искренне верили, что президентом США станет Джон Маккейн, поскольку, по их мнению, черный быть американским президентом не может; что после 4 ноября 2008-го в российских околовластных кругах можно было часто услышать рассуждения о том, что Барака Обаму скоро убьют, как Джона Кеннеди, и президентом США станет Джозеф Байден, ради чего, собственно, «Обаме и дали выиграть». Они всерьез так думают.*

Белковский резюмирует: *Для Запада в целом и Америки как сверхдержавы сегодня страшна не сильная Россия, которой уже нет. Страшна слабая Россия, которая идет к распаду собственной государственности. Если гигантская территория между Восточной Пруссией и Уссурийской тайгой станет неуправляемой, Запад и Америка получат много дополнительных проблем посложнее, чем ядерные программы Ирана и КНДР. Поэтому очень важно вести мониторинг российского ослабления, чтобы катастрофа не стала неожиданностью.*

Мнения о перспективах существующего режима, впрочем, полярно разделились. С одной стороны, апологет системы **Виталий Иванов** на сайте Взгляд (**«Кто «подвел» оппозицию?»**, 19 августа) воспевает стабильность статус-кво, мотивируя неизбывность нынешней власти тремя причинами.

Власть, во-первых, сформулировала и реализовала антикризисную программу. Социально-экономическая ситуация в стране полностью контролируется. *И нет никаких оснований ожидать, что она выйдет из-под контроля. Это сейчас главное. Сценарий «Новочеркасск-2009» остался примером неудачной «экспертной» страшилки. Во-вторых, власть не позволила раскачать и развести себя на те самые демократизаторские реформы, прекрасно отдавая себе отчет, что грипп нельзя лечить купаниями в проруби. Никаких «пактов Монклоа», никаких «XIX партконференций», никаких «внеочередных свободных выборов» и прочих глупостей.* Что до народа, то он тоже не настроен раскачивать лодку. *Лучше потерпеть и подождать, чем распускать язык и руки.* Да и Запад не заплатит оппозиции (а кто ж нынче работает без бабок, резонно вопрошает Иванов). *Потому что на Западе тоже кризис. Потому, что дестабилизировать ядерно-энергетическую державу, особенно сейчас, себе дороже.*

С другой стороны, критически мыслящие публицисты — от Андрея Пионтковского до Николая Петрова — прогнозируют закат путинской России.

Николай Петров в статье **«Пузыри земли русской»** (Грани.Ру, 2 октября) полагает, что беспрецедентная активность во властных верхах и среди экспертов (Валдай-клуб, Ярославский форум, статья, выступления и интервью президента Медведева, заявления Суркова, Юргенса, бесконечные по этому поводу комментарии со всех сторон) — все это вместе взятое *выдает прежде всего нервозность и неуверенность Кремля, где сквозь прежнее пьянящее ощущение всевластия пробивается понимание, с одной стороны, необходимости что-то предпринимать, а с другой — неспособности что-либо делать при нынешней конфигурации системы. Это ситуация двойного паралича: верховная власть парализована высоким рейтингом и желанием во что бы то ни стало его сохранить; остальные элементы системы парализованы в силу самой ее конструкции, где любое новое действие блокируется необходимостью согласования на самом верху. <...> Складывается революционная ситуация совсем не по Ленину: низы вполне могут жить по-старому, верхи не хотят ничего менять, проблема с серединой — средним управленческим и бизнес-звеном, которое ждет и начинает уже требовать перемен.* Но как же тогда гиперактивность, с которой начиналась статья? А это, пишет Петров, — *активность переливающихся всеми цветами политических пузырей, активность бесконечных знаков, намеков, советов, предположений, которая ограничивается самым поверхностным слоем политического планктона. Здесь нет комбинаций, это все одношаговые ходы, не имеющие под собой ни основательной проработки, ни последствий. Это выхолощенная «митинговая демократия» шляхты при безвластном и бездеятельном короле и заигравшихся экономических магнатах. При нынешнем обилии дискуссионных площадок поражает как отсутствие серьезного продукта, предлагаемого к экспертному и общественному обсуждению, так и безрезультатность, отсутствие установки на то, что дискуссия выльется в какие-то действия.*

На сайте «АПН Северо-Запад» (28 сентября) **Димитрий Саввин** в статье **«Сумерки карликов»** выражает уверенность в том, что *конец нынешнего россиянского режима неизбежен и близок.* Сомневающиеся в этом выдвига-

ют, замечает Саввин, два тезиса: 1) *Режим не рухнет, ибо нет никаких «революционеров», организованных в партию*; 2) *коноводы РФ вознамерились весь свой подведомственный бардак радикально модернизировать.* Однако Саввину эти аргументы не кажутся убедительными. Главной угрозой *нынешнему паразитическому режиму* он считает сам этот паразитизм: *Нельзя воровать до бесконечности — когда-нибудь кончится то, что можно разворовывать. Любой паразит жив до тех пор, пока жив его «хозяин», за счет соков которого он питается. В конце концов, бык дохнет, а с ним вместе гибнет и бычий цепень.* За девяностые и нулевые годы были растрачены почти все имеющиеся ресурсы: человеческие, военно-политические, технические. Одна ситуация — 1) исчезновение профессионалов (истощение человеческих ресурсов), и 2) технический износ (истощение технических ресурсов) — наблюдается практически везде. Дав массу убедительных и не очень убедительных примеров, Саввин итожит: *Суть системного кризиса проста: все пропито и продано, отламывать уже почти не от чего. Одно Пикалево режим проглотить смог: приехал «гений руководства», организовал подвоз денег, и все. Но на очереди сотни новых Пикалево, а денег подвозить неоткуда.* По мнению автора, *мы стоим на пороге мощного коллапса, сопоставимого с событиями начала 90-х гг. Неизбежно чрезвычайное ослабление власти; причем, в отличие от 90-х, неистощенных финансовых и технико-экономических ресурсов, которыми можно было затыкать постоянно образовывавшиеся прорывы,.. нет. Стало быть, процессы распада в РФ будут проходить теперь интенсивнее, чем в начале 90-х. Это и означает — крах режима.* Саввин не верит в возможности нынешней власти что-то изменить к лучшему. *Подобное рождает подобное: паразитическая система рождает интеллектуальных паразитов, способных лишь делать попурри из чужих идей, тем самым нивелируя их совершенно, и выдавать полученное за ключ к решению всех проблем. <...> никакой реальной программы модернизации (творческой, конкретно-позитивной программы) у Медведева нет.* А если бы и была... *Система ориентирована только на «освоение» материально-финансовых ресурсов. Ничего другого она не умеет и не хочет. Любое указание, идущее сверху, которое хоть как-то может зажать мздоимцев и дармоедов, будет просто саботироваться, либо трактоваться как санкция на создание очередной дармоедской комиссии... с жирным бюджетом.* Саввин прогнозирует: *Впереди у нас Смута. Смута, прямо скажем, не детская.* В ближайшие *3 — 5 лет по всему пространству РФ мы будем видеть распад экономики, радикальное ослабление власти, и поверх всего этого — цунами народной ненависти по отношению ко всему, что исходит из Кремля. В этой ситуации любой враг издыхающего режима будет восприниматься народом как альтернатива существующей кошмарной реальности.* Паралич государственной инфраструктуры, пишет автор, приведет к тому, что *целые районы просто останутся без всякого управления. <...> вакуум власти будут закономерным образом заполнять своими силами, на основании «обычного права».* Вывод же Саввина довольно эксцентричен: от распада и рек крови нас спасут *некоторые элиты восточноевропейских стран*, разрабатывающие сейчас проект, *нацеленный на сохранение России.*

Гарри Каспаров в серии статей **«Россия после Путина»** подводит итоги десятилетия и размышляет о перспективах страны («Ежедневный журнал»,

19 августа, 1 сентября, 7 октября). Он пишет: *всем более-менее объективным наблюдателям, даже соблюдающим лояльность режиму, ясно, что сохранить статус-кво в России уже практически невозможно... Россия безнадежно проигрывает в глобальной конкуренции — и с каждым годом это отставание только усиливается. В таких условиях у нашей страны нет другого выбора, как либо измениться, либо исчезнуть с карты мира.* Каспаров полагает, что основополагающие характеристики «путинского режима» определились уже во времена Ельцина. Конечно, тогда еще существовали политическая конкуренция и свобода слова, приводившие к определенной самостоятельности регионов и относительной честности выборов. Однако все это должно было неизбежно исчезнуть в процессе окончательного формирования системы. *Возобладал иезуитский подход Чубайса — демократические процедуры де-юре сохранить, но при этом выхолостить по максимуму. Главными технологиями при таком раскладе становятся виртуальные пиар-кампании, сопровождающие массовые фальсификации в процессе голосования.* Цена этих «издержек» *оказалась чересчур высокой, а захвативший сознание прогрессивной общественности броский лозунг «Бабло побеждает зло» неизбежно превращал деньги, причем нажитые любым способом, в имманентную категорию добра.* Несостоятельными оказались предсказания либералов, *что все язвы эпохи первичного накопления капитала в России зарубцуются с выходом на авансцену нового поколения бизнесменов и зарождающегося среднего класса. <...> те, кто добился коммерческого успеха благодаря правильно раздаваемым взяткам, оказались совершенно не заинтересованы в установлении одинаковых для всех правил честной конкуренции. А выросший на нефтяных дрожжах средний класс только и мечтает о сохранении статус-кво, ассоциирующегося у него с гарантированной халявой.* Связка правящих «либералов» 1990-х годов с силовиками 2000-х была неизбежной. Режим был бы не прочь отказаться от услуг «либералов» в правительстве, но прагматизм перевешивает. Без них никуда: они необходимы и для собственных «больших дел», и для поддержания хотя бы видимости экономического благополучия страны. Таким образом, утверждает Каспаров, *существующий в России режим по праву можно назвать «ельцинско-путинским». Но если при Ельцине модель системы, условно, соорудили из гипса, то при Путине ее уже отлили из бронзы, окончательно утвердив принцип верховенства исполнительной власти, власти президента и его приближенных над всеми остальными ветвями власти и над обществом.* С появлением на вершине власти Дмитрия Медведева возникла новая модификация ельцинско-путинской системы. А через год выяснилось, что его функция вовсе не в реальной либерализации российской жизни (на что некоторые питали надежды), а лишь в *юридической лакировке абсолютно бесправной российской действительности. Юрист Медведев выполняет важную задачу легализации всего «освоенного» за минувшее время номенклатурой.* Ожидание медведевской оттепели оказалось всего лишь «полезным идиотизмом», активно используемым властью. Далее Каспаров замечает: *У этого режима нет определенной идеологической базы, он мозаичен. Для него установки «мочить в сортире» и «свобода лучше несвободы» совершенно не противоречат друг другу... принципиально только сохранение в своих руках собственности и полный контроль над финансовыми потоками. Тут*

повсюду царит круговая порука — этакая возведенная в абсолют номенклатурная омерта («кодекс чести» у мафии. — *Е. Е.*). *И превыше деловых качеств ценится лояльность — по этому принципу ведется подбор руководящих кадров на всех уровнях. Режим разнолик — в нем при желании можно найти элементы авторитарных и тоталитарных конструкций разных эпох.* <...> *Вспоминается Умберто Эко с его списком четырнадцати «типических характеристик Вечного Фашизма»...* «Конек» режима — неустанная идеологическая обработка населения. В отличие от топорной советской пропаганды нынешняя старается охватить разные части общества: *Для каждой аудитории у власти есть свои «знаковые» пропагандисты. Для одной Шевченко, для другой Проханов, для третьей, самой привередливой, — Сванидзе и Радзиховский. Но по всем направлениям денно и нощно обществу внушается мысль, что, даже если все плохо, достойной альтернативы правящему режиму нет.*

Каспаров призывает к созданию полноценной, внятной общей концепции борьбы против режима в целом. *Против режима, чья неадекватность историческим вызовам, стоящим перед Россией, с каждым днем становится все более очевидной. Режима, неспособного справиться с коллапсом социальной и промышленной инфраструктуры, не обновлявшейся с советских времен. Режима, безучастно наблюдающего за крахом военной реформы и бытовыми трагедиями основной части офицерского корпуса, но при этом постоянно укрепляющего силовые структуры подавления гражданского протеста и создающего частные корпоративные армии. Режима, при котором проблема чеченского сепаратизма плавно переросла в новую кавказскую войну всех против всех. Режима, который рассматривает аллергию на кровь, как рудимент лузерской психологии.*

Далее Каспаров анализирует, какие решения по преодолению тяжелейшего кризиса российской государственности предлагаются по всему идеологическому спектру радикальной оппозиции. Это неприемлемые для него идеи националистов, это проект конституционной монархии, представленный Станиславом Белковским, это левые идеи, не собранные в цельную концепцию и по большей части обращенные в прошлое: в лучшем случае — к Марксу, в худшем — к Сталину А что же с либеральным проектом? Тут Каспаров различает либералов системных (опору правящего режима) и несистемных и формулирует общий принцип: *Современный российский либерализм может стать самостоятельной политической силой только в том случае, если раз и навсегда откажется от навязываемой ему гайдаро-чубайсовской родословной, возьмет базовые ориентиры из гуманистического наследия Андрея Дмитриевича Сахарова и будет опираться на опыт широкого демократического движения 1989 – 91 годов. Речь должна идти о возрождении той гуманистической, антибюрократической, интернациональной концепции, которую отстаивала в 90-х Галина Васильевна Старовойтова.*

Излагает Каспаров и собственную программу. Это обширный и яркий в критической части текст. По мнению автора, правящему в России режиму нечего противопоставить ни ползучей китайской аннексии наших восточных земель, ни стремительно разворачивающемуся на южных рубежах пассионарному наступлению воинствующего ислама. Здание нынешней российской государственности прогнило насквозь и восстановлению не

подлежит. В «музей восковых фигур» должна как можно скорее отправиться Россия ельцинско-путинская. Задача, которую предстоит решать в постпутинской России, Каспаров формулирует так: *сохранение государственного ядра русской цивилизации.* Ключевые параметры перезагрузки: резкое усиление власти законодательной за счет уменьшения полномочий власти исполнительной; ликвидация номенклатурного всевластия, базирующегося на бесконтрольной выдаче всевозможных квот, лицензий и разрешений; неукоснительное соблюдение федеративных принципов; перенос тяжести на мэрско-муниципальный уровень, где должны быть сосредоточены реальные финансовые и управленческие рычаги; гарантии правового единообразия во всех, без исключения, российских регионах. Нормализация политической жизни в России должна начаться с созыва Учредительного Собрания, которому предстоит определить форму государственного устройства и предложить для всенародного обсуждения на референдуме проект новой Конституции. Деятельность государственной машины должна стать подотчетной обществу и направленной на создание достойных условий жизни для всех граждан России. Далее у Каспарова следуют немаловажные подробности, которые мы здесь не излагаем, отсылая любопытствующих читателей к первоисточнику. Процитируем лишь еще немногое: *В сложившихся сегодня условиях любая форма активного взаимодействия с режимом, будь то участие в «выборах» или согласие войти в формируемые властью псевдообщественные организации, является как минимум косвенным соучастием в совершаемых преступлениях. <...> Режим не может существовать в вакууме, и появление критической массы людей, отрицающих его право на произвол и насилие, может качественным образом изменить ситуацию. Главной задачей является поиск форм самоорганизации граждан, недовольных существующим положением вещей <...> Нет никакой гарантии, что эта деятельность окажется востребованной буквально завтра, но... мы должны бежать марафонскую дистанцию, зная, что в любой момент могут объявить забег на стометровку. И к моменту этого, внезапно объявленного старта мы должны сохранить достаточный запас сил и энергии, скорость и резкость, чтобы не потерять ориентировку, оказавшись затянутыми в стремительный водоворот событий.*

Михаил Делягин в статье **«Россия после Путина: Секрет развития — замена клептократии здравым смыслом»** («Ежедневный журнал», 8 июля) прогнозировал развитие кризиса в стране темпами, которые не подтвердились, и предсказывал в отдаленной перспективе *революцию заместителей начальников департаментов* — то есть внутрибюрократический переворот, в ходе которого произойдет прорыв к власти представителей третьего-четвертого эшелонов современной бюрократии. При этом, по Делягину, произойдет реструктуризация правящей бюрократии. *Страх перед хаосом, разверзающимся в результате пренебрежения общественными интересами, сделает новых руководителей страны относительно ответственными — и приведет к оздоровлению государства. Если их компетентности не хватит для решения проблем или если чувство страха окажется недостаточным для их ответственности — российская цивилизация погибнет еще при нашей жизни. <...> Если же чувство страха будет достаточным для закрепления ответ-*

ственности, а компетентность нового руководства — для решения проблем, мы выйдем на путь авторитарной модернизации. С ущемлением прав и свобод граждан не бóльшим, чем сейчас, но зато с ущемлением их прав не для коррупции, а для модернизации. <...> В результате разумная социально-экономическая политика обеспечит рост благосостояния, который постепенно обеспечит демократизацию общества, и Россия пойдет путем, условно говоря, Южной Кореи. Нужна, пишет Делягин, новая оппозиция: *это не будет правая, левая или патриотическая в чистом виде сила, но сила, выражающая синтез этих ценностей, который уже давно происходит в нашем обществе. Эта сила будет опираться не на какую-то абстрактную идеологему, но непосредственно на здравый смысл — не на то, что разъединяет народ России, а на то, что объединяет нас всех в единую, несмотря ни на что, историческую общность. <...> Таким образом, будущее нашей Родины во многом зависит от того, удастся ли нам активизировать, ускорить формирование политической силы, опирающейся на интересы российского народа, а в идеологическом выражении — на здравый смысл.*

С присущим ему фаталистическим скепсисом анализирует возможные варианты политического кризиса в России **Леонид Радзиховский** (**«Взрыв? Нет, разложение»** — «Ежедневный журнал», 6 августа). Размышляя о том, что же означает словосочетание «гибель России», журналист приходит к следующему выводу. Гибель России сегодня означает нижеперечисленные вещи: *Бесправие. Коррупция как единственный метод госуправления. Прогрессирующее отставание от передовых технологических стран. Деградация науки. Дебилизация общества. Паразитически-сырьевая экономика. Потеря авторитета во внешнем мире. Политический и социальный застой. Отсутствие «проекта», «плана», перспективы, попросту говоря — надежды. <...> Ну да,* — пишет Радзиховский, — *мы — погибли. Но это не больно. И вообще, это не результат, это — процесс. «Мягко, приятно, не прерывая сна». Ничего сверх этой программы «вялой гибели» — не ждите. <...> Култыхаться себе в то более глубоком, то более мелком нефтяном болоте и квакать — то самодовольно-рокочуще (100 долл./баррель), то тоненько-раздраженно-жалобно (40-50 долл./баррель) — можно неограниченно долго. Ни на целостность, ни на суверенитет, ни на иные аксессуары нашей невинности никто не покушается. Главное, чтоб из труб текло. А что там внутри болотца — никому и дела нет. <...> Ввиду отсутствия альтернативных моделей и энергии в обществе страна и дальше живет «по исчерпанной модели», машина «едет юзом». Или, если угодно, стоит и гниет. Это как посмотреть. «Энергетическая держава», лишенная социальной энергии, и дальше будет ворочаться в своей энергетической яме.* Да и вообще это вопрос термина: *Можно привлечь внимание угрожающим «погибли!», можно пожать плечам — «живем мы так».*

Иногда, однако, Радзиховский все же пытается найти субъекта перемен в современной России. В поисках силы, хотя бы теоретически способной что-то изменить в обществе, его морали, его политическом сознании, Радзиховский доходит до Русской православной церкви (**«Воскресение»**, **«Понедельник»** — «Ежедневный журнал», 22 и 27 июля)). Первая ласточка — антисталинские речи главы Отдела внешних церковных связей архиепископа

Илариона. Владыка произнес *абсолютно беспощадный антисталинский текст — без малейших «с одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой — нельзя не признаться»*. Сказано было: *моральный урод, чудовище, палач, режим, как нацистский.* Радзиховский задается вопросом, что означает это выступление для РПЦ в целом и будет ли продолжение? Следуют и другие вопросы: *Может ли Церковь излечить страну от... атеизма-сталинизма? Может ли она воскресить страну?.. Захочет ли?* Захочет ли отказаться от собственного державничества — и *излечить Россию от болезни циничного державнического «патриотизма»*? *Воскреснуть — и воскресить*, — пишет Радзиховский, — *Вот исторический вызов, который стоит сегодня перед патриархом.* Разрывая со своим сталинским прошлым, РПЦ показывала бы, что она рвет пуповину, связывающую ее с государством. Обретает свободу. *И это же сразу бы изменило всю атмосферу в стране: впервые люди бы увидели реальную, мощную организацию, независимую от государства! Да, это был бы целый моральный и социальный «геологический переворот».*

Возражая Радзиховскому в том же «Ежедневном журнале» (**«Соломинка или гиря?»**, 27 июля), **Игорь Яковенко** пишет: вся тысячелетняя история нашей страны доказывает: *православие и РПЦ как его главный институт — это гири на ногах России, пытающейся время от времени ползти к прогрессу. <...> Православие жестко встроено во власть и именно ее, а не паству, имеет источником своего авторитета и легитимности.*

Для **Николая Сванидзе** (**«Кадыров VS Пугачева. Чистая победа»** — «Ежедневный журнал», 28 сентября) борьба за мальчика, Дени Байсарова, между его матерью К. Орбакайте и отцом Р. Байсаровым — повод выйти на более общие проблемы. Журналист полагает, что в этом частном деле проявляется скрытая логика социальных процессов: *Разумеется, не Кристина Орбакайте с Русланом Байсаровым тягаются в Грозненском суде. Нет. Это Алла Пугачева меряется в Кремле с Рамзаном Кадыровым. И исход этой неравной схватки предрешен. <...> Поражение Байсарова будет воспринято в Чечне как личное поражение Кадырова. Это было бы, конечно, некритично, но он не может такого допустить. И не допустит. И Кремль (точнее, Белый дом, Кадырова курирует лично Путин) этого не допустит. <...> Российская власть расплачивается по чеченским счетам и в прямом, и в переносном смысле. То, что казалось еще относительно недавно абсолютным успехом — найден сильный человек, который за полное право делать в республике все, что захочет, способен скрутить ее в бараний рог и взять под контроль, — обернулось своей обратной стороной. Да, Кадыров — сильный и контролирует Чечню. Но только Москва слабая и не контролирует Кадырова. Не ему теперь диктует условия — он их диктует. И он не боится российской власти. Напротив, российская власть его боится и имеет для этого все основания. <...> Москва сейчас неспособна, не в состоянии ни в чем перечить Рамзану Кадырову. Надоест ему быть вольною царицей, а он уже сейчас имеет в Чечне ничем не ограниченную власть, захочет стать владычицей морскою — станет. Чечню роднит сегодня с Россией только безудержное казнокрадство, и оно же удерживает Чечню в России. Обмелеют, иссякнут молочные реки — и Кадыров сыто отвалится от кормящей груди. И тогда никто и ничто его уже не удержит.*

Андрей Колесников в статье **«Гламуризация дуумвирата»** (Газета.Ru, 18 августа) производит рассуждения культурологического свойства. Явления народу, поведение и манеры нынешнего дуумвирата на отдыхе в Сочи он сравнивает с тем, что запечатлела кисть художника А. М. Герасимова на картине «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» (1938), в простонародье — «Два вождя после дождя», и с фотографиями Брежнева и Косыгина на отдыхе. *У Герасимова высшее руководство страны, одетое явно не по погоде в шинели (зеленая листва на панораме города четко указывает на лето), сумрачно бродит по лужам под тревожными тучами. А представители дуумвирата на официальной съемке нынешних дней гораздо более оптимистично прогуливаются по номенклатурной набережной и строго охраняемому галечному бережку, улыбаются, носят красивые темные очки и демонстрируют замечательную летнюю одежду явно не от отечественного товаропроизводителя. <...> Там железный сумрак сталинизма, здесь солнечные деньки... только вот чего? Кризиса? Поведение дуумвиров на отдыхе резко контрастирует с ситуацией в экономике страны. Президент за рулем дорогого автомобиля — живая иллюстрация к другому классическому произведению: «Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями»*. <...> Вскоре после совещания у президента по борьбе с пьянством глава правительства на глазах у изумленной публики пил пиво. Жаль, неизвестно какое. Так бы получился классический product placement. <...>. Официальная съемка Леонида Ильича Брежнева тоже демонстрировала успехи начальства в обустройстве собственного отдыха. Но все было как-то скромнее: Ильич в купальной шапочке, не замочив голову, медленно плывет под пристальным взглядом отфыркивающегося охранника; Леонид Ильич с Викторией Петровной режутся в домино... Брежнев в летнем костюме смотрит вдаль; Брежнев в летнем костюме целует в десны руководителя братской партии — тогда ведь тоже отпуска были рабочими. Самой замечательной и любимой самим Леонидом Ильичом была фотография Владимира Мусаэльяна 1971 года, где советский лидер, стоя на палубе яхты, смотрит в морскую даль, на носу темные очки, сам в заграничном спортивном костюме, волосы красиво уложены. «Здесь я похож на Алена Делона», — хвастался генеральный секретарь. Удивительно, но это правда. <...> Что, собственно, пытаются доказать имиджмейкеры широким народным массам, представляя наших сегодняшних вождей в формате светской хроники, хотя и несколько дистанцированной от пира во время чумы на палубе «Авроры», но такой же глянцевой и гламурной? Что они такие же, как все? Но «все» не покрыты легким загаром и не садятся оптимистично за руль черного отмытого авто. Что у нас в стране все хорошо? Или у начальства все хорошо — со здоровьем, благосостоянием, чистотой казенных помещений, чуть ли не пожизненно выданных им в пользование благодаря поправке в Конституцию о шестилетнем сроке? Народ у нас, конечно, апатичный и безразличный, но демонстрация нарочитого лакового благополучия и благосостояния руководителей страны не может не раздражать население бедной страны. <...> Власть у нас вообще стремительно гламуризуется: выступает в роли светских львов и львиц, пишет стишки к*

* Для тех, кто не узнал цитату, — это из «Золотого теленка» (*ред.*).

песенкам и романы из современной жизни, показывает городу и миру дорогие часы и ухоженных аристократических собак, помещает себя в интерьеры, годные для мировых архитектурных журналов. И это лишь усиливает впечатление дисгармонии с процессами, происходящими в реальной жизни — за стенами номенклатурных интерьеров и за пределами Садового кольца.

Россия и мир

Годовщину прошлогодней Кавказской войны отмечает **Кирилл Бенедиктов** (**«Несколько слов о национальной гордости»** — «Взгляд», 26 августа). Патетическая риторика этой статьи воспроизводит магистральный сюжет официозной шапкозакидательско-изоляционистской идеологии. *Когда развалился Советский Союз и Россия, не без помощи дорвавшихся до власти демократов, стала отступать перед «международным сообществом», теряя одну позицию за другой, это воспринималось как неприятная, болезненная, но вполне закономерная капитуляция. <...> Россия добровольно сдала все, что могла сдать. Фактически победив в первой чеченской войне, отдала победу бандитам и отморозкам, захватывавшим роддома и школы. <...> Потом было вторжение ваххабитов в Дагестан и вторая чеченская война. <...> Воюя в Чечне и постоянно оправдываясь перед Западом за свою внутреннюю политику, на международной арене Россия продолжала отступать <...> А потом наступил день трех восьмерок. 08.08.08. Либералы кричат о том, что войну начала Россия, а маленькая миролюбивая Грузия только защищалась.* На самом же деле, то есть — по Бенедиктову, Саакашвили *просто был уверен: Россия не посмеет вмешаться. <...> Россия посмела. Она вступила в войну, и через пять дней 58-я армия была в пятидесяти километрах от Тбилиси. Это была победа, которой можно — и нужно — гордиться. <...> Признав Абхазию и Южную Осетию — без оглядки на «мировое сообщество», — Россия показала, что она не нуждается ни в чьих советах и разрешениях. И это тоже повод для гордости. <...> Южная Осетия и Абхазия — друзья России. Маленькие, не очень влиятельные, но искренние. А дружба не измеряется в инвестициях. Год назад Россия защитила своих настоящих друзей и нашла в себе твердость пойти до конца, и признала их независимость, вступившись за них перед всем миром. Перед пресловутым «мировым сообществом». И это реальный повод гордиться Россией.*

Диаметрально противоположный взгляд на итоги войны предлагает **редакционный** комментарий Газеты.Ru **«Безвыигрышная победа»** (7 августа). Версия, что прошлогодняя война была спонтанным и вынужденным актом, а также, что целью ее было спасение жителей Южной Осетии и российских миротворцев, малоубедительна, сказано в статье, — особенно в свете переноса боевых операций на территорию собственно Грузии и последующего признания новых независимых государств. Тут, по мнению аналитика, приоткрываются иные намерения. А именно: 1) *преподать урок внешнему миру и особенно Америке: пусть видят, что с Москвой шутки плохи;* 2) *приструнить СНГ, показав, что с работы можно уволить не только губернаторов, но и проштрафившихся президентов;* 3) *сплотить собственных граждан в едином порыве энтузиазма, а также презрения ко всей совокупности внешних врагов.*

Удалось ли справиться с поставленными задачами? Что касается третьей из них, то лишь отчасти. Да, подавляющее большинство россиян (71% против 11%) до сих пор считают, что Россия правильно сделала, вступив в эту войну, однако сегодня одобрение это окрашивается *уже не столько энтузиазмом, сколько фатализмом.* С тем же, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии пошло России на пользу, согласны меньше трети опрошенных. По части пункта первого можно смело утверждать: российского престижа на Западе пятидневная война тоже не укрепила — ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не согласились признать соседние с Россией земли сферой влияния Москвы. *Чтобы великие экономические и военные державы отказались от своих базовых интересов,* — полагает автор статьи, — *нужно предъявить им гораздо больше силы и решимости, чем имеется в распоряжении официальной Москвы.* Она же продемонстрировала, скорее, свои намерения. И *проект, деликатно называемый «десуверенизацией Грузии», так и остался проектом.* И даже решение признать государственный статус отпавших от Грузии анклавов *тут же сделалось ловушкой для российской внешней политики, заставив ее вести унизительную и безнадежную кампанию за то, чтобы их признал еще хоть кто-нибудь.* Больше того — и это то, что касается второго пункта. Отказ России от принципа уважения территориальной целостности перепугал все постсоветские государства независимо от их режимов. *После пятидневной войны,* — сказано далее, — *не только Союзное государство с Белоруссией, но и прочие эфемерные постсоветские структуры перестали существовать даже виртуально. За прошедший год почти все они предприняли какие-то страховочные действия, ища гарантий для себя на Западе, на Востоке или и там, и там...* Поведение партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности продемонстрировало, что члены этого, по выражению автора статьи, *абсурдного «анти-НАТО»* боятся России, то есть *главного своего партнера, больше, чем потенциальных врагов.* И в довершение всего, пишет Газета.Ru, Россия приросла двумя маленькими провинциями, одна из которых и впрямь хочет оформиться как отдельное государство (*хотя теперь эта мечта от нее дальше, чем прежде*), зато другая под руководством Эдуарда Кокойты *ориентируется, скорее, на опыт кадыровской Чечни с ее внутренней бесконтрольностью и жизнью на дань, получаемую из Москвы.*

Прошлогодняя война с Грузией была не просто глупостью, а глупостью *очевидной* — в том смысле, что *страны СНГ тоже не слепые,* — пишет **Леонид Радзиховский** в статье **«Заранее объявленный финиш»** («Ежедневный журнал», 20 июля). *Если весь мир идет не в ногу, а одна Россия — в ногу, то что выберут страны СНГ? Правильно.* Так что имперский эксперимент полностью провалился, а *«геополитическая война», о необходимости которой так долго кричали дугины-леонтьевы-прохановы, закончилась геополитическим поражением.* И как результат — картина расползающегося СНГ: кто устремился к Китаю, кто к Турции, но все — *от* России. А иначе и быть не могло, считает Радзиховский: *Бывшие республики СССР — от Эстонии до Туркмении — обрели каждая свою, органичную для себя «суверенную демократию», «встали с колен» (в основном в 2000-е) и образовали на территории СССР «многополярный мир», где нет и не может быть «диктата одной стра-*

ны». И тут уже ничего не зависит ни от России, ни от самих этих республик — как от ребенка не зависит его развитие: *до старости ползать и гулить не будешь.* Да и что Россия может предложить бывшим собратьям?. Военный союз? — *Против кого?!* Экономический союз? — *При наличии ЕС с одной стороны и Китая с другой?!* Культурный союз? — *Так на кой черт им Голливуд «по Михалкову»*, если есть настоящий Голливуд?! Может, тогда идеологический союз? — *Это какой? «Россия для русских»?!. Или защита русскоязычных?* Но, во-первых, рассуждает Радзиховский, *это не сплочение со странами СНГ, а попытка раскола этих стран.* Во-вторых же, *Россия просто-напросто* ***плюнула*** *на русскоязычных* — и не только где-нибудь в Туркмении, она плюнула на русскоязычных и внутри самой России. *«Крутитесь как умеете» — отличный и честный лозунг*, замечает автор статьи. Только для *союза* с кем бы то ни было подобные лозунги не годятся.

Александр Храмчихин в статье **«Трезубец над Кремлем. Сценарий российско-украинской войны»** («Частный Корреспондент», 7 сентября) показал, что в вероятной войне с Украиной Россия потерпит военное поражение: *не российские войска войдут в Киев, а украинские — в Москву. <...> Реформа даром не прошла. России, для того чтобы просто создать в районе границы с Украиной группировку, эквивалентную по силам ВС Украины, понадобится, очевидно, не один месяц.* Более того, *обнуление наших обычных ВС в ближайшие годы сделает совершенно реальными ситуации, когда, например, Грузия вернет себе Абхазию и Южную Осетию, а Япония захватит Южные Курилы. Мы ответим ядерным ударом по Тбилиси и Токио? Есть подозрение, что все-таки нет. Ведь удар по безъядерным странам в ответ на захват ими совсем небольших территорий (причем в случае с Абхазией и Южной Осетией нам даже не принадлежащих) будет диким пещерным варварством, за которое Россия справедливо заслужит статус абсолютного международного изгоя и окажется в полной изоляции. Удар же по самим потерянным территориям будет варварством ничуть не меньшим.* Тем более что в этом случае мы «освободим» радиоактивную пустыню...

История

Семьдесят лет назад началась Вторая мировая война. В апреле 2009 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую преступления тоталитарных режимов, и объявил 23 августа (день, когда был подписан «пакт Молотова — Риббентропа») *«общеевропейским днем поминовения жертв тоталитарных и авторитарных режимов»*. А в июле в Вильнюсе была принята резолюция ОБСЕ «Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». В резолюции через запятую перечисляются *«преступления двух мощных тоталитарных режимов»*, нацистского и сталинского, и поддерживается предложение Европарламента объявить 23 августа *«общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма»*.

Державно мыслящий **Кирилл Бенедиктов** в статье **«Историки на тропе войны. Политика памяти»** («Русский журнал», 24 августа) опасается: ну вот, страны Центральной и Восточной Европы опять начнут требовать от Рос-

сии компенсации *«ущерба от оккупации»*! Опять начнутся *спекуляции на трагедии голода 1930-х годов*, а употребление в резолюции термина «геноцид» фактически даст *международную санкцию фальсификаторам истории*. Бенедиктов вообще считает, что резолюция ОБСЕ есть не что иное, как вмешательство во внутренние дела России. Рассуждает он так: коль скоро документ считает недопустимым *«восхваление тоталитарных режимов, включая публичные демонстрации в ознаменование сталинистского прошлого»*, то стало быть России отказано *в праве проводить военные парады в честь Дня Победы*. Дальнейшие соображения автора статьи можно свести к тому, что российскому государству следует оплатить деятельность историко-политических институтов, которые будут бороться с западными фальсификаторами. Из существующих ныне похвалы Бенедиктова заслуживает только фонд Александра Дюкова «Историческая память» — и это, несмотря на то, что *деятельность Дюкова носит отчасти провокативный характер: так, он обрел широкую известность после заявления о том, что хотел бы «лично убить режиссера» латвийского фильма «The Soviet Story» (о сотрудничестве СССР и Третьего Рейха, Холокосте, депортациях и голодоморе) и «сжечь нахер латышское посольство»*.

Андрей Мартынов в статье **«Невиновных не бывает?»** («Русский журнал», 21 августа) пишет: *Понятие виновности может быть отнесено практически ко всем странам-участникам II Мировой войны. <...> Думается, что вместо взаимных претензий (зачастую обоснованных) было бы более продуктивно взаимное покаяние. И не только нравственно, но и политически*. Редакция «Русского журнала» присоединяется к Мартынову: *Сегодня самое время вспомнить, что невиновных тогда, 70 лет назад, не было*.

Среди откликов на принятие резолюции ОБСЕ отметим статью **Леонида Радзиховского «Красно-коричневые»** («Взгляд», 24 августа). *Резолюция не «воссоединила», а успешно стравила части «разъединенной Европы»*, — констатирует он, — российская делегация решительно выступила против. Российские политики утверждают: *Уравнивать нацизм и сталинизм — это «надругательство над Историей»*. Да нет, пишет Радзиховский, это такие заявления — *«надругательство» над Историей, логикой, здравым смыслом*, а резолюция не содержит ничего, кроме *самоочевидных банальностей. И пытаться отрицать эту очевидность так же смешно и глупо, как отрицать любую иную бесспорную вещь*. В вильнюсском документе говорится про тоталитарные режимы — советский и нацистский. Радзиховский терпеливо и довольно пространно разъясняет, в чем состоит суть тоталитаризма. Не будем пересказывать всю статью, ограничимся лишь некоторыми цитатами. *Можно зафиксировать и различия сталинизма-большевизма и нацизма*, — пишет автор. — *Их кратко сформулировал Гитлер. «Национал-социализм — это и есть большевизм, очищенный от интернационализма и совершенно чуждой ему (большевизму) гуманистической оболочки»*. Впрочем, отмечает Радзиховский, Сталин и без гитлеровских «советов» де-факто отказался от главного в большевистском интернационализме — от идеи Мировой Революции. Высшим, *«математически чистым»* образцом тоталитаризма автор статьи называет приказ НКВД СССР от 30.07.1937 года, который устанавливал нормы убийств: *На все края и области СССР спускались контрольные цифры — сколько надо посадить, сколь-*

*ко расстрелять в течение трех месяцев. Затем, как водится, пошло соцсоревнование, перевыполнение планов, продление сроков. Всего было расстреляно — только по этому приказу — около 800 000 человек. Но дело совсем не в количестве. Дело — **в принципе**. Расстрел не за конкретные (пусть даже фальшивые) преступления. Нет! «Чисто статистический расстрел» — расстрел людей в соответствии с **заранее заданными цифрами**. А ты — начальник НКВД — «набивай цифру» **какими угодно** трупами.* Радзиховский цитирует мысль Сталина: «*Смерть человека — трагедия, смерть миллионов — статистика*». Вот так и перерабатывались на утиль «статистические массы», пишет он. А Гитлер эти начинания лишь «творчески развил».

Никакого тоталитаризма в СССР не было вовсе, — во всяком случае именно так полагает прокремлевская общественность, пишет **Александр Скобов** в статье **«Не было, но будет»** (Грани.Ру, 2 сентября). Авторы новейшей школьного учебника российской истории (под редакцией А. Филиппова) уже в предисловии заявляют, что концепция тоталитаризма — *«не инструмент познания, а орудие идеологической войны», средство уничижения нашей страны через приравнивание ее к гитлеровской Германии.* Сегодня, продолжает Скобов, *чиновники от образования вообще «не рекомендуют» употреблять термин «тоталитаризм». Сталинский СССР они предлагают определять как «общество повышенной мобилизации», обусловленной необходимостью ускоренной модернизации перед лицом «внешних вызовов».* В самом деле, поясняет Скобов, массовые репрессии сами по себе не являются типологическим признаком тоталитаризма и советское государство было тоталитарным не только в сталинский период, а все годы своего существования. *Но по масштабам уничтожения людей пальма первенства... принадлежит тоталитарным режимам, а именно сталинскому и гитлеровскому. Поэтому и само понятие «тоталитаризм» по праву ассоциируется с самыми страшными злодеяниями XX века. И кроме научного значения оно несет еще и вполне определенную эмоциональную, оценочную нагрузку. Признание советского строя тоталитарным — это напоминание о совершенных родным государством преступлениях.*

Близкого сюжета касается **Юлия Латынина**. Ее статья **«Кампания Примирения и Объяснения»** («Ежедневный журнал», 1 сентября) посвящена выступлению Владимира Путина в польской «Gazeta Wyborcza». Статья, посвященная 70-летию начала Второй мировой войны, по словам журналистки, представляет собой экспортную версию путинской идеологии, как «Лада» — экспортную версию «Жигулей». *Так*, — пишет Латынина, — *тезис об «эффективном менеджере Сталине» (для внутреннего потребления) заменен на экспортный тезис о «тоталитарном режиме», от которого пострадали и русские, и поляки.* Однако, по тонкому замечанию автора, «Лада» и в экспортной версии «мерседесом» стать не может и *объяснять на страницах польской газеты полякам, что СССР вместе с Польшей боролся против Гитлера, а Англия и Франция ее предали, — это все равно как если бы премьер Швеции просветил русских по «Эху Москвы», что Карл XII под Полтавой сражался против турок за свободу России, но был предан своим союзником Петром I.* Далее Латынина пишет: *в Кремле существует глубокое психологическое отождествление себя с участниками пакта Молотова-Риббентропа, причем сразу с обеи-*

ми сторонами. Вся статья Путина... построена на том, что Мюнхенский договор (то есть трусость приличного человека перед людоедом) — это то же самое и даже хуже, чем пакт Молотова-Риббентропа (то есть сговор двух людоедов). И это не пиар, не пропаганда — это глубокое внутреннее психологическое убеждение Кремля, на котором и построена его нынешняя политика. Вся проекты Путина, все газопроводы исходили из того, что Европа — это трусы и болтуны, которых можно запугать или купить, как это сделал Гитлер в Мюнхене. <...> Однако после августа прошлого года выяснилось, что Европа все же усвоила уроки Мюнхена, а Путин ее недооценил, — как, кстати, и Гитлер. Латынина продолжает: *Неоднократно в XX веке казалось, что демократия смешна, наивна, труслива, нерешительна, подла и проигрывает чугунным кулакам и медным лбам диктаторов, но каждый раз демократия выживала, а Гитлеры, Брежневы, Чаушеску, Милошевичи и пр. — рушились в бездну. Поразительно — но Кремль не усвоил урок. Там до сих пор так и не поняли, почему Четвертый Рейх в лице США не подписал с великим Путиным второй пакт Молотова-Риббентропа. Они искренне считают, что и вправду могут объяснить, что Грузинские Фашисты Напали на Мирную Южную Осетию, а Украина Сама Себе Перекрыла Газ. Увы! В отличие от классического оруэлловского тоталитаризма, навязывавшего двоемыслие всем, в открытом мире XXI века квазитоталитарные режимы уменьшились до экономически незначительных величин; они лгут в основном сами себе и все глубже погружаются в пучину персональной геополитической шизофрении.*

Ну а **Александр Гольц** в статье **«Кому досталась плесень»** («Ежедневный журнал», 2 сентября) поймал премьера на лжи. Выступая 1 сентября в Гданьске на церемонии, посвященной годовщине начала Войны, Путин сказал: «*Государственная дума РФ, парламент страны осудили пакт Молотова — Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано. И не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений*». Гольц комментирует: *Прозвучало красиво. Но все дело в том, что ни на уровне политических лидеров, ни на уровне политических решений современная Россия пакт Молотова — Риббентропа не осуждала. Он был осужден, но только съездом народных депутатов СССР в 1990 году. А это, как ни крути, была не Дума, не Россия, это был квази-парламент СССР — другого государства.* Из этого Гольц делает следующий вывод: *Теперь нет никаких сомнений, что российские лидеры потеряли всякое ощущение разницы между собственным враньем и реальностью.* <...> *Долгие годы абсолютного контроля над послушным телевидением обернулись тем, что российский нацлидер и его сотрудники всерьез уверились: они могут по собственной воле конструировать не только настоящее, но и прошлое.*

Вообще, комментарии к путинским пассажам не менее красноречивы, чем сами пассажи. Так, **Владимир Надеин** в статье **«Путин в Польше»** («Ежедневный журнал», 3 сентября), начав с общей оценки (*Десять лет безраздельной власти, десять лет безразмерной лести не прошли для Путина бесследно. Он полностью утратил способность слышать других и слушать себя.*), обращается затем к выступлению премьера в Польше, в частности, производя рецепцию сказанной по поводу известных событий 1939 года фразы «*А если кто-*

то ставит перед собой цель выискивать из этой старой и уже заплесневелой булки какие-то изюминки для себя, а всю плесень оставлять одной из участниц этого процесса, то ничего хорошего из этого не получится». Ах, как много всего наболтано в этом уникальном хлебобулочном чуде! — замечает Надеин. — *ослепительное невежество оратора: история принципиально не ведает черствых булок. Все, что с нами было — вечно свежий хлеб. Тут и выдающаяся душевная заскорузлость: 1939 год — незаживающая рана поляков. В растерзании родины для них ни изюма, ни плесени — только реки родной крови, не просто ничуть не забытой, но еще и не запекшейся, алой и дымящейся. Тут и кухонная мелочность: вон как ревниво подсчитал, кому изюм, кому плесень. Тут и политический склероз. Вспомни, что ты же вещаешь не просто в теплый осенний день, а в круглую годовщину вероломного нападения страны, где ты начальником, на страну, где ты гостем. Тут и политическая близорукость: колкостью и язвительностью нельзя строить отношения с одной из крупнейших стран Европы. Тут и вершина пацаньей самовлюбленности. Привык изъясняться полуматом перед восхищенной отарой тонкошеих вождей, вот и здесь брякнул тупым экспромтом на виду у совсем другой аудитории.* И далее: *Владимир Путин отметился непреклонными претензиями на управление историей. Это не беглое впечатление о пристрастиях нашего лидера. Путин действительно не понимает, что президенты и премьеры — люди в управлении временные, а порою и случайные и лишены каких-либо прав на руководство астрономией, химией, филологией и другими фундаментальными науками. <...> Он не видит разницы между историей, которая суетливая пропаганда, и историей, которая просто наука. Отсюда его искренность, которая вызывает оторопь у собеседников, не прошедших курсов путинского новояза. <...> Польский визит показал глубинную причину того, почему десять лет правления Путина завершились глухой международной изоляцией России. Если бы не бомбы, доставшиеся по наследству, и не газ, доставшийся от Бога, с нами просто перестали бы говорить. Курс международной политики России нацелен в тупик, квалификация руководителей ее дипломатии не выдерживает критики. Проще говоря, Путин делает то, чего он делать не умеет.*

Ценой больших натяжек приходит к оптимистической апологии Путина и нулевых **Александр Морозов** в статье **«Двадцатилетие конца истории»** («Русский журнал», 5 августа). Автор благодушно смотрит на итог двадцати лет. Лидеры делали ошибки (они перечислены), а народ — *в конечном счете, получается, что «народ одолел». <...> В XX веке русским — я имею в виду «народ отдельных судеб» — есть, за что уважать себя. И есть «с чем предстоять перед другими народами». С колоссальными жертвами мы пережили/победили в войне, пережили/победили — «советскую систему», «пережили/победили двадцатилетний транзит». Да, с большими потерями. Криво, косо. Но — главное — САМИ. Вот это нас, собственно, и роднит с другими народами.* С другой стороны, Морозову почему-то кажется, что *колоссальным личным, осмысленным усилием Путин вернул Россию* в 1989 год, исправив ошибки Горбачева и Ельцина. И он продолжает теоретизировать так: *Пройдя через обморочное постсоветское двадцатилетие, попав в 2009 году наконец-то в 1989 год, теперь главное — не проскочить с разбегу «точку возврата». <...> Теперь нам всем предстоит от 1989 года пойти вперед. А не назад.* Но дру-

гим как бы путем. *Пусть это будет контур, похожий на «серебряный век», а не на контур «комсомольских 1930-х».* В итоге получается, что из опыта двадцатилетия народ у Морозова вынес одно: *В конечном счете, побеждает дистанция юмора — с беззлобной иронией и коренным недоверием зрелый человек думает о «властях». Опыт жизни заключается в том, что власть — «никогда не хороша». Бывают при власти хорошие люди, да и они — портятся. Они себе «портятся», а народ живет, растит детей, а затем и внуков.* Какой-то бедный, однако, опыт...

Персона

Слава Тарощина в статье **«Апология Андреевой»** (Газета.Ru, 25 августа) дает характеристику ведущей программу «Время» на Первом канале ТВ Екатерины Андреевой в связи со слухами об ее увольнении. *...величественная Екатерина III (у нее в предшественницах Екатерина II и Фурцева) — знак и символ эпохи. Придя в главную программу страны почти одновременно с Путиным, она со временем стала таким же гарантом стабильности, как и сам Владимир Владимирович. Когда-то Светлану Сорокину отстранили от «Вестей» за то, что сообщение о начале первой чеченской войны она сопровождала слишком выразительным осуждающим взглядом. С Андреевой ничего подобного произойти не может. Она не просто первая и главная отличница Первого канала, которой доверяют святое — вести на пару с Сергеем Брилевым задушевные многочасовые разговоры с народом хоть нынешнего президента, хоть предыдущего. Екатерина — само олицетворение державной поступи нашего отечества. Ошибаются те, кто полагает, что Андреева — всего-навсего диктор. Она виртуоз, профессионал из профессионалов, способный ежевечерне кормить свою паству если не откровенной ложью, то вечной полуправдой. И все это с замороженной полуулыбкой на устах, с не меняющимся годами выражением лица, с ровными интонациями в голосе, лишенном эмоциональной окраски. Люди, наделенные столь редким даром, сейчас очень востребованы. <...> Так что легче вообразить, что рухнет Останкинская башня, чем уволят Андрееву.* Тарощина обобщает: *Каждый день младшие братья и сестры Андреевой тратят массу сил на то, чтобы не прояснить важные события нашей общей жизни, а, напротив, максимально их затуманить. Мы видим лишь следствие, но ничего не знаем об истинных причинах и мотивах. И это по умолчанию всех устраивает. ТВ регулярно и целеустремленно продолжает унижать зрителей, отбирая у них право на полноценную информацию (об аналитике уже давно и речи нет), но никто при этом не кричит: отечество в опасности! Зато отсутствие привычной картинки, то есть гладко зачесанной, в чем-нибудь немарком и непременно приталенном Андреевой, вызывает шквал откликов.*

Статистика

Газета.Ru в заметке **«Царь-батюшка Путин»** 15 сентября информирует о результатах опроса Левада-центра «Путин: 10 лет у власти». Владимир Путин за 10 лет нахождения у власти оправдал надежды 58% россиян. Так

или иначе разочарована результатами руководящей работы Путина лишь четверть населения, еще 11% говорят, что никаких надежд на ельцинского преемника и не возлагали. Но ответы на вопросы об изменениях за прошедшее десятилетие в конкретных сферах создают ощущение, что ничего хорошего от Путина не ожидало большинство российского населения, а вовсе не десятая часть скептиков и пессимистов. Почти три четверти граждан полагают, что за две путинские пятилетки ухудшилась или осталась без изменений ситуация в здравоохранении, в образовании, в ЖКХ, что меньше стало возможностей устроиться на хорошую работу и получать достойные деньги. Больше половины считают, что не вырос, а то и снизился (36%) уровень жизни населения. Подавляющее большинство находят, что стало не лучше, а то и хуже с законностью, безопасностью, социальной защищенностью. Однако при недовольстве уровнем социальной защищенности половина граждан уверяют, что при Путине удалось в какой-то мере решить социальные проблемы в стране (речь идет обо всем сразу — об уровне жизни, ценах, безработице, обеспеченности жильем), а 38% утверждают, что уровень жизни их семей за 10 лет вырос. И пусть почти столько же граждан — 36% — кричат, что при Путине им не стало жить лучше, а 27% уверяют, что стало хуже, чем было прежде. Почти 40% россиян, улучшивших семейное материальное положение, получивших возможность купить лишнюю (или первую) котлету, брюки, холодильник, машину, квартиру (нужное подчеркнуть), составляют твердый костяк путинского электората, ядро тех, кто однозначно предпочитает путинскую стабильность «лихим 90-м». И пусть еще более небезопасными стали дороги, чаще текут крыши и лопаются трубы, хуже учат в школах и все более платной становится «бесплатная» медицина (47% видят ухудшение во всех этих сферах по сравнению с 90-ми), падает мораль и культура (на это сетуют 44% опрошенных). 78% опрошенных считают, что государство (читай — руководители, чиновники) должно больше заботиться о населении. Именно эта патерналистская модель отношений между государством и гражданами большей части россиян кажется идеальной. 80% опрошенных прямо говорят, что «*большинство не сможет прожить без опеки государства*». Только 13% граждан готовы проявлять инициативу и самостоятельность. Примерно столько же (16%) обеспокоены тем, что «*в руках Владимира Путина сосредоточена сейчас практически вся власть в стране*». И 63% уверены, что это идет на благо России.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Лев АЙЗЕРМАН

ПРАГМАТИЗАЦИЯ СЕРДЦА

Педагогическая непоэма в документах и размышлениях

В основе этих записок — год работы в школе, а именно учебный год 2008/2009*. Да и построен этот рассказ на школьных сочинениях, то есть тех документах, в которых, по моему глубокому убеждению, *отразился век и современный человек изображен довольно верно*. Использовать сочинения старшеклассников как инструмент социологического, психологического, педагогического и методического познания я начал больше сорока лет назад — с 1967 года: именно тогда в журнале «Юность» появилась моя первая статья, построенная на материалах ученических работ.

Тогда я и думать не мог, что и мне, и моим ученикам придется пережить один из самых крутых переломов в жизни страны, в ее истории. Но получилось так, что я стал летописцем, точнее сказать, комментатором той летописи, которую вели мои ученики и ученики других школ, где сочинения проводились по моей просьбе.

Об этой работе я рассказывал на страницах «Юности», «Нового мира», «Знамени», «Континента», педагогической печати — прежде всего журнала «Литература в школе» и «Учительской газеты». Так сложилась книга «Сочинения о жизни и жизнь в сочинениях», аналога которой нет ни в русской дореволюционной, ни в советской, ни в постсоветской педагогической литературе. Но все педагогические издательства, которым я предлагал свой труд, отвергали его с одной и той же мотивировкой: такая книга учителю не нужна, напишите методические разработки по ведению уроков, и мы вас быстро издадим. Я же уверен, что и для учителя, и для классного руководителя, и для школьной администрации, и для родителей, и вообще для всех, кого волнуют судьбы новых поколений нашей страны, нет ничего более интересного и важного, чем возможность увидеть, как отражается современность в душах,

* Речь пойдет о трех классах: двух десятых, которые я взял в сентябре 2007 года и выпустил летом 2009-го. Это были профильные классы: три четверти учащихся готовились к поступлению в медицинский институт и четверть — в экономические вузы. Третий класс — самый обычный десятый, так называемый *базовый*, где я начал вести уроки с 1 сентября 2008 года.

Лев АЙЗЕРМАН — родился в 1929 г. в Москве. Окончил пединститут имени В. П. Потемкина. В средней школе преподает около 60-ти лет. Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, автор целого ряда книг и статей о преподавании литературы, постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

сердцах и умах наших детей. Ан нет. И поскольку мне уже восемьдесят, шансов увидеть эту книгу изданной у меня уже практически нет...

Повествование, которое я предлагаю сегодня вниманию читателя, я назвал *непоэмой* не только потому, что здесь нет тех мажорных мелодий, которые (несмотря на весь драматизм и трагизм рассказа) победно звучат в «Педагогической поэме», но и потому, что Макаренко знал ответы на многие вопросы своего времени, а я в лучшем случае могу лишь такие вопросы поставить.

1. Двадцать второе июня

Вспоминаются события четвертьвековой давности. 2 декабря 1984 года Центральное телевидение показало «Балладу о солдате» Григория Чухрая: страна готовилась к сорокалетию победы, фильм отмечал свое двадцатипятилетие. Заранее договорились, что смотреть его будут все ученики.

Так оно и было: фильм посмотрели все, а как раз накануне три класса сдали мне домашние сочинения о том, как война прошла через семьи моих учеников, как запечатлелось пережитое в памяти их родных и близких. Только несколько человек сказали, что не смогут написать на эту тему: все связи с войной в их семье порваны.

Я читал эти сочинения, и не из исторических исследований, не из сводок Совинформбюро — со страниц школьных тетрадей зримо вставала История: «*Погиб под Смоленском*», «*Погиб при форсировании Днепра*», «*Погиб в сражении на Курской губе*», «*Умер в блокадном Ленинграде*», «*Уничтожен в Освенциме*»...

Приведу только три отрывка из этих сочинений 84-го года.

* *Мой дед был кузнецом. Самая русская и самая мужская профессия. Ничего особенного он не делал: только с четырех утра и до неопределенного времени стоял у наковальни. Работать с женщинами было нелегко. Вплоть до того, что отчаявшиеся вдовы презрительно называли его тыловой крысой. А что он мог им ответить? Знал, что каждая женщина думает: «Почему не мой муж (сын, любимый)?» Сохранилось заявление деда с просьбой отпустить на фронт и отказ.*

* *Зимой, когда на полях работы становилось меньше, часть женщин отправляли на лесозаготовки. Бабушка рассказывала, что деревья пилить ручной пилой было очень тяжело. Болели руки от непривычной работы. После обрубки сучьев спиленного дерева к бревну привязывали веревку и тащили его по снегу к штабелю, затем поднимали это бревно на верх штабеля. Ныло все тело, каждый сустав болел от перенапряжения.*

* *Когда дед приехал домой по дороге на фронт после госпиталя буквально на час, то там увидел следующее: дети худы, жена усталая, на ногах не стоит. Мой отец рассказывал, что, хотя он был маленький, но запомнил в тот день одно: когда деда посадили за стол и дали ему щи из лебеды, то он ел, хвалил, а у самого текли слезы, когда он смотрел на детей. Он говорил «Как вкусно»... А сам плакал.*

На обсуждение «Баллады о солдате» приехал Григорий Чухрай (у меня тогда училась его внучка), и я показал ему сочинения. Потом он прислал мне письмо:

Взволновало меня то, что ваши ученики, сами того не сознавая, показали, как глубоко, как органично живет в них память о прошедшей войне. Некоторые выдержки из их сочинений взволновали меня до слез. Какие точные, какие емкие детали отобрала народная память! (Например, то, как отец ел суп из лебеды, хвалил, а сам плакал. Такого не придумаешь, хоть проглоти перо!)

Задание, которое вы дали своим ученикам, помогло им задуматься, что значит для них — для них лично — история страны. Многие из них поняли, что она не абстракция, что она восходит к ним от родителей, а от них перейдет к будущим детям...

С авторами этих сочинений я не так давно встречался: они отмечали двадцатилетие окончания школы. У большинства, конечно, семьи, дети; у одной — даже четверо. И я подумал, что старшеклассники, которым я сейчас преподаю, по возрасту как раз годятся в дети этим моим бывшим ученикам. Но перешел ли к ним, нынешним школьникам, вот так же личностно тот опыт войны, что достался их родителям? Увы, думаю, что нет. И словно в подтверждение этих моих сомнений недавно в одном из школьных сочинений я прочел, что рассказы о войне воспринимаются нынешними шестнадцатилетними как былины.

Почему же это так? Я пытаюсь поставить себя на место своих учеников и мысленно провожу следующую аналогию. Вот сейчас у нас 2009 год, война закончилась в 1945-м, то есть прошло 64 года. Я окончил школу в 1948 году; если вычесть из этой даты те же 64 года, получаем 1884-й. Что это за год? Тоже ведь, получается, времена почти былинные: на троне Александр III; еще не родились Ахматова, Цветаева, Маяковский, Пастернак, Есенин, Шолохов; Чехов еще не написал свои великие пьесы... Еще не создан Художественный театр. И Толстой еще не написал «Воскресения» и «Хаджи-Мурата». Еще нет такого писателя Максим Горький. Ленину — четырнадцать лет. Сталину — пять. Октябрь будет через тридцать три года... В самом деле, каким же далеким было для меня и моих одноклассников это время — 64 года назад!

...И все же, и все-таки, и тем не менее я не могу смириться с тем, что уходят из жизни (я имею в виду реальную, а не официозную жизнь) важнейшие даты, рубежи, святыни...

Заканчивался прошлый (2007/2008) учебный год. Позвонила знакомая учительница из Подмосковья. В разговоре она упомянула, что 22 июня у них выпускной вечер.

— Как двадцать второго? И в этот день ваши ученики будут веселиться, петь, танцевать, развлекаться! Кто это так назначил?

— Директор школы.

На другой день у нас в школе большая группа одиннадцатиклассников защищала рефераты по литературе. Перед экзаменом спрашиваю их:

— А почему у нас в школе так неудачно назначен выпускной вечер: на понедельник двадцать третьего? Не лучше ли было для ваших родителей воскресенье двадцать второго?

— А, наверное, на двадцать второе уже все места в ресторане были заняты.

— Так ведь по всей Москве выпускные вечера будут проходить двадцать третьего...

Молчат растерянно. Не отзывается эта дата. А я вспоминаю стихи Константина Симонова:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

День этот имеет официальный статус: День Памяти и Скорби...

И вот за три дня до него получаю присланный мне 22-й номер «Еврейской газеты» — и не верю своим глазам. На последней странице крупными буквами:

Московский еврейский общинный центр.
Интеллектуальная шоу-программа для умных и везучих
ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ
22 ИЮНЯ В 10:00
Эта интеллектуальная шоу-программа задумана как аналог телевизионных передач «О, счастливчик», «Кто хочет стать миллионером» и предназначена для людей всех возрастов.
Главный приз — персональный компьютер.
Можно выиграть бытовую технику, диски, часы и др.
При входе в зал игрокам вручается карточка с номером.
В игре шесть раундов, в каждом — 12 вопросов на самые разные темы. Среди них обязательно и три так называемых еврейских вопроса.
Вход свободный!

Прочитав все это, я настолько ошалел, что только через три дня заметил рядом еще одно небольшое объявление:

МЕОЦ представляет
Объединение сатириков и юмористов «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»
22 июня в 17.00
Вечер еврейского юмора и поэзии.
Вход свободный.

Звоню в газету. Мне отвечают, что это реклама, за содержание которой редакция не отвечает:

— Звоните в Еврейский общинный центр.

Звоню.

— Я вам ничем не могу помочь: я просто дежурная у телефона.

Что делать? Обзваниваю друзей, достаю телефон Аллы Гербер. Все-таки член общественной палаты, президент фонда «Холокост». Гербер сразу же понимает, насколько неприлична, даже непристойна эта история. И спрашивает меня:

— Так что же делать? Они ведь не отменят.

Я отвечаю, что, на мой взгляд, есть только один выход: нужно, чтобы несколько уважаемых евреев, в том числе фронтовиков и знающих про Холокост *не понаслышке, не из книжки*, пришли к началу этого шоу и сказали, что 22 июня начался стремительный путь к Бабьему Яру и долгий путь к освобождению Освенцима, — не говоря уже о том, что репортаж о таком шоу способен стать украшением любого антисемитского издания, так что нужно разойтись. Говорю, что сам я готов пойти, хотя, конечно, понимаю, что нас могут сдать в милицию за хулиганские действия против *еврейского счастья* и, возможно, даже возбудить уголовное дело по статье о разжигании национальной розни.

Гербер отвечает, что она все узнает и мне завтра перезвонит. На другой день говорит мне, что позвонила всем, кому только могла. И эти все говорят, что это, конечно, неувязка, что шоу отменять не будут, но принесут свои извинения через газету и в самой аудитории.

...В газете извинений не было. Думаю, что перед аудиторией тоже.

— Плохи дела, — сказала мне знакомая, с которой я поделился этой историей, — если даже евреи забыли про двадцать второе июня.

Но дело тут, естественно, не только в евреях. 14 августа 2008 года читаю письмо в газету «Известия»:

Уважаемые известинцы! Недавно Москва принимала этап «Большого шлема» мировой серии игр SWATCH FIVB по пляжному волейболу. Зрелище весьма эффектное — стройные загорелые спортсмены, быстрая смена ситуаций, накал страстей. Красота! Но я с изумлением обнаружил, что соревнования проходят... на территории мемориального комплекса «Парк Победы на Поклонной горе». Игровые площадки — прямо на главной аллее комплекса: просто закрыли рекламными щитами стелы с надписями «1941 г.», «1942 г.», «1943 г.», присыпали их песком, и все — играй, Вася! Разве это правильно? Разве не более уместно проводить подобные соревнования, например, на набережной Москвы-реки в «Лужниках» — и метро там есть, и парковки для машин, и мемориальная нагрузка более соответствует пляжному волейболу? А выбор Парка Победы для пляжного волейбола выглядит кощунственным.

Совершенно согласен с автором этого письма В. Сидоровым, однако читал, что те же игры должны были пройти в 2009 году там же...

Всю свою жизнь я прожил недалеко от Министерства просвещения, как оно первоначально называлось, и с восьмого класса регулярно ходил туда в книжный киоск, где еще школьником покупал журнал «Литература в школе», который читаю с самого первого номера — с тех самых пор, как он стал выходить после войны. Потом, уже будучи учителем, ходил в министерскую библиотеку, где была вся советская педагогическая периодика

(кстати, когда недавно я спросил у охранника в здании Министерства образования и науки на Тверской: «Где у вас библиотека?», — он был удивлен: «Нет у нас библиотеки». А была на сто тысяч томов). Больше шестидесяти лет я хожу в министерство, так что хорошо помню в вестибюле мраморные доски с именами погибших на фронте сотрудников. Потом министерство переехало, а в здание въехал Рособрнадзор — тот самый, возглавляющий единый государственный экзамен по всей стране. Затем выселили и его: на здание рядом с метро у самых Чистых прудов положил глаз какой-то всесильный начальник, хоть и висят здесь на фасаде мемориальные доски с Луначарским и Крупской. Думаю, что мемориальные вещички из кабинета Луначарского бывшие жильцы все-таки прихватили. А вот доски с именами погибших бросили. Говорят, что строительные рабочие их сбили, раскололи и — в мусор. Обо всем этом я рассказал в «Учительской газете» 21 октября 2008 года. Ну и что? А ничего. Ни ответа, ни привета. Вот если бы это было в Эстонии...

Зато работники Рособнадзора утверждают высокоидейные темы школьных сочинений для ЕГЭ. Откройте только список как раз того самого 2008 года. Тут и «Жизнь скучна без нравственной цели», и «Сила влияния нравственного выше всяких сил», и «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца», и «Патриотизм, чей бы то ни было, доказывается не словом, а делом», и «Стремиться к высоким целям низкими средствами нельзя», и «Святыни бывают разные, и различна их иерархия. Но бесспорно среди них место Родины». Вот какие у нас идейные надзиратели за образованием! (А Рособрнадзор — это аббревиатура Федеральной службы по надзору в сфере образования.)

22 июня 1941 года мне было двенадцать лет. Но день этот я помню до мелочей. Светлана Алексиевич назвала свою книгу о детях, оказавшихся причастными к войне, «Последние свидетели». Я один из этих *последних свидетелей*. Но и мне уже исполнилось восемьдесят лет. А дальше? Дальше — только книги, фильмы, учебники, школьные уроки. Какими же они будут?

В апреле 2009 года партия «Единая Россия» провела в Думе слушания о патриотической составляющей в новом стандарте по литературе. Я там не был. О стандартах говорить сейчас не буду. Скажу только, что от словосочетания «стандарт по литературе» мне становится нехорошо. Несочетаемые это слова. Ну ладно, речь сейчас о другом. Так в чем же она, эта самая *патриотическая составляющая*?

Ну «Бородино» — это понятно. А как быть с «Выхожу один я на дорогу...»? Или уж тем более со стихотворением «Валерик»? Ну, «На поле Куликовом» — это опять же ясно. А что делать в этом смысле с «Незнакомкой»? А с «Мертвыми душами»? Тут ведь проблема...

Вот в изданном в 2008 году издательством «Просвещение» новом учебнике «Обществоведение. Глобальный мир в XXI веке» на странице 75 сказано ясно и однозначно: «*Патриотизм — чувство гордости за свою нацию и стремление ее возвеличить*». Возвеличить! (То ли дело в словаре Даля: «*Патриот — любитель отечества, ревнитель о благе его*».) Стало быть, патриотизм — это стремление возвеличить. Что тут скажешь? Разве что призовешь на помощь все ту же русскую классику. Вот хотя бы Гоголь нам в

помощь с его знаменитым *Кто же, как не автор, должен сказать святую правду?* Это — из «Мертвых душ», из того места в самом конце поэмы, где он отвечает на обвинения *со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное...*

Не буду продолжать эту цитату. Скажу только, что у русской литературы нет «*патриотической составляющей*», иначе придется признать и наличие в ней непатриотической составляющей. Я бы сказал даже, что сама русская литература и есть составляющая патриотизма.

Однажды, выступая с чтением своих стихов, Александр Блок получил записку: «Прочтите стихи о родине». Он даже растерялся: «Они все — о родине». Во время войны Анна Ахматова написала стихотворение «Мужество», в *патриотической составляющей* которого не усомнится никто:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Вот в этом и состоит патриотическое воспитание на уроках литературы: донести до школьников великое русское слово, русскую литературу так, чтобы отозвалась она не в школьном журнале, не в тестах, не в списанных сочинениях, не в ответах по билетам, а в душах, умах, сердцах. И чтобы прежде всего прочитаны были эти великие книги, а не брошюрки из серии «За 30 минут» — «“Герой нашего времени” за 30 минут», «“Преступление и наказание” за 30 минут», «“Война и мир” за 30 минут», «“Тихий Дон” за 30 минут» — и других подобных серий. И чтобы говорили и писали наши сограждане на настоящем живом русском языке, а не на казенном канцелярите. Вот вам и вся патриотическая составляющая преподавания литературы.

Главное не в том, чтобы побольше прочитать на уроках стихотворений о родине, а в том, чтобы у окончивших школу осталось (или, может быть, впервые появилось) желание читать стихи. От чего мы сегодня очень далеки.

Не могу не обратиться еще к одной болезненной теме. Хотя долго колебался, писать ли об этом. Боюсь быть неправильно истолкованным, но все-таки решаюсь сказать.

Вот уже больше двух лет, как по-тихому, ничего не объявляя и никак не объясняя (что само по себе не особенно красиво), в школах Москвы **в два раза** увеличили зарплату учителям иностранного языка. Не буду рассказывать, как все это было воспринято учительством. Только одна деталь. Ко мне подошла учительница одного из предметов:

— Ну ладно я. Но вас, русаков-то, как унизили!

При этом все в школе знают, что именно на учителей русского языка и литературы ложится вся ответственность за основной экзамен для оканчивающих школу — ЕГЭ по русскому языку. А теперь еще и за новый экзамен в девятом классе. А иностранный язык сдают только желающие (в этом году в нашей школе таких было восемь человек), при этом, если они экза-

мен проваливают, то все равно аттестат получают на основе отметок в классном журнале. К тому же учителя русского языка и литературы работают с целым классом, а преподаватели иностранного — с группой.

Так под барабанный бой о патриотическом воспитании на уроках литературы учителя отечественной словесности переведены во второй сорт. У нас же рынок: кто нужнее, тот и получает больше!

Вот куда привели меня горестные размышления о 22 июня.

2. Приватизация юности

Знакомясь со своими новыми учениками (а ко мне они впервые приходят только в десятом), даю домашнее сочинение на тему, которая требует от пишущих рефлексии, размышления о самих себе. В сентябре 2007-го и 2008-го тема формулировалась так — «Потрясение».

У кого-то задание это вызывает непонимание и неприятие:

* *Я пока болела, все думала, о чем написать. Ну не было у меня ничего, что могло потрясти.*

* *У меня в жизни не было потрясений. С самого рождения обо мне заботились родители, я много путешествовал. За это время я успел полюбить солнце, море, лес. Школа открыла для меня горизонт книг и радость познания того, из чего состоит мир. Я родился в новое мирное время, а удары и потрясения войны слышал из уст старшего поколения. Интернет, спутниковое телевидение, мобильный телефон и другие всевозможные приборы помогают мне познавать великолепие мира. Различные новости, звучащие по телевидению и радиовещанию, я воспринимаю как обыкновенную информацию для сведения. Но не могу я вам рассказать про потрясения, так как их не было у меня. В свои шестнадцать лет разве можно вообще кидаться таким словом, как потрясение? Мне кажется, нет! И я искренне надеюсь на то, что настоящие потрясения меня никогда не коснутся.*

Потрясения же преобладали вот такого рода: поехал к другу в деревню; на станции отстали с мамой от поезда и потом догоняли его на машине; экзамен для поступления в нашу школу; пропавший котенок; мяч, залетевший на дерево... Резко выделялись из этого круга впечатлений смерть бабушки, смерть дедушки, смерть прабабушки. На три класса — восемь таких сочинений.

* *В последующие дни мне казалось, что вот-вот раздастся звонок, в дверь войдет дедушка и спросит с присущей ему интонацией: «Ну как дела, молодые?»*

* *Неужели все мы будем такими же* ***телами****? Это, наверное, и было для меня самым большим потрясением...*

* *Мы не ценим время, а секунды неумолимо, словно полночный экспресс, несут нас в бездну небытия...*

Читал о первых разочарованиях: девушки в юноше, юноши — в девушке, в подруге, в друге... Несколько работ рассказывали об открытии мира: первая встреча с морем, первая поездка заграницу (*Жители спокойны, самоуверенны и улыбчивы. Природа такая же, как у нас, но только настолько ухоженная, что складывается впечатление о существовании невидимых дворников*).

А вот выписки из трех сочинений. Одного юноши и двух девушек.

** Мама сказала, что у меня будет маленький братец. Сначала я не мог поверить и представить, что у нас будет малыш, живот у мамы становился все больше, и она давала мне его потрогать, как маленький шевелится внутри. Я вместе с родителями с нетерпением стал ждать его появления.*

** У меня случилось потрясение, когда я узнала, что у мамы будет ребенок. Я помню, какие чувства я испытала, узнав эту новость. Она была хорошей, но потрясла меня до глубины души: сколько раз я просила брата или сестру и столько же получала отказ, так что счастье было неописуемо. Первое, так сказать, соприкосновение с братом у меня произошло через живот мамы, было так отчетливо видно, как он шевелится, как двигает ножкой, что хотелось поскорее его обнять, чтобы он почувствовал прикосновение сестры, мира, дуновения ветра и лучи солнца. Когда на свет появился мой брат и мне сообщили эту новость, я плакала и смеялась, прыгала от счастья и хотела поскорее его увидеть.*

** В свои тринадцать лет от мамы я узнала о скором прибавлении в нашей семье. Вы не представляете, что со мной произошло! Мои чувства стали сравнимы лишь с ошеломлением, потрясением, которое привело меня, если не в смущение, то, скорее всего, в смятение. Какие только мысли и домыслы ни успели родиться в моей неразумной тогда голове! А всему виной — ревность, страх перемен. У меня подкатились и полились горькие слезы от мысли о приближении неотвратимой ситуации. Ведь мама должна любить только меня. И никого больше, кроме, конечно, папы! А вдруг будущий малыш станет для мамы любимым? А как же я? Этот младенец отнимет маму? Неужели все закончилось? От ужаса дух захватывало. Теперь, вспоминая об этом, я не могу удержаться от смеха. Как я могла так думать? Как здорово, что у меня есть маленькая сестричка! Все-таки хорошо иметь такую шалунишку, при одном виде которой становится легко и весело на душе!*

Ни одной работы за эти два года во всех трех классах о потрясении искусством — прочитанной книгой, увиденным фильмом, услышанной музыкой... И только в четырех сочинениях в жизнь врывалась сама история. В двух говорилось о Беслане. В одном — о незабываемых впечатлениях детства, совпавших с грузино-абхазским конфликтом:

Когда моя семья собралась выезжать в аэропорт и выходила из дома, на второй этаж упала бомба. Раздался взрыв, весь второй этаж дома разрушился и упал на первый, который был сделан из камня и, похоже, выдержал вес второго этажа. Вид разрушенного дома, в котором я находился не более получаса назад, потряс меня. Мне было тогда восемь лет.

В одном сочинении говорилось о реальной повседневности:

Я живу в Подмосковье и три года проучилась в сельской школе. К сожалению, большинство детей, учащихся там,— из неблагополучных семей. С самого детства они видели пьяных родителей, драки и не знали ласки, внимания, любви. И какая у них сейчас цель в жизни? А никакой. Они пьют, курят, через каждое слово непрестанно ругаются. Им совсем ничего не надо. Конечно, не все такие, но большинство.

Прочитав все это, я задумался: а какие потрясения пережил я сам, когда мне было столько же лет, сколько моим нынешним ученикам?

Зиму 1941/1942 года я провел в детском доме города Вольска, куда поместили эвакуированных из Москвы детей. В нашей большой палате были собраны ребята не по возрасту: от меня, самого младшего, до старшеклассников. Вечером в палату набивалось много народу, приходили девочки, нередко молодые воспитатели и вожатые. Пели. Разговаривали. Спорили. О чем — не помню. Запомнился лишь один эпизод. Десятиклассник вышел на середину комнаты, протянул вперед руки и что-то долго и горячо говорил, потрясая протянутыми руками. Что он читал, я абсолютно не понял. Но почему-то запомнилась последняя фраза: «Карету мне, карету!» А вскоре я увидел заплаканные глаза вожатых и воспитательниц: и этот десятиклассник, и несколько его товарищей уходили на войну.

А потом, уже после возвращения в Москву, летом 43-го меня послали в грибной лагерь. Мы должны были собирать по четыре килограмма грибов в день, за это нас кормили, а карточки оставались у мамы. И я увидел русскую деревню без мужчин, не считая, конечно, подростков и старых дедов. Это запомнилось на всю жизнь.

И самый главный день в моей жизни — 9 мая 1945 года. Москва. Красная площадь. Ах, сколько издевались над словами Маяковского «*Я счастлив, что я этой силы частица*»! Да, позднее мы поняли, как страшна была реальность, в которой мы жили. Но только можно ли полноценно жить, если не ощущаешь причастности к своему делу, к своей стране, к своему времени?..

...И потрясение от прочитанного за один день романа «Что делать?»... И опять же Маяковский: *Это было с бойцами, или страной, или в сердце было моем*, — тоже обруганная строка...

И сколько ни вспоминаю, получается, что в моей жизни потрясения личные во многом отражали и выражали потрясения общенародные, если хотите, общеисторические... Но ведь и вся наша литература XX века об этом же, пусть и под разными углами увиденном: и «Конармия», и «Тихий Дон», и «Чевенгур», и «Мастер и Маргарита», и «Доктор Живаго», и «Жизнь и судьба», и «Дом на набережной», и «Один день Ивана Денисовича», и «Во весь голос», и «Василий Теркин», и «Реквием»...

...Потом, поближе познакомившись со своими учениками, я понял, что впечатление о легкой и безмятежной их жизни, сложившееся у меня после чтения этих сочинений, обманчиво. Были у этих ребят и настоящие драмы, и большие трагедии, рассказывать о которых я не имею права. Но все эти личные драмы никак не соприкасались с драмами страны и времени. Потрясало свое личное, частное. И за этим, думается мне, стоят глубинные изменения времени, в котором мы живем.

...В первый же свой учительский учебный год я пошел с девятиклассниками в поход. Остановились на берегу реки — купаться. Ко мне подошли девочки:

— Разрешите нам купаться в другом месте. Мы стесняемся раздеваться при мальчиках.

(Было начало 50-х, и я работал в единственной в Москве школе с совместным обучением в старших классах: мальчиков и девочек здесь не отделили друг от друга просто потому, что на многие километры рядом не было другой школы.)

— Но вы же понимаете, что я головой отвечаю за вас. Можете перейти на другое место, но тогда раздеваться будете при мне.

Решили купаться все вместе.

Это было целую жизнь тому назад... А когда в середине 80-х (тоже, между прочим, далеко не вчера) в последнем моем учительском походе мы с учениками купались в озере, раздеваться стеснялся только один человек: это был я.

Вспоминаю, как в первые годы работы в школе чуть не погубил в походе свою ученицу. Мы шли по жаре с тяжелыми рюкзаками, а этой девушке ни идти по солнцу, ни тем более поднимать тяжести в те дни было нельзя. Да только она скорей умерла бы, но мне ничего не сказала (я был старше всего на одиннадцать лет). Хорошо, что отважилась ее подруга.

А в прошлом году спрашиваю одиннадцатиклассницу, почему она не пришла на сочинение, и слышу в ответ:

— У меня начались месячные, и я целый день пролежала в постели.

И опять из всех присутствующих смутился, кажется, только один я: не привык еще к такой свободе...

И все-таки раскрепощение мысли и раскрепощение чувства — это, на мой взгляд, — благо. Хорошо и то, что предметом рефлексии становится сокровенное, интимное — то, о чем в тайне думают тысячи девушек. Обо всем об этом как об огромной и сложной проблеме размышляют в сочинениях, пишут в стихах. Такая рефлексия помогает понять себя, других и, бесспорно, литературу.

Однако приходится читать и такое: *Когда мама узнала, что я отдалась единственному горячо любимому молодому человеку, у нее — моей всегда спокойной и уравновешенной мамочки — случилась истерика. Я считаю, что эта реакция хоть и была приемлемой, но никак не правильной, так как мое решение начать половую жизнь было полностью осмыслено мной, и я уже тогда, почти два года назад, была уверена, что свяжу свою жизнь именно с этим молодым человеком. В общем, года через два мы будем венчаться. Что будет именно венчание, я тоже решила сама, и обжалованию это не подлежит.*

Ну что тут сказать? А ничего не скажешь...

Иду по классу. На столе у одной из учениц переводной любовный роман. На переплете крупным шрифтом зазывно про главное: *Я потеряла девственность, пока мама с папой смотрели телевизор... У меня такой-то размер, а не такой-то, как считает мой бой-френд* — и далее в таком же духе. Ну и что? Если бы, когда мы были в их возрасте, у нас издавали такие книги, девочки, а может быть, и мальчики читали их так же жадно. Интерес этот, разумеется, существовал и в наши ханжеские времена. Я же помню, что после свадьбы наших однокурсников (тогда еще было такое понятие, как первая брачная ночь), когда молодая уже жена пришла на занятия, ее окружили подруги: «Рассказывай, как все было!» Интерес этот вполне понятен, и ничего ужасающего в нем нет. Тут важно другое. Хорошо бы, чтобы, заканчивая школу, выпускники ее все-таки знали, что *про это* куда лучше рассказано у Бунина или, к примеру, в «Тихом Доне» у Шолохова...

...Вспоминаю постыдную историю, которая была у нас на первом курсе. Нашу студентку изловили на чердаке общежития с парнем. Вскоре комсо-

мольское собрание: «Такая не может преподавать детям великую целомудренную русскую литературу! Выгнать ее из института». И выгнали...

Так вот. Нравится мне или не нравится что-то из того, что происходит в жизни современной юности, но я, конечно же, рад, что уходит то страшное время, когда нагло и бесцеремонно залезали в чужие постели, когда в личном, интимном искали моральное разложение, попирая свободу, человеческую, как говорят на Западе, *приватную* жизнь. Что уходят фарисейство и ханжество.

Конечно, огромная наша беда в том, что, как это всегда у нас бывает, из одной крайности мы кинулись в другую. Ханжеская несвобода стала сменяться разнузданностью и мерзостью.

Но что же за всем этим, — а это лишь частное проявление некой всеобщей, универсальной закономерности, — стоит? Я бы сказал коротко: *приватизация*. Естественно, я употребляю это слово не в том смысле, в каком оно бытует в социально-экономической сфере, но понимаю под ним то же самое разгосударствление и произвожу его от того же прилагательного «приватный». Я говорю о всеобщей, массовой, тотальной *приватизации* всей жизни — строя чувств, характера интересов, стремлений, желаний, жизненных ориентиров, психологии и философии. Все перемещается в сторону *своего*, личного, частного, негосударственного. Формулы моей юности «*Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом*», «*Партия сказала: надо,— комсомол ответил: есть!*», квалификация индивидуального как мещанского, чуждого, вражеского, — все это уходит в прошлое. Нет нужды повторять, что это хорошо и что формулы эти фарисейские. Десятилетиями советский человек так многого был лишен, так во многом ограничен, что такое перемещение центра тяжести понятно: люди хотят жить по-человечески — все люди, а не только избранные. И в этом смысле сегодня идет процесс очеловечивания нашей жизни. Но нельзя не видеть, что вместе с этим идет и совершенно обратный процесс.

Выступая на Лихачевских чтениях 2008 года Светлана Алексиевич сказала: *Мы встали перед вызовом другой жизни, которой живет остальной мир, — слишком человеческой, когда цель жизни — просто жизнь. Смею утверждать, что мы все потерпели катастрофу идеи, потому что в нашей культуре отсутствовал смысл счастья и интереса жизни как просто жизни, у нас нет такого опыта: нам не на что опереться. В каждой семье бабушки, дедушки, мамы, папы и наша литература учили или умирать, или страдать. Я бы даже сказала, что ГУЛАГ мы как общество — несмотря на жуткие потери и Отечественную войну, несмотря на всю кровь, которой мы залили пол-Европы, — перенесли с бо́льшим достоинством, чем деньги.*

Да, приходится признать, что произошедшая переориентация принесла с собой не только движение к *слишком человеческому*, но и тяжелейшие испытания — такие деформации, такие нравственные потери, что порой становится страшно. И, если говорить о жизни современной школы, то все трудности того, что в школе называют воспитанием, сводятся в конечном итоге к необходимости постоянно решать мучительную задачу: как провести своих учеников (и себя самого, естественно) между Сциллой обуздания личности и Харибдой хищной разнузданности, безразличия к окружающим и судьбе родины.

Все мы понимаем, что в стране происходит великое моральное брожение, — говорил, получая Солженицынскую премию, наш замечательный филолог Андрей Зализняк. — *Близ нас на Волоколамском шоссе, где годами нависали над людьми гигантские лозунги «Слава КПСС» и «Победа коммунизма неизбежна», недавно на рекламном щите можно было видеть исполненное столь же громадными буквами: «Всё можно купить!» Столь прицельного залпа по традиционным для России моральным ценностям я не встречал даже в самых циничных рекламах...*

Страстно говорит обо всем этом и Светлана Алексиевич: *Мир разделился очень вульгарно и цинично. Мы живем в вульгарный период: граница деления сегодняшнего мира — кто может купить и кто не может. <...> Взгляните на наше телевидение, откройте наши гламурные журналы: все посвящено там «низу» человека. <...> у нас все сведено к одному — иметь. <...> И телевидение, и журналы говорят о том, что нужно желудку. То есть вся страна превратилась в желудок, каждый из нас превратился в желудок.*

С последней фразой согласиться не могу. Это кто превратился в желудок? Офицеры, не имеющие своей квартиры годами? Учителя, в большинстве регионов страны перебивающиеся на нищенскую зарплату? Миллионы людей, еле-еле сводящих концы с концами и не имеющих денег на лекарства? Задумываемся ли мы о том, что каждый год у нас в стране миллион человек умирают от **излечимых** болезней?!.

Если говорить о стране в целом, то она еще не прошла и очень долго не пройдет периода первоначального элементарного насыщения. Многим ли известно, что в каждой третьей нашей школе нет горячей воды и теплого туалета? Что, по расчетам экономистов, даже к 2030 году мы не поднимемся до уровня европейского пенсионного обеспечения? И еще очень долго стремление *иметь* (нормальное жилье, нормальное питание, нормальную одежду, нормальные лекарства, нормальное образование для детей, нормальную медицину) будет для нас первостепенным.

Но это вовсе не снимает вопроса, *каким быть* и *как жить*. Тем более, что наши средства массовой информации насаждают низменные идеалы. И тут значение уроков литературы — той самой литературы, которую постепенно выживают из школы, — огромно.

Знаете ли вы, о чем особенно трудно говорить в классе, когда рассказываешь о жизни писателей? О дуэли Пушкина? О смерти Гоголя? О Достоевском, ждущем казни? О трагедии Ахматовой или Булгакова? Нет. Об уходе Толстого из дома. О чеховском Сахалине. О том, как писатель лечил в Мелихове людей и строил школы...

В одном из мониторингов ЕГЭ по русскому языку был предложен *текст* (так это теперь называется) Григория Бакланова о русском писателе и русской литературе: *Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. И если книга причинит вам боль, это боль исцеляющая. Эта боль вызвана состраданием, сочувствием к другому, а такое сочувствие и должна вызывать литература, чтобы в людях не угасло человеческое. <...> Толстой, например, едет на голод, едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. Ну ладно сам, но пустить дочь?! По-другому совесть не позволяла. А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в жуткую эпидемию, как будто не суще-*

ствовало угрозы самому заразиться? Но для него вопрос — лечить или не лечить, разумеется, не возникал...

И вот в сочинении я читаю рассуждения будущего врача: *«Толстой едет на голод с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф». Какая человечность! Какая огромная любовь к дочке! Это ЗВЕРСКИЙ ПОСТУПОК как со стороны отца, так и со стороны человека! «По-другому ему совесть не позволила»... А что было бы с совестью, если бы его дочь умерла после этого тифа?!*

Одно хорошо, что все это честно написано. Было бы куда хуже, если бы, думая подобным образом, этот ученик тем не менее написал то, что от него ожидается и за отсутствие чего снижают оценку.

Вот уже пятнадцать лет после того, как десятиклассники дома прочитывают рассказ Чехова «Крыжовник», кладу перед каждым ксерокопию статьи Дмитрия Быкова в «Общей газете» (1995, № 5). Концепция Быкова однозначна: *Принято так думать, что идеал Чимши-Гималайского-младшего достоин всяческого осуждения, — и, однако, чем больше я перечитываю «Крыжовник», тем менее это суждение разделяю. В том, чтобы мечтать о крыжовнике, о собственных десятинах, о пруде с уточками, я не вижу ничего плохого. <...> Жить, действительно, очень страшно, но это не значит, что в сей юдоли печали частный человек Николай Иванович не имеет права на свой крыжовник и должен увеличивать своим несчастьем количество горя в мире. <...> Дайте, казалось бы, человеку осуществить свой частный идеал!.. Ведь не крови хотел, не порабощения мира, не дисциплинарного режима для несогласных — хотел КРЫЖОВНИКА! Господи, и за такую малость записывать в отрицательные герои?!. В конце концов чувство уюта и защищенности — одна из немногих радостей, доступных человеку, и пускай он порадуется, если у него есть футляр, усадьба, дом, ящик, — пускай порадуется. <...> Беспокойство, тоска, тревога — удел других, и блажен, кто находит выход в творчестве или работе; но не заставляет других испытывать экзистенциальный «страх и трепет»: дайте им крыжовнику, от каждого по способностям—каждому по вере!*

Я кладу эту статью перед учениками и прошу их за два урока написать, согласны или не согласны они с ее автором.

Итак, в мае 2008 года два моих класса думают над рассказом Чехова и статьей Быкова. Большинство считают, что рассказ сохраняет свою актуальность и злободневность и что Быков в истолковании его неправ. Однако слова чеховского героя: *«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...»* — вызывают не только понимание и приятие, но и резкое отторжение.

** Беда, если постоянно думать о несчастиях, трагедиях, это все не жизнь, а мучения...*

** Если люди, согласно Ивану Ивановичу, начнут думать о несчастных, то большинство из них перестанут быть счастливыми...*

** Тот способ жизни, который предлагает Иван Иванович, не просто бессмыслен, но губителен для общества...*

** Как мы будем жить, если каждый будет думать об обездоленных? Мир погрузится во тьму...*

Особенно тревожат рассуждения десятиклассников, которые считают, что для достижения намеченной цели оправданы любые средства:

** К чему сейчас людям благие порывы? Сейчас нужно заботиться только о себе...*

** Нормальный человек будет идти к поставленной цели, несмотря ни на что...*

** У каждого человека есть своя мечта. Он пытается воплотить ее в реальность любыми способами...*

В 2007 году, примерно за год до нашего сочинения, проводилось социологическое исследование «Духовно-нравственный мир московских одиннадцатиклассников». В его материалах говорится, в частности, что тридцать процентов опрошенных выпускников согласны с утверждением, что *ради решения важных личных проблем можно пренебречь приличиями, нравственными нормами.* И еще треть затрудняются ответить, согласны они с этим или нет. Мне же особенно больно было читать суждения такого рода в сочинениях тех десятиклассников, которые учатся в нашем специализированном классе и собираются посвятить себя медицине.

К счастью, так думают не все. В сочинениях многих учеников звучат горькие слова о том, к чему приводит торжество философии крыжовника:

** Воспринимать Родину как дом с крыжовником и унитазом неверно...*

** Сегодня людей волнует лишь одно: каждый день идя на работу, они одержимы одной мыслью — заработать побольше денег...*

** Запах и жажда денег становятся важнее, дороже, первичнее, чем люди...*

** В наш век индивидуализма каждый старается урвать себе кусок побольше и пожирнее. Причем неважно, каким способом он получил желаемое...*

** В современной жизни люди забыли слово «мы», они помнят только «я». Оно забыли, что местоимение «мы» такое же личное, как я, что оно относится ко всем и каждому...*

** Девять из десяти моих знакомых живут, не думая об окружающем мире...*

** Иногда мне кажется, что чья-то злая воля поставила над нами какой-то жуткий эксперимент. Что нам дала новая жизнь? Какое нам место в ней?*

В мае нынешнего года над статьей Быкова размышляли ученики моего базового десятого класса. Большинство писавших со статьей не согласились:

** Рассказ актуален для современной России. Сейчас в нашей стране множество людей, которые ради своего «крыжовника» готовы идти по трупам...*

** «Крыжовник» не устарел и вряд ли устареет, пока есть «наглость и праздность сытых и невежество и скотоподобие слабых»...*

** Видеть не только свое счастье, но и других — это и есть своего рода цель и радость.*

Но семь человек (а это каждый третий из писавших в тот день) уверены в том, что *кто не смог вырастить свой крыжовник, сам виноват в этом*:

** Что плохого в том, что человек стремится добиться своего счастья?..*

** Нет прекрасней человека, который стремится к цели...*

** Каждый человек имеет право на счастье, и лишь от человека зависит это счастье. Полностью согласен со статьей.*

Некоторые из десятиклассников подхватили следующую мысль Быкова: *Счастливые, по крайней мере, не умножают количество несчастных: не изо рта у кого-то он крыжовник вырвал — сам собрал!*

Несколько человек написали: *Ведь по сути Николай Иванович не сделал ничего плохого.*

Не сделал ничего плохого... Не изо рта вырвал...

Однако вот что сказано у Чехова (и что, с горечью отмечу, осталось почти никем из десятиклассников не замечено: эту цитату как аргумент в споре с Быковым привели только четверо): *Потом, слышу, женился. Все с тою же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни, да года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти.*

Читая ученические сочинения, не всегда можешь отделить нравственные смещения от эстетической незоркости. Увы, на сей раз подобной неопределенности не было. Высказывания некоторых десятиклассников абсолютно однозначны:

** В «Крыжовнике» Николай Иванович поставил перед собой цель и неважно, каким способом добился ее. Это достойно похвалы. Каждый человек сам себе господин и сам выбирает, на какую дорогу стать. Каждый человек имеет право на личное счастье, и лишь от человека оно зависит...*

** Я полностью согласна с автором статьи. Хотя и считаю, что на чужом счастье построить свое нельзя, но в нашем обществе выжить можно только одним путем: это всегда думать только о себе, в этом мире никто не поможет тебе, кроме тебя самого...*

** Устарел ли «Крыжовник»? Я говорю ДА. Человек может добиться всего чего угодно. Главное — действительно захотеть. В нашем обществе многие злятся на богатых, образованных, успешных людей. А за что? Злиться на то, что человек, поставив цель в жизни, добился ее, — глупо и бессмысленно. Почему я должна думать о тех людях, которые в свое время не приложили никаких усилий, чтобы встать выше по социальной лестнице?..*

Отсюда и отношение к словам о человеке с молоточком:

** Чехов хочет помочь бедным, это его право, но каждый имеет право на личное счастье...*

** Разве был бы полезен человек с молоточком, всякий раз напоминающий о чужой болезни, бедности, старости?..*

В этом году слова о человеке с молоточком процитировал каждый второй, и большинство учеников слова эти принимают. Но все до одного обрывают цитату, не доведя ее до конца. Перечитаем это место еще раз: *Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других.*

Посмотрите: здесь нет апелляции к высшим материям, будь то христианские идеалы, гуманистические устремления или голос совести. Здесь другое — то, что, казалось бы, должно быть понятно детям нашего прагматического века: это нужно тебе, это полезно для тебя же самого, это в твоих же интересах! Слова эти звучат как предупреждение. Как сны Раскольникова о моровой язве. Сегодня, когда многие и многие глухи к нравственной проповеди и когда падает доверие и авторитет самих проповедующих, такой подход — напоминать людям о благоразумии, о собственной их пользе — представляется особенно важным.

...Однажды на день рождения ученики подарили мне молоточек с этими словами из «Крыжовника» на ручке (в скобках замечу, что этот рассказ Чехова они не изучали). Я был тронут пониманием роли литературы и значения ее уроков в школе.

Было это лет тридцать назад.

3. Нужна ли «Чернобыльская молитва», или Опыт деприватизации юности

Два взаимозависящих, взаимообусловленных, взаимосвязанных маршрута пролегают через уроки литературы. Один — к себе, к своему «я», его познанию, к саморефлексии. Другой — от себя, к другим людям, к судьбам своей страны и мира.

Об этом втором пути говорил Солженицын в своей Нобелевской лекции: *Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература. <...> От человека к человеку, восполняя его куцее земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими,— и дает усвоить как собственный.*

Способность такого сопереживания чужому опыту, необходимая человеку во все времена, сегодня приобретает особое значение: социологи говорят об усиливающейся автоматизации нашего общества, разрыве межличностных связей, разъединении людей. В одной из самых глубоких книг из прочитанных мною за последние годы — восьмисотстраничном сборнике статей Льва Гудкова «Негативная идентичность» — обо всем этом сказано четко и доказательно. Даже *начатки воображения, позволяющие одному человеку представить, что чувствуют другие*, уходят из нашей жизни. *Говорить о сознании вины, чувстве ответственности тут не приходится,* — пишет Гудков. Мы переживаем *глубокое поражение всех ценностных структур.*

Я не преувеличиваю роль литературы и уж тем более школьных уроков в деле преодоления этих ценностных деформаций. Но если преподавание литературы к этому не стремится, оно бессмысленно.

Десять лет в конце учебного года я провожу в одиннадцатом классе сочинение по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». И в первый же раз, еще в 99-м, нахожу у себя на столе письмо от ученицы:

Лев Соломонович!

Я немного боюсь с Вами разговаривать, тем более упрекать Вас. Поэтому решила написать. Понимаете, в пятницу я решила прочитать перед сном страниц 19 «Чернобыльской молитвы». Но закончилось все тем, что я отложила книгу только тогда, когда прочитала ее полностью, все 224 страницы. На улице уже было светло. Посмотрев на часы, я увидела, что уже 7. А в 9 мне надо было уходить к репетитору. Но какой может быть репетитор, когда я всю ночь проплакала, с первой же страницы до последней. С утра наволочку просто выжимать надо было. И я поехала к репетитору с таким чувством, с такой тяжестью, словно все это было со мной, понимаете? И два дня ходила под впечатлением и в субботу тоже не могла заснуть. Так вот, я хотела бы Вас спросить, почему Вы не предупредили, какая это книга, почему сделали обязаловку, когда она даже в программу школьную не входит? И неужели Вы считаете, что такую книгу можно читать 16-летнему человеку, когда от недосыпа, от подготовки к экзаменам в институт кажется, что жизнь отвратительна, а тут еще это? Извините меня, если немножко резка. Я, наверное, не в праве Вас в чем-то упрекнуть. Я просто посчитала нужным, чтобы Вы знали мое мнение.

Подпись.

Я привел это письмо в своем очерке, напечатанном во втором номере журнала «Знамя» за 2002 год. А летом 2003-го мне позвонили из журнала и сказали, что в редакцию обратился молодой человек, который прочел и этот мой очерк, и следующую мою статью в «Знамени» и просит дать ему мой адрес. Вскоре я получил большое письмо. Приведу лишь выписки из него. Автору — семнадцать лет.

Я вообще, к сожалению, мало читаю, хотя расту в очень интеллигентной семье и у меня в квартире стеллажей с книгами нет только в ванной. Сейчас люди, мне кажется, меньше читают из-за дикого потока информации: ТВ, радио, газеты, журналы, интернет. Истинная культура становится уделом избранных. Людей, слушающих ТАТУ, — много; людей, слушающих ТАТУ и читающих Достоевского, тоже много; людей, читающих Достоевского, но не слушающих ТАТУ, тоже достаточно. А вот людей, которые к ТАТУ никак не относятся, не хватает. Мне кажется, что мы живем в ТАТУ. Я где-то читал, что основное свойство массовой культуры — тотальность. Да я и сам чувствую: от этого фона из рекламы, клипов уже нельзя не зависеть. Их можно ненавидеть, презирать, а вот не зависеть от них нельзя, как нельзя не зависеть от воздуха и от солнца.

Я закончил школу, выспался, стал читать в интернете статьи Фукиямы и Солженицына, книги Уэльбека об обществе потребления. Взял у папы сборник «Вехи», «Протестантскую этику и дух капитализма» Вебера. После вашей статьи решил прочесть книгу Светланы Алексиевич.

В общем-то я спокойно отношусь ко всяким ужасам в литературе. Последняя книга, которую я купил по истории, называется «Россия в начале XX века». В ней почти на 800 страницах и революция, и войны, и неурожаи с жутким голодом, с разграблением помещичьих усадеб, и брошенные, больные дети, и расстрелы, и разгоны. Погибло столько-то тысяч, расстреляно столько-то десятков тысяч, а из них столько-то детей, столько-то женщин. Но я

привык к этому относиться с абстрактно-исторической точки зрения: в России такая страшная история, но при чем тут я?

Скачал из интернета книгу Алексиевич. Начал читать. Есть книги, которые лучше не читать. И не писать. В Москве рассвело. Теплая и короткая июльская ночь кончилась. Я дописываю это письмо (впервые пишу незнакомому человеку). Не хочется слышать даже любимого Шевчука с Макаревичем. Первый раз, сидя за письменным столом, я испугался. Почти весь покрылся холодным потом, было ощущение, что у меня шевелятся кости, а кровь течет как-то не так. Я всегда думал, что такое должно быть, если что-то случится с родственниками, близкими и друзьями. Оказывается, что нет.

Но самое ужасное, по-моему, я повзрослел. Я понял ту девушку. Пусть я жил в парнике. Но это помогло быть относительно мягким, неагрессивным, отзывчивым (во всяком случае, мне всегда так казалось). Смогу ли я теперь заделать появившуюся благодаря Вам дыру?

Лев Соломонович, мне трудно Вас в чем-то упрекнуть. Но у меня есть вопрос к Вам: не легче ли, не приятнее ли, не веселее ли Вам жить рядом и общаться со мной (той девушкой), не читавшим эту книгу? Не лучше ли, добрее, отзывчивее были бы мы (девушка и я), читая вместо этой книги какого-нибудь Акунина?

В 2009 году предлагаю двум своим одиннадцатым классам домашнее сочинение на тему «Нужны ли такие книги, как "Чернобыльская молитва", вообще и на уроках литературы, в частности?». Написали 48 человек. Шестеро сочинение не сдали. Трое сочли книгу плохой. Один — потому, что *своих мыслей, чувств тут нет. Это записи очевидцев, тут только монологи участников.*

Другой потому, что в книге нет ничего нового:

Да, переходный момент. А сколько их уже было за всю историю человечества? Да, страдают люди. А когда они не страдали?

Третий — потому, что *это произведение оказывает сильное депрессивное воздействие. Местами возникает чувство обреченности, отчасти страха. А для молодого возраста нужны именно те произведения, после которых остается стремление к энтузиазму.*

Почти все остальные пишут о пережитом потрясении (напоминаю: когда полтора года назад они писали сочинение как раз на эту тему, потрясения от книги не испытал никто):

** Эта книга была потрясением. Она словно вспахала душу, очень сильно ее открывает, обнажает...*

** Я никогда не читал ничего подобного. Когда я читал эту книгу, мне было очень страшно. Я три раза бросал чтение этой книги на первой главе, но через время опять брался за ее чтение...*

** Я слабо представляла, что простые строчки, простые напечатанные буквы могут так кричать о чувствах...*

** Это первая книга, которая заставила меня плакать...*

** Это все страшно, но это должны знать люди! Должны! Без таких книг выведутся у нас НАСТОЯЩИЕ люди. Ведь главное — в любой ситуации оставаться человеком...*

Многие школьники отмечали, что главное достоинство «Чернобыльской молитвы» — правда.

** В ней показана настоящая суровая реальность, от которой мы порой отворачиваемся...*

** Слушать правду очень тяжело, но человеку, который вступает в самостоятельную жизнь, читать такие книги необходимо...*

** Человек, заканчивающий школу, должен знать, что жить очень трудно...*

** Необходимо стереть иллюзию «все хорошо», избавиться от дымки «все под контролем»...*

Каждый пятый писал о том, что книга Алексиевич — не только о смертях, муках, страдании, но и о великих ценностях: любви, самопожертвовании, нравственной стойкости, мужестве, подвиге:

** Получается, что это и книга о настоящей любви, которая смогла все выдержать...*

** В эти минуты задумываешься о том, что такое любовь на самом деле...*

** Но помимо печального, был еще и СВЕТ Чернобыля, самоотверженность жен. Можно только догадываться, как они это пережили. Людмила Игнатенко и ее преданность являются примером света. Книга показывает не столько человеческий Ужас, сколько Человеческую силу...*

** Вспомним хотя бы беременную жену облученного пожарного, до последней минуты находившуюся с ним. Ну какая же она глупая! Как же так можно? Будто на уроках физики не была бедная, любящая женщина. Ужасаешься, сколько таких неграмотных людей было. Но сколько самоотверженных! Например, этот ученый с реактора, прекрасно знающий, что телефоны прослушиваются, все равно звонил своим друзьям и знакомым, стараясь предупредить об опасности...*

Но при всем при этом 20 человек из 48-ми сомневаются в том, что эту книгу нужно включить в школьную программу:

** Я думаю, что главный смысл книги — донести до человека чужую боль. Но в школе... Заставить человека пропустить чужое несчастье через свою душу невозможно...*

** Чтение таких книг — очень огромный труд. Ведь трудится вся твоя душа, твое сердце. Но не каждый сейчас хочет погружаться в проблемы, гораздо легче жить на поверхности. Выбор должен быть у каждого человека...*

** Читать или не читать это произведение, человек должен выбирать сам. Читать такие произведения «для галочки» — преступление...*

** Такие книги нельзя строго «спрашивать». «Чернобыльская молитва» должна быть не обязательной, но желательной для чтения...*

Но есть и принципиально другая аргументация:

** Думаю, не стоит давать эту книгу в школе. Пусть все живут в своих уютных мирах, пусть наивно полагают, что жизнь именно такая, какой они ее видят. В конце концов в этом счастье. Мой мир — это мой стол, моя семья, мои друзья, мой город. Даже моя дача все равно остается тихим маленьким раем, где прошло все мое детство. Мой мир — это танцы, концерты, прогулки по ВДНХ, путешествия, рок-н-ролл. В моем мире нет Чернобыля. Да, жалко, да, грустно. Да, теперь я все знаю. Но у меня есть планы на жизнь, мечты. Есть столько мест, где я не была! Столько концертов, которые мне предстоит посетить! Столько новых интересных людей, с которыми я дальше пойду по жизни! У меня все впереди, я не хочу ставить точку на этом, не*

хочу до конца жизни сидеть и страдать, потому что страдают другие. У меня есть право на счастье. Поэтому я смело заявляю: мое мировоззрение не пошатнулось и менее счастливой я не стала...

В этом году такое сочинение — одно. Два года назад нечто подобное написал каждый пятый, среди них пятеро юношей и девять девушек. Ограничусь только двумя цитатами.

Я не понимаю, почему это должно волновать меня. В нашей и так трудной и жестокой жизни полно проблем, которые нам нужно решать. Иногда эти проблемы совсем недетские. Я не вижу смысла убиваться по этой теме. Сейчас так много погибает совершенно невинных людей в терактах, в авиакатастрофах, в авариях. Людей убивают ради телефона. И что, мне теперь нужно плакать из-за них? Люди, с которыми случилось это горе в Чернобыле, совершенно чужие мне. Я не могу переживать за чужих людей. Если я буду переживать за каждого человека, с которым случилось горе, я сойду с ума...

То, что вы сейчас прочли, написано твердой мужской рукой. А вот мнение девушки — из того же, кстати, класса: *Если я буду жалеть каждого, то моя жизнь превратится в ад. Я думаю, что жалеть я могу только своих близких. Мне вообще посторонних людей не жалко.*

Среди так мыслящих есть и ученики нашего медицинского класса, будущие врачи...

В этом году в трех сочинениях был описан, если так можно выразиться, возрастной аспект этой проблемы:

** Моя мама, например, и слышать о том, что написано в этой книге, не хочет. Взрослым трудней, чем нам. Во взрослой жизни так много проблем и переживаний, надо думать, как прокормить семью и одеть ребенка, а читать такую книгу непросто, да и стоит ли? Взрослого человека уже не изменишь, зачем так переживать?..*

** И такие вещи необходимо объяснять, показывать нам, именно пока мы в школе, пока мы только кричим о взрослости...*

Пока... Одно из самых известных стихотворений Пушкина прочитывается в школе односторонне: мажорно, пафосно. А между тем и в нем ведь звучит то самое «пока», которое потом развернется и в «Обыкновенной истории» Гончарова, и в «Ионыче» Чехова: *ПОКА свободою горим, ПОКА сердца для чести живы...* Характерно, что в спектакле «Современника» по роману Гончарова Адуев-младший читает среди прочих и эти стихи...

Очень глубоко написала обо всем этом одна из самых блистательных учениц, из тех, которых я за двадцать лет учил в этой школе:

В том, что такие книги нужны, сомнений нет. Такие книги — книги, которые переворачивают что-то в душе, помогают нам не забыть о своей человеческой сущности, о способности размышлять, переживать и сопереживать. Книги, над которыми плачешь, книги, от которых долго не можешь оправиться, книги, помогающие вдруг увидеть что-то, что раньше никогда не замечал или чувствовал, но не мог выразить.

Только основная масса людей предпочитает такие книги не открывать. С одной стороны, это происходит потому, что читать такие книги трудно. Нужно не бояться заставить свою душу трудиться, причинить себе боль,

расстроить себя. Многие избегают этого, предпочитая не «загружать себя»: в жизни хватает проблем, а в книгах хочется найти отдохновение. Но этих людей нельзя осуждать. Да, в каких-то случаях нежелание читать настоящие и хорошие книги является следствием душевной неразвитости и глухоты. Но часто в этом нет вины людей.

Жизнь не оставляет ни сил, ни времени для чтения, для философствования. Когда человек становится хоть сколько-нибудь взрослым, он начинает терять связь со своей душой. А между тем смысл существования как раз заключается в развитии самого человеческого в человеке, в том, что социологи называют «самоактуализацией». Но жизнь будто бы сама отрицает свой смысл. И получается, что тяжелые книги — это важно, но не здесь и не сейчас. Жизнь вообще не оставляет пространства для книг, «отвлекая наше внимание» от, может быть, самого глубокого, самого главного своего смысла.

Что же до школы, да, и в школе такие книги нужны. Ведь кто-то может так и не открыть их для себя, если не узнает о них от учителя. Такое потрясение нужно пережить в юном возрасте, когда так остро восприятие. И когда горизонт воображения и чувств еще не ограничен нехваткой времени и усталостью.

То, что в этой работе отрефлексировано и понято как беда, в других сочинениях и на другие темы воспринимается как нечто нормальное и обычное:

** Раскольников в первой части убивает старуху, а потом всю оставшуюся жизнь кается. Весь день в школе разногласия, конфликты, дома хочется отдохнуть, а тут надо читать про угрызения совести. Мне все равно, какие книги читать, лишь бы они были ЛЕГКИМИ.*

Через несколько месяцев после того, как я прочел это и подобные ему сочинения, купил журнал «The New Times» со статьей Бориса Дубина. Привел оттуда большую выдержку:

И нет сегодня границы между гламурным чтением, проблемной литературой и социальной критикой. Граница проходит не здесь. Важно лишь — модная книга или нет. Немодная книга что делает? Она грузит. А если книга грузит — она не попадает в круг модного чтения. Ее последействие не должно быть слишком сильным, слишком длинным, слишком глубоким, слишком болезненным и так далее. <...> культура становится более развлекательной...

Не только о чтении, не столько о культуре идет здесь речь, а об отношении к жизни, которое все больше утверждается в нашем сегодняшнем быту. Перефразируя Маяковского, можно сказать: происходит страшнейшая прагматизация — прагматизация сердца и души.

Все последние годы я лечусь в санатории «Русское поле» (пока работаю, могу не снимать пенсию, которая приходит на сберкнижку: за год как раз набегает на 18 дней санатория). Там — половина таких, как я, работающих пенсионеров, — правда, за некоторых платят их предприятия. А другая половина — дети с онкологическими заболеваниями крови в период ремиссии. Ребенок и тот, кто его сопровождает (в большинстве матери, реже бабушки и иногда отцы), получают бесплатные путевки на 24 дня и оплаченную дорогу в оба конца. В первые годы я много говорил с матерями этих несчаст-

ных детей. И узнал, что в половине случаев отцы, — а это молодые мужчины, — когда приходит в дом эта страшная беда, от больного ребенка и жены уходят. Вот вам и тест на нравственное здоровье общества...

Но если таково отношение, казалось бы, к самым близким, то что же говорить о дальних? Как раз когда я читал сочинения о «Чернобыльской молитве», в «Новой газете» появилась переписка Бориса Стругацкого и Михаила Ходорковского. В письме Стругацкого меня сильно задело одно рассуждение:

У меня такое впечатление, что ничего фундаментального нового в социуме происходить вообще не будет. Мы просто приспособимся к новому образу жизни — когда то здесь, то там взрывают некое (никому не известное) кафе или захватывают вдруг в заложники школу... ужасно, конечно, омерзительно, доколе продлится это поганство!.. — но ежедневные дела так неотложны, а эпицентр событий так далек... и потом все это уже было и както, худо-бедно, но обошлось: спецназ разобрался... или ОМОН? Да, жертвы — это ужасно, но ведь и это все уже было: в Беслане, кажется, были сотни жертв... Наверное, человечество иначе не умеет. Наверное, оно слишком велико. Наверное, оно слишком загружено повседневными своими делами, чтобы оставить еще хотя бы малый кусочек души своей на что-то «постороннее», «непрактичное», на то, что «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» — на сострадание, на сопереживание, на милосердие. <...> И боюсь, это не «плохо» и не «хорошо», это — ТАК. У нас нет в запасе другого человечества — только такое: готовое, если понадобится, умереть за своего ребенка, да что там за ребенка — за сорокачасовую рабочую неделю готовое умереть,— но решительно не способное палец о палец ударить ради «дальнего своего».

Я был поражен. И не только совпадением, хотя об этом же писали в сочинениях, которые я сейчас читал, мои ученики:

Мы живем как бы вместе, но в то же время как бы каждый сам по себе, отдельно. Чаще всего мы не видим и не слышим друг друга, а чьих-то страданий даже и не подозреваем и не мыслим, что, может быть, это где-то рядом, что несчастье может произойти не только там где-то с кем-то, но и здесь, вдруг, возможно (не дай Бог!) с нами.

Но... Не только по санаторию, по многолетней работе в школе я слишком хорошо знаю, что умереть, если понадобится, за ребенка своего — тоже не абсолютная норма, особенно если это касается мужчин. Да что умереть, сколько их скрывается всего лишь от алиментов!

Но главное, я не мог принять то, что констатировал Стругацкий, как неизбежную норму. Нарисованное Достоевским в последних снах Раскольникова, сказанное Чеховым о человеке с молоточком, мне ближе: ведь там предупреждение о необходимости противостоять, иначе — гибель человечества, самоликвидация.

После смерти Михаила Ульянова критик Инна Вишневская вспоминала о нем:

Знаешь, — говорит он мне (а мы на «ты» с весенних послевоенных лет),— как меня поразила история «Курска»? Кто-то рассказал мне про стук в обшивку. Мне кажется, вопреки всему, что это был стук сердец. Вот если б так стучали в ответ наши сердца. Чтобы не внешний сюжет занимал нас,

не интрига, не новая пьеска — вот этот пепел Клааса, который всегда стучит в сердца вольных людей.

И еще: когда евреям в Дании по указу нацистов было велено ходить по проезжей части, все датчане сошли с тротуаров и пошли с ними. <...> Вот бы нам так!

И мне близка идея соборности, понимаемой как духовное единение людей вне зависимости от всяких государственных и политических структур. Идея, сутью которой является, как сформулировал это Сергий Булгаков, *нахождение себя в единении с другими.* И понятие это, на мой взгляд, шире только религиозного понимания. В сегодняшнем нашем атомизированном обществе все это приобретает особое значение. Ведь, по словам Владимира Соловьева, *всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи,* — все это не может не привести к *самоистреблению человечества.* Сплачивающие, собирающие начала не просто чрезвычайно важны, они жизненно необходимы нам всем.

Закончив уроки по роману «Преступление и наказание», прочитав страницы о последних снах Раскольникова, в которых каждый только за себя и все против всех, я показываю на уроке фильм «Репетиция оркестра» — историю о том, как распадается оркестр, как это распадение целого, единого сначала убивает музыку, а потом и живого человека... И к снам Раскольникова, и к фильму Феллини мы снова вернемся, когда, заканчивая изучение «Войны и мира», обратимся к последнему сну Пети Ростова — сну, в котором звучит оркестр, исполняющий мелодию единения, согласия...

И это очень важно, чтобы ученики наши во всей своей полноте осознали и на уроках жизни, и на уроках литературы значение своего неповторимого и единственного «я», своей уникальной индивидуальности и вместе с тем восприняли это «я» как часть целого, человечества, мира. И для меня главное в школьных уроках литературы — не приобретение знаний о литературе (что сегодня становится основным требованием к учащемуся), а вот это открытие себя как другого и другого как самого себя. А иначе зачем вообще вся эта литература?

Нужны ли такие книги, как «Чернобыльская молитва»? Да, нужны. Но, естественно, нужны не только такие книги. Человеку для жизни необходимы белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, вода. Точно так же качественной, разнообразной и сбалансированной должна быть и пища духовная. А, на мой взгляд, в духовном рационе современного подрастающего поколения, нынешней юности ощутим дефицит витамина добра, веры в людей, в то подлинное и неизменное, что все-таки существует.

Сам я принадлежу к тем миллионам советских людей, которые постоянно ощущали дефицит правды в жизни и искусстве и потому так набросились на вернувшиеся из небытия книги, эту правду несущие. Но как учитель я понимаю, что поколение моих нынешних учеников испытывает прежде всего дефицит положительных эмоций, твердых опор, нравственных устоев. И мне близка мысль Ирины Роднянской: *Ужасы и горечи жизни были всегда. Но не всегда их встречали настолько разоружившись. Уместно будет диагностировать не рост Зла, а дефицит мужества, питаемого знанием Добра.*

Софья БОГАТЫРЕВА

ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ, ИЛИ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ «КАРТОННОГО ДОМИКА»

К 110-й годовщине со дня рождения Александра Ивича (Игнатия Игнатьевича БЕРНШТЕЙНА, 1900 – 1978)

От автора

Эти страницы написаны в память моего отца. Значительная часть его литературного наследия осталась за рамками того, что можно было печатать при его жизни. С началом Перестройки явилась возможность обнародовать материалы из его архива, чем я и стала заниматься. Первым этапом, в 90-х годах, были публикации неизвестных текстов Осипа Мандельштама и Владислава Ходасевича (в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», в альманахах «Отдай меня, Воронеж», «Сохрани мою речь», «Pushkin Review», «Russian Studies in Literature», в собраниях сочинений обоих поэтов); вторым — история короткой жизни «Картонного домика», издательства, созданного отцом в начале 20-х годов (сб. «A Century's Perspective», Стенфорд, 2006). Сейчас, обнаружив неизвестные ранее бумаги и документы, расширив свое представление о прошлом семьи и соединив его с воспоминаниями, делаю попытку раздвинуть временны́е рамки и рассказать об отце, о его брате, лингвисте Сергее Бернштейне, об их родителях и о времени, в которое им выпало жить.

Софья БОГАТЫРЕВА — родилась в 1932 г. в Москве. Окончила Филологический факультет МГУ. Занималась литературой для детей и детским творчеством, в течение 15 лет заведовала отделом поэзии журнала «Пионер». В дальнейшем — мемуарист, публикатор, автор работ о поэзии и прозе Серебряного века («Записная книжка Владислава Ходасевича», «Завещание», «Воля поэта и своеволие его вдовы», «Владислав Ходасевич о Пушкине», «Памяти Картонного домика»), трех книг для детей и подростков, а также трехсот с лишним статей, исследований и эссе, опубликованных в русских, американских и европейских изданиях. Начиная с 1989 г. читала курсы лекций, посвященных русской литературе, в Миддлбери Колледж, Университете штата Висконсин, Денверском и Лондонском университетах. Член Совета международного Мандельштамовского общества, почетный член The National Slavic Society (США). Живет в Денвере, Колорадо.

Источниками послужили мне материалы из домашнего архива, разрозненные заметки отца и магнитофонные записи его устных рассказов, сделанные в разное время Виктором Дмитриевичем Дувакиным, мною и моим сыном (в очерке все эти архивные тексты выделены курсивом).
Работа еще далеко не закончена. Надеюсь продолжить ее и, в меру сил, довести до завершения. Стопки неразобранных папок и связки непрочитанных писем ждут и торопят меня.

1. «Молодой, но отважный»

Мне трудно представить отца юным. Знаю, что он был стройным и большеглазым. Ольга Форш называла его «Ветка Палестины». Вениамину Каверину запомнился *«тоненький, как будто нарисованный одной узкой карандашной линией Игнатий Игнатьевич Бернштейн, молодой, но отважный руководитель издательства "Картонный домик", которое выпустило известный сборник воспоминаний о Блоке и вскоре рухнуло, как картонный домик»*[1]. Помню присказку Виктора Шкловского: *«Когда Саня появлялся в комнате, среди женщин начинался листопад»*. С фотографии работы Наппельбаума смотрит на меня волоокий романтического вида красавец, — но у Наппельбаума все глядят красавцами. Сани Бернштейна я, по сути, не знала. Для меня отец всегда был: в жизни — Игнатием Игнатьевичем, как называли его на моей памяти, а в литературе — Александром Ивичем, как подписал он когда-то, второпях, на ходу, газетную, нашумевшую потом публикацию и что сделал своим псевдонимом, слепив первую букву имени с тремя последними отчества и узаконив заодно домашнее имя «Саня», сложным образом возникшее из «Игнатия», что вызывало постоянные вопросы, на которые не всегда хотелось отвечать. Я и себя всю жизнь (признаться, по сей день) ощущала Соней Ивич, что бы там ни значилось в моих официальных бумагах.

Революции 1917-го среди прочих разрушений смели возрастные границы. Ровесник века, Игнатий Бернштейн окончил гимназию между Февралем и Октябрем. К февральской революции отнесся восторженно и сразу оказался в центре событий: в качестве одного из помощников коменданта Государственной думы присутствовал на заседаниях, слушал первые пореволюционные речи Керенского и Милюкова. Затем служил в охране Временного правительства; потом ему поручили заведовать столовой для военных частей, которые приходили выразить Временному правительству свою преданность. Уж не знаю, когда он успел сдать выпускные экзамены и получить свою золотую медаль (собственно, медалей в тот год в гимназии Гуревича уже не выдавали, но свидетельство на право ее получения вручили, его я сама видела). По молодости лет ни к какой партии он не принадлежал, но по убеждениям примыкал к кадетам, поэтому к октябрьскому перевороту отнесся без энтузиазма. Однако и тут поначалу углядел романтические черты, а себе нашел дело, только связанное не с политикой, как в Феврале, а с литературой, точнее, с книгами: комплектовал библиотеки для кораблей Балтийского флота. (Вечное стремление российских интел-

[1] *Каверин В.* Эпилог. М., 1997. С. 25.

лигентов нести в народ просвещение!) Так или иначе, посты он занимал и выполнял поручения, казалось бы, не вполне подходящие для шестнадцати-семнадцати лет, а общался запросто с людьми в два с лишним раза старше себя. Знакомства у него были совершенно замечательные: с Виктором Шкловским он дружил со школьных лет, у Бориса Эйхенбаума учился в гимназии, с Михаилом Кузминым встречался по-соседски раз-два в неделю за чаем, в Доме искусств близко сошелся с Владиславом Ходасевичем, там же наведывался к «Серапионам», еще гимназистом выступил с докладом в ОПОЯЗе. О почтеннейшей Ольге Дмитриевне Форш, по прозвищу «Полковник», двадцатью семью годами его старше, вспоминал: «Мне кажется, мы разговаривали с нею на равных». Среди черновиков отца я нашла запись, датированную 1933 годом:

Дом искусств. Четвертая дверь налево. Стучу. Генеральский бас отвечает: «Войдите!». За столом — бравый полковник в отставке, в какой-то застиранной кацавейке, пишет. Или делает вид, что пишет. Тамара, милая восемнадцатилетняя девушка, греет суп на буржуйке. Разговоры у нас с полковником бывали интересные. Особенно в феврале 21-го. Мы говорили меньше о литературе, чем о Штейнере и хлыстах. Тема была свежая для нас обоих и говорилось потому легко. Полковник, иначе говоря, писательница Ольга Дмитриевна Форш, только недавно отошла от штейнерианства и относилась к вопросам мистики с повышенным интересом. Забавно, что те, кто не говорят о Штейнере с восхищением, говорят о нем с раздражением. У Ольги Дмитриевны в этом раздражении было много личного. Она знала Штейнера — встречалась и разговаривала с ним — и, как положено, была им покорена.

Что касается общения и дружеских связей, то тут, кроме общеисторических причин, сыграли роль личные обстоятельства. Биография моего отца сложилась так, что во многом предопределила разнообразие и богатство его знакомств. Его жизнь началась под знаком трагедии, что читалось в его имени, точнее, в сочетании имени и отчества.

2. Письмо из Хабаровска

Тринадцатого июля 1900-го, последнего года XIX века, четырнадцатилетняя девочка по имени Леля писала гимназической подруге:

Вот мы и в Хабаровске! Ты, конечно, удивляешься? Сейчас я расскажу, каким образом это случилось.

Однажды в Фулярди мы с мамой спокойно сидели в столовой и разговаривали. Вдруг влетел, буквально влетел в комнату папа, взял маму под руку и вышел в другую комнату. Через минуту они вышли опять в столовую, и я заметила, что они оба взволнованы, а мама даже немного бледна. Папа сейчас же ушел, сказав маме, чтобы она «поскорее». Я сейчас же пристала к маме с расспросами, и она мне рассказала, в чем дело: в Китае и Манчжурии появились мятежники, желающие во что бы то ни стало вытеснить европейцев, число их очень велико, и кроме того к ним по-немногу присоединяется народ, а правительство ничего не имеет против. Первые нападения мятежников были сделаны на Порт-Артурские участки и на Хайгар. Хайгар от нашего Фулярда находится на расстоянии около 600 верст. И вот,

когда стало известно, что уже сделано нападение на Хайгар, была получена срочная телеграмма от главного инженера: собраться всем служащим и с семействами тот же день выехать на поезде в Харбин. Телеграмма была получена в три часа дня, а в семь вечера мы были уже на поезде.

Был также приказ: ничего из громоздких вещей с собою не брать, так как прислано всего два крытых вагона и пятнадцать небольших платформ открытых, только для людей, захватить с собою только самое необходимое: по две-три перемены белья и провизии на неделю. За четыре часа, которые нам были даны на сборы, мы наварили и нажарили кур (всех своих и цыплят), сварили полсотни яиц, собрали подушки, белья, и ухитрились-таки, несмотря на запрещение, захватить свой серый сундук, в который мама сложила все дорогие для нее фотографии, несколько кусков ткани, чесучу, золотые вещи и т. д. В восемь часов вечера все были уже на платформах. Теперь дело было вот в чем: надо переехать мост. Мост этот только временный, построен на скорую руку, весь деревянный, без быков и, наконец, так «хорошо» построен, что через него паровоз с жандармом и двумя-тремя платформами боялись переправить, а тут приходится переправлять целый поезд, битком набитый пассажирами. Переехать решено было «на руках», то есть что повезут нас служащие, а не паровоз.

Паровоз ждал нас на другой стороне. И вот наконец тронулись.

Представь себе: темнота, битком набитый плачущими и трясущимися неосвещенный вагон, всеобщий страх и т. д. Продвигались мы очень медленно, но только въехали на мост, как вдруг слышим: «Китайцы мост разбирают! Охрану на мост!» Можешь себе представить? При этом слышишь и чувствуешь, что остановить вагоны и платформы уже нельзя, и мы продолжали ехать, несмотря на то, что каждую минуту мост мог рухнуть, а мы — полететь в реку со всем поездом. Но вот проскакали на мост человек пятнадцать казаков в полной амуниции. Нас наконец удалось остановить. Через 10 минут казаки возвратились с моста, скинув в реку с десяток китайцев и ухлопнув прикладами человека три. Мы снова тронулись и благополучно доехали до другой стороны. Там сейчас же подвезли еще несколько платформ и подкатили паровоз. Теперь дело вот в чем: мы должны ждать дистанцию Турчиху, то есть начальника дистанции, находящейся от Фулярди на расстоянии 40 верст, техника, фельдшера и человек 15 охранной стражи. Ждем их час, два, три, наконец говорят, что уедем без них, они, вероятно, соединились с другим участком.

Таким образом, останавливаясь на каждой дистанции, забирая всех служащих (конечно, русских) и голодая, доехали мы до Харбина. Здесь нас на другой день должны будут посадить на пароход и отправить в Харбин. Посылали только женщин и детей и, в виде исключения, некоторых еще мужчин. В числе их был Игнатий Абрамович Бернштейн.

До Сан-Синя (300 верст от Хабаровска) мы доехали благополучно и оттуда, уже совершенно успокоенные, тронулись дальше. Дело в том, что в Харбине ходили слухи, будто в Сан-Сине перебиты все русские и китайцы останавливают каждый пароход, отбирая все оружие. В случае же сопротивления кончают со всеми пассажирами. Поэтому, остановясь в Сан-Сине и узнав там от полковника Винникова, что все это враки и китайцы про-

должают жить дружно с русскими, мы уже спокойно тронулись дальше. До Хабаровска оставалось еще 500 верст.

Отъехали еще верст 40 — 50 от Сан-Синя. Погода стояла чудная. В кают-компании пили чай. Я, моя подруга Женя Столярова, Юля Аспидова сидели на носовой скамеечке и болтали с молодым Юговичем (красивый молодой человек). Я зачем-то пошла в кают-компанию и мимоходом заметила на палубе маму и Игнатия Абрамовича. Только я вошла в кают-компанию, вдруг слышу какое-то частое щелканье, вроде щелканья сороки. Затем мимо моего уха прожужжала и шлепнулась рядом в стену пуля. Тогда я с криком: «Стреляют, китайцы, берегитесь!» бросилась к маме на палубу, но в дверях столкнулась с нею, бледной и взволнованной. «Где дети?» — спросила она. «Не беспокойся, они в кают-компании». Я снова побежала туда и стала еще с несколькими человеками устраивать там баррикады из матрасов, подушек, чемоданов и т. д. Устроив все это, я с акушеркой Верой Михайловной стала перетаскивать кричавших и пищавших ребятишек из коридора, в котором столпились все дамы, в кают-компанию. Много было здесь и ругани, и проклятий, и слез, и вздохов, и среди всего этого хаоса то и дело слышалось шлепанье пуль. Занявшись делом перетаскивания, я совершенно забыла о бедном Игнатии Абрамовиче, которого, я слышала, сильно ранили. Я пошла посмотреть, где он, и у двери каюты № 7 увидела рыдающую Полину Самойловну, которая твердила, что теперь ей незачем жить, теперь для нее все кончено. Я зашла в каюту напротив и увидела залитый кровью пол и на скамье полураздетого, бледного, как полотно, облитого кровью Игнатия Абрамовича. Что это была за картина, ты можешь себе представить! В первый момент я чуть не упала в обморок при виде этого, но услышала приказание мамы принести воды и позвать доктора. Только что я вышла, как снова началась стрельба, третья и последняя, которая длилась пятнадцать минут, но окончилась благополучно. Забыла еще сказать, что охраны у нас на пароходе не было, случайно попали шесть казаков и один офицер, кроме того, частных ружей было штук шесть. За четыре часа обстрела у нас был один убитый — Игнатий Абрамович, он к вечеру скончался, трое серьезно раненых и легко ранена Верочка Ивашкевич. Меня контузило.

Поздно ночью нас перетащили в трюм, и там, среди дров, грязи и пыли мы плыли еще полтора суток. В ста двадцати верстах от Сан-Синя мы встретили 27 пароходов с войсками и орудиями, идущих в Харбин. Можешь себе представить, как мы обрадовались, узнав, что теперь совершенно спокойно можем двигаться дальше. Через двое суток мы были в Хабаровске.

Прощай же, целую всех крепко.

Ваша Леля.

Полвека спустя это письмо передала мне дочь Лели, известная актриса Елизавета Ауэрбах. С ее матерью, Ольгой Евгеньевной Ауэрбах, я встречалась, когда та была уже очень старой и тяжело больной женщиной — совершенно замечательной и совершенно неотразимой. Не составляло труда узнать в ней отважную Лелю, ту, что под пулями бесстрашно перетаскивала в укрытие малышей и, чуть живая от ужаса, пыталась помочь смертельно раненному попутчику. А чего стоит это вскользь оброненное, небрежно брошенное «меня контузило»! Так, мол, мелочь, не имеющая значения.

Леля была благовоспитанной барышней и в своем письме не упоминает о том, что благовоспитанным барышням конца XIX века упоминать и даже замечать не следовало: их спутница, на глазах которой убили ее мужа, была, что называется, на сносях — вот почему на корабле находилась акушерка, вот почему ее муж был среди тех немногочисленных мужчин, которым поручили сопровождать транспорт. Дошли до меня рассказы, что будто бы он не хотел эвакуироваться, однако Полина Самойловна, ссылаясь на то, что не может отправляться в трудное путешествие в своем положении одна с восьмилетним сыном, на том настояла, стремясь увезти мужа подальше от опасности, что еще усугубляло ее отчаяние чувством вины.

В Хабаровске Полина Самойловна похоронила мужа и родила сына. Его нарекли также Игнатием, что еврейскими обычаями допускается лишь в том случае, если сын родился после смерти своего отца: у евреев новорожденным дают имена не «в честь», а «в память».

Это был мой отец.

3. Инженер путей сообщения

Я не много знаю о своем деде. Ни я, ни мой отец не успели увидеть его. Расспрашивать бабушку и дядю мне сначала, в детстве, казалось бестактным (слова такого я, может быть, и не знала, но ощущение помню), а позднее, когда удалось преодолеть неуклюжую ребячью скованность, а затем свойственное молодости упоение жизнью, где не было места воспоминаниям о прошлом, спросить уже было не у кого.

Должно быть, Игнатий Абрамович был незаурядной личностью: в то время еврею нелегко было занять видный пост на строительстве КВЖД, звание путейского инженера звучало столь же значительно (сейчас сказали бы «престижно»), как в наши дни — профессия космонавта. Родился он в 1857 году в Луцке, получил имя Ицко-Исаак, обучался в Ровенском реальном училище. Однако на том не остановился, поехал в Санкт-Петербург и поступил в одно из наиболее авторитетных и престижных учебных заведений России: Институт инженеров путей сообщения императора Александра Первого. Торжественного вида, на плотной мелованной бумаге, украшенный гербом Института и затейливой восьмиугольной печатью диплом за номером 1001

> «...объявляет, что Ицко Бернштейн иудейского исповедания, окончивший полный курс наук преподаваемых в Институте, признан экзаменною комиссиею достойным звания Гражданского Инженера, с правом производства строительных работ и с правом на чин Коллежского Секретаря, при вступлении в государственную службу. В звании гражданского инженера с упомянутыми преимуществами утвержден мая 28 дня 1883 г. В засвидетельствование чего дан сей диплом от Института инженеров путей сообщения Императора Александра Первого, с приложением печати Института». (Пунктуация и прописные буквы подлинника).

Кроме поименованных в нем преимуществ «Диплом» давал еще одно, весьма существенное: право еврею жить вне черты оседлости. Ицко Бернштейн выбрал для проживания город Тифлис, а для работы — Закавказскую железную дорогу. Место новое, экзотическое, и — не было в Россий-

ской империи более романтичного. Похоже, он был романтиком, мой дед! (Не от него ли пошло романтическое отношение к реальности, бытующее в нашей семье?) Но в то же время присутствовала в его характере надежная основательность, серьезное, ответственное отношение к делу, что задает тон личности и просвечивает в каждом из известных мне его поступков.

К тому времени, как он начал там работать, на Закавказской железной дороге действовала линия, которая вела из Тифлиса в Поти, открытая десятью годами раньше, и как раз входил в строй участок, соединявший Тифлис с Баку — на манер коридора между Каспийским и Черным морем. Дорога шла по местам живописнейшим: по берегу Черного моря, затем, постепенно удаляясь от него, по долине реки Сиона и ущельям ее притоков, через Сурамский перевал, вступала в долину реки Куры, пересекала Военно-Грузинскую дорогу, проходила мимо Тифлиса и направлялась далее по степным равнинам Восточного Закавказья к Баку. Молодой инженер знакомился с Закавказской железной дорогой неторопясь, обстоятельно, с присущей ему добросовестностью. Начал снизу, с работы помощником машиниста, — прежде, чем *строить*, стал учиться *ездить* и первым делом освоил искусство водить паровозы. В полученном через год по окончании института, в 1884-м, свидетельстве сообщается, что:

«Исаак Бернштейн был испытан в знании им устройства и работы паровоза, управления паровозом и правил о сигналах. Вследствие сего ему предоставляется право на самостоятельное управление паровозом и занятие должности машиниста Закавказской железной дороги».

В качестве машиниста он перевозил людей и грузы к портам Черного моря, и ему пришлось ощутить сопротивление материала, попробовать наощупь, под колесами *своего* паровоза, как отзываются управлению рельсы той самой дороги, новые ветки которой ему предстояло прокладывать. Управление паровозом в ущельях, а пуще того, на горных участках, когда дорога шла через перевал высотой почти в тысячу метров, с подъемами до сорока шести процентов и минимальным радиусом кривизны в сто метров (путейцам известно, каково это!) требовало твердой руки, мастерства и опыта, чем и стремился овладеть дипломированный инженер. Позднее, уже во время его работы по специальности, строителем, и при его непосредственном участии особо трудный и наиболее опасный, как он знал по собственному опыту, пролет, Сурамский перевал, заменили в 1890 году четырехкилометровым Сурамским тоннелем, самым длинным в тогдашней России.

В многонациональном Тифлисе дед, устав от путаницы с двумя именами — его называли то так, то эдак, что требовало постоянных исправлений и уточнений в документах, из Ицко-Исаака превратился в Игнатия — имя нейтральное, не вызывающе русское, как был бы, скажем, «Игнат», а скорее с легким иностранным оттенком, с польским отзвуком, не скрывающее инородности, но и не выставляющее ее напоказ. Говорил и писал он по-русски, в семье его называли на русский лад «Саней», первенцу дал русское имя, однако своего вероисповедания никогда не менял. Главные события его короткой жизни: рождение, вступление в брак и кончина освящались иудейскими обрядами.

Как он попал в Киев, я не знаю. Доподлинно известно только то, что именно там, в Киеве, 27 января 1891 года, будучи тридцати четырех лет от

роду, он «вступил в законный брак по обряду Моисеева закона с девицей Паулиною, дочерью киевского первой гильдии купца Самуила Рабиновича». Девице Паулине, будущей моей бабушке Поле, шел двадцать первый год, она получила хорошее воспитание, происходила из многодетной богатой семьи, заметной и уважаемой в Киевской еврейской общине, и по какой причине родители моего деда, «*мещанина Ровенского уезда Волынской губернии*», неодобрительно отнеслись к его женитьбе, мне не ведомо.

С молодой женой Ицко-Исаак-Игнатий вернулся в Тифлис, в январе 1892 года там родился их сын Сергей, которому суждено было сыграть видную роль в российской филологии.

По службе на Закавказской железной дороге инженер Бернштейн неуклонно продвигался и, должно быть, неплохо зарекомендовал себя, если получил завидное место инженера на строительстве КВЖД.

Раз уж мы допустили наличие романтических струн в душе молодого путейца, то нас не удивляет его решение оставить прекрасный, однако обжитый, за десять с лишним лет изъезженный вдоль и поперек Кавказ ради неведомого Китая — еще более экзотичного, и строительства дороги еще более протяженной, еще более значительной, соединяющей уже не города, а страны и — новой, завораживающе новой!

Строительство одной из крупнейших железнодорожных магистралей позапрошлого века, Китайско-Восточной железной дороги — КВЖД — началось в конце августа 1897 года. Тому предшествовали события как геополитического, так и экономического характера. Еще в середине XIX века интересы на Дальнем Востоке побудили правительство Российской империи протянуть от Челябинска до Владивостока Транссибирскую железнодорожную магистраль, часть ее должна была идти по китайской территории. 22 мая 1896 года по секретному договору между Российской империей и Китаем Россия получила право на строительство в Маньчжурии железной дороги, которой надлежало связать Забайкалье с Приморьем. Проект обещал быть дорогостоящим: каждая верста обходилось в 152 тысячи рублей. Но на него не скупились. Стройка века, говоря языком недавнего прошлого!

Поскольку строительство дороги означало проникновение России в Маньчжурию и укрепление российского военного присутствия на берегах Желтого моря, можно было ожидать, что не все в Китае отнесутся к тому одобрительно. Какие формы примет возможное противодействие, никто не знал, но все отдавали себе отчет в том, что дорога и ее строители, российские подданные, нуждаются в надежной охране. Однако китайская сторона предусмотрительно внесла в договор пункт, согласно которому Россия не имела права держать в полосе КВЖД регулярные войска. Стали искать паллиативы: первый отряд Строительного управления КВЖД во главе с инженером Адамом Ивановичем Шидловским, прибывший 24 апреля 1897года в Маньчжурию на реку Сунгари, где построили город Харбин, охраняли казаки, — известно даже, что это была пешая Кубанская полусотня под командованием есаула Повиевского. Но уже через две недели, 10 мая того же года, нашли более конструктивное решение: сформировать особую боевую группу, своеобразную местную армию. Она именовалась охранной стражей (никак не «регулярные войска», не придирешься!) и была вполне

внушительной: туда вошли почти семьсот конных нижних чинов и сто двадцать офицеров, у них имелась и своя форма, и знаки различия. Подчинялась охранная стража непосредственно Главному инженеру, Александру Иосифовичу Юговичу (помните, в письме гимназистки Лели упоминается красивый молодой человек с такой же фамилией, она болтала с ним как раз перед тем, как послышалось «щелканье сороки», китайских пуль? Наверное, сын начальника. На отсутствие у них на пароходе охранной стражи сетует Леля, она же вспоминает о том, как призывали охрану на временный мост, упоминает и казаков, обеспечивших им переправу).

Боксерское восстание достигло КВЖД 23 июня 1900 года: в этот день китайские отряды атаковали строителей. Они начали методично разбирать железнодорожное полотно и аккуратно, одну за другой, разрушать станционные постройки, а в тех, кто пытался оказывать сопротивление, стреляли. Тут и вступила в дело охранная стража: ей выпало принять на себя первые удары, понести первые жертвы. Под прикрытием охранной стражи шла эвакуация русских служащих, об одном из эпизодов которой рассказала Леля. Офицеры Охранной стражи вместе с инженерами выводили из зоны боев строителей с их семьями. Все пути оказались трудными и в разной степени кровавыми. Особенно трагически сложилась судьба партии строителей, уходивших из Мукдена под командой поручика Валевского и инженера Верховского: почти вся она погибла в неравных боях. Захваченный в плен Верховский был обезглавлен.

Пострадали строители, пострадали охранники, пострадала сама дорога. Работа, которую успели выполнить до нападения, была в значительной степени сведена на нет: из 1400 км железнодорожных путей, проложенных к июню 1900-го, неповрежденными осталось чуть больше трети, всего 430 км.

В лондонском Соборе Святого Павла я набрела на невысокий обелиск, установленный в память погибших во время Боксерского восстания в Китае. Там не сказано, что именно погибших *англичан*, а потому я решила: значит, и в память моего деда, и инженера Верховского, и поручика Валевского, и других наших соотечественников. Памятника российским гражданам, строителям КВЖД, оставившим там свои жизни, я не знаю и подозреваю, что у нас такого и не найдешь.

Память моего деда почтила не только его вдова и лондонцы. Пожелтевшая и выцветшая за сто с лишним лет газетная вырезка из семейного архива сохранила красивым крупным шрифтом набранный текст в широком черном окаймлении:

Товарищи и друзья безвременно погибшего
инженера Путей Сообщения
ИГНАТИЯ АБРАМОВИЧА БЕРНШТЕЙНА,
убитого китайцами на Маньчжурской железной дороге,
извещают о том, что в понедельник 7 августа, в 4 часа дня
будет отслужено заупокойное богослужение
в Санкт-Петербургской синагоге
(*Офицерская, угол Мастерской*)

На единственной дошедшей до меня его фотографии этот стройный господин с аккуратной бородкой удивительно похож на моего сына, только облачен он в сюртук и рубашку с высоким крахмальным воротом, а его правнук предпочитает майки и джинсы. Интерес к технике оказался наследственным: прадед получил право на самостоятельное управление паровозом, а правнук — права на вождение самолетов. Но как, скажите на милость, понимать тот факт, что через сто с лишним лет после гибели прадеда от китайской пули правнук, столь на него похожий, женился на юной китаянке? Как катарсис? Примирение непримиримого? Или всего лишь как одно из частных проявлений глобализации нашего, сжавшегося в шарик, Земного шара?

4. И его супруга

Бабушку Полину я хорошо знала и, как теперь мне ясно, не знала совсем. Она навещала нас в моем раннем детстве, жила с нами во время войны в эвакуации и позднее, когда я училась в старших классах школы, но отношения у нас с нею сложились самые поверхностные: так, незначащие разговоры по незначительным поводам. Не могу понять, в чем тут дело и по чьей вине не существовало между нами, ее единственной внучкой и моей единственной бабушкой, душевного тепла. Но, его, увы, не было.

А может быть, тот страстный крик, что ей незачем теперь жить и все для нее *кончено*, именно то и означал? Что она поставила крест на прошлой жизни и нечто — из области любви, трепета и прочих трудноопределимых чувств — угасло в ее душе со смертью молодого мужа? Все это она в себе закрыла, запечатала, заперла на замок, захлопнула дверь, забросила ключ от нее. Ее дальнейшая жизнь была исполнена достоинства и лишена бурных эмоций. Со старшим сыном, которому к моменту трагедии минуло восемь лет, она бывала ласкова, а младший, пришедший в этот мир словно на смену своему отцу и по ее же выбору отцовским именем названный, вызывал у нее сложные чувства, любовь с привкусом горечи. Впрочем, как мне судить? Возможно, во мне говорит ревность: я-то знала, что мой отец — лучший в мире и что все должны им беспрерывно восхищаться, а бабушка, как мне казалось, была к нему холодновата. Во время войны старшему сыну, находившемуся в эвакуации, она писала трепетно и тревожно, каждая строчка была проникнута заботой о его жизнеустройстве, о трудностях быта, о том, как переносит он непривычные холода. А ее письма к моему отцу в действующую армию кажутся куда более спокойными, словно бы там, на фронте, он подвергался меньшей опасности, чем его старший брат в городе Малмыже, неуютном, но глубоком тылу. Хотя, ее ли то вина? Вот как описывал мой отец свои военные будни: «*Дорогая мамочка! Как ты себя чувствуешь? Я — отлично, здоров, настроение хорошее. В городе тихо, спокойно. Работа у меня по специальности...*» — это из Севастополя, в 41-ом, в разгар боев на подступах к городу!

Бабушка Полина добилась в жизни больших профессиональных успехов. Овдовев на тридцать первом году жизни, она не пожелала вновь выйти замуж, посвятила себя сыновьям. Она была матерью и, по воспоминаниям моего

отца, матерью суровой, требовательной, но отнюдь не была нянькой: бонны, гувернантки, учителя появлялись, существовали и сменялись своим чередом.

Во всем, что она делала и предпринимала, господствовала жесткая логика и твердость, она неизменно руководствовалась здравым смыслом, которого ей не занимать было. С родителями убитого мужа не общалась: в свое время те противились женитьбе сына, добрых отношений не возникло и поддержки с той стороны она не ждала, да видимо, в ней и не нуждалась. В районе строительства КВЖД, независимо от того, продолжались ли там «беспорядки» или наступил мир (как мы знаем теперь, он наступил не так скоро), делать ей было нечего, и ничто, кроме могилы мужа, ее там не удерживало. Памятник на могиле был установлен и сфотографирован, документы на опеку над детьми оформлены. Молодая вдова с двумя сыновьями, восьмилетним и новорожденным, кружным путем, вокруг доброй половины Земного шара, — железная дорога, которую строил ее муж, еще далека была от завершения, а сделанное им и его товарищами разрушено на две трети, — отправилась с Дальнего Востока на Украину. В плетеной тростниковой корзинке в каюте парохода мой отец трех месяцев от роду совершил первое и последнее в своей жизни кругосветное плавание.

В Киеве проживала мать Полины Самойловны, потомственная почетная гражданка Августина Яковлевна Рабинович. Долгое время мне было невдомек, каким образом звание «почетной гражданки», да еще «потомственной», могло совмещаться с бесправным положением еврейского населения в царской России, однако документ с сургучной, красного цвета печатью, где прабабушка наша так именуется, издавна хранится у моего троюродного брата Александра, а в сканированном виде — и в моем компьютере. Оказалось все достаточно просто. Существовало такое сословие, о котором забыли упомянуть наши школьные учебники, сословие «потомственных почетных граждан», введенное еще Екатериной II в Жалованной грамоте от 1785 года. Тогда оно называлось даже более торжественно: «сословие *именитых* граждан». Не столь многочисленное, оно располагалось пониже дворянского, и входили туда — сливки не-дворян. То была тонкая прослойка между высокомерным дворянством и простым людом, созданная правительством, чтобы оградить замкнутую касту первых, поддержав в то же время амбиции вторых, как-то выделить наиболее успешных и ярких представителей народа, а заодно побудить их к предпринимательской деятельности и к щедрой благотворительности.

В разное время в число «почетных граждан», — как и дворяне, они делились на *потомственных* и *личных,* — входили разные группы российских подданных, людей всегда незаурядных, отличавшихся либо образованностью, признанными талантами, успехами в науках, либо богатством: купцы, состоявшие в течение не менее двадцати лет в первой гильдии; коммерц- и мануфактур-советники; артисты Императорских театров и художники; лица, получившие в одном из русских университетов ученые степени доктора или магистра; «ученые евреи при губернаторах»; врачи, фармацевты, инженеры, ветеринары...

Потомственная почетная гражданка, наша прабабка Августина была, похоже, что называется «мать-командирша»: пережила двух мужей, вырастила

и поставила на ноги восьмерых детей, твердой рукою управляла принадлежавшим ей дрожжевым заводом. Впрочем, от ужасов, положенных ее единоверцам, звание почетной гражданки Августину Яковлевну не спасало. Еврейский погром, разразившийся в Киеве в 1905-м, не затронул ее семью впрямую, однако недвусмысленно напомнил о постоянно грозящей опасности. Моя бабушка, — так поступали многие матери из состоятельных еврейских семей, — увезла сыновей за границу: в Берлин, затем в Швейцарию. Лишь через год решилась она вернуться в Россию, но уже не в Киев, а в Петербург.

Управление Китайско-Восточной железной дороги, на строительстве которой работал Игнатий Абрамович Бернштейн, выплатило бабушке страховую премию. Деньги по условию принадлежали детям, вдова могла распоряжаться только процентами с капитала. На эти проценты бабушка нанимала просторную квартиру в фешенебельном районе Петербурга, у Пяти Углов, содержала штат прислуги, гувернеров и гувернанток. Одевалась столь элегантно, что государь император однажды, по ошибке приняв ее за фрейлину, поклонился ей на Невском, когда она проезжала в карете.

Не желая сидеть без дела, бабушка посещала курсы изысканной кулинарии, где светские дамы обучались искусству создавать необыкновенные блюда для гостей на своих приемах. Разумеется, они постигали рецепты, воспринимали идеи, — никто не предполагал, что им придется стоять у плиты: на то имелись кухарки. Рукописный конспект лекций, толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке, исписанная по-немецки изящным бабушкиным почерком, сохранилась у нас. Из всего кулинарного богатства, там собранного, нам удалось использовать только два, самых простых: для всех остальных требовались ингредиенты, о которых в наше время и слыхом не слыхивали.

После октября 17-го испарились сначала деньги — бабушка сделала было попытку сохранить их, вложив в недвижимость: приобрела имение в Крыму; затем пошли прахом так и не обжитое имение, квартира у Пяти Углов, исчезли кухарка и горничные, пропала надобность в знании изысканной кулинарии.

С присущим ей мужеством бабушка пережила и эту напасть. К концу 17-го сыновья выросли: старший прочно стоял на ногах, был оставлен при кафедре русского языка Историко-филологического факультета Петербургского университета, младший заканчивал гимназию Гуревича.

Тогда она стала учиться зарабатывать на жизнь: пятидесяти лет от роду моя бабушка приобрела профессию — художественный перевод. Немецким она владела с детства (семья подолгу живала в Германии), а в петербургские свои годы пристально следила за новейшей литературой на этом языке. Тогда же, в 1917-м, она попробовала свои силы, переведя на русский пьесу «Король-Арлекин» немецкого писателя Рудольфа Лотара, комедии, мистерии, трагедии и проза которого в то время пользовались большим успехом на Западе. Выбор оказался удачным: в то тревожное и, несмотря ни на что, театральное время комедия в стиле дель-арте пришлась по вкусу как режиссерам, так и зрителям. Перевод вышел в свет в Нарве, но был замечен в обеих столицах: комедию поставили сначала в Питере, потом в

Москве, а в репертуаре драматических театров провинции спектакль продержался до 1930 года.

Первый успех придал уверенности. Знакомясь с новинками современной ей литературы на немецком, бабушка, разумеется, не могла пропустить явление Стефана Цвейга. В начале-середине 20-х тот стал входить в славу в Австрии и Германии, критики и читатели бурно спорили о нравственности-безнравственности, приличии-неприличии, значительности-незначительности его сочинений, восхищались тонкостью передачи интимнейших переживаний и поеживались от откровенности описаний (описаний исключительно чувств, а не чего-нибудь еще, что так расцвело в наши годы). В России же Стефан Цвейг не был известен. Полина Бернштейн решила открыть его творчество русским читателям. Она написала знаменитому австрийцу, тот отозвался незамедлительно — был впечатлен изысканным эпистолярным стилем письма по-немецки и заинтригован обратным адресом: таинственная Россия занимала в ту пору его мысли, а русскую классику он с увлечением читал и высоко ценил еще со студенческих лет. На предложение корреспондентки из Санкт-Петербурга познакомить с его произведениями русских читателей Стефан Цвейг откликнулся с энтузиазмом. Переписка перешла в творческое содружество: Цвейг и его секретарша аккуратно пересылали бабушке книги и рукописи, а та прилежно работала над переводами.

В 1924 году в Ленинграде в издательстве «Время» вышли в свет три переведенные Полиной Бернштейн новеллы Цвейга: «Гувернантка», «Летняя новелла» и знаменитая «Жгучая тайна»; через два года их пришлось переиздать, так как тираж оказался распродан, затем их бессчетное число раз включали в сборники и собрания сочинений писателя. В 26-м она перевела новеллу «Женщина и ланшафт», а в 27-м, особенно урожайном, был опубликован в ее переводах целый букет цвейговских шедевров: «Закат одного сердца», «Смятение чувств», «Случай на Женевском озере», «Незримая коллекция», «Лепорелла», «Принуждение», «Тайна Байрона». Затем последовали: в 1928-м — «Легенда о сестрах-близнецах», «Миг Ватерлоо», «Открытие Эльдорадо», «Борьба за Южный полюс», «Толстой», «Жизнь трех клоунов», в 29-м — «Казанова», «Достоевский», в 30-м — «Ромэн Роллан: Жизнь и творчество», в 31-м — «Жозеф Фуше», в 32-м — «Гельдерлин. Клейст». Все они были включены в первое, двенадцатитомное, собрание сочинений Стефана Цвейга с предисловием Максима Горького, которое издавалось в Ленинграде с 1928-го по 1932 год, воспроизведены во втором издании. Именно в переводе Полины Бернштейн вошел в наше чтение знаменитый и в ту пору скандальный «Амок». Она не ограничилась тем, что открыла русскому читателю Стефана Цвейга, но перевела еще и «Туннель» Бернгарда Келлермана, «Дело Маурициуса» Якоба Вассермана, «Что же дальше?» Ганса Фаллады и даже одну вещь Гейне, не говоря уж о менее значительных произведениях. На сценах Москвы и Ленинграда, помимо «Короля-Арлекина» Лотара, шла в ее переводе комедия «Вольпоне».

Одним словом, Полина Бернштейн стала признанным мастером в жанре художественного перевода немецкоязычной прозы. Когда в 1934 году создавался Союз советских писателей, ее приняли одной из первых, получен-

ный ею членский билет был украшен автографом Горького, считался реликвией и по этой причине даже не подлежал обмену.

Войну бабушка переживала в Чистополе, со мной и мамой, в тяжелой тревоге за сыновей, за любимую сестру Анну, жившую в Воронеже, и с присущей ей выдержкой перенося тяготы быта. «*У нас все благополучно, комнатой и хозяевами очень довольны*», — сообщает она в письме от 12 августа 1941 года, 19 октября успокаивает старшего сына: «*Что со мной сделается, ничто меня не берет*»; «*У нас по-прежнему все вполне благополучно*». «*Мы всем обеспечены и решительно ни в чем не нуждаемся*», — пишет моему отцу в феврале и марте 1942-го, по моим воспоминаниям, вполне голодного времени. Всегда старается найти что-то хорошее: «*Стоит прекрасная погода, солнечная и чудный воздух. Я думаю, что здесь здоровый климат*» (17 февраля 1942 года); сообщает литературные новости: «*Вчера были на вечере наших писателей, были Тренев и Асеев и др., хорошая пианистка и недурная скрипачка и здешние артисты*» (август 1941-го). «*Анна Марковна* (моя мама. — *С. Б.*) *перепечатывает перевод Пастернака "Ромео и Джульетта", прекрасный перевод*» (29 марта 1942-го). Долго отказывалась верить сообщениям о самоубийстве Стефана Цвейга. Только изредка позволяет себе вздохнуть: «*Когда же это кончится и когда только мы опять будем вместе?*» — или признаться: «*Тянет меня неимоверно туда, в Москву*».

В свои семьдесят с лишним бабушка и в эвакуации нашла себе разумное занятие: стала связной между членами разбросанной военным временем семьи и ближайшими друзьями. Письма, открытки она отправляла ежедневно, в крайнем случае, через день: знала по опыту, что изрядная часть их пропадает, а потому методично — четко, коротко, без эмоций и оценок — информировала каждого о каждом. Младшего сына она старается освободить от тревоги за семью, старшего — подбодрить и трогательно продолжает исподволь воспитывать обоих. Младший удостоился — редкий случай! — сдержанной похвалы: «*Виктор* (Шкловский. — *С. Б.*) *пишет, что ты ведешь себя храбро — он встретился с кем-то, кто тебя видел*» (18 декабря 1941-го); старший — похвалы и наставления. «*Зачем умалять свои заслуги, не так уж мало ты сделал*, — пишет она Сергею в феврале 1942-го в ответ на не дошедшее до нас письмо, где тот, видимо, сокрушался по поводу своей мнимой профессиональной несостоятельности. — *Сколько народу тобой обучено, и если не все, тобой сделанное, получило широкую гласность, то это нужно отнести к твоей скромности. Но вот то, что ты не стал терпимее, не стал менее требовательным, остался верным своим принципам там, где нужно иногда отступить, а не упорствовать — это принесет тебе лишние неприятности, сейчас не такое время, навряд ли найдется среди окружающих тебя хоть один, кто так или иначе не связан с фронтом; трудно требовать должного отношения к занятиям, должного спокойствия и точного исполнения своего долга, требования поневоле должны уменьшаться и надо проявить снисходительность во избежание всяких столкновений, которыми многого не добьешься, а только восстановишь против себя окружающих и создашь себе неприятное положение*». Это длинное и несколько запутанное поучение нелегко далось бабушке: в отличие от других, написанных без помарок, страница несет следы сомнений, работы над словом, поиска тактичных, но

точных выражений, пестрит исправлениями и перечеркиваниями. Дядя во время войны в эвакуации исполнял обязанности декана, а кому, как не матери, было знать, что для административной работы он мало подходил.

В Москву и даже в свой дом бабушка вернулась летом 1943-го, вскоре встретила сыновей: мой отец прилетал с фронта на несколько дней, а дядя вместе с другими профессорами Педагогического института возвратился из эвакуации. Она пришла в ужас от того, как изменились и постарели оба. «*Какая обида, что на вашу долю выпало время столь тяжелых переживаний*», — писала она моему отцу в июле 44-го. Старалась не терять надежды на лучшее: «*К счастью, перспективы на будущее улучшаются, и Бог даст, вы увидите еще хорошие веселые дни*».

Она дождалась Дня победы и на короткое время даже некоторого разумного благополучия, насколько то было возможно в послевоенной, нищей, разоренной стране, да еще в нашем разбомбленном и разграбленном доме. Основания для оптимизма тогда существовали: всем казалось, что с террором покончено и обстановка в дальнейшем не будет столь удушливой. Успела увидеть, что надежды ее не сбылись.

Скончалась бабушка в 49-м, в разгар борьбы с «космополитизмом». В этом году ее старший сын был изгнан из Московского университета, младший объявлен «врагом № 1 в детской литературе», лишен работы и средств к существованию; имя столь ценимого ею Стефана Цвейга, которого она в течение четверти века неустанно переводила и пропагандировала, не упоминалось даже в учебных курсах зарубежной литературы, а его книги исчезли из публичных библиотек. Еврейский погром, ужаснувший ее в Киеве в 1905-м, продолжался на новый лад, только бежать от него за границу было теперь невозможно. Существовал другой способ уйти, она им воспользовалась.

Остается сказать, что моя стойкая и мужественная бабушка Поля ростом не достигала полутора метров, при том отличалась пышнейшими статями и тончайшей талией. Шляпы со страусовыми перьями, корсеты, юбки с воланами, кружева, изящной работы шелковые зонтики на ручках из слоновой кости были созданы специально для нее. Кое-что из подобных забав позапрошлого века дожило до моих дней, но в память бабушки я привезла в Америку и храню не эту пеструю мишуру, а два простеньких круглых гребня из пластмассы, которыми она до конца жизни закалывала свои старомодные букли.

Переводы Полины Бернштейн переиздаются по сей день.

5. Голоса поэтов

Когда я однажды спросила отца, ощущал ли он в детстве, в отрочестве сиротство, он твердо ответил: «Никогда. У меня был Сережа». Старший брат, которому к моменту гибели главы семьи не минуло и девяти, с первых дней жизни младшего стал его опекать и в меру сил воспитывать.

Сережа, впоследствии — выдающийся лингвист Сергей Бернштейн, один из основателей ОПОЯЗа, инициатор и создатель отечественной аудиоархивистики, рано повзрослел и сформировался рано. Его карьера, если позволительно употребить столь неподходящие к его облику слово, — лучше бы

сказать «творческий путь», — его научная деятельность отличалась удивительной стройностью и чистотой линий. В Петербургском университете, на славяно-русском отделении филологического факультета он изучал общую фонетику и русский язык под руководством Шахматова, Бодуэна-де-Куртене и Щербы, поэтику — у Венгерова и Овсянико-Куликовского. По окончании курса, по представлению академика Шахматова, был оставлен при кафедре русского языка (в то время для еврея требовалось специальное разрешение министра) *«для приготовления к ученой деятельности»*, каковою и занимался всю свою жизнь. Исторические катаклизмы, революции, смены режимов мало что меняли для него. Пусть университет, в котором он работает, из Петербургского превращается в Петроградский, затем — в Ленинградский, а он сам из ассистента кафедры общего языкознания — в хранителя Кабинета экспериментальной фонетики, он будет методично, тщательно и неторопливо заниматься своим делом. В 20-х годах всем приходилось служить разом в нескольких учреждениях, подчас весьма друг от друга далеких. Сергей Бернштейн держался избранного в ранней юности пути: кроме университета, работал в Институте живого слова, в Институте истории искусств, в Институте литератур и языков Запада и Востока. В Институте живого слова в 1919 году он создал фонетическую лабораторию, а в Институте истории искусств — Кабинет изучения художественной речи, КИХР, и начиная с 1920-го и до 1930-го записал на восковые валики чтение приблизительно ста поэтов-современников, в том числе Александра Блока, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Андрея Белого, Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина, Михаила Кузмина, Бенедикта Лифшица, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Владимира Луговского, Анатолия Мариенгофа, Владимира Пяста, Ильи Сельвинского, Федора Сологуба, Сергея Третьякова и, кроме того, — художественное чтение актеров-декламаторов и рецитации устной народной поэзии.

Имя Сергея Бернштейна чаще всего связывают именно с тем, что он (и только он один!) зафиксировал в 20-е годы их голоса. Однако записи не были самоцелью: они требовались для постановки и разработки проблем звучащей поэтической речи, в частности, так называемой *произносительно-слуховой филологии*, фонологической концепции, заинтересовавшей молодого ученого. Ее создатель Эд. Сиверс и его последователи утверждали, что в каждом стихотворном тексте заложены факторы его произнесения, то есть стихотворение или поэма допускает лишь один-единственный правильный способ чтения вслух, а кому, как не автору, владеть этим секретом? Работа лежала как раз на пересечении главных профессиональных интересов Сергея Игнатьевича — лингвистики, так как основывалась на теориях «младограмматиков», отождествлявших звучание произведения с самим произведением, и поэзии.

В процессе работы Сергей Бернштейн все дальше отходил от положений и методов «произносительно-слуховой филологии», пока не пришел к полному их отрицанию, к выводу, что ***закон*** исполнения в стихотворении ***не*** заложен, хотя в некоторых случаях заложен ***эмоциональный стиль речи***. В частности, ученый утверждал, что *«театрально-трагический пафос Мандельштама»* надо признать особенностью декламации поэта в большей степени, чем его поэзии.

«Отрицательный результат — тоже результат», — говорят математики. Для Сергея Бернштейна разочарование в теории обернулось успехом в практике. Собирая необходимый материал для исследования звучащего поэтического слова, он создал уникальный архивный памятник: коллекцию в 700 с лишним валиков с записью тогда еще звучавших, но вскоре умолкнувших голосов. Во время Гражданской войны это ничуть не напоминало мирное занятие «кабинетного ученого». Восковые валики, на которых велась запись, представляли собой огромную ценность: они не производились в России и не ввозились из-за границы, для их хранения требовалось поддерживать в помещениях комнатную температуру. В зимнее время Сергей Игнатьевич каждую ночь приходил в институт, чтобы протопить там печку.

У меня в руках — толстая тетрадь в плотном картонном переплете. На первой странице аккуратным почерком Сергея Игнатьевича с характерным наклоном влево выведено:

Книга
для записи
посетителей
КИХРа

В правом нижнем углу дата: *21 февраля 1923 г.* Дальше перечисляются в хронологическом порядке, с указанием месяца и числа, те, кто приходил в КИХР, чтобы читать, и те, кто приходил туда, чтобы слушать: Надежда Павлович, Николай Клюев, Максимилиан Волошин, Алиса Коонен, Юрий Верховский, Виктор Шкловский, Николай Тихонов, Мария Шкапская, Елизавета Полонская, Осип Мандельштам, Анна Радлова, Бенедикт Лифшиц, Владимир Пяст, Антон Шварц, Василий Каменский, В. М. Жирмунский, Владимир Маяковский (в скобках помета: «Москва»), Юрий Тынянов, Сергей Нельдихен, Ольга Форш, Евгений Иванов, Александр Туфанов, Стефан Цвейг, Павел Антокольский, Ида Наппельбаум, Вера Инбер — вот далеко не полный список. При том, что к тому дню, когда была сделана первая запись в этой тетради, на валиках уже были сделаны первые записи авторского чтения стихов Блока, Мандельштама, Маяковского, Ходасевича.

Записи в «Книге» обрываются на середине 1930-го. В этом году стало ясно, что деятельность КИХРа не осталась незамеченной. «Стройка», тонкий журнал-десятидневник, издававшийся в Ленинграде, поместил в июле статью А. Грузинского «Голоса поэтов», восторженно отзывавшуюся о КИХРе и его руководителе: «Голоса поэтов, если прислушаться, расскажут, как делается поэзия, как поэт понимал свою поэзию,.. как развивается стихотворная техника. Вокруг этих валиков развивается интереснейшая исследовательская работа, подобия которой больше нигде нет. Энтузиаст поэтической записи Бернштейн не пропустил ни одного хоть сколько-нибудь выдающегося поэта. Если его нет в Ленинграде, — Бернштейн забирает записывающий аппарат и отправляется за голосом в экспедицию. Собрание полное». Автор предлагает немедленно начать выпуск граммофонных пластинок с записью голосов поэтов (всего-то 37 лет понадобилось для того, чтобы провести в жизнь его идею!), требует приобрести за границей более современную и совершенную аппаратуру: «ведь кабинет — не только

"архив валиков и пластинок", это живая поэзия, это неоценимое подспорье для всякого, кто изучает литературу».

Номер вышел в свет 5 июля, а днем раньше, 4-го, в ленинградской «Красной газете» появилась заметка под названием «Научное шарлатанство», посвященная тому же КИХРу, где предлагалось, напротив, кабинет закрыть, а руководителя подвергнуть «чистке» (так на тогдашнем жаргоне именовалось увольнение). Начальство предпочло второй вариант: из института Сергея Бернштейна уволили, коллекцию, над созданием которой он работал десять лет, отобрали под тем предлогом, что валики являются «собственностью института», свалили «собственность» в сырой подвал, где бесценные валики годами медленно и неуклонно разрушались, пока в 1938-м не были перевезены В. Д. Дувакиным в Москву, в Государственный Литературный музей.

Создание фонотеки голосов поэтов — лишь малая часть того, что внес в лингвистику Сергей Бернштейн. На Западе о нем написаны монографии, в России — серьезные статьи. Приведу высказывание одного из его младших коллег, профессора Виктора Левина: «Широта научных интересов... Сергея Игнатьевича Бернштейна была чрезвычайной. Экспериментальная фонетика и фонология, лексикология и лексикография, общее языкознание, и синтаксис, история литературного языка и стилистика — во всех этих областях языкознания он оставил труды первостепенного значения. <...> В школе С. И. Бернштейна были заложены основы особой искусствоведческой дисциплины — теории звучащей художественной речи. Занятие этим предметом требует от исследователя разносторонней подготовки — в области экспериментальной фонетики, общей лингвистики, поэтики, собственно декламации как исполнительского искусства. Это обстоятельство, однако, не должно служить помехой для возрождения этой заброшенной области науки, так блистательно открытой ученым»[2].

Не мне рассуждать о значительности вклада С. И. Бернштейна в науку, к азам которой я успела едва прикоснуться в студенческие годы.

6. Для меня он был — «дядя Сережа»

Первые воспоминания о нем безнадежно заслонены воспоминаниями о его ирландском сеттере по имени Бвана, что означает «господин» на языке суахили — такое вот изысканное имя дал псу полиглот-дядюшка. Впрочем, тетушка Анна Васильевна запросто звала сеттера «Бонькой». На Бване-Боньке разрешалось ездить верхом, и он сам, и тетушка позволяли. Какое это было счастье прокатиться, зарыв руки в мягкую рыжую шерсть и крепко в нее вцепившись, умирая от страха одновременно и перед ним (грозный зверь!), и перед опасностью с него свалиться (высоко!), во всю длину коридора от входной двери до тетиной комнаты. Вернувшись после эвакуации в дядюшкину квартиру, я обнаружила, что никакой длины коридора там нет и, стало быть, никогда не было, что от дверей до дверей — метров пять от силы. Наверное, и страшный зверь Бвана, казавшийся мне

[2] *Левин В.* Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. С. 515, 520.

огромным, уменьшился бы в размерах до *просто собаки*, но и Бваны в ту пору в доме тоже не было.

Дядюшка Сергей Игнатьевич был невысок, хрупкого телосложения, носил на голове аккуратную профессорскую шапочку черного шелка, — должно быть, именно такую сшила булгаковскому Мастеру прекрасная Маргарита. Не только всем своим обликом и манерами, но, в первую очередь, образом жизни, поведением дядюшка воплощал, сохранял, а пожалуй, что и защищал традиции изничтоженного прошлого, традиции интеллигентского, профессорского мира, как видится он нам, его не заставшим, сквозь призму русской литературы. Сергей Бернштейн был благороден до чрезмерности, до полного пренебрежения реальностью, которая грубо поднимала его насмех. Ученикам давал не только знания, но и заботу, они подолгу жили у него в пору всеобщей нищеты, как говорится, на всем готовом, он диктовал им целые главы их диссертаций — по этой причине всегда блестящих. Устраивал их последующую научную судьбу. Они его обожали — и платили ему забвением.

Он пригревал бездомных и укрывал ссыльных. Так обитал у него поэт Владимир Пяст в пору своей неприкаянности, так скрывался у него, будучи бесправным ссыльным, впоследствии осыпанный почестями академик Виноградов. И то, и другое узнала я не от него: о благородных своих поступках интеллигенты его масштаба и его поколения не распространялись, — а из позднейших публикаций и рассказов свидетелей.

Удивительным (а, может быть, напротив, как раз самым естественным) образом его достоинства зачастую оборачивались против него. В детстве он отличался замечательной красотой, что ему изрядно досаждало. На прогулке чужие тетеньки ахали и причитали вокруг, мешая отдаться игре и навлекая насмешки ровесников. Самые шустрые и любвеобильные норовили потискать, а если он бывал недостаточно терпелив или, того хуже, отбивался, то получал выговор от матери или бонны. Притом матушка из педагогических соображений уверяла, что восхищались красотой не его, а его шапочки, чему приходилось верить, или делать вид, что веришь, и на всякий случай ненавидеть и стараться изничтожить каждую новую шапку, из чего тоже не выходило ничего хорошего. Лишь однажды на краткий миг внешняя привлекательность сослужила ему добрую службу. Семья по обыкновению проводила лето в Германии, на курорте, который в то время посетил кайзер. Бонна не могла пропустить знаменательное событие и потащила воспитанника полюбоваться торжественным въездом. Она протиснулась в первый ряд и была вознаграждена: его величество заметил прелестное дитя, приказал поднять ребенка на высоту своей конной персоны, дабы запечатлеть на его челе высочайший поцелуй. Потрясенная бонна с этого мгновения из воспитательницы превратилась в покорную рабыню маленького Сережи: в ее глазах монаршее прикосновение превратило его в принца — отныне он мог безнаказанно делать все, что вздумается, и получать все, что захочется. К сожалению, матушка держалась иной точки зрения и вскорости рассчитала бонну.

У меня по сей день висит выполненный на форфоре портрет дитяти с ангельским личиком и длинными светлыми локонами. «Кто эта красавица?» — спрашивают гости. «Профессор Бернштейн в четыре года».

В столь же юном возрасте проявилась то, что считалось его патологической медлительностью и служило темой постоянных, не всегда безобидных шуток и бесчисленных семейных анекдотов. Сейчас, глядя из нынешнего века в позапрошлый, вижу, что тут медлительности было куда меньше, чем обстоятельности и преувеличенного, быть может, стремления к совершенству. Бабушка не раз рассказывала, как выведенная из терпения, она поторопила трехлетнего сына:

— Ешь быстрее, Сереженька!

— Прожую и съем, — ответил он, сформулировав, как мне теперь кажется, свою жизненную позицию, в которой главным пунктом являлось презрение к суете. Не следует ничего «глотать непрожеванным», иными словами, не след гоняться за благами, успехом, даже признанием — все надлежит выполнять последовательно, заботясь исключительно о качестве сделанного. Торопиться, в сущности, некуда.

Представления о качестве были у него завышены до предела. Ни одну из своих работ он не считал завершенной, отдавал их в печать крайне неохотно, а если удавалось, не отдавал вовсе. С таким перфекционизмом могло бы соперничать честолюбие, но честолюбие его лежало вне внешнего успеха: ему требовалась уверенность, что сделанное им достойно к себе его уважения: «Ты сам свой высший суд». К тому же, процесс работы доставлял ему радость, близкую к той, что давала страстно любимая им музыка: восхищение труднодостижимой гармонией. В процессе труда он искал и находил награду.

С красотой дядюшка покончил быстро, отрастив в ранней молодости бороду («Он и мальчиком, наверное, был с бородой», — писал о нем Виктор Шкловский). До моих ушей дошли туманные, полные недомолвок воспоминания о любви к нему юной студентки, на которой — во имя сохранения традиций — мать не позволила ему жениться: девушка была русской. Сергей тяжело пережил разрыв и принял решение навсегда отказаться от того, что именуется «личной жизнью», дабы посвятить ее, свою жизнь, целиком и полностью исключительно филологии. По счастью, ему удалось осуществить лишь вторую часть данного в молодости зарока — ту, что относилась к филологии. Как и всякий родительский запрет, этот имел последствия, прямо противоположные желаемым. Дядюшка, уступив матери на первый раз, женился в конце концов все-таки на русской: на гувернантке младшего брата, к тому же вдове и годами много его старше. Впрочем, без филологии и тут не обошлось: первым браком Анна Васильевна Шахова была замужем за украинским филологом священником Иваном Ротаром, фамилию которого сохраняла до конца своих дней. Сергей Игнатьевич не часто, но с неизменным подчеркнутым уважением произносил его имя, в те годы почти никому не известное, сейчас почтительно воскрешенное.

Иван Тимофеевич Ротар (1873 — 1905) был исключительной личностью, он сыграл яркую роль как в русской, так и в украинской культуре, в духовной и общественной жизни своих современников. Ничего этого я не знала («мы ленивы и нелюбопытны»), помнила одну лишь фамилию и без особых надежд заглянула в интернет. Тот предположил, что мне требуется узнать, что такое ротор («Ротор, или вихрь — векторный дифференциаль-

ный оператор над векторным полем»), предоставил кучу сведений о компаниях с таким названием и чуть меньше — о людях, малопочтенные имена-прозвища которых («Витек» и «Людка») не оставляли сомнений в том, что к семье моего дядюшки они не могли иметь отношения. Иван Ротар мелькнул где-то на 25-й странице и с первых слов ужасно мне понравился. Так хотелось, чтобы он оказался тем, кого я разыскивала! Годы жизни не совсем подходили (староват!), но профессия была самая та: учитель, филолог. Единственное его сочинение, упомянутое в Гугле, раздобыть на Американском Западе было бы затруднительно, но в одной из ссылок значилось имя Бориса Успенского, хорошо знакомого мне по московским временам. Я позвонила ему в Милан, спросила о Ротаре.

— Какой Ротар? Ваш родственник? — осведомился Борис Андреевич, ответив своим вопросом на мой. И с большой похвалой отозвался о работе Ивана Ротара, посвященной Епифанию Славинецкому.

Бабушке Полине не было дела до Епифания Славинецкого и высокого авторитета Ивана Ротара на Кубани. Она была в отчаянии, разочарование терзало ее. Брак, в который вступал Сереженька, представлялся ей чудовищным мезальянсом. Любимый сын, надежда и опора, который обещал так много, блестящий молодой ученый, красавец (уж она-то знала, как он может быть хорош, коли сбреет свою нелепую бороду) женится — на ком? На вдове, на гувернантке, только что не прислуге! Принцесса, да еще не каждая, достойна была бы подобного жениха! С принцессой, надо признать, у Анны Васильевны и впрямь было мало общего: она была рослая, костистая, с крупными, резкими и, на мой глаз, некрасивыми чертами лица. В качестве свадебного подарка разгневанная бабушка преподнесла невестке щетку для мытья полов.

А брак, насколько могу судить по детским, пропущенным сквозь нынешнее восприятие воспоминанием, оказался гармоничным и счастливым. И в какой-то мере счастьем своим обязан был благородному самоотверженному учителю и священнику Ивану Ротару, внушившему юной Ганне, будущей Анне Васильевне, свои твердые представления о нравственных ценностях и обязанностях человека в мире, в точности совпадавшие с принципами Сергея Игнатьевича.

Глубокое уважение друг к другу насыщало воздух дома, окрашивало каждый жест и каждое слово. Анна Васильевна была столь же классической учительницей образца XIX века (по непременному желанию, которое она восприняла как завещание первого мужа, после его кончины она уехала в Петербург, поступила на Высшие женские курсы, получила свидетельство учительницы и на моей памяти еще работала в школе: преподавала географию), как дядюшка — классическим профессором того же времени с присущей созданному литературой и анекдотами типу: погруженностью в свою науку, рассеянностью и беспомощностью в житейских делах.

Крепкая и ловкая в домашней работе, собранная, неулыбчивая, деловитая, Анна Васильевна держалась прямо, говорила четко и строго, я ее слегка побаивалась, и мне как-то везло все свои немногочисленные проступки «хорошей девочки» совершать так, что именно ей они становились известны. Уж не знаю, берегла ли она дядюшку или все-таки жаловалась ему на

меня. Мужа Анна Васильевна окружила педантичной заботой, охраняла от малейшего беспокойства: никто и ничто не должно было мешать его науке. Дядя же высоко ценил и почитал ее. Когда мой отец женился, а мою будущую матушку, тоже Анну, как и Анну Васильевну, в семье называли Нюрой (в том поколении почти все Анны были Нюрами, как в нашем — Анями, а в поколении наших детей — Анютами), Сергей Игнатьевич церемонно объявил, что таким образом он может обращаться только к одной, единственной в его жизни женщине, а посему невестку станет величать по имени-отчеству, чего и держался в дальнейшем неукоснительно. Мой отец, не столь щепетильный в данном вопросе, для Анны Васильевны еще в гимназические свои годы придумал сокращение, промежуточное между официальным обращением и прозвищем, сократив ее имя-отчество до легкого и звучного «Ан-Силь»; с его легкой руки так ее потом называли близкие.

Детей у них не было, но в доме — на старинный манер — постоянно жили воспитанницы, дальние родственницы Анны Васильевны. Им давали образование, они выходили замуж, и каждая первенца в часть дяди называла Сергеем. Это — на моей памяти. А до того... Детям ведь не положено знать трагические моменты из истории семьи, случившиеся до их рождения. Имя «Женя» произносили в нашем доме вполголоса, всегда в неуловимой для меня связи с дядей Сережей и только в его отсутствие. Запрещалось при дяде Сереже и тете Нюре его упоминать. Никто не потрудился объяснить мне суть дела. Приходилось довольствоваться недомолвками и складывать картину, как пазл, прилаживая один к другому разномастные отрывки из проговорок взрослых. Лучше бы они остались порознь, однако слова «Женя», «мальчишки», «Москва-река», «письмо» в конце концов собрались воедино: Женя, беспризорник, взятый на воспитание и усыновленный Сергеем Игнатьевичем и Анной Васильевной, в жаркий летний день, нарушив запрет, тайком убежал с мальчишками купаться на берег Москвы-реки. Его затянуло в омут, ребята со страху разбежались, Женя утонул. Приемные родители узнали о гибели сына из письма, подброшенного в их почтовый ящик.

Сергей Игнатьевич любил детей. Я помню, как много он занимался со мной, как играл с сыновьями своих воспитаниц, Сережками-младшими и их братьями.

Мое положение — единственной племянницы — было выигрышным. Он меня искренне любил и всегда радовался моему приходу. Вот бы мне сидеть у его ног, задавать вопросы и слушать, а потом бежать домой и записывать каждое слово! Увы, ничего этого не было. То есть мизансцена-то как раз была: я в самом деле всегда устраивалась на низенькой скамеечке подле его вольтеровского кресла, но не вопросы задавала и не слушала, а трещала, не замолкая, рассказывая ему забавные истории сначала из школьной, позднее — из студенческой жизни. Он так чудесно смеялся!

Впрочем, в ранние годы некий вопрос меня занимал и задавала я его не единожды: сколько языков он знает? Ужасно мне тогда хотелось услышать: сто. Но ни этой, ни иной цифры я так и не дождалась: мне объяснили, что понятие «знать язык» не однозначно, включает в себя множество компонентов, а потому и нет смысла заниматься арифметикой. Не так дав-

но на пожелтевшем листке «Учета кадров», хранящемся вместе с автобиографией, со старомодным изяществом озаглавленной «Жизнеописание Сергея Бернштейна», в узенькой графе, отведенной для ответа на стандартный вопрос «какими языками владеет», бисерным почерком дядюшки называлась лишь малая толика их, то, что поместилось: «английский, немецкий, французский, итальянский, испанский» и (скромно) «все славянские».

В педагогической его практике стремление к совершенству вступало в противоречие с тогдашними правилами университетской жизни. Сергей Бернштейн был ярым противником теорий академика Марра, назначенного в ту пору официальным главой советской (именно и исключительно советской) лингвистики, — без ссылок на Марра и цитат из его сочинений ни одна диссертация не могла бы пройти ученый совет. Поэтому, доведя аспирантскую работу до максимально высокого уровня, Сергей Игнатьевич приказывал ученику: «А теперь суйте Марра в хвост и в гриву», — маскируя отвращение несвойственной ему стилистической грубостью. В конце концов нашлась аспирантка, посчитавшая «своим гражданским долгом» в письменной форме сообщить эту формулу «куда следует». Донос на фоне «борьбы с космополитизмом» пришелся ко времени, и в деканате вскоре был вывешен

ПРИКАЗ

Ректора Московского ордена Ленина
государственного университета
имени М. В. Ломоносова
№ 138

Москва 16 апреля 1949

Отчислить из Московского университета профессора кафедры русского языка Филологического факультета Бернштейна Сергея Игнатьевича с 14 апреля 1949 г. за антипатриотические выступления, выразившиеся в проповеди буржуазного идеалистического языкознания, и открытого выступления против советского материалистического языкознания — учения академика Н. Я. Марра.

Проф. Бернштейн утверждал, что положение классиков марксизма-ленинизма в языке основывается на учении немецкого идеалиста и шовиниста Гумбольдта.

Основание. — Решение Ученого совета факультета и приказ Министра высшего образования СССР № 419.

Проректор Московского университета
/Г. Д. Вовченко/

Оставим на совести авторов характеристику Гумбольдта, таинственную сентенцию «положение классиков марксизма-ленинизма в языке» и нестыковку в датах. Удивительно еще, что не посадили, вполне могли — с такой-то формулировкой! Лучше попробуем вообразить, с какими лицами вбежали к опальному профессору, на четвертый этаж без лифта, представители факультетской администрации, его выгонявшие, в то утро, когда в газете «Правда» появилось известное сочинение «О марксизме в языкознании»,

где Марра осудил «лично товарищ Сталин»! Дядюшку с почетом вернули на кафедру, и он тут же стал объяснять, какие именно ошибки допустил отец народов в своем бессмертном труде.

Потрясенные провидческим даром Сергея Бернштейна, факультетские стукачи на какое-то время закаялись писать на него доносы, а факультетская администрация в состоянии шока зачислила меня, еврейку и дочь космополита, в число студентов, правда, не на русское отделение, куда я стремилась, а на фантастическое отделение логики и психологии: туда запихивали золотых медалистов с сомнительными анкетами в тех случаях, когда принять было бы, по мнению начальства, неприлично, а не принять, согласно правилам, никак не возможно.

(В первый день занятий подошел ко мне веснушчатый рыжий парень в лыжном костюме и осведомился высокомерно:

— Меня приняли, потому что я гений, а тебя за что?

Это был Игорь Мельчук, зачисленный тоже не туда, куда подавал документы, а на непопулярное отделение испанского языка, что, как известно, в дальнейшем не помешало его блестящим научным успехам).

Когда мы перешли на третий курс и доросли до спецсеминаров, я записалась в дядисережин: там предполагалось изучение русской поэзии с лингвистической точки зрения. А два месяца спустя — сбежала: соединение двух разноплановых пластов — семейного, домашнего, со взрослым, студенческим — оказалось мне не под силу. Наверное, то было как раз свидетельство невзрослости, но дядя Сережа, которого так неестественно было именовать «Сергеем Игнатьевичем» и называть на «Вы», сидя за профессорским столом, возвращал меня в детскую. Добила меня мелочь: однокурсница спросила у него разрешения передать письменную работу «через Соню», — по какой-то причине она не могла сделать этого лично, — и потом со смехом рассказывала, что профессор недоумевая взирал на нее некоторое время, пока не догадался, о ком идет речь: «Ах, через *Сонюшеньку*! Да, конечно, пожалуйста». «*Сонюшеньку*», прозвучавшую при всех, в университетской аудитории, под дружный, впрочем, вполне добродушный хохот нашей пятой английской группы, в свои девятнадцать лет я пережить не смогла.

Дядюшка рассердился: «Серьезные студенты от меня не уходят». Не знаю, могла ли я считать себя серьезной студенткой, но ушла от него не далеко и не надолго: вернулась в тот же год, только не в университетский, а в домашний его кабинет, не на Моховой, а в его родном Столешниковом переулке: свои курсовые работы я писала под его негласным руководством. Его советы и его методология были той базой, на которой впоследствии держалось мое восприятие литературы.

При всей своей медлительности Сергей Бернштейн был одарен необычайно острым чувством движения, бега, *убегания* времени. Профессионально он занимался сохранением самой эфемерной и трудноуловимой субстанции — голоса, но помимо того заботился и о продлении жизни материальных знаков эпохи. В 1917 — 1918 годах он подбил младшего брата на опасное коллекционирование: по ночам они пробирались по петербургским улицам, срывали и собирали для истории расклеенные на стенах декреты

менявшихся властей. Выбираться из дому приходилось тайком: они вылезали через окно опустевшей к тому времени комнаты для прислуги на черную лестницу и, судя по их рассказам, больше страшились гнева матушки, чем пули патруля. Собралась солидная репрезентативная коллекция, сберечь ее дома не удалось: в голодном 1921-м продали за мешок картошки музею, если не ошибаюсь, псковскому. Где же еще находиться архивным документам, как не в музее?

7. Окружение

Сергея Игнатьевича и моего отца связывала тесная дружба, редкая даже для столь близких родственников: Сергей был для Игнатия больше чем братом, но все-таки — братом, а не отцом. Дистанция между братьями короче, чем между детьми и родителями, отношения проще. К старшему брату испытывают уважение, но не почтение. С друзьями родителей общаются если и охотно, то без непринужденности, а с товарищами брата — легко и естественно. Так — легко и естественно — гимназист Саня Бернштейн вошел в компанию друзей сначала — студента-филолога, позднее — профессора Сергея Бернштейна.

Благодаря брату, — рассказывал отец впоследствии В. Д. Дувакину, — *у меня в гимназические годы появилось довольно много знакомых филологов. Товарищем брата по университету был Юрий Николаевич Тынянов, вместе с которым он посещал занятия знаменитого Пушкинского семинара С. А. Венгерова. Тынянов бывал у нас, а потом и я с ним подружился и стал бывать у него. Однажды я даже сидел у него в засаде: в 22-м году искали Шкловского, хотели его арестовать. Он дня три скрывался в Петербурге. Одну из засад устроили в квартире Тынянова, а я пришел к тому в гости. Просидел у него сутки в большой разношерстной компании: Каверин, молочница, нищий... Мы очень весело провели там время, потом засаду сняли и нас отпустили.*

*Человек он (*Юрий Тынянов. — *С. Б.) был замечательный во многих отношениях. Обаятельный. Доброжелательный. Не буду говорить о нем как о писателе и ученом, — об этом достаточно написано, — хочу напомнить, что он обладал еще одним талантом: это был удивительный актер. Как он умел изображать — только не современников, как он блистательно перевоплощался в тех, о ком рассказывал! То, что делает Ираклий Андроников, это, я бы сказал, слабое подражание тому, что умел Тынянов. Андроников — талантливый имитатор, а Тынянов — тот создавал образ, показывал тех, кого ни он, ни зрители никогда не видали и видеть не могли. Он, рассказывая о Грибоедове, показывал Грибоедова, рассказывая о Пушкине, показывал Пушкина. А надо сказать, он лицом был слегка похож на Пушкина и, зная это, отпустил такие же бачки, какие носил Пушкин, сознательно подчеркивал сходство. Он мог представить разговор Пушкина с Бенкендорфом, с Соболевским, с Хитрово — это было и поразительное актерское мастерство, и поразительная достоверность: каждое слово могло — чувствуется, что могло — было быть сказано в ту эпоху и в тех обстоятельствах. Размышлял вслух: «Что было бы, если б Пушкин убил Дантеса? Писал бы прозу, ушел в аристократизм, стал бы придворным историографом. Последняя поэма "Анджело" — самая слабая.*

А ему очень нравилась. Вероятно, стихи писал бы плохие. Впрочем, ему вряд ли хотелось жить».

Другой товарищ брата по университету и по семинару Венгерова, реже у нас бывавший, Сергей Михайлович Бонди — очень интересный ученый, знаток стиха (Тынянов говорил о нем: «Гениальный человек, не читает рукописи Пушкина, а пишет вместе с ним. Восстанавливает весь творческий процесс»), отличался тем же свойством, что и мой брат: нелюбовью к писанию. Брат был блестящим ученым, превосходным лектором и педагогом, его ученики рассеяны по всему миру, но написано им немного, а значительная часть написанного не опубликована. О том же, кстати, упоминает Виктор Шкловский: «Кроме людей, которые печатались в ОПОЯЗе, много в нем значили люди, не дававшие рукописей для печати и только говорившие на собраниях. Говорил о стихе и объяснял теории Бодуэна (де-Куртене. — *С. Б.*) бородатый... Сергей Бернштейн, человек великой точности.< ..>. Бернштейн говорил, что он не может сдать книгу, пока не выяснит все вопросы до конца. Мне кажется, что в этом он ошибался[3]...» На экземпляре книги, подаренном моему отцу, Виктор Шкловский, в частности, написал: «Недавно я читал Сергея — это был великий человек».

Виктор Шкловский, молодой и, как любят вспоминать все мемуаристы, в ту пору кудрявый, посетил Сергея Бернштейна в начале 1914 года: принес ему на суд рукопись своей книги «Воскрешение слова», связанной с работами Потебни: Шкловскому требовалась консультация лингвиста. Тринадцатилетний Саня стал с этого дня его приверженцем, потом, вместе с Владимиром Трениным, на некоторое время — литературным секретарем, а другом — навсегда. «Шкловский сыграл в моей жизни огромную роль», — говорил он.

8. «Были Пухтула, Шувалово...»

А вот с Борисом Эйхенбаумом старшего брата познакомил младший. Борис Михайлович преподавал литературу в гимназии Гуревича, где Игнатий учился, обратил внимание на увлеченного литературой и как-то уж подозрительно хорошо подготовленного шестиклассника, побывал у него дома, стал другом семьи и — страстным оппонентом Сергея Бернштейна.

Эйхенбаум был человеком удивительно мягким, чрезвычайно доброжелательным и демократичным, — вспоминает Александр Ивич. — *Он был как-то необычайно приветлив, заинтересован в общении с людьми, с друзьями. С совершенно одинаковым вниманием мог слушать какого-нибудь видного профессора и меня, гимназиста. Он ко всем относился ровно, благожелательно, и в нем чувствовалась большая душевная доброта. Лето 1916 года мы жили на одной даче с Эйхенбаумами, это было в очень красивом месте, в поселке Пухтула Гора близ Териок, а летом 17-го — вместе в Шувалово, и могли оценить обаяние Бориса Михайловича и мягкость его характера, которая не распространялась только на споры о научных убеждениях. Тут он бывал непреклонен, что приводило иногда к ссорам и охлаждению в отношениях. Когда он*

[3] *Шкловский В.* Жили-Были // Соч. в 3-х тт. Т. 1. М., 1973. С.137.

работал над книгой «Мелодика стиха», у него были яростные баталии с моим братом, который со многими положениями этой книги не мог согласиться и потом очень резко выступил против нее. Много лет спустя Борис Михайлович подарил брату другую свою книгу с такой надписью:

Были Пухтула, Шувалово,
Только не было «Мелодики».
Десять лет прошло без малого,
Мелодические годики.

Отношения Бориса Михайловича с моим братом испортились после выхода «Мелодики стиха», а я, наезжая в Ленинград, с ним встречался до последних лет его жизни.

Была ему свойственна и ранимость, неуверенность в себе. Помню одно из моих свиданий с ним, когда он был в тяжелом состоянии. (Речь идет о доносах и «проработках» в Пушкинском доме, когда ученый стал одной из жертв «борьбы с космополитизмом». — *С. Б.*) *Ко времени нашей встречи дела както устроились, но он успел утратить веру в свои силы и не мог вернуться к работе. Он мне рассказывал, что он думает о «Герое нашего времени». Я его тогда очень уговаривал, я его умолял немедленно начать писать. И он, действительно, начал писать, написал о «Герое нашего времени», одну из блестящих своих работ.*

В самый последний раз, когда я его навестил в Ленинграде, он собирался на защиту чьей-то диссертации об эпосе и в передней, надевая пальто, просунул руку в один рукав, приостановился, задумался и спросил меня: «Саня, а как вы думаете, что такое эпос?

По наследству и мне посчастливилось познакомиться с Борисом Эйхенбаумом, и я смогла на себе испытать проявление той демократичности, о которой писал мой отец. Случайно встретив меня в Питере, он посчитал нужным рассказать мне, школьнице, о том, как начал работу над статьей о «Герое нашего времени»: «Я долгое время не мог написать ни строчки. Саня послушал мои жалобы, усадил за стол, положил лист белой бумаги, сунул перо в руку, встал у меня за спиной и принялся диктовать мне мои же, только что сказанные ему слова. Спас меня».

Это было во второй и последний раз, когда мне довелось видеть Бориса Эйхенбаума — в Ленинграде, где я была с родителями. Впервые я встретила его в Москве, у Шкловских. Борис Михайлович сидел во главе стола, а перед ним красовался внушительных размеров хрустальный кубок, видимо, только что ему преподнесенный, попыткам наполнить который он решительно сопротивлялся. После долгих уговоров согласился «на одну только каплю» коньяка. Ему и капнули в бокал — ровно одну. Б. М. поднял кубок, поглядел его на свет, поиграл темной каплей, перекатывая ее по прозрачным стенкам, и горестно резюмировал:

— Вот до чего дорос формализм.

Борис Эйхенбаум удостаивал гимназиста серьезными профессиональными беседами, а Виктор Максимович Жирмунский, когда наведывался в Пухтулу или в Шувалово, приглашал участвовать в профессиональных развлечениях.

9. Цитаты

Вечерами, — рассказывал отец в беседе с В. Д. Дувакиным, — *часто затевалась игра: кто вспомнит больше стихотворных цитат на избранную по общему согласию тему — «реки и озера», «небо и облака», «поле и лес», «цветы», или, к примеру, «предметы мебели», — тут следовало назвать все диваны, кровати, столы, стулья, кресла, которые тебе попадались в стихах. Особенно ценились цитаты из малоизвестных или забытых поэтов.* <...> *Мы все очень увлекались игрой, а Виктор Максимович был в ней абсолютным, признанным чемпионом. Ни с кем не сравнимый запас стихов в памяти! Мы с братом даже один раз проделали такой опыт. Заранее придумали тему — «Бог и ангелы», потом, когда были в городе, пересмотрели множество поэтических сборников, подобрали подходящие цитаты и вернулись на дачу, тщательно подготовившись к турниру. В победе мы не сомневались. Предложили с невинным видом свою тему и — были посрамлены: у Жирмунского цитат оказалось в полтора раза больше, чем у нас! Остальные участники игры, Борис Михайлович Эйхенбаум в том числе, остались далеко позади.*

Мы много гуляли, и, между прочим, во время прогулок Борис Михайлович и Виктор Максимович импровизировали: сочиняли эпиграммы-пародии на поэтов. Потом Виктор Максимович их записал и — засекретил. Больше никому не давал читать. Они в самом деле были обидные. Невинно-обидные. Пародия на строки Вячеслава Иванова:

Бурно ринулась менада,
Словно лань,
Словно лань[4]*,*

кончалась:

Написал стихов ты много,
Перестань,
Перестань!

(На самом деле отец запомнил еще одну эпиграмму, но никогда не произносил ее вслух. Лишь однажды, под нажимом Дувакина, справедливо считавшего, что «все следует зафиксировать», и под обещание не публиковать, прочитал четыре заключительные строки пародии на Гумилева, которые, когда сочинялись, казались смешными и которые жутко звучат теперь, когда мы знаем его судьбу:

Пускай погибну я потом,
Да и погибну я едва ли,
Когда с георгиевским крестом
Свершаю подвиги в «Привале»[5]*.*

Да простится мне нарушение давнишнего и не мною данного слова. Несколько озорных строчек о Гумилеве из тех же записок:

---

[4] Строки из популярного в то время стихотворения «Менада».

[5] «Привал комедиантов» — литературное кабаре в Петрограде.

Гумилева я не знал, но мне много о нем рассказывал Владимир Нарбут, который по примеру Гумилева тоже посетил Абиссинию. Вот один из его анекдотов. По возвращении Николая Степановича в Россию кто-то из его почитателей спрашивает:

— Как вам понравилась Африка?

Гумилев, надменно:

— Ничего, только вот член пришлось держать в черном теле.)

Тем же летом в Пухтуле Эйхенбаум как-то на пари с Ю. Никольским взялся написать рецензию на только что вышедшую книгу Дарского о Фете[6], не просмотрев и даже не разрезав ее. Положив перед собой книгу, но не открывая ее, он написал обстоятельную рецензию. Потом, когда книга была прочтена, оказалось, что рецензию можно пустить в печать, почти не переделывая, только дополнив конкретными примерами. Она напечатана, кажется, в «Русской мысли»[7].

Трио, которое основало ОПОЯз: Шкловский, Тынянов и Эйхенбаум, — встретилось в нашем доме. Шкловский в воспоминаниях пишет, что он с Тыняновым, познакомился на улице... Может быть, до этого они и встретились. Но вот у меня в памяти остались они трое у нас в доме.

Зато в официальных обстоятельствах общение с друзьями дома Сане Бернштейну давалось нелегко. Когда в 1920-м основатели ОПОЯЗа стали профессорами Института истории искусств, сдавать экзамены он должен был своим старшим друзьям, а в Университете, где одновременно учился, хуже того — брату. В детстве я не раз слышала рассказ о том, как он ехал в Университет на экзамен по введению в языкознание на одном извозчике с Сергеем и всю дорогу пытался выведать, какие вопросы тот намерен ему задать. Старший брат был неумолим, хранил ледяное молчание, держался отстраненно и даже слегка угрожающе, а потом нещадно гонял младшего по всему курсу. Историю я слышала и от отца, и от дяди, причем дядя напирал на извозчика, подчеркивая свою доброту (доставил мальчишку-первокурсника на экзамен с полным комфортом), а отец притворно возмущался его жестокостью, по обыкновению, любуясь принципиальностью брата. Сдавать вступительный экзамен В. М. Жирмунскому оказалось куда веселее. Профессор с серьезным видом, улыбаясь только глазами, предложил один-единственный вопрос:

— Скольких Толстых вы знаете в русской литературе?

Дабы не ударить в грязь лицом, абитуриент подробнейшим образом рассказал все, что было ему известно о Федоре Толстом-Американце, пересыпая, благо персонаж давал к тому повод, ответ строками Грибоедова, Вяземского и Пушкина, так что экзамен превратился в привычную обоим участникам литературную игру в цитаты, которой они предавались на дачных прогулках.

Положение упростилось, когда Институт истории искусств из учебного заведения превратился в исследовательское, студентов переименовали в «научных сотрудников второго разряда», не получающих зарплаты, но по званию соотносимых с учителями.

---

[6] *Дарский Д.* Радость земли. Исследование лирики Фета. М., 1916.

[7] «Русская мысль», 1916, № 9. С. 1-2.

10. Запечатлеть? Пожалуй!

Именно тогда, в годы Первой мировой войны, революций 17-го и войны Гражданской, пробудился в моем отце *хранитель культуры,* кем он стал в зрелые годы. Не обошлось без влияния старшего брата: недаром тот таскал мальчишку ночью по Петроградским улицам собирать документы двух войн и двух революций!

Что касается литературной жизни, то Саня Бернштейн оказался в уникальной позиции: участника и, в то же время, зрителя. Мог наблюдать вблизи творцов нового литературоведения, формального метода, слушать их споры, следить за рождением теорий и оттачиванием формулировок, но в то же время видел их извне, сохраняя дистанцию, к чему обязывали его возраст и положение: сначала — гимназиста среди студентов, позднее — студента в обществе профессоров.

Он был к тому времени достаточно искушен в словесности, чтобы не сомневаться в значительности происходящего и масштабе личностей. Естественно, он восхищался ими, и этим восхищением хотелось поделиться с другими. На фоне гибели тяжеловесного прочного мира материальных ценностей хрупкость призрачного мира ценностей интеллектуальных была особенно, болезненно ощутима. Желание защитить и сохранить расцвет, торжество, даже буйство духовной жизни тех дней было столь же сильно, сколь и неосуществимо. Защитить, сберечь было не в его силах, но запечатлеть — пожалуй.

Вторая половина 20-го и 21-й год в литературной жизни Петербурга замечательны многими — отчасти противоречивыми — чертами, — писал он полвека спустя. — *С конца Гражданской войны возрождалась интеллектуальная жизнь, причем как-то сразу, во временном отдалении представляется: взрывом. Тогда, конечно, этого чувства не было. День шел за днем, и тяготы быта давили на сознание. В заплечных мешках тащили писатели пайки: академический, выхлопотанный для них Горьким, военный — его получали многие за чтение лекций, выступления. Везли на ручных санках дрова. Мы жили в комнатах и собирались в помещениях с температурой зимой нередко близкой к нулю. Мы ели суп из селедочных голов, пили морковный чай и пребывали в веселой атмосфере острого, напряженного интереса к искусству и его теории. Было множество семинаров, литературных кружков. Книги не залеживались на библиотечных полках. Не проходило недели без интересного литературного вечера. Шла серьезная работа над проблемами литературы в Институте истории искусств, на филологическом факультете, в семинарах издательства «Всемирная литература». Острые споры велись на собраниях «Серапионовых братьев». В этой атмосфере кристаллизовались интересы, обозначались таланты и пробуждались способности.*

Спрос на лекции и выступления писателей, ученых возрастал с каждым месяцем — это тоже было знаком времени. Семидесятипятилетний Анатолий Федорович Кони так же неустанно передвигался на своих костылях по городу с одного выступления на другое, как сорокалетний Корней Иванович Чуковский. И у обоих оставались силы, время для своей работы: Кони писал воспоминания, а полный энергии, всегда готовый к радушному, заинтересованно-

му общению с писателями, учеными, матросами Балтфлота — словом, со всеми, кто встречался на его пути — Чуковский успевал наряду с работой над Некрасовым, над сказками для детей, над переводами, руководить литературным отделом Дома искусств, организуя там лекции, вечера поэзии. Да только ли это! Он был одним из самых неутомимых деятелей издательства «Всемирная литература», вел в студии этого издательства семинар по критике, собирал материалы для книги «От 2-х до 5-ти». Чуковский — пример исключительной, вулканической деятельности, но очень много работали все, независимо от своего отношения к политической атмосфере. В этом и было своеобразие, противоречивость времени. Писатели, отрицательно или враждебно относившиеся к советской власти — Владислав Ходасевич, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и другие — работали очень интенсивно. Впечатление было такое, что тяготы быта рождали вдохновение.

Не будем забывать, что подобное впечатление сложилось и навсегда осталось в памяти у еще очень молодого человека. В воспоминаниях Ходасевича и Бунина, в дневниках Блока и Чуковского, во множестве российских и зарубежных публикаций о том же времени мы встречаем другие ощущения и слышим иные оценки. Но ему было девятнадцать-двадцать, и у него, по его собственным словам, «*глаза разбегались: тут и Дом литераторов, и Дом Искусств, и романы, и занятия*», и революция, и стихи, и «Серапионы», и ОПОЯЗ...

Тогда очень много веселились в эти годы. Были еженедельные вечера в Доме искусств, очень веселые. Был живой кинематограф, которым руководили Евгений Шварц и Лева Лунц, — они были двумя конферансье и всякие трюки придумывали.

Пятница в Доме искусств. Лева, с озорным блеском в глазах, прихрамывая и опираясь на палочку, — ему свернули ногу, качая его на каком-то вечере, — перебегает от одного к другому, созывает разбредшихся по разным комнатам и углам обычных участников пятничных увеселений. Десяток почтенных литераторов в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет сбиваются наконец в тесную кучку и в десять минут, перебивая друг друга, катаясь по полу от смеха над удачными выдумками, составляют под предводительством Левы Лунца и Евгения Шварца сценарий для живого кино. Лев Арнштам садится за рояль, Лунц конферирует. Сегодня — «Нельдихен в Америке, тяжелая драма, нервных просят удалиться». Я изображаю то героя, то пароход, на котором герой прибывает в Америку, а сам Нельдихен со своим обычным невозмутимым видом — Статую Свободы. Он был огромного роста, с длинными ногами, и мне приходится проползать у него между ногами, изображая, как пароход причаливает к нью-йоркской гавани. Публика была непритязательна, и если какие-то «кадры» получались не слишком удачными, то это встречалось снисходительно. Смеялись, аплодировали, веселились публика и актеры одинаково.

Было очень молодо, люди были полуголодные и потому — легкие. Дым буржуек и котлеты из картофельной шелухи как-то замечательно быстро забывались в светлом нарядном зале. В ободранных костюмах, иногда — в валенках мы танцевали с таким увлечением, как будто все спокойно за стеной этого зала.

Мы жили плохо и не боялись худшего, не ждали лучшего.

К концу 1920 года стремление сберечь черты сегодняшнего дня и передать их завтрашнему кристаллизовалось в конкретной идее: создать издательство и печатать там своих учителей и блистательных старших друзей.

Круг их к тому времени значительно расширился.

11. Михаил Кузмин

Году в 17-м — 18-м, не помню через кого и как, я познакомился с Михаилом Кузминым, который жил в соседнем доме, — обстоятельство немаловажное в пору, когда пользоваться транспортом стало затруднительно — со своим, так сказать, «другом», Юрием Ивановичем Юркуном, и который любил к нам приходить. И я к ним часто заглядывал.

К Кузмину обычно приходили около пяти часов пить чай[8]. Вечером он не любил бывать дома, уходил в гости или в театр. Редко бывало больше двух-трех гостей, но также редко я оказывался единственным. Всегда присутствовал Юрий Иванович Юркун, живший с ним в той же квартире. Примерно с 22-го года непременной участницей чаепитий стала Ольга Арбенина, часто встречал я здесь поэтессу и переводчицу Анну Радлову, жену режиссера Сергея Радлова, художника Владимира Милашевского, бывали Мосолов, Мухин, рано погибший поэт-обериут Александр Введенский, Борис Папоригопуло — тогда еще снобический юноша без определенной профессии, позже — драматург, участник альманаха «Абраксас». Однажды я застал там Маяковского, изредка бывала Анна Ахматова. Очень были уютные чаи. У них был свой ритуал.

Хозяин сидел у самовара и разливал чай. Выглядел Кузмин старше своих лет. В то время, когда я начал у него бывать, Михаилу Алексеевичу было, как я позднее узнал, около сорока пяти лет, а выглядел он человеком далеко за пятьдесят. Лицо у него было морщинистое, при этом — яркие чувственные губы. Невысокий, в пенсне, с седеющими волосами, затейливо уложенными вокруг лысины так, что лоб был обрамлен с двух сторон зачесанными и приглаженными на висках рожками — получалась очень своеобразная и только ему одному присущая прическа, — Кузмин был чуть-чуть, не выходя за пределы хорошего вкуса, манерен. Он как бы играл: то обедневшего французского аристократа, умеющего принять и занять гостя, пополняя изящной беседой и музыкой скудость угощения, то — простоватого русского горожанина, о котором и не подумаешь, что он превосходно владеет французским, итальянским и латынью, о чем, впрочем, не трудно было догадаться, бросив взгляд на разноязычные книги его небольшой библиотеки. Он, кстати, любил и собирал авантюристов — многотомные воспоминания Казановы по-французски, недаром он писал о Калиостро!

Говорили о литературе, музыке, театре. Иногда Михаил Алексеевич предавался воспоминаниям — то о собраниях на башне у Вячеслава Иванова, то о вечерах в декорационной студии на пятом этаже Мариинского театра у Александра Головина, о разных людях, с которыми ему приходилось

[8] Примечание А. Ивича: «*Одоевцева пишет "К вечернему чаю". Это не верно*».

общаться. Его характеристики были по манере произнесения добродушными, но по сути — язвительными, например, когда он рассказывал о собраниях на башне Вячеслава Иванова, у которого жил некоторое время, о его семье и быте, о взаимоотношениях с Зиновьевой-Аннибал и ее дочерью.

Стихи Кузмин читал не часто — когда просили, но всегда — это входило в ритуал приема гостей — играл одну из сонат Моцарта. Приходя ко мне, пел свои «Куранты любви», «Александрийские песни», положенные им на музыку, а иной раз — записанные в одной из пустынь и обработанные им «Духовные стихи». Ноты некоторых его музыкальных сочинений изданы — он был профессионалом, учился в Петербургской консерватории по классу композиции у Римского-Корсакова, писал музыку к пьесам в Большом драматическом театре. И, опять же, играл Моцарта — не помню, чтобы он исполнял вещи других композиторов. Популярный свой романс «Дитя, не тянися весною за розой» петь не любил. Голоса у Михаила Алексеевича и в помине не было, но это искупалось музыкальностью и особой, как бы лукавой манерой исполнения, необычайно выразительным, мастерским интонированием[9].

Иногда мы вместе ходили в гости — чаще всего, к Брикам на улицу Жуковского, где они жили до переезда в 18-м году в Москву. Иногда играли там в покер с Маяковским и Лилей Юрьевной. Осип Максимович, не принимавший участие в общей игре, играл в карты по-своему: строил на крышке рояля затейливые многоэтажные дома из десятков колод и мог этим заниматься весь вечер. Содержательных литературных разговоров там не бывало, а ведь Осип Брик был как раз очень интересным собеседником! В более поздние, московские годы, мы часто навещали его втроем — с Трениным и Харджиевым — и тогда вот уже велись беседы о литературе, главным образом, о футуризме.

Кузмину, даже по стандарту того года, жилось очень плохо. Тяготы быта, общие для всех, усугублялись житейской неприспособленностью. Не было еды — он не шел ее добывать, пробавляясь чаем с осьмушкой хлеба, не было чаю — пил морковный. А в какой-то день и воду уже нагреть не на чем было: ни топлива, ни угля для самовара. В тот раз нам с Виктором Шкловским удалось его выручить — где-то достали и привезли ему на ручных санках немного дров.

Чтобы как-то поддержать Михаила Кузмина, Саня Бернштейн задумал устроить его вечер, как он сам говорил, «очень странный юбилей»: пятнадцатилетие литературной деятельности (Кузмин печатался первый раз в 1905-м году)[10]. Вечер удалось организовать, он состоялся в Доме Искусств 29 сентября 1920 года..

---

[9] В 1929 году М. А. Кузмин подарил моему отцу только что вышедший сборник стихов «Форель разбивает лед» с такой надписью: «*Дорогому Игнатию Игнатьевичу Бернштейну на память об искренней дружбе, которой большие промежутки между встречами не помешали. Искренне любящий его М. Кузмин*».

[10] Примечание А. Ивича: «*В собрании сочинений Александра Блока неверно указано, что вечер был посвящен пятидесятилетию М. А. Кузмина и что артисты А. И. Мозжухин, В. и М. Хортик читали стихи; на самом деле они выступали как певцы в музыкальной части*».

О том, чтобы устроить юбилейный вечер Кузмина, я говорил с Блоком. Он как-то сразу подхватил эту идею и выдал мне на бланке Союза поэтов что-то вроде доверенности на организацию вечера в Доме искусств. Я тогда же его пригласил выступить, Блок согласился и высказал мне ту концепцию, которая впоследствии прозвучала в его небольшой речи, ставшей, конечно, центром вечера. Блок уже был близок к тому строю мыслей и переживаний, которые в следующем году нашли выражение в потрясшей всех, кто ее слышал, речи о Пушкине. Выступление на вечере Кузмина с ней соотносится.

Приветствуя Михаила Алексеевича «от учреждения, которое носит такое унылое казенное название — "Профессиональный союз поэтов"», Блок говорил, что этот союз, «как все подобные ему учреждения, устроен для того, чтобы найти средства уберечь вас, поэта Кузмина, и таких, как вы, от разных случайностей, которыми наполнена жизнь и которые могли бы вам сделать больно <...> Потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно; а поэтов, как вы, сейчас на свете очень немного»[11].

Блок точно выразил цель вечера — оказать поэту моральную поддержку. И действительно, сердечная атмосфера вечера, искренность и торжественность приветствий повысили жизненный тонус Кузмина и, тем самым, достигли цели, о которой говорил Блок.

Речь Блока сыграла роль не только в жизни юбиляра, но и в жизни организатора вечера, ибо Александр Блок утверждал необходимость «охранить не цивилизацию, которой в России, в сущности, еще не было, и когда еще будет, а нечто от русской культуры, которая была, есть и будет»[12], что совпадало с задачами задуманного Игнатием Бернштейном издательства.

Вечер не прошел незамеченным. В небольшой по объему информации о создании и первых шагах петербургского «Союза поэтов» альманах «Дом искусств» в своем первом номере поместил обстоятельное описание юбилея: «Наиболее удачным из всех начинаний "Союза" следует считать юбилейное чествование М. А. Кузмина (пятнадцатилетие литературной деятельности), прошедшее с исключительным подъемом и успехом. <...> Были оглашены приветствия от "Союза поэтов" (Ал. Блок), от издательства "Всемирная литература" (Н. Гумилев), от издательства "Алконост" (С. М. Алянский), от издательства "Очарованный странник" (В. Р. Ховин), от "Дома литераторов" (Б. М. Эйхенбаум), от "Общества изучения поэтического языка" (Викт. Шкловский), от "Дома Искусств" (Вал. А. Чудовский), от Ал. М. Ремизова (жалованная грамота Кавалеру и Музыканту ордена Обезьяньего Знака) и др. В музыкальной части программы <...> приняли участие: А. М. Примо — "Александрийские песни", В. Я. Хортик — "Духовные стихи", М. Я. Хортик — "С Волги", А. И. Мозжухин — "Пугачевщина" и "Турецкая застольная песня". О. А. Глебова-Судейкина прекрасно исполнила "Бисерные кошельки". М. А. Кузмин прочел новый рассказ и неизданные "Итальянские стихи". В фойе была выставка книг, рукописей нот, портретов и рисунков»[13].

---

[11] *Блок А.* Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 6. М.-Л., 1962. С. 439.

[12] Там же.

[13] «Дом искусств» — 1920, № 1. Пб., 1921, с. 74.

стали первым событием в литературной жизни Петербурга в следующем, 21-м году. Они заняли несколько февральских вечеров.

Знаменитую речь «О назначении поэта» Блок читал дважды. Мне пришлось быть на первом ее чтении[14]. Настроение в собрании было приподнятое, я бы сказал — не найду другого слова — молитвенное. Вероятно, тут действовало соединение двух имен: Пушкин — Блок. Вечер начал Михаил Кузмин, прочитав свое написанное к этому дню стихотворение «Пушкин». Потом на кафедру взошел Блок. Я очень помню, как Блок шел через зал по проходу, отстраненный, задумчивый, остановился около нас, посмотрел на брата, молча протянул ему руку, прошел на эстраду. Таким я видел его первый раз. Когда он говорил, ни одна черточка в его лице не двигалась. Шевелятся только губы, лицо неподвижно, руки недвижны. Свою речь он читал. Негромко и небыстро, глухим голосом. Но несмотря на переполненный зал, тишина стояла совершенная и каждое слово доносилось отчетливо. Что-то такое чувствовалось во всем облике Блока, в его фигуре, в застывшем лице — величие и обреченность. Тяжко, сумрачно, матовым голосом говорил он о легком, о веселом имени: Пушкин.

Он был необычайно красив. Я вообще не знаю другого поэта, у которого внешний облик так ассоциировался бы с его стихами, так подходил бы к его стихам.

В том же 21-м, в январе, я видел Блока на маскараде в «Школе ритма», балетной школе на Миллионной улице[15]. В то голодное время был не только расцвет научной и поэтической работы, была еще и масса развлечений. По дороге на маскарад я зашел за Всеволодом Рождественским в Дом Искусств, мы уговорились идти вместе. (Я тогда дружил с Рождественским, была такая полоса в моей жизни, недолгая.) Зашел в комнату Рождественского, там — Блок, уже в пальто. Потом мы шли наперерез, через заснеженную Дворцовую площадь, наискось, от первого дома Невского к Миллионной мимо Александровской колонны: Блок, Мандельштам, Надя Павлович, Всеволод Рождественский... Блок, очень сумрачный, не сказал ни слова на всем пути.

В сутолоке первого часа маскарада я потерял его из виду. Но весь вечер запомнился мне одной минутой. В перерыве между танцами теснились, болтали, смеялись. И вдруг стало тихо: Блок, в темном домино, какой-то неживой походкой вошел в зал. Он был уже без маски — как маска, было его застывшее каменное лицо. Толпа в зале раздалась на две стороны, а он прошел сквозь нее, как по коридору, медленно, ни на кого не глядя, не замечая ни этого коридора, ни внезапной тишины.

---

[14] Примечание А. Ивича: «*Я помню атмосферу зала, о которой совершенное вранье написал Георгий Иванов в своих воспоминаниях. Он пишет, что было холодно, было совершенно не холодно, что все были в пальто, ничего подобного. В Доме литераторов вообще не было холодно, туда ходили греться*».

[15] Примечание А. Ивича: «*Одинаковое вранье у Георгия Иванова и у Одоевцевой, что это был маскарад в Доме искусств. В Доме искусств никакого маскарада не было*».

13. Прогулка на острова

— Окончишь год без троек, свезу тебя в Ленинград, — пообещал отец.

Пришлось приналечь на уроки, зато в первые дни каникул, летом 47-го, я очутилась в Ленинграде, где еще продолжались белые ночи, в просторной, с высокими потолками и запутанными переходами старой петербургской квартире, в двух шагах от Невского, как раз за спиной Казанского собора. Кузина Юлия, моя ровесница, она тоже перешла в седьмой, собралась было вести меня на поклон к Медному всаднику, как я краем уха услышала обрывок взрослого разговора:

— Только позвоню Зощенке...

Для меня это прозвучало как «позвоню Чехову», а когда я услыхала, что с великим Зощенко отец, уславливаясь о встрече, разговаривает «на ты», то вообще обалдела и, позабыв о Медном всаднике, взмолилась:

— Папа, возьми меня!!

Отец не очень охотно, но послушно снова набрал номер:

— Миша, можно я приду с дочерью? Сколько лет? Тринадцать. Спасибо.

И мне:

— Собирайся. Пошли.

Увы, содержательных воспоминаний от этой встречи у меня не осталось, кроме поразительной, с достоинством произнесенной в разговоре с отцом фразы Зощенко: «Постановление ЦК обо мне...» Формула «Постановление ЦК» к седьмому классу успевала навязнуть в зубах и памяти каждого ученика советской школы, но в сочетании с личным местоимением довелось мне ее услышать в первый и в последний раз.

На мою долю выпали две реплики Михаила Михайловича:

— В каком классе вы учитесь? — спросил он при встрече.

— В каком классе вы учитесь? — спросил он, прощаясь.

Попасть в поле его зрения не удалось, однако рассмотреть его я успела.

Зощенко, в противовес тому, что я до того слышала о нем, показался мне *похожим* на свои рассказы (обычно я слышала, как говорили, что «не похож»): темным, печальным, замкнутым. Читая его, а у нас дома были, наверное, все изданные к тому времени его сочинения, я, естественно, хохотала до слез, но, закрыв книгу, ощущала такую безнадежную тоску, что слезы хотелось лить уже не от смеха. (Подобное впечатление производили в то же время тоже в отрочестве прочитанные рассказы раннего, времен Чехонте, Чехова.)

Среди воспоминаний Ивича, записанных на магнитофонную ленту Дувакиным, есть такой эпизод:

С Мишей Зощенко я подружился очень странно. Мы оба ходили в студию Корнея Чуковского — тогда существовала такая форма, литературная студия — при издательстве «Всемирная литература», на Литейном. Как-то после лекции Чуковского — был конец весны или начало лета — я предложил проехаться на пароходике на острова. Поехали, погуляли, сели на скамейку, и он неуверенно, как будто не зная, сказать или не сказать? — спросил:

— *Можно, я вам рассказ прочту?*

Он прочел мне тогда один из первых своих рассказов «Рыбья самка». Рассказ был поразительно нов по языку, сказовой манере, по построению фразы. Плохо помню теперь самый рассказ, но ясно помню радостное изумление от того, что я слышал совершенно своеобразного нового писателя!

14. «Картонный домик»

Вот так, в результате то крупных литературных событий, то личных встреч, прояснялся состав авторов будущего издательства, а число их продолжало расти. Теперь следовало позаботиться о том, чтобы издательство оказалось достойным тех, ради кого оно создавалось. Подготовка велась тщательно. Название выбрано было многозначительное и многозначное — из книги стихов Михаила Кузмина «Сети»:

Картонный домик

Мой друг уехал без прощанья,
Оставив мне картонный домик.
Милый подарок, ты — намек или предсказанье?
Мой друг — бездушный насмешник или нежный комик?
Что делать с тобою, странное подношенье?
Зажгу свечу за окнами из цветной бумаги.
Не сулишь ли ты мне радости рожденье?
Не близки ли короли-маги?
Ты — легкий, разноцветный и прозрачный,
И блестишь, когда я огонь в тебе зажигаю.
Без огня ты — картонный и мрачный:
Верно ли я твой намек понимаю?
А предсказание твое — такое:
Взойдет звезда, придут волхвы с золотом, ладаном
и смирной.
Что же это может значить другое,
Как не то, что пришлют нам денег, достигнем
любви, славы всемирной.

Тут многое сошлось. Рождество и рождение, начало новой жизни. Строительство хрупкого здания. Надежда на успех и славу. Растерянность: «Что делать с тобою, странное подношенье?» И, самое существенное: дом пуст и мрачен без огня. Зажечь огонь — в твоей власти. Засвети его — вот в чем намек, спрятанный в домике и в стихах о нем.

При желании можно разглядеть тут и политическую аллюзию: аббревиатура (а в те годы, вспомним, аббревиатуры были в большом ходу) совпадала с названием запрещенной к тому времени партии Конституционных демократов, к которой — не формально, но по своим взглядам — принадлежал юный издатель.

А впрочем, как знать, не припомнились ли ему изысканные карточные домики Осипа Брика, так его восхищавшие? Хотя на моей памяти отец очень сердился, если кто-нибудь, оговорившись, называл его издательство не «*Картонным*», *а* «*Карточным* домиком»).

Следующим шагом стали поиски художника, который создал бы марку издательства и согласился делать обложки книг — каких конкретно, на этом этапе речь еще не шла. Поскольку задача существовала — издавать своих замечательных знакомых, казалось естественным и художника выбрать из их числа. Тут, как и в выборе названия, помог невольно Михаил Кузмин.

15. Александр Головин

Я заболел туберкулезом, и меня поместили в санаторий в Царском Селе. Кузмин приезжал иногда меня навестить и в один из приездов познакомил меня с постоянно жившим в Царском Селе Александром Яковлевичем Головиным. Потом я несколько раз заходил к нему один. Он производил чрезвычайно приятное впечатление, — рассказывал Ивич Дувакину. — *Александр Яковлевич, истинный художник не только в своем искусстве, но и в повседневности, отличался поразительной элегантностью, только ему свойственной. Он и в пижаме — а он постоянно в Царском ходил в пижаме, по крайней мере, я его всегда видел в пижаме, — умел выглядеть необыкновенно элегантно, со свисавшим из верхнего карманчика большим платком плотного белого шелка. У него есть автопортрет, очевидно, сделанный в то же время, когда я с ним встречался. В этой самой пижаме он себя изобразил совершенно в том же виде, каким я его запомнил*[16]. *Когда я увидел этот портрет, я понял, что он умел быть и художником, и моделью разом, он творил свой облик как картину, продуманно и тщательно: красивые седые усы и этот непременный белоснежный платок. Недаром в своих театральных работах он столь придирчиво относился к антуражу! Когда Головин работал над декорациями к «Маскараду» в постановке Мейерхольда в Александринском театре, он писал не только декорации — там, на сцене, не было ни одной вещи, которая бы не была сделана по его рисунку. Картины, которые висели на стенах, узоры скатертей, модели пепельниц — буквально каждая мелочь была им нарисована.*

Премьера совпала с днем Февральской революции, в последний день царского режима, 27 февраля. Я был на спектакле. Помню острый контраст между тем, что происходило в театре, и тем, что творилось на улице, где разъезжали патрули казаков.

Головин был удивительным рассказчиком. Чаще всего говорил о вечерах на чердаке Мариинского театра, где располагалась его декорационная мастерская и куда заглядывали Шаляпин, Мейерхольд, Кузмин. Рассказывал то о них, то о поездке с директором Императорских театров в Испанию, где он делал наброски для оформления постановки «Кармен», декораций и костюмов.

Александр Яковлевич графикой занимался неохотно, мало и как график менее силен, чем живописец и театральный художник, но по моей просьбе он сделал обложки к двум книжкам моего издательства: это была книга стихов Всеволода Рождественского «Лето» и сборник стихов Михаила Кузмина «Эхо».

Александр Головин сделал и весьма изящную марку издательства и к тому же экслибрис для личной библиотеки издателя. Марка изображала

[16] Имеется в виду «Автопортрет» А. Я. Головина (1924).

затейливый игрушечный замок с треугольной крышей и квадратными башнями по бокам, с фигурными изваяниями над ними, с высокими стрельчатыми окнами, с четко выписанным названием издательства в барочном орнаменте по верхнему краю и еле различимыми инициалами художника, А. Г., в двух нижних углах.

Горит ли свет за окнами или они темны — по марке догадаться нельзя.

Экслибрис выглядит даже более романтично: овальное окно слегка прикрыто узорной портьерой, на складках ее читается имя владельца книжного знака, а за переплетом окна ветер треплет снасти и стяги кораблей.

На марку издательства мы смотрим снаружи — художник приглашает войти и узнать, что там скрывается внутри: распахни дверь, раскрой книгу, прочти. На экслибрисе взгляд обращен вовне — из уютной комнаты в холодный речной простор: останься дома с хорошей книгой наедине. Одной из первых книг, на которой появилась эта марка, был сборник «Об Александре Блоке», вышедший в свет спустя три месяца после кончины поэта тиражом в одну тысячу экземпляров, мгновенно раскупленных.

16. Похороны Блока

Блок в гробу был не похож на себя живого и странно похож — это многие заметили — на своего издателя, С. М. Алянского, с которым был близок в последний год жизни. На похоронах было человек триста-четыреста. Извещения были развешены на стенах. Катафалка то ли не могли достать, то ли сочли неуместным. Алянский просил достать грузовик — это было в тот год не просто. Мне удалось в военном учреждении, где я тогда работал, получить машину, но она не понадобилась. Весь неблизкий путь от угла Офицерской и речушки Пряжки до Смоленского кладбища открытый гроб несли на плечах — он плыл по городу над процессией, над прохожими[17]*. В этом была торжественность, очень нужная в тот час провожавшим. Она была отвратительно нарушена только на миг, когда выносили гроб из подъезда. Любовь Дмитриевна, с лицом, скрытым длинной и густой черной вуалью, стремительно (и несколько театрально) с вытянутыми вперед руками бросилась за гробом. Какой-то идиот-фотограф громко скомандовал:*

— Попрошу вдову на минутку остановиться!

Я ткнул его локтем в пузо, отбросил. Его оттеснили.

На Смоленском кладбище, где Блока хоронили, речей не было. Но все — или мне казалось, что все — обратились, повернули головы к Андрею Белому. Он возвышался над всеми: стоял на каком-то камне, может быть, на чьей-то могильной плите, обхватив рукой дерево, приклонившись к нему головой, с таким необычайно выразительным лицом, с непередаваемой многозначительностью своих ни на что не похожих глаз, что это производило впечатление немой речи. Скорбь, раздумья, возможно, и продолжение спора отражались на его лице, во взгляде не попеременно, а все разом. Неподвижно замерший Андрей Белый казался в движении. Вот-вот — пойдет? нет — взлетит!

---

[17] По воспоминаниям В. Б. Шкловского: «Гроб тихо везли обессиленные лошади...» (*Шкловский В.* Жили-Были. С. 157).

Было ощущение проводов русской культуры, того ее периода, знаменем которого был Блок. И вот, пока мы шли с Офицерской до Смоленского кладбища пешком — а это путь очень длинный, несколько верст, — мне пришла в голову мысль издать сборник памяти Блока. Прежде чем все разошлись, я поговорил с Виктором Максимовичем Жирмунским, с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, с Юрием Николаевичем Тыняновым, с Юрием Верховским[18].

Книга вышла в декабре того же года. Замысел и смысл ее — прощание с эпохой, первые попытки осмыслить судьбу поколения, «рожденного в года глухие». По жанру — это двойной портрет, поэта и времени: облик поэта начертан на фоне картины четырех последних лет его жизни — соответственно, первых пореволюционных. Смерть его воспринимается как символ гибели того времени, кумиром которого он был. Картину мы видим глазами интеллигенции, той ее части, которая связана с литературой. Незавершенность и неполнота осмысления искупается свежестью и остротой восприятия, духом времени, который сквозит с каждой страницы.

Своеобразие книги — в глубоко личном отношении к предмету и теме. Тон всех статей, несмотря на их литературоведческую содержательность, глубину и скрупулезность анализа, весьма эмоционален. Естественно: исследователи литературы на сей раз говорят о *своем* поэте, о *своем* времени, — все это еще не стало достоянием истории и не отправилось на покой под обложки учебников. Они «переживают не только скорбь о недавней тяжелой утрате, но и собственную свою душевную драму»[19].

Издатель в предисловии к книге так определяет ее суть: «Это — голос поколений, ходом внешних событий насильственно и преждевременно вытесняемых с исторической арены; это — акт их борьбы за духовную независимость, за духовное существование»[20].

Общий тон статей — крайне пессимистический, подчас — трагический. Гражданский пафос, откровенно высказанный, — в утверждении, что при новом режиме культура обречена на уничтожение. Гибель культуры не обсуждается, а констатируется как истина бесспорная и не требующая доказательств. Ключевые слова основных статей: не только «смерть» и «гибель», но и близкие по духу: «потеря», «разрушение».

«Мы с привычною, заранее готовою печалью хороним своих современников. Именно сейчас оказывается, что они были связаны с нами более необходимо и тесно, чем мы сами сознавали; оттого самая наша печаль принимает формы эгоистической печали по самим себе. Но потеря Блока — иная. Россия испытывает сейчас особую боль, печаль по умершем бескорыстна, отделена от чувства общей гибели культуры», — это из статьи Юрия Тынянова на сугубо конкретную тему: «Блок и Гейне»[21].

---

[18] Записи из семейного архива.

[19] Об Александре Блоке. Пб.: «Картонный домик», 1921. С. 6.

[20] Там же.

[21] Там же. С. 237. О ценности этой статьи, важной для современных исследований, говорил Омри Ронен в докладе на Тыняновских чтениях 2002 года, отмечая плодотворность «второстепенных признаков» в наследии Юрия Тынянова: «Особенно увлекательны те мысли, которые сам Тынянов отбро-

Поэт и смерть — внутренняя тема статьи Бориса Эйхенбаума «Судьба Блока». «Смерть сдружилась с нами, — такими словами она начинается. — Будем держать себя с достоинством перед лицом этого молчаливого друга»[22]. «Последние годы для нас — годы смертей неисчислимых», — так она заканчивается. Слабым утешением звучит робко высказанная надежда на то, что «...где-то... скрываются ведь года рождений, нам еще не явленных»[23].

С высоты пережитого опыта страдания и гибели защищает В. М. Жирмунский право современников судить о месте поэта в истории литературы в фундаментальной работе «Поэзия Александра Блока». «Для людей нашего поколения, воспитанных на Блоке, радовавшихся и болевших его песнями, интимное и личное посвящение в его поэзию дает сознание какой-то объективной и сверхличной правоты, когда словами, по необходимости внешними и холодными, мы говорим об историческом значении его явления среди нас. В этом отношении мы знаем больше, чем будущий историк, который подойдет извне к пережитому нашими современниками и будет рассказывать "потомству" о творчестве последнего поэта-романтика»[24].

Из всех авторов сборника один лишь Николай Анциферов, признавая мрак сегодняшнего дня, смотрит с некоторой долей оптимизма в день завтрашний: «Русской душе особенно сродни свет искать во мраке. Христос среди мытарей и блудниц наиболее понятный и близкий ей воплотившийся Бог. Не с фарисеями и книжниками старого мира, а впереди грешников, не узнанный ими, но зовущий»[25].

Предполагалась в книге статья Сергея Бернштейна «Голос Блока». Сергей Бернштейн в июне 1920 года записал на шести восковых валиках авторское чтение стихов Александра Блока[26]. Однако Сергей Игнатьевич, несмотря на то, что выступал с докладом на эту тему на публичном собрании, посвященном памяти поэта, по обыкновению, счел свою работу незавершенной и не позволил ее печатать. Были тут и технические трудности: в то время в книге небольшого формата типографским способом нельзя было на должном уровне воспроизвести сложные графики, иллюстрирующие текст. Сергей Бернштейн так и не выпустил статью из рук до конца дней своих, она была опубликована только после его смерти в Тартуском «Блоковском сборнике-2»[27]. Но в книгу, изданную «Картонным домиком», вошло эссе

сил, оставив незавершенными. Один такой камень, отвергнутый строителем, это почти забытая, не включенная в переиздания работа Тынянова "Блок и Гейне", увидевшая свет в исторически примечательном сборнике "Об Александре Блоке" в 1921 году». — *Ронен О.* Из города Энн. СПб., 2005. С. 195.

[22] Об Александре Блоке. С. 39.

[23] Там же. С. 63.

[24] Там же. С. 67.

[25] Там же. С. 323.

[26] Записи частично восстановлены усилиями Льва Шилова и влючены в изданный им компакт-диск «Голоса, зазвучавшие вновь». Государственный литературный музей, 2002.

[27] Блоковский сборник // Труды второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972.

Владимира Пяста «Два слова о чтении Блоком стихов», что, по замыслу, должно было служить предисловием к статье Сергея Бернштейна с воспоминаниями о Блоке-декламаторе, о чтении им не только своих, но — в студенческие годы — и чужих стихов. В этой публикации Пяст, в частности, приводит важное свидетельство о скептическом отношении Александра Блока к существованию каких-либо, пусть самых общих, законов произнесения вслух литературных текстов. (Вспомним, что в последние годы жизни Блок был председателем режиссерского управления Большого драматического театра.)

Критика встретила книгу доброжелательно. Осип Мандельштам выделил издание «Картонного домика» из потока литературы, посвященной Александру Блоку, и удостоил его похвалы «от противного»: *«Работы, именно "работы" Эйхенбаума и Жирмунского тонут... среди болотных испарений лирической критики»*[28]. «Летопись Дома Литераторов» пообещала сборнику долгую жизнь, назвав его «...не только собранием интересных суждений, но... историческим документом, к которому не раз обратится будущий исследователь русской духовной культуры и литературы»[29]. Обстоятельную статью с разбором основных статей поместила «Жизнь»[30].

В книге «Об Александре Блоке» задача, которую поставил перед «Картонным домиком» издатель, — сберечь неповторимые черты времени и предоставить трибуну замечательным литературоведам, которых ему посчастливилось знать и слышать, — реализовалась в полной мере: горестное мгновение в истории нашей культуры запечатлено работами его учителей и старших знакомых В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова — тех, ради кого издательство создавалось.

В других книгах «Картонного домика» две главные цели: пропагандировать творчество тех, чьим талантом восхищался издатель, и сберечь то, что подвержено исчезновению в годы гибели культуры, — расходятся на два пути.

17. «Эхо» и «Лето»

Первый представлен книгой стихов Михаила Кузмина «Эхо». Вышла в свет она по тем же причинам, по которым был устроен юбилей Кузмина в Доме Искусств: то была попытка поддержать поэта, которому жилось даже хуже, чем большинству. По мнению моего отца, в сборник вошло просто все, что к тому времени у Михаила Алексеевича не было опубликовано, и «книжка получилась неважная». Сам Михаил Кузмин впоследствии безжалостно оценил ее по пятибалльной системе на двойку. Тем не менее, к изданию отнесся внимательно: тщательно переписал от руки стихотворения (рукопись сохранилась в архиве А. Ивича), отмечал в дневнике путь прохождения сборника. Н. А. Богомолов в примечаниях к подготовленному им изданию Михаила Кузмина в «Новой библиотеке поэта» сообщает: «История ее (книги «Эхо». — *С. Б.*) печатания прослеживается достаточ-

[28] *Мандельштам О.* А. Блок // Собр. соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1993. С. 252.

[29] Летопись Дома Литераторов, № 72, Пг., 1922.

[30] «Жизнь», 1922, № 1. С. 213-217.

но отчетливо: 30 марта 1921 года она была сдана в издательство "Картонный домик" (штамп на титульном листе наборной рукописи), 18 апреля Кузмин записал в Дневнике: "'Эхо' разрешили", 14 сентября: "Книжка моя вышла", 3 октября: "Эхо" собираются ругать за хлебниковщину. Вообще положение мое далеко не упрочено, мой "футуризм" многим будет не по зубам»[31].

Как в воду глядел! Вскоре после выхода книги, в том же 21-м году, в «Вестнике литературы» появилась статья А. Свентицкого, полная скорби о том, что в «Эхо», как «и в "Нездешних вечерах" — нет прежнего Кузмина, а есть кто-то другой, то пишущий под Маяковского, то сбивающийся на частушку, а то и пишущий что-то совсем уже непонятное...

Кровей пятнит кабаний клык...
О, отрочий, буявый зык!
О, бледный **птич**!
О, **падь** опличь! —
Плачует дале девий кличь.
(Подчеркнуто автором рецензии. — *С. Б.*)

Что это такое, и как это называется? Одно ясно — не поэзия.

В "Страстном пятке" какая-то мешанина из русско-польско-словацкого языка... "Плачует Дева, Распента зря", "кравава", "земнотряси", "вонзло", "сорвные" и, наконец, "млстивной главой". Это ведь натощак не выговоришь, а главное — к чему? зачем?

Неужели такие стихи, на которых спотыкается и язык, и чувство, — есть результат поэтического вдохновения? Нет, это — да простит мне автор горячо любимых мною его первых книг — лукавое мудрствование.

Здесь веет тень В. Хлебникова и ему подобных»[32].

Много лет спустя в беседе с В. Д. Дувакиным Александр Ивич, в частности, говорил о том, что Кузмин с интересом и большой симпатией относился к Хлебникову, и отмечал, что в «Эхе» и «Нездешних вечерах» есть *«нечто вроде подражания Хлебникову»*.

Стремлением помочь молодому поэту и проложить ему дорогу к читателям было продиктовано издание первой «взрослой», а по счету второй, тоненькой книжечки стихов Всеволода Рождественского. Называлась она «Лето», имела подзаголовок «Деревенские ямбы».

Я дружил с Всеволодом Рождественским. Он был к тому времени автором одной книги[33]*, которой стыдился, разыскивал по букинистам, уничтожал. Вышла она еще в 14-м году, без его ведома: гимназические товарищи удружили. В 20-м и 21-м он писал стихи несравненно более зрелые. Несправедливо: поэт работает на одном уровне, а читателям представлен на другом, сниженном. И вынужден воевать сам с собою, со своим прошлым. По моей просьбе он составил небольшую книжку.*

---

[31] *Кузмин М.* Стихотворения. С.-Петербург, 2000. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. А. Богомолова. С. 738.

[32] «Вестник литературы», Пг.,1921, № 8-9.

[33] *Рождественский В.* Гимназические годы. СПб., 1914.

С готовой обложкой и маркой не существовавшего тогда издательства я принес ее в типографию и сказал: «Напечатайте. У меня денег нету, но тираж останется у вас. Дадите мне 100 экземпляров, я их продам и с вами расплачусь». Так и было сделано. Тогда существовал книжный магазин Виктора Ховина «Книжный угол». Я отнес первые 100 экземпляров в «Книжный угол» — с Ховиным я был в приятельских отношениях, продал 100 экземпляров, расплатился с типографией и получил остальные 900. На деньги, которые я получил за это, я напечатал «Эхо» Кузмина. Так оно и шло[34].

Тоненькая книжечка стихов Всеволода Рождественского вызвала множество разноречивых откликов. Недостаточную самостоятельность отметили все, но в прогнозах разошлись. А. Свентицкий, оплакав «футуризм» Михаила Кузмина, в той же статье в пух и прах разбранил «Лето»: книжку назвал бледной и скучной, а автора обвинил не только в заимствованиях, но даже «в дряблости душевной»[35]. Георгий Иванов отозвался кислым брюзжанием: молодого поэта объявил эпигоном, походя задев и тех, кому тот подражает — от «шепелявого... Бориса Садовского, из могилы литературного забвения подающего весть о себе стихами своего последователя»[36], до Афанасия Фета; однако не отказал в наличии способностей и пообещал успех, буде Рождественский сумеет забыть «родное ему болото елейного провинциализма» и вступит «на трудный путь подлинной поэзии»[37]. Зато в аналитической статье Петра Губера, посвященной обзору поэтических новинок года, где, в частности, речь идет о нарождающейся опасности эклектизма приемов, тем и настроений, в котором «легко теряются люди с еще не установившимся поэтическим темпераментом»[38], автор проницательно воспринял «Лето» как обещание. «Всеволод Рождественский, — писал он, — совсем молодой поэт, очень непосредственный, очень искренний, но еще не нашедший себя, еще беззащитный против разнообразных... литературных влияний, напирающих на него со всех сторон. <...> Рождественский весь в будущем. Он может стать заметной величиной»[39]. (Любопытно, что в той статье П. Губер упрекал Георгия Иванова в чрезмерном увлечении «техническим арсеналом» и пренебрежении к подлинным источникам поэтического вдохновения, что, в более грубой форме, Георгий Иванов ставил в вину Всеволоду Рождественскому.) Борис Эйхенбаум рассматривает «Лето» в контексте традиций русского стиха, видит здесь один из знаков грядущего поворота «к новой “высокой” лирике»: «Наша молодежь осторожно и внимательно учится у “классиков”, заостряя те тенденции, развернуться которым суждено в будущем... В этом особом преломлении Фетовской традиции, в этом заострении тех его тенденций, которые остались неиспользованными у символистов, — главное своеобразие сборника»[40].

---

[34] Беседа с В. Д. Дувакиным.

[35] «Вестник литературы», Пг., 1921, № 8-9.

[36] «Альманах Цеха поэтов». Кн. 2. Пг., 1921. С. 75.

[37] Там же. С. 76.

[38] Летопись Дома литераторов, Пг., 1921, № 3.

[39] Там же.

[40] Книжный угол. Пг., 1921, № 7. С. 39-40.

Что до дружбы моего отца с Всеволодом Рождественским, то ей пришел конец в более поздние годы, когда поэт решительно встал на путь конформизма. В одной из магнитофонных записей рассказов Александра Ивича мелькнуло многозначительное замечание: «*Не хочется мне... говорить о нем* (Всеволоде Рождественском. — *С. Б.*), *рассказывая о Блоке*».

«Эхо» и «Лето» увидели свет в 1921-м, обе книги отличались изяществом оформления, — обложки и марка издательства работы А. Я. Головина, — и внесли свою лепту в поддержку дорогих издателю авторов.

18. Дельвиг и Анненский

Ко второй линии относится публикация «Неизданных стихотворений» А. А. Дельвига (1922), «Посмертных стихов» и второго издания «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского (1923).

Книга стихов Дельвига, снабженная грифом «Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук» и сообщением, что она напечатана «по распоряжению Российской Академии наук» за громкой подписью «Непременный Секретарь Академик С. Ф. Ольденбург», появилась в 1922 году в количестве двух тысяч экземпляров. В основном она была подготовлена по материалам архива В. П. Гаевского, часть которого незадолго до того, в 1919-м, поступила в Пушкинский дом, с несколькими добавлениями из «Лицейской тетради» и альбома С. Д. Пономаревой. Вместе с драматическим отрывком «Ночь на 24 июня» и «Приложением», куда вошли стихи А. А. Дельвига, не включившиеся до тех пор в его полные собрания сочинений, издание на треть увеличивало доступное читателям поэтическое наследие поэта.

Книга вышла под редакцией М. Л. Гофмана с обстоятельным вступительным очерком, исполненным восторженных похвал и влюбленных оценок, и с его же обширным комментарием. В традициях издательства выглядела книжка строго и не лишена была элегантности — с непременной маркой А. Головина и изысканно подобранным портретом Дельвига в юности (рисунок М. Л. Яковлева, подаренный Пушкинскому Дому М. К. Азадовским).

Рецензия на книгу появилась в том же году в «Голосе России» и, не говоря уж об элегантности слога, содержала размышления, оценки и характеристики, которые представляют немалый интерес. «Поэт благородный, поэт хорошего стиля, приятного стиха, светило неяркое, но необходимое для равновесия в так называемой Пушкинской плеяде, — Дельвиг... не был значительной личностью. <...> Его значение — историко-литературное и только», — утверждал автор, скрывшийся под инициалами *Р. Д.* — Дельвиг «жил и умер в средних офицерских чинах той армии, где Пушкин был фельдмаршалом героем. <...> Им в значительной мере расширены горизонты русской поэтики; им создана “Литературная газета” — первый литературный орган... пушкинской традиции; им издавались “Северные цветы” — лучший из тогдашних альманахов; он, по личным отношениям, был одним из самых близких людей к Пушкину; обладатель тончайшего художественного вкуса, он оказал немалое влияние на эпоху как судья по литературным вопросам; он угадал гений в мальчике Пушкине и “подружил с ли-

рой" Баратынского»[41]. Перечисляя заслуги, дающие «Дельвигу и его стихам право на историческое бессмертие», приветствуя появление стихов, дотоле неизвестных читателям, автор статьи решительно отказывается признать барона Дельвига одним из крупнейших русских поэтов. Если похвалы были адресованы Дельвигу, то возражения и даже насмешки — автору статьи о нем М. Л. Гофману.

Автором этого отзыва был не кто иной, как Владислав Ходасевич, серьезно занимавшийся Дельвигом, — им была задумана, хотя и не издана, книга «Барон А. А. Дельвиг. Биография с подробной канвой и примечания к стихам и письмам»[42], он ревниво опровергал суждения своего друга М. Гофмана, столь же запальчиво отводившего Дельвигу слишком высокое место в табели о рангах русских поэтов. «Дельвиг... шел часто впереди Пушкина... и подсказывал Пушкину новые пути, новые формы и новые образы, был в известной мере вожатым своего гениального друга»[43], — подобные высказывания, разумеется, не могли оставить равнодушным Ходасевича-пушкиниста. Тем не менее, издание «Картонного домика» Ходасевич и заметил, и похвалил, назвал ценным вкладом, а статьей о книге, видимо, был доволен, т. к. впоследствии включил ее в составленный им список своих работ.

В следующем 1923 году в издании «Картонного домика» увидели свет «Посмертные стихи Иннокентия Анненского», третья книга поэта, переданная издательству его сыном, Валентином Кривичем, им подготовленная к печати, с его предисловием и комментариями. Вошли в сборник без малого сто стихотворений и переводов, до тех пор не публиковавшихся, — за исключением нескольких, появившихся после смерти поэта в альманахах, но и те на сей раз воспроизводились не с печатных текстов, а по автографам. Основная часть сборника — лирические стихотворения, по времени написания и характеру близкие к первой и второй книгам поэта «Тихие песни» (1904) и «Кипарисовый ларец» (1910); вторую и третью части составляют «Песни с декорацией» и стихотворения в прозе; затем следуют переводы — из Верлена, Малларме, Леконта де Лиля, Рембо, Ганса Миллера, из Гете и Гейне; заключает книгу собрание шуточных и сочиненных «на случай» стихотворений, — все вместе существенно расширяло представление читателей о поэтическом наследии Иннокентия Анненского, влияние которого на поэзию того времени, в частности, на акмеистов и младших символистов, трудно было бы переоценить.

В «Предисловии» Валентин Кривич обстоятельно рассказывает о своей работе над текстами и о принципах выбора окончательного варианта. «Необыкновенно легко владевший стихом, Иннокентий Анненский в то же время был поэтом и чрезвычайно к себе требовательным и очень капризным. Стихи

---

[41] «Голос России. Берлин», 1922, № 1061.

[42] В автобиографии Ходасевича, датированной 23 ноября 1920 года, книга упомянута среди работ, которые «вполне или отчасти подготовлены, но не могли быть напечатаны по условиям переживаемого момента». РГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 126.

[43] *Дельвиг А.* Неизданные стихотворения. Под редакцией М. Л. Гофмана. Пб.: «Картонный домик», 1922. С. 13-14.

свои он исправлял, изменял и переделывал по многу раз, и не только во время черновой работы, но и в беловых экземплярах и даже в позднейших списках, причем из сопоставления текстов иногда можно видеть, что замена одного слова другим, или видоизменение целой строки объясняется не внутренними свойствами или внешним построением стихотворения, а были сделаны главным образом потому, что такое изменение отвечало желанию поэта в данный момент (разрядка автора. — *С. Б.*)»[44].

И в «Предисловии», и в примечаниях к стихам — много личного, трепетно-трогательного. Варианты и разночтения, которые Валентин Кривич скрупулезно приводит, подробные описания автографов перемежаются с толкованиями стихов, воспоминаниями и догадками, доступными только члену семьи. Он сознает уникальность своей позиции — текстолога, исследователя и сына — и особо, не без гордости ее оговаривает: «Издание это выходит под моей "редакцией"... Но по этому поводу я ставлю себе в обязанность сказать, что в данном случае термин этот далеко не имеет того содержания, которое обычно ему приурочивается.

Я просто человек, которому дано судьбою печальное счастье хранить интимные тетради Анненского, разбираться в его рукописях и работать по их опубликованию и который думает, что сможет сделать эту работу, в некоторой ее части, с большей может быть полнотой и точностью, чем кто-либо другой, отнюдь не в связи с собственной прикосновенностью к области литературного творчества, а единственно в силу данных, вытекающих из исключительной родственной близости к покойному писателю»[45].

Сотрудничество Валентина Кривича с издательством не ограничилось одной книгой. Вслед за «Посмертными стихами» появилось — в таком же оформлении — в «Картонном домике» и новое, второе, издание «Кипарисового ларца». Оно не было механическим повторением первого, выпущенного «Грифом» в Москве в 1910-м. Валентин Кривич провел большую работу над беловыми и черновыми автографами поэта. «Не только в каких-либо сомнительных случаях, но почти каждый текст-автограф я пристально сличал с текстами списков, определяя всеми доступными мне способами вероятную последовательность авторских поправок и переделок», — говорит он в предисловии[46]. Изменения, которые он счел необходимым внести в тексты стихов, Валентин Кривич мотивирует тем, что к первому изданию «Кипарисового ларца» «приступил в самом непродолжительном времени после кончины Анненского, составил книгу в точном и строгом соответствии с его указаниями и отметками, но, разумеется, работа моя не могла протекать спокойно: ведь мне приходилось иметь дело с еще непросохшими рукописями и заветными тетрадями только что трагически скончавшегося человека, к которому я стоял в исключительной и родственной и душевной близости»[47]. Тексты, помещенные в издании «Картонного домика», Валентин Кривич

---

[44] Посмертные стихи Иннокентия Анненского. Пб.: «Картонный домик», 1923. С. 7.

[45] Там же. С. 8-9.

[46] *Анненский И.* Кипарисовый ларец. Вторая книга стихов (посмертная). Изд. 2-е. Пб.: «Картонный домик», 1923. С. 5.

[47] Там же. С. 7.

полагает окончательными, а бóльшую часть строк, приведенных в первом издании в других редакциях, предлагает считать вариантами.

Обложки к обеим книгам Иннокентия Анненского выполнены С. В. Чехониным, а «Посмертные стихи» украшены, помимо того, портретом и двумя факсимиле. Тираж каждой — две тысячи экземпляров. В библиографических справочниках, как правило, они не упоминаются.

19. «Аврора»

«Картонный домик» выпустил в свет первую и, увы, тоже посмертную, книгу Георгия Маслова (1895 – 1920), мало успевшего совершить в литературе, но много обещавшего молодого поэта. Поэма «Аврора», которая так и осталась единственной его книгой, вышла в 1922-м, спустя два года после кончины поэта; и, надо думать, публикация автора со столь воинственно антисоветской биографией потребовала от издательства немалой смелости. Георгий Маслов, блестящий студент-филолог Петербургского университета, кумир литературной молодежи своего поколения, был деятельным приверженцем Учредительного собрания; ради подготовки к выборам и агитации за них в марте 17-го оставил университет, отправился в Симбирск, где после разгона Учредительного собрания принимал участие в создании Добровольческих отрядов. Из Симбирска ушел с частями Чехословацкого корпуса, в Сибири вступил рядовым в армию Колчака и погиб — умер от тяжелой формы тифа — во время отступления войск адмирала.

Как и другие издания «Картонного домика», эта небольшая книжка подготовлена тщательно и солидно: краткая, однако емкая вступительная статья Юрия Тынянова, строгая обложка и стилизованный рисунок А. И. Божерянова, плотная бумага, элегантный шрифт, красивое расположение строф на страницах. Для предисловия трудно было бы выбрать лучшего автора: поэт и пушкинист Георгий Маслов был близок и понятен прозаику и пушкинисту Юрию Тынянову — оба посещали Пушкинский семинарий С. А. Венгерова, оба обладали редким даром жить в Петербурге одновременно в двух столетиях: в Пушкинском времени и в своем. «Аврора» Георгия Маслова дала Юрию Тынянову повод высказать интереснейшие замечания о роли возрождения традиций — пушкинской и поэтов пушкинской поры — в недавнем прошлом и в современном стихосложении.

«Этот возврат к стилю Пушкина, Боратынского, Дельвига заметною струею проявился... в литературе (Б. Садовской, Ю. Верховский). Он был плодотворен; стилизация была повторением или отблеском старого на новом фоне, — пушкинский стих на фоне символистов приобретал новые, неведомые раньше, тона. Словесная ясность пушкинского стиха-плана, стиха-программы на фоне насыщенного, обремененного нового стиха, получала значение сложной простоты»[48].

Идея издать Георгия Маслова в «Картонном домике», пришла, надо думать, из венгеровского семинара, который в разные годы посещали и автор «Авроры», и автор предисловия, и Сергей Бернштейн. Публикация продол-

[48] В кн.: *Маслов Г.* Аврора. Пб.: «Картонный домик», 1922. С. 8.

жала главную линию издательства: стремление сохранить произведения, которые могут погибнуть. При советской власти поэме мало кому известного поэта-белогвардейца исчезнуть с лица земли и из истории русской литературы было куда как легко. Остаться — труднее.

20. Планы и крушение

Вениамин Каверин торжественно именует Игнатия Игнатьевича Бернштейна «руководителем издательства». Так оно, должно быть, выглядело со стороны. На самом деле руководить он мог только собственной персоной, ибо штат издательства состоял из одного человека: сам себе шеф, сам себе курьер, сам себе бухгалтер. До поры до времени ему удавалось если не зарабатывать, то как-то сводить концы с концами. Самое, казалось бы, непреодолимое препятствие — практическая, денежная сторона дела — неожиданно оказалась по силам начинающему предпринимателю без средств: в 21-м, еще до начала НЭПа, можно было обойтись без серьезной финансовой базы. Типографии, не имевшие заказов, готовы были работать на самых льготных условиях, иногда даже давали свою бумагу, а расплачиваться можно было, продав часть тиража. Деньги падали в цене каждую неделю, долг типографии превращался в гроши, и еще меньшие гроши получал от книжных магазинов издатель. С началом НЭПа положение изменилось: нужны были реальные капиталовложения. Издавать «чтение для немногих», изящные книжечки стихов и о стихах, стало теперь затруднительно. Будь у издателя какой-никакой опыт в коммерческих делах, а у издательства — толковый бухгалтер, «Картонный домик» мог бы устоять. Книги его пользовались спросом, часть изданий — «Эхо» М. Кузмина, «Лето» В. Рождественского, сборник «Об Александре Блоке» — к 1923 году оказались распроданы. В планах издательства значились: сборники «Поэты XVIII века», «Об Анненском», «Введение в эстетику слова» Б. Энгельгардта, но, помимо специальной, для узкого круга читателей, литературы, предполагались и сборники рассказов Михаила Зощенко. Шли переговоры с Андреем Белым о его книге. «Картонный домик» обратился к прозе, готовил свой альманах, похоже, наметились иные направления, возможно, со временем планы расширялись бы и трансформировались. Издательство могло бы сколько-то продержаться, но и того не продержалось. Все равно оно было обречено. В пору гибели культуры, которую во всеуслышание оплакивал сборник «Об Александре Блоке», ему не нашлось бы места. Сыграла ли роль в его судьбе политическая направленность изданных книг, нам не известно.

Хрупкие стены «Картонного домика» рухнули, он прекратил существование и был прочно забыт. Славы и богатства, обещанных стихотворением Михаила Кузмина, он не принес. Но свет в его окнах, пусть недолго, горел.

21. Архив

А что же издатель? Он был не таким уж юным к тому времени, — ему шел двадцать четвертый год, — но молод достаточно, чтобы начать новую жизнь. Лишившись издательства, он избрал близкую к издательской сферу

деятельности: стал писателем, преимущественно — литературным критиком. Параллельно какое-то время работал в Институте истории искусств, потом заинтересовался детской литературой, сначала выступал в печати с критическими статьями на эту тему, затем решил, что чем рассуждать о чужих, лучше писать для детей свои книги.

Первая, вышедшая в 1930-м, адресованная школьникам, была посвящена истории техники, представленной в динамичных, сюжетных, подчас драматичных, а то и детективных рассказах. Она называлась «Приключения изобретений» и действительно рассказывала о приключениях, выпавших на долю изобретений, ибо у каждого из них была своя судьба, жизнь, отличная от жизни его создателя, полная удивительных событий, то радостных, то трагических: борьба, победы и поражения, разочарования и счастливые неожиданности, долгие ожидания и стремительные взлеты переплетаются в ней. «Изобретения путешествовали и переживали приключения. Они пробирались сквозь глухие леса и пустынные степи недоверия или насмешек, и часто изобретатели замечательных вещей умирали раньше, чем люди начинали пользоваться их изобретениями. Одни изобретения оказывались сделанными слишком рано, другие — слишком поздно, третьи хоть и появлялись вовремя, да не могли пробить каменную стену равнодушия людей, не понимавших, зачем они нужны. Иногда замечательное изобретение казалось людям не стоящим внимания пустяком. Иногда и сам изобретатель не понимал, что он сделал великое открытие», — сказано в предисловии.

Заметный успех выпал на долю этой книги. Ребята, особенно мальчики, увлекались ею, в библиотеках записывались в очередь, чтобы ее получить, мне показывали зачитанные до дыр, растерзанные на отдельные листочки экземпляры. «Приключения изобретений» перевели на множество иностранных языков, в том числе — на японский. Эта работа долго не отпускала автора, он все возвращался и возвращался к ней, отыскивал неизвестные истории изобретений, собирал сведения об их судьбах, каждое следующее издание дополнял новыми рассказами, включал новые главы. Впрочем, не только прошлое изобретений занимало его. Он вообще увлекался техникой (вот они, гены, наследство инженера путей сообщения Игнатия-старшего!), много ездил по заводам и стройкам — на Урал, в Сибирь, — писал о них очерки для газет и журналов.

С первого дня Отечественной войны Александр Ивич — военный корреспондент в действующих частях авиации Черноморского флота. Полгода проводит в осажденном Севастополе, участвует в обороне Кавказа и в наступлении на Крым. Во время войны и о войне написаны им, кроме ста с лишним очерков и корреспонденций для газет, три книги для взрослых, а для детей — книга о летчиках «Июньское небо».

К литературе для детей относился он крайне серьезно, считал ее важнейшей частью великой русской литературы. О том, какой должна быть по-настоящему хорошая детская книга, размышлял в критических и литературоведческих статьях, написал фундаментальное исследование, посвященное истории и теории детской литературы, «Воспитание поколений». Эта книга тоже выдержала несколько изданий.

Убегая от реальности, на какое-то время попытался уйти из своего времени и переселиться в далекое прошлое, чтобы написать историческое повествование для детей. Не один год потратил Александр Ивич, собирая материалы об Иване Кулибине — в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, работал в архивах, изучая документы прошлых веков. Изысканно стилизованная повесть «Художник механических дел», одна из лучших работ Александра Ивича, рассказывает больше, чем историю жизни изобретателя-самородка, она передает дух эпохи: мы находим там широкую картину России на рубеже XVIII — XIX веков — от лавки купца до архиерейских палат, Академии наук и Императорского дворца. Только, на мой взгляд, автор напрасно считал повесть произведением для детей: книга больше подходит взрослому читателю.

Но все же истинным его призванием и главной жизненной задачей, достойно исполненной, было продолжение дела, начатого «Картонным домиком»: хранение культуры, нематериальных ценностей, которым грозила гибель. Мне кажется, он и не переставал быть издателем, издателем будущих книг: исподволь подбирал и готовил к публикации значительные произведения в стихах и прозе, — пусть их нельзя опубликовать сейчас, — для тех, кто сможет открыть их читателям. Когда-нибудь. Чтобы не сгинули.

Мой отец не был коллекционером, дух собирательства был ему чужд. Он легко и с радостью дарил в «хорошие руки» ценнейшие книги и редчайшие публикации. Не он искал рукописи для своего архива: это они находили его. Среди его современников не так много существовало людей, способных *принять и не сжечь* то, что считалось в годы террора крамолой!

Он сберег рукописи книг, публиковавшихся в «Картонном домике», и те, о публикации которых шла речь. Летом 1922-го Владислав Ходасевич, покидая Россию, как он тогда думал, «до лучших времен», оставил ему (также «до лучших времен») свои бумаги — рукописи, черновые наброски, автографы стихов и прозы, документы. Собрание пополнила после кончины Владислава Фелициановича и в последние годы своей жизни первая жена Ходасевича Анна Ивановна, урожденная Чулкова.

Вдова Георгия Маслова, Елена Тагер-Маслова, памятуя, что «Картонный домик» издал «Аврору», передала моему отцу некоторое количество автографов и большое число машинописных копий стихов Георгия Маслова, опубликованных в Сибири и неопубликованных, завизировав каждую страницу своей подписью.

В момент очередного наступления на литературу, в августе 1946 года, затравленная Надежда Яковлевна Мандельштам бросилась к Сергею Бернштейнаму с просьбой принять на хранение немногие уцелевшие рукописи поэта, прижизненные машинописные копии и составленный ею — от руки или на машинке — корпус его поздних стихов[49].

---

[49] Подробнее о передаче архива см.: *Мандельштам Н.* Книга третья. Париж, 1987. С. 116-117, 122; *Мандельштам Н.* Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 414 (Н. Я. Мандельштам ошибочно указывает дату: называет 1948-й год вместо 1946-го и сообщает, что рукописи О. Мандельштама отец взял у ее брата, Е. Я. Хазина. — *С. Б.*); *Богатырева С.* Завещание // «Вопросы литературы», 1992, № 2. С. 250-276.

В годы Отечественной войны государство, занятое проблемой собственного выживания, почти оставило в покое вдову поэта, и ей в эвакуации удалось соединить в своих руках большую часть его стихов и прозы. «В Ташкенте, — вспоминает Надежда Яковлевна, — у меня собрались все рукописи. <...> Я сначала спокойно держала их у себя, отдавая на хранение только "альбомы", но брали их, впрочем, неохотно. <...> Но к концу войны атмосфера стала сгущаться»[50]. В ответ на «сгущение атмосферы» Надежда Яковлевна, встревоженная явными признаками слежки, собирает стихи Мандельштама — автографы и машинопись, а также записи, в разное время сделанные ею, и передает их Анне Андреевне Ахматовой, когда та покидает Ташкент. Анна Андреевна улетела в Москву 15 мая 1944 года, вместе с нею туда переместилась большая часть архива Мандельштама. Привезенные ею бумаги Ахматова поместила у Эммы Григорьевны Герштейн, где они находились в течение двух последующих лет. Однако после публикации печально знаменитого постановления «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» (оно появилось в центральных газетах 14 августа 1946 года) Эмма Герштейн сочла невозможным держать их у себя и вернула Надежде Яковлевне, благо та как раз находилась в Москве: приехала на каникулы из Ташкента, где в то время преподавала в САГУ, тамошнем университете. Эмма Герштейн «притащила мне перед самым моим отъездом, — рассказывает Надежда Яковлевна, — папку со стихами М. О., оставленную ей Ахматовой. Взять с собою эту папку я не рискнула... Отложить отъезд я не могла — с трудом добытый билет был у меня в руках, и я уже опаздывала к началу учебного года. В моем положении это могло быть использовано, чтобы выгнать меня и лишить хлеба — того самого черствого хлеба, который мне давала служба. Я крепко выругалась, схватила папку и побежала к Сергею Игнатьевичу Бернштейну. Он жил недалеко от меня... Сергей Игнатьевич выслушал меня и взял папку. Она пролежала у него и у его брата Сани Ивича все опасные годы послевоенного периода»[51].

Мне хорошо знакома эта папка, — опустевшая, потерявшая свой драгоценный груз, она все еще находится в нашей семье, — и твердо помню, что появилась она у нас в то самое время, когда бушевала позорная травля Ахматовой и Зощенко. Два непривычных для меня, ученицы пятого класса, слова с противоположным — одно с положительным, другое с отрицательным — смыслом «архив» и «постановление» вошли в мою жизнь одновременно, и оба сопровождались запретом произносить их в школе или во дворе. Родители строго-настрого предупредили: даже самым близким подругам не дай Бог проговориться о том, что в доме хранится архив Осипа Мандельштама или о том, как в нашей семье отзываются о «постановлении». Это был один разговор, следовательно, события совпали по времени, и на том основывается моя уверенность, что у Сергея Игнатьевича Бернштейна папка находилась короткое время и вскоре переселилась к моему отцу: по-видимому, братья сочли это место более надежным.

Сергей Бернштейн был человеком науки настолько, что в реальную жизнь почти не заглядывал. Все, что касается бытовых забот, брала на себя его жена

---

[50] *Мандельштам Н.* Книга третья. С. 113.

[51] Там же. С. 116.

Анна Васильевна; дела, связанные с книгами, публикациями, даже заполнением обязательных служебных анкет и прочей «бумажной работой», входили в компетенцию младшего брата, который на таком фоне выглядел чуть что не практичным человеком; он никогда не оставил бы старшему дело, сопряженное с нешуточной опасностью. Естественно, что при таком раскладе хранение архива Осипа Мандельштама больше подходило моему отцу, чем дяде.

Сыграли роль и практические соображения: у нас было спокойнее. Сергей Игнатьевич с аспирантами и студентами работал по большей части дома, ежедневно два-три человека приходили к нему на консультацию, а нашу квартиру посещали только «свои». Кроме того, стихи требовалось немедленно перепечатать: бесценные автографы — для того, чтобы не дотрагиваться до них лишний раз, а сделанные от руки записи поздних стихов — для работы над архивом, которая началась со следующего приезда Надежды Яковлевны. У нас была пишущая машинка, и моя мама прекрасно владела ею. В 40-х годах прошлого века далеко не в каждом доме водилась такая «роскошь», у дяди ее не было, а о ксероксах-сканнерах-принтерах и прочей технике, без которой мы не можем сейчас обойтись, в те годы и слыхом не слыхивали.

Сергей Игнатьевич оставался активным участником хранения, рабочие встречи с Надеждой Яковлевной почти всегда происходили в его присутствии, для себя же он собственноручно изготовил дубликат: старомодным «профессорским» почерком аккуратно переписал все стихи с листочков, принесенных Надеждой Яковлевной.

22. «Голубая книга»

Благодаря столь драгоценному пополнению своего архива (полное собрание ненапечатанных стихов Осипа Мандельштама, известных его вдове к тому времени, а также 58 автографов и 19 стихотворений в прижизненной машинописи) отец на короткий миг вернулся к издательской деятельности — в ту, самую глухую сталинскую пору, между появлением «Постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград”», втоптавшего в грязь Анну Ахматову и Михаила Зощенко, и началом кампании против «космополитов», втоптавшей в грязь бесчисленное число литераторов, театро- и литературоведов, имевших несчастье носить нерусские фамилии или просто отличавшихся «лица необщим выраженьем», — в том числе, и его самого.

Изданная им книга вышла в свет в количестве трех экземпляров и была первой самиздатской публикацией, которую мне довелось держать в руках. Только я не знала, что она так называется: слово «самиздат» появилось в нашем словаре позднее. Вот тут отец предстал передо мною издателем — в первый и последний раз. Меня удостоили чести принять участие в выборе бумаги. Скользкие толстые пачки стандартной писчей и той, что для пишущих машинок, были сразу решительно и высокомерно отвергнуты. В писчебумажном магазине на Пятницкой отец долго перебирал блокноты, откладывая те, что казались подходящими, те, что почти подходили, но нет, все-таки не совсем, и те, о которых стоило подумать. Стопка их вырастала на прилавке, отец норовил разложить их рядом для сравнения, а продавщица сгребала в кучу, я же трепетала под ее начальственным взглядом, на который

отец не обращал внимания. Мне хотелось, чтобы уж он поскорее взял хоть какой-нибудь, лучше тот, с серым кожаным верхом и серебряным обрезом (он, кстати, потом достался мне для дневника), чтобы уйти, сбежать отсюда. В конце концов стопка вернулась на полки (испепеляющий взгляд продавщицы), и в ход пошли наборы почтовой бумаги. Подчеркнутая вежливость обращения («Будьте так добры, если вас не затруднит, вот, пожалуйста, еще тот, с самого верху») успеха не имела. К моему ужасу ропот закипал у нас за спиной, где сгрудилась ватага моих ровесников, полкласса, не меньше: осень, начало учебного года. Эти выбрали мишенью меня, и чего пришлось наслушаться, лучше не вспоминать. Отец колебался: что лучше? Белая, изысканного приятного на глаз формата, но тонкая, или голубая, плотная, с тиснением, но размером с обычный скучный лист для машинки. Выбор пал на голубую. Мое терпение и моя, будто бы, помощь были вознаграждены вожделенным блокнотом под кожаной крышкой, в котором в течение двух последующих лет мне предстояло записать изрядное число пустяков — дурным почерком и с кучей орфографических ошибок.

Покупка бумаги оказалась только началом. Следовало улучшить ее формат, с точки зрения отца, недостаточно элегантный для книги стихов великого поэта. Каждый лист надлежало остро заточенным ножом разрезать надвое, так, чтобы края не махрились и страницы совпадали по размеру до миллиметра. Остальное выпало на долю моей мамы: печатать на этих неудобных для машинки листочках каждое стихотворение отдельно, без единой опечатки, строго соблюдая размер полей и расположение строк. Машинка была старенькая, довоенная «Москва», уже однажды послужившая русской литературе. В 1941-м, когда отец был на фронте, а я с другими писательскими детьми — в эвакуации в Берсуте и Чистополе, мама приехала ко мне, захватив среди немногих необходимых вещей пишущую машинку, и в феврале 42-го отпечатала Борису Леонидовичу Пастернаку только что законченный им перевод «Ромео и Джульетты». Делала она это с гордостью и великим тщанием, а мне, чтобы не мешалась, отдавала третьи экземпляры, по которым, до тех пор избалованная чтением вслух, я выучилась и полюбила на всю жизнь читать про себя и для себя.

Отпечатанный на нарядной бумаге первый экземпляр «Московских» и «Воронежских стихов» Осипа Мандельштама казался почти настоящей книжкой, был снабжен алфавитным указателем, оглавлением и заключен в бумажную обложку. Второй и третий выглядели скромнее, зато на их долю выпала долгая рабочая жизнь.

Каждое лето начиная с 1947 года Надежда Мандельштам, приезжая в Москву на каникулы из тех отдаленных или не слишком отдаленных мест, где ей выпало скитаться, обучая студентов учительских, педагогических институтов, реже — университетов, чтобы заработать на жизнь, навещала архив в нашем доме. По летнему времени это обычно происходило где-нибудь на даче, в ближнем Подмосковье: Болшеве, Валентиновке, Переделкине или Мичуринце. На самом большом и удобном столе раскладывались листы второго и, про запас, третьего экземпляров «Полного собрания ненапечатанных стихов Осипа Мандельштама». Надежда Яковлевна с неизменной папиросой, Сергей Игнатьевич (овдовев, он проводил лето в нашей

семье) с изогнутой душистой трубкой, отец с блокнотом и пером устраивались вокруг. Надежда Яковлевна читала вслух стихотворение за стихотворением наизусть, а отец следил по тексту, и, если возникали разночтения, они обсуждали, что это: вариант, слово из черновой рукописи или просто ошибка памяти. Когда не хватало места или правка от обилия становилась неразборчивой, в ход шел третий экземпляр.

Думается, что когда Надежда Яковлевна увидела «Голубую книгу», где зафиксировано было все, что она помнила из неопубликованных стихов Осипа Мандельштама, она освободила свою память от основного корпуса, и из подсознания стали всплывать отвергнутые или сосуществовавшие на равных правах варианты, «двойчатки» и «тройчатки». Листки машинописи покрывались густой вязью правки, строки и целые строфы вычеркивались, вставлялись новые, стихотворения менялись местами. Чрезвычайно трудный для ответа вопрос: всегда ли правка была правомерной, насколько восстанавливала волю поэта и не слишком ли смело Надежда Мандельштам обращалась с текстами Осипа Мандельштама, — по сей день остается открытым[52].

А нарядную «Голубую книгу» даже не вынимали. Только после отъезда Надежды Яковлевны мама аккуратно перепечатывала на остатках тисненой бумаги привезенные Надеждой Яковлевной не известные ранее строфы и даже целые стихотворения, вновь возникшие варианты, а отец заменял страницы. Так и хранился самодельный томик в неприкосновенности долгие годы, пережил Сталина, торжественно переместился из тайного ящика на открытую книжную полку и встал рядом с «Камнем», «Tristia», «Шумом времени», «Стихотворениями» 1928 года, первым сборником большой серии «Библиотеки поэта» в ожидании всех тех бесчисленных изданий и переизданий Осипа Мандельштама, до появления которых оставалось еще немало лет.

Но до этого времени ему не суждено было дожить: томик в бумажной обложке, который в нашей семье так любили и которым мы в тайне друг от друга гордились, исчез при трагических, по сей день не проясненных обстоятельствах, типичных для советской эпохи.

Когда Надежда Мандельштам сочла работу над корпусом завершенной, она решила окончательно доверить подготовленный текст нашему дому и 9 августа 1954 года торжественно вручила мне два письма-завещания: один я должна была держать при себе, второй следовало вложить в «Голубую книгу».

Письмо первое:

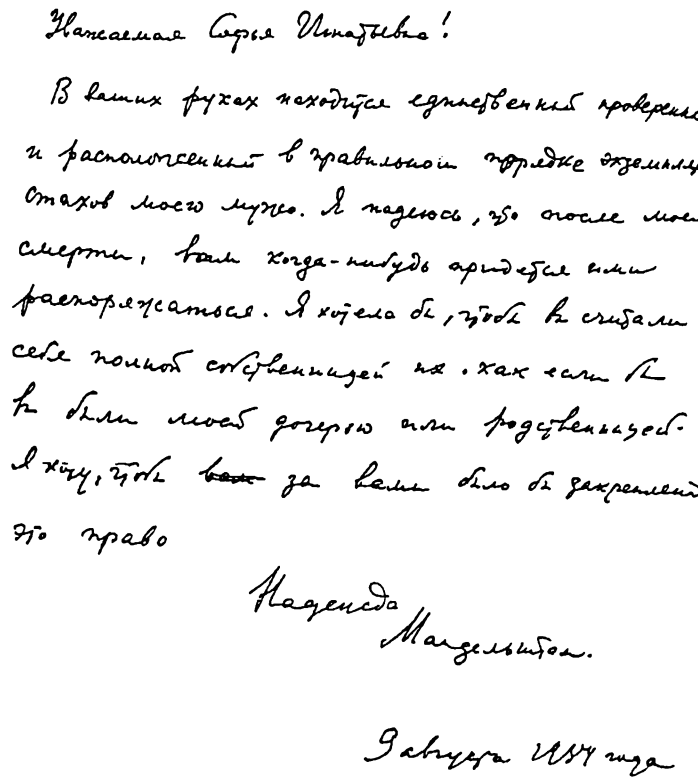
Уважаемая Софья Игнатьевна!

В ваших руках находится единственный проверенный и расположенный в правильном порядке экземпляр стихов моего мужа. Я надеюсь, что после моей смерти, вам когда-нибудь придется ими распоряжаться. Я хотела бы, чтобы вы считали себя полной собственницей их, как если бы вы были моей дочерью или родственницей. Я хочу, чтобы за вами было закреплено это право.

Надежда Мандельштам.
9 августа 1954 года.

---

[52] См.: *Богатырева С.* Воля поэта и своеволие его вдовы. В кн.: «Отдай меня, Воронеж...». Третьи международные мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 360-377.



Письмо второе:

Это единственный проверенный и правильный экземпляр ненапечатанных стихов моего мужа. Я также прошу считать женщину, сохранившую этот экземпляр, собственницей этих рукописей. Только ей должно принадлежать право распоряжаться ими.

Надежда Мандельштам.
9 августа 1954 года.

Оба письма написаны на той самой тисненной голубой бумаге, на которой печатался первый экземпляр самиздатской книги стихов Осипа Мандельштама.

Поскольку Надежда Мандельштам объявила, что в моих руках «*находится единственный проверенный и расположенный в правильном порядке*» экземпляр стихов Осипа Мандельштама, тексты «Голубой книги» в нашем кругу считались авторизованными и служили для правки ходивших по рукам списков и публикаций, которые стали все чаще появляться в СССР и за границей. С этой целью в 1980-м самодельная книжка отправилась «работать» в Питер. Ее увез мой друг Сергей Маслов, один их самых блестящих

представителей своего поколения, ученый, математик, деятельный правозащитник, любитель и тонкий знаток русской поэзии. 29 июля 1982 года он был убит по пути в Москву грузовиком, врезавшимся в его машину. Трагедия имела вид автодорожной катастрофы, но почерк ленинградского ГБ просвечивал сквозь протокол ГАИ. В северной столице с неугодными властям лицами не единожды расправлялись при помощи наемных колес. Думаю, что «Голубая книга» в тот летний день тоже направлялась в Москву. Больше я никогда ее не видала и ничего не слышала о ней. Марки «Картонного домика» работы Александра Головина на голубой бумажной обложке, естественно, не было.

23. Гибель ходила вокруг архива

— то приближаясь вплотную, то чуть отдаляясь. Вот некоторые вехи — из самых опасных.

В 1938-м был арестован Михаил Кольцов, главный редактор «Огонька», где работала моя мать. Ее, равно как и остальных сотрудников, таскали на Лубянку, пытались склонить к сотрудничеству (маму выручила удачно разыгранная истерика, — кто-то сказал ей, что *они* — чекисты или как их тогда называли — избегают связываться с истеричками; она попробовала и — помогло!). Ареста и обыска в доме можно было ждать в любую минуту.

Осенью 1941-го, когда отец был на фронте, а мы с мамой и бабушкой — в эвакуации, одну из стен нашего московского дома — как раз ту, куда выходил отцовский кабинет, — обрушило взрывной волной. Наша квартира на нижнем этаже оказалась открытой всем ветрам и прохожим. В пору исторической паники в октябре 41-го, когда из Москвы бежали, кто куда мог, Сергей Бернштейн ежедневно пешком, с холщевым мешком за плечами шагал со своего Столешникова в наше Замоскворечье, собирал с подмерзшего пола папки с рукописями и книги, с присущей ему методичной аккуратностью укладывал их в мешок и — дождь ни дождь, бомбежка ни бомбежка — тащил мешок пешком по Пятницкой, через Устьинский мост, Красную площадь, вдоль пустынной Петровки в Столешников переулок, в глубь двора и дальше по крутой лестнице на самый верх, в свою квартиру на четвертом этаже. Было ему без малого пятьдесят. Дни стояли короткие, но если везло и не задерживала воздушная тревога, ему удавалось до наступления комендантского часа сделать две ходки подряд. Однако то, что унесло взрывной волной или утащили прохожие, исчезло навсегда: мне известно о пропаже прощального письма Владислава Ходасевича и автографов Маяковского.

В 1949-м отца объявили космополитом, издательства расторгли с ним договоры на сданные и одобренные, но не успевшие выйти в свет рукописи (одна из них даже была отпечатана, но тираж, как выражались в то время, «пустили под нож», уничтожили) и потребовали вернуть все выплаченные за них гонорары. Возвращать было нечего: на этот законный заработок жила семья. Когда он иссяк, отец искал то, что называлось тогда «негритянской» работой: писал статьи под чужим именем, за что владелец одолженного имени брал себе половину гонорара. Отвечал — тоже под чужим

именем — на письма детей в «Пионерскую правду» — по 2 рубля за штуку. Мать продала золотые безделушки, доставшиеся ей от моего деда, до революции — тульского фабриканта, купца первой гильдии. Поредели книги на полках — изрядная часть их перекочевала в букинистический отдел «Книжной лавки писателей». Помню, как горько было, придя из школы, обнаружить длинную прореху на том месте, где еще утром красовались все двенадцать томов собрания сочинений Александра Блока, — я как раз в то время начинала его читать и любить. Хныкать я не посмела: права жаловаться на невзгоды в семье не было. Какое бы скромное, а честнее сказать, нищее существование мы ни вели, сводить концы с концами не удавалось. Куда уж тут было платить мнимые долги издательствам! А те подали на отца в суд и, натурально, выиграли дело. Явился судебный исполнитель описывать наше жалкое имущество — тоже была разновидность обыска. На ножку письменного стола, где хранились папки с архивом, налепили жестяную бляшку, но внутрь ящиков никто заглядывать не стал.

Тем не менее архив продолжал существовать, хранился в надлежащем порядке, и — он жил, он дышал, он работал!

Начиная со времен оттепели стали являться в Москву залетные птицы — американцы, занимающиеся русской литературой. Первых прислала в наш дом Нина Николаевна Берберова. Дэвид Бетей, Роберт Хьюз, Джон Мальстад прилежно изучали в архиве моего отца материалы, связанные с биографией и творчеством Владислава Ходасевича, которые вошли затем в подготовленное в США первое, почти полное «Собрание сочинений» поэта, в трехтомное издание «Владислав Ходасевич. Пушкин и поэты его времени», в монографию Дэвида Бетея «Ходасевич, его жизнь и творчество».

Этих книг отец не увидел.

Хранившиеся у нас рукописи и машинописи Осипа Мандельштама стали базовой основой всех изданий поздних стихов поэта. В примечаниях в качестве источника неизменно указывается: «АИ» (архив Александра Ивича).

Об этом он тоже не успел узнать.

Те листки, что скромно лежали когда-то в ящиках его письменного стола, находятся сейчас в библиотеке Принстонского университета, в специально оборудованных подвалах-холодильниках, содержатся по строгим правилам науки и лишь в исключительных случаях, только в сухую и ясную погоду, их поднимают в читальный зал. Это сделали для меня, когда в 1996-м меня пригласили в Принстон с лекциями. Я вновь увидела папку — нет, не ту, бежево-серую, что передала когда-то Надежда Мандельштам Сергею Бернштейну, а красную, чуть потоньше и завязанную не с трех сторон, а на один узелок, но также до боли мне знакомую и также помеченную рукой моего отца крупной буквой «М». Словно весточка от него настигла меня тут, на американской земле, где он никогда не бывал.

Горькой радостью было публиковать на родине, после падения советского режима материалы из архива отца. Радостью, что могу выпустить их из подполья на свет Божий, грустью, что хранил *он*, а печатаю — *я*.

Жизнь писателя и хранителя культуры Александра Ивича пришлась на жестокое время: террор, война, несправедливые обвинения и незаслуженные гонения выпали на его долю. Близкие ему люди гибли в тюрьмах и на

войне, любимые книги запрещались правителями. Издательское дело, которое он выбрал для себя в юности, для частных лиц было запрещено законом. Заниматься журналистикой, то есть писать честно и открыто о том, что тебя окружает, стало в конце концов невозможно. Быть литературным критиком, то есть анализировать новые произведения с точки зрения их художественной значимости, игнорируя «общественно-политическую» направленность и мнение малограмотного начальства, — нереально. Свою любовь к литературе и понятия о чести он воплотил в том, что сберег для будущего духовные ценности, агрессивно изничтожавшиеся настоящим. Сейчас, почти сравнявшись с ним в возрасте и глядя на его жизнь из иного века и с другого континента, я вижу, что девизом его было: в любых обстоятельствах жить достойно.

Мне кажется, это ему удалось.

Денвер, США
Декабрь 2009 г.

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР И ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ЭТИКА КАК ТЕМА ЕВРЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОГО ДИАЛОГА

До середины прошлого столетия еврейско-христианский диалог[1] казался невозможным по двум причинам. Для христиан Иисус из Назарета, живший в начале I века в Палестине, — это пришедший в мир Христос-Спаситель, фундамент, на котором стоит христианство и без которого оно мгновенно рассыпается. Для большинства же евреев Иисус — никто, один из череды самозванцев (в лучшем случае — добросовестно заблуждавшихся), в разное время притязавших на роль Мессии. А кроме того с момента возникновения христианства и вплоть до самого последнего времени христиане были убеждены, что теперь именно они являются «истинным Израилем», с которым Бог заключил новый союз; что Ветхий Завет — лишь предвосхищение Нового. Показательно, что даже Альберт Швейцер, серьезно исследовавший еврейские корни христианства, придерживался по сути того же мнения, хотя и выражал его другими словами. В своих лекциях «Христианство и мировые религии» (1922), отмечая, что в основе провозвестия Иисуса лежало созданное Амосом и Исайей представление о Царстве Божьем, он пишет: «Сравнивать христианство с религией Израиля более детально нет необходимости потому, что христианство переняло наиболее важные идеи этой религии и развило их дальше»[2].

С тех пор, однако, кое-что изменилось. Трагедия Холокоста заставила многих христиан задуматься: отрицая религиозную ценность раввинистического иудаизма, не внесло ли тем самым и христианство свой вклад в разжигание ненависти к евреям? А вера в безусловное превосходство христианства над иудаизмом была поколеблена историческими исследованиями. Эти исследования показали, что адресованные священникам, законо-

[1] Сразу поставим точки над i. Автор относит себя к христианской традиции, но надеется, что это никак не отразилось на содержании статьи (если не считать христианской транскрипции еврейских имен и некоторых разъяснений, которые евреям покажутся излишними).

[2] *Швейцер А.* Жизнь и мысли. М., 1996. С. 155.

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ — родился в 1940 г. в Харькове. Окончил Московский физико-технический институт, кандидат технических наук. Работает в Институте проблем управления РАН. Переводчик ряда книг по новозаветному богословию. Живет в Москве.

учителям и фарисеям упреки Иисуса (пусть и справедливые) и полемические высказывания апостола Павла о законе не могут служить объективной характеристикой иудаизма (даже иудаизма того времени, еще окончательно не сформировавшегося); что основанные на новозаветной полемике представления об иудаизме как о казуистической религии, в которой праведность достигается формальным выполнением разветвленной системы предписаний, не соответствуют действительности.

Даже и таких небольших подвижек в отношении к иудаизму оказывается достаточно, чтобы увидеть ту область, в которой еврейско-христианский диалог не только возможен, но и может быть плодотворным. Это диалог христианской этики и еврейской этики. Здесь иудаизм и христианство стоят на общей почве: ведь и еврейский закон, и христианская любовь, внешне столь непохожие, — это разные версии одной и той же библейской этики, согласно которой Бог требует от человека, чтобы его жизнь строилась на началах справедливости и добра. Только христианская этика больше опирается на пророческую эсхатологию и представления о грядущем Царстве Божьем, а еврейская — на библейское законодательство и многовековую традицию его устного комментирования, зафиксированную в Талмуде.

Чтобы продемонстрировать возможности такого диалога, сопоставим позиции двух выдающихся этических мыслителей прошедшего столетия: со стороны христианства — Альберта Швейцера, со стороны иудаизма — Эммануэля Левинаса. Эти имена выбраны не потому, что они хорошо представляют соответствующие традиции. Напротив, каждое из них находится скорее на краю спектра современных христианских и, соответственно, еврейских богословских позиций. Швейцер, отрицающий догматическую христологию, — с общепринятой точки зрения, крайний либерал. Левинас же, утверждающий, что только Талмуд и комментарии к нему дают интерпретацию Библии во всей ее полноте (с чем не согласны многие еврейские богословы, философы и политики), — традиционалист. Но выбор конкретных имен, во-первых, делает задачу сопоставления обозримой (ведь ни у христиан, ни у евреев нет общепринятых определений «христианской этики» и «еврейской этики», спектр мнений по поводу содержания этих понятий крайне широк). Во-вторых, общие взгляды Швейцера и Левинаса на религию и этику достаточно близки. Оба они убеждены, что в каждую новую эпоху религия может и должна заново продумываться, чтобы включить в себя новый опыт, и что именно в этике по-настоящему проявляется духовность религии. Благодаря этой близости общих установок можно надеяться, что различия этических взглядов Швейцера и Левинаса проистекают именно из различий между христианством и иудаизмом, а не являются следствием случайных личных предпочтений.

Результаты исторических исследований

Тем не менее определенные сомнения все же остаются: стоит ли в наш век науки опираться на мнения — пусть даже это мнения столь уважаемых людей, как Швейцер и Левинас? В конце концов, у нас есть тексты еврейской Библии (Ветхого Завета), Талмуда, Нового Завета. Не лучше ли прове-

сти их объективное сравнение? Да и быть не может, чтобы именно нам впервые пришла в голову столь оригинальная мысль. Наверное, все это уже сделано? Действительно, что-что, а древние тексты изучены за последние 100–150 лет вдоль и поперек, с применением богатого арсенала научных методов. И если очень кратко подытожить результаты этих исследований, то они сводятся к следующему.

1. В Ветхом Завете и в Талмуде заповеди, которые можно определить как этические (в современном понимании этого слова), формально никак не выделяются среди остальных заповедей еврейского закона, которые составляют подавляющее большинство и касаются либо соблюдения ритуала, либо правовых вопросов. Все заповеди одинаково важны, так как даны Богом. Тем не менее библейский образец нравственного поведения вырисовывается вполне ясно. Праведником считается тот, кто не делает другим того, чего не хочет, чтобы делали ему; помогает социально незащищенным (вдове, сироте, бедняку, страннику); всегда поступает по справедливости.

2. Заповеди Нового Завета в подавляющем большинстве чисто этические. Но и они имеют свой контекст: мессианское сознание Иисуса, убежденного, что Бог уполномочил его говорить и действовать от Своего имени, что последние времена уже настали и Царство Божье — при дверях. Эта убежденность особенно сильно проявляется в так называемых антитезах Нагорной проповеди, построенных по схеме: вы слышали, что было сказано... — а *я* говорю вам... (Мф 5:21-48). Здесь Иисус противопоставляет свои слова словам Торы, либо отменяя их, либо повышая содержащиеся в них этические требования. Но важно отметить следующее обстоятельство: Иисус открыто говорит о своих мессианских полномочиях только в наставлениях, обращенных к ученикам. В публичном провозвестии и в дискуссиях с противниками он пользуется иносказаниями. И высочайшие этические требования (которые по существу сводятся к тому, чтобы уже в этом мире, в то короткое время, которое еще осталось, жить по законам иного мира, Царства Божьего) предъявляются Иисусом только к ученикам[3].

3. Отвергал ли Иисус Галаху[4]? По мнению одного из авторитетнейших ученых-новозаветников Иоахима Иеремиаса — да, и притом радикально. Об этом свидетельствуют нарушения им галахических предписаний, связанных с субботой, причем о недопустимости таких нарушений его специально предупреждали (Мк 2:24), так что продолжение этой практики грозило ему смертью. По мнению же известного израильского ученого Давида Флуссера — нет, так как действия Иисуса и его учеников (несоблюдение ритуального омовения рук перед едой, исцеление больных и срывание колосьев в субботу) на самом деле не выходили за рамки допускаемого законом. Однако аргументы, которыми Иисус обосновывает свои поступки (что галахи-

---

[3] *Иеремиас И.* Богословие Нового Завета. Часть первая. Провозвестие Иисуса. М., 1999. С. 226, 274–280.

[4] Устный закон, детализирующий и дополняющий письменный закон (Тору) и позднее зафиксированный в Талмуде. Во времена Иисуса религиозный авторитет Галахи если еще и не сравнялся с авторитетом Торы, то был на пути к этому.

ческие предписания входят в противоречие с заповедью любви; что это установления не божеские, а человеческие; что суббота создана для человека, а не человек для субботы; что именно он вправе принимать решения о том, как соблюдать заповедь, и т. п.), показывают, что он не одобрял галахические предписания и намеренно вел себя так, чтобы иметь повод высказать свое неодобрение. Так что прав в этом споре, видимо, все-таки Иеремиас[5].

Здесь возникает ряд вопросов. Можно ли сопоставлять этические заповеди Ветхого и Нового Заветов, отвлекаясь от соответствующих контекстов? Не потеряем ли мы при этом чего-то весьма важного, относящегося к самым основам этики, к ее побудительным мотивам? Далее, правомерно ли противопоставлять этические высказывания Иисуса всему корпусу этических изречений Ветхого Завета и Талмуда? В конце концов, и там, и там можно найти близкие по духу изречения, мало чем уступающие изречениям Иисуса также и по высоте этических требований. Или все-таки позиция Иисуса заявлена с такой определенностью и силой, что ее действительно можно противопоставить преобладающей в Ветхом Завете и в Талмуде этической позиции? И как тогда определить эту преобладающую позицию?

Эти вопросы порождаются результатами исторических (научных) исследований, но ответы в этих результатах не содержатся. Исследования древних текстов при всей их важности дают в сущности лишь сырой материал, нуждающийся в дальнейшем осмыслении. Поэтому и наше намерение обратиться к современной христианской и еврейской этической мысли вполне оправдано.

Универсальный этический принцип и его обоснование

Ни Швейцера, ни Левинаса не удовлетворяет то обстоятельство, что в священных текстах этика представлена в виде множества заповедей, и каждый из них стремится выразить ее сущность в форме некоего общего принципа.

Стремление кратко выразить сущность нравственного присутствует и в древних текстах. Можно вспомнить хотя бы знаменитые слова Гиллеля: «Ненавистного тебе не делай ближнему, — в этом вся Тора, остальное лишь истолкование»[6]. Сюда же относится и ответ Иисуса на просьбу книжника назвать первейшую заповедь (Мк 12:28-34). Но современные мыслители подходят к делу более основательно. Они понимают, что побудительные мотивы, заставляющие человека следовать этическим требованиям, не рациональны. Но одной только ссылки на божественное установление в наше время уже недостаточно. Как говорит Левинас, сегодня такие ссылки относят к разряду эмоций или субъективных мнений. «Ничто не внушает к себе действительного уважения,.. если не отмечено печатью интеллекта»[7]. Иными словами, каковы бы ни были нравственные побуждения, им обязательно должна сопутствовать уверенность, что нравственные требования не

---

[5] *Иеремиас И.* Указ. соч. С. 231, 232; *Флуссер Д.* Иисус. Челябинск, 1999. С. 58-65.

[6] *Штейнзальц А.* Мудрецы Талмуда. М., 1996. С. 20.

[7] *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. М., 2004. С. 553.

случайны, что к ним с необходимостью приводит по-настоящему глубокое размышление.

Швейцер останавливается на этом вопросе более подробно. Конечно, религиозная этика апеллирует к сверхъестественному авторитету. Но это скорее формальная сторона дела. Человек готов повиноваться только таким этическим требованиям, которые находят отклик в его сердце. По мнению Швейцера, этическое мышление как таковое, — будь оно религиозное или философское, — всегда было нацелено на поиск универсального этического принципа, содержащего наиболее полное определение добра. Такой принцип «должен быть чем-то поразительно элементарным и сокровенным, что, захватив однажды человека, уже не оставляет его,.. не позволяет вытеснить себя из сознания и вечно провоцирует на полемику с действительностью»[8]. Вопрос о существовании такого универсального определения добра остается открытым. Во всяком случае, все, что предлагалось до сих пор, носило частный характер. Но поиск не должен прекращаться, иначе общий нравственный уровень человечества понижается.

Каков же, в таком случае, характер этической мысли? Можно ли назвать ее научной? Швейцер категорически отвергает такую возможность. «О том, что хорошо и что дурно, о побудительных мотивах, в которых мы черпаем силу делать одно и избегать другого, никто не может говорить с себе подобными языком ученого»[9]. Но и философская мысль не может похвастаться особыми успехами. Анализируя этическое содержание мировых религий и философских систем, Швейцер обнаруживает странную закономерность: чем безупречнее выглядит религия или философия с точки зрения логики, тем меньше в ней этики. Поэтому религиозная мысль по большей части оказывается ближе к цели, чем философская. «Там, где религиозные мыслители-моралисты могучим словом проникают до чистых вод подземных глубин, философская этика зачастую роет только ямку, в которой образуется всего лишь лужа»[10].

Этический принцип, который Швейцер предлагает в качестве универсального, — это принцип благоговения перед жизнью. Добро есть то, что служит сохранению и развитию жизни, зло — то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. Он обосновывает этот принцип, отталкиваясь от известного положения Декарта «я мыслю, следовательно, существую» как от абстракции (поскольку мыслить — значит мыслить о чем-то). Швейцер утверждает, что первичной мыслью является осознание себя живым существом: «Я есть жизнь, которая хочет жить, среди жизни, которая хочет жить»[11]. Отсюда возникает представление о моей воле к жизни как о части таинственной бесконечной воли к жизни, которая наполняет мир. Но эта воля раздвоена. Одни живые существа выживают за счет других, неся им смерть и страдания. Назначение человека, в котором воля к жизни впервые осознает себя, — всеми силами стремиться к преодолению этого раздвоения.

---

[8] *Швейцер А.* Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 105.

[9] Там же. С. 102.

[10] Там же. С.105.

[11] *Швейцер А.* Жизнь и мысли. С. 139.

Чтобы оказать помощь другой жизни и поддержать ее, он будет делать все, что в его силах, даже если не знает, могут ли его усилия хоть что-то изменить в мировом масштабе. Очевидна связь этого подхода к этике с библейским представлением о Царстве Божьем, в котором волк будет жить рядом с ягненком, а младенец, не подвергаясь опасности, играть перед норой гадюки (Ис 11:6-9). Только упор здесь делается не на описание будущего, а на его реализацию в этом мире, пусть лишь частичную.

Свой принцип благоговения перед жизнью Швейцер прямо связывает с христианской этикой. «Этика благоговения перед жизнью — это этика любви, расширенной до всемирных пределов. Это этика Иисуса, признанная теперь в качестве закономерного итога мышления»[12].

У Швейцера есть и другое обоснование принципа благоговения перед жизнью — эволюционно-историческое. У дикаря были обязанности только по отношению к ближайшим родственникам, ко всем остальным живым существам он относился как к вещам. У Платона и Аристотеля сфера этики охватывала уже всех сограждан, у поздних стоиков — все человечество. В христианстве (начиная с Франциска Ассизского) она начала распространяться на все живые существа.

Можно ли считать это двоякое обоснование философским? Разве что по форме. Ведь Швейцер опирается на чисто интуитивное понятие жизни, не пытаясь уточнить его содержание и вписать в общую структуру бытия. Он и сам считает необходимым указать, что его подход к обоснованию этики не соответствует стандартам современной философской мысли, и определяет его как «элементарное мышление». Такое мышление, во-первых, за отправную точку берет не какую-то новую и оригинальную идею, а мысли, возникающие рано или поздно у каждого человека; во-вторых, не подменяет эти мысли совершенно иными (которые могут быть в лучшем случае только внешне усвоены, но не пережиты внутренне), а лишь развивает и углубляет их.

Согласно Левинасу, универсальный этический принцип — это принцип справедливости, понимаемой следующим образом: справедливое отношение к другому человеку (или просто к Другому, с большой буквы) заключается в том, что я чувствую себя в моральном долгу перед ним и потому бесконечно более требователен к самому себе, чем к нему.

Обоснование этого принципа у Левинаса никак не назовешь «элементарным». Левинас — философ, прошедший школу Гуссерля. Его моральная философия — это особая «этическая онтология», по поводу которой он вступает в философский спор не с кем-нибудь, а с самим Хайдеггером! Удалось ли ему тем самым опровергнуть скептическое отношение Швейцера к возможностям философии в деле обоснования этики?

По Хайдеггеру, сущность человека заключена в его способности видеть различие между тем, что существует, и существованием как таковым (бытием). Такая способность означает, что у человека есть трансцендентальное измерение, которое позволяет ему выходить за пределы всего существующего в открывающееся ему и одновременно ускользающее, не поддающееся

[12] Там же. С. 489.

определению «бытие». По Левинасу же, трансцендентальное измерение человека обнаруживается не в его взаимодействии с безликим бытием, а в общении с Другим. Это общение предшествует всякой мысли о бытии. Поэтому этика должна предшествовать онтологии.

Одно из главных положений Левинаса — утверждение о радикальной инаковости Другого. Для Я и Другого не существует никакого объемлющего их единства, их нельзя подвести под какое-либо родовое понятие. Именно эта радикальная инаковость влечет Я к Другому в метафизическом плане, и она же пробуждает в Я нравственное сознание. Но почему эта мысль воспринимается так трудно? Мы скорее готовы согласиться с героиней романа Светланы Шенбрунн (писательницы, живущей в Израиле, но воспитанной на русской литературе), которая находит среди других людей наших двойников. Обращаясь мысленно к Достоевскому в трудную минуту своей жизни, она говорит: «Знаете, сегодня целое учение выстроилось — про Другого. "Безнравственность есть сдвиг внимания от Другого к себе". Узнаете?» И далее, вспоминая сцену из «Двойника», в которой «другой господин Голядкин» нахально поедает расстегаи за счет настоящего господина Голядкина, она продолжает: «Но где же тут другой? Где сдвиг и где безнравственность? В сущности, совершенно такой же самый, только слегка вывернутый наизнанку, рукавами наружу, милый и трогательный, любезный нам господин Голядкин»[13].

Некоторый свет на эту трудность понимания Левинаса проливает Жак Деррида. В своем эссе «Насилие и метафизика»[14] (положившем начало мировой известности Левинаса) он утверждает, что Левинас, используя философскую терминологию, на самом деле выходит за рамки традиционного философского дискурса. Потому что в самой сущности греческой философии (а другой у нас нет, философствовать — значит, философствовать по-гречески) заложено стремление свести все к единому первоначалу, и категория этического подчинена этому первоначалу как некой более высокой инстанции. Переворачивая это отношение (т. е. отводя этике роль первофилософии) и стремясь освободиться от господства Единого (которое у Левинаса принимает образ тотальности — философской основы и оправдания всякого угнетения), Левинас вступает в дискуссию с греческим (читай — с европейским) образом мыслей как таковым. Причем дискуссия ведется на таком уровне, «что эллины — и в первую очередь те два эллина, какими все еще являются Гуссерль и Хайдеггер, — оказываются вынужденными отвечать»[15]. Получается, что в ходе обоснования универсального этического принципа еврейско-христианский диалог перерастает в еврейско-греческий.

Итак, обосновывая свои этические принципы, и Швейцер, и Левинас уходят от традиционной философии, хотя и по-разному. Швейцер отказы-

---

[13] *Шенбрунн С.* Пилюли счастья. Новый мир, 2006, № 4. С. 96.

[14] *Деррида Ж.* Насилие и метафизика. Эссе о творчестве Эмманюэля Левинаса. В кн.: Э. Левинас. Избранное: Тотальность и бесконечное. М., 2000. Часть 3 в кн.: *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. М., 2004.

[15] Там же. В этом эссе Деррида сам отвечает за них Левинасу.

вается от философского мышления в пользу интуитивного («элементарного»), Левинас взрывает философию изнутри. Не объясняется ли этот выбор разных путей отчасти и тем, что результаты, которые они стремились получить, были изначально разными?

Место этики в религии. Этика и мистика

В христианской литературе очень популярна следующая метафора, описывающая место этики в религии. Люди — точки окружности, в центре которой Бог. Приближаясь — каждый по отдельности — к Богу, они тем самым уменьшают радиус окружности и в результате сближаются между собой. Если воспользоваться той же метафорой для характеристики позиции Левинаса (а он утверждает, что эта позиция отражает самую суть иудаизма), то она будет выглядеть следующим образом. Первично — сближение людей. Только оно приводит к уменьшению длины окружности, следствием чего является уменьшение радиуса, т. е. приближение к Богу. Собственно говоря, первое — это и есть мера второго.

В иудаизме человек вступает в отношение к Богу только через отношение к другим и вместе с другими. Поэтому этика здесь первична и занимает главное место. Вот как формулирует это Левинас: «Этика — не неизбежное следствие видения Бога: она есть само это видение. Этика — это оптика. Все, что я знаю о Боге, все, что я могу услышать от Него и разумно высказать Ему, должно найти этическое выражение. В священном ковчеге, откуда Моисей слышит голос Бога, заключено не что иное, как таблицы закона. Доступное нам знание Бога, возвещаемое, согласно Маймониду, в форме отрицательных атрибутов, принимает положительный смысл из морали. «Бог милостив» означает: «Будьте милостивы, как Он». Атрибуты Бога даны не в индикативе, но в императиве. <...> Знать Бога — значит знать, как надлежит поступать»[16].

В христианстве этика — важный, но все же не основной элемент, поскольку она не является необходимой составной частью учения о спасении. И хотя Швейцер в вопросе о главенстве этики полностью согласен с Левинасом[17], для христианства его позиция совершенно не типична, скорее даже маргинальна. Присущее его личности мощное этическое начало не позволяло ему смириться с вторичной ролью этики в христианстве. Но исторически сложилось так, что христианство, первоначально возникшее как новое еврейское мессианское движение, самостоятельной религией стало уже в греческом мире. Царство Божье, которого страстно ожидали первые поколения христиан, не наступило. Эсхатологические чаяния начали ослабевать, и эсхатологическое учение о спасении необходимо было переос-

[16] *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. С. 335.

[17] Почти теми же словами он говорит о том, что попытки интеллектуального познания Бога, мистического приобщения к Его высшему бытию не достигают цели, что подлинное знание Бога — это знание Его как этической воли. Разница только в том, что высшее выражение этой воли он видит не в Торе и комментариях к ней, а в словах Христа.

мыслить. Оно и было переосмыслено — с использованием терминов и понятий греческой философии. Это потребовало больших интеллектуальных усилий, которые были направлены в первую очередь на проблему спасения и ее стержень — учение о богочеловечестве Христа.

Богословие иудаизма — это нравственное богословие. Позднейшие учения, содержащие мистические элементы, — каббала, хасидизм, — по словам Левинаса, «получают права гражданства в еврейской душе только тогда, когда она полна талмудического знания. Талмудическая наука — развертывание этического порядка вплоть до спасения индивидуальной души» [18]. В христианстве же нравственное богословие — один из второстепенных разделов догматического богословия, сформировавшийся лишь в XVI веке.

Но у нашей метафоры есть и второй аспект. В конце концов, дело не в количественной оценке «удельного веса» этики в религии. Конечно же, реальное место этики в христианстве намного больше ее формального места в богословии. Во все времена среди христиан были люди, для которых деятельное служение другим стало смыслом жизни, — такие как Швейцер, мать Мария, мать Тереза. Да и сам Левинас с глубокой благодарностью говорит о многих христианах, которые, рискуя жизнью, помогали евреям в годы нацизма.

Но есть и другой тип христианина: ориентированный на уход от мира, на экстатическое переживание своей причастности к бесконечному, на ощущение восторга от божественного присутствия. Швейцер не разделяет эти религиозные переживания, расценивая их как иллюзорные. Но саму мистику как переживание духовной связи с бесконечным он ни в коем случае не отрицает. Более того, благоговение перед жизнью он называет этической мистикой. Левинас же *любую* мистику активно не приемлет, считает ее вредной и опасной. Перед его глазами постоянно стоит пример Хайдеггера. Казалось бы, Хайдеггер преследует возвышенную цель. Он призывает осознать ситуацию, в которой мы оказались, забыв о бытии и всецело сосредоточившись на существующем: мы гордимся современной техникой и думаем, что распоряжаемся ею по своему усмотрению; на самом же деле мы ею порабощены и незаметно сами стали шестеренками гигантского организационно-технического механизма. Что же плохого в этом, как называет его Левинас, «изысканном учении»? Плохо то, что Хайдеггер рассматривает человека как находящегося один на один с анонимным бытием, и потому его философия не содержит в себе *нравственного противоядия* от бесчеловечного отношения к другим людям. Поэтому и сам Хайдеггер в начале 30-х годов, пусть на короткое время, поддался националистическому угару, приняв его за начало духовного возрождения немецкого народа. С точки зрения Левинаса, не контролируемая разумом эмоциональная захваченность стихией божественного ничем не лучше хайдеггеровской захваченности бытием. Она лишает человека свободы и при определенных условиях может лишить его способности противостоять атмосфере вражды и ненависти.

Может показаться, что речь идет о каких-то второстепенных нюансах. На самом же деле разное отношение Швейцера и Левинаса к мистике отражает различие в характере религиозности христианства и иудаизма, ко-

[18] *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. С. 324.

торое в полной мере проявилось и в соответствующих этических принципах. Перед чем благоговеет Швейцер? Перед жизнью как единым и высшим по отношению к человеку началом. Оно выше человека и как недоступная ему тайна, и как бесконечное по отношению к конечному. Движущая сила этики — переживание своей связи с высшим, притяжение высшего. Она и направлена к высшему (в нашей геометрической метафоре — к центру). Левинас тоже не отрицает высшего начала. Бог есть, но он не есть нечто объемлющее всех людей. Мы знаем его только как источник закона. Личной связи с ним у человека нет. «Еврейский Бог никогда не терпел подобных встреч с глазу на глаз. Он всегда был Богом людских множеств»[19]. Движущая сила этики направлена по горизонтали (в нашей метафоре — по линии окружности), т. е. прямо от человека к человеку. Поэтому и задача разумного (т. е. не использующего представление о Боге) обоснования этики у Левинаса намного сложнее, чем у Швейцера. Ему надо было показать, что этическое отношение к другому человеку порождается самой структурой человеческого бытия.

Этика и смысл жизни

В традиционном религиозном сознании вопрос о смысле нравственности, о том, зачем она, не возникает. Исполнение воли Бога, а значит, и нравственных заповедей — цель жизни человека, его назначение. Но если одной только ссылки на Бога нам недостаточно и ставится задача определения добра и его разумного обоснования, естественно, появляется и вопрос о цели нравственного поведения.

Швейцер видит эту цель прежде всего в том, что в нравственном поведении человек обретает смысл жизни. Проблема смысла жизни возникает из-за того, что человек — конечное и несвободное существо, зависящее от не подвластного ему хода мировых событий. Она решается, если человек освобождается внутренне и устанавливает духовную связь с бесконечным бытием. Он достигает этого благодаря тому, что не живет для себя одного, а чувствует себя одним целым со всей жизнью, которая находится в сфере его влияния, и через нее ощущает связь с бесконечной волей к жизни. Благоговение перед жизнью — это этическая мистика, в которой связь с бесконечным достигается этическим действием[20].

Нравственный прогресс есть результат нравственных усилий отдельных личностей. Общество, государство ему скорее препятствуют. Источником этических конфликтов между человеком и обществом является надличная ответственность. Отвечая не только за себя, но и за дело, человек вынужден поступать вразрез со своей моралью. Но это не может служить для него оправданием, даже если он действует не из эгоистических побуждений. «В

---

[19] *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. С. 534.

[20] Это не значит, что Швейцер ставит всеобщую или совокупную жизнь на место Бога. Его цель (как и Левинаса) другая: показать, что размышление о нравственности и религиозное прозрение приводят к результатам, которые друг другу не противоречат.

каждом отдельном случае мы боремся за то, чтобы... сохранить максимум гуманности. В сомнительных случаях мы решаемся поступить скорее в интересах гуманности, чем в интересах преследуемой цели»[21]. Этику Иисуса Швейцер называет абсолютной именно потому, что она не принимает в расчет соображения общественной целесообразности. «Иисус... говорит нам, что мы должны всегда прощать, что мы не должны ни бороться за свои права, ни сопротивляться злу. Его не интересует,.. возможен ли такой закон в человеческом обществе. Он ведет нас выше всех соображений целесообразности — к внутренней необходимости исполнения воли Бога»[22].

Таким образом, Швейцер ищет смысл нравственного поведения не в результатах, к которым оно может привести (хотя он, безусловно, надеется, что усилиями нравственных личностей человечество преодолеет чрезвычайно опасный современный кризис мысли и морали), а в сфере духовной жизни нравственной личности. Этой жизни — диалектике самоотречения и самоутверждения, смирения перед неумолимым ходом мировых событий (которому невозможно приписать какую-либо нравственную цель) и внутреннего освобождения от его власти, пессимизма знания и оптимизма надежды — Швейцер посвящает немало замечательных страниц.

Левинас, в отличие от Швейцера, не уделяет особого внимания внутренним переживаниям, связанным с исполнением закона. Конечно же, закон исполняется не механически и не формально. Поступая справедливо по отношению к Другому, человек испытывает внутреннее удовлетворение. Кроме того, здесь, как и в этике Швейцера, тоже возможны внутренние коллизии. У Швейцера нравственный человек все время стоит перед проблемой: чем он может пожертвовать ради другой жизни, а что вправе оставить себе. С исполнением закона то же самое. Закон, к примеру, предписывает помогать нуждающемуся, но каждый сам решает, кого считать нуждающимся и какую помощь можно оказать. Просто эти моменты никак не акцентируются. Левинас, например, о них вообще не упоминает.

Ключевое для Левинаса слово «справедливость» кажется более приземленным, чем слова «благоговение» и «любовь». Он сам подчеркивает это. «Иудаизм предпочитает термин *справедливость* другим словам, более взывающим к эмоциям»[23]. Исполнение закона не считается особенно трудным делом и не требует, как у Швейцера, постоянной «полемики с действительностью». Но оно требует дисциплины, которая, согласно Левинасу, поддерживается соблюдением ритуала. «Ритуальный закон иудаизма устанавливает суровую дисциплину, ориентированную на справедливость. Только тот способен разглядеть лицо другого, кто сумел подчинить суровому правилу собственное естество»[24]. В качестве одного из доводов в пользу именно дисциплинирующей функции ритуала Левинас указывает, что еврейские ритуальные действия, в отличие от христианских, не являются таинствами.

---

[21] *Швейцер А.* Благоговение перед жизнью. С. 227.

[22] *Швейцер А.* Жизнь и мысли. С. 153–154.

[23] *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. С. 336.

[24] Там же.

«Ритуальному жесту не приписывается никакой внутренней силы. Но без него душа не смогла бы подняться к Богу»[25].

Социальные аспекты этики интересуют Левинаса гораздо больше, чем Швейцера. Если Швейцер смотрит на общество как на инертную массу, с трудом приводимую в движение нравственными усилиями отдельных людей, Левинас видит и другую сторону дела: общество может стать средством реального осуществления нравственности. Это та среда, в которой «праведность не останется стремлением индивидуальной набожности, но будет достаточно сильна, чтобы распространиться на всех и осуществиться»[26].

Слово «справедливость» имеет еще один аспект, о котором Левинас постоянно напоминает. Если мое отношение к ближнему и можно охарактеризовать как любовь или милосердие, то этих понятий недостаточно, когда один из моих ближних совершает насилие над другим. Я должен быть милосердным и к тому, и к другому, но когда речь заходит о преступлении и наказании, я должен сравнивать и оценивать. Отсюда следует важный вывод, что «между справедливостью и милосердием нет отношения *меньшего* к *большему*, что в общей экономии бытия они обозначают разные направления»[27]. Проблема преступления и наказания — это еще один тест, на котором выявляются различия между этикой Швейцера и этикой Левинаса. Поэтому остановимся на ней немного подробнее.

«Око за око, зуб за зуб». Как хорошо, что этот жестокий древний обычай отменен христианством! Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что именно этот, хотя и несколько видоизмененный, *принцип талиона* (возмездия, адекватного совершенному преступлению) лежит в основе современной практики наказания в цивилизованных христианских странах. Насилие всегда порождало ответное насилие (со стороны потерпевшего или его клана). Чтобы остановить этот лавинообразный рост насилия, государство берет функцию талиона на себя. История и логика этого процесса прекрасно изложены в недавней статье Эриха Соловьева[28]. В деспотических государствах средневековой Европы талион понимался буквально: преступники подвергались телесным увечьям, непосредственно связанным с тем вредом, который они причинили своим жертвам. Лишь к концу XVIII века передовая общественная мысль приходит к выводу, что телесное мучительство не является адекватной реализацией идеи справедливости; «что око, хладнокровно выколотое в застенке, — это куда чудовищнее, чем око, выбитое в драке»[29]; что единственно надежная мера при соотнесении тяжести наказания с тяжестью преступления — срок, на который преступника лишают свободы.

Левинас не преминул бы добавить, что результат, к которому Европа пришла ценой долгого и мучительного опыта, был за полторы тысячи лет до этого известен мудрецам Талмуда. Ссылаясь на то, что в библейском тексте правила талиона чередуются с установлением денежных компенсаций, они в

---

[25] Там же.

[26] Там же. С. 339.

[27] Там же. С. 451.

[28] *Соловьев Э.* Переосмысление талиона. Новый мир, 2004, № 1.

[29] Там же.

своих комментариях утверждали, что око за око — это фигуральное выражение, означающее соответствующий нанесенному ущербу денежный штраф[30].

Но нас здесь больше интересует не историческая, а моральная сторона дела. Обосновывая тезис, что суть наказания заключается именно в акте возмездия, Соловьев мимоходом замечает: «Можно спорить о том, является ли возмездие моральным актом». Но ни для Швейцера, ни для Левинаса предмета для спора здесь нет.

Можно не сомневаться, что Швейцер ответил бы на этот вопрос отрицательно. Все присущие возмездию и перечисляемые Соловьевым признаки морального акта (возмездие бескорыстно, неутилитарно, свободно от прагматического субъективизма) ничего не значат по сравнению с главным и единственным критерием: возмездие наносит ущерб жизни. Ведь жизнь преступника — это тоже жизнь, как бы низко мы ее ни оценивали[31]. Поэтому возмездие — зло, и его в лучшем случае можно зачислить по разряду общественной целесообразности.

Левинас столь же уверенно отвечает на этот вопрос положительно. Я могу простить любое причиненное мне зло, но прощение зла, причиненного другому человеку, аморально. Он приводит пример из Талмуда. Комментируя диалог между Богом и убившим своего брата Каином, учитель говорит: преступление против Бога подлежит божественному прощению, но преступление против человека не подлежит ведению Бога. «Никто, — развивает эту мысль Левинас, — даже Бог, не в силах стать на место жертвы. Мир, в котором прощение всесильно, перестает быть человеческим»[32].

Очевидно, что для Левинаса социальный аспект нравственности важнее личностного. Однако цель нравственности выходит за рамки социального и лежит в сфере религиозного. Пути иудаизма к Богу «проходят по другим местам, нежели пути христианства»[33]. Путь христианства ведет *через историю*, в ходе которой христианская истина воздействует на мир и которая должна окончиться вторым пришествием Христа и возвращением мира к Богу. Но в этом непрерывно меняющемся мире должно присутствовать вечное неизменное начало. Это начало воплощено в постоянстве закона, исполняя который, еврейский народ проходит *сквозь историю*, не подчиняясь ей[34]. Следовательно, нравственное поведение есть осуществление еврейским народом своей религиозной миссии. Понимая, что ко всякому

---

[30] Конечно, они не могли предвидеть современный разгул преступности, да и наших тюрем тогда не существовало. Это едва ли не единственный случай, когда Левинас поправляет мудрецов. Заметив, что богатые без труда могут оплачивать выбитые глаза и зубы, он восклицает: «Да, око за око. И вся вечность, и все серебро мира не способны исцелить обиду, нанесенную человеку».

[31] Сохранение жизни других людей от будущих посягательств преступника — это другая мотивация наказания и другая этическая проблема.

[32] *Левинас Э.* Избранное: Трудная свобода. С. 338.

[33] Там же. С. 331.

[34] Там же. С. 487-488. Из текста следует, что эта мысль принадлежит еврейскому философу Францу Розенцвейгу, с которым Левинас солидарен (хотя и признает, что она поставлена под вопрос с момента создания Государства Израиль).

партикуляризму (т. е. вере какого-либо народа в то, что Бог предназначил ему особую роль) в наше время относятся с подозрением, Левинас поясняет, что этот партикуляризм — особого рода: он не дает евреям никаких дополнительных прав, только дополнительные обязанности. Мы видим, что и Левинас связывает этику со смыслом жизни, только этот смысл у него не «индивидуальный», как у Швейцера, а «коллективный».

* * *

Своему эссе о творчестве Левинаса Жак Деррида предпосылает в качестве эпиграфа слова Мэтью Арнольда: «Иудейское и эллинское — между этими двумя полюсами притяжения движется наш мир. В какой-то момент его сильнее влечет к одному из них, в другой момент — к другому; и ему следовало бы, хотя этого никогда не происходит, ровно и благополучно поддерживать между ними баланс».

Еврейско-христианский этический диалог можно рассматривать как часть еврейско-греческого диалога. Мы видели, что определения добра и зла у Швейцера и Левинаса различаются не только терминологически, но и по сути. Они по-разному представляют себе границы этики (Левинас, в отличие от Швейцера, ограничивает этику отношениями между людьми, зато включает в нее ритуал и право); по-разному понимают истоки нравственных побуждений; по-разному оценивают соотношение личностного и социального аспектов в этике; наконец, в некоторых случаях они приходят к диаметрально противоположным моральным оценкам. Сопоставляя этические принципы Швейцера и Левинаса, мы иногда позволяли себе обобщать и говорить о христианской и о еврейской этике. Вероятно, это неправильно. Христианство и иудаизм — огромные миры, в каждом из которых есть все. Поэтому для любого общего утверждения всегда найдется опровергающий пример. Можно говорить лишь о тенденциях. Но эти тенденции просматриваются довольно ясно, и даже приведенный выше их беглый анализ позволяет, на наш взгляд, сделать некоторые выводы:

1. Трудно себе представить, чтобы еврейско-христианский этический спор когда-либо разрешился в пользу одной из сторон. В каждом из подходов есть своя логика и свой смысл.

2. Теоретически можно допустить существование более общего определения добра, включающего определения Швейцера и Левинаса как частные случаи. Но это более общее определение нельзя получить простой контаминацией определений Швейцера и Левинаса. Баланс, о котором говорит Мэтью Арнольд, здесь едва ли возможен.

Ситуацию прекрасно характеризуют слова Левинаса, которыми мы и закончим статью:

«Истина удостоверяется в иудейско-христианском диалоге. Он не ведет к окончательному выводу, а составляет как бы саму жизнь истины. Диалог живет самóй своей открытостью, присутствием собеседника. Мы далеки от средневековых диспутов с их законченностью. Несмотря на свою незавершенность, диалог ценнее!»[35]

[35] Там же. С. 461.

В ЧЕМ СИЛА И СЛАБОСТЬ ХРИСТИАНСТВА?

От редакции

26 мая 2009 года состоялся «Круглый стол» на тему «В чем сила и слабость христианства?», организованный журналом «Континент» совместно с Культурным центром «Духовная библиотека» (где он и проходил). Тем самым мы продолжили традицию обсуждений, ранее проводившихся нашим журналом (см. «Христианство и демократическая культура» — «Континент» № 134, 2007, а также «Христианская культура и светская культура: проблема взаимоотношений» — «Континент» № 138, 2008).

Актуальность темы, заявленной нынешним «Круглым столом», связана с теми вызовами, которые современность обращает к христианству, понятому и как длительная историческая традиция, и как личностный опыт членов Церкви.

С одной стороны, несомненно, что христианство обнаружило *силу*, выжив после массированных атак со стороны как европейского секуляризма, так и государственного атеизма советского образца.

Однако, с другой стороны, по сравнению с прошлыми эпохами своего расцвета оно — перед лицом как господствующего прагматизма (в жизни и общества в целом, и большинства его членов), так и выхода на мировую арену иных, весьма сильных и активных, религий (традиционных и новых), — ныне демонстрирует во многом скорее свою *слабость*.

Чтобы попытаться разобраться в этой сложной проблеме *силы и слабости современного христианства,* мы пригласили людей, представляющих различные сферы гуманитарного знания: литературу, философию, историю, богословие, политологию, журналистику. Ниже вниманию читателей предлагается запись состоявшейся дискуссии (с незначительными сокращениями).

Ведущий:

Александр Кырлежев, член редколлегии журнала «Континент»

Участники:

Алексей Львович Беглов, церковный историк, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Игорь Иванович Виноградов, главный редактор журнала «Континент»

Давид Мрктичевич Гзгзян, заведующий кафедрой богословских дисциплин и литургики Свято-Филаретовского института

Евгений Анатольевич Ермолин, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Континент»

Игумен Петр (Мещеринов), настоятель подворья Данилова монастыря, заместитель руководителя Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи

Александр Олегович Морозов, политолог

Ольга Александровна Седакова, поэт

Сергей Валерьевич Чапнин, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Владимир Кириллович Шохин, заведующий сектором философии религии Института философии РАН

Алексей Викторович Юдин, доцент Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии

О. Седакова. Когда мы говорим о силе и слабости, — идет ли речь о христианстве или о чем-то другом, — предполагается, что сами эти понятия, сила и слабость, это какие-то постоянные координаты, одни и те же для всех случаев. Но христианская позиция в этом отношении прямо противоположна большинству других установок, которые называются мирскими, или языческими, или, обобщенно, — «нехристианскими». Потому что одна из тех вещей, которые с самого начала полярно противопоставили христианство (христианство как весть) «нехристианству», это как раз представление о силе и слабости. Может быть, это самое центральное противопоставление. «В миру (или: у язычников) так, а у вас пусть будет по-другому». Для мира «сильный» — Лазарь богатый, но для вас — Лазарь бедный (потому что «для вас» значит: в глазах Бога). Слабое для мира — сильно для христианства, и наоборот, великое для мира — ничтожно для христианства. Я употребляю слова «для мира» так, как они употребляются во множестве новозаветных поучений: то есть для «человека плотского», «для ветхого Адама», для человека социального, das Man. «Мир» в другом смысле (мироздание, человечество и т. п.) совсем не так единодушен, и в нем не все и не всё исходят из полярных христианскому представлений о силе и слабости, верхе и низе, власти и служении и т. п.

Но в этом изначальном переворачивании силы и слабости (*«Низведе сильныя со престол и возведе смиренныя»*) заключен великий соблазн, *skandalon*, христианской вести для мира, о котором говорит при первой встрече с Младенцем Симеон: «на падение и на восстание многих»... И «скандал» Креста, который тоже, как мы помним, соблазн для многих, «для эллина и для иудея». Соблазн совершенно другого — да, скорее совершенно другого, а не просто противоположного — представления о том, что такое сила и слабость, власть и послушание, бедность и богатство, жизнь и смерть, в конце концов («если зерно не умрет...»). Даже для тех, кто полагают, что они приняли христианскую весть, для нас — пожалуй, именно представление о силе и слабости — это то, чему мы более всего противимся в этой вести. Что-то в нас (обычно говорят «ветхий Адам», можно сказать: инстинкт самосохранения, «самощажение», или же социальный конформизм) противится требованию того, что с «мирской» точки зрения выглядит крайней слабостью, полной безоружностью, безумием.

В подтверждение этому сопротивлению выдвигается очень много доводов. Один из них — справедливость: как же можно быть бесконечно милосердным, когда есть на свете обиженные и следует осуществлять справедливость? Не буду приводить другие — и часто, по всей видимости, разумные и отнюдь не низменные аргументы. Здесь действуют дохристианские представления о силе и слабости. Слабые подчиняются сильным и служат им. Как мы знаем, нам заповедано — и показано — противоположное. А прощать все и любить врага — к чему призывает это требование? По-мирскому, к слабости. А по-христиански — к невероятной силе, сверхчеловеческой, потому что своими силами исполнить это просто невозможно. Что такое нищета, кротость, плач из Заповедей Блаженств? Конечно, в мирском смысле все это слабость. Но сказано, что именно таким — нищим, кротким, плачущим — принадлежит и земля, и Царство Небесное. Сильнее их нико-

го нет. Кто выше, кто сильнее — тот больше страдает, тот больше служит, тот не прибегает ни к каким другим средствам, кроме любви... И эта поразительная весть представляет собой не какую-то маргинальную зону христианства, она находится в самой его сердцевине. Нельзя сказать, что эти непреходящие слова относятся только к некоторым, к «святым», как на олимпиадах: вот эти задачи все решают, а эти — только талантливые дети. Нет, это представлено как абсолютный императив для всех. Блаженны именно эти, а другие — не блаженны.

Кто-то из писателей XX века, кажется, Генрих Белль, заметил, что если бы мир писал свои заповеди блаженства, то они звучали бы приблизительно так: блаженны богатые, блаженны преуспевающие, блаженны довольные собой, гордые собой, блаженны те, кого весь мир признает и перед кем преклоняется... Вот это сила! Вот это удавшаяся жизнь! И полное, радикальное отречение от силы в этом мирском смысле — от силы власти, от силы престижа (славы), от силы имущества и многого другого — это самая сердцевина христианской вести.

В. Шохин. Вопрос о силе и слабости христианства не представляется особенно сложным хотя бы потому, что даже не самые благочестивые люди более 650 лет назад додумались до правильного ответа на него. Я имею в виду общеизвестный второй рассказ из «Декамерона» Джованни Боккаччо — об иудее, который обратился в христианство. Общая канва заключается в том, что в Париже были два купца: один — иудей Авраам, а другой — добрый католик Джианнотто ди Чивиньи. Иудей держался своей отеческой веры и никого не собирался обращать, тогда как Джианнотто постоянно пытался обратить друга в христианство. Наконец, иудей заявил: все, что ты говоришь, замечательно, но мне нужно убедиться из первоисточников, что ваша вера лучше, и пока я не увижу папский двор, никакие твои увещания на меня не подействуют. Джианнотто опечалился, потому что он очень сомневался, что картина, которую увидит иудей, будет способствовать его обращению, но Авраам твердо стоял на своем, и потому ему не оставалось ничего другого, как благословить его в дорогу. И когда иудей увидел, что делают папа, кардиналы и прелаты, то пришел к совершенно сенсационному выводу. Он сказал Джаннотто: то, что я увидел, меня поразило, потому что в то время, как все люди, ответственные за эту религию, всем своим образом жизни пытаются ее искоренить, ничего у них не получается: она все более распространяется, — и это значит, что Дух Божий действует в вашей религии. И тут же крестился.

Сказка ложь, да в ней намек... Действительно, сила христианства заключается в действии Духа Божьего в Церкви, а слабость — в нас самих, христианах. Если говорить о XX веке (посмотрим, что еще покажет XXI-й), то сила заключалась в том, что христианство дало возможность действовать Святому Духу Божьему в хранении вероучения, литургического предания, в непрерывности апостольского преемства, в силе мученичества и исповедничества под безумным, беспрецедентном давлением тоталитарных, антидуховных режимов, в поразительных явлениях святости. Достаточно вспомнить хотя бы о чудотворениях святителя Иоанна Максимовича, которые напо-

минают о преизобилии благодати апостольского века. Однако и каждый верующий при искреннем обращении к Богу и желании исполнять Его волю также может почувствовать посильный для его восприятия ответ Святого Духа Божьего.

А слабость, действительно, в человеческой стороне того, что немецкие философы религии называют «религиозным отношением». Слабости эти многочисленны и многообразны. Если говорить о современном состоянии христианского Запада, то можно говорить о болезнях малодушия, конформизма по отношению к общественному мнению, политкорректности. Если говорить о России, то это болезни равнодушия к ближнему, экстравертности, потребительского отношения к религии. Но, наверное, общей слабостью всех христиан всех времен и народов является несравненно бóльшая заинтересованность в повседневной, сиюминутной жизни, нежели в благах вечных. И это не зависит от звания: вполне можно быть монахом и заботиться по-настоящему об одном только земном.

Но сейчас мне хотелось бы подробнее остановиться на той слабости, которая уже имеет самые серьезные последствия для христианства как религии и будет иметь еще более значительные. О ней можно говорить даже как о болезни к смерти. Речь идет о специфической разделенности христиан, которая демонстрируется в течение почти уже двух тысячелетий: нет другой такой религии, которая являла бы аналогичную степень внутренней конфронтации и непримиримости. Я уже не говорю о религиях более «спокойных» (вроде буддизма или даосизма), но даже если взять ислам, там существует, конечно, вековая напряженность между шиитами и суннитами, прорывающаяся иногда и в формах насилия, но удивительное дело: они прекрасно объединяются перед лицом «неверных». У христиан же внутренние взаимоотношения делают проблематичной саму возможность их консолидированного отношения к внешнему, нехристианскому миру.

Пауль Тиллих, у которого иногда был «глаз, как алмаз», говорил о сравнительно толерантном отношении христианства к другим религиям и, как он выражался, демоническом отношении христианских конфессий друг к другу. Это очень важный момент. Потому что некоторые противники христианства, как, например, экс-католик Ханс Кюнг, постоянно обвиняют христиан в нетолерантности. Но надо понимать, о какой нетолерантности идет речь.

Если взять наиболее выразительные исторические примеры, которые идут из глубины веков до настоящего времени, то это хотя бы донатистские войны в Северной Африке, иконоборчество в Византии, разгром крестоносцами Константинополя, тридцатилетняя религиозная война в Германии, выкосившая чуть ли не половину населения, кровавые гугенотские войны во Франции (обычно принято напоминать Варфоломеевскую ночь, но были аналогичные действия и со стороны протестантов), межконфессиональные войны в Англии и Ирландии, подавление католиками православия в Польше, преследование православными старообрядцев... И это далеко не все из того, что можно было бы назвать.

Если приблизиться к настоящему времени, то это недавно осуществленный разгром Сербии. Несомненно, речь идет прежде всего о политической акции, но в ней была и незримая религиозная составляющая. Она зак-

лючалась в военной поддержке этнически христианскими странами ислама против православия на территории бывшей Югославии. Но помимо физической войны бывает и идеологическая: в прошлом году (ограничусь лишь одним примером) настоятели трех крупных афонских монастырей, в том числе Ватопедского, после двух случаев сослужения румынских иерархов с униатами предложили Константинопольскому Патриарху направить в Румынский Патриархат предупреждение, что «ни один епископ, который имел общение в таинствах с папистами или протестантами, не будет допущен до Афона». Из чего следует, что инославные христиане ими приравниваются к идоложертвователям или огнепоклонникам...

Да что там говорить про Балканы, — то же можно сказать и о России. Приведу пример реакции на свою собственную статью, посвященную дехристианизации Европы в настоящее время, которая была опубликована на сайте Богослов.Ру[1]. Я писал, что христианство в Европе все больше оказывается «в гостях», тогда как другие религии, ислам и иудаизм, — все более «дома». Реакция в ряде случаев была однозначная, и пределов возмущения тем, что меня вообще заботит состояние западного христианства, не было. Особенно это касалось моей фразы, что пора прийти к осознанию, что христиане — это прежде всего христиане, а потом уже православные, католики, евангелики и т. д. Было четко сказано, что до такого мог додуматься только человек неверующий, во всех отношениях порочный и т. д. И буквально было сказано: «что общего у Христа с Велиаром?» (подразумевались, соответственно, православные и инославные). Конечно, это духовная болезнь.

Здесь очень хотелось бы последовать идее Фридриха Шлейермахера, который в своих знаменитых «Речах о религии, обращенных к господам, ее презирающим» (1799 года) писал, что в христианстве есть постоянная неудовлетворенность, полемичность вследствие перфекционизма, боления за чистоту веры, за совершенство... Но одно дело — перфекционизм, и совсем другое — ксенофобия и ненависть, которая распространяется прежде всего на тех, кто ближе.

Разделение христианства принесло уже свой плод в виде отказа от самого упоминания христианства в проекте европейской конституции — причем не только как от религии, от духовной традиции, но и как от культурной составляющей Европы. Вряд ли это могло произойти, если бы наша религия представляла собой единую общественную силу, с которой пришлось бы считаться.

В 2007 году мне довелось обсуждать в Москве одну из редакций Белой книги Совета Европы по межкультурному диалогу, где был пункт о межрелигиозных отношениях. Я не могу не привести эту цитату: «Европа не была бы сегодняшней Европой, если бы ислам, иудаизм и иные религии не считались бы ее элементами наряду с различными конфессиями христианства». То есть христианство в Европе было поставлено на четвертом месте. Правда, это был не окончательный вариант, но то, что такая «иерархизация» религий в Европе могла быть спроектирована даже на подготовительной стадии, говорит о многом.

[1] www.bogoslov.ru

Легко предсказуемо не столь отдаленное будущее для христианства в Европе. Фактически уже сейчас существует запрет на христианскую апологетику. Например, люди, публично выступающие в Англии за креационизм, лишаются своих мест, а в Шотландии несогласие с «исламской христологией» также карается увольнением. Уже действует негласное требование отказа от христианства как условия занятия государственных и важных политических должностей. В этой связи мне вспоминается инцидент, имевший место несколько лет назад, когда Берлускони выдвинул одну кандидатуру в европейское правительство по социальной сфере и итальянскому деятелю задали вопрос о том, как он относится к однополым бракам, — то есть по теме, которая сейчас становится «символом веры» объединяющейся Европы. Он исповедал своего рода двойственную истину, сказав, что как человек он не может быть против прогресса, но как христианину ему это не очень нравится. И его кандидатуру тут же убрали.

Я думаю, что, судя по характеру нынешних отношений Ватикана и Израиля (которые начали складываться еще перед II Ватиканским собором), при которых вторая сторона берет на себя права судии по отношению к первой, а та оправдывается, далеко не за горами то время, когда не только беатификации католических деятелей, но и епископские (а может быть, и священнические) хиротонии будут совершаться лишь с согласия представителей других религий после проверки соответствующих кандидатур на «толерантность». Кажется, что это невозможно, но далеко не все представляющееся невозможным не может оказаться действительным. Давайте вспомним о статуарном движении христианства в первые века: от «религии нетерпимой» — к «религии терпимой» и, наконец (при Константине и Феодосии), — к «господствующей». Почему бы не представить себе и движение в обратном направлении, если уже сейчас христианство из «религии господствующей» (от этого статуса его в значительной мере избавили уже отцы II Ватиканского собора) в Европе стало лишь «относительно терпимой»?

Но есть немалая опасность и дехристианизации России. Если обратить внимание на то, что наша Церковь так много вкладывает в официальные мероприятия, храмостроительство и колокола, тогда как ислам гораздо в большей мере — в миссионерскую деятельность. Или, например, на то, что отмечал покойный Патриарх Алексий II: дефицит христоцентричности в самом православии.

Поэтому существует прямая зависимость между будущим всего христианства и готовностью к реальной консолидации. Тревогу вызывает проблематичность самой этой готовности.

Предпринимаются какие-то очень небольшие шаги. Например, обращение Русской Православной Церкви к конференции ООН против расизма, состоявшейся месяц назад в Женеве[2], с предложением ввести в международный правовой оборот понятие христианофобии наряду с исламофобией, юдофобией и т .д. (мне неизвестно, поддержали ли это предложение западные

[2] Всемирная конференция ООН по борьбе с расизмом (*World Conference Against Racism*, также известная как *Durban II*) проходила с 20 по 24 апреля 2009 года в штаб-квартире ООН в Женеве.

христиане). Позиция руководства нашей Церкви в настоящее время является трезвой и разумной. Но существует еще и общественное мнение, которое в России, как всегда, очень сильно отстает от официальных позиций.

Вопрос в том, на какой ноте закончить: на пессимистической или оптимистической?

Возможно, что в самой главной, эсхатологической, перспективе одно не исключает другого. Так, в Евангелии от Луки после притчи о неправедном судье и о вдовице задается вопрос: *Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?* (18:8). Как толкует блаженный Феофилакт Болгарский, сама постановка вопроса предполагает скорее отрицательный ответ[3]. В силу того, что Бог существует вне времени и для Него будущее прозрачно не менее, чем настоящее, это не пред-видение, но само видение нашего будущего и, возможно, не очень отдаленного. Но, с другой стороны, этот пессимизм никак не освобождает от ответственности — в контексте уже конечной победы христианства, которая также гарантируется евангельским текстом, сообщающем о том же времени (точнее, конце времен), что тогда *восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою* (24:30). Поскольку Бог поставил Себе после сотворения человека ничего не делать без человеческого участия, наверное, не все христиане того последнего времени не оправдают возложенных на них надежд.

А. Кырлежев. У меня две фактические ремарки на информацию, которая прозвучала. В окончательном варианте Белой книги Совета Европы по межкультурному диалогу (который опубликован, и текст доступен на сайте Совета Европы[4]) фразы, которая была процитирована, нет. Белая книга была принята в мае 2008 года. Действительно, поначалу был другой текст, но в конечном счете там перечисляются религии начиная с христианства. Более того, в небольшом разделе, который называется «Религиозное измерение», даже употребляется термин «традиционные религии», что перекликается с российской дискуссией.

Что касается конференции ООН против расизма, то в 12 пункте Итогового документа этой очень странной, скандальной конференции, которую проигнорировали в общей сложности 30 стран[5], христианофобия присутствует наряду с исламофобией, антисемитизмом, ксенофобией и т. д. То есть в языке ООН теперь существует термин христианофобия.

---

[3] Толкование на Святое Евангелие Блаженного Феофилакта Болгарского в двух томах. Т. II. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. С. 309.

[4] См. английский текст *White Paper on Intercultural Dialogue* в специальном разделе сайта Совета Европы: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_EN.asp

[5] Выступление на открытии конференции президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, содержавшее антиизраильские выпады, стало причинной того, что представители многих государств, а также ряда неправительственных организаций покинули конференцию. Некоторые страны вообще отказались от участия в конференции по той причине, что в ходе ее работы предполагалось выступление Ахмадинежада.

А. Юдин. Я позволю себе лишь две краткие реплики на выступление Владимира Кирилловича Шохина.

Первое: об ответственности отцов II Ватиканского собора за утрату христианством статуса «господствующей религии» в Европе. Возможно, такое суждение уместно, если рассматривать в совокупности все последствия II Ватиканского собора. Однако по существу собор лишь избавил Католическую Церковь от претензий на статус «господствующей религии», прежде всего претензий политических. Причем, к середине XX века эти претензии были уже совершенно ложными, то есть необоснованными — в силу неуклонных процессов секуляризации как в политической, так и в культурной жизни Европы. На II Ватиканском соборе Католическая Церковь прежде всего пыталась вновь обрести евангельскую силу и выйти из состояния глухой обороны перед лицом наседавшего на нее современного мира. Но результат (как совокупная интерпретация соборных решений в конкретном историческом контексте) получился весьма неоднозначный. Однако это — предмет особого рассмотрения.

Второе: в дискуссии по поводу христианофобии инициатива, как это ни странно может показаться, принадлежала католикам. Лет пять-шесть назад Святой Престол очень хотел, чтобы этот термин был зафиксирован в каких-либо документах международного сообщества. Но тогда все выступления представителей Святого Престола, ватиканской дипломатии были проигнорированы, а на предложение обсудить проблему христианофобии практически наложено табу. Сейчас ситуация изменилась. Конечно, общий контекст проведения последней конференции ООН против расизма представляется более чем странным и в целом неблагоприятным. Однако отметим, что на этой конференции в Женеве присутствовали представители как Святого Престола, так и Русской Православной Церкви. И тот факт, что, в конце концов, именно с подачи Русской Церкви было зафиксировано в Итоговом документе этой конференции понятие христианофобии, сам по себе принципиально важен.

О. Петр. Я хотел бы отойти от церковно-политического аспекта. Тема необъятная, поэтому я лишь конспективно намечу то, что представляется мне наиболее существенным.

Сила христианства — в том, что происходит встреча человека со Христом. Это не просто некий «межчеловеческий» контакт, а совсем иная вещь. В душу уверовавшего человека приходит Дух Святой, Которого Христос ниспосылает от Отца, — и сердце человека делается иным, а само это соприкосновение с Богом становится главным, важнейшим, исключительным и единственным событием жизни христианина. *Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную* (Ин 4:14); *возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин 16:22); *Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей* (Ин 10:28). Эти «никто» и «вовек» — совсем не простые слова, а *Дух и Жизнь* (Ин 6:63). Они дают христианину такую силу, что он становится способным изменить все свое существование, отказаться от многого из того,

что доселе доставляло ему покой и уют, пойти против всех и всего — социума, друзей, родителей, детей, и даже отдать свою жизнь, только бы не лишиться Христа, не разлучиться с Ним. Такое духовное состояние святитель Феофан Затворник называет *богообщением* (и я буду употреблять в дальнейшем этот термин). Сильнее живого богообщения нет ничего на свете. *Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем* (Рим 8:35-39).

А «слабость» (я все же возьму эти слова в кавычки) христианства в том, что сила богообщения имеет исключительно личный, внутренний характер.

Тут же мне скажут: но ведь христианство изменило весь ход истории — создало великую этику и культуру, преобразовало общество. Верно. Но христианство вовсе не ставило перед собою такую задачу. Это произошло неким «дополнительным» образом: христиане (каждый в своем личном качестве) искали *Царства Божия и правды Его*, которые — *внутрь есть* (Мф 6:33; Лк 17:21), а приложилась им великая христианская культура, потому что исходившая из преображенных человеческих сердец личная сила Истины, Добра и Красоты складывалась, интегрировалась и созидала жизнь. Артефакты этой жизни, этого отображения *Царствия Божия, пришедшего в силе* (Мк 9:1), подверглись институализации. И здесь, на мой взгляд, возникает слабость, потому что внутренняя духовная жизнь не может быть институциализирована.

Под «институализацией» (прошу прощения за это громоздкое слово, но я не подобрал лучшего) я понимаю здесь вот что:

(1) обобщение и систематизацию внешних проявлений опыта богообщения (внешних — потому что внутрь человека не залезешь и саму суть этого опыта, так сказать, руками не пощупаешь);

(2) утверждение во мнении, что любой человек, будучи поставлен в соответствующие внешние условия, вследствие их действия возымеет и внутреннее богообщение;

(3) вменение этих условий всем в обязанность.

Это касается, опять же, внешних в христианстве вещей, начиная от дисциплинарных постов и заканчивая, скажем, идеологией «симфонии» властей. Мы видим, как с течением времени все больше и больше дисциплинарно-идеологических интенций вменялось христианину в обязанность. И чем больше вменялось внешнего, тем меньше проявлялась в христианах внутренняя сила богообщения. Обычно считается, что как раз в связи с историческим уменьшением личной жизни духа христианство как бы компенсировало такое оскудение увеличением области внешне-дисциплинарной. Но я настаиваю именно на том порядке, о котором сказал. Культурная разность этих вменений, все более увеличивающаяся со временем, и привела, на мой взгляд, к тому трагическому положению вещей, о котором говорил профессор Шохин.

Слабость христианства проявляется тогда, когда, несмотря на тревожное предупреждение Отцов III Вселенского Собора[6], свобода во Христе — неотъемлемая принадлежность личного богообщения — умаляется и упраздняется вполне мирской по сути институализацией и, так сказать, удобным и прочным размещением в мире сем, «оземлением» христианства. Конечно, в условиях земного существования это вещь неизбежная и во многом необходимая. Но из-за накопившегося внешнего духовного, культурно-общественного и прочего богатства возник соблазн считать силой саму по себе вот эту внешнюю сторону христианской жизни, выявившуюся в социуме и запечатленную в истории. Но это не сила, а источник слабости.

Дело в том, что, по сути, социализация в христианстве вторична. Вот что говорит об этом преп. Макарий Великий: «*Человеку надобно, так сказать, пройти двенадцать ступеней и потом достигнуть совершенства. Потом благодать снова начинает действовать слабее, и человек нисходит на одну ступень, и стоит уже на одиннадцатой. А иной, богатый благодатью, всегда день и ночь стоит на высшей мере, будучи свободен и чист, всегда пленен и выспрен. И теперь человек, которому показаны оные чудеса и который изведал их опытно, если бы так было с ним всегда, не мог бы уже принять на себя домостроительства слова или иного какого бремени, не согласился бы ни слышать, ни позаботиться, по обыкновению, о себе и об утрешнем дне, но только стал бы сидеть в одном углу, в восхищении и как бы в упоении. Посему-то совершенная мера не дана ему, чтобы мог он заниматься попечением о братии и служением слову, разве только разорено уже средостение ограды и смерть препобеждена*»[7]. То есть, иными словами, христианину в состоянии совершенного богообщения дела нет ни до чего: ни до социальной деятельности, ни до миссии, ни до катехизации, ни до борьбы за православие и т. п. Когда богообщение не такой напряженности, а, — если можно так сказать, — «обычное», присущее в той или иной мере всякому христианину, то он, разумеется, предпринимает социальные и культурные действия сообразно роду своих занятий. Но делает он это не из-за социальных, культурных и прочих целей самих по себе, а будучи понуждаем к этому Христовой любовью и во исполнение заповедей Божьих, дабы восходить от силы в силу в личном своем богообщении. Когда же вне контекста личного богообщения люди пытаются использовать историческую институализацию христианского опыта для решения общественных задач, то рано или поздно это приводит к фиаско, выявляя слабость такой институализации самой по себе.

Отсюда можно сделать вывод: Христианская Церковь (имею в виду здесь не мистическое Тело Христово, а Церковь именно как институт) сильна тогда, когда своей единственной целью она полагает создание условий для максимально возможного раскрытия личного богообщения своих членов —

---

[6] «*...да не вкрадывается под видом священнодействия надменность власти мирской; и да не утратим по малу, неприметно, той свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков*» (8-е правило III Вселенского собора).

[7] Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы. ТСЛ, 1994. С. 70.

в проповеди и адекватном изложении догматического учения, в нравственной дидактике, в пастырском назидании, в богослужебной и общинной жизни и т. д. Соответствующая миссия должна быть обращена к людям внешним. Тогда, как следствие, Церковь оказывает нравственное, культурное и социальное воздействие на общество. При этом необходимо всегда помнить, что спасает и преображает именно личность, а не социум, — Христос, а не церковная организация сама по себе[8].

Церковь слаба и сама выбивает у себя почву из-под ног, когда опирается лишь на институциализированную традицию и полагает в ней самостоятельную ценность, пытаясь, исходя из этого, — пусть даже с самыми благими намерениями, — «поучать» и «воспитывать» внешний социум. Как правило (я говорю здесь о нынешней русской православной церковности) это сочетается с тем фактом, что такой церковностью не уважается, не поддерживается и пренебрегается личность. Кроме того, и исторически «поле» околоцерковной институализации значительно сузилось. Если раньше люди прибегали к Церкви за решением проблем здравоохранения, социального призрения и т. п., то ныне в развитых странах со всем этим более или менее успешно справляется государство, так что мотиваций для обращения людей к Церкви сегодня меньше, чем раньше.

Резюмирую сказанное: сила христианства — в личном богообщении; слабость же проявляется тогда, когда институциализированное христианство от него отрывается.

А. Кырлежев. Ваша позиция ясная и четкая, я не буду ничего комментировать, но хотел бы обратить внимание на следующее. Мы пока не обозначили концептуально проблему силы и слабости христианства. Мне кажется, что вряд ли правильно по-манихейски, черно-белым образом разделять силу и слабость: что для христианства сила, то для нехристианства слабость, и наоборот. Здесь какое-то сложное, парадоксальное переплетение. И даже если сейчас отставить то, что называется историческим христианством и что можно назвать христианством как религией, то есть религией этого мира, все-таки догматически христианство, если оно стоит на Христе как на камне, оно стоит на Богочеловеке. Боговоплощение задает сложную проблематику и рамку для наших размышлений. Можно ли это воплощение ограничить физическим телом или составом Иисуса из Назарета или же все-таки Боговоплощение предполагает какие-то культурные измерения? Это — для обсуждения.

А. Юдин. Подход о. Петра очень интересен. Но я все же хочу перехватить инициативу Александра Кырлежева. Для меня как для человека, более

---

[8] О «личностной» основе Церкви говорит преп. Макарий Великий: «*Все видимое устроение Церкви Божией произошло ради живого и умного существа души, одаренной разумом и сотворенной по образу Божиему (ср. Быт 1:26), которая и сама является живой и истинной Божией Церковью... Церковью Христовой, и храмом Божиим, и истинным жертвенником, и* ***жертвой живой*** *(ср. Рим 12:1) является человек Божий*». — Преподобный Макарий Египетский. Духовные слова и послания. М., 2002. С. 766.

склонного к историческим рассмотрениям, указанный им аспект очень чувствителен. Во-первых, обнаруживается некая парадоксальность постановки вопроса о самих понятиях «силы» и «слабости» и об их воплощениях в истории. Действительно, где мы, собственно, можем говорить о проявлениях этих качеств? Конечно, в некоем историческом процессе, который христианство рассматривает как процесс работы этого Богочеловеческого тела, Богочеловеческого организма, который и есть Церковь.

Один из очень интересных современных французских писателей, Оливье Ле Жандр[9], в одной из своих книг наметил такую схему действия христианства как силы, то есть распространения различных видов его власти в истории. В этой модели есть некая исходная точка: это Боговоплощение в истории, приход в мир Иисуса Христа. Это точка вхождения в историю духовной, сверх-исторической силы. Затем христианство набирает историческую силу — нравственную, культурную, политическую. Наконец, наступает кульминация, когда кажется, что сила христианства уже необратимо сработала в истории. Это действительно так, потому что когда мы рассматриваем Церковь, торжествующую во всех ее проявлениях, так сказать, «триумфалистскую», возникает иллюзия того, что «все уже схвачено» в истории, все завоевано и Церковь перестала быть странствующей и «неотмирной». Я имею в виду, к примеру, пост-тридентскую Католическую Церковь. Хотя уже сам Тридентский собор[10] является предвестием того, что у христианства уже уходит из-под ног историческая почва.

О. Седакова. Где время этого полного триумфа и захвата мирского? Мне кажется, что идеология триумфализма возникает тогда, когда вершина уже позади (так, о «Святой Руси» особенно говорили не во времена преп. Сергия, а в Московском Царстве).

А. Юдин. Хороший вопрос. Ответ неоднозначен по отношению к конкретной исторической дате. Следуя размышлением того же Ле Жандра, можно смело назвать XVI век. Затем, с конца XVIII века, начинается обратный процесс: Церковь постепенно теряет власть политическую, с начала XX века — власть культурную, а в дальнейшем — и власть нравственную.

Постепенная утрата политической власти Церкви и предчувствие всех последующих утрат порождают религиозно-философскую и общественно-политическую рефлексию уже в XIX веке. По сути весь XIX век насыщен спорами о силе и слабости христианства — прежде всего как исторической силы. Но начинается эта дискуссия с просветителей XVIII века (обвинения в адрес исторического христианства) и получает новый импульс у религиозно ориентированных романтиков, например, у Шатобриана или

---

[9] Olivier Le Gendre. Речь идет о его книге *Lettre aux successeurs de Jean-Paul II*. Paris, 2002.

[10] Тридентский собор (1545 – 1563) — XIX Вселенский собор в традиции Римско-Католической Церкви. Принял ряд важных догматических постановлений и провел насущные реформы в жизни Церкви. Рассматривается как главное событие католической контрреформации, призванной противостоять натиску протестантизма.

Франца фон Баадера. Смысловой контекст этой дискуссии был, в общем, таков: или же историческое христианство родится заново, или же оно отомрет и на смену ему придет новая религия. Но в ходе этих размышлений об исторических путях христианства и о роли Провидения в его судьбах все явственней начинает звучать тезис о происходящих в истории подменах истинно христианских смыслов и целей какими-то иными целями и смыслами, ложными. Так или иначе, но это был спор именно о силе и слабости и об их подменах.

По своему увенчал эти споры, конечно же, Ницше — человек, предельно остро поставивший вопрос о силе и слабости христианства. В этом плане он остается совопросником не только своего века, но и века нашего. Именно Ницше в собственной причудливой оптике обнаружил эти категории силы и слабости христианства и инкриминировал христианству ту слабость, которую он считал роковой: отсутствие героики, рессантимент немощи, проистекающий из воли к мощи, силе и власти. «Рессантимент» (фр. *ressentiment*) — это озлобленность, зависть и искалеченность людей бессильных, униженных и оскорбленных. Ницше полагал, что «рессантимент» лежит в основе библейской религии и полностью подчиняет себе христианство. В этой связи Ницше утверждал, что христианство угробило великие исторические проекты, потому что в нем произошла некая подмена. И по-своему Ницше квалифицировал эту подмену. Вот чудесный пассаж: «Что ненавидим мы в христианстве? — То, что оно стремится сломить сильных, превратить их мужество в расслабленность, использовать всякую дурную минуту, когда они подавлены и утомлены, чтобы заменить их гордую уверенность беспокойством и бесплодными угрызениями; что оно умеет отравить их благородные инстинкты и сделать больными здоровых, обращает их волю к власти внутрь — против них самих, так что и самый сильный в конце концов тонет, захлестнутый волнами самоуничижения и самоистязания...»[11]. В этом утверждении содержится, по сути, кульминация всей дискуссии XIX века о слабости и силе христианства. Отметим еще раз: эта дискуссия была рождена просветителями как антиклерикальная, «церковборческая», но постепенно она стала богоборческой в принципе. И в этом смысле Ницше — последний богоборец: похоже, он знал, с чем — или, лучше, с Кем — он борется.

Интересно и другое. Вынося диагноз историческому христианству, Ницше говорил о том, что в результате христианство порождает в истории колоссальное напряжение, именно духовное напряжение, которое является как бы побочным следствием христианства. И будущее зависит от того, как разрешится это напряжение, то есть удастся ли человечеству воспользоваться теми возможностями, которые возникли на историческом пути человечества благодаря христианству. Удастся или нет? Как он говорил, опасность здесь так же велика, как и шанс на неудачу.

Не будем рассуждать, откуда, согласно Ницше, берутся такие нравственные качества христианства, как «подавленная озлобленность», «переживание собственной слабости». С этим блестяще справился Макс Шелер, про-

[11] Цит. по: *Ясперс К.* Ницше и христианство. М., 1994. С. 33.

ведя свой анализ обнаруженной Ницше слабости христианства и расставив все на свои места[12]. Согласно Шелеру, проникновение рессантимента в христианскую мораль связано с распространением в эпоху модерна секуляризованной идеи «всеобщего человеколюбия».

Примечательно именно это историческое время «вокруг Ницше». В интеллектуальной жизни России того времени мы видим прежде всего Владимира Соловьева — сначала с его великими замыслами реализовать историческую мощь, теократическое величие христианства, теми утопическими замыслами, которые должны были послужить финальными аккордами исторического дела христианства. Затем мы видим того же Соловьева, но уже разочарованного исторической дееспособностью христианства. И наконец — финального Соловьева с его знаменитой лекцией «Об упадке средневекового миросозерцания» и «Повестью об Антихристе». У позднего Соловьева речь также идет об измене христиан своему призванию и о подмене понятий. Он говорит о том, что с язычеством как таковым христианством был заключен не только некий временный пакт (это нормальный компромисс), но что само христианство, сделав ставку на силу, гордясь своей силой, извратило само себя. И поэтому зашло в тупик, оказалось в состоянии немощи, в чем не хочет признаться, тоскуя о былом величии. И кто подхватывает истинную эстафету христианского дела? — Это неверующие, по мнению Соловьева, — люди прогресса, которые должны завершить историческое дело христианства.

Интересно, что и Ницше, и Шелер, когда комментирует Ницше, и Вл. Соловьев, говорящий о подменах христианства, в этот ряд подмен ставят «всеобщее человеколюбие», «гуманитаризм». Причем Шелер говорит и о христианской демократии как об извращении христианской морали. Для него христианский социализм, христианская демократия — это вырождение подлинной христианской морали, поскольку процесс «демократизации» связан с отрицанием объективной иерархии ценностей, выходящей за пределы жизни.

Но, так или иначе, вся эта дискуссия разворачивается в категориях исторической силы: сможет ли христианство переломить историю и закончить свое историческое дело? Это категории, которые свойственны именно триумфалистскому, «важному» христианству, о котором так часто говорила Наталья Леонидовна Трауберг.

XX век дает нам совершенно другую картину — картину пронзительной немоты и полного коллапса этого «важного» христианства. И, возможно, исходя из этой ошеломляющей картины, и делает свои выводы кардинал Ратцингер, ставший Папой Бенедиктом XVI, когда говорит о христианстве как о «меньшинстве» в историческом процессе[13]. Но о меньшинстве созидательном, которое именно в силу своей малости и «солености» сохраняет качества «закваски», способной преобразить мир.

И в этом плане, возвращаясь к схеме Оливье Ле Жандра, получается, что сейчас мы подошли к последней точке потерь — к утрате духовной силы

---

[12] *Шелер М.* Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999.

[13] *Ратцингер Й.*, кардинал. Европа: ее духовные основы вчера, сегодня и завтра // Новая Европа, 17 (2004).

Церкви. Когда идея Бога, идея сакрального вообще ничего не значит. Может быть, Бог и священное существуют, а может быть, и нет. Путь даже Бог есть, но какое нам до этого дело? У меня и без этого все складывается или, наоборот, не складывается. Сакральное не работает, не влияет, оно словно проходит мимо нас...

И дошедши до этой точки, имея ощущение финальной утраты, стоит вновь задаться этими вопросами — о силе и слабости христианства, возвращаясь при этом к самому главному.

У Макса Шелера в конечном счете разговор идет о любви. Что первично, что является центральным в христианстве? — Это любовь. Шелер как раз и описывает отличие христианской любви и любви в античном мире, где любви были предположены некие рациональные ценности. В христианстве любовь абсолютна и первична, это именно любовь Бога, который не только требует любви от своих «подшефных», но и Сам первым проявляет любовь.

И, видимо, понимая это, Бенедикт XVI свою первую энциклику «Deus caritas est» («Бог есть любовь») посвятил христианской любви в сравнении с теми видами и родами любви, которые порождают культура и мир человеческих отношений. Любви, которая является изначальной силой христианства, а в глазах мира — возможно, его слабостью. Этот парадокс, как мне кажется, особенно остро ощущается сейчас, в той точке исторического пространства, где мы вновь встречаем событие Боговоплощения на возвратном пути утрат всех тех концепций силы, которые создало и испытало христианство в истории.

О. Петр. Мне кажется, есть еще один парадокс. Если говорить о том, станет ли христианство реальной общественной силой, то, на мой взгляд, станет только в том случае, если — неким образом — откажется от своей истории. Потому что как только христианство вспоминает свою славную историю, оно тут же становится очень гордым и начинает внушать всем: слушайте нас, потому что мы традиционные, исторические...

О. Седакова. Хорошо, что Алексей Юдин заговорил о XX веке и о христианстве XX века, о той особой святости, которую рождают «времена великой апостасии». Что касается утверждения термина «христианофобия» наряду с юдофобией и т. п. — может быть, кого-то это радует, но меня ничуть. То настроение, которое господствует в Европе, стоит обдумать. Я не назвала бы его *христиано*-фобией. Вы не услышите от поборников лаицизма ни слова против, допустим, матери Терезы Калькуттской (нашей современницы), или Альберта Швейцера, или Эдит Штайн. Такие фигуры, христианская идентичность которых для всех бесспорна, остаются моральными авторитетами Европы. То, чему сопротивляется (часто глупо и несоразмерно) агностическая «современность», то, от чего она хочет «эмансипироваться», потому что еще явно не привыкла к своей независимости, — это христианство как идеология, как общеобязательная мораль типа уголовного кодекса, как угроза «свободной мысли». Откуда этот страх перед традиционным христианством? Боюсь, Церковь расплачивается за свой триумфализм, за свою еще недавнюю «мирскую силу». «Отцы ели виноград, а у нас оскомина». Кон-

кретный и не слишком драматичный пример: еще недавно в Италии требовалась рекомендация епископа, чтобы занимать какие-то ответственные должности. Разведенным таких рекомендаций, естественно, не давали, — и они не могли работать, скажем, в авиакомпании «Аль Италия». Можно ли сказать, что страх перед таким общественным устройством — «христианофобия»?

Многие европейские христианские мыслители говорят: то, что мы видим в XX веке, — это не конец европейского христианства, а конец Константиновской эпохи Церкви. То есть эпохи господствующей Церкви, которая обладала вполне мирской, политической, идеологической властью, когда лояльность гражданина совпадала с его конфессиональной принадлежностью. Вся эта огромная и принесшая великие культурные плоды история, по-видимому, кончилась, и сила христианства проявляется в таких людях, как Дитрих Бонхёффер, как мать Мария, как мать Тереза, как Иоанн Павел II. Здесь она остается неоспоримой для всех. Пытаться, как это делают у нас в России (больше уже нигде), реставрировать Константиновскую эпоху, то есть государственную, общенациональную, правящую (или со-правящую вместе с государственной властью) церковь, — недальновидно. Это уже отыгранный ход.

В. Шохин. Две реплики на последнее замечание. Я думаю, что отказ от Константиновской эпохи с неизбежностью ведет нас к до-константиновской — к эпохе гонений Римской империи (я имею в виду — начиная с императора Нерона). Тут пустоты быть не может, она все равно заполнится.

А что касается высказывания о. Петра, то мне кажется странным тезис об отказе от истории. Вообще христианство является исторической религией. Религии делятся на исторические и антиисторические. Конфуцианство, даосизм и даже буддизм — они внеисторические, они никак не сосредоточены на биографиях своих основателей и на их преемниках, тогда как христианство все находится в истории. Гарнак[14] говорил, что первые христиане были историками. Во-вторых, я понимаю мысль о. Петра, что христианству лучше всего было бы отказаться и от участия в политике, и от внешнего мира. Но я думаю, что оно тогда не сохранится, потому что свято место пусто не бывает. Может быть, это правильный взгляд с монашеской точки зрения, ведь у нас в православии такая особенность, что мерилом является монашество. Но это приведет к иным последствиям в связи с активностью других, конкурирующих с христианством сил. Это довольно опасная позиция.

Д. Гзгзян. Я вот на что хотел бы обратить внимание. Ольга Александровна Седакова начала фактически с того, что напомнила нам о норме христианства, которая, в частности, представлена в Нагорной проповеди. Я бы к этому еще присовокупил напоминание о совершенно ясной эсхатологической направленности христианства. Сила христианства не только в таких невероятных для человеческого глаза и уха формах блаженства, это еще и открове-

[14] Адольф фон Гарнак (1951 – 1930) — лютеранский теолог либерального направления, церковный историк, автор фундаментальных трудов по истории раннехристианской литературы и истории догматов.

ние, которое направлено на то, чтобы стянуть эсхатологическую реальность и историческую реальность. И в этом парадоксе возникает фундаментальная трудность, которую мы наблюдаем в истории, которая периодически дает о себе знать. Напомню, что в VIII веке был такой момент в истории сирийского ислама, когда христиане могли себя там чувствовать относительно свободно, даже вести публичные диспуты (правда, в основном там были ангажированы члены Ассирийской Церкви Востока, но это не принципиально для нашего разговора). Надо сказать, что диалог велся столь толерантно, как сейчас говорят, что просто можно диву даться, что нечто подобное когда-то происходило между христианами и мусульманами, причем в условиях, когда ислам был господствующей религией. Исторических примеров христианской толерантности такого рода, насколько я знаю, нет. Так вот, в ходе этих диалогов ключевой упрек был следующий. Представитель ислама говорит: вы говорите о высочайших нормах, которые меня потрясают, но ваша беда в том, что вы не даете наглядных примеров (то есть по-нашему — исторических). В VIII веке теократический, социально ориентированный исламский взгляд ищет примеров как раз в социальной практике и их не находит.

Это иллюстрация, как мне кажется, фундаментального парадокса, связанного с силой и слабостью христианства. Это обреченность на постоянную историческую слабость, которая чревата серьезными искажениями. К слову сказать, этот призрак искажения христианства — едва ли не самый серьезный. В сравнении со всеми известными нам духовными традициями христианство, — может быть, я слишком обобщаю, — исторически рискует больше других пострадать от искажений той самой нормы, которая задана Евангелием. И не просто рискует, а непрерывно страдает. Причем иногда страдает весьма творчески. Если посмотреть на историю христианства как на историю апостасий, отступлений, то мы увидим, что эти искажения чреваты тоже своего рода парадоксом: когда они сами по себе не являются только редукцией христианства, но иллюстрируют свою творческую силу. Если я правильно понял, то об этом говорил о. Петр: что редукция личностного опыта может обернуться, скажем так, социальной активностью.

Действительно, известен абсолютно критический взгляд на Константиновскую эпоху, но Константиновская эпоха во многих своих проявлениях рождает феномен христианской культуры, достаточно объемно его реализует — и создает тем самым контекст для нескончаемых споров: то ли это редукция христианства как такового, вот это выпадение в культуру, то ли это явление творческой мощи. Аналогичная история — появление новоевропейской науки. Феномен науки хрестоматийно рассматривается как некая форма богоборчества, то ли явного, то ли скрытого. Но почему-то этот феномен появляется именно в христианском контексте и больше нигде, ни одна цивилизация этого странного перещелкивания не знает. Как это описать с точки зрения силы и слабости христианства?

При этом мне не хочется смотреть на историческое существование христианства как на только потенциальный риск редуцировать христианскую норму. Потому что в той же истории мы наблюдаем периодические духовные реконструкции апостольского века, и этим всегда христианская святость и жила. Монашество IV века делает именно это, Франциск Ассизский

делает это. Причем все время речь идет не о реставрации, а о реабилитации христианской нормы в данных, конкретных условиях. Надо уходить в пустыню — мы пойдем в пустыню; надо делать что-то другое — мы будем делать другое, например, создавать нищенствующее братство. Надо напоминать совершенно банальную для апостола Павла вещь, что христианство есть стяжание Духа Святого, — и преподобный Серафим начинает на рубеже XVIII и XIX веков твердить о стяжании Духа Святого, что оказывается для этого времени откровением.

Причем интересно, что эти опыты деятельной реконструкции в истории часто куда-то проваливаются. Самым странным, парадоксальным образом. У Франциска есть наследники, но очень долгое время опыт Франциска в этой среде может не изучаться. Про Серафима не буду говорить, как произошла его канонизация, но у нас нет школы, *seraphimica moderna*, например, по аналогии с Европой XIV-XV веков, у нас нет общества по изучения его наследия. Это было — и куда-то делось... Что бы это все значило?

Оказывается, что эта достаточно трагическая двухтысячелетняя история свидетельствует о том, что, если для нас христианство действительно значит то, что оно значит по Евангелию, то нам придется, не уворачиваясь от этой истории, иметь в виду целый ряд парадоксов, которые трагически засвидетельствованы в самой истории. Но это не означает, что не может быть никакого другого присутствия этих парадоксов в христианстве. Может быть, наша задача сейчас — сосредотачиваться как раз на этом, если отзываться на напоминание, что ядро христианства — любовь. Но что больше замусолено в христианском мире, чем это слово, эта категория, это начало, как угодно?

У любви нет этического измерения на сегодняшний день в христианстве. Приснопамятный Макс Шелер в смысле разработки воплощения деятельной любви в системе и иерархии ценностей сделал существенно больше, чем христианское богословие. Это тоже приходится признать. Может быть, нам поэтому следует активизировать свои усилия как раз на том, чтобы найти этим христианским парадоксам вполне этико-практическое измерение, — чтобы норма не страдала, но обнаруживала свое присутствие в истории.

Е. Ермолин. Мне было очень интересно слушать, и то, что я скажу, во многом будет созвучно тому, что уже прозвучало. Мне придется только найти какой-то свой ракурс, говоря о том, с чем я внутренне по большей части согласен.

Если говорить о силе и слабости, то мне кажется, что слабость христианства происходит из силы. Парадоксально, потому что это религия тотального парадокса, и вера — тотально парадоксальна. И в этом смысле там, где сила, там есть и возможность слабости, которая, увы, проявляется гораздо чаще, чем сила, по крайне мере в какие-то эпохи или в какой-то человеческой душе. А сила, — здесь я вербально совпадаю с о. Петром, — действительно, во встрече человека с Богом. Но это такая возможность, которая в других религиях иногда переживается как полнейшая человеческая катастрофа, как интенсивнейший шок, вроде встречи принца Арджуны с Кришной в тот момент, когда тот вполне ему явился в своей божественной сути. А в христианстве

всегда и всюду есть место для встречи человека с Богом — не только в таинствах, но, по сути, потенциально в любой момент его существования и в любом месте. И эта встреча происходит. И со всем этим огромным потенциалом абсолютной свободы в момент этой встречи, и по результату ее, имея в виду потенциал любви и раскаяния... Но, с другой стороны, это абсолютно невыносимо, конечно, и это чрезвычайно трудно: и абсолютная свобода, и необходимость и даже возможность любить, как выясняется. И все это оборачивается какими-то парадоксами и даже пароксизмами в душе человека, и попыткой как-то закрыться, защититься, выстроить какие-то стены, в которых было бы более удобно и комфортно существовать.

И, по сути, во многом история христианства и история культуры, связанной с христианством, даже вообще история состоит из попыток уйти от этой неизбежности встречи или по крайней мере создать для этой встречи максимум удобств. И мне кажется, что эти удобства не всегда убедительны; мне кажется, что чем дальше, тем больше, — я этот мотив тоже здесь слышал, — они становятся совсем неубедительными. И если для упрощения встать на точку зрения искусств, коль скоро я занимаюсь арткритикой, то, скажем, я признаю и принимаю многое, но меньше всего меня волнует, меньше всего я в душе понимаю современную стилизованную иконопись, за редчайшими исключениями. Вообще элементы религиозной стилизации. Эстетически я, разумеется, могу это принять, на дистанции, но реально пережить у меня получается чаще всего совсем другое, — когда я встречаюсь с той бездной, которая открывается в человеческой душе навстречу Богу. Даже в ситуации, когда Самого Бога душа так и не находит, не обретает, как, скажем, это у Уэльбека[15] и по-своему у Аррабаля[16], или иногда у нас в том искусстве, которое связано со стилистикой трэша, или даже там, где вроде писатель совсем пытается обойтись без Бога или находит какие-то косвенные средства для того, чтобы существовать без Него, — как, например, Маканин или Пелевин, наверное два наших лучших и крупнейших современных прозаика. И даже, скажем, у такого нашего крупнейшего современного российского христианского писателя, как Юрий Малецкий, мне, пожалуй, ближе оказывается его последняя вещь, «Конец иглы», где героиня, изо всех сил сопротивляясь Богу, идет к Нему и парадоксальным образом обретает Его именно там, где, казалось бы, это совершенно невозможно.

Мне кажется, что это тот опыт и урок, которые говорят о том, что труднее всего, — и в этом, может быть, сегодня ситуационная слабость, — увидеть и опознать Бога в мире, в другом человеке, в современной культуре и как-то отрезонировать на этот поиск Бога, на это стремление и эту алчбу, которая существует в человеческой душе здесь и теперь, которая ничем не закрывается и в этом смысле абсолютно беззащитна в отличие от того искусства, той культуры, которые опираются на историческую традицию, на некую преемственность, на аналоги, прецеденты и которые, в сущности, выглядят сейчас чаще всего декоративно.

---

[15] Мишель Уэльбек (р. 1958) — современный французский писатель.

[16] Фернандо Аррабаль (р. 1932) — современный франко-испанский писатель, драматург, режиссер.

С. Чапнин. Разговор о силе и слабости христианства неминуемо будет общим и расплывчатым. Каждый из уважаемых участников будет говорить о своем, и максимум, на что мы можем рассчитывать, — это зафиксировать список проблем, так или иначе связанных с заявленной темой. Для экспертной встречи это очень скромная задача.

В чем сила и слабость христианства? Признаюсь, в такой постановке вопроса я не чувствую ни актуальности, ни внутреннего напряжения. Этот вопрос находится в своего рода «мертвой зоне» с точки зрения религиозной жизни, но в то же время очень удобен для внешнего — философского или религиоведческого — осмысления.

Человек становится христианином не потому, что сосчитал и оценил все сильные и слабые стороны христианства. В некотором смысле ему это становится безразлично, потому что главное — это поиск Истины и приближение к ней. Парадокс заключается в том, что на этом фоне и слабость, и сила оказываются относительными понятиями, одно легко переходит в другое.

Что мы, участники дискуссии, понимаем под христианством: мировоззрение? вероучение? Церковь как общину или Церковь как социальный институт? духовную жизнь конкретного человека?

Да, согласен: можно и нужно говорить о силе и слабости христианства в пространстве истории. Несмотря на нашу полемику с о. Петром, я разделяю его вывод об отказе от истории. Если мы говорим о XX веке, то, с одной стороны, мы видим новомучеников — удивительные свидетельства силы и торжества духа, и одновременно мы встречаемся с отказом, с нежеланием знать об этом или, по крайней мере, говорим о подвиге новомучеников через запятую, наравне с другими страницами XX века.

Недавно на Бутовском полигоне отмечали память новомучеников. Из 20 тысяч расстрелянных несколько сотен причислены к лику святых. Это удивительное место: даже имея смутные представления об истории Церкви в России, человек приезжает на эту землю, обильно политую кровью, и буквально за первые десять минут понимает практически все. Мне не раз приходилось видеть, как меняется человек. Быть может, он еще ничего не может сказать сам, но сердцем понимает, *благоговеет*. Здесь есть предельная очевидность и страшной трагедии, и памяти, и торжества веры. В терминах нашей дискуссии я бы сказал так: это святое место — место человеческой слабости, хрупкости человеческой жизни и силы духа, силы Божией. Таких мест в России немало, но они находятся на обочине нашей жизни.

Этот опыт причастности истории последовательно вытесняется историческим мифом — в новом, технологичном понимании этого слова. Сегодня миф стал инструментом «менеджмента когнитивного пространства» и призван контролировать сознание человека. Современный человек (и христианин в том числе) как объект манипуляции оказывается совершенно беззащитен. Беда в том, что эти манипуляции происходят не только в пространстве политическом, культурном, но и в церковном.

И здесь я опять согласен с о. Петром. Без любви любая дисциплина, любые правила могут стать средством манипулирования сознанием. Человек может быть уверен, что он всем существом участвует в церковной жиз-

ни, умом, руками, ногами, желудком, — всем, кроме сердца. Но о последнем ему никто ничего не говорит.

Если сердце не участвует в молитве — это очевидная слабость, болезнь. Если ею болеют миллионы крещеных во имя Пресвятой Троицы, то проблема выходит далеко за рамки личной духовной жизни.

И здесь очень остро стоит вопрос трансляции предания: как мы узнаём о Церкви? Та замечательная «мультимедийность», которая сопровождает и наполняет сегодня нашу жизнь, играет с нами страшную шутку, когда мы вроде бы все видим, можем познакомиться с любыми традициями восточного христианства — и литургическими, и монашескими, и пастырскими, но пользы это не приносит, идет скольжение по поверхности. Человек не становится сильнее.

И последнее. Когда мы говорим о христианстве, важно говорить о свободе и творчестве. Порой мне кажется, что сегодня свобода и творчество последовательно вытесняются из христианской жизни. Если же мы и говорим о творчестве в рамках христианской традиции, чаще всего речь идет только о литургическом творчестве, и тема неоправданно сужается.

Искусство видеть образы, строить образы, различать роды образов[17] мы утратили. И это привело не только к пренебрежению священными образами (бездумное и широкое тиражирование богословски некорректных иконописных образов), но и к неспособности создавать убедительные образы в пространстве современной культуры.

На востоке и западе христиане много лет ведут диалог о ценностях с секулярным обществом, и много лет этот разговор с тем же успехом будет продолжаться. Мы забываем, что именно в образах раскрываются христианские ценности. Эти образы убедительно свидетельствуют о христианском прошлом Европы. Таких же убедительных свидетельств о настоящем христианской культуры сегодня нет. И перед лицом внешнего мира это наша слабость.

А. Кырлежев. Пора срочно спасать историческое измерение...

А. Беглов. У меня есть вопрос к о. Петру: не могли бы Вы привести примеры откровенной слабости христианской Церкви, христианства в истории, с Вашей точки зрения? Место, время и в чем была суть этой слабости?

О. Петр. Первый век: в Откровении Иоанна Богослова перечисляются семь церквей. Где они?

Четвертый век: во время догматических споров (вопроса о необходимости которых я не ставлю) эллинское начало превозмогло, так сказать, иерусалимское и в результате отпало полцеркви[18]. Не велика ли цена?

---

[17] О шести родах икон говорит преп. Иоанн Дамаскин в «Третьем защитительном слове против порицающих святые иконы».

[18] Речь идет об отделении от Православной Церкви части восточных христиан — монофизитов и несториан, не признавших некоторых решений Вселенских соборов, касающихся догмата о Христе.

Великий раскол XI века — на Восточную и Западную Церкви. И так далее.

Самая главная слабость, о которой говорил Владимир Шохин, — это ненависть между христианами. Скажем, православным грекам был милее турок-мусульманин, нежели католик.

Наконец, то, что произошло с нашей Церковью в XX веке. Мы восторгаемся тем, что этот период дал множество мучеников, но ведь в то же время это и фиаско Церкви, которое она потерпела именно как общественная и нравственная сила.

И сейчас в нашей Церкви имеет место слабость — именно в том смысле, в каком говорила Ольга Седакова: наша Церковь хочет решать свои проблемы внешними, а, по сути, секулярными методами. Силой сегодня считается — властно влиять на общество. Я считаю это слабостью, которая может привести к плохим последствиям. С лица земли исчезали поместные Церкви или умалялись до крайности. Что такое Антиохийский Патриархат сегодня[19]? И славная история, и богатство Церкви, с моей точки зрения, могут вполне и не быть реальной силой.

А. Беглов. Получается, что тогда, когда Церковь, как в случае с Антиохийским Патриархатом, перестает себя последовательно проявлять в истории, она являет свою слабость? Но с точки зрения Вашего высказывания, она должна была бы являть как раз свою силу. Исходя из Вашей логики, когда Церковь обретает институциональность, она слаба. Но вот, Антиохийский Патриархат исчезает, то есть теряет свою институциональность, и он тоже слаб. И когда в эпоху Вселенских соборов Церковь обретает свое самосознание, это тоже проявление слабости.

О. Петр. Если цена за обретение этого самосознания — полцеркви отколовшейся, то, с точки зрения Заповедей Блаженства («наследуют землю»), это, конечно, слабость. Это против Евангелия. Я выразил дихотомию силы и слабости в противопоставлении личного богообщения и его институализации и оторванности этой институализации от этого личного богообщения.

А. Беглов. Мое высказывание очень простое. Я согласен с Сергеем Чапниным в том, что четыре слова, вынесенные в название нашей встречи, ставят нас в ситуацию некоего немотствования. Потому что сначала нужно объяснить каждое из этих слов и прежде всего «христианство». О каком христианстве, его силе и слабости идет речь? О христианстве вообще? Но это представляется беспредметным разговором. Что такое христианство вообще? Если это — евангельский текст, то он самоценен, вне зависимости от нашего к нему отношения, и вопрос о «силе и слабости» содержащегося в нем послания абсурден. Если это — некие категории, ценности, идеи, ко-

[19] Антиохийский Патриархат в древней Церкви был одной из крупнейших частей восточного христианства, но сейчас представляет собой небольшую общину православных арабов (в основном на территории Сирии и Ливана).

торые стали на протяжении истории — справедливо или нет — ассоциироваться с христианством, то здесь требуется уточнение, когда и по отношению к чему, то есть в каком хронологическом, идейном и общественно-политическом контексте, мы оцениваем их силу или слабость...

Мне представляется, что если и ставить вопрос о силе и слабости христианства, то такого христианства, которым обладают или единичные представители человеческого сообщества или некие группы, отождествляемые с Церковью. Иными словами, мы должны ставить вопрос о том, когда, при каких условиях группы или личности, которые именуют себя христианами, оказываются сильны или слабы. И по моему представлению, их слабость наступает тогда, когда они свой опыт богообщения перестают проявлять в культуре и в истории, собственно, перестают делать то, что о. Петр назвал «институализацией» в первом значении.

Если бы Макарий Великий[20], на цитату которого опирался отец Петр, не написал своего текста, а пребывал бы, как он сам пишет, на двенадцатой ступени совершенства, то есть не выходил к нам в сфере культуры, нам сейчас не о чем было бы говорить и нечего цитировать. Если бы Антоний Великий[21] в том самом IV веке не возвращался к своим ученикам в Александрию из глубокого пустынного уединения для того, чтобы рассказать им, как нужно правильно верить, это было бы проявлением его слабости, даже если он уже находился на вершине богопознания.

Соответственно, сила христиан становится очевидной тогда, когда они проявляют свой опыт богообщения инструментами культуры, истории, а часто и политики, то есть — в любом сегменте того, что мы можем назвать спектром культуры в широком смысле. С какого-то момента интеллигентные христиане стали брезговать частью этого спектра, стали считать некоторые сегменты культуры чистыми, а другие — нет. С большим подозрением смотрят, например, на общественные и политические проявления христианства. Мне кажется, здесь мы находимся, — сами того не осознавая, — под влиянием просвещенческой философии, которая стремилась объявить религию делом частным и потому — не общественным и не политическим.

В этой связи я хотел бы вспомнить слова одного из наших новомучеников, который из лагеря писал своим духовным детям, что Господь воспитывает нас, ведет нас делами и путями «десными и шуими», правыми и левыми. Контекст этого высказывания предполагает разнообразные толкования. И если угодно, давайте отнесем культуру и политику к «шуим» инструментам Бога, которыми Он ведет нас ко спасению и через которые также проявляется сила христиан.

Слабость же христиан, по моему мнению, становится очевидной тогда, когда они не могут проявить свой опыт богопознания ни в истории, ни в культуре. И тогда происходят самые поразительные катаклизмы. В западной

---

[20] Преподобный Макарий Великий (Египетский; ок. 300 – 391) — христианский святой, отшельник, автор духовных бесед.

[21] Преподобный Антоний Великий (ок. 251 – 356) — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества в египетской пустыне.

истории запаздывание христианского ответа на вызов Просвещения дает катастрофу 1789 года, запаздывание ответа на эпоху Ренессанса дает Реформацию и т. д. Аналогичная проблема существует и в нашей истории. Примером может служить вся коллизия второй половины XVII века, не только в плане раскола, но и в плане отношений Церкви с растущим абсолютистским государством. Запаздывание христианского ответа на этот вызов приводит к Синодальному периоду, к утилитаризации христианства и к пленению Церкви. Когда мы перестаем являть в истории и культуре опыт богообщения, тогда мы проявляем свою слабость.

А. Морозов. Я вот какую тему хочу затронуть под впечатлением выступлений Владимира Шохина и Алексея Беглова.

Представим себе, что прогрессистский проект Просвещения и вообще евроцивилизации больше не существует. Тогда встает вопрос: а христианство как его ядро — и в прошлом, и сегодня, и далее, — что же, оно перестанет существовать вместе с этим прогрессистским пониманием хода истории? Конечно, нет. И это видно уже по сегодняшним событиям. Ведь очевидно: критика «просвещенческого проекта» — как европоцентричного и даже как «колониального» дискурса — стала общим местом. Мир меняется на глазах. И скоро, вероятно, самой крупной христианской общиной в мире будет китайская. Просто потому, что у них все «самое крупное».

Второй вопрос. Представим себе, что гомогенизация полностью одержала победу. То есть все дальше и дальше разрушаются те смысловые и институциональные иерархии, на которых стоял мир в Новое время. Предположим, что окончательно победил космополитизм в том виде, как он понимается, скажем, у Ульриха Бека[22]. Иначе говоря, христианство, довольно тесно связанное в Средневековье да и в Новое время с различными «властями», с «дискурсами господства», окончательно выйдет из зоны этого дискурса. Что если действительно в XXI веке произойдет так, что христианство будет существовать в мире, где все имеют равный и, стало быть, ничтожный, нивелирующий всех доступ к мировому эфиру? Я имею в виду не буквально доступ к ТВ, а вообще, так сказать, к эфиру человеческой мысли и духовному эфиру.

И дальше такой вопрос, который очень занимает: каким же будет ответ на три эти основных вызова: гомогенизация, уход иерархий и внутренний отказ всех духовных традиций от дискурса господства и гегемонии?

Когда задумываешься об этом, то приходишь к таким мыслям. Нужно посмотреть на вещи так, что никакого прогресса нет и не было. Да и традиции нет. А есть контекст. В XXI веке нет проблемы традиции, есть проблема контекста.

Вот, мы сидим сегодня здесь. А если бы мы сидели здесь же, в Москве, но в 1789 году, мы, скорее всего, обсуждали бы то, что в то время волновало просвещенное российское общество, то есть: как плохо, что народ столь суеверен, а вот если бы из Франции завезти немного представлений о доб-

[22] Ульрих Бек (р. 1944) — ведущий немецкий социолог, профессор Мюнхенского университета.

ре и справедливости и инкорпорировать их в нашу Церковь, то было бы чудесно. А если бы мы сидели в 1886 году, то о. Петр скорее всего говорил бы, что нужно вводить народные школы на православный манер, а мы бы все говорили, что школы нужны не церковные, а земские, ибо вот где правда. Или наоборот.

Я это говорю к тому, что попытки мыслить ситуацию в рамках институционального упадка или расцвета православия на богоспасаемой нашей земле мне представляются тоже принадлежащими эпохе того самого триумфализма, о котором говорил Алексей Юдин. Если оставаться внутри этого ожидаемого исторического триумфализма, то тогда получается, что мы действительно находимся в бесконечной борьбе с ООН за то, чтобы она включила в свои документы наше право на существование. Вот и понтифик борется за то, чтобы Евросоюз признавал христианское наследие.

А может быть, стоит посмотреть радикальнее? Евросоюз уже не признает это христианское наследие, и даже если в документ будет вписано такое признание, это уже не будет ничего означать, потому что нет того дискурса гегемонии, в рамках которого это обладало бы каким-то смыслом. Признание нас наравне с теми, с пятыми, с десятыми, но уже в совсем другом мире, где господствует какой-то новый эгалитаризм, новый, невиданный доселе «образ человеческого», — что это нам дает? Скорее всего, ничего.

А ведь богообщение не прекратится даже в том случае, если не будет никакого срединного пространства, никакого пространства культуры и никакого пространства политики! И если вспомнить радикальный опыт преподобного Серафима, то он не предполагает вообще никакой культуры. И напрасно Алексей Беглов нас убеждает в том, что, допустим, Франциск Ассизский совершал свои действия в пространстве какой-либо культуры. Никакой культуры для него не существовало, и то, куда он простирал свое усилие, не было никаким срединным пространством — ни культуры, ни политики, ни философского дискурса, ни даже пространством истории.

А богообщение не прекратится, и, возможно, ему же лучше будет, если оно из этого срединного пространства просто выйдет. Потому что надежды на «дальнейший диалог» восточного и западного христианства с мировой гомогенностью, с новым секуляризмом совершенно неубедительны.

И. Виноградов. В одной из последних своих лекций о. Александр Мень сказал: христианство только начинается. Для меня, в моем личном самоощущении, это самая актуальная и самая главная вещь. Это не означает, что для меня нет истории христианства, но я как христианин живу в этом веке, сейчас, и я должен определить, что я как христианин в этой жизни делаю и должен делать.

Есть Евангелие, которое говорит: покайся, очистись — через богообщение, и это одна из самых главных моих человеческих задач. Но в Евангелии есть и другие слова. Господь, уходя, сказал своим ученикам: идите, научите все народы. Это тоже обязанность всякого христианина начиная с апостольских времен. И потому я не могу не спрашивать себя постоянно — как, в каких формах, на каких путях мы, христиане, можем попытаться решить сегодня эту задачу, которую я тоже считаю очень важной.

Меня очень порадовало, когда здесь прозвучала известная формула Вл. Соловьева — «христианская политика». Потому что *христианская политика* — это понятие, как раз и обнимающее собою наиболее полно смысл и форму нашего участия в совокупной социальной жизни окружающего нас секулярного мира, которому мы так или иначе принадлежим и которому мы именно и обязаны нести свет.

Но я не понял, — мы что же, похоронили что ли это понятие в связи с тем, что соловьевская христианская богочеловеческая утопия в XX веке показала свою несостоятельность?..

Да, Соловьев сам в конце жизни пришел к отрицанию этой великой утопии преображения человечества; во всяком случае, вывел эту идею в эсхатологический план. Но в христианстве не случайно есть что-то близкое к экзистенциализму: делай свое дело, даже без надежды на успех. Делото христианину все равно нужно делать именно это — преображения, спасения как можно большего количества наших собратьев по человечеству. Это очень ответственно, потому что тут легко впасть в высоколобое учительство, присвоить себе право говорить от лица Абсолютной истины. Но не является ли тем не менее одной из наших, христиан, слабостей сегодня в России именно то, что мы, отдаваясь индивидуальному богообщению, пытаясь выразить результаты этого личного опыта в творчестве, в культуре, совсем не действуем однако как совокупность, как община христианских мирян — как граждане, которые обладают определенными гражданскими правами и обязанностями?

Я говорю о необходимости широкого *общественно-политического* христианского движения, без чего вряд ли возможно какое-то *преображение* (в направлении к христианским ценностям) той среды, в которой мы живем, — правовое, законодательное, да, в конце концов, и миссионерское, потому что политика — это тоже арена миссионерства.

Между тем мы всем этим совсем не занимаемся. И мне кажется, что именно это и есть одна из *главных* слабостей современного российского христианства.

О. Седакова. Игорь Иванович Виноградов затронул тему, о которой никто из нас пока не вспомнил, — о том, что одинокой Церкви не бывает. Одного христианина не бывает, как сказал кто-то из старцев: христианство — это община, это общность.

О. Петр. Несомненно, христианство исторично. Но, как видно из нашей дискуссии, определенно наличествует какая-то «заколдованность» этой историчностью, когда определяет жизнь христианства не Христос, а наличная и сложившаяся определенным образом церковная «история». Христианство творит историю и культуру — это верно. Но не получается ли у нас так, что история и культура, как некая «карма», определяет христианство? Ведь Христос выводит личность из истории — выводит в бессмертие и вечное Царство, которое для христианина несравненно выше, несравненно более «ценностно», чем любая история и любая культура.

И именно это главное в христианстве, а историчность, — так же, как и культура, и общественное влияние, и проч. — это, как я уже сказал, «побочный продукт» действования этого главного. А отсюда — два вывода.

Первый: слабость христианства — это когда «побочный продукт» становится на место сути и считается самодовлеющей ценностью. Именно эту основную мысль я и излагал в своем выступлении.

Второй вывод: для того, чтобы христианству вновь стать действенным, и прежде всего именно в личном плане, ему (христианству) нужно каким-то образом (опять же внутренним, личным) выйти, «выскочить» из истории — в, так сказать, «шмемановском духе». Между прочим, именно здесь и проблема современной миссии (но это отдельный разговор).

А. Юдин. Я хочу солидаризоваться с о. Петром. Парадокс, который мы обсуждаем, как раз заключен в этой дихотомии: историчность — эсхатологичность. У христианства и у личности в христианстве всегда есть шанс выпрыгнуть из истории, хотя при этом само же христианство и создало эту историю. Собственно та «история», которую мы обсуждаем, и есть чисто христианское понятие. Поэтому христианство ответственно за эту историю. В этом — вся драма христианства и личности в истории. Другой же парадокс нашего времени состоит в том, что история, получившая «автономию» от религии, сама судит христианство.

А. Беглов. Два слова в ответ ироничному редукционисту Александру Морозову — по поводу того, что, мол, пусть останется только чистое богообщение, вышедшее из пространства истории и культуры, и по поводу того, что Серафим ни о какой культуре не думал, и Франциск, и Антоний...

В тот момент, когда у того, кто не думал ни о чем другом, кроме Бога, появляется второй, ученик — Мотовилов у Серафима, Софроний у Силуана и т. д., — появляется и пространство культуры, и тогда богообщение выходит в культуру. Когда же второго уже не будет и произойдет полная атомизация христианства, тогда христианство как учение и традиция исчезнет, но богообщение избранных единиц, безусловно, не прекратится до того последнего момента, когда «небо и земля прейдут» (Мф 24:35; Мк 13:31; Лк 21:33; ср. 2 Пет 3:10).

Однако думается, надо иметь в виду и следующее обстоятельство. Когда, как сказал Александр Морозов, *контекст* окончательно победит *традицию*, когда пространство культуры и пространство политики окончательно превратятся в однородную, *гомогенную* субстанцию, когда христиане (и все остальные) перестанут проявлять себя в культуре и в истории, она, эта история, подойдет к своему пределу, и мы окажемся лицом к лицу с эсхатоном.

А. Кырлежев. Тема для нашего круглого стола сознательно была поставлена так широко: «Сила и слабость христианства». Мы имели целью выявить различие точек зрения и спровоцировать содержательную дискуссию. На мой взгляд, отчасти это удалось — во всяком случае при первом приближении к теме.

Во-первых, была подчеркнута парадоксальность христианства, неоднозначность понятий «сила» и «слабость» в применении к христианской Вести и к христианскому опыту.

Во-вторых, обнаружилась трудность говорить о христианстве одновременно как об историческом феномене (в его прошлом и настоящем) и как о личном опыте — опыте богообщения. Это показательный результат. И характерно, что мы практически не говорили о том, на что обратил внимание Давид Гзгзян: о христианской *этике*, которая ведь и призвана быть «соединительным мостом» между личностным, «келейным» богопознанием и социально-историческим пространством того «мира», в который послал на проповедь Своих учеников Христос Спаситель.

Наконец, в-третьих, обсуждение под заданным углом выявило тот факт, что разговор о христианстве и даже о Христе и Евангелии неминуемо упирается в тему «культуры», то есть в такое измерение, в котором встречаются личности и институции, сообщества личностей и безличные структуры, а также одни личности с другими. Здесь же встречаются и вступают в конфликт одни нормы с другими нормами: христианские — с нехристианскими, одни христианские («чистые») — с другими христианскими («искаженными»). Миновать эту сферу культуры, — будь то средневековой, религиозной, будь то современной, секулярной, — никак нельзя. Потому что и жизнь монахов-отшельников имеет определенное культурное выражение, и жизнь общества со всеми идеями и стандартами, которые ее определяют, сохраняет в себе элементы высокого духовного поиска, некие предельные ценности, так или иначе связанные с существом христианства.

Мне кажется, что главный итог состоявшейся дискуссии — в обнаружении самого различия точек зрения, что указывает как на жизненность и потенции нашей нынешней христианской мысли, так и на ее фрагментарность, в некотором смысле — незрелость, недостаточную системность. И это убеждает в том, что такого рода обсуждения не просто полезны, но что они являются необходимыми шагами в направлении более объемного и зрелого христианского видения — в такую эпоху, которая заставляет во многом по-новому ставить и решать традиционные вопросы христианской мысли и действия.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы
(сентябрь – ноябрь 2009)

(Краткий обзор)

Споры вокруг Сталина

В последнее время споры о нашей недавней истории разгорелись с новой силой. При этом персоной, притягивающей к себе наибольшее внимание и вызывающей в обществе ярые дискуссии, по-прежнему является Иосиф Сталин. Хотя живых участников и свидетелей тех событий — как тех, кто, пройдя сталинские лагеря, считает его преступником, так и тех, кто шел в атаку, выкрикивая его имя, — остается все меньше.

Сталин занял третье место во время всероссийского телеконкурса «Имя России» (и, как полагают, лишь усилиями организаторов не оказался на первом). Слова из сталинского гимна, прославляющие вождя, неожиданно украсили станцию метро «Курская» в ходе реставрации. А совсем недавно в престижной издательской серии «Жизнь замечательных людей» к 130-летию Сталина вышла его 900-страничная биография. Суть ее можно свести к двум тезисам: во-первых, этот *замечательный человек* — принадлежность России и уже тем хорош, во-вторых, *цель оправдывает его средства*, — пишет газета **«Время новостей»** (26 октября).

В репортаже Интернет-издания **«Портал-Кредо»** от 20 ноября говорится, что бывший кандидат № 2 в патриархи **митрополит Калужский и Боровский Климент** присутствовал на презентации книги и ни слова не сказал о нравственном аспекте деятельности Сталина. Правда, и хвалений вождю архиерей не произносил, а говорил, в основном, о том, что у народа отняли веру и без нее организовать нормальную жизнь невозможно.

Зато некоторые другие представители клира явно выступили с позиций «ползучего сталинизма». По сообщению газеты **«Новые известия»** от 7 сентября, **архиепископ Орловский Пантелеимон** заявил: *Бабушка мне рассказывала, как во время войны люди молились о победе, о Сталине, не кляли его... Тогда не было, как сейчас, враждебных выпадов верующих в сторону власти. Да, несогласные с курсом были, но они молились о том, чтобы Господь вернул любовь в сердца людей, стоящих во главе страны.* Владыке Пантелеимону вторит руководитель миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии **протоиерей Евгений Соколов**: *Нет власти не от Бога. Будем это помнить! Коммунистические правители — наши заблудшие духовные чада. И главный, кто виноват в трагедиях XX века,— это мы, духовники, кто не сумел этих чад уберечь от греха... Поэтому навязывание всей этой дискуссии, которая раскалывает общество, неприемлемо.*

Как видим, — пишет газета, — *игумен Евстафий (Жаков), который выставил в своем храме икону с изображением якобы имевшей место встречи блаженной Матроны с «вождем и учителем», — не один в поле воин.* При этом издание отмечает, что официальный представитель РПЦ **протоиерей Всеволод Чаплин** по поводу реконструкции пресловутой надписи на «Курской» высказался в том смысле, что из песни, конечно, слова не выкинешь,

но появление имен «преступников и террористов» в общественных местах недопустимо.

«Грани.Ру» (8 сентября) считают, что о. Всеволод выразил мнение основного идеологического ядра церкви, церковного «мейнстрима», сформулированное еще в предыдущие годы, но четко озвученное в последние месяцы, уже в нынешнее патриаршество.

Сейчас власть в церкви берет «поколение 1989 года» — воспитывавшаяся на перестроечной прессе интеллигентная и полуинтеллигентная молодежь, пришедшая в церковь из мира неформалов, журналистов и музыкантов. Для этой среды не было сомнений в равной ответственности Гитлера и Сталина за массовые убийства граждан Европы, и генерал Власов был для многих из них героем, бросившим перчатку тоталитарному строю.

Ныне в силу возраста, наличия хоть какого-то образования и приличного практического опыта они — циники снаружи и идеалисты в душе — становятся во главе епархиальных управлений, отделов и соборов. Для них Сталин — «чудовище, духовный урод», и с этим приходится считаться даже не столь радикально настроенному патриарху, — заключает издание.

Недавно открывшийся **сайт Преображенского содружества*** в статье **«Магизм сталинского режима»** (17 октября) напоминает, что проблему отношения к Сталину невозможно рассматривать вне широкого исторического контекста: *Фрагментарность и раздробленность памяти о репрессиях, периферийность этой темы в общественном сознании мешают дать политическую и нравственную оценку коммунизма как явления античеловеческого по своему характеру и сути.*

Боголюбские сироты

Свято-Боголюбский женский монастырь во Владимирской области стал этой осенью, пожалуй, самым известным монастырем страны. Как сообщила 29 сентября **«Русская служба новостей»**, началось с того, что в августе из монастыря сбежали две несовершеннолетние девочки — воспитанницы местного детского православного приюта. Они рассказали о том, что в монастыре с ними обращались, мягко говоря, не по-христиански: жестоко наказывали и унижали за малейшие нарушения дисциплины. После этого одна из сбежавших девочек, Валя Перова, написала письмо президенту Дмитрию Медведеву и патриарху Кириллу с подробным описанием того, как именно и за что конкретно монастырские воспитатели издевались над подопечными.

Эта обитель всегда считалась особенной — своего рода автономной республикой в Русской православной церкви. В свое время ее духовник — архимандрит Петр (Кучер) — призвал паству отречься от сатанинских пенсионных карточек с их «бесовскими» номерами ИНН, а также отказаться получать российские паспорта нового образца, так как усмотрел в коде «дьявольское» число 666, — сообщает 8 октября **«Московский комсомолец»**.

---

* http://www.psmb.ru/

Часть церковного народа отнеслась к этой истории как к попытке злых сил «наехать» на Церковь, отказывалась верить в саму возможность подобного отношения к детям в православном монастыре. В первую очередь неофиты, плохо знакомые с внутрицерковной ситуацией, не доверяли СМИ. Боголюбовская история, так же как пензенский затвор и «диомидовщина»,— часть айсберга, имя которому нетерпимость и фанатизм, — приводит 23 сентября мнение одного из священников **«Новая газета»**. И рассказывает о дальнейшей судьбе девочек: *Первым взрослым человеком «с воли», который помог девочкам, оказался отец Максим (Максим Хижий), протоиерей Свято-Троицкого храма Гусь-Хрустального. Это он позвонил в Москву Олегу Зыкову, члену Общественной палаты, главному детскому и подростковому наркологу Москвы. Позвонил, чтобы попросить о помощи. Зыков сказал: «Вези детей». Так девочки оказались в Москве. За Кристиной вскоре приехала мама. Валя — сирота, и ее временно оставили в приюте.*

«Комсомольская правда» от 20 октября пишет о реакции попечительского совета Боголюбского монастыря. Вот лишь одна цитата: *Сегодняшняя крупномасштабная провокация по дискредитации Русской православной церкви — это ответный ход «пятой колонны», стремящейся разрушить духовно-нравственные основы нашей страны.*

<...> Тем временем ситуацию в монастырском приюте под свой контроль взял лично Патриарх. А епархиальное руководство подготовило изменения в распорядок дня приюта и решение о том, что воспитанием детей должны заниматься светские педагоги, — сообщает издание.

В конце ноября завершилась работа комиссии Московского патриархата по изучению ситуации в Боголюбском монастыре. Как передает 24 ноября портал **«NEWSru.com»**, комиссия пришла к выводу, что большая часть фактов, заявленных в письме Валентины Перовой, не подтверждается. Вместе с тем при исследовании ситуации в монастыре был выявлен ряд педагогических ошибок. Воспитатели, непосредственно ответственные за них, уже отстранены от работы с детьми. Кроме того, комиссия констатировала также ряд принципиальных ошибок в организации жизни детей, пребывающих при монастыре. Руководству обители даны рекомендации по исправлению сложившейся ситуации. Исполнение этих рекомендаций будет находиться под строгим контролем.

Как передает 3 ноября **«Интерфакс»**, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей **Всеволод Чаплин** считает: *Сегодня надо сделать все, чтобы дискуссии, окружающие Боголюбово, не приводили к попыткам чиновничества и некоторых общественных деятелей объявить бесперспективной всю социальную негосударственную работу с детьми. <...> Эта работа нужна стране, и я совершенно уверен, что она может и должна продолжаться. Притом что каждый приют и детский дом, государственный и негосударственный, должен соблюдать законы, быть открытым для общества и взаимодействовать с органами власти, в том числе органами опеки и попечительства*, — отметил представитель Московского патриархата.

С ним солидарен **протоиерей Аркадий Шатов**, председатель Комиссии по церковной социальной деятельности при епархиальном совете Моск-

вы: *Проблема состоит в том, что в правовом, юридическом поле не существует даже такого термина — «церковный приют». Многие наши детские дома открылись вне правового поля. И даже если теперь некоторые уже официально зарегистрированы, то как они создавались, я вам даже не могу рассказать... Нужно дать церкви право организации своих детских домов и приравнять их по статусу к государственным. Эти приюты должны контролироваться государством точно так же, как все остальные, и должны получать такое же финансирование, как и светские детские дома. Сейчас уже есть церковные детские дома, которые официально зарегистрированы государством, но эти детские дома получают деньги только на питание детей и на одежду. А это всего 20% затрат Сейчас вот призывают разбирать детей из детских домов, и действительно больше стали усыновлять детей. Но многие дети возвращаются обратно. Представляете, какой это стресс для ребенка, когда его взяли в семью, а потом вернули в детский дом — он заново переживает свое сиротство. Ребенок оказывается совершенно сломлен. Так что в любом случае ясно — не всех детей мы можем раздать в семьи. Поэтому выход в разукрупнении детских домов, и нужно позволить общественности, не только церковной, устраивать семейные детские дома. Пусть государство это контролирует, но пусть дает и деньги на это. А сейчас оно и не контролирует, и денег не дает* (**«Ежедневный журнал»**, 14 сентября).

Условия работы негосударственных детдомов, в том числе созданных Русской православной церковью, будут определяться постановлением правительства России. Его проект подготовлен в Министерстве образования и науки, — пишут 15 сентября **«Известия»**. Издание высказывает опасение, что принятие стандарта для негосударственных приютов может привести к их ликвидации: *Два года назад «Известия» писали о попытках властей закрыть православный приют «Никита» в Подмосковье и другие богоугодные заведения. Тогда чиновники тоже говорили, что приюты не зарегистрированы, в помещениях — вполне уютных и добротных — не хватает «ногомоек», а монахини-опекуны не имеют права жить с детьми в обители, а только в квартире, по месту регистрации. «Никиту» тогда удалось отстоять. Но теперь, получается, судьба детских православных приютов вновь висит на волоске.*

Следственный комитет при прокуратуре РФ к середине ноября завершил процессуальную проверку по обращению Валентины Перовой. Как сообщает 18 ноября **«Седмица.Ру»**, изучение всех собранных материалов позволило прийти к выводу, что основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют. Вместе с тем, подчеркнул официальный представитель СКП **Владимир Маркин**, *анализ действий служителей монастыря выявил ряд обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления прав несовершеннолетних и совершенствования действующего законодательства в связи с тем, что формы пребывания, обучения, воспитания детей в монастырских приютах законом не предусмотрены.*

Вследствие этого, считают в СКП, *возникают трудности при реализации прав несовершеннолетних на охрану здоровья, надлежащее медицинское обслуживание, социальное обеспечение, получение качественного высшего образования.*

Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин предложил законодательно гарантировать соблюдение прав несовершеннолетних, которые живут в монастырских приютах. 20 ноября, комментируя это решение в **«Ежедневном журнале»**, **Светлана Солодовник** пишет: *Что же нам предлагают? Фикцию. Юридически церковных приютов не существует, но у живущих там детей должны быть равные со всеми другими детьми права. Можно, конечно, и так, если законотворчество не успевает за жизнью. Но не лучше ли сразу законодательно оформить «пребывание, обучение и воспитание детей в монастырских приютах», чем плодить законы «по касательной», создавая очередные противоречия и лакуны в правовой системе?*

Убийство отца Даниила Сысоева

Девятнадцатого ноября в московском храме прямо у алтаря был убит православный священник Даниил Сысоев. По предварительным данным мотивом убийства стало непримиримое отношение Сысоева к исламу.

Как сообщает 23 ноября **«Время новостей»**, нападение на 35-летнего отца Даниила произошло около 22.40 в храме Святого апостола Фомы, настоятелем которого он являлся. По словам очевидцев, в храм на улице Москворечье вошел молодой мужчина, лицо которого было закрыто медицинской марлевой повязкой, какими сейчас пользуются многие москвичи. Достав пистолет, неизвестный подошел к одной из служительниц и громко спросил с кавказским акцентом: «Где Сысоев?» Священник находился в алтаре, где исповедовал одного из служителей храма, и, услышав шум, вышел из-за ширмы. Преступник тут же открыл стрельбу — отец Даниил был ранен в шею, стоявший рядом регент церковного хора Владимир Стрельбицкий — в голову. Убийца спокойно подошел к упавшим на пол мужчинам и выстрелил настоятелю в голову. Затем он быстрым шагом пошел к выходу и скрылся.

Смерть Даниила Сысоева может разжечь опасный для общества и государства конфликт между двумя крупнейшими религиями, — пишет 23 ноября **«Независимая газета»**. — *Сысоев публично заявлял о том, что ставит перед собой задачу обращать в православие российских мусульман. Он совершал крещения татар, вел беседы с исповедующими ислам как лично, так и посредством форума в своем миссионерском блоге. Надо сказать, что Даниил Сысоев вызывал при жизни ярость у определенного круга мусульманской общественности. Ему 14 раз угрожали убийством. Некая мусульманская журналистка инициировала судебный процесс против священника. Несколько исламистских новостных порталов вели против него информационную кампанию. Остроту противоречий, которая наблюдается вокруг мусульманских общин в Европе, исламские радикалы хотели бы перенести в Россию, раздувая конфликт из каждой мелочи. Эти старания исламистов миссионер Даниил Сысоев очень облегчал.*

«Новая газета» (23 ноября) считает, что «мусульманская версия» может оказаться ложной: *Может быть, оценки, содержавшиеся в текстах о. Даниила, и правда были самыми ощутимыми для мусульман. Но его горячность и радикализм не в меньшей мере проявлялись, например, в полемике против уль-*

трапатриотов, наци и скинхедов. А эта публика отличается куда большей «раздражительностью». Наконец, нельзя сбрасывать со счетов интересы представителей строительного бизнеса, который облюбовал участок у метро «Кантемировская», где расположился храм о. Даниила. При молчаливой позиции патриархии о. Даниил оставался главным препятствием в реализации их планов. За три месяца до гибели священник писал в своем открытом обращении: «Впервые в постсоветской истории Москвы возникла угроза сноса действующего православного храма... Надо раз и навсегда прекратить злоупотребления, совершаемые под предлогом борьбы за природу, под которыми зачастую скрываются обычные проявления коррупции или даже антихристианские демарши некоторых чиновников!» Храм пока не снесли, но вопрос до конца так и не разрешился.

«Российская газета» от 23 ноября приводит слова **патриарха Московского и всея Руси Кирилла**: *Любое беззаконное отнятие человеческой жизни есть тяжкий грех. Но убийство священника в храме — это еще и вызов Божию закону, поругание данных нам самим Господом святынь. И этот грех не останется у Бога без отмщения. Надеюсь, что свершится и человеческая справедливость. Однако, пока имена преступников неизвестны, прошу воздерживаться от любых поспешных обвинений или резких суждений в адрес тех или иных групп.* Преступление взято под контроль руководством Следственного комитета при прокуратуре РФ. Следствие отрабатывает несколько версий убийства.

«Царь» Павла Лунгина

В широкий прокат вышел фильм «Царь», вызвавший оживленные споры в церковной среде.

«Комсомольская правда» от 3 ноября отмечает, что фильм стал знаковым событием — *в том числе и потому, что свою последнюю роль в ней сыграл Олег Янковский. Его герой, праведник и мученик митрополит Филипп, противостоит Ивану Грозному и его кровавым преступлениям.*

«КоммерсантЪ» пишет 5 ноября: *Павел Лунгин госзаказа на прославление «симфонии» власти и церкви не выполнял. Просто и честно снял историческое кино о том, как в угаре опричнины параноик Иван IV возвел в митрополиты благородного и мудрого Филиппа. Когда же тот возвысил голос против террора, заточил его в монастырь, а потом умертвил.*

Мария Свешникова на сайте **«Православие и мир»** (2 ноября) отмечает: *У последней работы Павла Лунгина уже странная удачно-несчастливая судьба. С одной стороны, «Царя» отобрали Канны. Правда, не в Основной конкурс, а в «Особый взгляд», что не менее почетно. Реакция зрителей была неоднозначной: из зала никто не ушел, но и бисировать никому в голову не пришло. Лунгин и его работа вернулись без наград.* По мнению обозревательницы, получился фильм, *которому, отчасти, впору позавидовать Сергею Эйзенштейну. Хотя бы потому, что классику, по признанию Лунгина, пришлось делать упор на эстетические решения и эзопов язык, которые были необходимы при реализации сталинского заказа.* Современного же режиссера *больше интересовала психологическая, а не эстетическая сторона вопроса.*

Между тем против показа фильма массовому зрителю выступил «Союз православных хоругвеносцев». *Главный хоругвеносец Леонид Симонович назвал фильм кощунственным и добавил, что хочет подвергнуть «Царя» аутодафе*, — пишет 30 октября газета **«Газета»**. — *Симонович сообщил, что 2 ноября Союз православных хоругвеносцев проведет пикет у МХАТа на Тверском бульваре, напротив памятника Сергею Есенину. Физических действий в отношении кого-то из съемочной группы хоругвеносцы не планируют. По мнению лидера «хоругвеносцев», фильм Лунгина дает однобокую трактовку правления Ивана Грозного. «Он там предстает как маньяк и садист. А как может помазанник Божий быть маньяком? Бог не мог поставить царем садиста», — считает Симонович.*

Комментируя слова лидера хоругвеносцев, Павел Лунгин в том же издании 5 ноября отмечает: *На мой взгляд, это то самое обожествление власти, языческое, ужасное. Нам Христос дал свободу, и отнимать эту свободу не могут ни хоругвеносцы, ни лично Симонович. Потому что человек свободен и власть не есть Бог.*

К вопросу о переводе богослужения на русский язык

Двенадцатого ноября в конференц-зале Российской государственной библиотеки прошла презентация VI тома серии литургических переводов «Православное богослужение». Это событие и связанное с ним обсуждение проблемы перевода богослужебных текстов вызвало множество откликов как в церковной, так и в светской прессе.

С докладом на презентации выступил иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата **архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)**, сообщает портал **«NEWSru.com»** (19 ноября). *Архиепископ Ионафан высоко оценил работу переводческой группы СФИ* (Московского православного Свято-Филаретовского института. — *А. К.* и *Б. К.*), *назвав все эти шесть томов «словесной купелью крещальной, последним словом лингвистической богословской науки в истории богослужения и в переводе богослужебных книг нашей святой Русской православной церкви».*

Присутствие архиерея в конференц-зале Российской государственной библиотеки на презентации 12 ноября было ожидаемым, отмечается 17 ноября в новостном блоке радио Санкт-Петербургской митрополии **«Град Петров»**: *все шесть томов переводов, изданных Московским православным Свято-Филаретовским институтом, вышли по его благословению.*

Информационное агентство **«Благовест-инфо»** (17 ноября) подробно касается содержания доклада: В современной Русской православной церкви можно найти очевидные свидетельства *соборного возобновления поиска действенных форм миссионерского служения на общецерковном пространстве*, считает архиепископ Ионафан. По его словам, старт этому поиску дало определение Архиерейского собора РПЦ в 1994 году, в котором говорилось: «*В связи с тем, что развитие литургической жизни в нашей Церкви практически остановилось, а большинство жителей наших стран безвозвратно утратило традиционную для прошлых веков культуру, представляется необходимым сделать более доступным их пониманию смысл священнодействий и богослужеб-*

ных текстов». Важным этапом стала утвержденная в 2009 году Священным Синодом РПЦ Концепция миссионерского служения, которая, как отметил архиепископ, содержит *рекомендации по использованию родных языков на литургии просвещаемых, равно как и благословение совершать миссионерские литургии с разъяснением смысла и порядка литургических действий.*

Говоря о стремлении местного украинского духовенства читать евхаристические молитвы на родном языке, архиепископ Ионафан отметил, что *таковых приходилось останавливать,* но не потому, что это недопустимо само по себе, а потому, что введение этой практики *предполагает многолетнюю богословскую подготовку прихожан — их катехизацию.*

Некоторые издания обратились к истории вышедшего из печати перевода. Так, **«Ежедневный журнал»** 17 ноября в статье **«Язык церкви»** напоминает: *Работу над переводами о. Георгий Кочетков начал на свой страх и риск еще в конце 1970-х годов. Последние шесть лет она шла по плану, над переводами трудился уже целый коллектив: руководитель — ректор СФИ, проф.-свящ. Георгий Кочетков; филологи Б. А. Каячев, Н. В. Эппле, К. А. Мозгов. «Цель всей издаваемой серии, — объяснил о. Георгий, — двойная: не только практическая, но и образовательно-научная. А свидетельствует об этом та мгновенная популярность, которую приобрели книги как среди клириков, так и среди мирян. Многие батюшки их уже полюбили».*

Портал **«Православная книга России»** пишет 14 ноября: *Задачи авторов весьма обширны и дерзновенны: это переложение на современный язык полного суточного круга церковных молитв и, более того, создание русского литургического языка.*

Прозвучали и критические замечания в адрес перевода. Так, **Борис Колымагин** на сайте **«Портал-Кредо»** (17 ноября) замечает: *К сожалению, в рамках презентации никто из выступающих не коснулся негативных сторон перевода — излишнего украшательства, буквализма отдельных мест, трудности слога, слов-паразитов («который», на мой взгляд, нельзя использовать не только в поэзии,но и в литургическом русском — это слово-табу), неоправданного перевода словосочетаний, вошедших уже в русскую речь («многая лета» — «многие лета»). А, может, и к лучшему, что на презентации об этом не говорилось. На то они и презентации.*

Своеобразной репликой оппонентов перевода стали обнародованные информационными агентствами ответы руководителя синодального отдела РПЦ по религиозному образованию и катехизации **епископа Зарайского Меркурия** на вопросы слушателей общедоступного лектория «Основы православного мировоззрения». Как сообщает 13 ноября **«Благовест-инфо»**, епископ Меркурий *высказался категорически против перевода богослужения с церковнославянского языка на русский: «Менять целиком всю практику церковнославянского богослужения на русский совершенно неправильно». В числе его доводов — необходимость понимания глубины древней традиции православного богослужения и особенностей церковнославянского языка: «Невозможно сделать за короткое время то, что сделано за две тысячи лет». Современный русский язык он считает «достаточно примитивным» по сравнению с церковнославянским — «музыкальным, чистым, языком разговора с Богом, очень объемным, одно слово славянского языка глубочайший смысл в себе несет!»*

«Русификация — это путь не восхождения в Церковь, а снисхождения Церкви. Это путь протестантизма, он неправильный», — считает глава Синодального отдела. Поэтому приходящих в Церковь надо настраивать на постепенное «привыкание».

В то же время, он не отвергает необходимости работы над отдельными словами и выражениями, которые «естественно» было бы заменить. Однако здесь важен дифференцированный подход: так, замена некоторых слов неактуальна для «сложившихся» приходов и монастырей. А вот для новых приходов, куда приходит много молодежи, возможна некоторая русификация.

На заявление епископа Меркурия ответил 16 ноября статьей в **«Комсомольской правде»** зам. главного редактора газеты **Андрей Дятлов**: *Вообще, спор о том, должна ли наша Церковь переходить на нормальный русский язык — давний. Многие мировые христианские Церкви давно это сделали, то есть, конечно, не на русский перешли, а на свой родной язык. Зачем? А мне очевидны некоторые вещи, о которых не говорит епископ Зарайский Меркурий, вещи, простите владыко, довольно азбучные:*

1. *Учить для понимания службы массово миряне церковнославянский язык не будут, это точно.*

2. Тем более, не будут учить «новоначальные» верующие — это ведь сказано о молодежи, которая должна прийти в церковь. Молодежи, которая совсем не та, что была еще даже пятнадцать лет назад. Им интересны бизнес-языки, и это нормально. Чтобы привлечь их к церкви, нужно говорить с ними на их языке, а не пытаться научить тому, что им явно будет неинтересно.

3. Из-за этого понимание Священных писаний и богослужений останется для «новоначальных», да и для многих давно верующих, во многом на чисто ритуальном уровне.

4. А то, что нельзя или трудно понять, — бесполезно

Надо уже как-то идти к людям, а не ждать, когда люди придут в храм... Мне вот, как православному и верующему человеку, как раз и не хватает того, чтобы церковь заговорила, наконец, со мною на моем и понятном мне языке. Может, попробовать, наконец?

Одним из главных мотивов, звучавших прежде всего в многочисленных интервью, опубликованных в контексте темы литургических переводов, была надежда на возможность конструктивной полномасштабной дискуссии в церкви.

Об этом говорит, например, **протоиерей Димитрий Карпенко**, секретарь Белгородского и Старооскольского епархиального управления, в интервью газете **«Кифа»** (№ 15(105)): *Необходимо продолжать говорить об этом, выводить эту тему на уровень серьезной внутрицерковной дискуссии. Я надеюсь, что в этом может помочь тот орган, который был создан по благословению Святейшего патриарха и Священного Синода — я говорю о Межсоборном присутствии, которое призвано эти вопросы ставить и обсуждать, вырабатывая церковную повестку дня для дальнейших обсуждений на Архиерейских соборах. И слава Богу за то, что у Свято-Филаретовского института теперь есть свой голос в этом органе церковном, где можно будет поставить вопрос о переводах богослужения. Наверняка будут высказываться различные*

мнения, различные предложения, встретятся различные понимания проблемы. Но в любом случае эту дискуссию необходимо продолжать, необходимо говорить вообще о месте и роли богослужения в нашей жизни: чем для нас является богослужение, каков его смысл. Эти вопросы, несомненно, нужно обсуждать — обсуждать спокойно, аргументировано, не навешивая никаких ярлыков, не пытаясь в чем-то обвинить оппонентов.

В этом же интервью о. Димитрий напоминает: *Естественно, мы должны опираться на наше церковное предание — это то, что должно нас вдохновлять и указывать нам путь. Если мы спокойно будем взирать на нашу церковную историю, то многие вопросы будут разрешаться сами собой.*

Интересен в этом контексте и подход автора шеститомника переводов, **священника Георгия Кочеткова**, к вопросу о возможности многообразия опыта и подходов. Отвечая на вопрос интернет-издания **«Православная книга России»** (14 ноября) «*как Вы относитесь к поновлению церковнославянского текста, замене непонятных слов новыми?*», отец Георгий говорит: *Да, это тоже важно. Я думаю, нужно всегда приветствовать все живое в Церкви. Не следует держаться только «своего». Ведь мы же едины во Христе, вместе служим Господу в разных направлениях.*

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

К юбилею Ольги Седаковой

Евгений ЕРМОЛИН

НЕВИДИМОЕ ПЛАМЯ

Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.
Да не сдадимся низким целям.
Так реки, падая, твердят ущельям:
Всегда есть шаг,
Всегда есть ход, всегда есть путь...

На сайте OpenSpace сейчас, в конце 2009 года, проходит опрос «Самый влиятельный интеллектуал России». Результаты[1] пока почти анекдотичны. В лидерах — Зюганов, Пелевин, Крылов... Может быть, и интеллектуалы, но уж очень маргинальные по отношению к большой традиции духа. Да и у них *влияния* набралось с гулькин нос. Те ж, кто мог бы реально претендовать на статус серьезного мыслителя и свободного интеллектуала мирового масштаба, оказались в хвосте или вовсе не попали в список.

Такое время, и такие мы. Но именно Ольга Седакова, я убежден, в наш мизерабельный век — одна из тех, кто сохраняет и являет собой пример и опыт значительности. Как раз к ней без усилия можно отнести определения *мыслитель, художник, интеллектуал...*

Весело признаться, что я всегда испытывал острую симпатию по отношению к тому, что говорит и как думает Ольга Седакова о мире и человеке. Ее интеллектуальный посыл с какой-то явной очевидностью совпадал с моим восприятием и пониманием жизни. Она — тот самый русский европеец, человек христианско-гуманистической цивилизации, универсалист и патриот русской духовности (а не русского социального убожества), который отчетливо и внятно делает дело мысли.

Из самого недавнего, со вниманием и не без пользы прочитанного — седаковская проповедь **моралистма** (в статье 2009 года «Нет худа без добра»): *С петровских времен в России «протестное» настроение присоединяется к этому, западного типа, движению: в сторону «расшатывания норм», эпатажа буржуа, нарушения «добрых нравов»... Сопротивление жесткой моральной системе, «суду святош». Нонконформистские движения русской культуры (начиная со «щеголей» и «петиметров» XVIII века, нигилистов и декадентов XIX и до нынешних радикальных постмодернистов), подражая западным, бросают вызов общественному вкусу, моральному общественному вкусу. Но его-то у нас и нет! Нет у нас такого общественного суда, который докучает всем моральными тривиальностями. Образ «угнетающей силы» здесь совсем иной: она никогда и не выдавала себя за морально безупречную. Она*

[1] http://www.openspace.ru/votes/details/13323/

руководствуется совсем другими принципами: необходимостью, например, <...> («Так нужно сейчас!»). Так что настоящим сопротивлением, настоящим освободительным движением у нас должен был бы стать простейший морализм, простейшее утверждение того, что не «все так сложно», что есть все же кое-что простое и несомненное, что при всех сложностях в своем пределе добро есть добро и зло — зло: всегда и при любом стечении обстоятельств. Что утверждение «не обманешь — не продашь», скажем, не является универсальным неоспоримым законом. Нет, продашь! Продашь и не обманув, и еще лучше продашь. Это было бы гораздо более бескомпромиссно в наших краях. Это было бы революционно: утверждать, что добро может осуществиться и без содействия зла. Утверждать моральные тривиальности...

Мне кажется, мы и правда пришли к какой-то исторической кульминации релятивизма, ставшего едва ли не повсеместной нормой жизни. Вот и инет после статьи Седаковой показательно зашумел:

— ...обливание грязью советского периода истории и Сталина мне показалось неуместным. Или она не русская? То есть ведет она себя совсем не так, как приписывает в традиции русскому народу. <...> Проблема ею поднятая серьезная, но цель которую она преследует... я такое называю спекуляцией. <...> Глупо как-то у нее вышло... Нет никакого союза со злом, есть только упомянутое ею же понимание, что не все, что зовется злом является злом, а всего лишь худом. Вот это и чувствует русский народ, но не чувствует интеллигентка Седакова.

— ...Крик западного интеллигента, застрявшего медвежьем краю. «Помогитя, насилуют!» <...> Вон как голосит.

— ...Я сам так рассуждаю. Путано и на ходу. В статье не найдено одной чоткой линии, как собственно и в предмете обсуждения — не определена русская граница зла и добра. Но она есть. Стопудово. И мы ее чувствуем. Если быть твердыми и не юлить. Другое дело что мы ее переступаем туда-сюда...

— ...Я люблю и умею жить в моей стране. Со всеми ее несуразностями, гадскостью и нелепостями. Я все это понимаю. И не просто мозгами понимаю, а душой приемлю. И наше неправосудие, и все остальное... <...> Мне в этом всем жить не в лом и не удручает меня ни единой минуты. Ну вернее, канешно, удручает — для поддержания разговора. Но пачестнаку когда я сам себя спрашиваю о своем отношении к моей родине, я так же честно отвечаю себе — да! Я могу здесь жить. Мало того — нигде кроме я бы жить так полно и счастливо не мог... Потому что я безответственный, безалаберный и абсолютно свободный (в том числе и от социальных обязательств) человек. Это моя страна. Мое добро и мое зло. И то, что оно на моей территории отличается от добра и зла европы, — это стопудово[2].

Вот так. И все-таки хорошо, что в России есть Ольга Седакова. Пусть даже как мамонт пресловутого литературоцентризма, благополучно побежденного к началу XXI века, скорей всего, однако, ради окончательного и едва ли поворотного распада народной души. Или еще не кончилась эта

[2] Цитаты с форума http://poljanka.ucoz.ru/forum/33-1229-1. Орфография оригинала. См. также: http://wyradhe.livejournal.com/64709.html.

привычка *думать, что писатель в России обладает такой значительностью, как, может быть, нигде больше (во всяком случае, в новые времена), что литературе («святой русской литературе», как назвал ее Томас Манн) принадлежит совершенно особое место в нашей общественной жизни*?

Седакова пишет: *Этот «литературоцентризм» русской культуры, совершенно очевидный, то положение, при котором писателю приходится брать на себя задачу морального учителя, историка, философа, религиозного мыслителя, даже политика и практического деятеля, в недавние времена многие пытались обличить и преодолеть. Но стоит задуматься вот о чем. Итальянцы говорят, что роман А. Мандзони «Обрученные» сделал для объединения Италии больше, чем все политические движения этого времени. Англичане знают, что после романов Ч. Диккенса многие вещи исправились в английской социальности (приюты, обращение с детьми и т. п.). Можем ли мы сказать, что «Бедная Лиза» Карамзина хоть немного ускорила отмену крепостного права? (А это и был бы случай Диккенса!) Или что после романов Толстого и Достоевского, которые поражают читателя во всем мире глубиной и страстностью своей человечности, российская жизнь (я имею в виду практическую социальную жизнь) хоть в чем-то стала гуманнее и светлее? Как понять это странное положение: глубокая, гуманная, мудрая словесность — и социальная жизнь, в которой достоинство человека унижено больше, чем это допустимо в самой «средней» европейской стране? Я думаю, дело в том, что те в России, кто действительно читали и прочли Толстого, Достоевского, Пушкина, Солженицына, никогда не могли оказать никакого практического воздействия на ход событий в стране. Власть же, от которой у нас зависит все, никогда ничего этого не читала (в том смысле, что не принимала всерьез) и ничего общего не имела с великой словесностью собственной страны.*

Остались ли сегодня в России читатели Толстого, Достоевского, Пушкина, Солженицына? И какова их роль в общественной жизни?.. Грустные вопросы. Не вышло ли так, что мы «освободились», как говорит Седакова, *не от того, что в нашей истории страшно, а от самого лучшего в ней, от того, что, может быть, оправдывает само существование нашей страны*? Но если и так или почти так, то все-таки само наличие в современной России таких людей, как она, вопреки *общей спекуляции на понижение*, дорогого стоит.

Римские ласточки, ласточки Авентина,
Когда вы летите, крепко зажмурившись,
О, как давно я знаю,
Что все, что летит, ослепло.
Поэтому птицы говорят: Господи! —
Как человек не может.
Когда вы летите — неизвестно куда, неизвестно откуда, —
Мимо апельсиновых веток и пиний
Беглец возвращается в родительский дом...
Старый и глубокий, как вода в колодце.
Нет, не все пропадет, не все исчезнет.
Эта никчемность. Эта никому-не-нужность.
Это, чего не узнают родная мать и невеста.
Это — не исчезает...

В личности Седаковой, в самой ее фигуре, в постановке головы, в жесте и во взгляде угадываются удивительные независимость и достоинство, простота и стать. Нечто аристократическое и даже отчасти царственное. Нет, не высокомерие, а скорее готовность проявить великодушие и оказать милость[3].

Вспоминаешь, что она родилась в военной семье, но дело не только в этом. Дело еще и в том, что она живет *со спрятанной раной участья*, она приняла на себя бремя родства с исторической Россией, с великими поэтическими традициями, с опытом христианства, восточного и западного, с гуманным и свободным европейским духом.

И она не скрывает этих личных обязательств.

Смелость правит кораблями
На океане великом.
Милость качает разум,
Как глубокую дряхлую люльку.
Кто знает смелость, знает и милость,
Потому что они — как сестры:
Смелость легче всего на свете,
Легче всех дел — милосердье.

Она вполне свободна. Ее советский опыт на десять лет больше моего. Но удивительно, что сказывается он едва ли не меньше. Да и вообще никак. В фактуре ее личности, ее стихов и прозы нет ни намека на слом, на готовность к компромиссу, на трудно побеждаемую привычку мельчить и недоговаривать, бояться и трепетать.

В глухой и бездарной эпохе она нашла нечто такое, что ни в чем не совпало с цинизмом и лицемерием режима, с мещанской пошлостью духовно необеспеченного житейского обихода. *Эти озарения, обращения, погружение во внутреннее, полумистика-полу-метафизика, очарование сновидением и зазеркальем (то, что можно узнать в зрительном ряду фильмов Тарковского) с позиции нынешнего, конкретного церковного благочестия покажутся эстетической религиозностью, слабой тенью гностицизма, если не*

---

[3] Кстати, как пример из жизни. Не так давно в Воронеже тамошние дремучие «казаки» попробовали ее освистать. И вот что вышло, по свидетельству очевидца: *Вчера, 2.01.09, на вечере поэта Ольги Седаковой, лауреата многочисленных международных премий, переводчика, ученого, которая приехала в Воронеж по приглашению нашего Братства, представители воронежского казачества пытались сорвать вечер. Риторика очень знакома: «Русь святая, храни веру православную!». К сожалению, в этих словах кроме фашистской идеологии под «православным» лозунгом нет ничего... <...> Ольга Александровна не пострадала, но было видно, как ей неприятно, когда ее пытались уличать в «неправославности» нечестными методами. Знаете, есть такой сорт вопросов, в ответ на который можно лишь развести руками, когда вопрос больше говорит о вопрошающем, нежели является частью разговора. Два дюжих молодца из казачества, перебивая ее, задавали провокационные вопросы неприемлемым тоном по отношению к гостю, к женщине, к старшему по возрасту... Седакова с достоинством вышла из этой ситуации. Вечер удался... Ложка дегтя ничего не испортила, а лишь послужила напоминанием о бодрствовании.* — http://merk-uriy.livejournal.com/12532.html.

прелестью. Что же до «тоски по мировой культуре», — а она и была тем тайным теплом, которое согревало бездомное, безродное существование наших 70-х, — об этом и говорить теперь неприлично... Но именно там родина моих сочинений, родина души, если угодно. Кстати, само слово — душа, — забытое уже несколькими поколениями, явилось тогда так, как будто никто его прежде не произносил...

Неудивительно, что ее стихи и проза оказались тогда абсолютно внецензурны. (Кажется, только ученые записки Тартусского университета и журнал «Знание — сила» да еще несколько малотиражных научных сборников по разу предоставили ей в те времена место для публикации.) Они могли соединиться с материей Совка только по той же абсурдной логике, с какой в ранней молодости Седакова с друзьями «глумилась» над михалковским гимном: *...я помню, как мы соединяли через строку слова нашего Гимна — и некрасовское «Однажды в студеную зимнюю пору»...*

В новую эпоху она вспоминала: *Любой ценой, с любыми искажениями увидеть свои тексты в печати — это было уже не для нас. Зачем? И так прочтут кому нужно. А ведь из мемуаров об Ахматовой мы видим, что для нее это было еще не так. Эзопов язык, снятые заглавия, посвящения и даты, все другие виды «каторжного клейма» — на это шли ради читателя.*

...не печаталось ничего. Ни стихи, ни статьи, ни переводы. Стихи ходили в самиздате и таким путем дошли до парижского издательства YMCA-press, где и появилась моя первая книжка — в 1986 году. В Москве первая книга стихов вышла в конце 1990 года. <...> я не только не публиковалась, но и была «на плохом счету». Даже имя мое (как и имена других неподцензурных поэтов нашего поколения) не упоминалось в печати.

...Да, во второй культуре мы приобрели отстраненный взгляд на происходящее, взгляд откуда-то с Луны на «музей мракобесия», как мы называли нашу официальную культуру. Платой за эту отстраненность стала разлука с современным широким читателем, до которого самиздат не доходил. Эта невстреча не компенсируется запоздалыми публикациями. В Гераклитову реку второй раз не войдешь.

Однажды Седакова отрефлексировала как опыт странствия и как *спуск в социальный ад* путь в тяжелую, мутную хлябь советской цивилизации, *в абсурдность ее застывших форм* (К. Голубович) — в своем опубликованном еще в Самиздате в 1984 году «Путешествии в Брянск». *Только ранняя весна и поздняя осень делают путешествие по средней России вполне поэтичным. Я думаю так безо всякого злорадства, не как маркиз де Кюстин. Что считать поэтичным: «И бездны мрачной на краю». Несколько недель ноября и марта — это ведь и есть укрощенное подобие такой бездны, репетиция той хляби, тех вод, которые когда-нибудь, как говорит Тютчев, опять покроют все сущее.* Получился мир, в котором нет вечности. Напрочь. Только длится *мучительная, как зубная боль, советская поездка поэта и переводчика с выступлениями перед местными пионерами и рабочими* (Н. Горлова), только *обозреваемые вершины духа встают на фоне провинциального дворца пионеров в пейзаже из осенних* ***тверди, хляби, воздуха***.

И всюду, как замена всего сущностного, — власть. *Как все мои соотечественники, раза три пройдя марксизм, я делаю такой экономический вывод: и*

«социалистическое» государство, и «капиталистическое» суть общества потребления, разница же в том, что в одном случае потребляются товары, в другом власть <...> Власть — основной вид заработной платы наших граждан, и всякий вид трудоустройства есть вид власти. Подумайте сами. Что есть продавец? Власть над товарами и покупателями. Редактор? Власть над текстом и автором. Врач? Проводник поезда? Все, кто обыкновенно считается служителями общества и его членов, здесь они власти. Зарплата в дензнаках значит гораздо меньше.

Погляди, как народ умирает,
И согласен во сне, и умрет.
Как он кнут по себе выбирает,
Над собой надругавшийся сброд.
Только шепот, и шепот, и шепот,
Как песок по доске гробовой.
Только скверный и слышанный шепот.
Только шепот и вой нанятой...

Возможно, и нужно умереть, чтобы покинуть это отчаянное место жизни. Как замечательно в ином контексте сказано там же: *Снилось мне, что я умерла... Что меня нет, я знала не по отсутствию тела, а по ощущению необыкновенной любви, отовсюду ко мне направленной. Живых так не любят, вернее, живые не догадываются, что их так любят...*

Смысловая пара к «Путешествию в Брянск» — «Путешествие в Тарту и обратно» (1998): повествование о поездке на похороны Юрия Лотмана. Здесь есть вполне оправдавшие себя и в последующее время соображения о природе постсоветской российскости: *С самого своего почти комического начала, с отмены винопития в России, и вплоть до нынешнего дня, когда я пишу эту страницу, дня дефолта, за которым маячит очередная реставрация, весь этот процесс принял у меня в уме ясную пластическую форму. Группа Лаокоона. С тем усложнением, что и сам троянский жрец с сыновьями, и нездешние змеи, из которых они выпутываются, — это одно действующее лицо. Общество выпутывается из себя и себя душит.* Но вот то, что думает Седакова о Лотмане, отчасти характеризует и объясняет и ее саму. Для нее *рыцарственность Лотмана, подчеркнутость его манер — равно как и блеск эрудиции и мысли — были конструктивными факторами, служившими упорядочиванию и окультуриванию окружающей жизни, восстановлению памяти о дореволюционной научной среде, а равно и о порядочности, интеллигентности и пр. <...> школа Лотмана восстанавливала разорванные культурные традиции и интерес к структуре и упорядоченности, а потому, в некотором смысле, вся советская действительность по отношению к школе Лотмана была, наоборот, андерграундом.*

Ввиду особенностей моей личной судьбы, в детстве связанной с Севером, мне важна и третья ее русская дорога: в Архангельск. *Я очень люблю, давно люблю русский Север*, — признавалась она в одном из интервью, — *еще с тех пор, как в студенчестве мы сюда ездили собирать диалекты... У нас, у московской интеллигенции, всегда была такая как бы легенда: если вы хотите увидеть, что такое Россия, надо ехать на русский Север.* Говоря откровенно, для меня почти целиком уже утрачено это обаяние Севера,

основанное на досоветской памяти, хранимой когда-то здесь, как писаховские мороженые песни. Но все же есть исключения. Одно из них — Свято-Сретенский Заостровский приход священника Иоанна Привалова, где принимают Седакову и где издали книжку с прекрасным названием «Поступок — это шаг по вертикали: Материалы о жизни и творчестве поэта и мыслителя О. А. Седаковой» (2004). А мой первый учитель журналистики Вера Румянцева написала текст буклета к диску Седаковой...

Признание настигло ее сначала в Европе, а потом уже в России. Ее лирика и эссе переведены на английский, немецкий, французский, итальянский, шведский, голландский, датский, иврит, албанский, болгарский, сербский, греческий, финский, фламандский, польский языки, на иврит и китайский. Папа Иоанн Павел II удостоил ее специальной, ради нее учрежденной литературной премии «Христианские корни Европы». Лауреат премии имени Владимира Соловьева (1998 год), Парижской премии русскому поэту (1991 год) за книгу стихов «Китайское путешествие», премии Альфреда Тепфера (1994 год), Европейской премии поэзии за книгу стихов «The Wild Rose» (1995 год, Рим). По списку Кембриджского международного биографического центра Седакова была названа «Женщиной года» (1992-й). У нее уникальный статус доктора богословия honoris causa минского Европейского Гуманитарного Университета за «поэтическое творчество», полученный в 2003 году из рук митрополита Филарета. Кавалер ордена искусств и словесности Французской Республики (2005 год). А в марте 2003 года она стала лауреатом премии имени Солженицына *«за отважное устремление простым лирическим словом передать таинственность бытия; за тонкость и глубину филологических и религиозно-философских эссе»*.

Об ее стихах и прозе можно говорить долго, но сейчас я скажу коротко и, возможно, отчасти субъективно.

В ее прозе есть особенно дорогие вещи, непонятно из чего сделанные, типа удивительной «Хэдди Лук». *Других страшно вспомнить, Но Хэдди, Хэдди достойна лучших на свете поминок: ветра на карусели и золотых стихов Гафиза <...> А мы, Хэдди, мы никто и не будем несчастны, мы только большой список перечислений друг о друге, друг другу чужие, как сама себе чужая середина в египетском платье, — Хэдди, одежда единственная, разумно придуманная, рябчика пыльное чучело, проклюнутая скорлупа, вавилонское сновидение, тьмы египетской просияние, вечерняя скука, юности надежда, зимняя дорога, роза на снегу, сновидение сновидений с помощью Божией, благочестивая Хэдди Лук, изящнейшее дело.*

Стихи для Седаковой — дело свободы. В своей поэзии она рискует, работает без гарантий, идет по целине. И как человек безусловно рефлексивный четко формулирует эти особенности своего творчества:

Готовые формы тем и соблазнительны, что они обещают, что все обойдется без страданий...

Поэзия, по-моему, делит людей так: на тех, кто шагу ступить в уме не может без опоры на что-то привычное и объяснимое, и тех, кто умеет (или смеет) остаться без опоры, в плавающем, неопертом пространстве, которое и составляет поэтический смысл, в общем-то, авантюрный.

Как и в жизни, как и в прозе и публицистике, Седакова-поэт — идеалистка. Но при этом она совсем не романтик. Ее муза религиозна, но не эмоциональна; в ней совсем нет религиозной чувственности в духе католической Контрреформации. Ей, пожалуй, ближе аскетический православный стиль Игнатия Брянчанинова. В связи с ее стихами справедливо вспоминают Элиота и Мандельштама — теоретиков неоклассики как такого вектора поиска, когда творчество ориентировано на высшие смыслы и ценности духа, а сам автор как романтическая, самовыражающаяся личность со своими *невротическими комплексами* теряет значение, — чтобы, по словам самой Седаковой, *предмет стихов из объекта изображения превратился в субъект высказывания...*

В ее понимании художник *оставляет за собой позицию слушателя этой речи, его слова — не столько голос автора, сколько его слух.*

Жесту выражения я предпочту сообщение. Когда что-то передают <...>, то стараются не делать резких движений, чтобы не разбить, не расплескать, не уронить... Гид и переводчик с языка молчания — вот и вся роль поэта. А ждем ли мы от гида и переводчика рассказа о себе и признаний в духе «Я пьян давно»?

...искренность лирика состоит в его искреннейшем желании перестать быть собой, а не в прямодушном исполнении старых для себя «непосредственных чувств».

...и вновь требуется более прямое, исчезающее перед предметом слово. Такого слова, собственно, мне всегда и хотелось.

Вообще-то это — не всегда легкая жертва. (Но Седакова убедила себя, что она совсем невесома.) А последствия ее многоразличны и неоднозначны. В седаковских стихах есть чудесные вещи (все «Старые песни», например). И есть менее чудесные. Есть то, что ложится на душу. И есть то, что я не понимаю.

Она отталкивается как от постмодернистской игривости[4], так и от *сентиментальности* и *морализаторства*, уличая в них русское искусство, и противополагает им, к примеру, «Алису» Кэрролла: она говорит о *наслаждении скоростью мысли, фантастической логикой Кэрролла, свободой его ума от тривиальной данности. То, что в детстве мне казалось недобрым, жестким, странным, теперь предстало просто освобожденным от привычных*

---

[4] Седакова небезосновательно трактует постмодернизм как *не наследующий модернизму, а отрицающий его наравне с остальными традициями.* В эссе из замечательного сборника «Наше положение: образ настоящего» (2000) она противопоставляет его модернизму по двум основным признакам: отношение к прошлому (если для модернизма характерна модель «прошлое в будущем», — т. е. потенциал, заложенный в искусстве прошлого, далеко не исчерпан и напрямую спроецирован в будущее, модернист творит перед судом традиции — аллюзия на неоклассические идеи Мандельштама и Элиота, — то для постмодернизма — «будущее в прошлом» — продуктивное развитие искусства завершено) и отношение к языку (если для модернистов язык — креативное, тяготеющее к предметности начало, то для постмодернистов — начало тираническое, максимально абстрактное). Основную черту постмодернизма наш автор определяет как *обделенность экстазом.*

эмоций, как бы вынутым из поля эмоциональных и простейших моральных — «душевных» — отношений. Такой эксперимент очень освежает. Для русского искусства <...> подобное упражнение в чистоте воображения, мне кажется, полезно.

Однако и в русском искусстве она находит нечто подобное: у Пушкина, Баратынского, Тютчева... Некоторые критики (скажем, И. Ковалева[5]) говорят в этой связи о *новейшей русской метафизической поэзии* применительно к *поколению Ольги Седаковой, Елены Шварц, Сергея Стратановского, Ивана Жданова*... Сказать по правде, у меня нет уверенности, что это вполне сложившееся литературное течение. Но сама Седакова в статье «Воля к форме» о метафизичности стиха пишет всерьез: *В переписке Вяземского, Баратынского, Пушкина необходимость выработки «метафизического языка» обсуждается в связи с переводом романа «Адольф» Б. Констана. Что, собственно, имелось в виду под «метафизическим языком»? Это выражение, заимствованное у мадам де Сталь, применялось к описаниям определенного рода психологии: сложной и слабой психологии «современного человека». Чтобы различать и прояснять изгибы этих противоречивых переживаний, требовалось отстраниться от собственной психической жизни, стать «наблюдателем» своих чувств. Точность и холодность таких «наблюдений» ценилась весьма высоко. И поэтическим явлением этот «метафизический язык» стал в лирике Баратынского. Речь шла, в сущности, о чем-то большем, чем язык: сама позиция Баратынского-лирика — «метафизическая» (в обсуждавшемся выше смысле) позиция, отстранение, post factum фиксирующая причины и следствия, антитезы и совмещения, «вид» вещи и ее «суть».*

Но продолжает она эту традицию своеобразно, переводя пушкинскую ясность в план *неомодернистского* лирико-«метафизического» сюра, погружаясь в ночные бездны и доставая из них слова и образы.

Искусство бежит как огня любых наперед заданных форм знания, любых окончательно выясненных доктрин... Поэту надлежит *понимать не понимая. Из непроясненного, глубокого и смутного — и потому волнующего — выводить смысл как воплощенную форму: выводить не понятие, а образ, смысл, который не отменяет родной темноты и глубины (как цветок не отменяет своих корней), — но делает их прикасаемыми для нас.*

Вероятно, такова и природа нашей эпохи, ночная и мутная. И такова природа души поэта, ее поэтический характер. Смысл рождается трудно и свободен от форсированного и обнаженного переживания. Это создает эффект пересохшего горла. Возможно, такой эффект не в последнюю очередь связан и с тем, что ее стихи не укоренены в земной почве. *Чувство хора*, о котором она говорит, рождается не от совпадения с современниками, с какой-то актуальной профанной общностью, а из угадываемой связи с явлениями мистического свойства, как то: соборной Церковью. А потому у стихов и нет в принципе конкретно-эмпирического читателя здесь и теперь (*Поэзия как самое интимное проявление языка препятствует слишком легкой коммуникации, слишком дешево стоящей общению*).

---

[5] *Ковалева И.* Письма о русской поэзии. Мнение критика о критике // «Новое русское слово», 17–18 ноября 2001.

С. Чупринин включал Седакову в круг авторов *аутичных и книжных*, чье *творчество сознательно адресовано читателям-авгурам.* Я б сказал иначе: в ситуации безвременья и тупика, среди одичанья и безлюдья она ищет, не только не сверяясь с уловками успеха, но и вообще не рассчитывая быть услышанной кем-то здесь. (Хотя здесь есть, конечно, те, кто ее слышат.) Кажется подчас, ее единственный собеседник — Бог. И русская речь льется в ее стихах как бы уже вне мира сего. Это стихи без земной «малой» родины. Родина присутствует в них как воспоминание, печальное, сладкое, тихое. Может быть, даже не совсем свое. Как это давно уже было ею сказано в стихотворении «Ни темной старины заветные преданья...»:

Есть странная привязанность к земле,
Нелюбящей, быть может, обреченной.
И ни родной язык, в его молочной мгле
Играющий купелью возмущенной,
Не столько дорог мне. Ни ветхие черты
Давно прошедшей нищеты,
Премудрости неразличенной.
И ни поля, где сеялась тоска
И где шумит несжатым хлебом
Свои сказания бесчисленней песка
Вина перед землей и небом:

— О, не надейся, что тебя спасут:
Мы малодушны и убоги.
Один святой полюбит Божий суд
И хвалит казнь, к какой его везут,
И ветер на пустой дороге.

Это драматическое осознание конечности родины, России в пространстве эмпирики. Исчерпано многое, что с ней связывалось. *Во всяком случае, все расхожие представления, входящие в «Миф России»: анархизм, русская рулетка, душа нараспашку, «однова живем» и вся эта цыганщина — давно не интересны, это отыгранная пьеса, и страшным образом отыгранная...*

Но это и чаяние России духа, аккумулирующей идеальные смыслы христианского Запада: *...в Европе меня тянет думать о России. Не о «наследстве», ничуть. О возможности чего-то такого, чего еще нет, но нет именно здесь, а не в другом месте...* Россия аккумулируется в творческой воле художника, предстает как факт духа и факт литературы. *Может, одно из первых слов о такой неведомой России, которые приходят на ум, — ласка, славянское слово... <...> Вот эта ласка, жаление, печаль... <...> Этому моему возвращению на родину в необычайной мере способствовали те, кто отсюда, из Англии, Шотландии, Ирландии, любят Россию. От них, благодаря им я узнала, каким драгоценным может быть присутствие России в Европе, а не только Европы в России. Они чтят и любят в России то, чего мы сами в ней не видим за советским и постсоветским безобразием, и вдохновляют своей любовью. Для них, как для Рильке в начале века, Россия остается «страной, которая граничит с Богом», и вдали от такой пограничной зоны человек начинает скучать.*

К сказанному нужно обязательно добавить, что драматизм судьбы и истории в поэзии Седаковой преодолевается и очевидным присутствием вечности в ее опыте, в ее поэтическом сознании. Вечностью искуплено и наше время, и наше страдание, и наши суета и пошлость. От этой уверенности, прочности в вере в Бога — и ее доверие к себе, к миру как презумпция и априори:

Несчастен,
кто беседует с гостем и думает о завтрашнем дне...
кто берет аккорд и думает,
каким будет второй, —
несчастен боязливый и скупой.

Отсюда и наша надежда на милость, согревающая в странной и трудной судьбе. Надежда, укладывающаяся по традиции в форму личной молитвы:

Обогрей, Господь, Твоих любимых.
Больных, сирот, погорельцев,
Сделай за того, кто не может,
Все, что ему велели.
И умершим, Господи, умершим
Пусть грехи их вспыхнут, как солома,
Сгорят и следа не оставят
Ни в могиле, ни в высоком небе...

Ольга СЕДАКОВА

РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны...
Василий Тредиаковский

Эти старинные стихи часто приходят мне в голову во время моих странствий по свету. Если бы не эти странствия, мне вряд ли пришлось бы так много думать о России — и думать для других. Это (не говоря о других причинах) просто входит в мои рабочие обязанности: в английском университете, французском, американском или в итальянском, какие бы лекции или курсы лекций мне ни предлагались, первое, чего от меня ждут, — это какого-то сообщения о России. Не о России политической (круг моих слушателей другой): о русской словесности, о русской культуре, о русской мысли. Все люди, родившиеся в России и выезжающие в другие страны, невольно и почти автоматически оказываются «специалистами по России», «русскими по профессии». Часто это профессия чрезвычайно сомнительная. В разных городах и весях мне приходилось встречать — в роли таких информантов — людей совершенно невежественных и потому нечеловечески самоуверенных. Они брались за полчаса объяснить европейцам или американцам все, что касается «таинственной русской души», истории, искусства, Сталина, Горбачева, крепостного права и т. п.: кому же, как не человеку из России, об этом судить? Тем более, что и поправить некому. «Русский по профессии» — новый тип авантюриста, родившийся в эпоху открытых границ и информационного голода. Вообще говоря, и каждый, скажем, итальянец, почему-либо живущий в России, невольно оказывается «итальянцем по профессии». Но я никогда не видела, чтобы другие с таким азартом эксплуатировали свою «врожденную профессию», как наши соотечественники за рубежом. Меня эта профессия никогда не привлекала. Если я берусь говорить о русской культуре, то потому, что могу говорить о ней со

Ольга СЕДАКОВА — родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, поэт, прозаик, переводчик, филолог, старший научный сотрудник МГУ, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета. Автор многих книг, в том числе собрания сочинений в 2-х томах и тома избранного «Путешествие волхвов». Лауреат литературных премий Андрея Белого, Александра Солженицына, Альфреда Тёпфера, Европейской премии за поэзию, Ватиканской имени Владимира Соловьева и др., кавалер Ордена искусств и словесности Французской республики. Живет в Москве.

стороны: с исследовательской стороны. Я русист по образованию, и единственная область, в которой я могу признать собственные знания профессионально удовлетворительными, не совсем дилетантскими — это история русского языка. Этому действительно можно было научиться в нашем Университете: учителя были прекрасные.

Я не знаю, интересно ли соотечественникам то, что я говорила о русской культуре «для других». Ведь здесь приходится сообщать и то, что принято считать общеизвестным для человека русской культуры (впрочем, в общеизвестности многих из таких азбучных истин я давно сомневаюсь). Я предлагаю вниманию читателей «Континента» одну из таких лекций — вводную лекцию к истории русской культуры, которую я читала в английском университете Киль (Keele University). Читала я ее по-английски.

Тысячелетняя русская культура так богата, сложна и противоречива, что любая попытка обозреть ее в кратком вступительном слове обречена на неудачу. Но что еще важнее: русская культура как целое остается проблемой для самой себя, загадкой, тайной, Сфинксом. Образы России-сфинкса, России-тайны — любимые образы русских поэтов, Тютчева, Блока:

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

И это, вероятно, первое, что следует сказать о русской культуре: это культура, погруженная в разгадывание себя самой.

Именно эту характеристику выносит в начало одной из своих последних работ, «Тезисы к семиотике русской культуры», Ю. М. Лотман: «*Взгляд на самое себя является для русской культуры более первичным и основополагающим, чем взгляд на окружающий мир*»[1]. Есть ли в мире (или, по меньшей мере, в Европе) другая такая, бесконечно проблематизирующая себя саму культура?

Внешний наблюдатель может, — как это сделал, например, итальянский историк, дипломат и журналист Серджо Романо[2], — счесть это свойство русской культуры своего рода нарциссизмом. Может показаться, замечает С. Романо, что Россия веками не отрывается от зеркала, созерцая собственную «особость», — и то восхваляет себя, не зная удержу, за то, что она — не такая, как все, то раздирает одежды по поводу собственных пороков, тоже необычайных. Странный и неразрешимый роман с собой. И в самом деле, среди русских писателей, философов, музыкантов, художников и даже христианских подвижников трудно найти такого, для которого первой, самой глубокой и самой острой темой (ибо образ Сфинкса, «роковой родной страны» несет в себе нечто угрожающее) не была бы Россия. Такое исключение, несомненно, — Лев Толстой, занятый человеком вообще, мирозданием вообще, правдой вообще, не в исключительно русской перспективе. Но второе имя не скоро придет на память.

---

[1] Ю. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 407.

[2] *Romano S.* La Russia in bilico, Il Mulino, Bologna, 1989.

Наблюдение С. Романо, бесспорно, схватывает что-то очень существенное в нашей истории. Но все же, я думаю, оно по существу неточно. Не образ Нарцисса, склонившегося над собственным отражением, я вспоминаю, когда думаю об этой поглощенности русских мыслителей Россией, а другие сцены, сцены, в которых *два* участника: тот, кто смотрит, — и то, на что он смотрит. Такие, например, как волшебная сцена из пушкинской «Сказки о Мертвой Царевне»: Королевич Елисей глядит на свою усыпленную невесту в хрустальном гробу. Или сцена из другой сказки, аксаковского «Аленького Цветочка»: юная красавица смотрит на спящее чудовище, своего будущего жениха. Сон почти непременно связан с русской темой, но тот, кто смотрит на спящего (спящую), не спит; он спрашивает:

Ты проснешься ль, исполненный сил?

И: «*кем* ты проснешься?» Дело не только в том, что, в отличие от случая Нарцисса, завороженное созерцание России самым интимным образом связано с темой ее будущего, с ее непредсказуемым пробуждением или метаморфозой, но и в том, что созерцающая мысль и предмет созерцания существенно разделены.

Русские мыслители, говоря о России, говорят не о себе. Они говорят о России во втором лице («Ты») или в третьем («Она») — и почти никогда в первом («Мы»). Я надеюсь показать в дальнейшем, каким образом создалась самая возможность такого отстраненного созерцания. Как писала молодая Ахматова:

И с любопытством иностранки...
<Я> слушала язык родной.

Эти стихи — не импрессионистская зарисовка минутного настроения, а в каком-то смысле историческая констатация. Так, «с любопытством иностранца», учится родному языку у московских просвирен Пушкин. В записках и дневниках для уточнения значения русского слова он пишет рядом с ним, в скобках, французское.

С такой страстной заинтересованностью вряд ли возможно относиться к себе самому: так можно относиться к другому, — но к такому другому, который несет в себе твою судьбу. Есть что-то особое в той силе связи, которую отдельный человек, оставаясь на родине или покидая ее, чувствовал между собственной судьбой и загадкой России. Философ Г. П. Федотов говорил о растительной природе русского человека, который теряет жизнеспособность, когда корни его вырывают из родной почвы. Федотов принадлежал первой волне русской эмиграции, к тем, кому пришлось покинуть Россию поневоле, — быть может, к последнему поколению русских, для которых этот закон растительной связи с почвой оставался неотменимым: русских, не обреченных на Россию.

Этот загадочный предмет вопрошания, Россия, меняет свой образ до противоположности в зависимости от точки зрения наблюдателя. «Святая Русь», страна особого духовного призвания, «родная Галилея», принявшая, как никакая другая, христианскую керигму смирения и неотмирной кротости — и «немытая Россия», безумная, дикая, беззаконная и бессмысленно лютая страна. Впрочем, и второй образ может быть предметом не обличе-

ния и покаяния, а любования — и внушать своего рода ницшеанскую любовь к судьбе, amor fati:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Стоит вспомнить страшные предсмертные слова Александра Блока о себе и о родине: «Чушка Россия сожрала своего поросенка». И это Блок, воспевший Русь как Деву и Жену, воплощение соловьевской Софии Премудрости Божией!

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка.
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

Нарушать этот сон не следует, искать разгадок бесполезно — таков самый частый совет в этом разговоре с молчанием и безответностью.

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный...

Движение царевича Елисея, разбившего хрустальный гроб, поцеловавшего и воскресившего Спящую Царевну, остается в области волшебной сказки.

Можно заметить, что в полярных образах возлюбленной и ненавистной России — и тем более, в ее постоянно двоящемся образе:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная, —

неизменным остается одно: настойчивая тема иррациональности, непостижимости и невыразимости:

Умом Россию не понять.

Именно здесь, в отношении к уму (рациональности) и всем формам его выражения (праву, социальной и экономической организации, формальной этике и т. п.) можно увидеть основное различие между двумя сложившимися в прошлом веке направлениями русской культуры: западничеством и славянофильством. Нужно заметить, что по инерции эти термины прилагаются к современной ситуации — и совершенно несправедливо: старые славянофилы не имели ничего общего с современным зоологическим национализмом и старые западники, как Александр Герцен, — с вульгарным и бессовестным «модернизмом» наших современников, публицистов и политических активистов. Спор между ними происходил внутри одного общества: хорошего общества. И если стенания о «России, которую мы потеряли», представляются мне и не совсем справедливыми и совсем безвкусными, то об этой потере можно говорить с прозаической точностью: хорошее общество мы явно потеряли. И трудно было бы его не потерять среди всего, что происходило в послереволюционные годы.

Итак, Запад постоянно ассоциировался с рациональностью, юридизмом, прогрессом и т. п. Это противопоставление имело и конфессиональное из-

мерение (полемика с католицизмом), и социальное (патриархальные отношения противопоставлялись холодному гражданскому обществу нового типа).

Но противопоставление рационального таинственному, законного благодатному не возникло вместе с проблемой Россия/Запад, ставшей актуальной после реформ Петра Великого. Уже в первом оригинальном сочинении русской цивилизации (точнее, древнерусской: то есть в общем истоке украинской, белорусской и русской традиций), в «Слове о Законе и Благодати» Киевского митрополита Иллариона встает вопрос о «новом народе», Руси, и его будущем, — и это будущее обосновывается превосходством века благодати над веком закона. С бесконечным превосходством благодати над законом и духа над буквой (темой апостола Павла) первый русский митрополит связывает надежду на будущее своего народа, пришедшего в христианскую ойкумену в последний час — и, по закону благодати, ничем не обделенного перед первыми, а может быть, в парадоксальной этике христианства, и превосходящего их («последние будут первыми»). Заметим, что во время Иллариона, в первый век русского христианства, тема достоинства (dignitas) нового государства если и стояла, то не в оппозиции к Западу, а скорее — к Византии. Но характерное недоверие к закону, к формально установленной норме было выражено уже тогда (при том что сам Илларион был соавтором князя Ярослава в составлении первого свода церковного права на Руси). Можно уже здесь увидеть предвестие анархизма и очень своеобразной нелюбви к закону и законам, характерной для русского общества вплоть до наших дней. Оборотной стороной лозунга «любовь, а не закон» стал неограниченный никакими законами произвол власти, ее патерналистское отношение к собственным подданным, которые трактовались как неразумные дети — и вполне принимали такое свое положение (еще в начале нашего века русские крестьяне называли императора «батюшкой» — как отца или священника). Это отношение, да еще зловеще утрированное при советских начальниках, пародирует Д. А. Пригов:

Трудно быть руководителем
Да такой большой страны.
Все равно, что быть родителем
Непослушливых детей...

И вместе с тем мистико-анархистское настроение, опасное для всякого социального строительства, для русского искусства и мысли создало особые возможности думать о «последних вещах», о «едином на потребу». Эти черты русской творческой культуры создали тот ее образ, который Томас Манн назвал «святой русской литературой», die Heilige Russische Literatur.

Проблемой для русской культуры остается не только ее собственная душа или сущность, — но сама непрерывность ее истории. Этой черте посвящен третий из упомянутых выше «Тезисов» Ю. М. Лотмана: «*История русской культуры в своем собственном восприятии предстает как цепь взрывов*»[3]. Каждая культура забывает свое прошлое. Но так резко, радикально,

[3] Цит. издание. С. 409.

бесповоротно рвать с ним, как это делала Россия — и не один раз! — мало кто бы захотел. В сущности, у нас не одна, а по меньшей мере три русских культуры; причем вторая, послепетровская, старалась совершенно забыть о первой, средневековой (и немало в этом преуспела), а третья, советская, хотела уничтожить до основания следы двух предшествующих, строя на голом месте, — точнее, на развалинах прошлого, на развалинах всех его ценностей: религиозных, этических, эстетических, — так что сама атрибуция советской культуры как русской у многих вызывает сомнение. Тем же нежеланием принять собственное ближайшее прошлое отмечены и новейшие попытки реставрации дореволюционной России, попытки перекинуть мост через советские десятилетия в туманное для самих реставраторов прошлое — так, как будто этих десятилетий вообще не было.

Я попытаюсь вкратце очертить эти три культурных эпохи.

Древнерусская культура (как уже говорилось, общий источник современных русской, украинской и белорусской культур), великолепно изученная Д. С. Лихачевым и итальянским славистом Риккардо Пиккио. Ее начало — Крещение Руси в 988 году; ее конец весьма условно можно отнести к XVII веку. Культура средневекового типа, церковного и даже монашеского характера. Известно, что в восточном христианстве монашеству принадлежит особая роль: «*монаху образец ангел, мирянину — монах*». Византийская по своему происхождению (Д. С. Лихачев определил ее как «трансплантацию» византийской культуры на славянскую почву; С. С. Аверинцев в свою очередь обратил внимание на особую роль сирийской, а не только греческой составной византийской традиции для Руси), древнерусская культура отличается сложным и изысканным символизмом, который непосредственно ощущает каждый созерцающий классическую православную икону. В центре всего культурного творчества русского Средневековья располагается Литургия (не Св. Писание, как склонны считать многие современные исследователи, а именно богослужение: литургические тексты — точка отсчета языковой чистоты; по мере удаления от храмового предназначения славянский язык становится все более близким к языку черни, как показал Н. И. Толстой). Храмовое действо, в котором великий ученый и богослов прошлого века П. Флоренский видел синтез словесного, зрительного, музыкального, драматического искусств; освещение, одеяния и ароматы значили в этом действе не меньше, чем слова молитвенных воззваний. По рассказу летописи, именно греческая литургия, которую послы князя Владимира увидели в Константинополе («И мы не знали, на небе мы или на земле»), окончательно определила выбор веры. Красота оказалась главным богословским аргументом, — и эта интуиция красоты, «святыня красоты», унаследованная Русью от греков, оставалась, быть может, центральной ценностью русской культуры и в новейшее время (ср. знаменитые слова Достоевского, — точнее, героя Достоевского: «Красота спасет мир», — которые любил повторять Папа Иоанн Павел II, — или финальные строки мадригала Пушкина:

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты).

Ведущее место в древнерусской культуре принадлежало, видимо, зрительной красоте (быть может, и музыкальной: но, если иконопись Древней Руси заслужила всемирное признание, то ее музыкальное наследство, храмовые распевы только начинают узнаваться). Об этом свидетельствуют зодчество, стенопись, иконы, прикладное искусство. Иконопись называют богословием в красках, молчащей метафизикой. Оригинального богословия в словах, подобного монументальным западным богословским «Суммам», Древняя Русь не развивала. Этот факт может быть оценен по-разному, но он едва ли случаен. Рассуждению и толкованию восточное монашество предпочитало молчание, безмолвное созерцание; особенной силы это движение достигло в исихазме, школе святого безмолвия, получившей богословское обоснование в мистическом учении святителя Григория Паламы о нетварном свете и возможности созерцать его и соединяться с ним в молитвенном молчаливом внимании, в «сердце сердца» или в «плоти плоти», в «умной» (то есть бессловесной) молитве. На Руси исихастская инспирация стала особенно сильной в XIV веке, благодаря преп. Сергию Радонежскому; общий тон этого настроения, этой неотмирной тишины можно увидеть в работах Андрея Рублева. Парадоксальным образом императив молчания, воздержания от слов стал основой не только зрительного искусства, но и особой словесной техники, излюбленной древнерусскими книжниками: «извития» (или «плетения») словес. Это очень сложная изысканная риторика, назначение которой не в том, чтобы точнее сообщить какое-то конкретное содержание, — но чтобы внушить некоторое умственное и душевное состояние, «умиление», «тихий нрав в крови». «Молчание в словах» выражается не в лапидарности, а напротив, в преизбытке слов, в игре близкими и сближенными значениями и звучаниями. Виртуозные образцы этой словесной техники можно найти, например, в житиях, составленных Епифанием Премудрым.

Нужно признать, что словесность Древней Руси уступает ее пластическим искусствам и не представляет собой такого всемирно значимого явления. Торжеством словесности в России будет только XIX век.

В сравнении с другими средневековыми культурами древнерусскую отличает более радикально церковный, «постный» характер. Светские жанры до позднего времени практически отсутствуют в книжности. Фольклорная поэзия остается устной и не проникает за границы письменности на церковнославянском языке. Ничего подобного героическому и, тем более, любовному эпосу Европы мы не найдем в древнерусской словесности (исключение — гениальное «Слово о полку Игореве»; но его изолированное положение в общем ряду словесности и вызывало постоянные споры о его аутентичности). Этот суженный диапазон культурного творчества Древней Руси, как полагает С. С. Аверинцев, — та цена, которой заплачено за необычайную чистоту храмового искусства. Не только на Западе, но в самой Византии существовало развитое придворное и светское искусство. Но внутри древнерусской культуры мы вряд ли найдем такие зерна будущего, как схоластика, риторика или «искусство тонкой любви», fin amour, из которых потом росла светская литература. Формы новой послеренессансной культуры значительно позже экспортировались на Русь, — и это была новая «трансплантация».

Однако было бы странно представлять Древнюю Русь как один огромный монастырь: реальная ситуация была гораздо сложнее. Для ее описания часто привлекаются такие термины, как «двоеверие» и «двуязычие» (или диглоссия). В первом случае речь идет о христианско-языческом симбиозе народных верований; во втором — о резком, взаимоисключающем разграничении употребления двух языков: сакрального церковнославянского, книжного языка, общего для всех православных славянских народов, — и местных устных говоров, обслуживающих профаническую сферу. Кроме того, существовал еще неизученный, в сущности, лингвистикой язык фольклора — своего рода поэтическое койне, не совпадающее с бытовыми говорами (об этом поэтическом койне думал поэт А. Величанский). Русский фольклор, к которому книжная культура обратилась очень поздно, едва ли не впервые в эпоху романтизма, — богатейшее многожанровое явление. Его взаимодействие с книжной христианской культурой было ограниченным, и по своей идеологии он остался языческим; в нем жила глубочайшая архаика мифических образов, метафор, мыслительных структур. Интересно, что осколки мифической картины мира в крестьянской жизни оказались более устойчивыми, чем плоды христианского просвещения. После семидесяти лет «воинствующего атеизма» (государственной борьбы со всеми нематериалистическими «предрассудками») этнографические и фольклорные экспедиции записывают фольклорные тексты глубочайшей древности и фиксируют архаическую обрядность и языческие верования в селах, где всякая память о христианском наследстве была искоренена. По этим реликтам мы можем представить другую, не публичную, не официальную сторону древнерусской культуры.

Мне приходится оставить в стороне разговор о церковнославянском языке, который доныне остается языком православной Церкви: это увело бы нас слишком далеко. Но особый характер этого языка, своего и чужого одновременно (морфологически он был славянским, но семантически — греческим; очень отдаленный, но все-таки аналог ему представляет английский язык первого перевода Библии, «Библии Короля Иакова»), понятного и непонятного сразу, языка исключительно сакрального узуса, определил многое в русской культуре на всем протяжении ее истории.

Я говорю о допетровской культуре как о некотором целом, хотя это большое упрощение. Допетровская история рассечена татарским нашествием. Восстановленная Русь, уже Московская, а не Киевская, оставаясь культурой средневекового типа, оказалась иной. Именно в Московском Царстве появляется и крепнет тенденция к изоляционизму, идейно обоснованному консерватизму и священной политике национального мессианства, окрашенного в апокалипсические тона («Москва — Третий Рим», иначе — последний оплот истинной веры, причем за чистоту веры отвечает не столько глава Церкви, Патриарх, теперь независимый от Константинополя, но царь, «надежа православный царь», как народные песни именуют Ивана Грозного). Весь мир за границами святой Руси теперь представляется «нечистым»; как мы видим из записок европейских путешественников в Московию времен Ивана Грозного, само общение с иностранцами и иноверцами почитается опасным, и не только в политическом, но и в духовном отношении.

С этой-то священно обоснованной ксенофобией должен был иметь дело Петр I, принудивший своих подданных принять «богомерзкие» и «бесовские», в их представлении, обычаи «немцев» (т. е. «немых», не говорящих по-русски: всех иностранцев). Пушкин назвал императора Петра revolution incarne. Беспощадный переворот, совершенный им в русской культуре и русском обществе, должен был вновь, во второй раз после Крещения, создать «новую страну» и «новый народ». Как писал его придворный поэт:

Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг (Опять вдруг, мгновенно! — *О. С.*) народ уже новый.

Писал, между прочим, новым стихом — заимствованной из Польши силлабикой, которую довольно скоро сменила силлаботоника (взятая из германских образцов), ставшая классическим стихом русской поэзии. Древнерусская книжность не знала регулярной версификации. Ритмика фольклорного стиха с трудом поддается формальному описанию, а что касается стиха молитвословного, звуковой организации литургических гимнов — здесь мы еще остаемся в области гипотез.

Направления петровской революции можно легко определить как вестернизацию, модернизацию, секуляризацию Руси, которую больше не называли Русью, но Россией (искусственное латинизирующее название: *росс — Росс-ия*). Сопротивление церковной культуры было ослаблено великим церковным расколом, происшедшем при предшественнике Петра, государе Алексее Михайловиче. Православные, ушедшие в раскол, не принявшие церковных реформ патриарха Никона, пережив жесточайшее гонение, сохранили «отеческую веру» ценой отказа от истории, ухода из нее. До наших дней крайние толки древлеправославных сохраняют быт XVII века, почитая нечистым и антихристовым все, что появилось после раскола.

Трагическая история раскола оставила по себе словесное свидетельство необыкновенной силы — «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим». Парадоксальным образом Аввакум, принявший страдание за верность древнему обычаю, стал самым дерзким новатором в средневековой словесности — начиная с жанра (житий, написанных самим страдальцем, благочестивая традиция не знала) и языка (впервые в письменности явился живой русский язык, совсем не «византийский», свежий, прямой и не боящийся грубости). Личность такого склада, как у опального протопопа, естественно было бы искать среди европейских участников Реформации. Но — еще один парадокс русской истории — здесь эта сила и бесстрашие направлены против реформы!

С реформированной церковью Петр справился, лишив ее самостоятельности. Патриаршество было упразднено; главой Церкви практически стал Император. В отличие от Англиканской церкви, которая открыто заявляет о таком своем устройстве, русское православие никогда этого открыто не провозглашало. Тем не менее церковное значение монарха было всем понятно, — и цареубийство XX века не в последнюю очередь было обусловлено этим.

Итак, при Петре изменились имя страны, столица, календарь, язык культуры, графика (гражданский шрифт), вся система символики, социальная структура. Все это в замысле должно было ввести Русь в круг европейских

народов, в ту культурную ситуацию, которая сложилась после «пропущенных» русскими послеренессансных веков. Вся эта работа мыслилась как цивилизаторская, собственное прошлое представлялось варварством. Относиться к нему иначе значило проявить нелояльность (ходить в русском платье, носить бороду было опасным фрондерством). Петр, намеренно рвавший с Московией и византинизмом, был во многом наследником московского деспотизма, сложившегося при Иоанне Грозном. Недаром именно с этими двумя сильными царями любил сопоставлять себя Сталин; так его трактовало и официальное советское искусство (роман А. Толстого «Петр Первый»; фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный»[4]).

Петровский культурный переворот, продолженный и укрепленный Екатериной II, открыл новую эпоху русской истории — петербургскую. Эта ломка, однако, несла в себе и трагические перспективы, которые раскрылись впоследствии. Население России оказалось самым глубоким образом расколото; в разных сословиях действовали разные культурные модели. В. Ключевский иллюстрирует это положение простым примером из гражданской архитектуры. Крестьянская изба и боярские хоромы принадлежали одному типу строения, следовали одному плану, различаясь только бедностью или роскошью его осуществления. Между дворцом или поместьем нового, европейского типа и избой не было ничего общего. Образованные слои, дворянство принадлежали культуре западного типа, крестьянство и духовенство — прежней, византийско-русской. У этих слоев не было общего культурного языка, даже в буквальном смысле: к началу XIX века дворяне часто не умели писать по-русски и говорили с ошибками; первый поэт России, Пушкин, читал Библию на французском, как было обычно в его кругу. Собственная страна в ее консервативном народном быту могла представляться европейски образованному человеку экзотической, как Индия, — и это продолжалось вплоть до революции 1917 года.

Край исконный мой и кровный,
Серединный, подмосковный,
Мне причудливо ты нов,
Словно отзвук детских снов
Об Индее баснословной...
(*Вячеслав Иванов*)

В сочинениях Толстого и Достоевского мы часто встречаем такую ситуацию: происходит встреча просвещенного героя с собственным народом, совершенно ему до этого неизвестным (Платон Каратаев в «Войне и мире», Долгорукий в «Подростке», «Мужик Марей»). Герой узнает в этих странных людях носителей какой-то великой истины, от которой сам он был отчужден. Он воспринимает ее как «Божью правду», христианскую, православную истину: ведь европеизация почти неизбежно означала усвоение «вольнодумства» или нетрадиционных форм религиозного опыта (деизм, масонство и т. п.). С христианской мыслью Запада русская культура встретилась всерьез лишь в

[4] Впрочем, в любом властителе Сталин был готов увидеть намек на себя. Так была запрещена послевоенная постановка «Бориса Годунова» в Большом театре.

XIX веке (по большей части, с ее поздней, гуманистической и социалистической интерпретацией), а с западным богословием, по существу, никогда.

Консервативная часть русской культуры, — в основном, крестьянство, — хранила не только фольклорную традицию, о языческой подкладке которой речь шла выше, но и традицию православной церковности, почти забытую в дворянском быту.

Небылицы, былины
Православной старины

дворянские дети узнавали от кормилиц и нянь[5].

Петровский раскол нации объясняет многие мотивы русской литературы XIX века: чувство собственной «беспочвенности», свойственное просвещенному дворянству и его культурному наследнику, российской интеллигенции; чувство вины перед народом — и апофеоз, своего рода религию народа, который предстает в русском искусстве и публицистике как Великий Страдалец (Некрасов, Достоевский, народничество) или как мудрый младенец. Быть может, Чехов первым посмотрел на народ без этой отстраненной и виноватой очарованности.

Предыдущая, допетровская эра отечественной культуры была действительно забыта так крепко, что и до позднейшего времени она оставалась областью специальных знаний. Пушкин в 1835 году вызывающе называет свой набросок истории родной словесности «О ничтожестве литературы русской», отсчитывая начало просвещенного времени с Полтавской победы. Только в конце XIX — начале XX века начинается переоценка наследства Древней Руси, а в общем-то — знакомство с ним. Самыми заметными плодами этого знакомства стали открытие русской иконы (в церковном быту к этому времени ее сменила реалистическая религиозная живопись), возрождение богословской и философской мысли и во многом — авангардные движения начала века, которые в своем обновлении художественного языка искали себе союзника в донатуралистической образности древнего искусства (Хлебников в поэзии, Ремизов в прозе, Стравинский в музыке, Малевич, Петров-Водкин и другие — в живописи).

Но вернемся к петербургскому периоду. XVIII век в целом остался временем школы, эксперимента, освоения новоевропейского языка. Исключение, пожалуй, составляют живопись и вообще визуальные искусства: как в древнерусскую эпоху, они становятся самым свободным проявлением культурного творчества. Я имею в виду, прежде всего, русский портрет XVIII века, взявший образцом английскую портретную живопись, но сообщивший ему модуляцию, чрезвычайно похожую на ту, какую в свое время пережил греческий канон в образах Андрея Рублева: реплика несла в себе мягкость,

[5] Конечно, мое изложение очень схематично. В дворянском обществе был еще один источник приобщения к православию: набожные матери. Этот образ знаком нам по литературе (мать декабриста Рылеева и многие другие женские фигуры). Исследование исторического значения этой «потаенной» духовной традиции, ее связи со старчеством (у таких матерей часто бывали наставники в монастырях, с которыми они вели переписку) мне пришлось читать у немецкого историка Русской церкви.

интимность и нежное тепло, каких не было в более строгом письме оригинала. В ту же сторону вела очаровательная русская реплика европейской светской архитектуры — нарышкинское барокко и ранние ансамбли Петербурга. Что до словесности, то ее опыты, при всей грандиозности барочного воображения Ломоносова и особенно Державина, все же несут на себе печать школьного академизма. Слишком грандиозной была задача создания русского литературного языка — не языка культа, каким оставался церковнославянский, и не языка быта, какими были диалекты, но языка культуры и изящной словесности нового типа.

Окончательное установление этого языка в русской культуре, как и во многих других, принадлежит поэзии; оно связывается по преимуществу с именем Пушкина. Значение Пушкина для русской культуры и его мировая известность несопоставимы. Русскому читателю, для которого Пушкин, работавший практически во всех литературных жанрах и давший как бы абсолютную меру гармонии и особой душевной и артистической тонкости для всей последующей культуры, трудно примириться с тем, что Пушкин остается лишь местным, национальным автором, genius loci. Это так же странно, как если бы Петрарка оставался местным гением Италии или Гете — Германии. Однако до нынешнего времени это положение сохраняется. Тем не менее именно пушкинское время, время поэзии по преимуществу, а не последующую эпоху великих романистов, принято называть золотым веком русской литературы. У золотого века был и свой музыкальный гений — М. Глинка, и пластический гений — Венецианов. Музыка и живопись последующей эпохи так же отстоят от них, как Достоевский от Пушкина. Золотой век русской культуры (его еще называют «дворянской» эпохой) мало известен за пределами России, и мировая «русская легенда» строится совсем не на нем.

XIX век обладал уже полной свободой творческого выражения. Культура этого века, более всего известная и влиятельная во внешнем мире, была отчетливо литературоцентричной. К литературе тяготели музыка и живопись, и та, и другая были программны. Из литературы (главным образом, из мысли Достоевского) выросла русская философия — и не только русская: европейский экзистенциализм немыслим без Достоевского, как и движения западного богословия XX века. Литература составляла центр духовной жизни; она была нагружена религиозным, социальным и политическим заданиями. Русский писатель брал на себя роль, не известную его западному современнику (хотя известную, скажем, Данте): он становился «совестью нации», учителем и пророком. Это служение литературы продолжил в нашем веке А. Солженицын, но в той или иной мере — все значительные поэты и прозаики.

Позиция писателя-пророка и литературы-учительницы весьма рискованна: она слишком многого требует от автора, если он не хочет оказаться шарлатаном и демагогом. Судьба многих русских писателей показывает, чем может кончиться это рискованное предприятие. Автора настигает требование не эстетической, но экзистенциальной верификации его учения, непосредственной практики, и вот Пушкин в последние годы жизни мечтает о монастыре, Гоголь предается крайней аскезе, Лев Толстой оставляет сначала художественный вымысел, а затем — семью и поместье и бежит неведомо куда — к другой, праведной жизни. Средневековая православная куль-

тура, с которой новая Россия так настоятельно разрывала всякую связь, жила в бессознательной глубине, и русский писатель, светский, европейски образованный человек, вдруг оказывался перед тем, что единственный образ человеческого совершенства, которым он располагает, — все тот же древний образец «Божьего человека», монаха, странника, юродивого.

В наши дни, когда в России вновь происходит радикальная ревизия прошлого, эта профетическая амбиция русской литературы ставится под вопрос. Многие говорят о конце русской литературы в этой ее учительной роли. Больше того, в идеалистическом максимализме классической русской литературы, в ее постоянной проповеди социального сострадания и справедливости видят провокацию революционной катастрофы. Может ли Россия найти новую модель культуры, и какой она будет — открытый вопрос.

Я позволю себе лишь упомянуть богатейшую творческую эпоху начала XX века, Серебряный век нашего искусства, расцвет перед страшной гибелью, которую несло ему торжество контркультурного идеологического террора, отменившего всю предыдущую историю человечества.

Я не буду также останавливаться на третьей российской культуре — официальной культуре советского режима. Вавилонская башня «новой» тоталитарной культуры рухнула на наших глазах. Ее пародирует современный соцарт (точнее, пародирует он один из ее стилей — сталинский неоклассицизм). Ее сменяет мутная и пестрая среда посредственных и коммерческих авторов. Но именно из этой точки, из точки крушения описывать ее труднее всего.

В творческом отношении 70-летний период «пролетарского» варварства и насильственной изоляции от всего мира и от собственной истории не был бесплодным. Это была эпоха культурного исповедничества. Культура и свободное творчество, как религия, стоили жизни.

За гремучую доблесть грядущих веков.
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
(*Осип Мандельштам*)

Энергия сопротивления и мученичества сообщает особую силу сочинениям Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Платонова, Булгакова, музыке Шостаковича и Прокофьева. В неподсоветской русской культуре, в эмиграции (плодом революции стал новый исторический феномен: всемирное русское рассеяние) продолжалось художественное, философское и богословское творчество Серебряного века.

И, быть может, центральное место в этой культуре сопротивления принадлежало поэзии, — как в древнерусской оно принадлежало визуальным искусствам, в петербургской — роману. Я приведу слова С. С. Аверинцева, сказанные во время торжества в честь одного из великих русских поэтов и мучеников XX века, Марины Цветаевой: «*В этих стихах, в этих словах и ритмах и была для нас Россия, когда ее не было нигде вокруг; в этих звуках сохранялась для нас область свободы*».

МИР КАК СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. Проданные и забытые

1

Испанское телевидение показало интервью с автором новой книги. Издательство потирает руки: товар свежий и ходовой. Автор — женщина, проститутка, описавшая свою жизнь в книге «Невинная от рождения».

Проститутка — писатель... Почему бы нет? — спросим мы, давно привыкшие к антропофагии в жизни. Грань между цензурой и самозащитой человечества от расчеловечивания кажется нам неявной. В чем разница между словом писательницы-проститутки и словом толстовской Кати Масловой? Мысли обеих написаны одинаковыми буквами, *компьютер и не распознает*, кто написал текст: жертва или убийца, — потому что функционально, конструктивно любые тексты равны перед бесстрастным анализом, потому что компьютеру *все равно*. Но нам-то, людям, помимо механического умения читать, присуща активная страстность восприятия и нравственно-небезраличное отношение к происходящему. Страсть к лучшему жива в каждом человеке, и лишь окружающий беспросвет лишает нас сил стремиться к ясности оценок.

КНИГА ПРОСТИТУТКИ — ИЩИТЕ НА ПОЛКАХ СТРАНЫ. Двадцатисемилетняя писательница дает интервью, окропляя газеты и телеэфиры своим скандальным рейтингом. Деньги и рейтинг не пахнут: главное — чтобы были. Фокусник современного восприятия обращается к нам: «Как можно запретить существующее? Проституция — существует, проститутка — существует, жизнеописание — существует. Мир непрерывен и многомерен, почему же людям всего этого не знать?»

Но речь идет не о запрещении книги, а о спокойствии, с которыми ведется речь о книге. Меня не устраивает легкость этих тяжких откровений. Неужели только я один слышу, как женщина обкрадывает себя, тиражируя

Павел ЛУКЬЯНОВ — родился в Москве в 1977 г., окончил МГТУ им. Баумана, специалист в области техники низких температур, кандидат технических наук. Работал техником и бригадиром на заводах России, научным сотрудником в Европейском Центре Ядерных Исследований (CERN, Женева). В настоящее время отвечает за криогенное обеспечение первого в Испании синхротрона. Победитель международного конкурса поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии» (2008). Публиковал стихи и прозу в газете «Литературная Россия», в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность». Автор сборника стихов «Мальчик шел по тротуару, а потом его не стало» (2008). Живет в Барселоне.

подлинную тяжесть и трагичность своей жизни в эдаком среднепринятом общевзвешенном увеселительно-повествовательном ключе?! А мы, зрители, помогаем красть, заодно обкрадывая и свое собственное восприятие человека. Жизнь в своей неразъемной и цельнокаменной сути всегда глубже и темнее наших желтых прибауток и откровений на потеху дня. Бедную женщину насилуют уже всем районом, всем городом, всей страной, а она все тянет руку за якобы состраданием, но мы ей в руку вкладываем все те же деньги, только — уже не за тело, но за всю жизнь оптом, за малую землю жизни, которую она вынесла на продажу. Соня Мармеладова тоже рассказывала о себе, но при этом с нами был автор, знавший о том, что ее история — страшна и что не телом единым жив человек. И вот автор бестселлера — Мария Магдалина 2009 года розлива — сидит перед камерой в профессиональных чулках и рекламно делится с покупателями:

— Когда я говорю с людьми, с мужчинами, то все признают, что да, проституция — это обычная, такая же, как другие, работа. То есть мое занятие вроде бы воспринимается ими как нечто незазорное. К тому же сами мужчины — ведь они пользуются мной, ведь это существует, не я сама это придумала. Но я страдаю, потому что никак не могу найти человека, с кем бы я могла жить. Все мужчины воспринимают меня исключительно как шлюху, потому что я занимаюсь этим за деньги, хотя они сами говорят, что да, это можно считать обычной работой.

О, божественный бизнес! О, свобода и рынок, о! Нас так замучили ежедневным душеприношением на алтарь финансовой деятельности, что мы уже признаем за существующее только то, что приносит деньги. Игра на бирже? Перепродажа овощей? Все хорошо! Все есть работа. Современная работа найдется для всех, кто примет нехитрую вещь: сущим является лишь то, что поддается стоимостной оценке. Принеси прибыль и стань человеком, иначе — не лезь. Писательница, труженица мужских скипетров плачется нам: что происходит? — все признают в ней равноправную работницу, но при этом не относятся к ней как к законной налогоплательщице! Что же не так? — вопрошает женщина.

Ответ прост и страшен: *не так* — весь наш мир. Проститутка с пером в руке, мы с книгой под мышкой — все мы заложники той самой разницы между телесным и небесным. Наше местное финансовое бытие перенормировало жизнь всего человечества на манер общемирового банка: каждое наше движение дозволяется лишь в случае, если оно направлено на достижение прибыли. Убыль — тоже сгодится: ты только лишь служи, ценна сама целеустремленность к неустанному денежному выражению собственной сущности. Важна ежетотальная поддержка системы финансового человекооборота. Этот подход уже не вызывает сомнений: о пенсионерах мы говорим в терминах изношенности и нерентабельности, дети — наше вложение в генофондовый рынок, вещи существуют не для человека, это человек нужен для максимизации своих покупок. Логика сердца подменяется логикой рынка. В этом — наш текущий вселенский смысл. Всецелое подчинение сознания ловкому подменышу — финансовой целесообразности, стремление человека обменять весь кальций своих костей на золото и стать полноценной единицей экономического бытия...

Подобная самораспродажа — это не личный, но общественный, мировой грех, пробой в цепи человечества. Каждый писатель-проститутка — в ответе за каждую овцу, которая прочтет его бестселлер. За каждую пятнадцатилетнюю девчонку, которая проникнется рассуждениями о приемлемости любого продажного бизнеса, приносящего прибыль, и получит лишнее подтверждение темноты, безрадостности и безразличия этого мира. Да, бытие твердокаменно, твердосердечно, но эта стена сложена из наших же тел и дел. И у каждого есть возможность отказаться собственным существованием доказывать бессмысленность своего бытия. Жизненный калейдоскоп непоследовательных событий и ситуаций, отсутствие общей устремленности и внятности сбивают нас, мешают определить себя и ощутить, что настоящее золото вообще не блестит, а тихо бьется в нас, делая разум ясным, а жизнь осмысленной. Девочка, мы все не умеем не сбиваться с верной дороги, но в стремлении к лучшему мы безусловно едины. Оставь сомнения, я — твой брат, ложись со мной, я тебя не трону.

2

На английском телевидении была с успехом проведена видео-презентация смерти двадцатисемилетней Джейд Гуди. Женщина умирала от рака в ежевечерней телепередаче на виду у не сводящих глаз зрителей, заплативших ей за право ежедневной съемки и показа ее агонии. Говоря бижутерными словами: *она до последнего боролась... человеческий подвиг... умерла в муках... мы были с ней до самого конца...*

Разгул человеческого безразличия под маской человечности. Вроде бы гильотинирование и суд Линча давно стали деталями исторических фильмов. Вроде бы нацистские лампы с абажурами из человеческой кожи занесены в обвинительную книгу Нюрнберга. Вроде бы Чикатило, перед убийствами вступавший в беседу с жертвой, расстрелян и проклят. Вроде бы мы называемся людьми, но что такое здесь творится, если мы смотрим ток-шоу «Агония вечерком»? Бедная Джейд восемь лет назад была звездой шоу «Большой брат», скандалила, нравилась зрителям, не нравилась им, запомнилась, забылась. Но уже тогда началась запись ее последней агонии. Секрет современного зверства — в отстраненности убийцы от объекта убийства. Высокоточность ракеты позволяет нажать Enter в Вашингтоне и не быть рядом с разрушенным домом в Белграде. Интернет и медиа-пространство делают нас ежедневными потребителями гнуснейших людских пороков, завсегдатаями сайтов, название которым ВСЕЯДНОСТЬ.COM и БЕЗРАЗЛИЧИЕ.INFO. Мы смотрим, да, но мы не причастны, нет!

Джейд Гуди говорит перед смертью: «Я была бедной, росла в тяжелых условиях, у меня — две дочки, я не хочу, чтобы после моей смерти они жили так же бедно, как я в детстве». Поэтому она продала право на съемку процесса своего угасания. Ее лысая голова неделями не сходила с английских телеканалов, благовоспитанные редакторы и дикторы которых потом этими же руками будут тыкать в нецивилизованных азиатов. Желание Джейд обеспечить своих малышей за счет продажи своей смерти — смертный приговор окружающему мироустройству, приговор всем живущим. *Истина уже может не победить*, потому что победит не сильнейший, а злейший. Устаревший

символ свободолюбивого бытия — волевой железный человек Джека Лондона, готовый на любые лишения ради достижения успеха, выродился сегодня в несчастную мать, боящуюся оставлять детей одних в этом мире.

Но почему Джейд должна нас бояться? Почему она спешит взять у нас деньги, чтобы ими отгородить своих детей от нас же? Мы что — так страшны? Почему в этом мире два малыша не могут быть просто обогреты, даже если у них нет никакого миллиона за плечами? Разве мы волки, пожирающие щенят погибшей волчицы? Разве мы паучихи, пожирающие самцов после случки? Кто мы, если наша черствость не снилась никакой корке хлеба? Разве нам не страшно ходить по улице, если в домах люди ужинают и посматривают по телевизору на слабеющую женщину, умирающую всем на потеху? Ведь она — чья-то сестра! Ведь у нас тоже есть сестры!

Давайте вынесем к телекамерам своих безногих матерей, давайте покажем ток-шоу «Аборт дня»! Почему австриец, державший свою дочь в подвале и насиловавший ее 25 лет, приговорен к пожизненной тюрьме, а не получил миллион долларов (это же шоу *покруче будет*, чем безыскусное зрелище естественной агонии)? Потому, вероятно, что он не догадался заранее обратиться на телевидение, предложив пикант-шоу «Инцест в восемь вечера». Вы, может, скажете, что Джейд Гуди умерла бы и без нас, что мы не были причиной ее смерти. Но несчастную в подвале тоже насиловали бы не мы: мы бы только смотрели, мы бы просто смотрели на экран — и в том и в другом случае! Так в чем разница? Так в ком разница? Может, и нет никакой разницы? Или она — в нас? Мы так привыкли к логике кино, что любую движущуюся картинку воспринимаем как *специально для нас снятую*. Мы уже забываем, где кино, а где жизнь. Джейд Гуди умерла на экране, потому что она *действительно умерла*. Ее сейчас больше нет.

Лев Толстой в течение всей книги подводит нас к смертному финалу, он доводит наше сознание до сострадания к Анне Карениной, потому что он точно знает, что́ есть зло и что́ есть страдание, а телеканал, сующий миллион в руку умирающей, не имеет никакой веры ни во что, ему нечего нам сказать, поэтому он просто показывает нам: лишь бы что, лишь бы деньги, а размышления и разговоры — это уже личное дело каждого, главное — смотрите только у нас: эксклюзивное страдание лысой крошки. И, судя по массовым дебатам об этой смерти, телевидение *знает, что делает*. И если нам есть что тут доказывать, то значит, мир действительно во зле лежит. О чем, правда, мы были давно оповещены.

II. Апология отчаяния[1]

1. Что собственно происходит?

Вот как пересказывает содержание этого фильма кинокритик Наталья Сиривля: «Вообразите, что маленький мальчик Каин не стал дожидаться появления на свет младшего братца, а просто вышел в окно с третьего

[1] Фильм «Антихрист»; Дания — Германия — Франция — Швеция — Италия — Польша, 2009. Режиссер Ларс Фон Триер, в ролях Уиллем Дефо и Шарлотта Генсбур.

этажа, пока мама и папа трахались. Ева натурально впадает в ступор, и Адам везет ее на поправку в Эдем, откуда Господь Бог, однако, давно удалился, полностью предоставив Райский Сад в распоряжение товарища Змия. В Эдеме поэтому кишат повсюду какие-то черви, бродят зловещие полурастерзанные животные и пахнет падалью. Ева, чувствуя свою вину за такое положение дел, а также подспудную, неконтролируемую связь со Змием, совершенно доходит. Она жестоко третирует мужа, чтобы он ее спас / наказал / простил / принял такой, как есть / убил, наконец, — короче, сделал хоть что-нибудь. Адам выбирает последнее. Но когда, придушив жену, он с отбитыми яйцами и продырявленной ногой пытается ползком выбраться из Райского Сада, товарищ Змий посылает ему навстречу целую толпу новых, абсолютно безликих Ев. Так что кошмар этого "райского" существования, по Триеру, надо полагать, не кончится никогда»[2].

Немолодая пара теряет сына: пока родители занимаются любовью, малыш падает из окна. Чтобы утешить жену, муж-психотерапевт увозит ее в заброшенный дом в лесу — место, где она вместе с сыном провела прошлое лето и которого боится больше всего на свете. Женщина мечется между депрессией и сексуальной агрессией. Ее преследуют страхи и видения. Муж-доктор ведет с пациенткой-женой врачебные беседы-расспросы, пытаясь вылечить ее научно-разумным способом. Бóльшую часть фильма занимают диалоги героев. В картине красиво и жутковато показана природа — лес, туман. Лесные животные очень натуралистичны (лань с торчащим из-под хвоста мертвым плодом, терзающая собственные кишки говорящая лисица, каркающая ворона). Музыка добавляет тревожности. Герои в разговоре оперируют мистическими символами, мужчина настаивает на приоритете разумного, женщина с ее страхами, утверждением, что природа — это храм сатаны, с ее безумием и неудержимой сексуальностью знаменует собой торжество хаоса. Мужчина все еще пытается излечить жену обычными психотерапевтическими беседами, но мы уже понимаем, что женщина одержима чем-то пострашнее обычной депрессии: муж находит ее недописанную диссертацию про ведьм (записи на наших глазах понемногу превращаются в неразборчивые каракули), рассматривает прошлогодние фотографии сына, где мальчик запечатлен обутым в ботинки не на ту ногу. Мужчина вспоминает, что об искривлении ступней ребенка говорил и патологоанатом...

В момент, когда герой понимает, что его жена уже давно молчаливо издевалась над ребенком, женщина врывается к мужу, насилует его, а затем бьет поленом в пах. Мужчина теряет сознание. Женщина совершает сексуальные действия с его половым органом, затем сверлит ему ногу дрелью и намертво закрепляет в ране металлический штырь с точильным камнем на конце. Затем женщина уходит, а мужчина приходит в себя и уползает в чащу с камнем на ноге. Женщина в истерике ищет его и, обнаружив в лисьей норе, выкапывает и притаскивает обратно в дом. Следует сцена отрезания клитора: женщина кастрирует себя ржавыми ножницами. Еще живой мужчина совокупляется с еще живой женщиной, затем душит ее и сжигает тело. Сняв камень с ноги, мужчина, хромая, идет по лесу, и ему навстречу подни-

[2] «Бытие» по Триеру. — «Новый мир», 2009, № 9.

маются в гору женщины, лиц которых не видно. Звучит музыка Генделя, мужчина улыбается.

Режиссер посвятил фильм «Антихрист» Андрею Тарковскому. По заявлению Ларса фон Триера, фильм стал для него своего рода «терапией» во время депрессии, от которой он страдал два года назад. «Я ничего не могу сказать в защиту "Антихриста" за исключением того, что я полностью верю в этот фильм. Это самая важная картина во всей моей карьере», — сказал Триер журналистам.

2. Выбор отчаяния

...Да, «современное искусство» — более философия, чем искусство. Это философия, выражающая господство силы и факта над ясной мыслью и поэтическим созерцанием мира. Жестокая ломка реальных форм означает порыв слепой озлобленной воли. Это месть раба, его мнимое освобождение от ига необходимости, простая отдушина. И если бы только отдушина! Существует фатальная связь между рабской формой протеста и самим угнетением. Согласно всей новейшей эстетике, искусство действует гипнотически, травмируя или, наоборот, отупляя и успокаивая лишенное собственной жизни сознание. Короче, это искусство толпы, управляемой посредством внушения, способной бежать за колесницей цезаря...

Михаил Лифшиц. «Почему я не модернист?», 1963 год.

Так далеко зашло дело в цивилизованном обществе. <...> Никого больше не интересует, можно ли проверить духовный материал на предмет его истинности...

Йохан Хейзинга. «В тени завтрашнего дня», 1935 год.

Мир — это хаос. Жизнь — это смерть. Природа бесчеловечна. Это фразы из фильма «Антихрист» или это надписи на школьных партах? Это уверенность или растерянность? Это тяжелый вывод или легковесный довод? Этот мир шаток или это — мир шуток?

Ощущение жизненной неустроенности, чувство собственной ненужности и враждебности мира, всегда питавшие исключительно подростковую философию, победно овладевает людьми среднего и старшего возраста, становясь их путеводным самочувствием. Мир принадлежит молодым и энергичным, — внушает нам современное общество. Сорокалетние и старше, молчать или играть в юность! Обществу нужны неутомимые потребители. Так бездумно и весело никто не одевается, как подростки и юнцы, поднимем же их на рекламный щит бытия! Одежды всех сортов и машины любых национальностей. Лишь постучи в нашу лавку и принеси нам кусок своей отработанной жизни в виде денег.

Постепенно неустанные и безоглядные поглощатели вещей взрослеют, но привычек лихой молодости и бездумности не бросают, потому что общество по-прежнему любит молодых и задорных, бездумно-энергичных, эмоционально шатких. На таком неустойчивом стуле мы и сидим в зале кино, доверчиво пытаясь расслышать, о чем идет речь в фильме Триера. Всмат-

риваемся и вдруг отчетливо понимаем, что голос режиссера и его рука дрожат подростковой дрожью, трясутся от неуверенной самоуверенности. Однако когда подросток пишет на стене «*Да, смерть!*», — то ему это можно зачесть за первый шаг к пониманию того, что все-таки «*Нет, не надо смерти!*». Но если пятидесятилетний мужчина, режиссер, начинает щеголять подобными откровениями, то зрителю становится неудобно за автора, как за невоспитанного ребенка, который заносчиво, по-юношески обвиняет жизнь в своем собственном неумении ее жить. Мы смотрим и понимаем: всё, ребята, упустили человека; вовремя не переселились в Данию, не выучили этот непростой язык, не подружились с юным Ларсом, не вывели его сознание на хоть сколь-нибудь устойчивую почву.

И теперь лишенный опоры разуверившийся подросток (режиссер) пишет прощальное письмо (снимает фильм), подходит к краю крыши (выходит в прокат) и признается: «У меня была депрессия, и я через этот фильм из нее выйду» (мнется на краю крыши, что-то мямлит и плачет — и никуда не шагает, слава Богу). Подобные признания об автотерапевтичности фильма, растиражированные в пресс-релизе, лишь добавляют режиссеру сходства с подростком, презирающим этот мир и стоящим в презрительной позе, но так, чтобы все видели. Если же мы примем это отчаяние за чистую монету, а не за маркетинговую блесну, если мы поверим в режиссера как в простого человека, то тем более спросим: зачем надо делиться своим отчаянием с другими людьми?

...А затем, что хочется, чтобы заметили и признали авторское отчаяние за выдающееся человеческое переживание. Гений безотрадности! Страдание, достойное книги Гиннеса! Медные трубы горят и гудят. Это напоминает историю про больного СПИДом, втыкавшего иголки в сидения в кинотеатре и оставлявшего записки: «Я болен СПИДом. Эта иголка заражена. Вы укололись и тоже умрете». Месть миру за свое отчужденное страдание. Полнокровное отчаяние, питающееся всеми оставшимися в живых силами души и сознания. Целеустремленное отчаяние человеческой жизни, ни к чему не приткнувшейся, не умеющей заняться ничем созидательным, живительным, надежным, подлинным.

3. Бесстрастность отчаяния

Представьте героиню фильма, живущей в реальной жизни. За те пытки, которым женщина подвергает своего мужа, за ту хладнокровность, с которой она уродует его, полагается тюремный срок. Если подобная женщина будет в реальности уличена в утонченном издевательстве над ребенком (деформирует ему ступни, постоянно надевая ботинки не на ту ногу), то она неизбежно попадет в психиатрическую больницу и будет лишена материнских прав. Если ее душевная болезнь не так сильна и женщина будет способна осознать и ужаснуться гибели сына, который сваливается из окна в момент ее соития с мужем (она видит его шаги по подоконнику и смутно этим наслаждается), то женщина сойдет с ума, уйдет в монастырь. Живой человек хоть что-то *сделает*! Хоть как-то *поступит*! Юнг рассказывает подобную историю:

...До замужества у этой женщины был знакомый, сын богатого промышленника. В него были влюблены все девушки в округе, но моя пациентка была очень привлекательной и считала, что у нее есть шанс. Он же, казалось, ею не интересовался, и она вышла замуж за другого.

Пять лет спустя к ней зашел давний приятель. Они вспоминали прошлое, когда вдруг тот сказал: «Когда ты вышла замуж, кое-кто был в шоке — этот ваш NN». С этого момента и началась ее депрессия, а спустя несколько недель это привело к несчастью.

Она купала своих детей, четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына. Семья жила в деревне, где вода не отвечала гигиеническим стандартам: чистую родниковую воду пили, речную использовали для купания и стирки. Заметив, что дочь сосет мочалку, она не придала этому значения, сыну же разрешила выпить стакан речной воды. Естественно, она не вполне отдавала себе отчет в том, что делает, ее сознание уже было омрачено тенью надвигающейся депрессии.

Когда прошел инкубационный период, девочка заболела брюшным тифом и умерла. Она была любимицей матери. Мальчик не пострадал. В состоянии острой стадии депрессии женщина попала в клинику.

Проведя ассоциативный тест, я выяснил, что пациентка считала себя убийцей...

Карл Густав Юнг. «Воспоминания, сновидения, размышления», 1961 год.

Это — понятное нам восприятие человека как существа грешного, но страдающего, раскаивающегося или погибающего. Пациентка Юнга нам неприятна или нам ее жалко, но ее чувство собственной вины, собственной недочеловечности понятно и непротиворечиво нашему пониманию человеческой сущности.

В Триеровском же варианте никакого покаяния нет: есть внутреннее зло и есть абсолютное приятие этого зла и полное непротивление ему. Реакции женщины нереальны своей внечеловечностью, и в этом мы читаем идею режиссера: Триер ставит миру жестокий окончательный диагноз: — Природа рожает смерть. Миром правит Сатана. Жизнь — это Хаос. — Но за этим стоит всего лишь диагноз режиссера самому себе. Триер пытается повесить страшные пеленки своего сознания на общую бельевую веревку человечества, и соседи справедливо ропщут на это.

Общество оберегают от туберкулеза, изолируя на время больных людей, чтобы не заражали других. Психическому же туберкулезу современного искусства наоборот предоставляется массовость и синхронность дыхания. Без скопления зрителей он, как любой вирус, не выживет, не станет властной болезнью общества, не превратится в родовой признак социального бытия. Триер ощущает мир как скопление упрямого зла и неистощимого ужаса. Однако, если бы это действительно было правдой, то все эти фон Триллерские зарисовки не вызывали бы в нас такого физического отторжения, потому что *они были бы нам легки*. Если зло — во мне, то что мне бояться его на экране? Однако нам неприятно смотреть кровавые кадры этого фильма, потому что в жизни мы обычно не отрезаем себе половые органы, не сверлим ноги мужьям, не пытаемся перерубить человека лопа-

той. А те, кто сверлят и рубят, вроде не являются в реальности объектами положительного общественного интереса.

Хотя — стоп! — трансляцию повешения Хуссейна нам все-таки ввернули в новости, чтобы *все видели*. Вот оно — зло, вот она достойная жертва киноприцела — наше жадное безразличие к демонстрации насилия! От ужасов же Триера хочется отмахнуться, как от подлого шаржа на наши подлинные, не телесные страдания.

4. Социология отчаяния

Сознание общества ежедневно успокаивают мыслью о том, что мир жесток *сам по себе*, что отпечатков наших пальцев на шее этого мира нет, что это не мы нажимаем кнопку. Нас убеждают, что мы не сознательно устраиваем наше общество таким, какое оно есть, что борьба всех со всеми — это свойство людской сущности, ведь человек — часть природы, а значит, и общество развивается по законам охотника и волка, волка и зайца. Нас так усиленно убеждают в логичности социального дарвинизма, что уже и самый последний загнанный в коробку нищий понимает свою данность как дань мировому порядку. Нам вбивают в рот насмешку над попыткой создать лучшее общество: справедливое общество?! Ха! Проходили уже!

В действительности же современное общество полностью противоречит изначальному закону — закону равенства людей перед даром жизни и ямой смерти. Но что-то менять — это значит чем-то делиться, значит отказаться от возможности безграничного имения и безустального хотения. Менять — это значит чувствовать чье-то тепло, значит, просить меньше и отдавать больше. Но дьявол похохатывает в сердце, и мы сами смеемся и не верим в себя как в существа, рассчитанные Богом для жизни, а не для соперничества на земле. Мы умываем руки, которые уже по локоть в язвах от бесчеловечных рукопожатий и битв.

Не надо быть особенно честным, чтобы заметить, что Триер отплачивает миру его же монетой. В глухом современном обществе человек задыхается от нормированности и безликости взаимных человеческих отношений. И фильм Триера мог бы быть хорош как приговор обществу, но он плох тем, что художественный приговор выдержан в стиле поступков самого преступника, в стиле насилия и мучений. Порочный круг не разомкнут, пока художник верит в преобладающую силу зла и не имеет силы разомкнуть на себе цепь человеческих страданий.

5. Маркетинг отчаяния

Режиссер раздавлен жизнью. И это — не плотность и весомость бытия, а камень на сердце и шее, который несдвигаем. Триер якобы не верит в эту жизнь и поет осанну небытию, что, конечно, выглядит комично, поскольку и съемки фильма, и общественный резонанс, и сопутствующие товары, — все это вполне себе жизнь, да еще какая! Триер удачно продает свою депрессию. Без нее он не нужен этому изощрившемуся миру всепроникающих продаж. Вот, к примеру, реклама *классных футболок «Антихрист»*. И заметьте: черные — уже распроданы:

GET ANTICHRIST-DRESSED UP. COOL T-SHIRTS
FROM THE NEW LARS VON TRIER-FILM, ANTICHRIST.
THERE IS ONLY A LIMITED AMOUNT.
THE T-SHIRT ARE IN A NICE QUALITY FROM PUNK ROYAL.
WOMAN AND MAN-DESIGNS,
BOTH IN BLACK OR WHITE VERSIONS.
SIZE: S, M, L
(THERE IS SOLD OUT OF BLACK MEN-DESIGN SIZE L)
PRICE 26,90 EUR + SHIPMENT 4,00 EUR[3]

Ван Гог поздновато родился: сегодня он бы на бис отрезал себе ухо и писал свои картины из расчета тысяча долларов за квадратный сантиметр. Военнослужащая армии США Линди Ингланд, осужденная за пытки заключенных в иракском Абу-Граибе, становится героиней биографической книги. Садист становится героем в этом мире, жадном до любой свежатины. Лишь бы двигалось, а уж мы съедим. Бизнес — ничего личного!

Ларс фон Триер — счастливчик и удачливый пройдоха. Он подманивает зрителя непривычной красотой (прекрасен туманный лес, страшен лес ночной), прошивает ленту дорогими визуальными (свет, туман) и дешевыми символическими образами (ведьмы, костры, пентаграммы), приправляет хорошими актерами, насовывает мяска, сдабривает кровью, заливает красочностью, усугубляет музыкой и выносит на киноприлавок. Лоснящиеся мухи набиваются в зал, привлеченные запахом Каннского скандала (освистали фильм!) и разнобойным жужжанием критиков. Так создается некое облако того, что Пикассо называл энтузиазмом:

> ...Пикассо <...> ответил: «...В наше убогое время важнее всего создавать энтузиазм. Многие ли читали Гомера? Тем не менее весь мир говорит о нем. Так было создано гомеровское суеверие. И подобное суеверие вызывает драгоценное возбуждение. Энтузиазм — вот что прежде всего необходимо нам и молодежи...».
>
> *Михаил Лифшиц. «Почему я не модернист?».*

Вместо действительной критики существующего человеческого устройства, вместо призыва к каждому — режиссер подсовывает рекламу нашего несовершенства. Сбрось вес тела! Сбрось вес морали! Информационный концлагерь современности бесстрастно и безоценочно вещает о жестокостях и убийствах, на самом деле приучая нас к покорности перед злом. Информационный надзиратель вливает в нас валерьянку успокоенного отношения к окружающему ужасу. Мы напуганы бытием, мы понемногу разучиваемся помнить в себе людей, мы робко и боязно ждем, что нам подскажут, какие мы есть. И мы потихоньку проникаемся подстроенным восприятием мира, ценя личный опыт своей жизни не дороже шороха в общем грохоте информационного водопада. Сложно не бояться, когда запугивают. Сложно

[3] Источник: http://www.zentropa.dk/zen-salg/antichrist_Tshirt/

под маской мировой статистики о смертельности вируса свиного гриппа разглядеть рекламную кампанию самого этого вируса. Нам продают страх, чтобы под шумок продать вакцину от него. Мир — как свинарник, и мы — как неопытные подопытные хрюшки.

Но если мы поняли этот трюк: напугай и поработи, — то и бесстрастно играющего в насилие Триера мы должны разгадать как фигуру самозванного великомученика, призывающего нас к смирению перед ветхим и злым человеком, рвущимся из нас наружу бытия. Это — проповедь волка, и нам должен быть страшен отрешенный взгляд художника, рубящего человеческое мясо в доме Отца.

> ...Превознесение **бытия** превыше **знания** чревато еще одним следствием... Отказываясь от примата познания, мы тем самым отвергаем нормы суждения, а вместе с ними и долженствования. <...> там, где на первый план выходят человеческие отношения и поступки, никогда не будет довольно констатации, ибо здесь необходимы и неизбежны оценка, оценочное суждение.
>
> *Йохан Хейзинга. «В тени завтрашнего дня».*

Героиня «Антихриста» труслива и опасна: она забита в угол телесной похоти, она душевно разбита, но она телесно сильна и целеустремленна. Нам предлагают вполне модный интеллектуальный тренажер абстрактной софистики. Нам говорят: человек одинок и погружен в мертвородящий мир; единственным способом заявить о том, что ты существуешь, становится вдохновенное служение собственной телесности; чтобы доказать, что ты — настоящий человек, придется явить миру аттракцион невиданной силы и жестокости.

Но чем сильнее тело героя, тем заметнее его ветхость, и мы видим, как под громкими латами силы дрожит страх личной бессмысленности и смертности.

6. Грех отчаяния

И все же человек — не только мешок с мясом, есть в нем что-то более живое, чем кровь. Жизнь как возможность существования, как включенность в бытие есть бессомненный дар и добро. Природы бояться — в лес не ходить. Лисица в фильме Триера ощеренной страшной мордой говорит: «Природа — это хаос!» Но в том-то и разгадка, что природа — да, бесчеловечна и хаотична, но она бесчеловечна в том смысле, что человек здесь еще не явлен и животный хаос рождения-смерти еще не освящен блеском осмысленного взгляда и светом осознающего разума. В том-то и разгадка, что человек уже более двух тысяч лет как не одинок и не брошен. Когда дьявол на сороковой день подначивал Христа набить живот камнями, превращенными в хлеб, то Христос, мучимый голодом, мучимый своей жестокой хаотичной, бесчеловечной, казалось бы всевластной над душой телесной природой, все равно четко чувствовал и знал, отвечая, что вовсе *не хлебом единым жив человек*. И это была не фигура речи, а — фигура жизни, фигура человека, познавшего в себе жизнь не как битву жадных метаболизмов,

звериного голода и инстинктивного соития, а как ту силу и тот дар, ради которого мы только и можем, пожалуй, иногда поесть, иногда зачать ребенка, иногда почесать ногу, потому что через мертвую мешковину собственной шкуры мы уже видим в себе подлинное свечение бытия, пробивающее своим осмысляющим светом хаосную косность косых человеческих избенок. И свет во тьме светит.

Осознав это, мы не имеем права с пониманием и завистью смотреть в лес своего дикого состояния, потому что мы, люди, бывшие волками, уже перестали ими быть и больше никогда не сможем забыть разницу между ежедневным хлебом и Вечностью, не сумеем избежать Жизни, происходящей вне желаний нашего тела и вне краткости нашего века.

Дмитрий МАТВЕЕВ

ПОИСКИ ПРЕДЕЛЬНОГО И «СЛОМАННЫЙ МИФ»

Журнал «Вопросы философии», Москва, 2009 год

С тех пор, как существует московский «Континент», мы постоянно пытаемся усовершенствовать форму наших обзоров. И на сей раз нам показалось, что в разделе «Гнозис» продуктивно будет представить годовой обзор журнала. Итак, предлагаем вниманию читателей «Континента» обзор «Вопросы философии» за прошедший 2009 год.

Целый ряд материалов первого номера «ВФ» посвящен наследию русского философа Семена Франка (1877 – 1950). Об историософии Франка в связи с его книгой «Крушение мифов» размышляет **Владимир Кантор** (**«Русская революция, или Вера в кумиры»**[1]). Свою статью Кантор начинает с того, что двигателями общественной жизни объявляет мифы: преодоленные на философском уровне, они в тех или иных обличиях продолжают господствовать даже среди образованных людей. И этом смысле XX век — *век торжества мифологического сознания*, о чем наглядно свидетельствуют оба его главных мифа — нацистский и коммунистический. По мнению Кантора, эту опасность *кумиров-мифов* много раньше зарубежных коллег поняли русские мыслители, пережившие 17-й год, — и одним из первых Семен Франк, уже в начале 20-х указывавший на кумиротворение как основную причину русской революции.

Что же было для русской интеллигенции тем центральным мифом, во имя которого она жертвовала собой, идя в революцию? Франк дает на это следующий ответ: это миф о страдающем народе, труженике земли русской, кормильце (а зачастую — «народе-богоносце»). Франк писал: *«Народниками» были все — и умеренные либералы, и социалисты-народники, и марксисты, теоретически боровшиеся с народничеством <...> Все хотели служить не Богу, и даже не родине, а «благу народа», его материальному благосостоянию и культурному развитию. И главное — все верили, что «народ», низший, трудящийся класс, по природе своей есть образец совершенства, невинная жертва эксплуатации и угнетения. <...> Интеллигент чув-*

[1] Статья опубликована также в № 62 журнала «Слово\Word» за 2009 г.

Дмитрий МАТВЕЕВ — родился в 1964 г. в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов. Кандидат технических наук, магистр богословия. Публиковался в журналах «Истина и жизнь», «Континент», в газете «НГ-религии». Живет в Москве.

ствовал себя виноватым перед народом уже тем, что он сам не принадлежал к «народу»... Искупить свою вину можно было только одним — самоотверженным служением «народу». А так как источник бедствий народа усматривался всецело в дурном общественном строе, в злой и порочной власти, то служить «народу» <...> это значило стать революционером. Прямым следствием этого мифа, замечает автор статьи, становилось *самозаклание людей мысли во имя народа, который их не знал и знать не хотел*[2].

Но вот революция свершилась, и, по словам того же Франка, интеллигенция *вдруг поняла, что бог-спаситель ее заветной веры есть ужасное, всеистребляющее чудовище или мертвый истукан, способный вдохновлять лишь безумных и лишь на безумие и убийственные дела.*

Ни один тип правления не стоит веры, пишет Франк, *мы не можем верить ни в какой абсолютный порядок общественного устройства, не можем поклоняться никаким политическим формам и доктринам.* Освобождение от старых кумиров оборачивается воздвижением новых, а это вновь приводит к уже известному роковому результату — *разнузданию зла из желания сотворить добро.* Философ признается: *...я чувствую себя моральным соучастником всех убийств и злодеяний, которые во имя революции творятся в чрезвычайках.*

Однако разочарование в кумирах революции и политики распространялось у Франка и на «*кумир культуры*». А поскольку как убежденный западник философ полагал, что духовные и материальные основы российской культуры родом с Запада, он утверждал даже, что Октябрьская катастрофа — следствие *западноевропейского яда в теле России.* Таким образом осознается как неподлинный еще один кумир — кумир Европы. Однако, по мнению Кантора, подобное разочарование не становится для Франка поводом переметнуться в лагерь славянофилов, а помогает вырабатывать новое — вполне трезвое — отношение к Европе, помогает *вывести Европу из псевдосакрального кумирного пространства, где не может быть трезвого взгляда на обожествляемый объект, а существует либо поклонение, либо оплевывание.* Ведь, по мнению автора статьи, именно опыт трезвости, опыт крушения кумиров поможет русским европейцам в дальнейшем, в период нацизма и фашизма — *в процессе одичания Европы* — хранить базовые ценности европейской культуры и выработанные христианством нормы порядочности.

Франк призывает своих читателей отвергнуть идол исторического прогресса и искать Бога. Однако, замечает Кантор, на первых порах философ и сам сделал попытку заменить старый идол новым и некоторое время поклонялся модному в то время *кумиру истории как богочеловеческого процесса.* Однако Франк сумел преодолеть искус «магической философии истории» и встал на позиции христианского реализма. *Он становится*, пишет Кантор, *христианским философом в полном смысле этого слова, противопоставившим логике эмпирического познания истории и культуры логику христианского пребывания в мире как постоянного подвига.*

---

[2] Причем, отмечает автор статьи, миф народопоклонства пришел к революционерам из «охранительного» лагеря — вместе с тенденцией насилия над образованными слоями.

Однако разочарование Франка в идеальном общественном устройстве вовсе не означало призыва к уходу от мира. Но он отдает себе отчет в том, что *спасение родины* — вовсе не в свержении большевиков, а сами большевики вовсе не представляют собой какое-то случайное *внешнее* зло; *мы сами*, пишет он, *больны одной и той же болезнью с нашей родиной* и *исцелимся только вместе... Мы направим ее на новый, верный путь не ранее, чем найдем его для себя самих...* Путь этот — путь к живому Богу — ведет через *демократию,* то есть, поясняет Кантор, через *те завоевания человеческой цивилизации, которые Франк считал результатом христианизации мира.*

Франк говорит о *христианском реализме*, поскольку христианство дает свободу от всех иллюзий. Только оно, по мнению философа, может стать основой для свободного совершенствования жизни и отношений между людьми. *Насытить алчущего, напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, посетить больного* — это ли не социальная программа? А на том, что задача действенной любви к ближнему имеет *абсолютное религиозное значение*, Франк настаивал. И даже если дело Христа явно не торжествует в мире, Он внес в мир вечный свет любви, который светит во тьме и, подобно маяку, призывает двигаться к нему, через все страдания и гонения торжествуя величайшую победу над миром.

Более подробно на историософии русской революции у Франка останавливается **Оксана Назарова**, автор статьи **«Философия истории Семена Людвиговича Франка»**, помещенной в том же первом номере журнала. Однако, если у Кантора, при всех необходимых оговорках, Франк предстает западником-демократом, то у Назаровой тот же философ оказывается религиозным народником и платоником-идеалистом, критичным в отношении Просвещения и гуманизма, к тому же симпатизирующим теократии. По мнению Назаровой, причину Октябрьской революции Франк усматривал во взаимодействии двух, на первый взгляд, совершенно противоположных тенденций: с одной стороны, западной секуляризации и рационализации и, с другой, русского религиозного максимализма. Но ведь именно последний, подчеркивает автор статьи, и чреват нигилизмом, — согласно логике максимализма: *если мир несправедлив, значит, Бога нет.* В религиозном нигилизме, по мнению Назаровой, Франк и находит точку соприкосновения духа западноевропейского с духом русским; этим и объясняет, каким образом такое чисто западное явление, как социализм, сумело найти столь глубокий отклик в душе «русского мужика».

Назарова показывает и то, как феномен революции преломляется под углом социальной философии Франка. Если, подобно Франку, признавать, что божественное всеединство существует; что оно обуславливает взаимосвязь всех вещей как определенный порядок и структуру, то свобода человеческой личности состоит в осознании этого порядка и подчинении ему, в следовании божественным законам — в том числе и в социальной сфере. В таком случае Революция — это «неправильная» свобода как претензия личности на абсолютное «делание того, что хочется», стремление к тому, что не предназначено ей Богом. И в этой связи, пишет Назарова, Франк видел своей задачей апологетику русского духа, его защиту от бытующего на Западе ошибочного представления, что именно революция выражает суть

русскости. Философ же, утверждает Назарова, стремился показать, что подлинное существо русской души составляют не анархия и жестокость, но спокойная и углубленная религиозность. Для доказательства этого тезиса Франк обращался к русским писателям и старцам. Из первых, по его убеждению, более всего существо русского духа смог отразить Пушкин (но никак не Достоевский с его мучительной рефлексией и метаниями героев между добром и злом, не говоря уж о Горьком). Что касается старцев-монахов-мистиков, находящихся в непосредственной связи с Богом и несущих служение просвещения народу, при этом не отрываясь от него, — они для Франка являлись антиподом интеллигенции, снобистски противопоставляющей собственную просвещенность невежеству народных масс и отрицающей всякие духовные и реальные основы. (Назарова предполагает даже, что Франк видел в старцах потенциальных возглавителей теократического государства.) Большевизм же, по убеждению Франка, чужд русской душе прежде всего в силу его атеизма, поскольку для русской души *подлинным первично-абсолютным началом* общества является один лишь Бог. Большевизм в качестве утопизма — это, по Франку, утверждает Назарова, извращенное христианство или ересь. Этот секуляризированный новоевропейский гуманизм, отказавшись от связи разума с Богом, ищет иные опоры всеобщности и находит их в коммунистической партии. Но Франк даже и в самой Советской России, пишет Назарова, обнаруживает свидетельства непобедимости русского, надежнейшее из которых — обращение советской молодежи к Пушкину.

Завершается подборка материалов о Франке беседой **Владимира Колязина** с журналистом **Василием Франком**, сыном философа, посвятившим себя изданию отцовского наследия. Василий Семенович вспоминает об отце, делится впечатлениями от нынешней России, размышляет о судьбах веры в России и на Западе.

Как ни сложны парадоксы Франка, еще сложнее приходится исследователям Бердяева. О влиянии Ницше на философию Бердяева размышляет **Наталья Бонецкая** в статье **«Апофеоз творчества»**, опубликованной в четвертом номере журнала. Бердяевская *философия творчества*, считает автор статьи, есть не что иное как своеобразное разворачивание ницшеанского тезиса о смерти Бога. По Бердяеву, эта «смерть» означает отсутствие Бога в пространстве человеческого бытия (его кредо — *Бог не управляет миром*), трансцендентность Божества человеческому опыту. Бердяев, пишет. Бонецкая, восхищался интуициями Ницше и соглашался с его критикой наличного христианства. Констатированная Ницше богооставленность человечества была для Бердяева мотивом героического восхождения человека. Бонецкая, рассматривающая творчество философа с подчеркнуто ортодоксально-христианских позиций, неоднократно подчеркивает антицерковную направленность мысли Бердяева. *Теософским и антропософским* по происхождению называет автор статьи и неверие философа в вечность адских мук — в евангельское, по мнению Бонецкой, учение. Продолжая сопоставлять Бердяева и Ницше, она ставит задачу показать, что бердяевский *творческий человек*, прихода которого в мир жаждет философ, в еще большей степени

претендует на божественные функции, чем ницшевский *сверхчеловек*. Ведь *творческий гений* Бердяева, указывает Бонецкая, подобно библейскому Богу, творит из ничего. Припоминает Бонецкая Бердяеву и близость к оккультизму: в работе «Смысл творчества» он фантазировал в том духе, что *человек должен властвовать над природой силой белой магии*. В довершение всего автор статьи вспоминает, что мысль Бердяева отмечена и сильнейшим влиянием Фрейда; бердяевская *этика творчества*, пишет Бонецкая, — это этика не отсечения злых страстей, как в православной аскетике, а их «сублимации» (почему-то определяемые в статье как *всплеск манихейства*). В целом выводы автора следующие: Бердяев занимался тем, что под интуиции Ницше и Фрейда подводил собственный онтологический фундамент, чтобы включить все это в свой *самобытный (псевдо)богословский дискурс*, имеющий целью *отменить традиционное историческое православие, вообще историческое христианство*. Тем не менее, с оттенком снисхождения замечает Бонецкая, этот бунт Бердяева лишен ядовитой злобности книг Ницше и имеет скорее *романтико-идеалистическую природу*.

Работа Бонецкой великолепно иллюстрирует, как легко потеряться в самих по себе парадоксах Бердяева, у которого и вправду можно углядеть слишком многое. И синкретический характер бердяевской мысли статья отражает вполне: не будучи систематическим, дискурсивным мыслителем, этот философ черпал отовсюду и везде искал подтверждение собственным интуициям, которые выражал, как правило, афористически. В то же время оценки Бонецкой хорошо иллюстрируют и то, сколь трудно воспринять Бердяева, мысля в ключе понимания христианского богословия как раз и навсегда проложенной колеи. С таких позиций Бердяев никогда не воспримется как христианский мыслитель, так и останется *псевдобогословом* и т. п. И никогда не уложится в голове, как можно одновременно позиционировать себя как христианина, но при этом критиковать святых и старцев, а интуициями Ницше и Фрейда восхищаться. Не говоря о многом другом... Но разве христианская мысль, в свое время «приспособившая» Платона, больше ничего не в состоянии вместить и творчески осмыслить? И стоит ли христианству с порога отвергать иные ходы человеческой мысли, пусть и шокирующие и провокативные для традиционного взгляда? Ведь провоцируют-то они мысль и шокируют — инерцию. А инерция-то накоплена немалая, так что неплохо бы уже задуматься о неких реальных изменениях в парадигме мышления, в самой антропологической ситуации: ведь немало воды утекло с тех самых Средних веков, в которые сложилась христианская ортодоксия...

Подобные шок и провокация и содержатся в столь же хрестоматийных, сколь и незабываемых словах Ницше: «*Бог умер*». Брошенная миру короткая фраза «задала работы» мировой мысли на целый век, и конца этой работе пока не видно. Видимо, все дело в том, что эта фраза, как бы абсурдно она ни звучала, в парадоксальной форме констатирует то реальное положение вещей, которое сложилось в европейской ментальности ко времени Ницше: кто-то в ней в самом деле «умер», точнее — что-то «умерло». Многим в наше время представляется, что это «что-то» — способ говорить о Боге через априорные и объективные, «спущенные с небес» описания

божественной реальности и картины мира. Совершенно очевидно, что сегодня говорить на языке средневековой метафизики и мифологии неизмеримо труднее, чем несколько веков назад.

Здесь мы вновь приходим к теме «антропологического поворота» европейской мысли, когда главным отражением Бога как изначального Первообраза оказывается не космос, а человеческая личность. Соответственно, в религиозной сфере априорными становятся не доктрины, но внутренний опыт человека[3]. И в этих условиях, хотим мы того или нет, уже не столь незыблемо звучит слово «догмат», а то доктринальное содержание христианства, к которому традиционно применяется это слово, подвергается обсуждению.

Попыткой инициировать такое обсуждение стала публикация в первом номере «ВФ» выдержек из лекционного курса **«Энергия»**, прочитанного **Владимиром Бибихиным** (1938 — 2004) в МГУ, а затем в Свято-Филаретовском институте. Разговор о византийском богослове XIV века епископе Григории Паламе Бибихин начинает с разъяснения, что есть догмат. Говоря предельно упрощенно, догмат, в трактовке Бибихина, — это порыв остановить уход Бога: то есть смысл догмата состоит в том, чтобы *закрепить опыт богообщения*, но само это закрепление необходимо там и тому, где и с кем происходит *опыт расставания*. Именно это усматривает русский мыслитель в богословии Паламы: плач о встреченном, но ушедшем Боге; протест против Его потери, ощущаемой при неизбежном отступлении мистического опыта; стремление противостоять безысходному ощущению конца божественного откровения, — все это выражается в утверждении непрерывного присутствия Бога в мире. Пронизывающая мир *нетварная божественная энергия*, отличаемая от безусловно закрытой божественной сущности, — это и есть выражение одновременных непостижимости и присутствия Бога.

Однако, по мнению Бибихина, само собой проводимое Паламой различение в Боге необоснованно, да и не нужно: *Что за заборы, пропускные пункты внутри Божества?.. Простая молниеносная воля — вот что такое Бог. Различение в нем сущности и энергий отяжеляет Его, отчуждает.* Тем более, добавляет философ, что в богословии уже существует тринитарное различение божественных Лиц, где ипостась Святого Духа делает то же самое, что паламитские «нетварные энергии», — действует в мире. Удивительно уже и то, размышляет Бибихин, что божественное *исступление*, которое имеет в виду Палама, не заставляет разум смутиться, почувствовав нищету своих разграничений, не заставляет ужаснуться тому, насколько не достают до Бога любые человеческие дефиниции, одна из которых — различение сущности и энергии: *разве оно не померкнет в свете опыта, о котором говорит Палама?* И, собственно, *разве тем опытом продиктовано это различение?* Ведь там, где начинается *действительное*, мысль кончается — таков итоговый вывод Бибихина.

«Антропологический поворот» среди прочего обусловил в западном богословии XX столетия две взаимосвязанные тенденции: стремление к «де-

[3] К проблеме «антропологического поворота» мы уже неоднократно обращались. См., например: *Матвеев Д.* Как спасти «разговор о Боге» («Континент», № 139).

мифологизации» евангельской Вести (переводу ее со старого, — в терминологии сторонников этого направления, *мифологического,* — языка на язык современной философской мысли) и включение в богословские разработки достижений экзистенциализма, немало сделавшего для описания специфики человеческого бытия. То, как теология XX века в лице своих крупнейших представителей пытается решить эти задачи, показывает **Татьяна Лифинцева («Бультман и Тиллих: демифологизация и рецепция идей Хайдеггера»** — «ВФ», № 5). Герои статьи — Пауль Тиллих (1886 — 1965) и Рудольф Бультман (1884 — 1976) — известные христианские мыслители. Оба немцы, оба протестанты, обоих не устраивал наличный способ формулирования Откровения о Христе, и в поисках нового языка оба черпали материал у Хайдеггера. Однако «демифологизацию» каждый осуществлял по-своему.

Тиллих прибегает к категории *заботы* (der Sorge) — одной из важнейших в учении Хайдеггера. Забота в хайдеггеровском понимании есть некая априорная несамодостаточность, неуравновешенность, онтологически предшествующая всем человеческим стремлениям и влечениям. Тиллих говорит о *предельной заботе*, предметом которой является то, что определяет человеческое бытие, — то есть имеет силу угрожать этому бытию или, напротив, нести спасение. От такой всеобъемлющей заботы нельзя ни отдохнуть, ни убежать; она, по Тиллиху, и есть *религиозная* забота.

Что касается Бультмана, для него в хайдеггеровском анализе человеческого существования самое ценное — *возможность перехода от неподлинного существования к подлинному.* По Бультману, дает ее Бог. Весть об этой возможности и является, с точки зрения теолога, истинным содержанием Евангелия. Однако для современного человека этот экзистенциальный смысл Нового Завета, считал Бультман, искажен, поскольку представлен в терминах донаучного мышления, т. е. мифа, ярким примером чего служит используемая в Евангелиях гностическая космология: трехъярусный мир [1) небеса как царство Божественного; 2) «средний» мир, т. е. земля и человек на ней; 3) инфернальный мир тьмы]. Все это, считает Бультман, скрывает настоящую суть новозаветного откровения, а потому должно быть рационализировано, т. е. переведено на понятийный язык. Таким образом, для Бультмана миф и символ лишены онтологического измерения. Он убежден, что для современного человека они не открывают, но скрывают истину.

Для Тиллиха же, осознающего реальность и силу религиозного опыта, специфическим религиозным языком может быть только язык мифа и символа. Религиозные символы, по его убеждению, не конструируются произвольно, не придумываются, но рождаются во встрече божественного и человеческого, выражая реальность, которую невозможно выразить другим языком. Соответственно, и демифологизация состоит прежде всего в том, чтобы признать символ символом и миф мифом (а не прямым и точным описанием божественной реальности), но ни в коем случае не в полном их устранении: последнее лишь лишило бы религиозный язык его силы. Средством же переосмысления мифа, т. е. понимания мифа как мифа, служит, по Тиллиху, философская и научная критика. В качестве такого переосмысленного, — в терминологии теолога, *сломанного,* — мифа и следует, по мнению Тиллиха, понимать христианство, — констатирует в завершении автор статьи.

Любопытно, что обоих теологов совершенно не смущал атеистический характер заимствованных ими хайдеггеровских построений. Напротив, оба считали, что это обстоятельство скорее способствует самой возможности откровения. Ведь откровение — это ответ, без вопроса не возможный. В хайдеггеровском же случае источник вопроса — шок от угрозы небытия.

И в наши дни спорят между собой философы, объединенные убежденностью в «конце метафизики», но имеющие разный взгляд на последствия этой ситуации и способ жизни в ней. Этому посвящена и опубликованная в первом номере журнала статья **Павла Носачева «Постмодернистская философия религии У. Эко и Дж. Ваттимо о месте религии в современном мире»**. Джанни Ваттимо и Умберто Эко — ныне здравствующие итальянские мыслители, обычно причисляемые к постмодернистам. Оба являются учениками выдающегося итальянского философа Луиджи Парейсона (1918—1991), разработавшего систему «онтологического персонализма», отстаивавшего абсолютную свободу философии и абсолютную необъективированность истины, которая есть прежде всего интерпретация и может быть воспринята только в личном аспекте. Бытие Бога — исключительно вопрос индивидуального выбора, а стихия религиозного опыта не поддается описанию никакими понятиями.

Ваттимо полностью воспринял взгляд учителя: никто не способен судить непредвзято и никто не в праве претендовать на знание истины. Метафизика умерла, но именно поэтому те самые слова Ницше о смерти Бога нельзя трактовать как сообщение о том, что некое метафизическое существо прекратило свое существование. *Смерть Бога* на самом деле означает смерть представлений о стабильной структуре мира, о неких единых его основах. *Смерть Бога* означает конец любых претензий на последнюю истину. Философия не только не может притязать на обладание такой истиной, она не правомочна даже допустить, что такая истина существует. Отказ от подобных претензий получил у Ваттимо название «*ослабленного мышления*», т. е. мышления, не претендующего на сколько-либо определенную интерпретацию мира. Такому мышлению соответствует новый тип рациональности, свободный от догматических ограничений. Не только мышление, но и вера в потерявшем незыблемую структуру мире неизбежно несет на себе печать неопределенности, гипотетичности, считает философ. На вопрос, верит ли он в Бога, Ваттимо отвечает афоризмом: *верю, что я верю.*

Однако, если в библейского Бога нельзя больше *верить* (в «сильном», так сказать, значении слова), возникает образ веры как *предположения.* И ситуация эпохи постмодерна, по мнению Ваттимо, помогает человеку вновь обрести христианскую веру. Крушение метафизического основания привело к стиранию границ между сакральным и профанным, метафорическим и неметафорическим, мифом и не-мифом. Мифы теперь признаются истинными и одновременно превзойденными. Секуляризация утверждает собой царство свободы, когда интерпретация священных текстов более не является привилегией священнослужителей. Тут Ваттимо недаром вспоминает утверждение Новалиса о том, что каждый человек может написать свою Библию.

Чем же должно быть в этих условиях христианство? Весть о спасении, полагает Ваттимо, постоянно нуждается в интерпретациях, которые смогли

бы ее актуализировать и обогатить. За счет такой вот радикальной переинтерпретации он и пытается спасти христианство. Вся культура современного Запада в целом, считает Ваттимо, должна пониматься как секуляризованное христианство в том смысле, что в ней принимаются христианские этика и миропонимание. Такая переинтерпретация, дающая философу возможность снять с современности столь неприятное для верующих определение «постхристианство», обретается, однако, ценой отказа от догматичности и строгой регламентации, которые, по убеждению Ваттимо, противостоят современности. Только солидаризация с судьбами модернизации, по его мнению, предотвратит вырождение христианства в секту. Новая роль христианства — быть полем для межкультурного диалога, где правота может оказаться и на противной стороне. В этой связи утрата христианскими символами чисто религиозных черт (пресловутое превращение Рождества в светский праздник или превращение креста в простой символ европейской идентичности) должна рассматриваться не как поражение, а как немалый потенциал. «*Христианство становится подобием музея*» — смысл этого выражения становится у Ваттимо обнадеживающим. Ведь лишь в таком музее встречаются и вместе сохраняются христианские корни и светская природа западной культуры.

Взгляд Умберто Эко на религию в современном мире существенно иной. Можно сказать, что это менее постмодернистский взгляд. Эко не свойственна постмодернистская боязнь универсальности, общности смысла и самого разговора о них. Ведь хочешь — не хочешь, размышляет философ, а бытие все же имеет стабильную структуру, и никакая интерпретация и деконструкция ничего не могут поделать, например, с гравитацией: прыжок из окна неизбежно приведет к столкновению с землей. Неизбежность некоторых фактов приводит к мысли о некоем «ядре бытия». Да, конец метафизики налицо, и существуют разные взгляды на вещи: в конце концов, птицы и насекомые видят мир совсем иначе, чем мы, и неизвестно, чей взгляд более верен. Разумеется, кантовская «вещь в себе» недоступна, но это не означает, что о ней нельзя говорить...

Но если «ядро бытия» существует, то оно существует до всякой человеческой интерпретации, сдерживая ее своеволие. Религия, считает Эко, тоже строится вокруг некоего ядра, и количество интерпретаций в этой области хоть и велико, но все же ограничено. Религию, и христианство в том числе, не следует толковать извне как заблагорассудится: такое толкование будет лишь собственным измышлением толкователя, которое он не должен навязывать христианству. Правила прочтения, считает Эко, задает не читатель, а сам текст. Текстов же в мире существует много, и каждый из нас волен выбирать то, что ему ближе, но никто не вправе навязывать никакому тексту недопустимую интерпретацию.

Не согласен Эко с Ваттимо и в том, что касается музейного значения христианства. По мнению писателя, христианство — живая и самобытная традиция, а не собрание артефактов европейской культуры. Даже в условиях безусловной современной плюралистичности нивелировать религиозные символы не следует. Носачев приводит афоризм из недавней статьи Эко: *Те, кто не верят в Бога, верят во все подряд.* «Смерть Бога», замечает писатель, сопровождается рождением тьмы новых идолов: ведь религиозность как

способ, позволяющий людям оправдать свое существование и примириться с его бренностью, никуда не делась и сегодня, с уменьшением влияния традиционных форм религии. Наше время, считает Эко, — это не эпоха скептицизма, как принято думать, а эпоха безумного легковерия.

В первом номере «ВФ» опубликована и статья американского мыслителя **Томаса Рокмора «Знание и философский диалог»**. Если заявленный в названии диалог превратится в монолог, пишет автор, это будет означать *конец философии*. А ведь именно к такой монологичности и стремятся те, кто придерживается «абсолютистской» позиции в области познания и ищет неоспоримого, вневременного и внепространственного философского знания, не подлежащего дальнейшему пересмотру. Очевидно, что подобной концепции может соответствовать лишь псевдодиалог, который по достижении истины должен завершиться и перейти в монолог. Подлинный же диалог как необходимая составляющая философии является, напротив, непрерывным и бесконечным в принципе, поскольку предполагает, что ни одна точка зрения не бывает полностью истинной и потребность в дальнейшем обсуждении остается всегда. И если мы принимаем тот взгляд, что знание — и не только философское, но и научное — не абсолютно и зависит от исторического момента, пишет Рокмор, то лучшее, что мы можем сделать, — это претворять в жизнь теории, которые по каким-то причинам предпочитаем, в ожидании их дальнейшего развития и обсуждения.

Как следует из статьи, Рокмор считает, что философия должна иметь прикладное значение — способствовать лучшей жизни человечества. Однако европейская философия начиная со своей древнегреческой колыбели всегда рассматривала себя как бескорыстный поиск истины, и переход к утилитарному пониманию философского знания всегда был связан с деградацией. Думается все же, что статья, написанная американцем, достаточно актуальна и для России: ведь авторитаризм, пока еще столь укорененный в нашем менталитете, нередко обнаруживает боязнь какого бы то ни было диалога, «*обсуждения ради обсуждения*», от которого «*никакого толку*», потому что «*надо делать дело*».

О том, как сегодня «работает» тоталитарное наследие, пишет **Валерий Сендеров («"Проект Россия" против русского европеизма»** — «ВФ», № 2). Он призывает различать два несовпадающих понятия: советское мировоззрение и коммунистическую идеологию: ведь если спасением коммунистической идеи сегодня никто особо не озабочен, то советскость обретает новую оболочку. По Сендерову, сущность советскости включает в себя: зацикленный изоляционизм, фанатичный этатизм и ненависть к любым формам индивидуальной свободы. Советскость неслыханно живуча, на наших глазах она эволюционировала от не слишком жизнеспособных интеллигентских выдумок вроде возрождения евразийства и мечтаний *третьеримства* и *неовизантизма* — ко вполне рационалистическим планам российско-советского будущего. Подобные модернизированные построения, пишет Сендеров, уже несколько лет циркулируют в сменяющихся изданиях с характерными названиями: «Крепость Россия», «Русская доктрина», «Проект Россия». Вся эта печатная продукция выходит регулярно, тиражом 10–15 тысяч экземпляров, и распространяется в том числе в Кремле, ФСБ и Генштабе.

Сендеров подробно анализирует один из недавних сборников серии «Проект Россия». Издание это подчеркнуто анонимное, пишет он, — и сделано это для того, в частности, чтобы показать: «*музыка и слова — народные*», то есть авторы — всего лишь выразители народных чаяний. Именно «*народу*» (а фактически, считает Сендеров, агрессивно-ксенофобской части среднего класса) подобные книги и адресованы. И именно этому «народу» внушается, что он — *подпольная, революционная национальная элита*. Каковы позитивные цели такой *элиты* в принципе, не ясно, но образ ее мысли всегда связан с образом врага, в качестве которого выступают три роковые силы — демократия, западничество, либерализм. Это трехглавое чудовище авторы сборника громят последовательно и всеобъемлюще, не смущаясь тем, что во враги нашего отечества попадают и поэтесса Сапфо (не тому учит женщин), и философ Хомяков (не теми святынями восхищается), и историк Карамзин (не те идеалы разделяет). Отмечает Сендеров и еще одну любопытную особенность книги. Еще совсем недавно образ советчины двоился: она была одновременно и духовно близкой, но в то же время *антихристовой властью*, запятнавшей себя преследованием веры. В «Проекте Россия», по наблюдению Сендерова, эта двойственность преодолена (впрочем, заметим в скобках, как и в жизни, где священник-сталинист становится вполне реальным персонажем действительности). Еще одна особенность сборника — попытка навести порядок в русской литературе. Дело в том, что именно русскую литературу анонимный автор «Проекта Россия» объявляет губительницей родной земли: ведь если верить писателям, Россией управляли сплошь идиоты и самодуры; классики вечно замечали только плохое, а о русских героях им писать было скучно. Кто же тогда, спрашивается, выигрывал войны и строил самую огромную на планете империю?!. Разжалование Льва Толстого в русофобы, призыв *расчистить от многовекового мусора нашу великую православную культуру* и все прочие нелепости книги, пишет Сендеров, отнюдь не смешны. По мнению автора статьи, подобные «Проекты» представляют опасность не только и не столько своей агрессивностью, — во многом все же направленной вовне. Гораздо хуже то, считает Сендеров, что самой России они грозят — *распылением в прах, выписыванием из человечества*.

Вот какими словами тот же Сендеров заканчивает свою статью о другом сборнике серии: *Я думаю о реальной осуществимости нарисованного. И вспоминается не худший период жизни СССР, в истории он остался с исчерпывающе-точным названием «застой». Енисей и ракеты. Замоскворецкое самодовольство. Впечатляющее жилищное строительство. Понимание: мы сильны, нас боятся. И растущее ощущение второсортности, неконкурентоспособности страны. Страха перед властью уже не было. Была въевшаяся и культивируемая привычка: разговаривая, тревожно косить глазом по сторонам. И — сверх всего, покрывая все — безнадежная тоска. Та небытийность, нетость личности, что в пыль уничтожает ее. А как следствие — валит и государства*[4].

[4] *Сендеров В.* Приглашение в тупик. — «Знамя», 2009, № 7.

Ирина КЛИМОВИЦКАЯ

ЖЕНСКОЕ, СЛИШКОМ ЖЕНСКОЕ. И НЕМНОГО НЕРВНО

Опыт о дамском романе

Я переводчик, и мое знакомство с дамским романом началось с того, что весьма уважаемое издательство не устояло перед соблазном попсы, хотя держалось довольно долго. Чтобы вполне естественный коммерческий интерес не уронил репутацию издательства, была сформулирована концепция: «Мы хотим издавать развлекательную серию, но для интеллектуального читателя. Точнее, читательницы. Этим принципом и следует руководствоваться при отборе книг для перевода».

Передо мной — стопка книг, которые нужно оценить через призму указанного принципа: потрафить интеллектуалке, пожелавшей развлечься. Мюриел Спарк однажды заметила о старшей из сестер Бронте: «Трудно быть влюбленной гувернанткой в мире, где большинство не гувернантки и не влюблены». Не легче, наверное, быть ищущей развлечений интеллектуалкой в мире, где большинство не интеллектуалки и знают, чем развлечься. И вот читаю роман за романом.

Свен Адамсон «Три моих мужа»

Безбашенной Венере Гилрой из Портленда — двадцать пять лет. Она обладает добрым сердцем, полной грудью и неполным средним образованием. Успела бросить школу, нескольких начальников и двух мужей, потому что доставали нестерпимо. Мать раздавлена разводом с отцом Венеры и уже двадцать лет пытается залечить эту травму разными экзотическими способами. Последняя ее надежда — клоунотерапия: она ходит с разрисованным лицом в цветастом комбинезоне. Венера готовится в третий раз выйти замуж — за Тремейна, фанатика экологического движения, а ее отец, известный архитектор, намерен зарегистрировать свой проверенный временем семейный союз. «Фишка» состоит в том, что союз этот — с другом, писателем-очеркистом, которого Венера зовет «папа номер два». Намечается двойная свадьба.

Папы предлагают отметить торжество на новом курорте, построенном по проекту отца Венеры в девственных лесах Айдахо. Когда обе пары прибыва-

Ирина КЛИМОВИЦКАЯ — родилась в г. Златоуст Челябинской обл. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работает переводчиком. В ее переводах вышли пять книг современных английских авторов. Рассказы публиковались в журнале «Звезда». Живет в Санкт-Петербурге и Штутгарте.

ют туда, начинается серия загадок. Жених Венеры исчезает, над отцовским шедевром нависает угроза взрыва. Подозрение падет на экологических террористов из группы Тремейна. Венера одна, как Красная шапочка, отправляется в кишащий опасностями лес на поиски любимого, одолевает буераки-реки-раки, находит общий язык с медведем гризли, но тут попадет в лапы одичавших местных жителей. Это они замышляют взрыв отеля и собираются убить Венеру вместе с Тремейном, захваченным в плен еще раньше: слишком много теперь эта парочка знает. Конечно, оба папы появляются вовремя и спасают. Правда, Тремейн решает остаться в лесу — там он нужнее. Венера же, пройдя испытание диким лесом и аборигенами, обретает уверенность в себе и нового поклонника — богача и аристократа князя Брунелли.

Зоя Барнс «Молодожены»

Пролог: первая брачная ночь. Эмма из Челтенхема не может заснуть от счастья. Сбылись ее мечты, она вышла замуж за Джо, лучшего в мире мужчину. Естественно, счастье молодых не долго остается безоблачным. Зоя Барнс с первых страниц сгущает тучи. Таких туч, собственно говоря, пять — свекровь, разлука с подругой Микки, друзья Джо, прежняя любовь Джо и нежелание Эммы отказываться от карьеры. Эмма — медсестра по профессии и призванию. Она работает в отделении скорой помощи. Поскольку все мы (похоже, и Зоя Барнс) смотрели одноименный американский сериал, то работу Эммы хорошо представляем.
Муж хочет превратить Эмму то ли в домашнюю хозяйку, то ли в домашнее животное. Она сопротивляется. Постепенно супруги отдаляются друг от друга.
Судьба сводит Эмму с фотографом Ричардом, который преподает на курсах фотографии, куда она записалась (с согласия изверга Джо, заметим). Для Ричарда главное — ее творческое развитие и независимость. Эмма уже на пороге измены мужу, но некая сила, — видимо, сила подлинной любви к Джо, — удерживает ее. Она решает порвать с Ричардом, но тогда он переходит к шантажу, угрожает «все» рассказать Джо (хотя и рассказывать особенно нечего). На помощь Эмме приходит ее подруга Микки вместе со своим приятелем двухметрового роста. Они в *резком тоне* беседуют с Ричардом. Тот на глазах из супермена превращается в сморчка и линяет из Челтенхема.
Все прочие тучи рассеиваются словно по волшебству, а также благодаря переезду четы в солнечную Австралию.
Эпилог: загорелая Эмма спускается с безоблачного австралийского неба. Она работает медсестрой на борту летающего госпиталя. Ее встречают преуспевающий Джордж, который сделал карьеру в сети австралийских супермаркетов, и маленький сын, который с пользой проводит время в австралийском детском саду, пока родители делают карьеру и наращивают свои личности (уже три года, как они перебрались в Австралию, чего и всем желают). Эмма сохранила свое призвание и спутника жизни.

Стефани Роуз «Неподобающее поведение»

Шаннон Маккормик — «паршивая овца» в семье потомственных бостонских юристов. Мать поучает, как жить. Шаннон, может, и поступила бы в

Гарвард учиться на юриста, как хотят родители, но не желает принимать от них деньги и потому работает «социальным менеджером» (среднее между профоргом и массовиком-затейником). Начальник — шеф старой закалки, «этих ваших феминизмов» не понимает, регулярно кричит на Шаннон. Лучшая подружка Эмма плевать хотела на принципы, живет за счет родителей, бренды и френды быстро сменяются на ней. Но Шаннон не ищет легких путей. Вдобавок она страдает из-за того, что рассталась с другом. Единственная отрада — охранник Вэн. Когда Шаннон обижают на работе, он ее утешает и отпаивает чаем. Шеф грубо увольняет Шаннон. Она в *резком тоне* отвечает ему, затем устраивает скандал на семейном обеде, чтобы расставить все точки над «и». Она поняла, что ее призвание — менеджер по организации развлекательных мероприятий. Под занавес Вэн объявляет Шаннон, что на самом деле он будущий юрист, а охранником работает, чтобы оплачивать учебу. Шаннон обретает свое призвание и спутника жизни.

Похоже, вырисовывается тенденция. Перед нами не случайное совпадение, а закономерность. Очевидное утверждение «Все это сказки для взрослых!» имеет строго формальное доказательство. Дамский роман — конструкция весьма жесткая, и его структура подобна структуре волшебной сказки в трактовке В. Я. Проппа.

Напомню, что волшебной, или семиперсонажной, сказкой В. Я. Пропп называет сказку, главный герой которой отправляется в дальний путь (за три моря, в тридевятое царство, туда — не знаю куда), чтобы решить сложную задачу. Основных персонажей — семь: герой, жертва (может совпадать с героем), вредитель, даритель, волшебный помощник, отправитель и ложный помощник. По аналогии с волшебной сказкой дамский роман можно назвать «семиперсонажным романом». В нем действуют: 1) **героиня;** 2) **подруга** героини; 3) **«бывший»** героини; 4) **«будущий»** героини; 5) **папа** героини; 6) **мама** героини; 7) **менеджер** героини. В сказке, как отмечают Леви-Стросс и его последователи, характеристика каждого персонажа исчерпывается тремя параметрами: пол, возраст, социальный статус. В семиперсонажном романе последний параметр в случае героини дополняется сексуальным статусом.

В. Я. Пропп выделил конечное число сказочных функций и их последовательность: **вредительство (похищение) — испытание — борьба с антагонистом — победа — избавление — награждение**. За каждым персонажем закреплена конкретная функция. Психологическая обрисовка характеров не предусмотрена, поведение персонажа определяется его функцией. Вредитель должен вредить, даритель — помогать и т. д.

Сюжет семиперсонажного романа легко укладывается в приведенную схему. Вредителем выступает, естественно, **«бывший»** (иногда он раздваивается, растраивается и т. д., но единство функции сохраняет): он вытаптывает посевы, плюет в душу героини и похищает у нее «волшебный предмет» — ощущение собственной сексуальной ценности. Героиня относится к одному из двух типов: дитя хаоса (патологическая неряха) либо дитя порядка (столь же патологическая чистюля). Вредитель обнуляет сексуальный ста-

тус героини, и, чтобы его восстановить, ей предстоит проделать нелегкий путь (иногда даже через лес). Она пытается решать проблему с помощью полумер: упорно борется с каким-нибудь дефектом внешности (обычно с лишним весом), но, как любая полумера, это, конечно, не помогает. На трудном пути героиню будет сопровождать волшебный помощник — **подруга**. Подруга — всегда воплощенная сексуальность (роковая брюнетка с черными, как ночь, глазами или неземная блондинка с глазами синими, как море; более редкий вариант — шатенка с глазами зелеными, как у кошки). Подруга в избытке наделена тем, чего не хватает героине, и пытается ей помочь (но своим великолепием порой усугубляет ее комплексы). **Мать** не может дать героине психологической поддержки либо из-за подавляющей авторитарности, либо из-за крайней эксцентричности. Эту функцию берет на себя **отец** героини (даритель), он подбрасывает ей различные талисманы силы в виде чека на круглую сумму или доброго слова. **Менеджер** выступает в качестве антагониста, и доведенная до отчаяния героиня, которой уже нечего терять, вступает с ним в бой. Одержав победу, героиня избавляется от заклятья злых чар — то бишь комплексов, находит профессиональное призвание или признание и получает заслуженную награду — своего **«будущего»**. Он возвращает ей утраченную сексуальность. «Бывший» у разбитого корыта кусает локти. В повествовании часто фигурируют разнообразные звери и зверушки (медведи, кошки, собаки, лошади, черепахи) — либо как агенты дарителя (прибавляют героине сил), либо как агенты антагониста (деморализуют героиню).

Посмотрим, как семиперсонажная схема реализуется в очередном романе.

Фиона Уокер «Правила счастья»

Главная героиня Джуно — тип номер один (патологическая грязнуля). Она журналистка — сочиняет «письма читателей» в журнал и ответы на них, но мечтает о карьере комической актрисы в жанре стэндап (выступления с собственными текстами в клубах). Недостаток внешности — по классическому варианту: излишний вес. Подруга Лидия — тип два (восхитительная блондинка с голубыми глазами). «Бывший» Джон — сущий вредитель и редкостный поросенок. «Будущий», фотограф Джей, — воплощение мужского сексапила («ничего прекраснее в жизни не видела») плюс загадочность. Менеджер — заведующий редакцией, влюблен в бездельницу Лидию, а Джуно для него — рабочая лошадь и коза отпущения одновременно. Отец Джуно — музыкант и мудрец, подлинный даритель. Мать — эксцентричная, но славная, национальный гуру кулинарии (автор книг и телепередач). Запустив в шефа *Вешалкой для шляп*, Джуно вырывается на свободу, затем добивается успеха как стэндап-комик и соединяется с Джеем. Джуно обретает свое призвание и спутника жизни. Животные добрые — черепаха, попугай, пара собак. Черепаха даже помогает влюбленным.

Не менее показателен роман **Кары Локвуд «Я хочу, но я боюсь»**.

Главная героиня — Лорен Крэнделл, двадцать девять лет, тип номер два — патологическая аккуратистка («С этим миром хоть как-то можно примириться, только если в шкафу порядок»). Профессия — «организатор сва-

дебных церемоний» в агентстве «Вечная свадьба». Полгода назад она развелась со своим мужем, который никогда ни одной квитанции не оплатил, но зато кожаных пиджаков, не говоря о прочих, накупил полдюжины. Как следствие этого брака — ощущение: «моя участь — спать только с такими мужчинами, которые 1) являются полными ничтожествами, 2) любят тратить мои деньги, 3) спят за моей спиной с другими женщинами». Мать у Лорен — властная личность, которая в свое время заразила ее манией аккуратности и поныне достает на предмет «как надо приличной девушке поступать». Отец, немногословный и вполне платежеспособный, прекрасно справляется с ролью дарителя. Подруга — роковая брюнетка по имени Диана, с пеленок не знает отбоя от поклонников и энергично пытается вытащить Лорен из депрессии. Она даже рекомендует ей нового парикмахера, поскольку героиня — большая оригиналка и борется не с излишним весом, а с излишней кудрявостью. А тем временем судьба в лице менеджера (хозяйки агентства «Вечная свадьба») готовит Лорен испытания. Их будет три — да, да! — как и полагается в сказке. Первое испытание Лорен не выдерживает. Свадьба, которую она организует, сопровождается ЧП. Парашют жениха, который непременно хотел спуститься к невесте с небес, запутался в деревьях. Вот тут-то и появляется «будущий», Ник Корона, спасатель в буквальном смысле слова: он сотрудник службы 911 и при этом красив как бог («Ничего прекраснее я в своей жизни не видела», — признается героиня, как и полагается в семиперсонажном романе). Второе испытание — и опять прокол. На этот раз свадьба сопровождается скандалом: на церемонию прокралась бывшая подружка жениха в наряде точь-в-точь как у невесты. С невестой обморок, и опять служба 911, и опять Ник Корона спасает — на этот раз слабонервную невесту. Лорен ожидает увольнения, но вместо этого хозяйка агентства предлагает ей третье испытание: предстоящая свадьба богачки Дарлы, которую провалить никак нельзя. Чтобы подчиненной жизнь медом не казалась, шефиня на время отбывает, оставив на попечение Лорен своего представителя — кошку Вискер, сущее исчадие ада. Кроме того, выясняется, что жених Дарлы — брат Ника Короны. Кроме того, выясняется, что у хищницы Дарлы роман — и с кем? Правильно, с братом собственного жениха, Ником Короной. Поняв, что терять ей нечего, Лорен вступает в бой с нечистой силой. Она в РЕЗКОМ ТОНЕ объясняется с Дарлой, а потом, — правда, менее резко, — с шефиней. Победив одним оружием и антагониста, и его агента, Лорен обретает независимость и спутника жизни, Ника Корону, с вытекающими последствиями.

По той же модели строится и знаменитый благодаря экранизации «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг. Зоя Барнс в «Молодоженах» (см. выше) подвергает эту модель ряду трансформаций, но остается в ее рамках: собственных папу и маму героини заменяют (с сохранением функций) свекровь и свекор, поскольку после замужества женщина переходит в семью мужа, традиционно злой менеджер является добрым, но функцию антагониста берет на себя «ложный помощник» оборотень Ричард. В роли «будущего» выступает преображенный, внутренне обновленный «бывший».

Мы сталкиваемся с тем же феноменом, который отметил В. Я. Пропп в отношении волшебной сказки: фактически существует одна-единственная сказка, рассказываемая с некоторыми вариациями. Точно так же существует один-единственный дамский роман. И это не дефект, а неотъемлемое свойство явления. Причем в дамском романе «семиперсонажная» схема реализуется даже более последовательно, чем в сказке.

И все же, что такое «дамский роман» и чем он отличается от женской прозы? Это роман, написанный дамой, о даме или для дамы? Можно установить такое различие: дамский (женский) роман сделан кем угодно, но о женщине и для женщин, а женская проза сделана женщиной, но о чем угодно и для кого угодно. Дамский роман с его семиперсонажной формулой — сугубо женский товар, он напоминает те самые прокладки, которые, по уверениям рекламы, «разработаны женщинами-гинекологами», но изготавливаться-то с успехом могут и мужчинами. Следуя приведенной выше рецептуре, мужчина может написать средний дамский роман, обладая чувством юмора — хороший дамский роман. Не зря циркулируют слухи, что за женскими именами на конфетных обложках порой прячутся авторы-мужчины. Причина не в мужской застенчивости, а в том, что законы жанра требуют, чтобы на обложке книги стояло женское имя.

Писать — это возможность снять ограничения пола, времени и пространства, дополнить себя до целого, в том числе — дополнить мужское женским, женское мужским. Это возможность сравняться с ангелами, которые сочетают в себе женщину и мужчину, — так, по крайней мере, свидетельствует Сведенборг, а уж он-то их перевидал во множестве! (Наверное, по этой причине ангелы не испытывают потребности сочинять романы.) Писать — это возможность то ли спуститься поглубже, то ли подняться повыше, туда, где несть ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины, ни токаря, ни домохозяйки.

«Пол имеет смысл в контексте анатомии и психологии, но отсутствует в экзистенциальной реальности человека», — считает С. С. Аверинцев. Пишущий стремится именно к этой, бесполой, реальности. Литература беспола. Кстати, сестер Бронте публика узнала как братьев Белл, и ни простодушные читатели, ни искушенные издатели не заподозрили неладного. Успех литературных мистификаций лишний раз доказывает, что все границы могут быть разрушены на письме.

Итак, благодаря волшебной природе литературы мужчина в состоянии написать дамский роман. Только вот читать дамские романы мужчины отказываются, как явствует из опросов и наблюдений. Именно в этом проявляется специфический, слишком женский, характер этого товара, который ставит его в один ряд с предметами женской гигиены, — мужчинам ни к чему (детективами увлекаются без различия полов).

Интересно выяснить, к чему он женщинам. Ответ очевиден — для развлечения. Однако развлечение развлечению рознь. Развлечение — необходимая «передышка в битве жизни» (Д. Пеннак о чтении). В принципе, развлечения бывают двух типов: развлечение-как-учение и развлечение-как-лечение (все популярнее становятся развлечения, после которых требуется

лечение, но это другой разговор). Педагогические развлечения готовят к жизни, развивая необходимые для нее навыки (потешка «Сорока-белобока» развивает моторику пальцев и речь), терапевтические развлечения готовят к жизни, врачуя наносимые ею травмы (потешка «Идет коза рогатая», «урабатывая» эмоцию страха, вызывает бурный всплеск положительных эмоций). Естественно предположить, что дамский роман сегодня выполняет ту же функцию, которую некогда выполняла волшебная сказка. А волшебная сказка относится к развлечениям второй категории, терапевтическим. Она сродни «козе-дерезе», а не «сороке-белобоке». Сказка определенным образом структурировала сознание слушателя, адаптировала его к социуму, снимая невыносимые противоречия: между жизнью и смертью, богатством и бедностью, высоким и низким, созидательным и разрушительным. Это символическое (при помощи молодильного яблока, Сивки-бурки, Марьи-искусницы, Серого волка) разрешение противоречия в процессе повествования называется медиацией.

Какое же противоречие опосредуется дамским романом? В XX веке перед женщиной встала новая проблема: найти не только «его», но и «себя», добиться успеха «в труде и личной жизни», совместить свой сексуальный статус с социально-профессиональным, что ранее было неактуально. Именно на этот «вызов времени» и откликается семиперсонажный роман, причем делает это в унисон с размышлениями философов и социологов. На исходе XX века Э. Мольтманн-Вендель писала: «Сегодня цель женских поисков двойная, они ищут себя самих, свою целостную личность и стремятся к самостоятельности и самоопределению. Но для этого у них нет никаких моделей. Они понимают, что они — дочери своих матерей, а ведь у самих матерей нет своей независимой концепции жизни». Вот и выходит, что неслучайно во всех семиперсонажных романах мать не может дать дочери необходимой поддержки, эта особенность сюжета диагностирует общество.

Еще в XIX веке такой специфически женской проблемы не существовало: содержанием жизни крестьянки и работницы был труд, а содержанием жизни буржуазки и аристократки — любовь, и в рамках одной женской судьбы эти две темы не пересекались. Что касается любви, то в 1886 году знаток темы Мопассан пишет очерк «Любовь в книгах и в жизни», где подводит итоги века. Он отмечает, что в разное время «среди буржуазии и в светском обществе любили по рецепту Руссо, по рецепту Ламартина, по рецептам Дюма, Мюссе и т. д.». Но после Дюма-сына ни один писатель уже не оказал влияния на манеру любить — ни Эдмон Гонкур, ни Золя, ни Доде. Они низвели любовь на уровень патологического явления или вспышки инстинкта. Во всем виноваты новые веяния: склонность к анализу и дух научных изысканий. Мопассан с грустью констатирует: «можно с уверенностью сказать, что в молодом французском обществе любви больше не существует», поскольку она исчезла из литературы.

Такая зависимость между литературой и жизнью, безусловно, существует: литература поставляет людям образцы, как чувствовать, действовать, говорить. Культурные модели чувствования трансформируются в личные переживания и индивидуальное поведение. Однако нельзя же, обольщаясь письменной формой дамского романа, забывать о его подлинных корнях.

Дамский роман восходит к дописьменной словесности: к волшебной сказке и мифу. А они решают проблему не реально, а **символически,** с помощью молодильного яблока. (Как отмечал Е. Мелетинский, функция мифа — не познание, а поддержание гармонии.) Точно так поступает и дамский роман, в котором героиня с помощью вешалки для шляп обретает искомое: призвание и любимого, социальную и сексуальную реализацию.

Потребность в медиации конфликта сегодня так же насущна, как и в стародавние времена волшебной сказки и мифа. Это подтверждается неуклонно растущей популярностью кататимно-имагинативной психотерапии или, проще говоря, символдрамы — направления глубинной психологии, которое имеет много общего со «сказочной» практикой. Во время сеанса символдрамы пациент создает свою версию сказочного мотива, эмоционально переживает ее и символически перерабатывает внутренний конфликт. Например, универсальный мотив «опушка леса» позволяет пациенту встретиться с существами (чудовища, дикие звери, гномы, великаны), которые населяют лес, т. е. бессознательное, и воплощают личные страхи и проблемы, т. е. Тень по Юнгу. (Как тут не вспомнить лесное путешествие Венеры Гилрой!) Основатель символдрамы Х. Лёйнер рекомендует пациенту выразить свое приятие Тени с помощью кормления воображаемого существа, его перекармливания, нежного объятия и примирения. И ведь помогает!

Аналогия между описанной процедурой и шумерским мифом о Гильгамеше и Хуваве в максимально точном переводе В. Афанасьевой столь разительна, что хочется назвать его первым руководством по символдраме. Верховный жрец Гильгамеш понял, что его религия умерла и традиционный ритуал утратил силу (древнейшее описание периодически повторяющейся социокультурной ситуации, в том числе современной). Ритуал обеспечивает земную власть Гильгамеша, но не связь с метафизической реальностью, а без переживания этой связи человек не чувствует себя вполне живым и теряет веру в бессмертие. «Гадание на кирпиче не сулит жизни, — с горечью признает Гильгамеш. — Люди уходят — сердце сжимается. Разве не так уйду и я?» Он берет на себя задачу личного поиска истины. Гильгамеш предлагает свой способ «воспроизводства жизненности» (по слову М. Мамардашвили) — через индивидуальный опыт восстановления целостности личности. Он отправляется на встречу с собственной Тенью:

Он шестидесяти шагов не сделал —
Перед ним Хувава средь кедрового леса.

Но далее Гильгамеш ведет себя неправильно: позволяет своему спутнику, звероподобному Энкиду (персонификация агрессии), убить Хуваву. За это он получает нарекание от бога Энлиля и богини Нинлиль:

Зачем вы совершили это?
Перед вами пусть бы сел он!
Вашего хлеба пусть бы поел он!
Воды вашей чистой пусть бы попил он!

Мы видим, что боги полностью солидарны с профессором Лёйнером в своих рекомендациях касательно правильного поведения по отношению к Тени.

Существует категория текстов, в которых язык используется особым образом. Это хорошо видно на примере формул релаксации типа: «Руки становятся теплыми. Рукам тепло. Приятная тяжесть в руках». Д. Л. Спивак вводит понятия матричного текста (молитва, формула аутотренинга, мантра), а также изучающей их лингвистики измененных состояний сознания. Матричный текст так назван потому, что структурно подобен матрице: его фрагменты можно представить как совокупность строчек и столбцов. Элементы одного столбца говорят об одном и том же, но по-разному. Приведенная выше формула — простейшая одностолбцовая матрица.

Классическая знаковая ситуация (автор — адресат, между ними — знак с его планом выражения и планом содержания) в лингвистике измененных состояний сознания также претерпевает изменение. Планом содержания знака становится не передаваемая информация, а психофизиологическое состояние адресата, т. е. план содержания неотделим от телесной конкретности воспринимающего. В лингвистике измененных состояний сознания назначение текста — не донести адресату определенную *информацию*, а привести его в *определенное состояние*. Такого рода тексты можно назвать «психосоматическими». Лишь в той мере, в какой эта задача решена, можно говорить об успехе коммуникации. Ошибка — что-то «извлекать» из такого текста, оставаясь вне его, и предаваться анализу: чьим же рукам стало тепло, когда и почему. Твоим, здесь и сейчас! С «психосоматическим» текстом нужно отождествляться. Его следует читать телом. На интерпретацию накладывается табу. В этой связи вспоминается рассказ Ф. Кафки «В исправительной колонии»: осужденный узнает приговор собственным телом. Специальная борона, пронзая его тело, записывает на нем ту заповедь, которую он нарушил. «Психосоматический» текст — такая борона. Он дает психоэмоциональную, а подчас и физиологическую настройку, либо не дает ничего, и тогда приходится говорить о крахе коммуникации.

Генетически связанные с мистерией миф и волшебная сказка также функционировали как «психосоматические» тексты. (Кстати, матричность «Гильгамеша и Хувавы» просматривается даже в переводе, а если учесть, что эпос не глазами пробегали, а исполняли под музыку, то станет ясно: этот трактат является «психосоматическим» текстом.) Для того, чтобы настроить участников мистерии на нужный лад, использовался особый прием. Всем известно, что участники Элевсинских мистерий давали клятву, нарушение которой каралось смертной казнью: не рассказывать о том, что видели и слышали. Запрет в высшей степени странный, если рассматривать его с точки зрения сохранения тайны: ведь принять участие в мистерии мог (и даже должен был!) каждый, при выполнении ряда требований (в частности, перед Большими мистериями пройти Малые). Страбон утверждает, что храм в Элевсине вмещал двадцать, а то и тридцать тысяч человек! Парадоксальная ситуация: все должны приобщиться к тайне, но при этом дать подписку о ее неразглашении. В чем же смысл этого бессмысленного, казалось бы, запрета? В том, думается, чтобы включить правильный механизм восприятия, сформировать интенсивную установку на переживание и отождествление, устранить попытки интерпретации, а также предотвратить возможность косвенного ознакомления с содержанием мистерий через

подобные попытки, а не через участие. Цель такого запрета — успешность процесса коммуникации, а не сохранение тайны.

Тексты, создаваемые сегодня в рамках «массовой культуры», близки к категории психосоматических. Дамский роман, детектив, фэнтэзи — они все построены на сказочных схемах. Свято место пусто не бывает, и место сакрального занято профанным. Мистерии наследует не высокая литература, а попса. Мистерия нашей жизни разыгрывается на подмостках масслита. Это только на первый взгляд странно, а на самом деле закономерно, потому что в основе мистерии, мифа и сказки, а также масслита — один и тот же механизм воздействия и восприятия, который требует отождествления, литература же растет из другого корня и сопряжена с интерпретацией. Грубо упрощая, можно сказать, что масслит обращен к правому полушарию (оно, как известно, отвечает за образы и переживание), а литература — к левому (оно отвечает за логику и анализ). Задача сказки и масслита — в процессе нарратива внутренние напряжения реципиента снимать, а разрядка напряжения всегда сопровождается удовольствием. Задача же литературы — напряжение повышать, поэтому литература никак не может соперничать в популярности с масслитом.

Читатели серьезной литературы предъявляют к масслиту множество претензий. В статье Сергея Сиротина «Картина мира по Донцовой»)* приводится исчерпывающий перечень типичных обвинений: шаблонность — все романы строятся по одной схеме, отсутствие психологизма — поступки не объясняются, герои не переживают внутренних превращений. Обвинения справедливые, только обращены, пожалуй, не по адресу. Это все равно, что обвинять в схематизме и шаблонности сказку и требовать психологического портрета Бабы Яги. Чтобы понять непростой характер этой героини, мы должны знать, какие детские впечатления привели к психической акцентуации личности, каковы причины ее тотальной озлобленности и мотивы, побуждающие упорно гадить Иванушке. Ну, и хотелось бы, конечно, развития этого характера, желательно, со сценой покаяния в финале, что-нибудь в духе «Преступления и наказания».

Кроме того, С. Сиротин недоволен тем, что герой (героиня) Донцовой умом, мягко говоря, не блещет и преступление раскрывает не благодаря своей сообразительности, а благодаря улике (читай — волшебному предмету), которая в нужный момент чудом попадает в руки. Однако не является ли эта недоработка автора, по сути, «работой с архетипами»? Сказка ведь тоже выбирает своим героем не лучшего, а худшего — дурака, и он тоже достигает цели отнюдь не благодаря своим достоинствам. В 20-е годы XX века в статье «"Иное царство" и его искатели в русской народной сказке» Е. Трубецкой писал: «В сказке волшебной дурака выручают из трудных положений то вещие люди, то вещие животные, то волшебные предметы», — и там же с горечью, подобно С. Сиротину, отмечал: «Превознесение дурака над богатырем, замена личного подвига надеждой на чудесную помощь, вообще слабость волевого героического элемента — таковы черты, которые болезненно поражают в русской сказке». Но сказка о дура-

* «Континент» 2008, № 137.

ке — явление интернациональное, и она опосредует универсальные оппозиции интуиция — рассудок, мудрость — ученость, бесхитростность — расчет, высшая воля — личная воля (ср. Лао-Цзы: «Умные не учены, ученые не умны»; «В Поднебесной самые слабые побеждают самых сильных»; «Великая полнота похожа на пустоту, великое остроумие похоже на глупость»).

И наконец, главное обвинение С. Сиротина в адрес Донцовой: грубая материальность идеала. Все ее персонажи хотят богатства, наследства и квартиры с меблировкой в придачу. Книги Донцовой — это «плаха, на которой казнен дух». Но и этот грубый идеал — родом из сказки. Е. Трубецкой писал, что от бедности и скудности жизни происходит искание иного царства с его неизреченным, волшебным богатством. Во многих сказках фигурирует «мечта о богатстве, которое само собою валится в рот человеку без всяких с его стороны усилий», и часто это богатство неотличимо от материального рая, от «идеала сытого довольства». Искомое иное царство мыслится как страна «с молочными реками и кисельными берегами», где «много всяких напитков и наедков». Другое дело, что в сказке же дается намек на иллюзорность подобного идеала: «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». Кстати, сегодня исконная мечта попасть в «иное царство» — сиречь в рай — приобрела новую разновидность: «попасть в телевизор», в «Поле чудес», в «Дом-2», в «Ты смешной», куда угодно. Синдром фрекен Бок — современный аналог искания царства «иншего». Потусторонняя реальность голубого экрана — «место злачне, место покойне», где нет ни скорбей, ни слез, общедоступная форма инобытия и бессмертия. И возвращаясь к Донцовой. Не потому ли так неистребима и многотиражна она, что свои недостатки делит с недостатками неистребимого и вечного жанра сказки?

Казалось бы, в двух стратегиях восприятия — отождествление и интерпретация, как в двух соснах, мудрено заблудиться. Однако неправильное чтение — не такая уж редкость. Оно, конечно, не карается смертной казнью, но может привести к весьма неприятным последствиям. Вспомним Дон-Кихота. В принципе, настороженное отношение к письменному слову изначально свойственно античной культуре, к которой восходит культура европейская. Платон сомневался в пользе, которую могут принести человеку письмена. Об этом он пишет в диалогах «Федр» и «Протагор». «В души людей они вселят забывчивость, так как лишена будет упражнения память. Припоминать станут извне, доверяясь письму, а не изнутри, сами собою». Другая опасность, связанная с книгой, — отсутствие контакта между учителем и учеником: «Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде — и у людей понимающих, и, равным образом, у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем должно говорить, а с кем нет». Вполне отчетливо в то время осознавалось противопоставление «мудреца» и «ученого». Мудрец проводит жизнь в живом общении с людьми, с природой, с собой. Ученый — интеллектуал, который заперся в кабинете-мыслильне. Аристофан в «Облаках» рисует портрет такого чудака: неопрятен, бледен, тощ, страшится свежего воздуха — очень похоже на Дон-Кихота и современного компьютеромана. Все они променяли живую реальность на виртуальную. Сократ — образец мудреца, его ученик Платон еще сохраняет многие черты мудреца, но ученик Платона Аристотель — это первый

великий ученый, и Платон дает ему слегка насмешливое прозвище «читатель». Устное слово — плотяное слово («слово было плотью»), оно неотделимо от голоса и тела говорящего, от его присутствия в мире, от ситуации говорения. Письменное слово — бесплотное слово, оторванное от своего родителя. А слово психосоматическое стремится вновь стать плотью — плотью воспринимающего его.

Платон первым почувствовал опасность, которой чреват отрыв слова от ситуации общения и как следствие — несанкционированный доступ к виртуальной реальности. Гениальность его интуиции тем более поразительна, что эта опасность долгое время пребывала в форме зародыша — пока книга оставалась рукописным раритетом, доступным узкому кругу лиц. Даже в Средние века с распространением библиотек библиотеки были сосредоточены в монастырях, книги цепями прикованы к полкам, а рядом с учеником стоял учитель и служил проводником в виртуальный мир.

Ситуация в корне меняется в середине XV века. Только за первые пятьдесят лет книгопечатания, считая с появления 42-строчной Библии Гуттенберга в 1455 году, человечество получило книг больше, чем за сотни лет предыдущей истории! В XVI веке книга срывается с цепи. Европа переживает информационную революцию, которую можно сравнить только с современной тотальной компьютеризацией. Виртуальная реальность впервые входит в каждый дом не в XX, а в XVI веке, и человек оказывается наедине с ней — без учителя, без проводника, без наставника. Та опасность, о которой предупреждал Платон, становится повседневной. Не на нее ли реагирует Сервантес, создавая в 1603 году образ Дон-Кихота? Если Платон сформулировал проблему, то Сервантес ее развил. Обращение человека с виртуальными мирами требует соблюдения правил и техники безопасности. Поучительна и судьба героини пушкинской «Метели»: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена». Требуется вмешательство природной стихии, чтобы разрушить морок, внушенный виртуальной силой. Сегодня проблема взаимодействия с виртуальностью стоит как никогда остро, и не только в связи с компьютером, но и в связи со старой доброй книгой. У читателя сегодня есть один проводник — издатель, он подает сигналы, которые нужно улавливать. Ориентироваться лучше не на аннотацию, а на цвет обложки, так будет вернее. Специфическая окраска в книжном мире играет ту же роль, что и в животном, она служит предупреждением. Леденцово-яркая обложка должна активизировать у читателя определенные железы, включить адекватный механизм восприятия и активизировать правое полушарие.

Итак, «современному читателю нужно чаще менять способ чтения, ведь современный читатель способ чтения не меняет никогда», советует М. Павич. Читатель, привыкший к литературе, с ее мерками подходит к масслиту, а привыкший к масслиту — с его мерками подходит к литературе (и оба отходят не солоно хлебавши). Противоречие между эмоциональным и рациональным, отождествлением и интерпретацией может быть преодолено только благодаря пониманию, золотому срединному пути.

Как же быть взыскательной интеллектуалке? В конце концов, «во избежание краха коммуникации» главное — не путать дамский роман с лите-

ратурой, читать его правым полушарием, не требовать психологизма от Бабы Яги и не извлекать из текста моделей поведения. А то рискуешь уподобиться человеку, который спит с лягушкой в надежде, что она превратится в царевну, или гоняется за зайцами, вспарывая им животы в поисках утки с яйцом. В этом случае от принятого на ночь романа вместо пользы получится один вред, вместо разрядки напряжения — новый напряг.

В заключение приведу несколько живых примеров. Недавно натолкнулась в интернете на искренние жалобы молодой женщины (аспирантки, между прочим): почему в ее жизни нет такой бескорыстной дружбы, как между персонажами прочитанного дамского романа? Или вот (все цитаты взяты из интернета): «Раньше я романы воспринимала с точки зрения поиска мужского идеала. В этом плане они хорошо портили мне жизнь. Сейчас я уже больше внимания обращаю на сюжет. Старею, что ли». Здесь наблюдается определенный прогресс в сторону правильного чтения, — а то ведь можно остаться в дурах, ожидая, пока Иван-дурак превратится в Ивана-царевича. А вот пример правильного восприятия: «У меня был кратковременный заплыв по женским романам. Хорошая прочистка мозгов на предмет отрезвления от быта. Заодно родилась мыслишка: черт, а может, снова стать роковой женщиной?» Под прочисткой мозгов здесь явно имеется в виду их настройка на оптимизм. Значит, одной пациенткой у психотерапевта будет меньше.

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВПЛОТНУЮ ПОДСТУПИЛА...»

Породистый, интеллигентный с ясным беспримесно голубым взглядом поверх вещей и голов, он не очень вписывался в поэтическую плеяду. Имею в виду не французскую плеяду былых времен, — в той, может быть, и нашлась бы для него достойная ниша, — а молодую послевоенную поэзию, взорвавшую советский стихотворный ширпотреб на склоне пятидесятых.

Всякая плеяда, что небесная, что земная, изначально предполагает семь составляющих. Поэтов-фронтовиков, оставивших неизгладимый след в нашей литературе, было значительно больше. Давно сложился в литературоведении канон предпочтительных имен и фамилий, но идти след в след за «записными» критиками мне не хочется. А что если смешать колоду и выбирать наугад — кто выпадет...

Евгений Винокуров! Недооцененный, по моему мнению, поэт. Незабываемы его строки:

Когда дергаешь ты за кольцо запасное
И не раскрывается парашют,
А там, под тобою, безбрежье лесное —
И ясно уже, что тебя не спасут <...>
И некуда пятиться, некогда спятить,
И выход один только, самый простой:
Стать в жизни впервые спокойным и падать
В обнимку с всемирною пустотой.

В начале 60-х я читала его только что вышедшую книгу в командировке, на Ставропольщине, в автобусе, который подпрыгивал на отечественных ухабах. Снаружи пекло солнце, внутри плакали дети. Но винокуровские стихи, и бытовые и философские, все это выдержали и запали в память, и угнездились в ней до сего дня...

Кто следующий? Семен Гудзенко. В 54-м был в ЦДЛ вечер его памяти: умер безвременно, как и предсказал себе, «от старых ран». Сильные, без-

Тамара ЖИРМУНСКАЯ — родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор десяти сборников стихов и прозы, книги бесед «Ум ищет Божества» (о Библии и русской поэзии за три века). Член Русского ПЕН-центра и редколлегии журнала «Истина и Жизнь». Лауреат литературной премии «Венец» (2002). Постоянный автор «Континента». Живет в Мюнхене.

жалостные у него стихи — так о войне тогда не писали. Они дали мне, 18-летней, впервые прочувствовать не пережитое по малолетству:

Когда на смерть идут — поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою
Час ожидания атаки.

А концовка стихотворения? Так бьют наотмашь:

Бой был короткий.
А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую...

Николай Панченко. Русоволосый красавец. Похожий на князя Игоря, не оперного, а настоящего, из «Слова о полку Игореве». По последним разысканиям, хрестоматийный воин и поэтом был великим: авторство «Слова» теперь чуть ли не приписывается ему, князю Игорю. Но я — о Николае Васильевиче. На весь Политехнический гремел его баритон:

Я с войны не принес ни шиша.
Даже шубу в Смаковниках продал,
Даже Шурку с полковником пропил:
Сто веснушек за стопку ерша...

Премию «За гражданское мужество писателя» имени Андрея Сахарова получил посмертно...

И наконец, он, Александр Петрович Межиров...

Ей-богу, речь не о том, кто первый, кто второй, — совершенно не об этом. Каждый из названных — первый. Но для меня, два последних месяца живущей в межировской ауре, он — первее.

Поэт — это не только стихи. Это образ жизни, это то, что втекает в нее (вспомним задачник по арифметике!) и, пройдя не одну метаморфозу, а по-русски преображение, вытекает поэзией... Вот почти анкетные данные: москвич, родился в семье адвоката. Мальчиком ушел на фронт. Воевал на одном из самых гибельных направлений: Ленинградском. Был тяжело ранен, но вернулся живым. Доучивался в Литинституте, в котором потом, годы спустя, вел семинар, стараясь из самородков сделать творцов. Написал не одну сотню стихов, выпустил не один десяток книг. Лауреат Госпремии. Среди многих поэтов послевоенных поколений завоевал славу авторитета. Заслуженную. «Юности моей кумир», — высказалась за всех нас Татьяна Бек.

Потом... Я бы не упоминала об этом. Но то, что теперь называют ДТП, сыграло роковую роль в его судьбе. Сидя за рулем машины, сбил прохожего. Потрясенный этим, растерянный (это моя версия), уехал с места происшествия. Его вычислили. Пострадавший умер в больнице. Виновным Межиров не был признан. Казнил себя сам (тоже моя версия).

Уезжает в Америку его единственная, горячо любимая внучка Анна. За ней Зоя, ее мать, талантливая поэтесса.

Мир ловил меня и долго, долго
Все никак не мог поймать меня,
И поймал меня на чувстве долга
И любви к тебе, моя родня...

— это опережающее события слово А. М. для защиты... Набирает обороты перестройка. В Грузии и Армении гибнут безвинные люди. Идет реакция распада. Рушится то, что он созидал, за что проливал кровь. Не всем дано мимикрировать. Межиров оказался не гибким. А скорее всего ясным своим взором видел обе стороны медали: демократия в такой неподъемной стране, как Россия, может обернуться новым гнетом. Говорю так потому, что спорила с ним, умнейшим, старшим по возрасту, с богатым опытом, который мне и не снился, пыталась доказать, что крутого обновления без жертв не бывает. Но подробнее об этом — на своем месте...

На чужбину его вытолкнули прихотливые, чтобы не сказать трагические, обстоятельства жизни. О том, как ему там жилось, лучше всего сказала та же Татьяна Бек в одной из последних своих вещей: «Русский пасынок Нью-Йорка»... Рискну привести тут одно его стихотворение не то чтобы в укор всем нам, уехавшим из вздыбленной и разворованной России, а как пример межировского объемного мышления, которое не с этими и не с теми. А с кем же в таком случае? С Господом Богом? Только недавно узнала: за штудирование и обильное цитирование Библии в безбожные времена Межирова собирались исключить из Союза писателей! Спасла баллада о коммунистах. Оказавшаяся, как выяснилось в девяностые годы, палкой о двух концах.

Итак, стихи:

Ах, этот старый анекдот
Опять сегодня в моду входит:
Ни этот глобус и ни тот
Репатрианту не подходит.
Ах, если б этот лайнер вниз,
Пылающий в палящем зное,
Сквозь глобус,
Безо всяких виз,
Рванулся в бытие иное.
Ах, как сочится кровь из ран
Души истерзанной и плоти,
Как хорошо лететь в Израиль
На неисправном самолете.

Кому могли понравиться такие откровения? Отъезжающим? Ни в коем разе! К счастью, рядовые представители последней волны эмиграции, за редким исключением, поэзией не интересуются. Имя автора, может быть, и слышали, но что он там написал по занимающему их вопросу, не знают и знать не хотят. Увы, за одно чтение вслух этих стихов в нашей тихой местности можно схлопотать звонкое, как пощечина: «Антисемит!» Еврей-антисемит?!. «И такое бывает!» — не смущается третейский судья. Но я не уступаю: «Да он был вне этого! Выше этого! Он родился в семье интерна-

ционалистов! Он чтил Книгу книг, где ни эллина, ни иудея! — хватаюсь я от волнения за любые доводы. — Кто он был по национальности? Поэт! Русский поэт — вот кто!» Однако третейского судью не поколеблешь: «Тогда его вышеприведенные стихи должны порадовать остающихся. И золотой фонд коренной нации. Таки нет! Тоже нет! Давайте вспомним слова именитого представителя другого литературного лагеря: "Если еврей уезжает — он мне друг, если остается — враг". "Не хочется быть другом N, но придется!" — откликнулся на это некий весельчак, пакуя чемодан».

Ах, как сочится кровь из ран
Души истерзанной и плоти...

— печально вступает в наш диалог Александр Петрович... Не исключаю, что желание «рвануться в бытие иное» преследовало его всю жизнь. Была на нем эта печать, или, если угодно, клеймо *инакости*. И мы, начинающие стихотворцы ранних шестидесятых, со свойственным молодости инстинктом *не быть, как все,* очень это чувствовали...

...Я познакомилась с Александром Межировым во времена, не столь уж отдаленные, но отодвинутые событиями новейшей истории на позицию почти мифических. Можно сколько угодно издеваться над наивностью «шестидесятников», пинать наших лидеров, списывать нас оптом и в розницу как библиотечный хлам, — борозда, проведенная в сознании современников поколением Евгения Евтушенко (не все мои коллеги-ровесники согласятся с этим определением!), не желает оставаться просто линией. Поэтическая эстрада, уже тогда презираемая теми, кого не пригласили выступить, давала редкий шанс: написанное вчера донести до слушателей сегодня. Цензуры не было, контроль был ослаблен. Касалось это, правда, довольно ограниченной группы авторов, но она-то и задавала тон. В основном то были дебютанты журнала «Юность» и еще нескольких либеральных изданий.

Хочу помянуть добрым словом Всесоюзное бюро пропаганды художественной литературы. Работали в нем в основном дамы, жены писателей. Однако дирижировал их трио плотный, ладно скроенный и крепко сшитый мужчина: Дмитрий Ефимович Ляшкевич. В небольшой комнате, где стояли три письменных стола, с утра толкался народ. Культурагенты из учреждений и предприятий Москвы и области заказывали желаемых авторов, заполняли денежные и другие бумаги, тут же оформлялись путевки. На модные имена был повышенный спрос. Если заказчики не очень настаивали на своем, не соглашались ждать Булата Окуджаву или Андрея Вознесенского до второго пришествия, весьма просвещенные дамы-посредники предлагали им альтернативу. Имя не разочаровавшего аудиторию заменителя, чаще всего молодого поэта, потом попадало в актив...

На сей раз я оказалась в одной группе с Александром Межировым.

Кто же нас слушал — студенты университета или разновозрастные читатели Ленинки? Не помню. Но ощущение того вечера во мне живо. Теплая, обволакивающая атмосфера зала. Трудно передаваемая словами внутренняя уверенность: тут собрались те, кому твои стихи не чужды. А может быть, и нужны. Пусть большинство пришли на Межирова, между его

и твоими читателями-почитателями нет непереходимого барьера. Завоевать зал не просто. Но признайся себе: еще труднее произвести впечатление на Александра Петровича. Ты любишь его поэзию. Может быть, и он обратит внимание на твои стихи...

Выступила я неудачно. Хуже, чем всегда. Никогда не надо очень уж стараться кому-то понравиться. Современный философ и психолог Вадим Зеланд говорит в своей книге «Пространство вариантов» о коварстве и вреде «избыточного потенциала» желания. По Зеланду, в таких случаях всегда вступают в игру «равновесные силы» и щелкают зарвавшегося по носу.

Конец — делу венец! Завершал вечер, как всегда, сильнейший — Межиров.

Готова присягнуть, что вокруг него веял ветер свободы. «Веял» — слишком слабое слово. Гулял, бесчинствовал, со свистом закручивался, как лассо, на вытянутых шеях слушателей. Вот уж кто не пригибался перед публикой! И читал он в тот раз нечто неожиданное, не из той оперы, что проходит на ура: житейские сюжеты, политические аллюзии или беспроигрышная карта — любовь...

Метель взмахнула рукавом —
И в шарабане цирковом
Родился сын у акробатки.
А в шарабане для него
Не оказалось ничего:
Ни колыбели, ни кроватки...

Странные стихи! Явно не о себе. Портретирует какого-нибудь знакомого циркача, который баловался стихами, воевал, прозрел, разочаровался в своем даре и счел более достойным вернуться к рискованному наследственному ремеслу. Но слишком уж лично звучит все это! В чужое так не вживаются! И вообще, все, что пишет поэт-лирик, он пишет о себе... А вот это уже похоже на прорыв к собственному «я»:

Чем мальчик был, и кем он стал,
И как, чем стал он, быть устал,
Я вам рассказывать не стану.
К чему судьбу его судить,
Зачем без толку бередить
Зарубцевавшуюся рану...

Зал напрягся, и я — вместе со всеми. Ранили даже не слова, а горькая, сугубо серьезная интонация. Свобода, напоминал поэт, дается немыслимо дорогой ценой. Равной цене жизни... На дворе были поздние шестидесятые: время первых громких идеологических репрессий, первых выступлений несогласных с ними. Стихи были о другом, но и об этом — тоже.

Почувствовав, что хватит сил
Вернуться к вертикальной стенке,
Он все нюансы, все оттенки
Отверг, отринул, отрешил...

«Вертикальная стенка» циркового номера на наших глазах превращалась в некий символ отчаянной смелости, попрания знакомого законопослушным гражданам СССР страха: «А что мне за это будет?!.»

В огромной бочке, по стене,
На мотоциклах, друг за другом,
Моей напарнице и мне
Вертеться надо круг за кругом.
Он стар, наш номер цирковой,
Его давно придумал кто-то, —
Но это все-таки работа,
Хотя и книзу головой...

Успех был ошеломительный. Не поручусь, что автора не прервали предварительными аплодисментами, как в консерватории, после исполнения особенно удавшейся музыкантам части симфонии, еще до ее финала. Но Межиров снизил финал:

По совместительству, к несчастью,
Я замещаю зав. литчастью.

Я была обескуражена: он что, смеется над нами? Только что мчался по вертикальной стене, «у погибели на краю», как выразилась в стихах одна поэтесса. И вдруг какая-то литчасть... А может, он откровенно сблизил гонки над пропастью и литературу, чтобы дать урок всем рыцарям самосохранения? Сбросил маску и предстал перед слушателями, в том числе и перед стукачами, которые, конечно, были в зале, в своем подлинном, разгримированном виде?.. Долго не отпускала меня от себя «Баллада о цирке». Я и теперь не могу проникнуть до конца в это загадочное произведение...

После своего эстрадного провала я старалась как можно реже попадаться Межирову на глаза. И, само собой, встречала его чаще, чем раньше. Но раньше он меня не знал и потому не здоровался. А теперь, когда узнал, приветствовал издалека в манере благовоспитанного человека. Останавливался. Задавал какие-то вопросы. Я что-то буркала в ответ и убегала. Очевидно, он решил, что таково свойство современной молодежи. Однако здороваться не перестал. «Ну, бросьте дичиться, — читала я в потеплевшей голубизне его глаз. — Неудачно выступили — что здесь такого? Все мы прошли через это. В следующий раз сумеете подчинить себе аудиторию. Немного больше опыта, самообладания. Не вы должны перед ними заискивать — они должны принять вас такой, какая вы есть...» Так он думал или совсем наоборот — осталось тайной. От его лица я озвучивала свои мысли, прикладывала болеутоляющий пластырь к своим ссадинам...

Мне не выпал жребий быть ученицей Межирова. Только раз увидела я его в этом качестве. Арсений Александрович Тарковский, почти безвыездно живший в доме творчества «Переделкино», пригласил меня принять участие в необычной встрече: Межиров привез из Москвы к старшему коллеге слушателей Высших литературных курсов. Чувствовалось, что своими давно оперившимися птенцами он очень дорожит.

Его педагогический прием заключался в том, что не они демонстрировали перед А. А. Т. свои спорные стихотворные достижения, а он, уже повсеместно признанный тогда мэтр, доверчиво и с полной отдачей читал перед ними по тетради стихи, вошедшие теперь в золотой фонд поэзии. Дело было в 1977 году. До религиозного ренессанса оставалось более десяти лет. Но Арсений Александрович выбрал из многих стихотворение «Просыпается тело...» — об отречении от Учителя апостола Петра и собственном отречении. От чего? Каждому предлагалась свобода выбора. Это был знак высшего доверия к приехавшим гостям. На выразительном лице Межирова остановилась памятная мне одобряющая улыбка.

О том, каким наставником был Межиров, какое прочное признательное чувство вызывал у лучших своих учеников, замечательно искренно и горячо рассказал его студент Александр Росков в автобиографической повести «В ночь с пятницы на понедельник». Ее можно прочитать в интернете: proza.ru/2003/10/12-119. Поступать в Литинститут он, печник по специальности, приехал «прямо от печки», а до того жил и работал в Каргополе Архангельской области. Точная память, благодарность, любовь — надежные помощники мемуариста. Росков описывает первую встречу с мастером.

Вот своей решительной походкой Межиров входит в аудиторию, полную сырого, неотесанного человеческого материала.

— У Будды есть выражение «Встретишь учителя — убей его!» — такова была первая его фраза.

И не так уж далек был этот вызов от истины. Автор повести не скрывает трений и недовольного ропота части «семинаристов». Одни: «О-о-о! Межиров — это величина». Другие, считая, что одно происхождение из недр народных ставит их выше любой московской знаменитости, поворачивались к А. М. спиной, заушничали и грубили. Страсти разгорались нешуточные, включая и националистические.

Надо было обладать выдержкой и душевной пластикой Александра Петровича, чтобы цивилизовать наиболее агрессивных самородков, подавить невежд своей эрудицией и добиться картины, пусть увиденной только глазами любимого и любящего ученика: «Мы сидели перед Межировым, как двенадцать апостолов перед Христом».

Росков сообщает о Межирове и то, что вряд ли прочтешь в официальных биографиях: «Вслед за военным уставом, вернувшись с войны и став вскоре членом Союза писателей, Межиров изучил Священное Писание и в дальнейшей своей жизни стал руководствоваться Книгой пророка Экклезиаста, не забывая и о Книге Иова. Поняв раньше других “соцреалистов”, что все на свете суета и томление духа и что все уже было под солнцем на этой земле, Александр Петрович предпочел политическим играм другие — игры в карты и бильярд».

Межиров не бросил ученика и после разлуки. Отвечал на его письма, публиковал его сочинения в американской русскоязычной печати. Именно Роскову послал А. М. стихотворение «Не забывай меня, Москва моя...» с незабываемой концовкой:

Оказия случится, поспеши,
Чтобы письмо упало не в могилу.
Пошли негодованье от души,
А также одобренье через силу.

Но вернемся в постперестроечную эпоху... В июне 1990 года я со своей взрослой дочерью Александрой поехала в Латвию, в дом творчества писателей «Дубулты». Теперь, как я слышала, там полное запустение. На месте высотного — на фоне одноэтажных и двухэтажных построек — сверкавшего огромными окнами здания остались, а возможно, уже и снесены настоящие руины. Но тогда все еще было цело. Цвела сирень. Прогуливалась по аллеям и вдоль моря курортная публика, и, как дятлы, стучали за стенками коридоров отдельные труженики-писатели на своих пишмашинках. Уже началась реституция: у небольших корпусов в саду появились законные хозяева. Приезжали из Риги или издалека, вступали во владение семейной собственностью, обустраивались, вносили и выносили вещи, мыли, чистили, наводили лоск. Не знаю, сказал ли хоть кто-нибудь из них спасибо Литфонду, сохранившему в целости и сохранности эти коттеджи. Поначалу все это выглядело даже симпатично.

Роковой час пробил, когда началась дележка: основной жилой корпус был построен на деньги Литфонда, то есть писателей. А земля принадлежала местным властям. Обедневшему Литфонду выкупить ее было невподъем, да чужаков никто особенно и не звал. Так мне, по крайней мере, рассказывали. Но в то переменчивое время мы еще чувствовали себя в Дубултах как дома, хотя и не забывали, что в гостях.

Пошли с дочкой в столовую — Межиров. Такой родной среди чужих и чужеватых лиц. Я обрадовалась. И он обрадовался нам. Не густо было знакомых в этом заезде.

Те три с хвостиком недели вспоминаю с благодарностью. Мне кажется, он воспринимал нас как некую временную замену его дочери и внучки. Закрытый от природы, приоткрывался, доверял, делился своими волнениями. Его внучка Аня уже была в Америке — поехала к родственникам отца. Он сам проводил и благословил ее, а теперь терзался. Она — там, Зоя (ее мама) — тут. Имел ли он право разлучать мать и дочь? Если Зоя тоже уедет, что она будет там делать? У Ани все впереди, а Зоя вросла в эту жизнь. Она — поэт, настоящий, чистый и холодный. Ей будет очень трудно... Помню, как поразило меня это определение: «чистый и холодный». Я знала Зоины стихи. В них билось трепетное женское сердце. Не хотел ли он этим сказать, что она далека от суеты, от искусственной взвинченности темперамента, от панибратства с великими предшественниками, чего он терпеть не мог. Всякие ахи, охи в стихах даже общепризнанных поэтов, обращение по имени: к Цветаевой — Марина, к Пастернаку — Борис, — его раздражали.

Он не чинился: пересекая обширное помещение столовой, шел прямо к нам, присаживался за наш стол, спрашивал мою Сашу, вчерашнюю студентку, о ее планах на будущее, интересовался моей работой. О себе говорил мало, сдержанно. Но что-то мучило его помимо семейных дел, что-то

жгло изнутри. Я догадывалась: время. В отличие от большинства моих друзей, он не спешил радоваться переменам. Настраивался на худшее и на мои наивные уверения, что все идет как надо, что обещанные конституцией свободы теперь не фикция, а реальность, отвечал тяжелым молчанием.

Навестить Александру приехал из Москвы ее муж Дмитрий. Они были красивой парой, и Александр Петрович как-то очень по-отечески смотрел на них и радовался им.

Скоро он прочел нам стихи, в которых мы узнали Сашу и Диму:

Как хороша она,
А в нем какая сила!
Гражданская война
Вплотную подступила...

Так вот что его грызло: ожидание братоубийственной бойни. Раньше мне казалось, что он защищен от внешних катаклизмов своей яркой одаренностью и выработанным на войне мужеством, как средневековый замок стеной и рвом. И вдруг я увидела его таким уязвимым.

По временам он исчезал, где был — нам не докладывал, но возвращался встревоженным, осунувшимся. Нам казалось: он подголадывает. Поехали на рынок в Ригу, купили копченую курицу, — тогда это был невиданный деликатес, — и щедро поделились с Межировым.

На другой день он подошел к нам в холле и пожаловался:

— Вчера я съел совершенно сырое мясо и теперь не знаю, что со мной будет.

Он нас не укорял, он просто забыл, кто угостил его «мясом», и, как ни сдерживались, мы прыснули в ладони. А он, не понимая причины веселья, только пожал плечами...

В те дни по просьбе Галины, вдовы Давида Самойлова, я писала воспоминания о нашем переводческом семинаре, который посещала несколько лет. Узнав, чем я занимаюсь, Александр Петрович помрачнел. Что-то молвил сквозь зубы. И отошел... Для меня, конечно не было открытием, что поэты часто не любят, а то и не выносят друг друга. «Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой» — это Блок. Лингвистически ближе к нам Кедрин: «У поэтов есть такой обычай: в круг сойдясь, оплевывать друг друга». И все же я была задета тем, что два моих избранника, поэты-фронтовики, оказывается, в контрах.

Когда, спустя годы, вышел из печати дневник Самойлова, я прочла в нем раздраженные, нелицеприятные отзывы о его многолетнем товарище и вечном сопернике. Бог ему судья! Знал ли А. П. об этих записях? Думаю, что да. Все тайное становится явным. Причем скорее рано, чем поздно. Тем ценнее в моих глазах поступок очерненного в дневнике Межирова.

Через несколько часов после огорчившего меня инцидента Александр Петрович постучался в нашу дверь. И сразу ко мне — с извинением, с редко прорывавшимся заиканием:

«П-простите! Я виноват. Вы п-пишете о нем. Вы в работе. Я не должен был так себя вести. Простите меня!»

Уникальный, так и оставшийся единственным случай в моей жизни...

Мы возвращались в Москву раньше Межирова. Дня за два до отъезда он вошел в наш номер с таинственным выражением лица и небольшим свертком в руках. У него ко мне дело. Пусть все останется между нами. Здесь, в конверте, письмо и стихи, обращенные к Елене Боннер. К сожалению, он не знает ни телефона, ни адреса. Но я, наверно, могу узнать по своим каналам. Просьба: передать в собственные руки... Никаких «каналов» у меня не было. Но, конечно, я заверила Александра Петровича, что все узнаю и передам... Не успели мы приехать домой, междугородка. Он, Межиров. Обстоятельства изменились. Ничего передавать не нужно. Благодарность. Извинение. До встречи!.. В следующий раз я услышала его голос через одиннадцать лет...

Но сначала были стихи. По-моему, в Литгазете вскоре вышла его подборка, озадачившая меня. Нет, нет, не с художественной точки зрения. Межиров оставался Межировым всегда. Если отвлечься от некоторых жупелов, ставших таковыми в закипевшем бульоне истории, «Коммунисты, вперед!» — тоже сильные, без промаха бьющие по заданной цели стихи. Искусный бильярдист, А. М. каждое ключевое слово изящно и безошибочно забивал в лузу. «Лучшие слова в лучшем порядке» — это правило, провозглашенное французским поэтом Сюлли-Прюдомом, словно придумано для Александра Петровича. А расстановка строф, строк в каждой его строфе такова, что дает возможность глубоко вдохнуть обогащенный кислородом поэзии воздух и естественно выдохнуть, воспрянув душой и духом.

Не знаю, как восприняли новые стихи в редакции, что подумали о них те редкостные читатели, которые не пропускают «напечатанное в столбик» как архитектурное излишество. Мне же показалось, что всем существом своим автор повернулся к прошлому. Мне стало не по себе при мысли, что, если чаши весов «за перестройку» и «против перестройки» колеблются, такая весомая гиря, как мнение одного из несомненных поэтов современности, перетянет и история пойдет вспять... Я вовсе не была оголтелой «перестройщицей». Но, как и большинству моих друзей-единомышленников, мне хотелось новизны, открытого общества, побольше свободы, побольше справедливости. Много лет я была «невыездной» по причинам, о которых можно было только гадать, и вот недавно впервые выехала к родственникам за границу, в Бразилию. Неужели моего любимого поэта потянуло назад, в доперестроечную эру?

Ночью написались стихи. Посвятила их Александру Петровичу. Тогда, в Дубултах, допуская (он) и не допуская (я), что дело идет к гражданской войне, мы с ним шутя сравнивали наши гороскопы. Как будто они могут подсказать каждому его судьбу. По году рождения (1923) он — кабан. По месяцу рождения я — овен. Кабан и овен — что-то родственное... О кардинальном отъезде речи еще не было. Однако такой соблазн появился вскоре у многих наших сограждан. В посольствах и консульствах выстраивались очереди отъезжающих. Препятствий почти никому не чинили. По моим соображениям, А. М. стоял где-то близко к переднему краю. Я же на эту тему вообще еще не думала. «Божьим смыслом», считала я, наполнена жизнь в России. Все, что нас тут ждет, надо встретить смиренно, по-христиански. Может быть, своим стихом я хотела удержать старшего коллегу от необратимого поступка?

Астрологическое

А. Межирову

Землетрясение? Нет, хуже:
самосожжение. Овнам
и кабанам нет места. Ужас
бездомья угрожает нам.
Но дом не там, где ты прописан,
не там, где взяли на постой,
а только там, где Божьим смыслом
оправдан даже миг пустой.
Чем жить во дни великой ломки?
Молить за братьев и сестер
или подбрасывать соломки
в нерассуждающий костер?

Межиров эмигрировал в 1991 году.

Когда мой муж, Павел Сиркес, поехал в командировку в Америку, я дала ему с собой книгу «Праздник» с этими стихами. В Нью-Йорке Александра Петровича не было. Он жил в Портленде. Его супруга любезно согласилась приехать за книгой в гостиницу и передать ее адресату...

Выжимки из дневника:

31.12.01. Узнав телефон А. М. у Тани Эндер (двоюродной сестры его жены. — *Т. Ж.*), позвонила в Портленд (штат Орегон).

Трубку взял А. П. Представилась.

Он: «Бывают и радости в этой жизни... Вы не представляете себе, какое блаженство вы мне доставили...»

Я (оробев от такой старомодной учтивости, с бухты-барахты): «Вы получили мою книжку?»

Он: «Да, разумеется. Простите, что не ответил. Никогда не был способен написать не только письмо, но и записку».

Я ругаю себя за нахрапистость. Не хотела спрашивать о книжке — хотела просто поздравить с Новым годом. Поспешно перевожу разговор на его «Избранное», 1989 года, которое купила недавно на одном мюнхенском развале.

Он: «Его составляли очаровательные редакторши. Пользуйтесь им с одной целью: как не надо поступать со стихами».

Я: «Как Вы живете? Как проходит Ваш день?»

Он: «Всю жизнь я был склонен к неподвижности и всю жизнь мотался. Все изменилось. Появилась возможность не мотаться дальше чем на триста метров...»

После этого начинается чисто литературный разговор. Как будто мы снова в Дубултах. И у нас куча свободного времени. И мне позарез надо знать, как он относится к тому-то или к той-то. И то же распределение мест: он — наставник, я — способная ученица, которая кое-что знает. Но не мешало бы ей узнать побольше.

Интересно говорит о поэте Серебряного века Борисе Садовском, читает наизусть его стихи.

«Я его знал еще в сороковые годы. Познакомились у Павла Шубина. Кошмарный разложенец. Но не монстр. Чудак. Странно вел себя. Это было неуместное актерство. Почитайте его — получите удовольствие. Выдающийся поэт».

Садовского я совсем не знаю, зато хорошо знаю Георгия Иванова. И стихи и прозу. И письма. Одно его письмо, которое приводит Нина Берберова в книге «Курсив мой», во мне осталось как нарыв. Любящий муж Ирины Одоевцевой, очень многим обязанный ей, пишет к чужой женщине, а именно Н. Берберовой так, как если бы на ней клином сошелся не только этот, но и тот свет. Письмо написано во французском доме престарелых незадолго до конца. Спрашиваю А. П., что он думает по этому поводу.

Он (усмехаясь): «Письмо маразматическое. Но в нем поразительные откровения...»

Говорим о поэте и журналисте Владимире Приходько, адресате одного из межировских посвящений, некогда зачитывавшем меня его стихами. Знает ли А. П., что он умер?

Да, знает. «Бедная Нина! Как она будет одна?» (о жене Володи. — *Т. Ж.*).

Недавно я прочла в толстом литературно-художественном журнале подборку Зои Межировой. На родине она теперь печатается редко. Я порадовалась и факту публикации, и самим стихам. Что ни говорите, верлибр раскрепощает, заставляет играть даже те грани души, что ущемлены рифмой. Взыскательный отец не разделяет моего энтузиазма. Считает, что Зоя много теряет, когда выходит из канонического стиха.

26.09.03. Сегодня А. М. исполнилось 80 лет. Поздравляю его по телефону с юбилеем. Читаю вслух довольно пышный текст из одной российской газеты (мне прислали вырезку).

Он: «Слишком много звонков. Невероятное количество необоснованных одобрений».

Я: «Как чувствуете себя?»

Он: «Вяловато. Ничего не болит».

Я: «Стихи пишутся?»

Он: «Я бы не сказал, чтобы писались. В них много ненадежного. Огромное количество ненапечатанных».

Я: «Ждете ли сегодня гостей?»

Он: «Может быть, племянница заглянет случайно».

Спрашиваю, как дела у Зои.

Он: «Она как бы работает».

(Потом узнала, что Зоя потеряла работу после 11 сентября. Училась. И только-только начала работать.)

Я: «Как Аня?» (внучка).

Он: «Она посвящена своему странному супругу».

Чувствуя, что А. М. не склонен продолжать разговор, закругляю его приятной для юбиляра информацией: в журнале «Звезда» № 7 Владимир Британишский благодарит Межирова за утешающий автора комплимент по случаю выхода его тоненькой книжки.

Александр Петрович благодарит в свою очередь меня за неподдельное внимание.

2.01.2004. Позвонила слишком рано для другого полушария. Не сразу сообразила, что Портленд на Западе США, и разница с Европой во времени значительно больше, чем с Нью-Йорком. А. М. долго не брал трубку. Ждала. Наконец, знакомый голос.

Я: «Как вы живете, дорогой Александр Петрович? Чем занимаетесь?»

Он: «Практически занимаюсь тем же, чем всегда, — топчусь на одном месте».

Голос глухой и невеселый.

Я: «Может быть, вы спали?»

Он: «Я давным-давно не спал... Вы не представляете, как я рад...»

На сей раз я позвонила не просто так. Работая над книгой о Библии и русской поэзии за три века, я подошла к главе о Марине Цветаевой. От Риммы Казаковой знаю, что отношение А. М. к великой поэтессе менялось от восторга до полного неприятия. Мне хотелось узнать, на чем он остановился. Проверить свою интуицию. Поговорить о поэте, ставшем для меня насущной потребностью. А. М., видимо, окончательно проснувшись, превращается в прежнего собеседника, искренно заинтересованного в предмете разговора. Голос молодеет и модулирует.

Он: «Она никогда не была мила сердцу моему. Я не могу понять, что мне всю жизнь мешало любить ее. Ранние вещи — да!» — читает наизусть «Красною кистью Рябина зажглась...». — «Это было давно. Потом... За ней — темная и страшная сила... Но очень большой поэт... Простите, все это слова из моего хáоса, если говорить высокопарно. Или хаóса, если не высокопарно...»

Я: «Помните: Исайе Берлину Ахматова говорит: Марина — поэт лучше меня. Как вы полагаете, почему?»

Он: «Надо думать...» — И вдруг начинает громогласно читать с середины ахматовское стихотворение, которое я тоже знаю наизусть. Именно это шестистишие помню и быстро подхватываю:

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вторгалась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова...

Дочитав дуэтом до конца, смеемся вместе на двух половинках земного шара.

Не знаю, что на меня нашло, но попрощалась я с ним в тот раз на высокой ноте. Словно предчувствовала: разговор последний. Перешла на другой регистр беседы, процитировав строчки Дмитрия Сухарева: «Ведь мы — студенты, а они — солдаты. И этим обозначены места». И сказала, что для Мити, для Зины Палвановой, для Тани Бек и еще для нескольких моих друзей он, Межиров, давно не солдат, а маршал поэзии.

Во, куда метнула! Снова посмеялись вместе. Но на душе стало легче...

Жалею теперь, что ни разу не прочла ему по телефону его стихи. Те, что знаю наизусть, что читаю себе, когда на душе кошки скребут, когда небо кажется с овчинку, когда... Много бывает этих «когда», а межировские строфы сглаживают внутренние шероховатости, поднимают потолок и раздвигают стены, лечат. Ему-то в его отстранении от бредящих поэзией одиночек это было бы целебнее таблеток и капель. Знаю, что и там, на чужбине, скреблись к нему в дверь, приходили, но декламировали с в о и стихи. А надо было — е г о, написанные в годы торжества таланта. Хотя бы вот это:

Она прошла по лестнице крутой
С таким запасом сил неистощимых,
Что было все вокруг нее тщетой
И только ног высоких легкий вымах.
Она прошла, когда была жара,
С таким запасом сил, которых нету
У силы расщепленного ядра,
Испепелить готового планету.
Она прошла с таким запасом сил,
Таща ребенка через три ступени,
Что стало ясно — мир, который был,
Пребудет вечно, в славе и цветеньи.

Храню эти стихи как эталон в сугубо личной палате мер и весов...

О том, что Александр Петрович Межиров скончался в Америке 22 мая 2009 года, я узнала с опозданием на два дня. Подходила к концу моя очередная побывка в Москве. Я стала бросаться туда-сюда, звонить немногим сохранившимся товарищам и коллегам. Хотелось разделить с ними печаль, вместе повспоминать, каким волшебным поэтом был покойный. Выплеснуть навстречу друг другу его стихи... Некоторые ничего не знали. Другие что-то такое слышали.

Мне стало представляться, что отошел он легко. Должно же быть милосердие Небес к большому поэту, к пристальному читателю Книг Экклезиаста и страдальца Иова! Последний мой разговор с ним в начале 2004 года, видимо, оказался таковым по объективным причинам. Межиров заболел. Жена забрала его из Портленда в свою квартиру в Нью-Йорке. Несколько лет умирания — о чем думал в минуты просветления, что шептал-сочинял он, не мысливший себе жизни без литературного труда, без поэзии? Преданная супруга, внимательная дочка, любимая внучка, уже обремененная детьми. Но молодые рассеяны по разным штатам, далеким друг от друга городам. Не то что в Москве, когда жили бок о бок, в одном районе на Аэропорте. Как же откликнулась столица на смерть своего заслуженного поэта, москвича по рождению, ушедшего мальчиком воевать, уцелевшего воистину чудом, написавшего стихи, которые не вытравить уже из памяти народной:

Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.

Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром присягу давали,
За собою мосты подрывали.
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас, десантников, армия любит...
По своим артиллерия лупит, —
Лес не рубят, а щепки летят...

Для тех, кто не имеет компьютера с Интернетом или не впал от него в зависимость почище наркотической, как я, грешная, даю справку. Благодаря дальновидности поэта Владимира Дагурова, посещавшего когда-то Высшие литературные курсы и записавшего на диктофон рассказ Межирова об его военной страде и рождении этих стихов, мы теперь имеем документ потрясающей силы[1]. И еще один «исторический» электронный подарок: ролик с суперсовременной песней «По своим артиллерия бьет» (или «Артиллерия бьет по своим»)[2]. Поют ее, слегка переделав, молодые ребята, воевавшие... в Южной Осетии. Или ровесники тех, кто там воевал. «Грязный лед, белый снег, черный дым. Артиллерия бьет по своим» — такой строки у Межирова нет. А парная к ней — по смыслу та самая. Суть происходящего неизменна...

Об этой песне уже говорят: народная.

Тем более странно было читать небрежные некрологи, мелькнувшие в связи со смертью А. М. в Интернете (в одном автор поэтических шедевров невежественно назван «поэтом так себе»). Досадно встречать чуть ли не в каждой информашке сообщение о ДТП и намозоливших всем глаза стихах «Коммунисты, вперед!». Кто из нас не помнит, как поднимались они на щит, когда управлял страной тиран и его бесцветные преемники, и вот теперь, спустя десятилетия, эти старые стихи ставятся поэту в вину со сладострастным злорадством. Извините, господа крЫтики! Известно ли вам, что наша страна 70 лет строила коммунистическое общество? Что за эту мечту, химеру, — называйте, как хотите, — заплачено миллионами жизней? В том числе, и жизнями коммунистов. Я считаю, что искренний призыв молодого воина, ставший стихами (а большой талант все претворяет в стихи!), обращенный не к другим только, но в первую очередь к самому себе, обожженному фронтовым адом, не подвластен человеческому суду.

Главное же, что поразило меня после смерти Александра Межирова, это интернетовские комментарии немногочисленной читающей стихи публики: «Умер? А мы и не знали...», «А я думала, он умер еще в прошлом веке...» Раз

[1] См. «Новая газета» — http://novayagazeta.ru/data/2006/46/36.html.

[2] http://video.mail.ru/list/fran_an/71/105.html.

не показали по телевизору церемонию прощания, не завалили цветами, не заказали публичную панихиду, не прожужжали уши его славным когда-то именем, значит, ничего особенного он из себя не представляет. Так, что ли?..

Со своей стороны, могу только процитировать межировские строки:

Видно, люди есть такие,
Что тоска по ним лютей,
Чем припадки ностальгии
На чужбине у людей.

Несколько раз сводила меня судьба с этим необыкновенным человеком. Для чего? Думаю, для того только, чтобы я поделилась своей любовью к нему с теми, кто еще способен вмещать любовь. Критики всех рангов, любители от литературы пусть поют свое. «Околокожевники, возлескорняки» — не прощал агрессивного дилетантизма ушедший в бессмертие пехотный офицер. Пусть расчленяют Александра Межирова на «Коммунисты, вперед!» и «Артиллерия бьет по своим». Пусть препарируют строки, вылитые из благородного материала. Для меня он един. И стихи его цельны и не подлежат «расформированию».

P. S. 25 сентября 2009-го прах Александра Межирова был захоронен на кладбище подмосковного Переделкина. Выполняя волю отца, его привезла из Нью-Йорка дочь поэта Зоя Александровна Межирова. В траурной церемонии приняли участие десятки коллег, родных, читателей и почитателей покойного.

Герман САДУЛАЕВ

ПРОЗА О ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЕ: ЛИТЕРАТУРА, КАК УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ОПЫТА

Непосредственным поводом к написанию настоящего эссе послужила небольшая дискуссия, возникшая после публикации в журнале «Огонек» моей статьи, посвященной началу второй чеченской войны[1]. Чеченский писатель и очевидец событий, житель города Грозного уважаемый Хасуха Магомадов вновь поставил старый вопрос о том, имеет ли право человек, не бывший непосредственным свидетелем и участником войны, писать тексты на военную тему. В статье «Змея» я писал только о том, что видел и знал сам, но в контексте проблемы это незначительная деталь. Маленький спор о «Змее» стал отголоском недавнего масштабного диспута о романе Владимира Маканина «Асан», получившем первый приз литературной премии «Большая Книга». И снова необходимо ответить, что претензии критиков к «Асану» не ограничивались тем, что Владимир Маканин (в свои 64 года к моменту начала второй чеченской войны) не служил в действующей армии. Скорее, мне думается, неприятие было вызвано иными причинами, а отсутствие у автора непосредственного опыта описываемых событий и, как следствие, ряд фактических неточностей и ошибок в деталях послужили лишь клапаном для выпуска недовольства и самым простым путем для обвинения прозаика в творческой несостоятельности.

Имеет ли право писатель, не принимавший участия и не бывший непосредственным очевидцем войны (наводнения, землетрясения, эпидемии чумы, кораблекрушения, полета на Луну, вторжения марсиан, биржевого краха, татаро-монгольского ига, гибели динозавров), писать об этом?

Вопрос, поставленный так, в лоб, звучит сам по себе абсурдно. Но я не хочу ограничиваться сарказмом. Безусловно, нужно принимать во внимание конкретные социально-исторические условия, когда, например, живы и здравствуют непосредственные участники описанных в художественном произведении событий. Естественно, что некие литературные произведения, противоречащие воспоминаниям и психологической установке очевидцев, могут быть восприняты болезненно как посягательство на их судьбу

[1] См.: *Садулаев Г.* Змея. — «Огонек», № 20 (5098), 28.09.2009.

Герман САДУЛАЕВ — родился в 1973 г. в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Как прозаик дебютировал в декабре 2005; выпустил книги «Я — чеченец», «Радио Fuck», «Пурга, или Миф о конце света», «Таблетка», «AD», опубликовал реконструкцию чеченского эпоса «Илли». Постоянный автор «Континента». Живет в Санкт-Петербурге.

и их опыт, тем более важный, чем более высокой ценой за него было заплачено.

Стоит также отметить неоднократно упомянутый противниками «заочного писательства» литературоведческий факт: лучшие образцы прозы о Великой отечественной войне дали нам «окопные» очевидцы — писатели-лейтенанты Ю. Бондарев, В. Астафьев, В. Быков, А. Адамович. Но существует неоспоримый аргумент и в защиту противоположной точки зрения — хрестоматийный пример Льва Толстого: «Война и мир» писалась спустя десятилетия после окончания Отечественной войны 1812 года, рассказы очевидцев и участников событий, в том числе и облеченные в художественную форму, послужили великому писателю в качестве источников, но сами по себе не оставили в литературе сравнимого следа. (Впрочем, тут я могу привести и контраргумент: Лев Толстой не имел опыта войны 1812 года, но опыт войны вообще он имел, и его первая проза — «Севастопольские рассказы» — основана именно на личном опыте. Со времен вторжения Наполеона до обороны Севастополя способы ведения боевых действий практически не изменились, поэтому Толстой мог с полным правом считать, что пишет о том, что знает).

И все же не о том, не о том. Не о том я хочу задуматься сам и прошу задуматься читателей. Партикулярный вопрос ко мне как к автору скромной журнальной статьи подвиг меня к размышлениям о смысле и природе литературного творчества, о его месте в бытии живого вещества, в эволюции сознания.

Солярис

Человечество нуждается в *универсализации опыта*. То есть в том, чтобы опыт индивида, особенно, если он уникален и ценен, становился до известной степени всеобщим опытом. Этого требует структура знания, даже в области перцепции, — известно, что восприятие человеком цвета суть не только непосредственное ощущение, но результат консенсуального обобщения: вот это мы именуем «красным», а это — «зеленым». Безусловно, что сам язык в его коммуникативной функции, равно как и в функции накопителя знаний, являет собой образец универсализации опыта, продукт сознательного конвенционализма. Универсализация опыта есть и предмет, и метод любой дидактики. Традиция также фиксирует образцы опыта, закрепляет и транслирует путем предписания к подражанию и повторению.

Но не только человек, а и все живое вещество, наделенное сознанием, стремится к универсальному опыту. Некий набор установок изначально предпослан каждому живому существу в виде инстинктов, рефлексов, смутной памяти видового прошлого, архетипов. Следует вывод, что универсализация частного опыта в той или иной форме есть свойство сознания как такового.

Пример и образ предельной универсализации опыта дает индийская религиозная философия (или индийская мифология, если угодно). В традиции вишнуизма есть умопомрачительный сюжет:

В конце *кальпы* (космической эпохи), когда вселенная подвергается *пралайе* (периодическому уничтожению), души живых существ, не достигших

освобождения, входят в тело Вишну. Они пребывают в Вишну до тех пор, пока вселенная не будет сотворена заново, — тогда, следуя своим неизжитым желаниям и последствиям *кармы*, они принимают новые тела в сотворенных мирах, согласно достигнутому уровню, заслугам и прегрешениям. В период между уничтожением и сотворением вселенной души находятся в состоянии, похожем на сон без сновидений, но более радикально бессознательном. Они почти растворены в Божестве. Их личностная природа сохраняется только как чистая потенциальность. В этом агрегатном состоянии духовной материи, если будет позволителен такой оксюморон, есть как минимум два смысла. Первое — душа отдыхает от суеты мирского существования, находится в блаженстве покоя, незаслуженном, но дарованном высшей милостью (те, кто заслужили свет, — уходят в свет; те, кто ничего не заслужили, — уходят в покой, как Мастер у Булгакова). Второе — опыт каждого существа, погруженного в этот древний Солярис, становится опытом каждого другого существа, иначе говоря, всеобщим.

Поэтому ортодоксальные индусы без особого интереса относятся к выяснению подробностей своих «прошлых жизней», которые так занимают европейцев, поверивших в реинкарнацию. С точки зрения индуса каждое живое существо, включая его самого, находится в этом мире с незапамятных времен и наверняка переживало не одну пралайю. Условно говоря, каждый из нас уже был всем и всяким, кем только можно быть. Даже если отдельное живое существо не принимало тел муравья, демона или полубога, оно все равно погружалось в несотворенное состояние вместе с теми, кто имел опыт жизни в теле муравья, демона или полубога, «переняло опыт» и, следовательно, все равно что само побывало и муравьем, и демоном и полубогом. А значит, выяснять, кем ты был в прошлой жизни — фараоном или Львом Толстым, глупо и бессмысленно. Досидишь до пралайи, не добившись *мукти*, освобождения, и выйдешь в новый цикл с опытом Тутанхамона, Сталина, Твардовского, королевской кобры, планктона (морского и офисного) и вообще кого угодно.

Воистину, кто был ничем, тот станет всем. Вернее, кто был кем угодно, станет всем и кем угодно другим, в опыте. Потому что совсем «ничем» живое существо не становится никогда, индивидуальность имманентна его природе. В этом отличие традиционного религиозного индуизма от его философских имперсональных течений, достигших крайней точки в ереси буддизма. По учению Будды, живого существа как такового и нет, его личность не более, чем эфемерная конструкция, построенная на частном опыте и частной памяти (в этом буддисты солидарны с западными психоаналитиками). Индуизм настаивает на том, что душа, будучи частицей Бога-Абсолюта, существует, как и Абсолют, до и кроме любого опыта. Поэтому, полного растворения индивидуальности не происходит даже при тотальной универсализации опыта, происходящей в конце каждой кальпы.

Таково предельное, философское, религиозно-мистическое понимание универсализации опыта индивидуального сознания, обращения его во всеобщий опыт. В мистике есть примеры и более конкретного, зримого и непосредственного переживания постороннего опыта. Индийский йог, мистик и религиозный философ Рамакришна так буквально сочувствовал

страданиям других живых существ, что когда при нем бичом хлестали буйвола, у него на коже появлялись рубцы. В христианстве известна практика мистической универсализации опыта Сына Человеческого, *стигматизм*: у стигматиков без внешних и физиологических причин появляются кровавые слезы, кровавый пот, язвы и раны, подобные ранам Иисуса Христа в его крестовой муке. Материалистическая медицина описывает стигматизм как явление истерии и нейровегетативных нарушений на почве религиозной экзальтации.

Приведенные примеры относятся к области чересчур тотальной, или экстремальной, универсализации опыта. Но сознание, и прежде всего человеческое сознание, общественное сознание, нуждается и в более мягких, приемлемых, условных формах универсализации опыта.

Таковым предстает искусство, прежде всего литература во всех ее проявлениях, от сценической речи до высоких образцов публицистики. Будучи явлением того же порядка, что и стигматизм, литература гораздо более социально приемлема именно в силу своей условности, опосредованности словом, не-непосредственности ощущений. Имеет ли художественное произведение цели дидактические или развлекательные, или, что чаще всего, являет смешение дидактики и развлечения, средством становится возможность расширения личного опыта в процессе чтения или создания текста. Человек как бы выходит за пределы своего собственного тела и даже дальше — за пределы конструкции собственной личности, чтобы познать посторонний опыт и сделать его условно своим.

Мировая литература есть океан Солярис человечества, условное всеобщее взаимопроникающее состояние, среда универсализации опыта.

Я повторяю — условной универсализации. Чужой опыт не становится абсолютно своим, поэтому в искусстве неизбежно заложена ложь — «нас возвышающий», или не возвышающий, но обман.

Вторая сигнальная система человека — речь — с позиции свидетельств, получаемых от первой сигнальной системы — чувств, может быть рассмотрена как легитимная ложь. И она же является сама по себе универсализацией опыта. Я могу сказать (или написать): у меня болит печень. В то время как печень у меня совсем не болит. Но вторая сигнальная система дает мне и реципиенту моего послания понимание боли в печени, даже не присутствующей непосредственно в ощущении, я могу представить себе боль в печени (вторая сигнальная система имеет и обратное действие, «благодаря» которому я могу допредставляться до того, что печень у меня действительно заболит).

Итак, литература, используя возможности и специфику второй сигнальной системы, производит условную универсализацию человеческого опыта.

Приключения опыта, или Туда и обратно

Каждый человек, участвующий в процессе универсализации опыта, сталкивается с тем, что данный процесс имеет два вектора: направленный внутрь и вовне конструкции личности. Понятно, что условно «пассивное» участие в качестве читателя предполагает прежде всего восприятие «посторонне-

го» опыта и его трансформацию в свой (условно пассивное, так как сама трансформация — процедура достаточно активная). Но и условно «активное» участие, в качестве автора текста, так же имеет два вектора, два направления. Почему? Дело в том, что к восприятию, усвоению и трансформации в личный опыт готов только тот опыт, который был уже универсализирован, облечен в распознаваемую форму. И от качества универсализации зависит возможность и последующая глубина трансформации реципиентом. Такой предварительной трансформацией и занят автор художественного текста, в этом его ремесло: «достучаться до сердца», облечь послание постороннего опыта в оболочку, которая преодолеет иммунный барьер психологии читателя — «это не про меня, не для меня, не имеет ко мне отношения, чужое, постороннее, враждебное или безразличное, должно быть отвергнуто, выведено из организма с прочими отходами жизнедеятельности». Автор внедряет в закрытую систему опыта и личности читателя вирус постороннего опыта, частицу «генного материала» другой личности — своей или третьей, но всегда обобщенной, универсализированной даже в своей неповторимой уникальности.

Каков же исходный материал и каковы методы универсализации опыта в тексте? Очевидно, метод напрямую зависит от категории исходного материала. Это и есть два направления универсализации опыта автором текста.

Едва ли не каждый писатель начинает с создания текстов на основе собственного жизненного опыта. При этом происходит важное для понимания закономерностей универсализации опыта явление *экстериоризации*. То есть внутреннее, личное, становится, делается внешним, условно посторонним по отношению к самому автору. Экстериоризации подвергается личный опыт и сама личность в техническом смысле — как конструкция опыта, памяти, психологических установок и прочих элементов. Автор создает «лирического героя» или наделяет своим опытом и чертами своей личности ряд героев своего текста. При экстериоризации некоторое отчуждение неизбежно: в самом строгом автобиографическом романе герой никогда не тождествен автору, а, порой сознательно, порой незаметно для самого рассказчика, редуцирован в одних своих проявлениях и расширен в других. Любая автобиография — это только миф о самом себе, иначе и быть не может. Вместе с тем неизбежно и другое: даже повествуя о совершенно посторонних и непохожих на себя людях (животных, богах, стихиях), автор бывает вынужден самой природой творчества «вдохнуть» в их глиняные големы жизнь, свою жизнь, поскольку другой в его распоряжении нет, наделить частицей себя, своего опыта, своих индивидуальных черт.

Зачастую, особенно если произведение основано на травматическом опыте, текст выполняет по отношению к своему автору психотерапевтическую функцию. Посредством экстериоризации опыта травма смягчается, «переносится» на созданный персонаж, «снимается». Особенно это касается авторов военной прозы, но не только. В процессе экстериоризации личный опыт переосмысливается, преображается, трансформируется (что полезно для психики автора, но вредит достоверности), но и переживается

заново (что опасно для психики автора и ничуть не помогает достоверности). Психотерапевтические свойства писательства многократно отмечались исследователями и известны практически каждому грамотному человеку по себе. Эта мотивация наиболее характерна как основная для начинающих и молодых писателей, но в той или иной степени присутствует при написании текста любым автором, независимо от его возраста и профессионализма. Хотя, от профессионализма, наверное, она все же зависима — в обратной пропорции.

Для внешних реципиентов, читателей, если таковые будут, «психотерапевтические» тексты могут иметь самый непредсказуемый эффект. Так, Гёте, по собственному признанию, спас самого себя от искушения покончить жизнь самоубийством, написав «Страдания молодого Вертера», — подверг свои переживания экстериоризации и «снял» травму. Но среди читателей «Страданий...» нашлись десятки, если не сотни, таких, кто именно после прочтения избрал путь добровольного ухода из жизни. Сам Гёте потом с негодованием отвергал обвинения в причастности к трагедии этих «недоумков», но «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...»

То же самое можно заметить и о «военной» прозе. Весьма возможно, что автор до некоторой степени избавится от собственных комплексов и страхов, выведя в тексте лирического или иного героя как «бравого вояку», но тем самым побудит читателей алкать военных приключений, которые предстали перед ним в таком романтическом ореоле, в виде, далеком не только от объективной истины, но и от истинных переживаний автора побудительного текста. Или, напротив, автор «снимет» свою травму, подробно описав именно ужасы и нелицеприятно поведав о собственных комплексах, и тем заразит читателя с относительно стабильной психикой, который иначе мог более успешно выдержать испытания, посланные судьбой.

Впрочем, не исключено, а даже более вероятно правильное, позитивное воздействие «травматического» текста на читателя, когда читатель трансформирует его в истинно человеческое чувство со-переживания и примет науку постороннего опыта в копилку личных знаний.

Это просто о том, что универсализация опыта не соотносится с нравственным и прагматическим статусом такового; универсализирован может быть любой опыт, в том числе самый негативный и деструктивный.

Успех универсализации зависит от таланта писателя, от его искусности, которая не исчерпывается владением словом, но и подразумевает некоторую психическую девиацию, склонность к экстериоризации, граничащей с раздвоением личности. Этот талант может быть иначе описан как болезнь. Психотерапевтическое письмо, таким образом, будучи поначалу средством излечения, само по себе может стать и гораздо более серьезным заболеванием, чем та травма, на снятие которой оно было направлено.

Итак, начинающие писатели часто берутся за сочинительство со смутно осознаваемыми психотерапевтическими целями. Это касается авторов военной прозы, но не только. В жизни каждого человека достаточно психологических травм, от пережитого насилия, несчастной любви, непонимания, непризнания заслуг и пр., а резистентность сугубо индивидуальна (для одного

расстрелять сотню врагов народа — «нормальная работа», для другого смерть любимого котенка — душевная травма, не совместимая с жизнью). Что же, когда эта цель достигнута, опыт отчужден, травма «снята»? В большинстве случаев на этом сочинительство заканчивается. Случай, идеальный для психотерапии (но не для литературы). В некоторых случаях — это только начало, толчок. И «пациент самого себя» становится «писателем».

Каковы причины? Они могут быть разными. Редко, но случается, что автор обнаруживает настоящий литературный дар и находит в писательстве свое истинное призвание, уже сверх и помимо собственно аутотерапии. Бывает, что и при отсутствии явного дарования первые произведения, основанные на непосредственном опыте, а потому искренние, к тому же, если они актуальны, оказываются востребованы читающей публикой, и автор производится в «инженеры человеческих душ» не вполне заслужено. Однако и он теперь принужден продолжать сочинительство самим своим почти случайно обретенным статусом «писателя».

По моему скромному мнению, писатель, вне зависимости от того, начинал он с «терапевтического письма» или нет, должен быть обусловлен продолжать свои литературные занятия только в том случае, если он примеряет сюртук поверенного в делах универсализации опыта и тот оказывается ему впору. Это отличает литератора от графомана, страдающего особой формой логореи, пусть даже умеющего приставлять одно слово к другому, но только в этом черпающего удовольствие и смысл, а не в растворении ригидных оболочек и стен, воздвигнутых между одной личностью и всеми другими, не в создании единого общечеловеческого «языка» художественных форм и образов, посредством которых опыт одних может стать опытом каждого другого и всех остальных.

Последуем дальше. Наш автор продолжил свои литературные занятия. Очень скоро он узнает, что личного опыта, каким бы острым, травматическим или обширным он ни был, недостаточно для создания текстов. Один американский издатель сказал: каждый человек может написать книгу. Я осмелюсь уточнить: каждый человек может написать *одну* книгу. В жизни и опыте каждого человека достаточно и чувствительного, и занятного, и поучительного, чтобы, при минимальной литературной способности, воплотить все вышеозначенное в книгу, которая будет и полезна, и интересна другим людям. В одну книгу. Условно говоря, один человек — одна книга. Она может быть написана коротким рассказом или растянуться на несколько томов, но будет всего одной. Если такой человек возьмется писать вторую книгу, *другую*, то сразу обнаружит, что собственного опыта ему недостаточно.

Создание объемного литературного текста, объемного не только по количеству страниц, но и по структуре, по стереофоничности (каковой текст в смысле предыдущего абзаца сразу является и как «вторая» книга, даже если он первый), требует разных героев, разных характеров, мотиваций, коллизий, конфликтов; одной жизни и одного человека оказывается мало. И уже освоенный нами прием экстериоризации не подходит: все, что было можно, уже вынесено наружу, показано, продано.

Тогда с необходимостью на повестку дня встает использование противоположного метода универсализации опыта: *интериоризация*. То есть не-

что постороннее, внешнее, чужое, даже чуждое, принимается внутрь, переживается, интегрируется в собственную личность, пусть и условно, временно, на началах игры, — с тем, чтобы быть подвергнутым трансформации и воплотиться снова во внешний образ, пригодный для трансляции в эфир читательского внимания. Болезнь усугубляется, переходит на новую стадию. Расщепление личности прогрессирует. Это уже не раздвоение, это размножение личностей, от которого размозжается бедная человеческая голова. Еще игра, но уже опасная, более опасная, чем эманация «литературного двойника»: мы запускаем «чужое» внутрь себя. Игра, но так легко заиграться!

Стивен Кинг признается, что его тексты в стиле «хоррор» — порождение собственных страхов. И он же советует коллегам строго соблюдать границу между реальностью и вымыслом, между самой жизнью и игрой в жизнь, каковой является литература. Но где та граница? В состоянии экзальтации, пусть не религиозной, а творческой, сиречь, квази-религиозной, так легко преступить черту, даже не заметив.

Литературное творчество есть несанкционированный «нырок» в Солярис, преждевременное погружение в особое агрегатное состояние духовного вещества, чреватое разнообразными последствиями.

У Григория Чхартишвили (более известного по литературному проекту «Борис Акунин») есть весьма любопытный и основательный трактат, озаглавленный «Писатель и самоубийство». Расщепление личности автора, происходящее при продуцировании им героев и образов, убедительно показано в трактате как одна из основных причин, делающих профессию писателя весьма рискованной в плане возможного суицида. А ведь самоубийство — крайняя, но не единственная опасность, подстерегающая заигравшегося творца (заигравшегося в Творца — так будет правильнее). Здесь и социальная дезадаптация, и психологический дискомфорт, не складывающиеся семейные и личные отношения и много прочего, не менее приятного.

Наша индивидуальная оболочка, как телесная, так и психическая, конечно, ограничивает восприятие и опыт. Но она же выполняет и защитную функцию, оберегая личность от диссоляции, спасая от случайных травм. Разрушение собственной оболочки, выход за ее пределы и, паче того, внедрение инородных элементов — суть добровольная деструкция, деконструкция самого себя. Тот, кто, пусть играя, пытается стать всем и всеми, рискует остаться никем и ничем, лишь гнездилищем выдумок, местом обитания призраков. Актер на сцене перевоплощается в своего персонажа (и этот опыт не проходит для него бесследно и безнаказанно), но писатель воплощается одновременно в десятки и сотни своих героев! О внутреннем комфорте тут не может быть и речи — добро, если незадачливый игрун не слетит с катушек.

Однако другого пути, возможно, и нет. Либо он открыт не для всех — только для некоторых, личностей одаренных, но в то же время дисциплинированных и приученных к различению между игрой и реальностью.

Практика интериоризации необходима писателю для создания полноценного произведения так же, как и способность к экстериоризации. Можно посоветовать простое упражнение. Если вы возвратились с неудачного свидания, не спешите излить горечь в романтическом рассказе от своего имени. Попробуйте написать про то же самое свидание, но с позиции девушки.

Война — явление безмерно более трагичное. Но и здесь, если участник боевых действий попробует написать текст о сражении от лица комбатанта противоположной стороны или мирного жителя, он найдет, что горизонты текста расширились и даже его собственный опыт автоматически переосмыслен и переоценен.

Заключаем, что писатель участвует в сверх-историческом проекте универсализации опыта, включая сложные и рисковые механизмы экстериоризации собственного опыта и интериоризации опыта других людей (и не только людей).

В нравственном ключе это может быть реализацией максимы «не бывает чужой боли» — колокол звонит по тебе. Но не обязательно. Посредством литературы можно не только сопереживать чужим страданиям, но и со-радоваться чужим успехам, развлекаться чужими развлечениями, путешествовать по чужим путевым заметкам, — так или иначе, делать чужой опыт своим, извлекать из этого пользу, выгоду или удовольствие. Можно и осуществить эскапистский план, удалившись до той или иной степени в мир вымышленного опыта, при чтении, например, фолиантов Толкиена.

Опыт войны и проза о войне

Но вернемся к началу эссе. К прозе о войне, более конкретно — о выпавших на наш век «чеченских» войнах. Имеет ли право — пусть не фактическое, — фактического права никто у него не отберет, — но моральное право — человек, не участвовавший в этих трагических событиях или участвовавший «недостаточно», писать об этом стихи, художественную прозу, эссе и что бы то ни было еще? И, с другой стороны, всегда ли острота и глубина собственного опыта необходимы и всегда ли достаточны для создания адекватного художественного изображения? Ведь бывает, что опыт настолько травматичен, что не поддается экстериоризации, а любая попытка приносит только новую боль: здесь психика, стремясь к самосохранению, предлагает другой вариант — вытеснение. Потому многие, очень многие из очевидцев самых ужасных событий «ничего не помнят». Кажется, писателю предписана некоторая доля потусторонности, даже и в самой гуще событий, которая сделает возможным не редуцировать собственный опыт, не замкнуть его, не отождествить всецело с собственной личностью, но расширить и обобщить, а впоследствии манифестировать в универсальной форме.

Один мой близкий родственник обе войны пережил дома, никуда не выезжал. Старался не особенно много передвигаться даже и по нашему селу. Это было опасно. Во время бомбежек шел в убежище — бетонный подвал, который еще в мирное время выкопали для хранения картофеля. Все, что он знает и помнит о войне, — это сырые стены картофелехранилища, дрожащие от разрывов снарядов и бомб. Он — непосредственный очевидец.

Может, этот пример покажется анекдотичным (если слово «анекдот» вообще допустимо в такой несмешной теме, как война и массовые убийства мирных жителей). Тогда возьмем солдата, бывшего не очевидцем, а активным участником войны. Он видел гораздо больше. Видел стены блок-поста, броню БТР, видел прицел собственного автомата и фигурки людей, перебегаю-

щие от одного дома к другому, в чью сторону он стрелял из автомата. Видел, как у товарища, стрелявшего рядом, осколком гранаты оторвало руку. Слышал, как матерится комвзвода. Чувствовал голод и холод в пустом желудке. Он видел много, очень много. Слишком много для одного человека.

И все же мало для того, чтобы написать «Войну и мир».

Если он сядет за «Войну и мир», ему придется работать с источниками, читать рассказы других людей, включая противника, жалобы мирных жителей, доклады генералов, ему придется задействовать чужой опыт: своего все равно окажется недостаточно.

Один человек не может быть очевидцем всего, что происходит даже на одном маленьком участке «фронта», в одном локальном бою, не говоря уже про всю войну. Поэтому любой автор, пишущий панорамную картину, будет составлять текст и как не-очевидец, даже если он присутствовал в какой-то точке при описываемом событии.

И еще более конкретно. Оставим графа Льва Николаевича Толстого, не будем тревожить камергера Александра Сергеевича Пушкина[2], про Гоголя, любившего военную тематику, тоже не станем чесать языки. С другой стороны, не будем размахивать знаменем, выпавшим из рук поручика Лермонтова, клясться именем рядового Ремарка и прочая и прочая. Претензии никак не к ним.

А к нам, пока еще живущим и по масштабу дарования несравнимо более скромным. Может ли писать о чеченской войне писатель Владимир Маканин, который не прошел по ее пыльным и слякотным трассам? Может ли писать о чеченской войне Герман Садулаев, который не взял в руки автомат и не сложил голову за Ичкерию и Басаева в неравной схватке с тактической ракетой «Точка У»? Может ли писать о чеченской войне Захар Прилепин, который служил в Чечне в составе отряда ОМОН, и насколько ему дозволено? Можно ли ему писать только про ОМОН или еще и про СОБР, а про ВВ пусть пишет другой писатель, который служил в ВВ? Может ли писать о войне Аркадий Бабченко, который тоже служил, но все ли теперь ему позволено? Если он служил в Веденском районе, может ли он описывать стычки, которые были в то же самое время в Ножай-Юртовском районе и о которых он знает только со слов других солдат? Или лучше пусть тогда пишет про свое Ведено, а чего сам не видел, того и не трогает? А как быть с авторами ура-патриотических фильмов для Первого канала и победительных книженций, которые авторы не то что в войне, а и в уличной драке никогда не участвовали?

Ad absurdum, нет, это не наш метод. Я действительно хочу разобраться.

Что я сам думаю? Я думаю, что нет ответа на эти вопросы. Потому, что они сформулированы так, что на них не может быть ответа. Нет и не может

---

[2] Мы привыкли считать, что Пушкин был камер-юнкером, однако на этот счет существует и другая точка зрения, которую, как видно, разделяет и автор эссе. См.: *Королев А.* Камергер двора его императорского величества. — «Нева», 2006, № 4 (*ред*).

быть одного диагноза и единого для всех рецепта, кому и о чем писать. В каждом случае надо смотреть на произведение. И на автора тоже, но не через призму бинарной дефиниции — «служил — не служил», «воевал — не воевал». «А если такой умный — то почему строем не ходишь?»

При этом и уважение к участникам и очевидцам необходимо, и внимание к деталям, и аккуратность в работе с фактами и источниками. Все это — составляющие писательского ремесла.

И не в размере дарования дело, мол, мастеру позволительно все, — кто его измерит, дарование? Да и стыдно дарованиями меряться.

Как и опытом, впрочем.

Я написал длинное эссе, поведал об индийском мифе и христианских мистиках, нагородил умных слов вроде «экстериоризация — интериоризация» (термины применяются не в строгом научном значении, принятом в социологии и психологии, а в литературоведческом смысле, раскрытом контекстом) единственно для того, чтобы показать: сложное это дело, писательство. Сложное, рискованное. Нет в нем простых решений. Оно, если хотите, часть великого плана духа по соединению опыта живых существ, каждое из которых иначе живет и погибает в собственной утлой скорлупе. Творение духа. А дух — Он дышит, где хочет.

ПРИЗРАК СОВРЕМЕННОГО ГЕРОЯ

В полудетском фильме «Пираты Карибского моря» пираты-призраки непрестанно дерутся друг с другом, но никто не может победить. Почему? Потому что, во-первых, они пираты — не могут договориться миром. Во-вторых, потому что они призраки — не могут друг друга укокошить. Физические действия героев лишены итоговой цели — победы, а их словесные действия лишены конечного смысла — понимания.

Этот голливудский сюжет очень напоминает современную культурно-языковую ситуацию и ее иллюстрацию художественными текстами. «Пиратов» у нас не снимают — у нас пишут книги. Книги, которые можно объединить по общему признаку: отсутствие г(Г)ероя. Героя действующего и деятельного, подтверждающего подлинность своего существования способностью совершать если не подвиги, то, по крайней мере, поступки. Затерявшийся в потоке однообразных будней, застрявший в телекоммуникационных сетях, забившийся в офисные норы герой становится тенью самого себя, зеркальным отражением, фантомом и перестает соответствовать своему определению — «ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО литературного произведения».

Такой тип персонажа может быть предельно утрирован, доведен до абсолюта, как, например, у Виктора Пелевина в романе «Ампир В» с характерным подзаголовком «Повесть о настоящем сверхчеловеке». Однако гораздо чаще этот персонаж тождествен массовому читателю и потому воспринимается скорее как типичный и вполне узнаваемый в реальной жизни. Таковы оперившиеся, но не определившиеся молодые люди у Андрея Геласимова («Год обмана»), Владимира Козлова («Плацкарт»), Натальи Ключаревой («Россия: общий вагон»). Таковы тонущие в пучине бытовых мелочей персонажи Ольги Славниковой («Один в зеркале»), рассказов Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой. Таковы тоскующие менеджеры и уставшие от жизни клерки Евгения Гришковца («Асфальт»), Германа Садулаева («Таблетка»), Сергея Минаева («Duxless»). Добавим сюда для пространственной полноты картины «Элементарные частицы» Мишеля Уэльбека, залакируем «Любовницами» Эльфриды Елинек — и можем вполне согласиться с Хорхе Луисом Борхесом, давно заметившим, что современная

Юлия ЩЕРБИНИНА — родилась в 1976 г. в Краснодарском крае. Окончила Филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Преподает там же. Доцент, кандидат педагогических наук. Основная специализация — речеведение, коммуникативистика. Занимается исследованием дискурсивных процессов в разных областях культуры. Автор монографии «Вербальная агрессия». Публиковалась в журналах «Волга», «Знамя», «Континент». Живет в Москве.

литература «движется к хаосу: упраздняются герои, сюжет, все тонет в неразличимости».

В этом длинном и стройном ряду особо, на наш взгляд, выделяются герои Романа Сенчина («Московские тени», 2009) и Андрея Рубанова («Жизнь удалась», 2008).

Призраки и пираты анфас и в профиль

Казалось бы, персонажи произведений Сенчина и Рубанова не только не похожи между собой, более того — почти противоположны. Герои «Московских теней» — да, самые что ни на есть «призраки». Призраки удачной судьбы. Тени успешной карьеры. Молодой человек без определенного места работы («Говорят, что нас там примут»); неудачливый писатель-муж и несостоявшийся режиссер-жена («Погружение»); не ставший художником контролер реализации напитков («Афинские ночи»); мелкий клерк («Персен»); торговый консультант в бутике («Конец сезона»); рядовой сотрудник маркетингового отдела («Сорокет»)... Имя им — легион.

В литературной критике типичный сенчинский герой уже получил достаточно полную характеристику: это «обыкновенный, заурядный человек, не умный и не глупый, нормальный. Он погружен в быт, в повседневное течение жизни,.. живет скучно, тоскливо, безысходно»[1] и «замыкает собой ряд героев так называемого lost generation конца восьмидесятых, поколения раннего бунта и взрыва — и столь же ранней усталости, отчуждения от жизни, вывернувшейся из-под ног»[2].

На страницах одной книги таких людей свели детали биографии, имена общих знакомых, штрихи быта, мотивы разговоров. Получились вариации на тему одной частной — неустроенной, неумелой, неудавшейся — человеческой жизни. Собирательный портрет современника в бытовом интерьере. «Я — продукт настоящего времени», — заявляет о себе герой, носящий имя и фамилию автора. «Роман Сенчин из тех хороших писателей, которые всю жизнь пишут как будто одну и ту же книгу, — замечает Лев Данилкин, — поэтому его работы легко закатать в придуманную задним числом структуру так, чтобы они выглядели цельным текстом»[3].

Герои произведений Рубанова, на первый взгляд, полная противоположность сенчинским: завоеватели постиндустриальных сокровищ из набора must have — квартира (желательно внутри Садового кольца), машина (по возможности несколько), загородный дом (хорошо бы по Рублевскому шоссе), отдых за рубежом (лучше несколько раз в году). Люди амбициозные, авантюрные, азартные. Не всегда чистые на руку, но всегда с обостренным чувством собственного достоинства. Как и положено «пиратам».

Сенчин транзитом вывозит своих персонажей с острова Невезения, Рубанов — с острова Сокровищ. Однако, несмотря на все очевидные соци-

---

[1] *Беляков С.* Призрак титулярного советника // «Новый мир», 2009, № 1.

[2] *Погорелая Е.* Путь чувственности к духу (Роман Сенчин. Вперед и вверх на севших батарейках) // «Октябрь», 2008, № 5.

[3] *Данилкин Л.* Эталонные образцы «нового реализма» // «Афиша», 2009, № 59.

альные, имущественные, мировоззренческие различия, и те, и другие живут в состоянии постоянного внутреннего дискомфорта и — главное! — в полном отсутствии счастья.

Судьбы героев «Московских теней» описаны через разочарования, несбывшиеся надежды, нереализованные планы и невоплотившиеся мечты. «Все вокруг счастливей меня. По крайней мере — на вид», — сетует Хрон («Афинские ночи»). «Не так-то жизнь идет...» — жалуется Никита Сергеев («Конец сезона»). На Юрьева «давили гулкая тишина, зудящее бездействие, а внутри все сильнее жгло, глубже кололо» («Сорокет»). Обобщение этих констатаций дается еще в самом начале хроники: «Лишь немногим везет, — летят красиво, приземляются, не отбивая ног, в заранее выбранном месте, где-нибудь на живописной лужайке; это называется — хорошо прожитая жизнь» («Говорят, что нас там примут»). Нельзя не согласиться с тем, что «типичная сенчинская история — провалившаяся попытка выехать из колеи, неслучившееся, перегоревшее раньше времени, невстреча, неудачное событие»[4] и что «именно невоплощенность — главная метафора и главная трагедия Сенчина. Внутренний надлом пробивается в мир, искажает любую возможность гармонии»[5].

Одним словом, Сенчин постоянно фиксирует *деликты* сознания и мировосприятия своих персонажей.

У Рубановского Матвея, казалось бы, напротив, никаких деликтов — «жизнь удалась»: квартира, машина, жена-красавица, материальный достаток. Но в душе у него, внешне такого уравновешенного, успешного и удачливого, все плотнее «сдвигаются, смыкаются какие-то неопределяемые преграды», заставляя «превозмогать все большее сопротивление окружающей действительности». И на сорокалетнем рубеже накрывает пониманием того, что на самом-то деле он «не испытывал радости от жизни», что это не разочарование, не скука и даже не кризис среднего возраста — просто «тоска по счастью». Обнаруживается, что «мир состоит не только из блестящих героев. Кто-то должен заниматься более простыми вещами. Вином. Спичками. Мылом. Блестящие герои мчатся на подвиги в своих блестящих колесницах — а кто-то маленький и очень обыкновенный должен переживать о том, хорошо ли смазаны колеса их колесниц».

Герои Сенчина и Рубанова живут в одно время и в одном городе, но настоящее место их встречи носит название «Несбывшееся». Один из «маленьких и очень обыкновенных» героев «Московских теней» наблюдает из окна «беснующееся огромное солнце» — то самое, которое так жаждал приручить, присвоить, приватизировать Матвей, с детства мечтавший об «оранжевом небе» над головой. Однако пределом мечтаний и возможностей оказалось лишь покрасить в оранжевый цвет потолок квартиры. «Красивый и счастливый внешне, неуверенный внутри. Только один раз решился на шаг за пределы ниши-убежища, и это стало ошибкой», — справедливо характеризует рубановского персонажа Валерий Иванченко[6].

---

[4] Там же.

[5] *Погорелая Е.* Указ. соч.

[6] *Иванченко В.* Иметь и быть // «Книжная витрина», 29 апреля 2008.

В результате получается, что персонажи обоих произведений — слагаемые одной суммы самых обыкновенных и типичных для своего времени, но вне зависимости от частных обстоятельств неудовлетворенных жизнью людей. И выходит, опять же, как в «Пиратах Карибского моря»: даже те герои, которые до последнего представлялись «пиратами», тоже оказались «призраками». При явной внешней разнице — налицо глубокое типологическое родство сенчинских и рубановских персонажей. Они на одном корабле.

Между «убогим» и «дорогостоящим»

Сущностная разница героев Сенчина и Рубанова если и обнаруживается, то в сфере языкового сознания, формах и способах словесной рефлексии окружающей действительности

Отправной точкой для рассуждения об этом можно считать открывшееся рубановскому Матвею на пороге смерти сознание того, что «в живом мире все требовало оценки — так, как требует живое: настойчиво, грубо, безапелляционно». Эта взыскующая аксиологичность реального мира воплощается в индивидуальной картине словесных представлений.

Любимые определения сенчинских героев — «убогий» и «быдляцкий» — почти не имеют положительных оппозиций, ибо вся, за исключением отдельных редких проблесков, жизнь представляется усредненно серой и беспросветно тоскливой. Такое мировосприятие попросту не предполагает противопоставлений — возможно лишь варьирование оценок серости: убогая или быдляцкая. «Две крайности одной и той же сущности», — как говорил киношный пират Джек Воробей. При этом первая характеризует материальную среду, вторая — духовную сферу: «убогое жилище», «убогая земля», «убогая гостиница» / «быдляцкие стихи», «быдляцкие сюжеты». По поводу же частных определений герои рассуждают и полемизируют. Яркий пример — «Афинские ночи», где Борис заявляет, что он «не быдло, как некоторые, а продвинутый молодой человек», после чего спорит со своими друзьями о возможности оценки стихотворения поэта Одинокого как «быдляцкого» и изображении «быдляцких сюжетов классическими мазками».

Рубановские персонажи оперируют определениями в оппозиции «ординарный / дорогостоящий» — именно эти два эпитета наиболее частотны в их суждениях и оценках. «Это все довольно ординарно», «ординарное вино», «ординарное авто», «ординарно обставленная приемная», «ординарные парни» / «дорогостоящая мобильная трубка», «дорогостоящая преграда», «дорогостоящий прикид», «дорогостоящие одежды», «дорогостоящие кожаные плащи», «дорогостоящие дубовые бочки», «дорогостоящие бутылки», «дорогостоящие мебеля»... «Дорогостоящие женщины», наконец! Причем «ординарно» — это не «быдляцки» и не «убого». Скорее простенько, банально, без изысков, но главное — противоположно всему «дорогостоящему».

Тексты Рубанова являют наглядный пример реализации метафоры денег: предмет определяется через свою товарную стоимость, один образ характеризуется денежной ценностью другого образа. Эта тенденция прослеживается еще с первого рубановского романа «Сажайте, и вырастет»,

изобилующего фразами, типа «мой галстук стоил минимум втрое дороже», «вся операция стоила, как три пары моих ботинок», «его месячное жалование равнялось моему доходу примерно за полчаса работы»[7]. В романе «Жизнь удалась» автор доверительно сообщает читателю, что «за три пятьдесят можно иметь только "муссо"» или что «за месяц вложенные сто долларов дают не менее тысячи дохода, при условии бесперебойности бизнеса». «Миллион — слово волшебное», — эта фраза Разблюева становится ключевой для описания речемышления всех остальных персонажей, включая даже милицейского капитана Свинца, который, вроде, и по другую сторону баррикад, но в той же аксиологической системе представлений об окружающем.

Другое разграничение в языковой картине мира, отраженное в обоих анализируемых текстах, вызвано к жизни самим социальным расслоением российского общества с начала 1990-х, что, в свою очередь, определило размежевание в сфере коммуникации.

Так, молоденькой Марине в рубановском романе в одно ухо влетали «рассказы о наездах, предъявах, распральцовках», в другое — об «акцизах, аккредитивах и межбанковских расчетах». «Жизнь удалась» содержит и другие многочисленные примеры новояза и криминального арго («съехать с базара», «просрать лавэ», «поставить на карман», «штука баксов», «качнуть рамс», «крутая тачка», «крыша», «погремуха»). Роман из «Московских теней» пересказывает телепередачу, в которой доказывалось, что «наше общество развивается по зековским законам. Дескать, порядки, язык, взаимоотношения между людьми — все как в колониях строгого режима». Заметим, что этот факт уже достаточно полно отрефлексирован как в литературных произведениях (например, у Виктора Пелевина), так и в научных исследованиях[8].

Идея расслоения языка развивается Рубановым в справедливом утверждении о том, что низовой нише разговорного языка необходимы особые коммуникативные маркеры действительности: «В лексиконе... бандитов, убийц, мошенников и прочих злодеев часто употреблялись эпитеты "реально" и "конкретно". Люди дна всегда считали, что внешняя сторона жизни — одежда, манеры, произносимые слова — ровным счетом ничего не значит. Главное — цели и намерения. Чего хочет человек реально и конкретно? Денег? Женщин? Комфорта? Безопасности и покоя? Славы, власти, положения в обществе?» Между тем страх и осторожность, напротив, заставляют коммерсантов и бизнесменов разговаривать языком эвфемизмов. Характерным примером можно считать диалог Свинца и Разблюева: «— Короче, кабинет сделан, чтоб пыль в глаза пускать, — подытожил Свинец на понятном себе языке. — Показуха. — Коммерческий расчет, — аккуратно поправил Разблюев. — Я так и сказал». Другой пример: «— Значит, твой шеф — богатый человек. — Нет, обеспеченный». Ответ разозлил капитана: «Что за птичий язык у этих бизнесменов».

---

[7] Отмечено в: *Владимиров А.* Одна книга — два мнения. Андрей Рубанов «Сажайте, и вырастет» // «Городская газета», 2006, № 29.

[8] См. об этом: *Снегов С.* Язык, который ненавидит. М., 1992.

Бунт призраков или призраки бунта?

Лев Данилкин дал хорошее определение героям Романа Сенчина: «...Люди у него — хорошие зеркала, в них много чего видно. И еще больше — сквозь них»[9]. Что именно можно разглядеть «сквозь» всех этих андреев и никит, маркиных и юрьевых, как два ботинка одной пары похожих друг на друга?

В начале «Московских теней» автором-героем формулируется тип речи, который используют персонажи всех последующих частей хроники. Люди, по самоопределению героя, «вываливают шлаки своих размышлений» и «гадят в его мозги». Таким образом, сам продукт мысли-речи представляется как нечто вторичное — отработанный материал, исчерпанный ресурс, «словесные отходы». Роль «отхожих мест» речепорождения отводится у Сенчина тесным кухням и спальням, дешевым кафе и гостиничным номерам, дачным посиделкам и семейным застольям. Люди бесконечно сетуют и жалуются. Этот речевой жанр, по аналогии с религиозными его эквивалентами, с легкой руки западных лингвистов получил название *литании* и *ламентации*[10]. Общаясь с разными людьми, Роман отмечает, что «темы их монологов похожи почти дословно. Все плачут о Родине. У всех не сложилась жизнь, не оправдались надежды», — из таких вот литаний преимущественно и состоят «Московские тени».

Против чего конкретно ропщут (именно ропщут, но никогда не бунтуют!) сенчинские герои? Ключевые позиции их претензий к жизни укладываются в принцип «трех Б» — к такому описанию неожиданно одновременно пришли Валерия Пустовая, выделившая «безденежье, безбабье и бесславье»[11], и Сергей Беляков, назвавший «бессмысленность, бесперспективность, безысходность»[12] в качестве основных жалоб на судьбу со стороны персонажей Сенчина. Предметами литаний становятся гримасы нового капитализма («Говорят, что нас там примут»); «убогий мещанский мирок» и «трансформация в мелкобуржуазное быдло» некогда творческих личностей («Погружение»); отсутствие лучшей доли и чужой успех («Афинские ночи»); беспросветность быта («День рождения», «Конец сезона»); рутина офисных будней («Персен») и, наконец, невозможность взаимопонимания, человеческая разобщенность («Сорокет»).

---

[9] *Данилкин Л.* Указ. соч.

[10] *Ламентация* (лат. lâmentâtio — «рыдание, вопль»), *литания* (лат. litania < греч. litaneia — «моление, просьба») — «речевой период, в котором говорящий излагает свои жалобы, обиды, тревоги по поводу разного рода неприятностей, трудностей, несчастий, болезней, утрат, а в конце произносит какую-нибудь обобщенно-фаталистическую фразу или горестный риторический вопрос» (*Рис Н.* «Русские разговоры»: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. — М., 2005. С. 160).

[11] *Пустовая В.* Новое «я» современной прозы: об очищении писательской личности (В. Маканин — С. Гандлевский — Р. Сенчин — И. Кочергин) // «Новый мир», 2004, № 8.

[12] *Беляков С.* Указ. соч.

В этом смысле Сенчин — действительно «первая манифестация заболевания, первое заявление современного человека о потребности в очищении»[13]. Заметим: именно манифестация, но не реализация, не действие. Бессилие что-либо изменить не только вообще, но и в собственной жизни, герой Сенчина иронично называет «словесной революционностью».

Несмотря на внешнее, материальное благополучие, аналогично и рубановский Матвей мысленно спрашивает себя, не совершить ли ему «очистительное действие, известное под точным названием "опомниться"? Упасть в свою память, провести прямую линию из прошлого в настоящее и только потом уже дальше — вперед?» Не понимающий, жив он или уже умер, Матвей в финале романа превращается из «пирата» винных морей в собственного «призрака» — между жизнью и смертью, сознанием и комой, словом и молчанием. И получается, что правда глубже, но и — страшнее: люди действительно «хорошие зеркала», однако «все зеркала искажают то, что отражают. А видео- и кинопленка — тем более. Стопроцентно подлинным бывает только взгляд мертвого человека на себя живого. Он выявляет конечную истину».

Таким образом, посыл Сенчина: человек *слаб*; посыл Рубанова: человек *уязвим*. Но в любом случае любой бунт против заданных правил миропорядка возможен лишь за пределами нормы — в моральных и социальных деликтах. Самый простой — «заорать, запрыгать, стол кинуть в витрину» (герои «Афинских ночей»); более сложные и опасные — наркоторговля (Кораблик), политические (Никитин) и финансовые (Знаев) махинации, за что возможно попадание в зиндан (Матвеев). Если герои Сенчина пассивно смиряются с таким положением вещей, то героям Рубанова попросту некогда глубоко рефлексировать свою жизнь — им надо, как конкистадорам новые территории и пиратам новые моря, «осваивать» рынки и суммы.

Однако в середине повествования в рубановском романе все же появляется и неожиданно завоевывает позиции главного Г(г)ероя милицейский капитан Свинец — брутальный и пассионарный, выражающий пусть локальный, ограниченный пределами МКАД, но протест против тотальной лжи и всеобщей фальши происходящего: «Довольно с нас миллиардерских понтов, довольно гадов, демагогов, теоретиков светлого будущего, народных депутатов в блестящих тысячных пиджаках... Довольно с нас бесконечно протухающего, заасфальтированного натуральным жиром мирка внутри Кольцевой автомобильной дороги, выдаваемого группой аферистов в галстуках за нечто настоящее».

Типично голливудским манером и — опять же — почти по-пиратски захватывая логово преступников, Свинец восстанавливает попранную справедливость: все злодеи к концу повествования повержены. Но полный хеппиэнд невозможен ни в романе (Матвей все равно гибнет), ни тем более в жизни (всех злодеев никогда не изловить). «Важно лишь одно: знать, что человек может и чего человек не может», — как говорил пират Джек Воробей.

Помимо этого, есть и другое, более скрытое, что делает призрачным экзистенциальный бунт сенчинских и рубановских героев против наличного положения вещей.

---

[13] *Пустовая В.* Указ. соч.

«Маленький кризис самоидентификации»

Экономика, политика, культура — в постиндустриальном обществе реальное подменяется виртуальным, слова и действия замещают их симулякры. Эта позиция, уже достаточно хорошо артикулированная в системе современных гуманитарных наук, получает образное воплощение и наглядное развертывание в художественных текстах

В романе Рубанова хорошо показано, что́ представляло собой ментальное и речевое пространство России эпохи 90-х: «Продавцы поддельных штанов, поддельных парфюмов, поддельных видеодисков, поддельных ботинок, поддельных автомобильных частей, поддельного нижнего белья, поддельной питьевой воды пытались убедить всех в подлинности своего товара». При этом «методы и приемы убеждения отличались. Одни пугали, другие смешили, третьи раздували щеки». В справедливости этого утверждения сам автор пытается убедить читателя всеми тремя названными способами: смешные на первый взгляд комплексы раздувающих щеки бизнесменов и еще более раздувающих щеки бандитов на поверку оказываются пугающими, страшными. «Забавно до дрожи», — как говорил пират Джек Воробей.

Начав занятия бизнесом, Матвей с удивлением открывает, что в этой сфере все совсем не так, как он себе представлял: «Главное — не выполнить обещание, а вовремя предупредить, что обещание не может быть выполнено. И — передоговориться». Компаньон Матвея Знаев продавал не вино, а наличные деньги, поскольку в тот момент «разница в стоимости бумажных купюр и безналичных средств, виртуально обращающихся в банковской системе, доходила до пятнадцати процентов».

Подлинность выявляется теперь не из слов, а вычитывается из несловесных элементов. О том же Знаеве говорится: «Его не обманешь. Он посмотрит на твои глаза, на руки, на жесты — и сразу поймет, честен ты или нет». Живущий человек «своего голоса не слышит. Звуки доносятся до его ушей искаженными, резонирующими внутри черепной коробки». Услышав свой голос в записи, Матвей «испытал маленький кризис самоидентификации».

В сложившейся ситуации коммуникативного кризиса современный человек ищет различные способы создания иллюзии подлинности своего существования. Например, за счет умножения собственных сущностей. Как говорили древние, «Nomen est omen» — «Имя есть судьба». В произведении Рубанова эта сентенция обретает статус художественного приема. Помещенное в рамку толстовского экзистенциального дискурса авторское утверждение: «Всего лишь земля, всего лишь небо, а меж ними человек, несущий свое имя как исчерпывающее доказательство своего существования». Отсюда — «тройное» и оттого вызывающее неизменную гордость обладателя имя Матвей Матвеевич Матвеев. Отсюда — тройное «К» в имени Кораблик Кирилл Кузьмич. Отсюда — три брата Свинца. Но существование лишь синоним бытия, но не синоним подлинности. В тройном «М» просматриваются контуры знаменитой в то время финансовой пирамиды МММ — симуляции возможности быстрого обогащения. И потому сенчинский торговый консультант Никита Сергеев, напротив, хочет дистанцироваться от собственного имени, затертого постоянными и фамильярными обращениями покупателей, «буд-

то щипавших его же именем, смеющихся». В собственном имени герою мнится отождествление с ненавистным и ненастоящим миром.

Другая попытка собрать рассыпающиеся слова и ускользающие смыслы носит характер ретроспекции, или, по-рубановски, «падения в память». Например, апелляция к юности, когда все казалось таким простым и понятным. Юность поколения героев Сенчина и Рубанова совпала с пиком рок-движения. Сергей Беляков справедливо указывает на то, что «Роман Сенчин вырос в эпоху, когда литература уже перестала играть в русской культуре главную роль, важнейшим из искусств была тогда рок-музыка. Отсюда особое место рок-музыки в его прозе. Рок — воспоминание о какой-то другой, уже невозможной для его героев жизни. Упущенный шанс, точнее — иллюзия того, что шанс когда-то был»[14]. Рок — «эта музыка, казалось, была способна вернуть обычную бодрость», — представляется Юрьеву («Сорокет»). Но и она оказывается очередным фантомом. Бывший музыкант, а нынешний писатель-неудачник Маркин, изредка слушая собственные записи, удивляется, что «тексты песен словно бы не его. Теперь такие не пишутся... да и вообще никакие особо не пишутся» («Погружение»). Аналогично у Рубанова: бывший рок-музыкант Знаев теперь проворачивает банковские операции, а талантливый барабанщик Разблюев лишь по субботам играет в клубе, все остальное время просиживая в офисе.

Оба анализируемых произведения являют также весьма наглядные и разнообразные примеры словесного бессилия, беспомощности языка в мире распадающихся коммуникаций. «Через силу пишу, гадость пишу, для того, чтобы жрать», — признается безымянный сценарист из «Московских теней». Маркин «почти что против своей воли» записывает свои «полудневниковые размышления». Хроныш злится, что «должен держаться и быть вежливым, деловито-корректным», тогда как очень хочется агрессивно отвечать продавцам в магазинах, торгующих продукцией его фирмы. Сергеев сожалеет, что в разговоре с женой «не может подобрать легких, бодрых, живых слов, интересное рассказать...» Не случайно в ряду сущностных черт типичного сенчинского героя Лев Данилкин называет, помимо прочих, «безъязыкость»[15].

Словесное бессилие, в свою очередь, приводит к замене речевых действий физическими. В романе «Жизнь удалась» как в детской считалке: (Кирилл) Кораблик выплыл из тумана — вынул ножик из кармана. «Вынуть ножик» (пистолет, «ксиву», пачку купюр — нужное подчеркнуть) становится равнозначным «произнести», «сказать», «выразить». Капитан Свинец предлагает подробную инструкцию предъявления служебного удостоверения: «Представьте себе, что вы хотите схватить потенциального злодея за физиономию пятью растопыренными пальцами. Занесите руку как бы для удара. Поднимите ее на уровень головы, отставьте локоть. Подайтесь всем телом вперед. Еще секунда, и вы оторвете ему от его головы его лицо — вот как это должно выглядеть. Теперь вложите в пальцы занесенной руки удостоверение в раскрытом виде. Таков лучший способ предъявления красной книжечки». История и литература, как известно, имеют свойство по-

[14] *Беляков С.* Указ. соч.

[15] *Данилкин Л.* Указ. соч.

вторяться, и данный прием мы тоже уже проходили — вместе с Маяковским («Ваше слово, товарищ маузер»).

Помимо этого, в обоих произведениях (особенно у Сенчина) показано, как в современном мире реальные и индивидуальные коммуникации все настойчивее вытесняются виртуальными и массовыми. «Телевизор — единственное, что нас объединяет, — говорит один из героев «Московских теней» о своих отношениях с женой. — Телевизор заставляет прекращать наши ссоры, притупляет обиды; он наш друг, незаменимый, безотказный помощник». У Г.-Г. Гадамера в «Актуальности прекрасного» есть замечательный пассаж про современные квартиры, где «столовые устроены так, что каждый сидящий за столом человек, поднимая глаза от тарелки, видит перед собой экран телевизора, предназначенного специально для него». Комментируя этот образ, философ иронизирует: «Можно вообразить себе дальнейший прогресс техники, когда у человека на носу сидят очки, но он не смотрит в очки, а видит в их стеклах телепередачу»[16].

Почти все герои сенчинской хроники проводят дни в ожидании той или иной телетрансляции, планируют день в соответствии с сеткой телевещания, строят разговоры вокруг обсуждения передач. В одном из эпизодов «Конца сезона» из телевизора «без выражения, почти по складам говорили: "Живи еще хоть четверть века — все будет так. Исхода нет..."», — срастаясь с сознанием зрителя, телеэкран транслирует его внутреннее состояние. Из средства массовой коммуникации телевидение превращается в средство индивидуального разобщения, а сам телевизор становится своеобразным топосом — семейным «местом встречи».

В произведении Сенчина раскрывается и амбивалентность современных представлений о телевизионной культуре. Так, у Никиты при взгляде на свою семью возникает ассоциация с «Семейкой Симпсонов», а приметы весны видятся ему «не живыми, не личными, а словно из какого-то фильма». Борис негодует по поводу того, что «везде проплаченные материалы, у каждого свой хозяин». А Роман и вовсе «слышал, что от нее, от этой башни [Останкинской телевизионной], исходят какие-то токи, вредная энергетика, и превращает жизнь в дерьмо». В таком контексте проступает каламбурный, но, одновременно, и символический смысл текста известной рекламы, которую Юрьев слышит по радио: «Останкино — новый лидер мясной продукции».

Затрудненность полноценного общения, иллюзия возможности взаимопонимания во многом объясняют изломанность, вывихнутость индивидуального языкового сознания современного человека. Роман сознательно культивирует философию разобщения в отношениях с женой: «...Я сохраняю между нами стену, так, в общем-то, легче, да и, по-моему, правильнее. Каждый должен быть поодиночке, если с кем-то соединишься, крепко прилипнешь к кому-то, скорее пойдешь ко дну. Барахтаться надо порознь». Ту же философию, только в деловых контактах, исповедует рубановский Знаев в отношении Матвеева, постепенно *отделяясь* от него как компаньона и неуклонно *отдаляясь* как от друга.

---

[16] *Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. — М.: Искусство, 1991. С. 91.

В литературной критике последовательно отмечается экзистенциальность как сенчинской (С. Беляков), так и рубановской (Л. Данилкин) прозы. Но странная это какая-то экзистенциальность — не бытийная, а бытовая. Эфемерная. Экзистенция «призраков». «Заинтересоваться нечем, а недоумевать лень» — формула мировосприятия героев «Московских теней». У Матвея «снаружи души уже корка образовалась, черная, черствая». Над обоими произведениями незримо витает дух минаевского «Духлесса». Такой вот каламбур, даром что Сергей Минаев, как и Матвей у Рубанова, занимается поставками вина в московские рестораны.

Как представляется, разница не в способе, а в степени индивидуальной языковой рефлексии. «Маленький кризис самоидентификации» рубановского персонажа в сознании героев Сенчина обретает свойства неизменности и неизбывности: «...Я шагаю по лесенке все дальше и дальше и уже без ужаса и интереса встречаю новый день, отправляюсь с утра на безграничный, вонючий оптово-розничный рынок человеческого общения». Это очень удачно найденная метафора, если вспомнить, что значение греческой *агоры* заключает в себе архетип речи (греч. «-agor-» — «говорить»), тогда как римский *форум* (лат. «forum» — «торжище»), утрачивает в своей внутренней форме это значение и превращается из места общения в место торговли.

Вот только если Древний Рим, будучи хоть и вторичной культурой, оставил потомкам блестящие образцы словесного искусства, то современная цивилизация скорее всего войдет в историю как эпоха коммуникативного безвременья. «Будущие поколения завидовать нам будут и удивляться страшно: почему это ничего от нашего времени не осталось. Одна муть полусказочная какая-то», — с горечью констатирует сенчинский Маркин. В таком контексте особым смыслом наполняется последняя сцена «Московских теней»: Юрьев «сидел один, слова иссякали, их сменяли вздохи, бормотание».

Ключи от сундука

Ключ к сундуку с сокровищами читательских доверия и интереса может быть подобран различными способами, и вовсе не обязательно пиратскими. Но любая художественная стратегия позиционирует писателя как определенный тип языковой личности

Общая черта прозы Сенчина и Рубанова — предельная автобиографичность, усиленная максимальной близостью автора и героя, вплоть до совпадений имен. При этом (упрощенно) рубановский тип — *брутальный пассионарий*, сенчинский — *пассивный пессимист*. Реальные это авторские роли или коммуникативные маски, а может и вовсе оценочные ярлыки, которые хочется поспешно и ошибочно навесить после знакомства с конкретными текстами?

Пытаясь разобраться, предоставим вначале слово самим авторам. «Кое-что я пишу специально, чтобы разозлить читателя на своих героев и, прежде всего, на себя; чтобы человек начал действовать, перестал быть равнодушным», — говорит в одном из интервью Роман Сенчин[17]. Писательская позиция Анд-

[17] *Кутенков Б.* Герой нашего времени // «Литературная Россия», 17 апреля 2009, № 15.

рея Рубанова также отчасти раскрывается в его прямой речи: «Я вообще не верю в художественный вымысел как таковой. Я верю в "репортаж из головы" — это мой жанр»[18]; «Если мне завтра кто-то предложит душу дьяволу продать, я немедленно это сделаю, чтобы записать свои ощущения»[19]; «Если мне надо написать наркомана, то я пробую на себе»[20]. Сомнительность последнего заявления высвечивается весьма показательным интернет-комментарием: «Матвея в книге "Жизнь удалась" убили... Попробуй!»

Вообще писать по принципу «испытано на себе», используя при этом образ героя-автора, — ход не новый и хорошо известный современной российской литературе хотя бы по «Эдичке» Эдуарда Лимонова или рассказам Захара Прилепина. В каждом индивидуальном случае такой писательский выбор в соединении с личностным речевым типом позволяет решить те или иные художественные задачи, основной из которых является достоверность повествования.

Что дает сенчинскому герою-пессимисту его пассивность? Это, кажется, весьма точно сформулировано Натальей Рубановой: «Инертность лирического героя лучше всяких призывов (отсасывающих энергию на себя) провоцирует в читателе безудержный бунт. И в этом заключена невероятно хитрая, на редкость эффективная функциональность этой провокативной инертности»[21]. Аналогичную мысль высказывает Валерий Иванченко: «Тот, кто не в состоянии разделить автора и его героя, спешит назвать их обоих ничтожествами и крикнуть об этом погромче. Однако такое высказывание свидетельствует только о его субъекте. Это провокация. Сенчин дает возможность читателю сознаться в своей глупости и в своем страхе, а в итоге ставит его на место»[22].

В этом отношении «Московские тени», включающие ранее уже публиковавшиеся по отдельности произведения, можно рассматривать как наиболее комплексную иллюстрацию подобной писательской стратегии: *провокация* читательской злости бездействием и инертностью, смирением и равнодушием героя. Злость становится пусковым механизмом, а затем и движущей силой, причем не только интереса, но и следующего за ним ментального действия. Взгляд сквозь «призрачного» героя позволяет читателю узнать себя. «Московские тени» указывают на их реальных обладателей. То есть хитрость заключается в том, что экзистенциальный бунт, условный на страницах литературного произведения, обретает контуры реальности за его пределами — в операциях читательской рефлексии.

Зачем сенчинскому герою биографические черты автора? На этот вопрос развернуто отвечает Лев Данилкин: «Духовная нищета Сенчина — та-

---

[18] *Старобинец А.* В зоне вызова // «Новая газета», 8 июня 2006, № 43.

[19] *Кочеткова Н.* Писатель Андрей Рубанов: «Готов продать душу дьяволу, чтобы записать свои ощущения» // «Неделя», 8 апреля 2008.

[20] *Рубанов А.* «Если мне надо написать наркомана, то я пробую на себе» // Time Out Алматы №16, 4 мая 2008.

[21] *Рубанова Н.* Роман Сенчин. День без числа // «Знамя», 2007, № 10.

[22] *Иванченко В.* Писатель и вокруг // «Книжная витрина», 8 июля 2008.

кой же обман, как экономическая несостоятельность его персонажа. <...> Сенчин не изобрел, конечно, но с блеском реализовал удивительный прием — или даже целый жанр: фальшивый автопортрет, автокарикатура. <...> Во-первых, Сенчин придумал прием: пожертвовать ферзем. Он сдал в свой роман самого себя — сократил дистанцию между автором и жизнью до минимума, чем обеспечил себе тактическое преимущество. Во-вторых, надул: вместо себя умудрился втолкнуть в роман предварительно сконструированного двойника, робота-андроида»[23].

В этом, безусловно, аргументированном утверждении просматривается, однако, попытка объяснить писательский успех Сенчина с конспирологических позиций: дескать, это некий умысел, замысел и промысел. А может быть, все проще? Прием «предупредительного выстрела» (упреждения возможных хулительных выпадов в собственный адрес) — известный коммуникативный ход, использовавшийся еще в древнерусских летописях, которые начинались этикетным самоуничижением пишущего? Плюс к этому — умножение собственных сущностей через бесконечное самопортретирование в автогероях? Нечто подобное «тройному» Матвею из рубановского романа? Тогда, развивая заданную Л. Данилкиным шахматную метафору, получаем скорее не жертву ферзем, а бесконечную перемену фигур на одной доске.

Заменяя в своих предположениях вопросительные знаки на точки, присоединимся к оценке Валерии Пустовой: «...Признаем в автобиографичности наиболее доступный для автора способ воплощения главного идейного мотива его духовного мира, и тогда произведения Сенчина предстанут перед нами как... проявление кризисного самосознания литературы, как отражение духовного неблагополучия личности современного писателя»[24]. Ценность сенчинских произведений В. Пустовая усматривает в постановке самой проблемы такого «неблагополучия», решить которую «под силу авторам с принципиально иным, чем у Сенчина, мировоззрением»[25].

Удается ли решение этой проблемы «автору с иным мировоззрением» — Андрею Рубанову?

Как мы уже убедились, оптимистическое название книги «Жизнь удалась» оборачивается писательской иронией, хотя внешне и герои, и подходы к изображению отличаются от сенчинских. Пассионарность тоже — помогает лишь поставить, но не решить вопрос экзистенциального тупика.

По мнению В. Иванченко, Рубанов «свой третий роман сделал совсем другим. Правду можно говорить и без подкупа искренностью. Для читателя есть ловушки беспроигрышней. На этот раз Рубанов рассчитал и настроил на боевой взвод красивый, надежный и крепкий бестселлер»[26]. В целом нелестно отозвавшийся об этом романе Л. Данилкин, тем не менее, так же —

---

[23] *Данилкин Л.* Вперед и вверх на севших батарейках // «Афиша», 26 декабря 2007.

[24] *Пустовая В.* Указ. соч.

[25] Там же.

[26] *Иванченко В.* Иметь и быть // «Книжная витрина», 29 апреля 2008.

как «сильный и неожиданный ход» — оценил «неожиданную рокировку главных героев» (Матвеева и Свинца) к середине повествования. В результате критиком делается вывод о том, что «жизнь не жизнь, а трюк удался»[27].

В этих, заметим, оценочно противоположных суждениях для нас важны слова «ловушка» и «трюк» — как косвенные определения стратегий воздействия на читателя. Таким образом, получается: Сенчин — *провоцирует*, Рубанов — *ловит*. И то, и другое — способы привлечения внимания и удержания интереса, ключи от заветного сундука. Точно подобранные, но пиратские — одно не исключает другого.

Примерно то же самое с разными вариациями художественной формы можно наблюдать и у Геласимова, и у Гришковца, и у Садулаева... Возникает вопрос: насколько отчетливо просматривается в нашей литературе иная — альтернативная линия? Много ли произведений, в которых герой *явлен* и *явен*, в которых слышен его голос и видны его поступки?

Вопрос представляется почти риторическим, если вспомнить хотя бы Моржова из «Блуды и МУДО» Алексея Иванова или Санькю из одноименного романа Захара Прилепина — произведений, ставших яркими событиями отечественной литературы последних лет. Г(г)ерои есть и у Дениса Гуцко, Олега Павлова, Игоря Ефимова, Юрия Малецкого... Но, так уж сложилось что в жизни, что в литературе: указать, «кто виноват», значительно проще, нежели придумать, «что делать». Поэтому герои-«призраки» побеждают — тесня числом и суммарной мощью, осваивая и захватывая новые территории, выводясь разными породами и мастями. И по всему выходит, прав был мудрый Борхес в оценке современного литературного героя, даром что не смотрел «Пиратов Карибского моря».

«Дело идет к своей кульминации — духовной, экуменической и драматической», — как говорил киношный пират Джек Воробей.

---

[27] *Данилкин Л.* Жизнь удалась // «Афиша», 1 апреля 2008.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Третий квартал 2009 г.)

1. Художественная проза

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

Начнем обзор с прозы относительно большого объема.

Среди самых заметных вещей сезона — **повесть Эргали Гера «Кома»** («Знамя», № 9). Ветеранка полиграфкомбината «Правда» Кома (Комэра, что значит Коммунистическая Эра) всегда за правду. И сын Алексей у нее такой же чудак-правдолюбец: хромоногий инвалид-историк пишет, как он говорит, безразмерную Книгу Правды Про Все. Когда-то Алексей подписался сотрудничать с КГБ, чтобы получить доступ к архивным тайнам. В итоге он расстается с вольнодумцами-приятелями и оседает к середине 90-х на дому одиноким фанатиком собственных идей. Никому не нужна теперь и бодрая старуха Кома. *Верх взяли внуки большевиков — чистенькие детишки, твердившие, что нельзя на крови ребенка построить счастье; взяли власть, отпустили цены, заморозили вклады, отрезали стариков от жизни.* Однажды Кома встречает волонтеров, убирающих мусор. Оказывается, это неформальная религиозная община. Кому воодушевляет услышанное: *Мы не секта, не раскольники, не отступники, мы — православный орден воителей и воительниц Святого Духа. <...> Православие для нас не догма, а руководство к действию; не конечная истина, а бесконечная... Мы сообщаем православию дыхание и движение, мы возвышаем свой голос — окрепший голос мирян — и говорим грозно и неколебимо: глас народа — глас Божий...* Героиня становится энтузиасткой околоправославного движения, возглавляемого Учителем Николаем и отпавшим от РПЦ отцом Александром. Однажды Учитель получает от московских властей участок под жилищное строительство: мыслятся три здания с общим цоколем, гигантский жилой трезубец «Белый голубь» — *невидимый храм, монастырь братства, замаскированный под экологичный жилой комплекс.* И вот 380 семей продают московские квартиры, деньги отдают на стройку, большая часть братьев и сестер перемещаются в общагу, где Кому назначают комендантом, и она просто счастлива в труде на общее благо. Но случается дефолт 1998 года; чтобы достроить комплекс, приходится продать часть квартир на сторону. Братство делится на счастливчиков с ключами от новых квартир и потерявших все «лишенцев». На заседании Совета братства на Кому обрушивается прозрение: *...Кома, мысленно отслеживая оглашаемый список лишенцев, увидела волчью выбраковку слабейших. Она словно оказалась под куполом черепной коробки Учителя, нечаянно для себя вникла в ход его рассуждений и, похоже, нечаянно встала с ним вровень. Она вычислила в нем главное — целеполагание. Почувствовала его цепкую, безжалостную сосредото-*

ченность на власти. И не то чтобы отступилась, но — впервые разорвала дистанцию. Отлепилась. А он, с его невероятным чутьем, в тот же вечер почувствовал отчуждение. И — ударил первым. Отсек сразу и навсегда. Печальный финал Комы и ее сына предрешен. Впрочем, автор не вполне проясняет все же, имел ли Учитель злой умысел. Да и ряд деталей вызывают вопросы. Но отчаяние своей героини автор передает удивительно сильно. Мрачная, безнадежная история о крушении веры — неровная и противоречивая, но острая, больная, яркая.

А вот героиня **повести Максима Осипова «Камень, ножницы, бумага»** («Знамя», № 7), напротив, от отчаяния и ожесточения идет к обретению веры. Правда, зигзаг судьбы героини довольно эксцентричен. Ксения Николаевна Кныш заправляет всеми делами в небольшом городке. Женщина умная, опытная, с недоброй повадкой. Но и счастья нет: никто ее не любит, а ее дочь некоторое время назад покончила с собой. В смерти дочери Кныш винит ее учителя литературы: заморочил девке голову. Пользуясь своей властью, она строит козни против учителя, который предается обычным для него рефлексии и мечтательности. Но тут случается происшествие: местного начальника убивает за сексуальное насилие работающая у Кныш гастарбайтерша из Таджикистана Роксана (Рухшона) — таджичка с московским филологическим образованием, в какой-то момент открывшая, что Бог для нее важнее всех русских поэтов. И что-то такое поворачивается в мозгу у Ксении Николаевны. Ей уже кажется, что ближе и значительней, чем Роксана, людей вокруг нет. Сильное душевное движение знаменует начало духовного перелома. Отправившись прямиком в камеру к Роксане, героиня, разом открывшая для себя истину ислама в качестве панацеи от всех бед, становится правоверной мусульманкой. Не то чтоб Осипов выступил вдруг пропагандистом магометанства, скорее он изображает русскую жизнь на грани иссякания. Это выморочное царство столь непрочно, что упадет, едва толкни. А с другой стороны, практические идеи ислама гораздо понятнее современному дикарю, чем тонкая логика христианства. Да и ленивый местный батюшка истовой Роксане в подметки не годится.

Наконец, к объемной прозе «Знамени» принадлежит невнятный **роман Дмитрия Рагозина «Старый парк»** (№ 8). Персонажи романа — некие участники литературного процесса: рукопись, редактор, издатель. И тот самый старый парк, где редактор Горохов вроде как скрывается от опостылевшей рукописи и надоедного издателя Курицына. По каковым поводам автор мечет слова: *Старый парк — колода карт в ловких пальцах фокусника. Подколодный клад. Масть в масть. И, разумеется, месть, не знающая преград, месть тех, кому он поперек дороги, и тех, кого выпустил из рук, месть оставшихся в прошлом краснофигурных Эриний, посылающих змей вдогонку нашкодившему вертопраху. Да, да, зовите меня вертопрах! Это имя мне впору, как яме оркестр, как булыжнику мостовая, как вопросу ответ. Водонапорная башня, прижимистый сон. Ветви дерева свисали как оборванные струны. Захотелось уйти под землю. В промежутке невыносимо. Вниз. Растрепанная шевелюра корней. Вниз. Туда, где еще теплится жизнь. Неверие. Труп троп. А кто-то скажет — треп.* Герой выясняет отношения с возлюбленной Сильвией, общается с неопределенными субъектами, названными Глазовым,

Носовым, Уховым (которые, возможно, только его ипостаси). А может, это он в рукопись закопался? Может быть, и так: *Перелистывая страницы жизни, он обнаружил на полях отметки, сделанные чужой рукой. Люди, деревья, расхожие тропы. Почему-то только задним числом понял, что прошел насквозь. Тема лекции: искусство — законный произвол или непроизвольное беззаконие?..* Вещь изысканно-неудобочитаемая, бессюжетная. Едва ли не бессмысленный декаданс, этакий выхолощенный *набоков*, сведенный к коллекции самодостаточных красивостей и к тому ж пропущенный через Сашу Соколова и Гольдштейна, как не без оснований заметил препарировавший эту прозу Д. Быков.

Питерец **Илья Бояшов** в «*были*» **«Кто не знает братца Кролика»** («Октябрь», № 8) изобразил обаятельных, беззаботных и безденежных чудаков-бродяг, которые в середине 90-х слоняются по городу на Неве, не находя себе никакого полезного дела. Живут моментом, вечным праздником. В кайф. Наслаждаются свободой, подзарабатывая по случаю. Среди героев — бизнесмен Аркаша, он и есть «братец Кролик», замышляющий то создание всероссийской лиги боевых единоборств, то основание яхт-клуба... Шумные попойки, квазифилософские беседы с проститутками в эротической сауне, братание с нетрезвыми омоновцами, поэтические вечера, задушевные беседы со священником, продажа мерзлых куриных окорочков... В целом — пустоватая история, отчасти, вероятно, дающая представление о том, куда в 90-х была употреблена свобода.

Бóльшая часть седьмого номера «Октября» отдана «*сказу о вечном кочевье*» **«Кадын»** (журнальный вариант), принадлежащему перу молодого прозаика **Ирины Богатыревой**. Во врезе читаем: *В основу замысла легла научная сенсация — уникальное захоронение молодой женщины, обнаруженное в 1993 году в приграничной зоне Алтая, на высокогорном плато Укок. Прекрасно сохранилась не только мумия, но и одежда, и поразительный по пышности и высоте парик, и ритуальная атрибутика. Всплыли легенды о древних девах-богатырках, хранительницах алтайского народа, разгорелся интерес к культуре жителей алтайских гор...* Итак, алтайские древности, попытка фантазийной реконструкции легенды. Текст написан от лица царицы Ал-Аштары. Авторский посыл, честно говоря, непонятен: зачем, для чего Богатырева пытается имитировать историко-биографический роман и сочинить способ мышления древней героини? Но усилия ею вложены немалые, и не сказать, чтоб бесполезно. Возможно, впечатляет тот факт, что столько жизни, стремлений, борений — ушло в небытие, поскольку кончился и иссяк тот древний народ.

Повесть Александра Фуфлыгина «Ангелы над Израилем» («Октябрь», № 8, журнальный вариант) — история о поездке в Израиль глазами маленькой девочки. Детский взгляд фиксирует поверхность явлений, почти не касаясь сути. *Потащили тут детей в воды Иордана. Были крещены дети этой водой: облиты ею, как и все экскурсанты, из раскисшей уже панамы гида. Было очень весело креститься детям, ведь было похоже крещенье: на игру в брызгалки. Вода Иордана была горячей, местами, там, где она была мелка, даже нестерпимым кипятком. Так и отскакивали дети от нагретых солнцем мест.* Мило, но однообразно, а с какого-то момента и скучновато.

В «Октябре» (№ 7) публикуется очередная порция **романа Вацлава Михальского «Прощеное воскресенье»** (начало истории — в романах «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм согласия»). Историческая беллетристика о разлученных эпохой сестрах. Середина XX века, послевоенные годы. Автор находит своей героине, студентке медицинского института, новые испытанья. Среди них ашхабадское землетрясение. Для кого-то беда, а героиня, Александра, встречает там после долгой разлуки любимого мужчину. Так сказать, пусть мир рушится, а я буду чай пить. *Они вошли в новенькую, терпко пахнущую брезентом, по-генеральски просторную, обустроенную палатку и закрыли за собой полог. Александра ни о чем не расспрашивала Адама, а он, в свою очередь, не задавал ей никаких вопросов. Не до разговоров им было. Живые, молодые, здоровые, наедине друг с другом. Близко. Ближе некуда. Оказывается, они, как были когда-то очень близкими, так и остались. Оказывается, и память сердца, и память тела ничего не забыли. А тех шести лет, что они прожили врозь, просто не было.*

Елена Холмогорова в **повести «Граница дождя»** («Дружба народов», № 7) рассказала историю жизни москвички по имени Сталина. Неясно, из чего ткется эта жизнь, куда ведет и чем закончится. *На песке были нарисованы непонятные линии и стрелочки. «Это речка, туча, дождь — круговорот воды в природе», — торжественно произнес папа. Когда он закончил, Лина задала вопрос, мучивший ее все время, пока папа неторопливо объяснял про испарения и осадки: «Может так быть, что у нас дождь, а на соседней даче — нет?» И тут случилось нечто необычное: папа, у которого всегда были готовы ответы, на этот раз задумался: «Интересный вопрос. Конечно же, есть граница дождя, ты права, но, поверишь ли, я никогда в жизни ее не видел. Может быть, тебе повезет».* Но не повезло, нет. Такая жалость.

Повесть Ирины Васильковой «Стожок для несуществующей козы» («Дружба народов», № 8) — история о женщине в поисках гармонической точки бытия. Она занята словесным оформлением житейских опытов, а между тем обитает на даче во всяких и разных делах, заботах и встречах. *...как мало людей, говорящих на твоем языке. Можно за всю жизнь их и не встретить вовсе, если искать идеального совпадения*, а мы — *до чего ж мы незрячие все!* Романтически-медитативная проза поэта, тонкая и красивая.

В **повести Александра Морева** с Сахалина **«Утерянные купальни Карафуто»** («Дружба народов», № 9) странная компания отправляется в лес по грибы — по ягоды. Постепенно история приобретает чуть ли не шпионский колорит, с привкусом сочиненности.

Если **роман-антиутопия Александра Самоварова «Организованный хаос»** («Москва», № 7-8) и впрямь, как говорят, написан в 1995 году, то он отчасти даже опередил время и предсказал некоторые приметы современности. Россия две тысячи далекого года поделена на округа, люди разделены по категориям и отправились на вечное поселение: алкоголики, наркоманы, коммунисты, интеллигенты, фашисты — для каждого свой округ со своими удобствами. Журналист Иван обитал и не тужил в алкогольном округе, но однажды его вдруг протрезвили и затем отправили с подругой Алисой в странствие с какой-то поначалу неясной целью. Постепенно роман приобретает

черты сатирического памфлета. Есть в стране Центральный округ, где живет и предается интригам элита. В уста здешнего президента автор вложил философическое осмысление мироустройства: *В каждом великом политике ум сочетался с интуицией и прекрасным знанием людей... Знаешь, почему политики играют часто шутовские роли? Когда тебя воля рока поднимает над людьми, ты понимаешь, что, как бы гениален ни был, все равно недостоин стоять над ними. Но перед тобой ползают на карачках. И ты начинаешь презирать людей. Однако презрение приходится скрывать... Умный политик не позволит открытого презрения по отношению к своим подданным. И вот это презрение и выражается в шутовстве.* Вообще, банально-циничесих истин в романе почти что перебор. Однако сам Самоваров противопоставляет цинизму иной идеал бытия: *Самое большое счастье для человека — родиться в родном доме, посадить сад, вырастить детей, защитить в случае надобности свою страну, свой род и семью и уйти в землю там же, где он родился. И чтоб без перемен, эволюций и революций.* В финале героев отправляют в почти необитаемые края, где им приходится трудом своих рук обеспечивать условия существования. Иван дает слабину, а вот Алиса находит в себе ресурс почти героический. Роман кончается ее патетическим заявлением: *Мой род будет родом свободных людей!* Ну чем не Скарлетт О'Хара!

Другая объемная проза «Москвы» — **роман** оренбуржца **Петра Краснова «Заполье»** (книга первая; № 8-10). Провинциальному журналисту Ивану Базанову в 90-х годах местные функционеры предлагают создать и возглавить печатный орган. *Давно Ивану не работалось так, даже в лучшие времена, — с нечастой возможностью делать то, что сам считал нужным, и иметь под руками почти все необходимое, в деле потребное. Нет, вовремя подоспел Мизгирь с едва ль не шутейным своим предложением в тусклое то, духотою какой-то сверхприродной, казалось, метафизической изводившее лето, так осточертел весь этот непоправимо покоробившийся от подземного, вполне инфернального жара «исторических перемен» круг жизни, на попа если — беличье колесо...* Краснов верен своей утомительно многословной манере: предложения его никогда не кончаются, фраза ветвится и растет, мало прибавляя по сути. Но в новой своей прозе писатель размещает много рассуждений о России, о национальной идее и прочих вещах, доверяя их героям. Например: *И ведь не перегрузки сломали советский проект, совсем нет, вранье все это, а как раз наоборот — расслабуха. Русская наша, простодырная, обеззаботились. И с нею партийность узколобая, а не государственность самих установок идейных на все, в том числе и на занятный народишко наш... ну, не умещается он в партийную идею, даже самую великую! <...> Чуть ворохнулись в узости этой — и посыпалось все строение, все надстройки эти, и сами базисы поползли... Но это и шанс свое наконец построить, национальное, естественное — да, внутренне непротиворечивое, только оно и может жизнеспособным стать.* Из таких словопрений в основном и состоит этот идеологический роман. Каков же авторский рецепт? А вот: *Без большого дела, идеи мы не народ, считай, а так, население, этнографическое нечто... Но вот в Православии это — большое — есть. И сколько раз оно, посчитать, чудо творило, из каких только ямин не вытаскивало нас — не Бог, ладно, но ведь вера. В помощь свыше, в правду дела вера...* Правда, эти слова произносит герой-

атеист. Но тем, наверное, убедительней? Отмечу, кстати, что есть в романе фельетонист по фамилии Ермолин.

Повесть Виктора Дьякова «Поле битвы» («Москва», № 7) также публицистична. Положительный герой, московский чиновник Рожков, наблюдает за тем, как провинциалы покоряют Москву. Но любить наш великий город они не умеют. Москва для них — арена самоутверждения. Вот ведь... Повесть заканчивается так: *Эти три совершенно разных его собеседника... они каждый по-своему оправдывали свои поступки, говорили прямо или косвенно, что здесь, в этом городе, нельзя жить иначе, чем живут они. Если не хочешь быть рабом, стань завоевателем, оккупантом, и тогда у тебя будет все, ибо возможности, предоставляемые здесь, неограниченны. Он смотрел и курил, смотрел... на текущий беспрерывно поток машин, на многоэтажные дома, на расположенные рядом «армянский» пассаж и, чуть дальше, «азербайджанский» рынок... Они всяк по-своему убеждали его в том, что все это — огромное поле битвы и в той битве они не собираются проигрывать. За этим «полем» они не видели ни самого города, ни живущих в нем людей, ведь они все это, всяк по-своему, презирали и ненавидели.*

Повесть Максима Яковлева «В годы отрока Варфоломея» («Москва», № 9) — историческая проза о молодости преподобного Сергия Радонежского. В центре повествования ростовский боярин Кирилл и его семья. Обстоятельства заставляют его сняться с насиженного места и уехать в лесные дебри. Хищная Москва захватывает древний Ростов. Яковлев, впрочем, чужд тщательной исторической рефлексии: его конек — сцены и диалоги.

«Наш современник» (№ 7-8) публикует **роман** рязанца **Бориса Шишаева «Время любви»**. Известный в области кардиохирург Велешев теряет сначала мать, а потом жену. После первого потрясения он возвращается в родное село, после второго — обретает новую любовь, которая, однако, доставляет немало треволнений. Впрочем, хэппи-энд неизбежен. Инверсия соцреализма каких-нибудь дремучих 50-х годов. Вялый, рыхлый, многословный и малосодержательный текст.

В **повести** орловца **Юрия Оноприенко «Несбыточный роман»** («Наш современник», № 9) также имеют место любовные треволнения. Актриса, певица, поэт: любовный треугольник. Россия, Италия и всякое такое. Трогательная история о любви-мечте.

В прозе «Нового мира» обращает на себя внимание **повесть** математика из Днепропетровска **Ульяны Гамаюн «Безмолвная жизнь со старым ботинком»** (№ 9). Это сюжетно небрежное, витиеватое повествование: то ли воспоминание, то ли греза умирающего немолодого человека о своем приморском детстве. Но о том, что герой-автор — старик, мы узнаем лишь на последних страницах: почти до самого финала повествование ведет девятилетний мальчик, слог которого отличается, однако, невероятно цветистыми изысками. Повесть выполнена в традиции южнорусской («черноморской») прозы — нарядно-живописной, метафоричной, жизнелюбивой. Однако при дефиците действия такая проза напоминает какие-то роскошно-мертвенные пещерные сталактиты. Вот, например, как описаны главным героем свежие булочки на рынке: *Под зонтом на деревянных козлах разложены были наши с Дюком цветные сны: теплые, с лаковыми, медово-желтыми брюшками*

и белыми боками. Целомудренно скрытые белой марлей, словно невеста вуалью, они источали божественный аромат. Медовый дух сводил с ума целые полчища ос, которые в сластолюбивом исступлении кружили над марлевыми покровами, не в силах ни добраться до вожделенной добычи, ни улететь прочь. Одурманенные тем же медовым мороком, мы с Дюком — две маленькие, вертлявые осы — останавливались аккурат напротив зонта. Со сладким молоком на веках, с ветерком на затылках, мы готовы были смотреть свои цветные сны. Небесталанная эстетская безделка.

РАССКАЗЫ

Вячеслав Пьецух в **рассказе «Штрихи к портрету Галины Петровны Непейвода»** («Октябрь», № 7) изобразил коммунистку-идеалистку, которая в 1974 году усомнилась в совершенстве существовавшего порядка вещей и отправила в ЦК письмо *о положении дел в Тихвинском районе Ленинградской области и вообще.* Записка заключала в себе также *резкие выпады против выездных комиссий, продовольственных пайков для руководящего звена, «телефонного права», повального воровства и содержала некоторые соображения насчет того, как поправить дело без особого ущерба для международного рабочего движения и принципа распределения по труду.* Получив по шапке, Галина Петровна отправляется на поиски правды в Москву, где оседает в котельной и общается с диссидой, бунтует против режима — да так, что попадает даже в институт Сербского — оплот советской карательной психиатрии. Однако в 90-х героиня разочаровалась и в новой эпохе: *она взяла другую фамилию и звалась теперь Галиной Сталинградской, решительно раззнакомилась со своими соратниками по борьбе за «социализм с человеческим лицом» и вступила в Коммунистическую партию Российской Федерации, рассудив, что товарное изобилие как следствие капиталистического способа производства — это, конечно, хорошо, но поскольку на родине оно неизбежно влечет за собой дегенерацию человека, то уж лучше пускай останутся бычки в томатном соусе и сайка за семь копеек, нежели возьмет верх бездушное двуногое существо, которое не отличает добра от зла, едва умеет читать и чуть что хватается за ружье.* В итоге героиня снова попадает в психушку, где ведет философические разговоры с другими пациентами. Таковы парадоксы российской беспутицы.

Киевлянин **Анатолий Крым** в **рассказе «Письмо Богу»** («Дружба народов», № 9) поведал историю сентиментально-анекдотического свойства о еврее, который случайно уцелел во время немецкой оккупации и после войны пишет письма Богу. Вот так: *«Дорогой товарищ Бог! — писал он, раздумывая, не надо ли в слове "товарищ" поставить в конце мягкий знак. — Пишет тебе Янкель Лемарес, один из овца твоего стада. Когда евреев было много, ты мог меня не замечать, но сейчас нас осталось очень мало, и ты всех можешь посчитать по пальцам даже с такой большой высоты. Я никогда не надоедал тебе, дорогой товарищ Бог, своими просьбами и даже сердился, когда другие забивали тебе голову пустяками. А сейчас у меня есть к тебе просьба, и, надеюсь, не очень тяжелая для тебя. Дело в том, что я остался совершенно один в своей Севериновке, как говорят, полный сирота, и никого из родни, кроме Тебя, у меня нет. Мою жену и детей убили фашисты, и они сейчас находятся возле тебя и, думаю, тоже просят за меня. Итого я совершенно один и*

зарабатываю на кусок хлеба тяжело. Я продаю иголки для примусов, а ты знаешь, какие деньги за это платят. Это смех, а не деньги. Это слезы, а не заработок, но больше я ничего не умею и, наверное, таким и умру, когда Ты этого захочешь. Извини, что я так подробно все описываю, но мне не с кем поговорить. Так вот, я подумал, что уже пришло тепло и скоро Пейсах, наш с Тобой главный праздник. Все люди идут перед этим в баню, надевают чистое белье, садятся за стол и кушают то, что в раю человек кушает каждый день. А я могу положить в рот только кусочек черствого хлеба и запить его своими слезами. Я даже не могу купить маленький кусочек штруделя, чтобы положить его на окно и ждать, когда ночью прилетят моя Рахель и мои ангелочки. Если Ты простил мне мои грехи, то очень прошу выслать мне 50 рублей, чтобы я мог отпраздновать Пейсах, как все люди. До свидания, и я очень жду положительного результата. Всегда твой Янкель Лемарес».

В **рассказе Георгия Давыдова «Как избавиться от сверчков»** («Знамя», № 9) с сочувствием изображены «бывшие» люди в советском аду. В 1929 году в Москве несколько таких антиков создают «Общество изучения русской усадьбы», собираются узким кругом поговорить о дворянском обиходе былых времен. Но ГПУ не дремлет, и герои обречены. Они не просто неуместны, они заведомо вредны, даже если кажутся безобидными *сверчками*. Трогательная история, богатая живописными деталями, хотя и не претендующая на особую глубину.

В **рассказе** питерца **Германа Садулаева «Partyzany & полицаи»** («Дружба народов», № 7) двое друзей приезжают в белорусскую деревеньку Спорово поохотиться на уток. Аборигены поведали гостям историю своей затерявшейся в лесах и болотах деревни, кульминацией которой оказались годы Второй мировой войны. Случилось безвластье, и жители начали самостоятельно искать для себя социальное устройство, перебрав кучу вариантов. Рецидив социального фантазерства в духе Вячеслава Пьецуха.

У вологжанина **Александра Цыганова** в **рассказе «Таланиха»** («Наш современник», № 9) случился в деревне переполох. Приехали «реставраторы», чтоб за бесценок скупить иконы у старух. Где искать спасенья? Но бабок берет под защиту Витька-офицер, поселившийся в деревне незадолго перед тем и живший бирюком. Вершит суд и расправу над алчным племенем. Герой, одно слово.

В «Новом мире» (№ 7) публикуются *«повести разных времен»* **Владимира Березина «Нежность бесприютного мира»**: это три рассказа в духе Борхеса о странных и даже загадочных случаях, едва ли вообще возможных. Автор создает фантастические миры, отталкиваясь от реальности, но разрушая ее в итоге напрочь. А в «Знамени» (№ 7) публикуется еще один цикл историй **Березина**, **«Чужие вещи»**. Это также произвольные фантазии на разные темы, довольно остроумные и совершенно «ни о чем». В принципе можно попробовать угадать и какую-то философическую подоплеку в основе этих странных историй. А можно просто получить скромное удовольствие от изобретательности автора, даровитого эпигона постмодернизма.

Короткие **рассказы Евгения Шкловского** в № 8 «Нового мира» — своего рода аналитические опыты. Автору интересны иррациональные сдвиги в сознании героя, вроде бы ничем не мотивированные перемены — иногда

откровенно фантастического свойства. Возникают разного свойства житейские казусы. Скажем, в рассказе **«Поражение Маклакова»** успешный профессиональный боксер однажды тормозит и в итоге становится монахом. А в рассказе **«Побег»** мальчик незаметно превращается в девочку.

Ростовчанин **Денис Гуцко** в **рассказе «Виктор Загоскин боится летать»** («Новый мир», № 8) представил мелкого клерка, попавшего в анекдотическую ситуацию. Виктор выиграл карточку, позволяющую покупать авиабилеты с большой скидкой. Поэтому именно его часто отправляют в командировки по службе. Но летать Загоскин боится отчаянно, патологически. *Как все-таки отвратительно: «внезапно смертен». Вдруг погибнуть... в один из осенних выходных... Ничего не успев... Пилот не выспался, поссорился с женой, с любовницей, с начальством. У него разболелся зуб, открылась язва, он неудачно выбрал банк. Он новичок... рейс не отменишь, а другие — кто в отпуске, кто на больничном. Глянул не на тот прибор, дернул не тот переключатель. <...> Хрясь — и все кончено.* В рассказе герою предстоит победить страх, чтобы встретиться с беспутным старшим братом. И тут, кажется, возникает новая тема: брат открывает для себя ту свободу, которая оказывается недоступна Виктору. Впрочем, Гуцко не настаивает на каком-то однозначном выводе из всего, что он понарассказал.

Асар Эппель в **рассказе «Теплый миазм с нашей речки»** («Октябрь», № 9) живописует захолустный обиход давних времен. *Мы живем на задних улочках столицы нашего отечества. Вплотную к слободскому обитанию прилегает длинная свалка. За свалкой непролазная дикая трава, позади которой валяется поруганная речка. С речки дует когда освежающий, когда тепловатый, но всегда миазм.* Тем не менее автор ностальгирует по глупым радостям тогдашнего житья: *В дебрях долговязой непролазной травы на бережке нашей речки им была известна укромная делянка, огороженная ржавой, в разных местах рваной металлической военной сеткой. В потайное это место пацаны забирались сравнивать по длине половые отростки, пускать, кто дальше, детские струи, зачем-то глядеть друг дружке в задницы... Боже, какие были замечательные времена!*

О современных приметах столичной жизни повествует **Александр Трапезников** в цикле рассказов **«Из новейшей истории старинных улочек Москвы»** («Москва», № 9). Истории незамысловатые. Юмор и сантименты.

Постоянный автор «Знамени» **Елена Долгопят** в очередном своем **рассказе «Наталья Петровна»** (№ 7) представила женщину, которой всегда нужно о ком-то заботиться. Немного *душечку*. Подходящие мужчины возникают регулярно.

«Французские письма» уфимца **Михаила Чванова** («Наш современник», № 7) — **рассказ** о *классических любовниках*. Подруга героя уезжает во Францию, и они начинают переписываться в интернете, а потом она возвращается и, в общем, длится и тянется эта счастливая и мучительная морока. Особое значение тут имеет и то, что героиня крестилась, получив имя Серафима. Сентиментальная беллетристика.

Марина Вишневецкая в **рассказах** из цикла **«Вещественные доказательства»** («Знамя», № 9) в основном смакует патологии, фиксирует свидетельства деградации, разложения и распада.

Что-то похожее есть и в **рассказах** автора из Голландии **Смирновой** (пусть читатель не думает, что мы по оплошности забыли указать имя госпожи Смирновой: имени у этого автора просто нет, во всяком случае оно не указывается. — *Ред.*) из книги **«Фаза 2»** («Знамя», № 8). Из трех текстов впечатляет первый, **«В вагоне»**: фантазийная история о компании безбашенных приятелей, устраивающих «экстремальные хеппенинги» в московском метро.

Специфическая клиника представлена и в **рассказах Елены Наумовой** из Кирова («Москва», № 7). В рассказе **«Счастливая Евдокия»** старуха просит у Бога легкой смерти, каковую и получает от руки грабителя. В рассказе **«Именинник»** преподаватель вуза, любимец студентов, женившись в весьма зрелые годы, разом потускнел и поскучнел. К чему все это? А так.

В **рассказе** краснодарца **Николая Ивеншева «Клифт»** («Наш современник», № 7) раскрывается жизнь героя через историю его костюмов. Не ново, конечно, но с азартом. А в **рассказе «Певчая кровь»** героя вдохновляет и радует скворец. Близкое, почти родное существо.

В **рассказе Николая Коняева «Петр»** («Наш современник», № 8) поездка к православным святыням стала испытанием веры некоторых благочестивых паломников. А вот заглавный герой, хоть и не отличается наружным благочестием, испытание вроде как выдержал.

Небольшой **рассказ Олега Зоберна «Жертвы объема»** («Новый мир», № 7) — о книготорговце Леше. В магазин является некий заика, который убеждает Лешу, что нынешние романисты — «жертвы объема»: лишнего пишут. Леша не спорит. Рассказ-пустячок в духе автора, склонного имитировать в своей прозе легкий дебилизм. Рассказы Зоберна публикует и «Знамя» в № 9.

Автор из США **Вадим Ярмолинец** в **рассказе «Кредитная история»** («Октябрь», № 7) изобразил эмигрантов из Одессы в Нью-Йорке. Новоявленные господа Свердловы и казус в заведении турецкого общепита «Диван». Герой обмывает первую в жизни кредитную карточку, не взял в ресторан наличных, а там потребовали именно их... Все кончится удачно, не говоря уж о том, что у героя милая супруга. *Просто невероятно повезло, а все эти кредитные карточки и подобная дребедень — дребедень и есть. И ничего больше. Сев в свой не очень новый «бьюик», они поедут домой и, устроившись на красивой итальянской постели ложечками, тихо заснут.*

МЕМУАРЫ. ОЧЕРКИ. ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Владимир Новиков в «Новом мире» продолжает публиковать **книгу «Блок»** (№ 9, начало в № 2, 2008; № 4, 2009). 1906 – 1908 и 1914 – 1916: Любовь Дмитриевна Блок, Волохова, Дельмас. *Странности любви.*

В «Новом мире» (**«Игра его была огромна...»** — № 7 – 8), «Нашем современнике» (**«Игра его была огромна»** — № 7) и «Москве» (**«Теплопожатие: Леонов и Горький»** — № 7) распечатаны части **книги Захара Прилепина** о полузабытом ныне прозаике XX века Леониде Леонове. *Уже будучи стариком, Леонид Леонов сказал однажды, что у каждого человека помимо внешней, событийной, очевидной биографии есть биография тайная и ненаписанная. Не без трепета мы берем на себя смелость совместить, сшить не самой ловкой иглой в нашем повествовании обе эти жизни воедино.* И что же мы

имеем? Особых тайн в книге не обнаруживается, но старания у автора много, и некоторые неочевидные подробности ему удается осветить. Довольно упорно Прилепин старается разобраться в отношениях Леонова с советской властью, со Сталиным. Подробно описаны судебные процессы над «правотроцкистским блоком», приведены обширные выдержки из стенограмм. Неглупо проанализирован контекст взаимоотношений Леонова с Горьким. Некоторые утверждения и предположения правдоподобны, некоторые не весьма. Например: *Сказать, что Леонов прошел через все метели безупречно чистым, — значит солгать. Но и мы не вспомним ни одного — понимаете, ни единого имени, — на чью чистоту и честь стоило бы равняться.* Ой ли?..

Подытоживает Прилепин пассажами, которые тоже заставляют задуматься: *Теперь становится ясно, что именно по книгам Леонова, прочитанным спокойно, внимательно и беспристрастно, можно изучать то бешеное, трагичное, порой жуткое, порой величественное время. Он равно умел оценить и размах в реализации величественной коммунистической утопии, и слабость суетливой и жестокой человеческой породы, эту утопию реализующей. Книги Леонова равно далеки как от прямолинейной антисоветчины, так и от ортодоксальных соцреалистических полотен... <...> Вообще же восприятие судьбы писателя исключительно через политическую призму кажется нам вопиюще абсурдным и даже стыдным... Не хотелось бы впадать в морализаторство, но кто объяснит, отчего, скажем, не считается грехом неоднократное принуждение писателем собственной женщины к убийству зачатого ребенка, а, к примеру, депутатство в Верховном Совете СССР воспринимается как сделка чуть ли не с дьяволом? Или вы скажете, что мы говорим о разных вещах? Мы можем и согласиться. Да, о разных. Но согласиться только с одним условием. Если мы вместе признаем, что ни мы, поминая личную жизнь литераторов, ни вы, поминая их деятельность политическую, не говорим о литературе как таковой.*

В «Нашем современнике» (№ 7 — 9) продолжается публикация **книги Сергея Куняева «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...»** — о Николае Клюеве. Перипетии и обстоятельства 1910-х годов, Кузмин и прочие акмеисты, Иона Брихничев и голгофские христиане... В *московской и петербургской литературной жизни* Клюев увидел *наркоманов, педерастов, «интеллигентных» шлюх, мальчиков и девочек со склонностью к суициду (самоубийства совершались чуть ли не через день), «мудрецов», одержимых проблемами половой жизни и млеющих в разговорах об «одиноких», «кошкодавах» и прочих тогдашних «неформалах»*.

Журналист **Иосиф Гальперин** в **повести «Страдательный залог»** («Знамя», № 8) вспоминает детство-молодость-случаи из журналистской практики. Есть в этой прозе нетривиальная рефлексия о профессии репортера.

Петербургский дизайнер **Дмитрий Орлов** в «Знамени» (№ 8) живописует *тверскую глухомань*.

Олег Мороз в **«Записках августовского демонстранта»** («Знамя», № 8) рассказывает о своих блужданиях по Москве в дни путча 1991 года и о том, как он боролся за демократию.

«Октябрь, 1993» Ильи Харламова («Наш современник», № 7) — тоже записки рядового участника московских событий, они в основном о том,

что происходило 3 октября у Белого дома и в Останкине. Автор был на стороне Верховного Совета и спасал Россию.

Документальная повесть Игоря Клеха «Хроники 1999 года» в «Октябре» (№ 8) предварена таким авторским выступлением: *Это многолюдная эпопея, пропущенная через горлышко почти анонимной приватной истории. Я и сегодня убежден, что 1999 год явился поворотным в жизни новой России. Насколько убедительным это покажется читателям, не мне судить. <...> Кто найдет в себе решимость читать непривычно откровенный текст о по-настоящему серьезных и болезненных вещах, может приступать без предыстории, сейчас же. Потому что, как известно, земная жизнь коротка.* Решимость нужна, чтобы вникнуть в перипетии, связанные со смертью матери автора и с кучей прочих бед и невзгод. В повесть включены и записки тетки автора «Моя война». Клех чрезвычайно и почти бессмысленно подробен при изложении личных обстоятельств, — трудно сказать, почему и зачем. О литературе и политике он отзывается, как правило, с чем-то вроде брезгливости. Как-то так: *Писательская среда, к которой я теперь, хочешь не хочешь, принадлежал, представляла собой любопытное собрание честолюбивых неудачников. Просто потому, что низы больше не хотели читать по-старому, а верхи не хотели да и не могли писать по-новому. Сегодня это даже очевиднее, чем тогда. Уцененное сообщество, болезненно амбициозное и не отвечающее за слова.*

В «Знамени» (№ 7) опубликованы воспоминания **Вячеслава Кабанова «Недавние такие времена»**. Автор — в советские времена руководитель отдела Госкомиздата, замначальника главка, замглавного редактора издательства «Книга», главный редактор издательства «Книжная палата». Либеральный начальник. Эпоху спустя он отчитывается о своих заслугах перед страной.

Там же о жизни и смерти литературного критика Александра Агеева вспоминают его друзья и коллеги: **Анатолий Королев, Анна Кузнецова, Анатолий Курчаткин, Сергей Чупринин**. История разочарованного интеллигента.

В том же номере о буднях санитарной авиации в вятских местах рассказывает врач-инфекционист **Юрий Жидков** (очерковые записки **«Небесная неотложка»**). С медициной в России беда. *Впору же не орать, а давно как выть надо в голос. В районах на круг — беда полная. В половине из них педиатров нет. Специалистов попросту везде не хватает...*

Очередные «виньетки» **Александра Жолковского «Двойная спираль»** («Новый мир», № 7) — несколько порций литературных и лингвистических наблюдений и житейских воспоминаний. Наблюдения явно интереснее воспоминаний. Есть ощущение, что Жолковский уже все, что мог, вспомнил и теперь добирает прошлое по капле.

Знаменитый актер **Вениамин Смехов** в «Знамени» (№ 9) вспоминает, как он еще в советские времена с женой ездил в Париж (**«Увидеть Париж — и отдохнуть»**). Кого видел, с кем общался, какой был смелый.

«Знамя» в № 9 печатает также записки поэта **Константина Ваншенкина «В мое время»**. Жанр маргиналий о литературе и о жизни. Колоритна история о советских поэтах Исаковском, Щипачеве и Хелемском. *Очень длинный зеленый стол, неработающий камин с женской мраморной головкой сверху, а с другого торца — президиум: председатель секции С. П. Щипачев и секре-*

тарь партбюро Я. А. Хелемский. <...> Комната набита битком — сидят в несколько рядов вдоль стола и еще на подоконниках. Но не все посещают собрания аккуратно, тот же Твардовский редко показывался — и ничего. А вот Исаковский человек дисциплинированный, обязательный, всегда на месте. Заседали обычно долго, говорунов полно. Как-то поступила председателю записка. Щипачев развернул, взялся за очки, а Хелемский невольно, автоматически, уже прочел, благо почерк крупный. Это был стишок: Дорогой мой Степа, / Я хочу уйти! / Заболела ж <...>, / Мать ее ети. М. Исаковский. Щипачев зарделся, как красна девица (былых времен). Подождал окончания очередного выступления и сказал сухо: — Товарищи, Михаил Васильевич плохо себя чувствует и просит его отпустить. Какие будут мнения?.. Собрание загудело: — Уважить.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

«Звезда» (№ 7 – 8) публикует **роман** бывшего ленинградца, ныне жителя США **Игоря Ефимова «Обвиняемый»**. Американского профессора Грегори Скиллера обвиняют в двойном убийстве — в том числе и в зверском убийстве двенадцатилетней девочки. Он, разумеется, абсолютно невиновен. Но детективная линия — не самое главное в романе, действие которого завернуто вокруг роковой даты — 11 сентября 2001 года. Жизнь героя полна счастья, неизбежных трагедий, разочарований, надежд, — словом, обычных земных страстей. Грегори — ученый-умница, обаятелен, талантлив, парадоксален. Слабый пол в нем души не чает: жены, любовницы, кратковременные пассии, — и ни одна не держит зла на соперниц,— словом, удачливый герой живет на всю катушку. И вот этот мир автор сопрягает с другим — античеловеческим, населенным теми, кто *полностью избавился от рабства любви — даже от любви к себе* и устремлен к одному — *сотрясти мир небывалым ужасом*... В роковой день 11 сентября у Грегори Скиллера рождается сын. И счастливый отец, сев в автомобиль, мчится обрадовать падчерицу, свадьба которой назначена на этот же день. А встретиться они должны в том самом Всемирном торговом центре... Дальнейшее нам неизвестно: мы не знаем, состоится ли свадьба, спасется ли из горящего здания сам Грегори... Относительно будущего автор сознательно оставляет читателя в неведении. Зато мы знаем, что происходит с героями сейчас, в минуту катастрофы. Ефимов все больше замедляет, а потом и вовсе останавливает действие: помедлим, помедлим еще чуть-чуть, все еще живы, еще есть надежда... И тут же фиксируется следующий кадр — вереница спускающихся с верхних этажей людей, испуганных, бледных, плачущих, но не расталкивающих друг друга, не прорывающихся вперед. *Каждая потерянная секунда могла обернуться для них смертью. И тем не менее каждый раз, когда на очередном этаже открывалась боковая дверь, поток останавливался и впускал очередную группу искавших спасения.* То было, говорит автор, *выживание человеческого достоинства — загадочно победоносное,* для злодеев непостижимое.

Молодая петербурженка **Анна Русских** в объемистой **повести «Мужская логика, или Белая Ворона на сайте знакомств»** («Нева», № 8), похоже, зада-

лась целью прославить высокую душу истинной Женщины. Она и о себе, как следует из подстрочного примечания, говорит коротко, но выразительно: *Я — Женщина.* И утверждение это даже как будто слегка отдает угрозой. В общем, вещица с претензией. Героиня, на плечи которой возложен нешуточный груз нести в наш испорченный мир свет любви, чистоты и непорочности, при ближайшем рассмотрении — обычная скучающая дамочка средних лет, по профессии медсестра, сильно томящаяся без мужского внимания. Муж умер, сын-подросток — в колонии. Свободного времени — вагон. Любимого же, увы, нет, зато есть интернет. Святое это нынче дело, истинная замена счастию: обширный мир виртуальных знакомств, женихи — на любой вкус. Правда, дело редко выходит за рамки чисто виртуального общения. Но иной раз все-таки случается, хотя бедной женщине и тут не везет. *На меня накатывали волны нежности и желания. Что-то пробуждалось во мне, какие-то спящие женские глубины, зовущие покориться и отдаться во власть мужчине, которому я уже принадлежала. Но мой поклонник лежал, повернувшись ко мне спиной, на самом краю постели, не подавая ни малейших признаков сексуального желания.* И вот наконец-то бедняжке улыбается счастье: из интернета вылетает мужчина-мечта, мужчина-идеал, красивый, как античный бог, и сексуальный, как Аль Пачино. Какие небесной музыки фразы произносят его уста! «*Ты действительно Белая Ворона. Необычная, по-детски трогательная, слишком чистая для этого мира! Все время хочется тебя защищать и ограждать. Ты — мое чудо!*» Но, увы, героиню и тут подстерегает жестокое разочарование. Однажды, сильно напившись, она устраивает своему Ромео прямо-таки коммунальный скандал по всей форме, с пощечинами и мерзкой бранью. Джентльмен, разумеется, отчаливает. Бедная дама бросается то к священнику, то к психоаналитику. В общем, страшное дело. А тут к ней сватается вполне добродетельный вдовец, благородный и работящий. Не альфонс, как ее отчаливший *партнер.* Впрочем, не имея возможности пересказывать все перипетии повести, скажем только, что в атмосфере этой огнедышащей прозы мещанским устремлениям не место. Здесь — только Любовь. Страстная, горячая, как пожар. Короче говоря, героиня, позабыв вернувшегося из колонии сына (он, усталый и голодный, ждет ее дома) и презрев таким образом все земное, мужественно поднимается по лестнице на крышу... Это та самая крыша, где некогда она познала настоящую любовь. И именно здесь она расстанется теперь с опостылевшей жизнью. В общем, ядреная проза, ничего не скажешь. Страсти-мордасти. Одно только непонятно. Героиня ведет свой рассказ от первого лица, а потом это первое лицо р-раз и сводит счеты с жизнью. Кто же тогда все это говорит?

В «Звезде», № 9, опубликована **документальная повесть** кинорежиссера, журналиста и публициста **Игоря Николаева «Лейтенанты»**. Последние годы Великой Отечественной, бои на окраинах России, потом — в западных странах. Автор — бывший фронтовик, 1924 года рождения, из тех московских юношей, что попали на фронт наивными интеллигентами-идеалистами. Ни он, ни его друг вроде бы и выжить не могли: пехотинцы-минометчики, пушечное мясо... А вот поди же, повезло, да так, что и до сих пор не верится. Цепкая память Николаева хранит массу живых картинок, сцен, судеб. Помнится ему, например, как он, двадцатилетний, перед тем как форсировать Днепр, читал

своей роте в общем-то средненькие стихи Долматовского, — а за душу брало так, будто читал Шекспира. Помнится, как солдаты там, на Днепре, желали себе смерти, лишь бы отмучиться, отдохнуть. Помнится и фашистская агитка с издевательскими словами «*Союзом насильным республик голодных Сковали Советы Великую Русь*», которую он с омерзением сунул в печку...

Другая заметная **документальная повесть — «Зигзаг истории» Игоря Гамаюнова** («Нева», № 9) с подзаголовком «*Из дневника литгазетовца*». Романтическое ослепление свободой, постигшее всех в конце 80-х — начале 90-х, горькое отрезвление в последующее десятилетие, узловые моменты в работе популярнейшей в Перестройку, демократичной тогда «Литературки». Рассказывается, например, уже накрепко забытая история о том, как засадили в тюрьму пожилого человека, монтировавшего в НИИ космическую аппаратуру, за безбилетный проезд в троллейбусе. А то, что он полгода не получал зарплату, про это судьи и не вспомнили... Любопытно, но слегка попахивает нафталином.

Петербургский профессор, в прошлом практикующий врач **Юрий Шубик** в **повести «Докторская колбаса»** («Звезда», № 9) делится многочисленными врачебными байками. Жанр вечно живой и цветущий, врачами-писателями опробованный многажды. Юмор, естественно, чернушный, на скрещении комедии с трагедией. То к 20-летней хорошенькой «умирающей» бригаду врачей вызовут, — а она, оказывается, впервые в жизни, поссорилась с мужем, вот сердце и заколотилось. То — вещи посерьезней. Интересно, живо, с юмором.

Осетин **Тамерлан Тадтаев**, участник недавней российско-грузинской войны, в подборке **рассказов «Выпустить дракона»** («Нева», № 8) продолжает пугать читателя трудно постижимой для нормального ума кровожадностью своего героя-любимчика. Лихой парнишка что есть мочи ублажает собственную натуру, то закинув лимонку в дом с ранеными, то с большим удовольствием шаря по карманам убитых и извлекая из них баксы и золото. *От радости* (он нашел у мертвого солдата две пачки стодолларовых купюр) *я чуть не откинул копыта и, похвалив мертвеца за щедрость, поцеловал его в продырявленный пулей лоб.* Молодого грузина, раненого, не слушая его просьб позвонить по мобильнику матери, герой обливает бензином, а потом засовывает ему в рот лимонку. Своему дружку, косящему проклятущих грузин из пулемета, он орет: *Эй, не мочи всех подряд, дай и мне убить хоть одного.* Нутряная злоба, изощренные издевательства, упоение полнейшей безнаказанностью, чисто садистские штучки — вот чем набит этот славный защитник отечества. Что, кстати, автор и прославляет, ибо сдобрена эта кухня лютой ненавистью к грузинам, посягнувшим, уверен писатель, на Россию. В общем, выпустили дракошу на волю. Куда вот только он теперь, после войны, залетит? Напомним, что подборка рассказов Тадтаева «Цхинвальские подстольники» (№ 10, 2008) была в минувшем году удостоена в «Неве» особой премии в номинации «*Чистейшей прелести чистейший образец*»...

Два **рассказа Дмитрия Притулы**, исполненные в традиционной сказовой манере, публикует «Звезда», № 7. В **«Туннеле»** рассказана чисто семейная история об овдовевшем старике, чуть было не покончившем с собой. Хорошо, внучка маленькая вовремя из школы пришла: одумался дед. **«Го-**

лос» — история о причудливых взаимоотношениях женщины средних лет с собственным почти что оперным голосом. Он то у нее прорезывается, то исчезает. Главное, исчезает тогда, когда она поет на людях. Под каток этих отношений попадает влюбившийся в героиню моряк.

Прелестный, немного озорной **рассказ Юрия Домбровского «Возвращение Пиньки»** (публикатор Клара Турумова-Домбровская) печатает «Звезда» (№ 9). Пинька — это дрессированный суслик, пригретый в доме, где жила до войны любящая пара, актриса и журналист, обожавший животных. 1944 год, журналист пропал без вести на фронте, скорее всего, погиб, и красавица актриса, юная и полная жизни, чуть было не выходит замуж за другого. Драму, разыгравшуюся в ее душе, как бы олицетворяет Пинька, любимый зверек мужа. Рассказ о женской стойкости и верности, вещах сильно подзабытых.

Герои **рассказа Ирины Чайковской «Зуб Шамана»** («Нева», № 9) — Натали Герцен и ее возлюбленный, поэт Георг Гервиг. Действие происходит в Альпах, близ Женевы. Романтичная любовь с неизбежно трагическим финалом, смерть Натали, гибель в море маленького глухонемого сына Герцена, страдания несчастной жены Гервига... Трагедии-то трагедиями, но, похоже, автору так нравится все красивое, романтичное, влекуще-зовущее... В общем, стилизация не всякому дается. В данном случае балансирует она где-то на грани симпатичного конфетного фантика.

Более удачная стилизация — **рассказ** (почему-то названный повестью) **Гоар Маркосян-Каспер «Электра выходит замуж»** («Нева», № 9). Под пером автора античные герои предстают обычными живыми людьми, обуреваемыми, правда, жгучими страстями. Что ж, настоящие страсти в сегодняшней литературе редкость. Естественно, что хочется лишний раз черпануть их хотя бы из древности.

Перу молодого, но успевшего, судя по перечню публикаций, стать маститым прозаика **Ивана Ситникова** принадлежит несколько бредовый по сюжету **рассказ «И бахнул гром»** («Нева», № 9). В одной деревне сплошняком идут дожди, урожай катастрофически гниет, а в другой, не очень дальней, сияет солнце. Оказывается, все дело в *делапоге — делателе погоды,* таком хитреньком инструменте. Но от украденного невезучей крестьянской братией *делапога* пользы — разве что новая буря в деревне да извержение вулкана на месте коровника.

Рассказ Нины Окуловой «Поездка в Рощино» («Нева», № 9) — довольно пустая история давным-давно прошедшей любви юной девушки к сорокалетнему мужчине. Целовались-миловались, а он взял да и женился на своей ровеснице — с ней, дескать, спокойнее. **Рассказ «Такая знакомая мелодия»** — история о любви юноши к какой-то дико знаменитой и до безумия талантливой писательнице, годами сильно старше его. Дама бесшабашная и вдобавок сильно пьющая... Но разве для романтической любви существуют преграды?..

Переполнен высокопарными и чрезвычайно многозначительными рассуждениями **рассказ Владимира Курманаева «Самоубийца»** («Нева», № 8). Рассуждения тут ведутся об *экстравагантном характере отношений героя с пространством, высочайшем смысле необходимости друг к другу* и прочих

сильно научных штуковинах. Короче, герой после ухода жены разочаровался в жизни и ударился в словоговорение.

Свой седьмой номер «Нева» отдала молодым, которые представлены исключительно как творцы малой формы.

Рассказы Вячеслава Немышева под общим названием **«Народ в шоке»** («Нева», № 7). — история из жизни военного врача, хирурга, участника обеих чеченских и российско-грузинской войн. Проза исполнена в стиле милитари. Отважные спецназовцы, солдаты, как сказано у автора, *от бога,* супергерой Вова по прозвищу Триллер — офицер ФСБ, одна из воюющих сторон, почему-то названная миротворческой, горы убитых грузин, неимоверно распухших на солнце. Чтение скорее для любителей страшилок, нежели даже для «патриотов».

Рассказы юного **Кирилла Рябова** («Нева», № 7). — малодостоверные истории из времен, о которых автору попросту нечего сказать, так что в ход идут сомнительные выдумки вкупе с мистикой. В **«Стрельбе из настоящего оружия»**, время действия которой — полуголодная эпоха дефицита, мальчишки почему-то, увидев пиршественный стол со всевозможными колбасами, конфетами и икрой, начинают с садистским озверением расшвыривать все это в разные стороны. Рассказ **«После войны»** — о том, как в семью вернулся с фронта отец-инвалид, после чего маленький его сын *исчез из жизни своих родителей.* Куда исчез, почему?.. Мистика. Его и в школу не отдают: как учиться тому, кого нет? И на какую-то могилу к нему родители ходят, при этом он сам сопровождает маму и папу...

Рассказ Анастасии Абрамовой «В режиме реального времени» («Нева», № 7) — подборка фраз, то любопытных, то бессмысленных. Такой своеобразный репортаж из бытия двадцатилетних. *В мире бесконечных возможностей невероятно трудно выжить. Нужно успеть расставлять приоритеты и делать правильные ставки. На красоту, талант, амбиции, наглость или связи.* И еще: *Нас таких тысячи. Мы — самое одинокое поколение, рождавшееся за последние сто лет.*

Трагическую историю поведал **Валерий Айрапетян** в **рассказе «Реквием по восточному немцу»** («Нева», № 7). На греческом курорте рассказчик встречает странного человека, немца, будто впавшего в *депрессивный ступор.* Оказалось, он, несчастливый и одинокий с детства, потерял семью: его жена и сын утонули в Эгейском море. Очень скоро и он сам покончил с собой. В тех же краях, где и неведомая могила его близких.

Рассказы студентки-филолога **Елены Холодовой «Голуби»**, **«Гришка Котов»** и **«Банный черт»** («Нева», № 7) — самоделковые этюды ни о чем, изложенные псевдосказовым слогом с бесконечной инверсией. *И часто на себе я взгляд его спокойный ловила, идя по городу, но не заговаривал он со мной. И вот раз как-то, когда август прочь бежал, оставляя сентябрю россыпи грибов, когда ручьи по-осеннему студеными стали, когда жалобно запричитали журавли в небе...* И т. д. и т. п. на нескольких страницах. Жуть до чего красиво.

МЕМУАРЫ

Воспоминаниями и дневниковыми записями о Борисе Пастернаке, которого автор знал с детства, делится в «Звезде», № 8 – 9, Вячеслав Всеволодович Иванов. Публикация приурочена к его 80-летию. Время осмысля-

ется автором глубоко и точно: *Я боюсь, что омерзение, естественно охватывавшее каждого при мысли о тридцать седьмом годе и обо всем, что за ним следовало, может помешать понять тот духовный подъем, который после перелома в войне ощущали лучшие из знакомых мне людей поколения Бориса Леонидовича и моего отца. <...> Люди этого поколения пережили продолжение начавшегося взлета в семнадцатом году (особенно летом того года) и медленное тление, а потом и гниение общества в последующие десятилетия. И впервые после стольких лет полного духовного застоя и безвыходности те немногие из них, кто остался в живых и сохранился внутренне, снова почувствовали намек на возвращение такого же общерусского подъема. В этом была прежде всего надежда на небессмысленность пролитой в войне крови, на прилив тех молодых, созидательных сил, которые всегда медленно продолжали свою работу — даже под толстой коркой льда.*

Зорах Кантор, автор воспоминаний **«Великий перелом»** («Звезда», № 8), рассказывает, в частности, как послереволюционное переименование ленинградских улиц тут же *спровоцировало всплеск непроизвольного творчества* у идейно отсталой части общества. *Встречи, например, назначались «на углу 25 Октября и 3-го Июля».* Но что там шутки. Отец мемуариста в 38-м был арестован и отправлен на лесоповал за то, что назвал Лигу наций *мыльным пузырем.* А немногим позже СССР из нее выставили, и Молотов моментально припечатал ее словом «говорильня». Однако на судьбе арестованного этот поворот никак не отразился. В Архангельскую область была выслана и вся его семья.

К семидесятипятилетию замечательного ученого-физика, публициста **Алексея Ансельма** (1934 — 1998) приурочена подборка **Воспоминаний** о нем в «Звезде» (№ 7). Вспоминают его жена, коллеги-ученые, писатели. Добрым он был человеком, открытым, интеллигентным, исключительно талантливым, разносторонним. Вот фрагмент из письма, написанного в больнице, где Ансельм проходил очередной курс химиотерапии: *Для меня вся красота жизни именно в ее несводимости ни с какими, даже самыми замечательными ее сторонами. Жизнь не... то, другое, третье, она и то, и другое, и третье. И каждая конкретная жизненная ситуация всегда имеет много сторон, как в том анекдоте: «И ты прав, и ты прав...» ... <...> Видишь, как красота искусства скрашивает жизнь?* Написано незадолго до смерти.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика

А. «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Знамя», «Москва», «Новое литературное обозрение», «Октябрь»

Статья **Капитолины Кокшеновой «О войне, любви, свободе»** («Москва», № 6) посвящена не столько *ПРОЗЕ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ,* сколько психологии и мировоззрению поколения в целом и некоторых его представителей в частности. Героями исследования выбраны трое прозаиков — Захар

Прилепин, Сергей Шаргунов и Денис Коваленко (последний, впрочем, взят не сам по себе, а как типичный представитель). Сложность и, скажем так, расплывчатость задачи, за решение которой берется критик, дают о себе знать немедленно: статья тоже получилась невнятной и расплывчатой. Однако интересных и точных наблюдений в ней масса. Все пересказать не представляется возможным. Но если совсем коротко: поколение тридцатилетних — это *поколение с продырявленными душами, поколение, брошенное в ложный героизм и желающее ложной святости, поколение, у которого отняли веру в идеальное,.. заставили «играть в революцию» и идти на войну.* Возвращаясь к названию статьи, догадываемся, что чуть ли не все в этом поколении писали ***о войне*** и практически все о ***любви*** и ***свободе***. Но при этом Прилепина и Шаргунова, по мнению критика, отличает от сверстников некоторый оздоровляющий поворот к идеалам: оба признают, что над жизнью *все-таки есть Судия, а значит — не все позволено.* Ничего нового в такой позиции, разумеется, нет, замечает Кокшенова, однако важно, что подобная позиция обнаруживает себя именно сегодня — на фоне постмодернистского разгула. *После придурков, которые ели свой кал, после мерзких старушечек Авдотьюшек, странного народца-уродца и рядом с припадочными извращенцами, дебилами, например, персонажами елизаровских «Кубиков», прилепинский герой выглядит положившим предел литературному нигилизму и обладающим шансами противостоять антиидеалу современной литературы.*

Каждому из прозаиков-героев статьи посвящена отдельная главка. Та, что о Прилепине, называется «*Сильная жизнь*», та, что о Шаргунове, — «*Стильная жизнь*». То есть уже сами заголовки призваны проиллюстрировать и схожесть героев, и их несхожесть. Одна из черт, общих для обоих писателей (то, что оба — политики и почему, также подробно описывается в статье) — отсутствие у их героев-бунтарей позитивной программы. Вот как пишет об этом критик: *за Родину можно умереть (и это действительно высшее чувство лучших из молодежи). Но вот как за Родину жить — им никто не сказал.* Это — о персонажах Прилепинского «Саньки». А вот о героях Шаргунова: *«За то, что Россию обидели», они не хотят простить всяческой власти, но вот сознание, что* ***они сами и есть Россия****, — сознание это слабо развито. Их патриотизм часто только агрессивный.*

Денис Коваленко, едва ли не по недоразумению попавший в одну компанию с Шаргуновым-Прилепиным (можно было, признается Кокшенова, говорить о гораздо более известных Василине Орловой, Ирине Мамаевой или Денисе Гуцко, но *так случилось — я прочитала три его повести*), — *это*, — по выражению автора статьи, — *другое лицо поколения.* Наиболее знаменитая его повесть называется «Хавчик форeве[1]». *Хавчик навсегда — это жрачка навсегда, секс навсегда и... нерадость от них — тоже навсегда.* Кокшенова пишет: *Когда читаешь повести Коваленко, больше всего ощущаешь какую-то существенную нехватку жизни в самой жизни... недостаточность, несостоятельность, истощенность бытия... скучный ужас повседневности... <...> «Тошно жить» (герою — 22 года!). <...> Пошлые психологические стимулы и мелкие достижения (выиграть в казино, добыть деньги на алкоголь-*

[1] Forever — (*англ.*) навсегда.

ный «искусственный рай», украсть деньги у друга, познакомиться с девицей, у которой много денег, и прокутить их вместе и т. д. и т. п.) слишком плотно наполняют прозу Коваленко. Конечно, тут тоже конфликт с миром. Тут тоже протест — но протест с каким-то тоскливым, обреченным ***вычитанием именно себя из этого мира****.*

После всего перенаговоренного в этой статье (а нам не удалось затронуть и пятой части) довольно неожиданно финальное фортиссимо: *В любом случае дезертирства из этого мира (даже с проблемным будущим) они, тридцатилетние, как мне видится, для себя не допустят. Ведь они — мужчины. И у них есть дети и женщины...* Так и хочется оптимистически добавить: фореве.

То обстоятельство, что в последние годы в финал премии Русский Букер стали попадать произведения, написанные в жанре психологического триллера, политического детектива или боевика, послужило поводом для беспокойства литературной общественности: что же случилось — *Букер опустился к массовым жанрам или массовые жанры поднялись настолько, что стали претендовать на вхождение в литературу*? С целью уяснить, наконец, *ЧТО ЕСТЬ МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА и чем она определяется: тиражом, жанром — или чем-то другим?*, — была созвана конференция, материалы которой публикует третий номер журнала «Вопросы литературы» (**«Букеровский роман: искушение массовостью»**).

Александр Кабаков настаивал на том, что ни высокие тиражи, ни популярность не делают произведение образцом масскульта. *Самая массовая литература — это, в общем, все-таки Священное писание,* — сказал писатель и предложил от понятия массовая/немассовая отказаться вообще. Ведь вот, например, Агата Кристи — вроде бы представительница низкого жанра, а создала же образцы высокой литературы! А типичный боевик «Дубровский»?! А «Пиковая дама», включенная англичанами в сборник «Сто самых страшных рассказов»?! Просто дело тут не в массовости, а в *качестве*, замечает прозаик. Так же, например, и Людмила Улицкая — издается массовыми тиражами, а книги пишет самые настоящие. *Качественное* же — это, согласно формулировке Кабакова, — *то, что будет долго носиться.* Оно проверяется временем. Но опытный покупатель определяет качество на раз и, если он действительно опытный, не ошибается (*опытный потребитель... с порога видит на прилавке: вот это вещь, а это — дерьмо. И все, и не нужно ему никаких доказательств. А потом оказывается, что он был прав, потому что это в эксплуатации дольше, это в эксплуатации приятнее и т. д. Все то же самое — в литературе*). Следуют развернутая аналогия с трикотажными и продовольственными товарами и вывод: жить надо врозь, качественная и низкокачественная литература водить компанию не должны. Пусть настоящие писатели не судят попсовые конкурсы на TV, но и создатели попсы пусть не ездят на книжные ярмарки во Франкфурт! *Продавать с одного прилавка предметы с Черкизовского рынка и из лондонского магазина «Остин-стрит» нельзя. Это нечестно по отношению к покупателю,* — суммирует Кабаков. — *Включать в одни списки Шилову и Маканина нечестно по отношению к потребителю литературы. В конце концов, человек пришел туда, где он надеется, что за качеством следят, что все в порядке:*

тут гарантия, тут сертификат! А ему впаривают опять то же самое, что он может взять за углом без сертификата, без гарантии...

Алексей Слаповский, сидящий, по собственному его выражению, «на двух стульях» (*как прозаик — я такой нормальный писатель с нормальными тиражами, а как сценарист я, получается, участвую в производстве попсы*), выражению «массовая литература» предпочитает другое — *жанровая литература*[2]. А вот эта жанровая литература, по наблюдениям Слаповского, качественной бывает редко: Конан-Дойл, уже упомянутая Агата Кристи или Честертон — тут скорее исключение, чем правило. Отличается же жанровая литература от *нормальной*, во-первых, тем, что всецело ориентируется на законы жанра и никогда не разламывает его границ (*в хорошей литературе текст, смысл подчиняет жанр, в плохой литературе жанр подчиняет смысл*), а, во-вторых, тем, что жанровые книги (даже лучшие из них) все-таки являются развлекательными, не участвуют в духовной жизни человека, не воздействуют на его душу. Литература же «нормальная» *исследует в первую очередь людей, и люди там живые.* Продолжая традиции предыдущего выступления, Слаповский тоже предлагает потребительское сравнение: *Вот колбаса докторская, а вот мясо. Докторская колбаса — это, так сказать, жанр. Заведомо, что там — одна часть мяса, двенадцать частей целлюлозы. Но потребитель будет брать докторскую колбасу чаще, — этот жанр более популярен, — чем настоящее, натуральное мясо. Потому что дешевле, потому что долго готовить не надо, мудрить не надо, и хотя мясо полезней, лучше (я прошу прощения у вегетарианцев), вкуснее и так далее, но колбаса будет продаваться, может быть, именно в двенадцать раз быстрее. ...у колбасы докторской есть высокое качество и низкое, как и у мяса. Но от этого колбаса мясом не станет. <...> ...жанр есть жанр. Если он становится литературой, значит, это уже не жанр. Значит, надо забыть, что это детектив, а просто читать как нормальную книгу.*

Критик и телеведущий **Александр Архангельский** упрекнул коллег в недостаточном знании предмета, — а именно колбасы: *Вы ничего в ней не понимаете. Главная проблема колбасы заключается не в том, по два двадцать она или по два девяносто, а в том, добавлена ли в нее размороженная свинина или парная. В стране не хватает парной свинины. Кладут размороженную. Поэтому колбаса никуда не годится... Хотя, в принципе, хорошая колбаса ведь лучше, чем плохое мясо.* Во-вторых, усомнился Архангельский и в способности оппонентов определить качество товара, поскольку *главная проблема современной индустрии заключается в том, что вы никогда не отличите хороший костюм, сшитый в Китае по поддельной лицензии, от настоящего костюма, продающегося в магазинах в Италии, потому что он тоже шьется в Китае...*

Мария Елиферова потребительскими метафорами не заинтересовалась. *Качественной,* — сказала она, — *может быть, действительно, и колбаса; а настоящая литература все-таки, на мой взгляд, — не та, которая удовлетво-*

---

[2] **Андрей Дмитриев**, интервью с которым опубликовано в том же номере «Вопросов литературы», предлагает *прекратить деление литературы на серьезную и несерьезную, но разделять на подлинную и имитационную.*

ряет потребности, а та, которая стимулирует человека к чему-то принципиально иному, которая открывает ему, может быть, нечто такое, о чем он раньше не подозревал. К проблеме же массовости писательница подошла с совершенно противоположной стороны: что же массовой литературе противостоит? По мнению Елиферовой, сегодня больше говорится не о *серьезной* (*нормальной* — в терминологии Слаповского), а об *элитарной* литературе. Что до понятия жанра, то сегодня оно вытесняется *совершенно адским* понятием формата. *Настоящая литература*, — говорит Елиферова, — *ориентирована на то, чтобы открыть читателю что-то новое о мире и себе. Это может быть, как ни странно, и детектив: Честертон, например... А литература форматная дает читателю то, чего ему хочется. То, что читатель ожидает, он и получит. <...> Вот меня пугает, что эта тенденция начинает появляться в литературе, которая себя позиционирует как серьезную.*

Критерий высокой литературы, — считает критик **Валерия Пустовая**, — *масштаб личности автора и его желание донести ту правду, которую он сумел почувствовать.* Люди искусства для того и существуют, *чтобы через них ощущать какую-то правду, которую мы на нашем уровне не всегда можем почувствовать. <...> литература — это ведь труд, духовный труд, и... она должна тоже помогать нам учиться отличать правду от лжи и, действительно, — человека-друга от человека, который нас просто совращает.* А *если вы чувствуете, что писатель вами откровенно манипулирует, чуть-чуть на шаг вперед отступает, следуя за вашими собственными ценностями, взглядами на жизнь, подыгрывая вам, называя те лейблы, оценки, те любимые вещи, которые вы тоже любите и от которых не хотите отказаться. Вот это ощущение, что вам очень легко, подозрительно легко все это читать... Вот, наверное, это такой критерий современной дешевки, современной попсы.*

По мнению **Александра Архангельского**, литературу предпочтительней делить на элитарную и тривиальную. Элитарная — это та литература, *которая нуждается в контексте для своего понимания.* Соответственно, тривиальная знания контекста не требует. *Она прочитывается сразу и до конца.* Кроме того, указывает критик, существует еще и кич — свой для элитарной литературы, свой — для тривиальной. Дело и впрямь не в тиражах: *хорошая словесность всегда стремилась к тому, чтобы поговорить с большим количеством людей <...> И, несомненно, большая литература, по-настоящему большая литература, — за редкими исключениями — стремилась поговорить с людьми о самом важном, о самом главном.* А если о самом важном люди узнают из книг Дарьи Донцовой, в этом есть немалая вина элитарной литературы: *Это расплата за то, что серьезная, большая литература не хочет разговаривать с людьми о том, что у них болит. <...> Донцова, она — психотерапевт. Она работает там, откуда ушла большая культура. Она пришла в пустоту. Заползла в нее; не надо было эту пустоту оставлять.*

Председательствующий **Игорь Шайтанов**, подводя некоторые итоги дискуссии, судя по всему, развел руками. Во всяком случае именно этот жест видишь, читая слова Шайтанова: *Как мы выяснили, есть хороший жанр, плохой жанр, есть хорошее — вне жанра, плохое — вне жанра. Есть плохая литература, которую пишет телеведущий, есть хорошая литература, которую тоже пишет телеведущий...*

Настоящая книга существует только для удовольствия, считает **Ольга Славникова («Диалог идет между писателем и мирозданием, а читатель только присутствует»**, беседа с Юлией Рахаевой — «Дружба народов», № 6). Но это то высокое удовольствие, которое дается контактом с высшими смыслами, которое «пробивает в космос» и меняет систему ценностей читателя. Настоящая книга, как подушка безопасности, защищает его от бытовых неурядиц, и *такого человека ничто уже не в силах раздавить.* Увы, сегодня далеко не все помнят об этом: за последние двадцать лет, говорит Славникова, российскую интеллигенцию постигло несколько катастроф. *Произошла глобальная атака на среду обитания тех людей, которые читали толстые журналы. Читателям «Нового мира» и «Знамени» объяснили, что они быдло, что честность их смешна и позорна...* А между тем толстые журналы — это, по мнению Славниковой, «нормальный массовый продукт»: *Берешь книжку журнала — и там тебе полноценный обед: проза, поэзия, критика, публицистика, эссеистика. Если, конечно, под массой иметь в виду не тех, кто слушает попсу и смотрит «Дом-2», а людей, имеющих университетское образование. Таких полно. Потенциальные читатели толстых журналов — учителя, библиотекари, всегда склонные к гуманитарному знанию врачи. Я думаю, нормальный тираж «толстяков», если, конечно, этим заниматься, тысяч 50—60, а то и все 100. Посади цветок, не поливай, он и засохнет. Так и толстые журналы. <...> Новое информационное пространство на «толстяков» никак не реагирует. И их достоинства или недостатки тут ни при чем. Речь идет исключительно о вложении денег. Не та певица, которая поет, а та, в которую денег вложили.* Есть у Славниковой и идеи относительно того, как именно «вкладывать деньги в певицу», как раскручивать толстые журналы: *вот вышел новый номер журнала. Нанять студентов, чтобы ездили в метро и читали, несколько дней подряд. <...> представляешь, ты заходишь в метро, а там в каждом вагоне пять человек читают один и тот же толстый журнал. Как думаешь, это произведет впечатление?*

Марк Амусин убежден, что традициям русской классики сегодня наследует литература не «высокая», а «средняя» — то есть *качественная популярная проза* (**«...Чем сердце успокоится»** — «Вопросы литературы», № 3). По версии критика, «высокая» литература, где даются *глубинные «рентгенограммы» бытия* и *жизнь предстает под знаком вечности*, никоим образом не помогает читателю справиться с его смысложизненными проблемами. Тем более не помогает в этом масслит или «формульная» проза, занятая *подтверждением оправданности и незыблемости существующего порядка, навеванием утешительных иллюзий, выписыванием рецептов... успеха и преуспеяния.* Российская же читающая публика, существующая *в зазоре между неясным будущим и «непредсказуемым прошлым», в условиях тумана, бездорожья и вопиющего отсутствия ориентиров*, нуждается в путеводных звездах и по давней традиции требует от литературы и подлинного утешения, и ответов на вечные вопросы. Эти-то ответы и дает популярная проза, утоляющая, по словам Амусина, читательскую жажду *приобщиться к откровению, расшифровать иероглифы бытия — и повседневной жизни.* Возвращаясь к названию статьи, придется добавить, что автор не ленится пресловутые вечные вопросы перечислить. А они таковы: *что было, что будет, кто виноват и чем сердце успокоится.*

Литератор из Болгарии **Эмил Николов** берет под защиту и саму массовую литературу, и ее читателей (**«Расширение взгляда: кого из современных русских писателей переводят в мире»** — «Знамя», № 7). Последние, пишет он, не так уж и элементарны, но несомненно одно: они бегут от скуки посредственной «серьезной» литературы. К тому же чтение массовой литературы — это вовсе не врожденное свойство, один и тот же человек в разные периоды жизни может быть и читателем высокой классики, и поклонником детективов. Массовая же литература, по мнению Николова, играет совершенно особую роль в освоении современной темы. *Она проникает в те секторы жизни, куда высокая литература еще не добралась. Массовая литература прокладывает лыжню в заснеженном поле темы массовой приватизации, коррупции в правоохранительных органах, продажности политиков, жизни «новых русских» (нуворишей и мордоворотов) и ряда других жгучих проблем современности, которых бежит высокая литература.*

Свою статью **«Непростая простота» Олег Оссовский** оснастил подзаголовком: **«Страна, читающая маслит или не читающая совсем?»** («Вопросы литературы», № 3). *Большая литература*, замечает автор, — будь это даже произведения свежих нобелевских лауреатов — в списки бестселлеров в новом тысячелетии уже не попадает. Масслит давно перестал ощущать свою второсортность и вполне готов заменить собой собственно литературу. А заодно поглотить и смежные области культуры. Масслит, по наблюдениям Оссовского, превратился сегодня в одну из социокультурных практик и развернул целую коммерческую индустрию, в рамках которой печатному слову оставлено не так уж много места. Современное глобальное производство «культурных продуктов» включает в себя создание на основе книг-бестселлеров фильмов и телесериалов, мюзиклов, компьютерных игр и комиксов с последующим тиражированием их персонажей на майках, сумках и прочем ширпотребе. Так что романы теперь изначально пишутся с прицелом на экранизацию, а фильмы, снятые по ним, в свою очередь серьезно способствуют увеличению книжных тиражей.

Сегодня классика успешно адаптируется для массового вкуса. Об этом пишет **Алиса Ганиева**, рассматривающая случай телевизионных «Мастера и Маргариты» (**«Литература в "ящике"»** — «Вопросы литературы», № 4). Мир булгаковского романа, по мнению автора статьи, идеально вписывается в ряд популярных сериалов: здесь тебе и тема НКВД как продолжение многосерийных криминальных историй (оттуда же, отмечает критик, происходит и героиня сериала: актриса, сыгравшая роль Маргариты, — звезда отечественного детективного жанра); *и следственная линия, и чудеса эзотерики, и ужасы советского времени, и видимость элитарного искусства.* Так что получается любовно-фантасмагорическая картина, оснащенная всеми приметами массового продукта, причем, что характерно, *люди в форме... выглядят даже более значительно и фантастично, чем дьявольская свита.*

А просто все дело в том, считает **Ольга Лебедушкина**, что литературу низводили-низводили, да в конце концов и низвели-таки с бронзового постамента: *Слишком много совместных усилий было потрачено на то, чтобы убедить всех и самих себя, что писание стихов и романов — просто деятельность в сфере услуг, а торговля сигаретами или сантехникой ничем не*

отличается от торговли книгами (**«Вы полагаете, все это будет носиться?»** — «Дружба народов», № 5). И в результате литература все больше превращается в *легкую промышленность* — и в прямом, и в переносном смысле. *Юбилейный подарочный набор «Москва — Петушки», например,* — рассказывает Лебедушкина, — *включает в себя коробку-вагончик, книжку комиксов, аудиокнигу,.. безразмерную майку и пару подставок под стаканы. <...> Когда я, озадачившись казусом, проявила интерес, обрадованный продавец выдал последний козырь: «А еще вы и книгу можете купить!» Книга, разумеется, продавалась не в комплекте, а отдельно.*

Предмет исследования **Александры Кисель** — книга. То есть не в том смысле, в каком это предмет исследования любого из героев нашего обзора, а в качестве персонажа и смыслового ядра литературного произведения, то есть *КНИГА КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ* (**«Память человечества»** — «Октябрь», № 9). Историю книги как *самостоятельного образа-символа* и *сюжетообразующего элемента* автор статьи отсчитывает от 1953 года, даты написания «451° по Фаренгейту». Этот роман и открывает, по мнению А. Кисель, *тему книги в современной литературе.* И тема эта развивается следующим образом: если в литературных произведениях прошедшего столетия книгу как правило искали (или, соответственно, прятали), то век наступивший ставит в центр сюжета уже не поиск книги, а ее гибель — точнее, гибель и самой книги, и всей книжной культуры. И если, замечает А. Кисель, в *классической антиутопии* Бредбери образ книги сопряжен с высоким идеалом человека, то *антиутопия современная* несет в себе весть об окончательном разочаровании и в книге, и в идеале, и в человеке. О чем наглядно свидетельствуют, к примеру, «Метро-2033» Дмитрия Глуховского, «Кысь» Татьяны Толстой или «Библиотекарь» Михаила Елизарова». Литература XXI века имеет дело с миром фантастического зла, и книга здесь, соответственно, сама становится *средством, орудием и символом* этого зла. Она теперь — талисман, тотем, идол. Книга порабощает людей, замещает их память, меняет весь внутренний облик. Извращенная природа книги, сочетаясь с извращенной человеческой природой, порождает все новые уродства. Книга воздействует на человека как наркотик или гипноз, превращая целые группы двуногих в отвратительные секты: и вот уже люди *готовы убить друг друга во имя «этих типа, трех страниц»* («ГенАцид» Всеволода Бенигсена). Впрочем, орудием убийства становится и сама книга, если она достаточно массивна: в статье приводятся примеры. *И все же,* — оптимистически заканчивает свое исследование автор, — *именно к книге обращается современный герой. К непонимаемой, проклинаемой, потерявшей свой облик и ставшей орудием зла, но все-таки книге. Уходит из мира вещей и бежит к книге <...> Вот парадокс!*

Извращения человеческой природы совокупно с извращением природы книжной приносят и иные плоды. Так, петербургский историк и социолог констатирует пришествие в современный мир *готической морали* и *готической эстетики*[3]. В полемических заметках **«Нелюди и критики»** («Новое литературное обозрение», № 98) **Дина Хапаева** пишет: *В отличие от*

[3] *Хапаева Д.* Готическое общество. Морфология кошмара. М., 2007.

культуры Нового времени, где восхищение человеком задавало эстетический канон.., главная максима готической эпохи состоит в разочаровании в человеке. Проявлением чего, по мнению исследовательницы, становится не только разочарование в ценностях культуры и цивилизации, но также *УТРАТА ИНТЕРЕСА К ЧЕЛОВЕКУ КАК ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЛИЦУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.* В современных фильмах, романах и компьютерных играх место героя зачастую занимают всякого рода монстры — оборотни, ведьмы, вампиры и прочая нелюдь.

Иной раз, правда, создается впечатление, что в пылу исследовательского задора автор не всегда аккуратен на поворотах: вот, к примеру, вереницу литературных *нелюдей* открывают у Хапаевой не кто-нибудь, а хоббиты из мирной Хоббитании: автор статьи решительно отказывает им в человечности, чем провоцирует у читателя вопрос: за что, собственно, и почему в таком случае в том же ряду монстров не обнаруживается существовавших в литературе задолго до хоббитов Страшилы Мудрого, Вини-Пуха или Снусмумрика? Или вот такое во всех смыслах удивительное наблюдение: *готическая эстетика не приводит к созданию образа сверхчеловека... Выбор в пользу нелюдя, а не сверхчеловека — еще один показатель глубины разочарования в человеке, его мире и его способностях. Название романа Пелевина «Ампир В. Повесть о настоящем сверхчеловеке» служит точной иллюстрацией сказанного: настоящим сверхчеловеком в наши дни может быть только вампир...*

Но пусть на частные ошибки Хапаевой указывают ее оппоненты (что они, кстати, и делают). Нам же некоторые постулаты этой статьи показались звучащими довольно убедительно. Например: *Для того чтобы зерна готической эстетики дали пышные всходы, потребовались особые условия постсоветского общества. В результате исторической амнезии и распада морального консенсуса оно оказалось лишено тех норм и ценностей, которые могли бы сдержать распространение готической морали, как это до сих пор в той или иной степени происходит в других странах.* Готической моралью Хапаева называет тот свод правил, которыми руководствуются существа, питающиеся людьми или манипулирующие ими. *В самом деле, какие нормы могут регулировать поведение дракона? Нечисти, оборотней, Иных?* — спрашивает она. — *Очевидно, что они должны отличаться от человеческой морали, — и они отличаются. Исключительно важной особенностью готической морали... является полная симметрия добра и зла, их конечная неразличимость. Готическая мораль ситуативна: суть запретов и степень дозволенного полностью определяются вкусами сильнейших... Чувство личной преданности — главная заповедь готической морали* и т. п. Бог с ним, что хоббиты не имеют ко всему сказанному никакого отношения: у них-то и с *нормой*, и с *универсальной* (она же христианская) *моралью* как раз все в порядке, — гораздо грустнее, что сказанное автором статьи о морали нелюдей болезненно напоминает реалии нашей жизни, то *неразличение общества и зоны*, которое мы переживаем сегодня. И дело обстоит так, утверждает Хапаева, потому что в основе лежит нераскаянный грех — нежелание общества осознать свою ответственность за преступления прошлого. *Жуткое прошлое*, — пишет Хапаева, — *возвращается потому, что оно не было... противопоставлено идее нормы.*

Споря с Хапаевой, голос **«В защиту чудищ»** возвышает **Марк Липовецкий** («Новое литературное обозрение», № 98). *Современные монстры не так «готичны», как кажется Д. Хапаевой*, пишет он. Да и *«основы традиционного гуманизма»* (кавычки Липовецкого. — *И. Д.*) неизлечимо *подорваны еще сто с лишним лет назад*, то есть все это как бы и перестало уже быть проблемой: констатировал же Лиотар *кризис метанарративов*. Так что, предостерегает Липовецкий, всякого рода рассуждения о моральном релятивизме, утрате нравственных универсалий и *распаде привычных понятий — объективности, рациональности, реальности* — прекрасная почва для фундаментализма любого толка. А фундаментализм, и это кому угодно понятно, — вещь действительно опасная, в отличие, надо понимать, от всплеска интереса к нелюдям, который есть примета как раз положительного тренда. Объясняется же этот всплеск любви к разного рода нежити просто: это и любопытство к *Другому, одновременно привлекательному и опасному*, и страх перед ним, — то есть совокупный комплекс современной ксенофобии и попыток ее преодоления сразу. То есть, указывает Липовецкий, процессы, которые отражаются в образах современных чудовищ, многообразны, противоречивы и к единой схеме не сводимы. *Да*, — пишет критик, — *современные монстры своей «другостью» действительно проблематизируют универсалистские, в том числе и гуманистические представления о человеке*. Но это, оптимистически завершает свои рассуждения Липовецкий, *не разрушает человека и человеческое, а, как водится, лишь усложняет наше восприятие этих категорий*. Так вот и написано: «*этих категорий*», честное слово... А Хапаева еще на хоббитов «тянет»!

Что касается любопытства к «Другому» (если мы правильно понимаем значение этой постмодернистской категории), то некоторые авторы как раз сетуют на недостаток, если не на полное отсутствие этого любопытства. К таким сетователям, в частности, относятся представители *НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ*. О судьбах этих литератур, а также русской литературы в ближнем зарубежье шла речь на «круглом столе» **«Литература в эпоху перемен»**, проводившемся журналом «Дружба народов» (№ 9). Этот форум показался каким-то особенно грустным и, в целом, демонстрируя единство общей беды, распался на серию одиноких реплик:

— *90-е годы прошли под знаком обособления и ослабления наших литературных связей. И последствия этой политики — рост невежества, возрождение диких, варварских представлений друг о друге, о соседних народах* (**Леонид Теракопян**, Москва);

— *Мне кажется, Россия не воспользовалась шансом, который был дан в те семьдесят с лишним лет, — впитать, вобрать всю богатую палитру культуры и традиций союзных республик* (**Денис Гуцко**, Ростов-на-Дону);

— *Появилось уже поколение, которое плохо знает русский и плохо знает родной язык* (**Магомед Ахмедов**, Махачкала);

— *Северокавказские языки объявлены ЮНЕСКО умирающими* (**Мадина Хакуашева**, Нальчик);

— *...можно купить футболиста, но невозможно ни за какие миллионы купить за границей национального писателя* (**Ильфак Ибрагимов**, Казань);

— *Беспомощность и безысходность — два главных ощущения от белорусской литературы и культуры... Главное «культурное» событие последних*

дней — «пролет» белорусского певца на «Евровидении». <...>...собрание сочинений Василя Быкова на его родном белорусском языке издается в Москве (**Виктор Козько**, Минск);

— За эти двадцать лет уже выросло поколение, которое дает высокий рейтинг только низкокачественному продукту (**Александр Эбаноидзе**, Москва);

— Сегодня каждое поколение представляет собой отдельную, зачастую замкнутую, культуру <...> Разные возрастные группы в нашей стране — это племена, говорящие на разных языках и не желающие изучать языки друг друга (**Ольга Лебедушкина**, Саратовская область);

— С одной стороны, никто ничего не читает, девочки и мальчики не знают, кто такой Лев Толстой. Но, с другой стороны, я замечал, что к какой-то литературности они тянутся. Они не хотят слушать попсу, но рэп — слушают, улавливая там что-то «про жизнь», какую-то свою поэтику. <...> Может быть,.. рождается новая литература, а мы, «бумажные писатели», исчезнем?.. (**Юрий Горюхин**, Уфа);

— Бог ценит хорошую литературу, написанную на хорошем русском языке. Не зря же он посылает ей испытания (**Николай Веревочкин**, Алма-Ата)...

Одним из поводов, побудивших **Алексея Алехина** к написанию очередной статьи *О СОСТОЯНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ* (**«Без промежутков»** — «Арион», № 3), по его собственному признанию, послужил опыт общения с молодыми стихотворцами в поэтических мастер-классах. Алехин пишет: *им в голову не приходит почитать, хотя бы и с экрана, Тютчева, Заболоцкого, Мандельштама или Бродского, не говоря о живущих мастерах. В основном читают и обсуждают друг дружку.* Впечатление такое, *словно они одни на пустыре со своими только что изобретенными велосипедами.* Зато в суждении о себе подобных молодняк не скупится на превосходные степени, а, обсуждая качество «толстых» журналов, исходит из единственного критерия: печатает или нет издание *этих самых «двадцати-тридцатилетних»*. *Беда*, — пишет Алехин, — *не только в том, что это общение в отсутствие сколь-нибудь серьезных ориентиров выливается в непрерывную игру на понижение. А в том, что стилистически, лексически, по типу мышления все эти бесчисленные опусы на удивление однолики: подлесок всегда одинаков, это зрелые деревья разнятся и по облику, и по высоте. Когда я однажды обратил внимание своих молодых коллег на это обстоятельство, то в ответ услышал что-то вроде «поэтическая молодежная субкультура». Надо ли объяснять, что «субкультура» так же отличается от* ***культуры****, как «субпродукты» — от настоящей провизии?*

Однако статья вовсе не о том, что дело современной поэзии из рук вон плохо, стихотворчество ушло в интернет и там окончательно деградировало, а бедным потомкам от нашего несчастного десятилетия не останется ничего. Пафос статьи как раз в том, что *в глазах потомков сегодняшнее поэтическое время предстанет фундаментальным.* Потому что именно сейчас работает Александр Кушнер (*почти единственный, кто имеет немыслимую смелость обнаруживать в окружающем мире гармонию и красоту*), именно сейчас создает свою *головокружительную поэтику* Олег Чухонцев, именно сейчас складывает *из безукоризненных и парадоксальных коротких притч-этюдов свою философско-лирическую панораму* Владимир Салимон, именно сейчас под-

нимается к высотам полной свободы, то есть *той невероятной мудрой наивности, которую невозможно сымитировать*, Вера Павлова. А есть еще и еще имена и — главное — лирические голоса. Все эти поэты не вчера начали, и сегодня еще не время судить, куда ведет «магистраль» современной русской поэзии. *У меня вообще впечатление,* — пишет Алехин, — *что лучшие современные поэты пишут не для современников-сверстников, а для* ***полу****современников: 20-летних — но не теперешних, а тех, какими они станут через 30 лет...*

Статья **Владимира Козлова «Два языка, или Что стихотворение помнит о творении»** («Арион», № 2) посвящена *естественной связи* поэзии и религии. Речь здесь о том, что это не есть связь на уровне сюжета, просто само мироздание организовано по тем же законам, по которым и поэзия, а потому не следует делать из поэзии идола: божествен Творец, а не творение. Содержание этой обширной статьи практически полностью укладывается в приводящуюся в ней цитату из **Сергея Гандлевского**: *Каждый, кто отдавал искусству время и силы, знает, что искусство — это устройство. Причем не произвольное, а согласованное с мироустройством. ...Кропотливый творческий труд рано или поздно приводит на ум мысль об идеальном оригинале, о творении, а там и о Творце. Художник может считать себя бунтарем, таковым он и вправе выглядеть в глазах людей, но с другой точки зрения он — Божий отличник, зубрила Господен, потому что само ремесло вынуждает его поддакивать мироустройству.*

Герои статьи **Юрия Малецкого «Рыцарь верующего неверия, или прогулки в садах российской словесности-2**[4]**»** — («Зарубежные записки», № 20) — Самуил Лурье и сборник его эссе «Такой способ понимать». О произведениях *ЛИТЕРАТУРОВЕДА* (причем отнюдь не единомышленника, причем споря с ним — и как восхищенно споря-то!) Малецкий пишет в таких вот выражениях: «*сладостно горькая словесность*», «*удивительная прозопоэзия*», «*совсем художественное произведение*» . Не отстает от своего героя и сам Малецкий: написанное им вовсе не статья, никак не полемические заметки и даже, возможно, не эссе, — а именно такая вот прозо-поэма, богословофилософствование, полемико-преклонение. В каком-то смысле этот текст глубоко интимен: читаешь и словно нескромно присутствуешь при доверительном разговоре, в котором один человек предлагает другому дружбу навеки. Пересказать этот текст все равно не получится, а читать — сплошное удовольствие: в интернете есть.

Обзор подготовила Ирина Дугина

В. «Звезда», «Нева»

Размышлениям о творческом единомыслии двух, казалось бы, не слишком схожих поэтов посвятили свою статью **«Борис Слуцкий и Иосиф Бродский» Петр Горелик** и **Никита Елисеев** («Звезда», № 7). Началось знакомство поэтов в 60-е годы. Оба они воспринимали стихи друг друга, подчеркивают авторы, чрезвычайно взволнованно и страстно. *Бродский не скрывал,*

[4] Первые «Прогулки в садах российской словесности» были опубликованы в «Континенте», № 136 и посвящались поэзии Ларисы Щиголь.

что Слуцкий был едва ли не единственным советским поэтом, которого он не только принимал и высоко ценил, но и от которого много взял. В 1975-м Бродский сказал, что не кто иной, как Слуцкий, *едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона... Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий.* «Мой любимый Слуцкий», — говорил о нем будущий нобелевский лауреат. Слуцкий, в свою очередь, понимал: то, что власть сделала с Бродским, — это спланированная политика, а не игра случая. Потому и написал в известном стихотворении:

Закатись, как в невидную щелку — монета
Зарасти, как тропа, затеряйся в толпе.

Андрей Арьев в весьма сложной теоретической статье **«Русская переимчивость как художественный прием»** («Звезда», № 7) выводит свои размышления из знаменитой речи Достоевского о Пушкине, в частности, из отмеченной великим романистом всемирной отзывчивости. Переимчивость — это, пишет Арьев, *специфический род нашей «всемирной отзывчивости», порыв к умышленному, мгновенному заимствованию с целью эстетического преобразования заимствования.* Т. е. — повод показать себя, а не взять чужое.

Любопытна статья **Александра Куляпина** и **Ольги Скубач «Азбука социализма»** («Звезда», № 8). Рассматриваются в ней школьные учебники русского языка 20-х – 30-х годов. Вроде бы язык — он во все времена язык. Но именно в 1931-м выходит постановление ЦК ВКП(б) о школьном образовании, после которого в стране вводятся новые учебные программы. Теперь учебники отражают сугубо специфическую картину мира: вселенная как место неизбежных катастроф и непрерывных страданий. Параллельно развиваются мотивы различных социальных бедствий — голода, нищеты, болезней, насилия, — короче говоря, *общим законом становится дурная цикличность, энтропия, смерть.* Все это сыплется на головы несчастных советских школьников воистину без конца и края. А где наличествуют бедствия, там непременно есть и многочисленные жертвы. Ими могут быть кто угодно — белки, зайцы, трава, цветы, деревья. Все это, уверены авторы, — следствие *одержимости идеей насилия.* Однако еще сильнее идеологическая пристрастность пронизывает учебники 30-х годов. *Их излюбленный прием*, — пишут авторы статьи, — *представить нечто сомнительное, маловероятное в качестве аксиомы. Достигается этот эффект тем, что гипотетическое утверждение помещается в длинный перечень очевидных истин и за счет этого тоже якобы приобретает статус очевидного. Пример: «Реки приносят человеку большую пользу. Рабочий класс будет бороться до конца. Мы новый мир построим».* Не отсюда ли проистекает поразительно стойкая приверженность старшего поколения к социалистическим догматам?

На корни и истоки поэзии Бориса Рыжего обращает внимание **Андрей Арьев** в статье **«Блок, Иванов, Рыжий. О стихах Бориса Рыжего»** («Звезда», № 9). Присущее молодому, трагически ушедшему из жизни поэту *состояние поэтического опьянения* критик связывает с тем, что собственную свою жизнь Рыжий переживал как драму, с которой несравнимы никакие мировые

катаклизмы. В «самоистребительности» (выражение Сергея Гандлевского) его образа жизни прочитывается некая извечная предельно исповедальная традиция, та самая, приверженцами которой были Есенин и Рубцов. Прочитывается в его стихах и блоковское неудержимое влечение к гибели, *этот его образ любви, меняющий свой облик и тем распаляющий воображение.* Арьев пишет: *не притворяясь, он сам себя видел в образе ушлого парня предместий, оставаясь в глубине души и стиха трепетным, ранимым лириком.*

«Пора придумывать Бога» — так нетривиально назвала свою пространную статью **Вера Калмыкова** («Нева», № 9). Основные ее идеи: а) культура ныне, разумеется, погибла, но это — естественный процесс, ибо *культура гибнет всегда;* б) Бог тоже умер, о чем человечество известили его *лучшие умы* еще в XIX веке, а уж в веке XX история дала тому массу подтверждений; в) не ведутся (*труднопредставимы*) ныне и столь любезные интеллигентному сердцу разговоры о судьбах России, — им суждено либо вылиться в какие-то националистические концепции, либо стать атрибутом государственности. Вот уж истинно — чего ни хватишься, ничего-то у нас нет. Отмечает автор и такую примечательную черту сегодняшнего культурного социума: *элитарной становится массовая культура, поскольку те, кто близки к ведущим телешоу, разумеется, осознаются в обществе как элита.* Больше всего тут подкупает слово «разумеется»! Обходя массу естественно возникающих у читателя по ходу чтения вопросов, автор пускается в рассуждения о концептуализме, а также о модерне (*в его основе лежала некая прихотливо изогнутая линия, на которую нанизывались элементы предыдущих культур — стилей — мировоззрений*), о сегодняшнем сближении «стиля и моды» в сознании частного человека, наконец, о том, что сегодня *Гесиод (или Тургенев — кому что нравится) и мат как бы равны по своему статусу,* поскольку каждый из них имеет свой ареал. Понятно, что Калмыкову занимают самые сложные, можно сказать, глобальные проблемы отечественной культуры, разрешить которые она пытается с холодной беспристрастностью аналитика. Однако вопрос о том, как нам удалось дойти до жизни такой, чтобы Гесиод (Тургенев) уравнялся в статусе с матом, в статье отдельно не разбирается. Какие-то, словом, тут есть, на наш взгляд, противоречия. Впрочем, Калмыкова, кажется, и сама это чувствует, поскольку наскоро придумывает выход из них: нам нужен новый Бог, раз уж так повезло родиться *в эпоху после смерти Бога и конца культуры (истории, времени etc.).* Так прямо и написано, черным по белому: *пора бы нам его придумать,* — и в заглавие статьи вынесено... *Перед нами,* — пишет Калмыкова, — *небывалая и увлекательная возможность.* А что? Нам это вполне по силам. Мы еще и не то делали. Нам что убить Бога, что придумать, — раз плюнуть.

Александр Генис, давний поклонник творчества Татьяны Толстой, в статье **«Как работает рассказ Толстой»** («Звезда», № 9) восторженного отношения к своей героине не скрывает: *Мне нравится все, что делает Толстая. Мне нравится, как она пишет про селедку под шубой и как она ее готовит. Мне нравятся ее опусы в периодике, полные гнева и пристрастия. Мне нравится ее легкая речь, спорую находчивость которой я успел оценить в наших долгих беседах на радио. Мне нравится дерзость эксперимента в ее причудливом романе «Кысь», сочиненном без оглядки на себя.* Статье, через край

переполненной эмоциями, явно недостает конкретного анализа воспеваемых произведений. Но анализ и не входит в авторскую задачу, ибо гениальность Толстой для критика аксиома. *Меняя исходный материал своей прозы, Толстая достигает гиперреальности, свойственной настоящим стихам. Это значит, что каждое лыко в строку. Здесь случайное переплавляется в необходимое <...> Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда.* Бессмысленно спрашивать, на каком основании сделаны эти выводы и что такое, например, *иная степень интенсивности.* Остается верить автору на слово

Взглянем теперь, куда обращался в этом сезоне как всегда умный и едко саркастический взгляд **С. Гедройца**. Во-первых, на успевшую прославиться книгу Дмитрия Быкова «Булат Окуджава» («Звезда», № 7). Хотя непосредственно про Окуджаву рассказано не так уж много, пишет С. Гедройц, *остальной объем заполнен веществом времени,* выразившим себя в его песнях. *Так или иначе, я нигде и никогда не видел такого точного и глубокого, как в этой книге, изображения начала «оттепели», а равно и конца перестройки. Не встречал такой яркой, такой горькой метафоры, как та, что описывает здесь генеральные закономерности местных судеб.*

Остановился **С. Гедройц** и на 15-томном собрании сочинений Корнея Чуковского («Звезда», № 7), благо не так давно вышел последний том. Рецензент скоренько пробежался по содержанию всех томов, поразившись необъяснимости, немыслимости человека, писавшего до революции действительно блистательную критику, а потом ставшего (лишь кое в чем, правда) *почти советским писателем.* Впрочем, а кем он мог стать еще? *А вы пробовали посуществовать этак с полстолетия («В России надо жить долго» — его слова) врытым в землю по пояс — чтобы, значит, не возвышался? Не то удивительно, что башню сносило, как шляпу, — а то, что он исхитрялся ее ловить.*

Не смог **С. Гедройц** не заметить и роман Александра Терехова «Каменный мост» («Звезда», № 9). Нетривиальная вещица, ничего не скажешь. Правда, многовато *холодного песка,* под которым тлеют угольки содержания. *Настоящие критики, вот увидите, вам доложат, что в песке-то вся и сила. Поскольку, дескать, это первосортный песок. Образует, обратите внимание, несколько слоев. При ворошении возникают прелюбопытные конфигурации...* Так первосортный, выходит, роман? Плоховато что-то верится, чересчур уж выразительные цитаты приводит рецензент, отмечая, правда, что авторский слог обладает свойством воспарять, *завидев тень «императора»,* — и распускаться при мысли о слабом поле.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

Корректор — *Ю. Н. Маслов*

ЛР № 066469
Подписано в печать 28.01.2010. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 32,00. Тираж 1500 экз.
Заказ № 107
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка)*, 73218

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых лет.

Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается:

"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" –
Страстной бульвар, 8 (рядом с выходом из метро «Чеховская»)

ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –
Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98

"ПИРОГИ" – Никольская, 19/21; тел. 621.58.27

"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12, стр. 2; тел. 627.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.80.67

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80

"УМНЫЕ КНИГИ" – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

"ФАЛАНСТЕР" – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –
Столешников пер., 2; тел. 629.52.62

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 692.05.63

В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Аудиокнига Ольги СЕДАКОВОЙ «Две книги»

Издательство «АЗиЯ-ПЛЮС», СПб., 2008 г.

Аудиокнига включает в себя диск с авторским чтением стихов и музыкой композитора А. Вустина, а также книгу с текстами этих стихов, иллюстрированную фотографиями.

Книга Ольги СЕДАКОВОЙ «Музыка»

В книгу, изданную в «Русском міре» в 2006 году, вошли стихи, филологические и религиозно-философские эссе. Книга выпущена в серии «Литературная премия Александра Солженицына».

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала "Новый мир" А. Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В. Я. Лакшина, Ю. Г. Буртина, И. И. Виноградова, А. Д. Синявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Книги издательства «Древлехранилище»:

Генрих ШТАДЕН «Записки о Московии»

Г. ЗЕЛЕНСКАЯ и А. СВЯТОСЛАВСКИЙ «Некрополь Нового Иерусалима»

«Лефорт. Сборник материалов и документов»

Д. ФЕЛЬДМАН, О. МИНКИНА, А. КОНОНОВА, «Прекрасная еврейка»

С. ОРЛЕНКО «Выходцы из Западной Европы в России XVII века»

Также имеются в продаже
остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года

Звоните и приходите!

Тел. (499) 248.62.35 **Адрес:** ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.

ВНИМАНИЕ!

ДЕТСКОМУ ДОМУ слепоглухонемых
требуется помощь.

◆

Привозить и присылать можно все,
кроме одежды и игрушек, —

перевязочные средства, медикаменты,
стиральные порошки, постельное белье,
средства личной гигиены, присыпку, детский крем,
памперсы всех размеров —

по адресу:

141300
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Пограничная, д. 20,
детский дом слепоглухонемых,
Епифановой Галине Константиновне

❖

«КОНТИНЕНТ» № 142, 512 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218, 71682

2009
№ 4